Французская новелла двадцатого века

1900-1939

Французская новелла XX века. 1900–1939

Анатоль Франс, Октав Мирбо, Альфонс Алле, Жорж Куртелин, Маргерит Оду, Жюль Ренар, Анри де Ренье, Ромен Роллан, Франсис Жамм, Поль Клодель, Марсель Пруст, Поль Валери, Анри Барбюс, Габриель-Сидони Колетт, Шарль-Луи Филипп, Макс Жакоб, Гийом Аполлинер, Валери Ларбо, Луи Перго, Жан Жироду, Пьер Мак Орлан, Шарль Вильдрак, Жан-Ришар Блок, Жюль Сюпервьель, Жорж Дюамель, Александр Арну, Андре Моруа, Франсуа Мориак, Ален-Фурнье, Франсис Карко, Ролан Доржелес, Блез Сандрар, Пьер Жан Жув, Жорж Бернанос, Раймон Лефевр, Поль Вайян-Кутюрье, Тристан Реми, Эжен Даби, Марсель Арлан, Жюльен Грин,

Андре Шамсон, Жан Прево, Клод Авлин, Андре Мальро, Марсель Эме, Натали Саррот, Жак Декур, Жорж Гови

Аннотация
ФРАНЦУЗСКАЯ НОВЕЛЛА XX ВЕКА. Переводы с французского
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
ФРАНЦУЗСКАЯ НОВЕЛЛА XX ВЕКА. 1900–1939
АНАТОЛЬ ФРАНС. (1844–1924)
Кренкебиль
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ОКТАВ МИРБО. (1850–1917)
Лишние рты
АЛЬФОНС АЛЛЕ. (1854–1905)
Совсем как принц, или Охотник до шику
Воспламенил-таки…
Приданое

ЖОРЖ КУРТЕЛИН. (1858–1929)
Епитимья
МАРГЕРИТ ОДУ. (1863–1937)
Невеста
ЖЮЛЬ РЕНАР. (1864–1910)
Роза
Орангутанг
Налог
Сабо
Из книги «Естественные истории»
Охотник за образами
Лебедь
Сверчок
Олень
Осел
Мурашка и куропатка
Жаворонок
Семья деревьев
Родина
АНРИ ДЕ РЕНЬЕ. (1864–1936)
Акация
РОМЕН РОЛЛАН. (1866–1944)
Пьер и Люс
ФРАНСИС ЖАММ. (1868–1938)
Горечь жизни
Конка

ПОЛЬ КЛОДЕЛЬ. (1868–1955)
Уход Лао-цзы
МАРСЕЛЬ ПРУСТ. (1871–1922)
Званый обед
I
II
ПОЛЬ ВАЛЕРИ. (1871–1945)
Письмо госпожи Эмили Тэст
АНРИ БАРБЮС. (1873–1985)
Улюлю!..
Женщина
Преступный поезд
КОЛЕТТ. (1873–1954)
Усики виноградной лозы
Клад, а не ребенок
Собака
ШАРЛЬ-ЛУИ ФИЛИПП. (1874–1909)
Возвращение
Жизнь
Ромео и Джульетта
Встреча
МАКС ЖАКОБ. (1876–1944)
Мемуары папаши Вобуа
Жизнеописание великого человека
ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР. (1880–1918)
Непогрешимость

Святая Адората
Тень
ВАЛЕРИ ЛАРБО. (1881–1957)
Граммофонная пластинка
ЛУИ ПЕРГО. (1882–1915)
Гибельное изумление
Трудная проповедь
ЖАН ЖИРОДУ. (1882–1944)
Аптекарша
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ПЬЕР МАК ОРЛАН. (1882–1970)
Сад в Шпейере
Превратность судьбы
ШАРЛЬ ВИЛЬДРАК. (1882–1971)
Свора
ЖАН-РИШАР БЛОК. (1884–1947)
Рено идет на охоту
ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ. (1884–1960)
Девушка с голосом скрипки

ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ. (1884–1966)
Третья симфония
Кирасир Кювелье
Из книги «Притчи моего сада»
Сад Кандида
Верить себе
Правило воздержания
Техник. Философ. И пророк
Счастливые дороги
Гора и река
Планы на еще одну жизнь
АЛЕКСАНДР АРНУ. (1884–1973)
Экран
АНДРЕ МОРУА. (1885–1967)
Рождение знаменитости
ФРАНСУА МОРИАК. (1885–1970)
Престиж
I
II
III
IV
V
АЛЕН-ФУРНЬЕ. (1886–1914)
Чудо мамаши Боланд
ФРАНСИС КАРКО. (1886–1958)
Раз ты меня любишь…

РОЛАН ДОРЖЕЛЕС. (1886–1973)
Карасики
БЛЕЗ САНДРАР. (1887–1961)
Дурной судья
ПЬЕР ЖАН ЖУВ. (Род. в 1887 г.)
Смерть Бейера
ЖОРЖ БЕРНАНОС. (1888–1948)
Диалог теней
РАЙМОН ЛЕФЕВР. (1891–1920)
Награда Дюдюля
Оскорбление армии
ПОЛЬ ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ. (1892–1937)
Бал слепых
I
II
III
IV
V
VI
ТРИСТАН РЕМИ. (Род. в 1897 г.)
38-й из 9-го барака
ЭЖЕН ДАБИ. (1898–1936)
Человек и собака
МАРСЕЛЬ АРЛАН. (Род. в 1899 г.)
Близость
ЖЮЛЬЕН ГРИН. (Род. в 1900 г.)

Левиафан
АНДРЕ ШАМСОН. (Род. в 1900 г.)
По грибы
ЖАН ПРЕВО. (1901–1944)
Бомбаль и Фенансье
КЛОД АВЛИН. (Род. в 1901 г.)
Могила неизвестного жезлоносца
АНДРЕ МАЛЬРО. (Род. в 1901 г.)
Годы презрения
I
II
III
IV
V
VI
МАРСЕЛЬ ЭМЕ. (1902–1967)
Улица Святого Сульпиция
НАТАЛИ САРРОТ. (Род. в 1902 г.)
Из книги «Тропизмы»
Тропизм V
Тропизм XI
Тропизм XVI
Тропизм XXII
ЖАК ДЕКУР. (1910–1942)
Мятеж
ЖОРЖ ГОВИ. (Род. в 1910 г.)

Ноллак пробудился

Аннотация

В книге собраны рассказы и прозаические миниатюра французских писателей первой половины XX века. Значительная часть вошедших в книгу произведений в русском переводе публикуется впервые.

ФРАНЦУЗСКАЯ НОВЕЛЛА XX ВЕКА

Переводы с французского

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Утвердившаяся в искусстве еще в XVI веке, в эпоху Маргариты Наваррской, прославленная именами Лафонтена, Вольтера, французская новелла и повесть в XIX веке достигает расцвета, оспаривая в прозе первенство у романа.

Безрассудно влюбленная Ванина Ванини и зловещий Гобсек, пылкая Кармен и отважная Пышка, Фелисите — «простое сердце» и трагический возлюбленный арлезианки, — кому неведомы классические творения Стендаля и Бальзака, Мериме и Мопассана, Флобера и Доде?

В XX веке, разрушая недоверие издателей, малый жанр отстаивает свои права. Писатели-новеллисты по-своему разрешали конфликты и эстетические проблемы, которые занимают драматургов и романистов. В творчестве ведущих художников новелла соседствует с романом. Пример тому — Анатоль Франс, возродивший традицию ренессансного фаблио; по-лабрюйеровски зоркий и беспощадный сокрушитель буржуазного аморализма Жюль Ренар, мастер трагической миниатюры Шарль-Луи Филипп,

суровый исповедник мятущейся души Франсуа Мориак, родоначальник социалистического реализма во Франции провидец Анри Барбюс.

Для разных жанров едина порожденная общественной необходимостью задача — утолить неиссякаемую потребность личности в духовном самопознании, в открытии сокровенных истоков человеческих чувств и поступков, смысла жизни и места каждого в ней. Человек в его взаимоотношениях с обществом и природой — их общий объект.

Но тождественная эстетическая цель воплощается в романе и новелле по-разному благодаря «субъективным», исторически сложившимся качествам одного и другого жанра. Изобразительные и выразительные возможности романа и новеллы не одинаковы. В центре внимания романиста, как правило, — двусторонний процесс воздействия личности на общество и общества на личность. Развитие общественного сознания влечет за собой в XX веке эволюцию жанровых свойств романа: возрастает его временная, историческая и социально-пространственная емкость — от масштаба одной человеческой жизни до судеб целых народов и государств, судеб, увиденных сквозь призму разных социальных слоев и

многих поколений.

Для новеллы характерно воссоздание одной жизненной судьбы, одного «случайного» или поворотного события в ней. Исконное свойство ее — провидеть в малом, единственном, «уникальном» события всю жизнь человека, а за нею — контуры общества. Такое самоограничение диктует рассказу лаконизм, предельную сгущенность изображения, особую экспрессию психологической и вещной детали. Благодаря диалектике развития жанров новелла в середине нашего столетия не утратила, а укрепила свой «суверенитет».

Хронологические рамки книги, которую читатель держит в руках, — от начала XX века до второй мировой войны. Начало века, по определению В. И. Ленина, — «время *окончательной* смены старого капитализма новым», «поворотный пункт… от господства капитала вообще к господству финансового капитала»[1]. Гений Анатоля Франса, воспринявшего на грани двух веков воздействие социалистических идеалов, осветил путь всей французской реалистической литературе XX века. Слияние в его творчестве

---

[1] Примечания: 1

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 315, 343.

последовательного демократизма и реалистического воссоздания социальных коллизий вызвало к жизни бессмертный шедевр «Кренкебиль», предвестие той органической народности французской литературы XX века, которая обретала свое классическое выражение в «Кола Брюньоне» Ромена Роллана, «Огне» Барбюса, «Детстве» Вайяна-Кутюрье и «Коммунистах» Арагона.

В той же страстной борьбе за реалистическое искусство против натуралистической поэтизации зверя в человеке и духовной ущербности развивалось в начале века творчество замечательных мастеров издавна укоренившегося во Франции жанра новеллы — Жюля Ренара и Шарля-Луи Филиппа. Уже на этом временном рубеже малый жанр очень разнообразен — повесть, новелла, притча, сказ, афоризм, пародия на святочную сказку, рассказ-диалог, «естественная история» или язвительный гротеск.

Вслед за этим поколением появились в литературе новые имена — правдивого очевидца провинциальных будней Алена-Фурнье, мудрой и нежной Колетт, нелицеприятного свидетеля салонной «ярмарки на площади» Марселя Пруста, яростного провозвестника «нового смысла» искусства Аполлинера. Их творчество запечатлело

бытие предвоенной Франции многогранно, противоречиво: радость встречи с одухотворенной природой (рассказы Колетт, Перго) контрастирует с неосознанной жестокостью человека в том обществе, где каждый — сам за себя и вынужден рассчитывать лишь на свои силы («Лишние рты» Мирбо); едкая ирония, обнажающая претенциозную пошлость снобизма («Званый обед» Пруста), духовную скудость мещанского бытия («Аптекарша» Жироду), смягчена то элегическим сочувствием маленькому человеку («Акация» Анри де Ренье), то словно воссиявшей во мраке картиной его добрых дел и побуждений («Чудо мамаши Боланд» Алена-Фурнье).

Во многих рассказах буржуазное общество предстает расколотым, тщетно ищущим равновесия. Равновесию не суждено было воцариться: Европу захлестнула первая мировая война. Она вызвала, по определению В. И. Ленина, «необъятный кризис» капиталистической системы, поставила человечество перед выбором: «или погибнуть или вручить свою судьбу самому революционному классу...»[2] Война унесла миллионы человеческих жизней, сильно обескровив

[2] Примечания: 2
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 197–198.

и искусство: на поле боя погибли Луи Перго и Ален-Фурнье, осколком снаряда был тяжко ранен Гийом Аполлинер. Обвинение войне, проклятье «случайностям» войны звучит в финале повести Роллана о торжествующей любви — «Пьер и Люс». Лики войны запечатлели, каждый по-своему, Аполлинер, Барбюс, Вильдрак, Доржелес, Дюамель, Жув… В самых проницательных из новеллистических свидетельств («Преступный поезд» Анри Барбюса, «Бал слепых» Поля Вайяна-Кутюрье, «Награда Дюдюля» и «Оскорбление армии» Раймона Лефевра) рассказ о войне и ее социальных и нравственных последствиях таит в себе приговор тупой жестокости солдафонов, буржуазному шовинизму, социальным истокам «внезапной» трагедии. Соприкасаясь с правдой войны, писатели обретали гражданское мужество, творческую зрелость. Сопоставление новелл раннего Барбюса с его «Правдивыми повестями» позволяет увидеть эволюцию художника от абстрактного гуманизма к гуманизму пролетарскому, от поэтики критического реализма к эстетике реализма социалистического.

Вопрос «или погибнуть или вручить свою судьбу самому революционному классу» был решен Октябрьской революцией. Вступали в свои права

новые закономерности истории, новые законы искусства. Писатели самых разнородных эстетических направлений обличали буржуазное общество, продолжавшее и после военной катастрофы постыдную игру классово-эгоистических интересов.

В книге представлена преимущественно реалистическая новелла — в том, правда, многогранном облике, какой обретает реализм в XX веке. Новеллистический жанр ныне подвижен: он включает и притчу («Уход Лао-цзы» Клоделя), и философическую эпистолу («Письмо госпожи Эмили Тэст» Валери), и комическую миниатюру («Епитимья» Куртелина), и психологический этюд («Близость» Ар-дана), и памфлет («Могила неизвестного жезлоносца» Авлина).

Скорбно-патетический сказ Даби и комическая сценка Шамсона, пародийная юмореска Жакоба, дуэт встревоженных душ у Бернаноса, детективно-психологический сюжет у Жюльена Грина и чуть ли не фантастический — у Марселя Эме, импрессионистические блики впечатлений у Натали Саррот в ее «Тропизмах», предвосхищавших программу «нового романа», — таков жанровый и стилевой диапазон новелл, составляющих книгу. Реализм здесь действительно вбирает в себя

элементы символики, гротеска, порой экспрессионистскую деталь.

За пределами данной книги остались очерки, документальные миниатюры, беллетризованные воспоминания. Но реалии истории Франции межвоенных десятилетий ощутимы здесь на каждой странице. По небольшому событийному полю новеллы пробегают волны драматических коллизий нашего века. Не всем художникам удалось в равной мере глубоко их понять и выразить. Но тревогу и предчувствия тех лет новелла передала, как чуткий сейсмограф.

Мировоззрение многих писателей неустойчиво, пронизано духом абстрактного гуманизма или горького скепсиса. Они искренне возмущаются участью человека в условиях капитализма, но часто питают иллюзии, будто социальные конфликты случайны или же, напротив, извечны и неустранимы; иногда они поддаются отчаянию, не видя выхода из тупиков одиночества. Яркое и полнокровное, издевающееся над нравами и моралью господствующих классов в периоды духовного подъема этих художников, творчество их становится вялым, анемичным в пору их идейного упадка, подчинения конформистским иллюзиям. В творческом развитии талантливых

писателей наступали моменты, когда они под воздействием обострявшихся общественных антагонизмов остро ощущали разлад с породившей их средой и, вырываясь из орбиты декаданса, выступали со смелыми разоблачениями тех или иных сторон буржуазного миропорядка. Эти художники рассказали об извращенной этике и морали буржуа («Престиж» Франсуа Мориака), об унизительном приспособлении искусства к переменчивой шкале «ценностей» на бирже буржуазной безвкусицы («Рождение знаменитости» Моруа), о трагическом одиночестве личности в мире чистогана (Эме, Карко) и утрате ею своего «я» («Сад в Шпейере» Мак Орлана). Как бы ни были порой мимолетны эти прозрения, правдивые свидетельства мастеров слова о «больной» цивилизации сохраняют свою непреходящую ценность.

Примечательно, что многие писатели межвоенных десятилетий на важнейших этапах своего творческого пути приближались к самым передовым идеям времени, принимали участие в деятельности прогрессивных общественных организаций. В 20-е годы это — движение «Кларте» и журналы «Кларте», «Эроп», еженедельник «Монд»; в 30-е годы, в эпоху Народного фрон-

та, — Ассоциация революционных писателей и художников Франции, Ассоциация защиты мира против войны и фашизма, периодические издания «Коммюн», «Вандреди», «Регар».

В эпоху общественного противоборства, когда создавался, а потом под ударами реакции рушился Народный фронт, формировалось самое смелое по остроте социального анализа течение французской литературы: оно тоже обличало старый мир, но одновременно и находило в обществе силы, способные оказать классовое противодействие капитализму. Так развивалось творчество Эжена Даби, открывшего в рабочих людях живую душу; Андре Мальро, предостерегавшего — фашизм угрожает миру; Тристана Реми, очертившего образ человека, одержимого идеей борьбы за правое дело пролетариев; Жака Декура, предвосхитившего в «Мятеже» грядущие столкновения молодежи Франции с косной системой образования. Здесь продолжается линия зрелого протеста, идущая от социально емких новелл и повестей Анатоля Франса, Ромена Роллана, Анри Барбюса, Поля Вайяна-Кутюрье к живым свидетельствам эпохи Сопротивления.

ФРАНЦУЗСКАЯ НОВЕЛЛА XX ВЕКА
1900–1939

АНАТОЛЬ ФРАНС
(1844–1924)

Франс родился в Париже, в семье книготорговца Франсуа Тибо. Еще в лицее он благоговел перед наследием античности и классицизма. В 70-е годы испытал влияние парнасцев, поборников теории искусства для искусства (сборники стихов «Золотые поэмы», 1873; «Коринфская свадьба», 1876). В Анатоле Франсе рано пробудились любовь к красоте и гармонии, презрение к буржуазному своекорыстию. Ирония и эпикуреизм Франса ощутимы в романе «Преступление Сильвестра Бонара» (1881). Его органическая связь с жизнелюбивым ренессансным мироощущением и просветительскими идеалами воплотилась в сюжетах и тонком юморе романов «Харчевня королевы Гусиные Лапы» (1893), «Суждения господина Жерома Куаньяра» (1894), во многих новеллах из книг «Перламутровый ларец» и «Колодезь святой Клары». Франс — ироничный, афористичный рассказчик, возродивший классически ясную, сдержанную манеру повествования.

На рубеже веков Франс завершил свою тетра-

логию «Современная история», в которой подверг критическому анализу буржуазную действительность и буржуазные идеалы, воплотив в ее образах порыв человека к свободе и социальной справедливости. «Современная история», вслед за «Человеческой комедией» и «Ругон-Мак-карами» продолжившая реалистическое познание мира, явила во французской литературе XX века пример открытого выражения художником идеи демократизма и сочувствия всемирному рабочему движению. Об итогах буржуазной цивилизации и грядущем всего человечества Франс размышлял в фантастических, сатирических и гротесковых романах — «На белом камне» (1904), «Остров пингвинов» (1908), «Восстание ангелов» (1914).

Анатоль Франс, друг Жана Жореса, сотрудничал в газете «Юманите» и различных социалистических организациях. Он приветствовал революцию 1905 года в России и победу Октября; осудив интервенцию, требовал прекратить блокаду молодого Советского государства. В 1919 году Франс поддержал антимилитаристскую деятельность Барбюса, в 1921-м оказал прямую помощь ФКП. Органически присущая Анатолю Франсу народность, социальные истоки его интеллектуальной мощи емко охарактеризованы

Максимом Горьким: «Думая о гении Анатоля Франса, невозможно умолчать о духе наций. Как Достоевский и Толстой, каждый по-своему, показали с полнотою, совершенно исчерпывающей, душу русского народа, так для меня Анатоль Франс всесторонне и глубоко связан с духом своего народа… Франс прежде всего изумляет своим мужеством и духовным здоровьем; поистине, это идеально «здоровый дух в здоровом теле».

Anatole France: «Balthasar» («Валтасар»), 1889; «L'etui de nacre» («Перламутровый ларец»), 1892; «Le puits de Sainte-Claire» («Колодезь святой Клары»), 1895; «Clio» («Клио»), 1899–1900; «Crainquebille, Putoi, Riquet et plusieurs autres recits profitables» («Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов»), 1904; «Les contes de Jacques Tournebroche» («Рассказы Жака Турнеброша»), 1908; «Les sept femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux» («Семь жен Синей Бороды и другие чудесные рассказы»), 1909.

«Кренкебиль» входит в сборник «Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов»[3].

В. Балашов

Кренкебиль

Перевод Н. Касаткиной

Александру Стейнлену и Люсьену Гитри, придавшим — первый серией превосходных рисунков, второй силой своего актерского дарования — трагическое величие образу моего горемыки зеленщика.

А. Ф.

I

В каждом приговоре, что выносит судья именем народа-суверена, заключено все величие правосудия. Жером Кренкебиль, торговец вразнос, познал, сколь высока власть закона, когда был привлечен к уголовному суду за оскорбле-

[3] Примечания: 3

Здесь и далее указываются основные сборники новелл и рассказов данного автора, а также источник публикуемого произведения.

ние блюстителя общественного порядка. Заняв указанное ему место на скамье подсудимых в роскошном и мрачном помещении, он увидел судей, секретарей, адвокатов в мантиях, судебного пристава с цепью на груди, жандармов, а за перегородкой — обнаженные головы безмолвных зрителей. Увидел он, что и сам сидит на возвышении, — как будто обвиняемый, представший перед судьями, приобщается неких зловещих почестей. В передней части зала, между двумя членами суда, восседал председатель г-н Бурриш. Академические пальмы были прикреплены к его груди. Бюст, олицетворяющий Республику, и распятый Христос венчали судилище, так что все законы божеские и человеческие нависли над головой Кренкебиля. Его обуял вполне понятный ужас. Не имея склонности к философии, он не стал вникать, что означают и бюст и распятие, и не задумался над вопросом, совместимы ли во дворце Правосудия Христос и Марианна. А между тем здесь нашлась бы пища для размышлений, ибо доктрина папского главенства и каноническое право как-никак во многих пунктах не согласуются с конституцией Республики и с гражданским кодексом. Насколько известно, декреталии не отменены. Христианская церковь по-прежнему

учит, что законна лишь власть, дарованная ею. А Французская республика до сей поры настаивает на своей независимости от папской власти.

«Господа судьи, — резонно мог бы заметить Кренкебиль, — поскольку президент Лубе не помазан на царство, Христос, повешенный над вашими головами, отвергает вас через посредство соборов и пап. А может быть, он присутствует здесь, дабы напомнить вам права церкви, сводящие на нет ваши права, иначе его пребывание вовсе лишено смысла».

На это председатель суда Бурриш, возможно, возразил бы:

«Обвиняемый Кренкебиль, французские короли издавна не ладили с папой. Гильом де Ногаре был отлучен от церкви, но не сложил с себя полномочий ради такой малости. Христос в зале суда не имеет ничего общего с Христом Григория Седьмого и Бонифация Восьмого, Это, если угодно, Христос евангельский, не имевший понятия о каноническом праве и даже не слыхавший об окаянных декреталиях».

На это Кренкебилю уместно было бы ответить: «Евангельский Христос был бунтарь, и вдобавок ему вынесли такой приговор, который все народы христианского мира вот уже тысячу девятьсот

лет считают крупной судебной ошибкой. Посмотрим, осмелитесь ли вы, господин председатель, его именем приговорить меня хотя бы к двум суткам ареста».

Но Кренкебиль был далек от каких-либо исторических, политических или социальных соображений. Он не мог опомниться. Окружающее великолепие внушило ему глубокое почтение к правосудию. Преисполнясь благоговейного трепета, замирая от страха, он готов был всецело довериться судьям в вопросе своей собственной вины. По чистой совести, преступником он себя не считал, но чувствовал, как дешево стоит совесть уличного торговца овощами перед атрибутами закона и вершителями общественного возмездия. Да и защитник успел частично убедить его, что не так уж он невиновен.

Небрежное, торопливое расследование подтвердило предъявленные ему обвинения.

II

Что случилось с Кренкебилем

Жером Кренкебиль, торговец овощами, катил по городу свою тележку, выкликая: «Капуста,

репа, морковь!» А когда у него бывал лук-порей, он выкликал: «Спаржа в пучках!», потому что лук-порей — это спаржа бедняков. И вот 20 октября, когда он в обеденный час спускался по Монмартрской улице, башмачница, г-жа Байар, выглянула из своей лавки и подошла к тележке с зеленью. Брезгливо подняв пучок лука-порея, она промолвила:

— По-вашему, это хороший лук? Сколько за пучок?

— Пятнадцать су, хозяйка. Лучше не найдете.

— Пятнадцать су за три поганых луковки?

И она с отвращением швырнула их обратно в тележку.

Тут как раз подоспел полицейский № 64 и сказал Кренкебилю:

— Проходите, не задерживайтесь.

Кренкебиль пятьдесят лет ходил, не задерживаясь, с утра до вечера. И приказ счел вполне законным, соответствующим порядку вещей. Не собираясь ослушаться, он попросил покупательницу поскорее взять, что ей подходит.

— Дайте сперва выбрать! — огрызнулась башмачница.

Она наново перетрогала все пучки лука-порея, взяла тот, что показался ей самым лучшим, и

прижала его к груди, как святые праведницы на церковных изображениях прижимают к груди пальмовую ветвь.

— Четырнадцать су за глаза хватит. Сейчас схожу за деньгами в лавку, при себе у меня ничего нет.

Стискивая в объятиях пучок лука, она возвратилась в башмачную лавку, куда перед ней вошла покупательница с ребенком на руках.

Тут полицейский № 64 во второй раз сказал Кренкебилю:

— Проходите!

— Я денег своих жду! — ответил Кренкебиль.

— Я вам не говорю — дожидайтесь денег, я говорю — проходите, — твердо заявил полицейский.

Тем временем башмачница примеряла голубые туфельки полуторагодовалому ребенку, потому что мать малыша торопилась. А зеленые головки лука-порея покоились на прилавке.

За полвека, что он колесил по улицам с тележкой, Кренкебиль приучился слушаться представителей власти. Но на сей раз перед ним впервые встал выбор между долгом и правом. Мыслить юридически он не умел. Он не понял, что личное право не избавляет его от общественного долга. Всецело сосредоточась на своем праве получить

четырнадцать су, он не придал достаточного значения своему долгу катить тележку, не задерживаясь ни на миг. Он не тронулся с места.

Полицейский № 64 спокойно и беззлобно в третий раз приказал ему проходить. В отличие от бригадира Монтосьеля, который только грозит, но к крутым мерам не переходит, полицейский № 64 на предупреждения скуп, однако, чтобы протокол составить, очень даже скор. Таков уж его нрав: он не лишен коварства, но исполнитель отменный и ревностный служака. Отважен, как лев, и кроток, как дитя. Ничего, кроме инструкций, не признает.

— Вы что, не слышите? Вам говорят — проходите!

Основание не трогаться с места было достаточно веским в глазах Кренкебиля, чтобы счесть его вполне убедительным, он это и высказал просто и без прикрас:

— Какого черта? Я же сказал, что жду денег.

Полицейский № 64 не стал распространяться:

— Хотите, чтобы я вас притянул за нарушение закона? Извольте, за мной дело не станет.

Услышав такие слова, Кренкебиль бессильно повел плечами и обратил на полицейского, а затем воздел к небесам страдальческий взор,

говоривший:

«Бог свидетель, разве я попираю законы? Разве пренебрегаю предписаниями и распоряжениями касательно торговцев вразнос? В пять утра я уже топтался на Центральном рынке. И с тех пор семь часов кряду натираю руки оглоблями и выкликаю: «Капуста, репа, морковь!» Мне за шестьдесят, я устал. А вы подозреваете, что я намерен поднять черное знамя восстания! Это насмешка, и какая же злая».

То ли не уловив выражения этого взгляда, то ли не сочтя его оправданием за непокорность, полицейский отрывисто и грубо спросил:

— Понятно?

Как раз в эту минуту движение на Монмартрской улице совсем застопорилось. Фиакры, ломовые дроги, фургоны, омнибусы, подводы напирали друг на друга и казались намертво связанными в один узел. Над их содрогающейся неподвижной массой поднимались крики и брань. Кучера и мясники издалека перебрасывались крепкими словцами, а кондуктора омнибусов, усмотрев в Кренкебиле причину затора, обзывали его «старой редькой».

На тротуаре скопились любопытные, охотники до скандалов. И полицейский, чувствуя себя в

центре внимания, помышлял лишь о том, чтобы утвердить свой авторитет.

— Хорошо же, — промолвил он и вытащил из кармана засаленную книжицу и огрызок карандаша.

Кренкебиль, одержимый одной мыслью, уперся на своем. Впрочем, он и не мог бы двинуться ни вперед, ни назад. Колесо его тележки накрепко сцепилось с колесом молочного фургона.

Запустив пятерню под картуз, он схватился за волосы и заголосил:

— Говорю я вам, деньги мне надо получить! Вот беда! Вот измывательство, вот окаянство-то!

Хотя эти выкрики выражали скорее отчаяние, чем возмущение, полицейский № 64 счел себя оскорбленным. И так как для него всякое оскорбление неизбежно выливалось в привычную, закрепленную обычаем и традицией ритуальную, можно даже сказать — каноническую формулу: «Смерть легавым!», то и сейчас он сразу же в таком именно звучании воспринял и осознал слова правонарушителя.

— Ага! Вы сказали: «Смерть легавым!» Еще чище. Следуйте за мной!

Не помня себя от растерянности и отчаяния, Кренкебиль вытаращил на полицейского № 64

выцветшие от солнца глаза и надтреснутым, то ли гнусавым, то ли утробным голосом, сжав руки на синей блузе, произнес:

— Что?! Я сказал: «Смерть легавым!»?

Его арест был встречен дружным гоготом приказчиков и уличных мальчишек, ибо удовлетворял пристрастию толпы к жестоким и постыдным зрелищам. Только скорбного вида старик, весь в черном и в цилиндре на голове, пробившись к полицейскому, очень мягко и очень внушительно сказал ему вполголоса:

— Вы ослышались. Этот человек не думал вас оскорблять.

— Не вмешивайтесь не в свое дело, — возразил полицейский без грубости, так как обращался к прилично одетому господину.

Старик спокойно и упорно продолжал настаивать. Тогда полицейский предложил ему дать показания у комиссара.

А Кренкебиль тем временем кричал:

— Это я-то сказал: «Смерть легавым!..»?

В ту минуту, как он повторял эти немыслимые слова, башмачница, г-жа Байар, вынесла ему наконец четырнадцать су. Но полицейский № 64 уже держал его за шиворот, и г-жа Байар, решив, что человеку, которого ведут в полицию, долгов

не платят, сунула свои четырнадцать су в карман фартука.

Тут, осознав вдруг, что тележка его отобрана, сам он лишен свободы, под ногами — разверстая бездна и солнечный свет померк для него, Кренкебиль пролепетал:

— Да что же это делается, а?..

В полиции пожилой господин заявил, что, будучи задержан затором экипажей, он оказался свидетелем происшедшего и может утверждать, что полицейский заблуждается — его никто не оскорблял. Старик назвался и перечислил свои титулы: доктор Давид Матье, старший врач больницы имени Амбруаза Паре, кавалер ордена Почетного легиона. В другие времена показания такого свидетеля вполне удовлетворили бы комиссара. Но это совпало с полосой, когда ученые были во Франции не в чести. Правильность ареста подтвердили, ночь Кренкебиль провел в участке, а утром полицейская карета доставила его в арестный дом.

Тюрьма не показалась ему ни тягостной, ни унизительной. Он воспринял ее как нечто неизбежное. Прежде всего его поразила чистота стен и плиточного пола. «Вот где чисто так чисто! Хоть садись да ешь на полу, право слово!» — про себя

заметил он.

Оставшись один, он хотел было передвинуть табуретку, но оказалось, что она приделана к стене.

— Додумались же! Мне бы такое и в голову не пришло! — удивился он вслух.

Он сел и, крутя большие пальцы, не переставал недоумевать. Тишина и одиночество угнетали его. Томясь бездельем, он с тревогой думал о своей тележке, которую отобрали, когда она еще доверху была полна капусты, моркови, сельдерея, салата-латука и цикория.

«Куда ее запроторили?» — беспокоился он.

На третий день его посетил защитник — мэтр Лемерль, едва ли не самый молодой член парижской адвокатуры, председатель одной из секций Лиги французских патриотов.

Кренкебиль попытался изложить адвокату происшедшее, что давалось ему нелегко, так как говорить он не был приучен. Возможно, при малейшем поощрении у него и вышло бы что-нибудь путное. Но в ответ на его слова защитник лишь недоверчиво покачивал головой и, листая бумаги, бормотал:

— Гм! Гм! Ничего этого я в деле не вижу…

Затем, с усталым видом покручивая свои бело-

курые усы, заявил:

— Для вашего же блага вам лучше во всем признаться. С моей точки зрения, избранный вами метод запирательства не выдерживает критики.

С этой минуты Кренкебиль рад был признаться, только не знал в чем.

III

Кренкебиль перед лицом правосудия

Председатель суда Бурриш потратил на допрос Кренкебиля целых шесть минут. Допрос мог бы внести какую-то ясность, если бы обвиняемый отвечал на задаваемые ему вопросы. Но Кренкебиль не имел навыка в прениях, а с такими собеседниками у него язык и вовсе отнимался от благоговения и перепуга; не мудрено, что он безмолвствовал, и ответы за него давал сам председатель, ответы, полностью его изобличавшие.

— Итак, вы признаете, что сказали: «Смерть легавым!»? — заключил Бурриш.

— Я сказал «Смерть легавым!» потому, что господин полицейский сказал: «Смерть легавым!» А тогда я тоже сказал: «Смерть легавым!»

Он силился объяснить, что был поражен

неожиданным обвинением и от растерянности повторил нелепые слова, которые ему ошибочно приписали, а сам-то он их, уж конечно, не произносил. Повторив: «Смерть легавым», он хотел сказать: «Статочное ли дело, чтобы я такое выговорил!»

Но председатель г-н Бурриш перетолковал его объяснения по-своему.

— Вы утверждаете, что полицейский первым выкрикнул эти слова? — спросил он.

Кренкебиль не стал ничего опровергать. Ему это было не под силу.

— Вы правы, что не настаиваете на своем, — сказал председатель.

И приказал вызвать свидетелей.

Полицейский № 64 по имени Бастьен Матра поклялся говорить правду, одну только правду. А затем дал следующие показания:

— Находясь при исполнении обязанностей, двадцатого октября, около полудня, я заметил на Монмартрской улице, что человек, по всей видимости, торговец вразнос, непозволительным образом остановился со своей тележкой возле дома номер триста двадцать восемь, чем вызвал затор на мостовой. Я троекратно приказывал ему не задерживаться, но он не пожелал подчиниться.

Когда же я заявил ему, что вынужден составить протокол, он крикнул в ответ: «Смерть легавым!» Я же счел такие слова оскорбительными.

Его показание, четкое и лаконичное, суд выслушал с явным благоволением. Защитой были вызваны г-жа Байар, башмачница, и г-н Давид Матье, старший врач больницы имени Амбруаза Паре, кавалер ордена Почетного легиона. Г-жа Байар ничего не видела и не слышала, а доктор Матье оказался в толпе, скопившейся вокруг полицейского, который требовал, чтобы разносчик не задерживался. Его показания дали повод для инцидента.

— Я был свидетелем всего происшествия, — заявил он. — И видел, что полицейский заблуждается: его никто не оскорблял. Я подошел к нему и сказал об этом. Полицейский зеленщика не отпустил, а мне предложил проследовать с ним в участок. Так я и поступил, сделав повторное заявление комиссару.

— Можете сесть. Служитель, вызовите вторично свидетеля Матра, — сказал председатель. — После того как вы, Матра, арестовали обвиняемого, разве доктор Матье не указал вам, что вы не правы?

— Как же, он вдобавок оскорбил меня, господин

председатель.

— Что он вам сказал?

— Он сказал: «Смерть легавым».

В зале поднялся шум, раздались смешки.

— Можете идти, — поспешно сказал председатель.

И тут же предупредил публику, что велит очистить зал, если столь неприличные выпады будут повторяться. Защитник между тем уже победоносно потрясал широкими рукавами мантии, да и все говорило за то, что Кренкебиль будет оправдан.

Когда порядок был водворен, поднялся мэтр Лемерль. Защитительную речь он начал с дифирамба агентам префектуры, «этим скромным слугам общества, которые за смехотворное вознаграждение не щадят своих сил, непрестанно подвергаются опасности, проявляя повседневный героизм. В прошлом они были солдатами, солдатами они и остались. Солдаты — этим словом сказано все...».

И мэтр Лемерль с заученным пафосом занесся в превыспренние рассуждения о воинских доблестях. Он относит себя к тем, возгласил защитник, кто не позволит посягнуть на честь армии, французской армии, он горд своей причастностью

к ней.

Председатель склонил голову.

Мэтр Лемерль действительно был лейтенантом запаса и вдобавок числился кандидатом от националистов в староодриетском округе.

— Да, я ни в коей мере не отрицаю скромных, но ценных услуг, изо дня в день оказываемых блюстителями порядка нашим добрым парижанам, — продолжал он, — и я ни за что не согласился бы защищать перед вами Кренкебиля, если бы считал его оскорбителем бывшего солдата. Согласно обвинению мой подзащитный будто бы крикнул: «Смерть легавым». Смысл этого выражения неоспорим. Перелистайте словарь базарного жаргона, вы там увидите: «лега» — лежебок, лентяй, кто лежит лежнем, вместо того чтобы работать. Легаш — кто предался полиции, сыщик, доносчик. «Смерть легавым» — ходячее выражение в определенной среде. Тут весь вопрос в том, как Кренкебиль его употребил? Более того — употребил ли вообще. Разрешите, господа, усомниться в этом.

Я далек от подозрения, что полицейский Матра покривил душой. Но, как сказано, работа у него трудная. Он бывает утомлен, раздражен, измучен. В таких условиях не исключается, что он

стал жертвой слуховой галлюцинации. И когда он заявляет во всеуслышание, что доктор Давид Матье, кавалер ордена Почетного легиона, старший врач больницы имени Амбруаза Паре, что этот светоч науки и человек общества крикнул: «Смерть легавым!» — нам приходится признать, что Матра страдает навязчивыми идеями, и даже не побоюсь сказать — одержим манией преследования.

Пусть даже Кренкебиль и крикнул «Смерть легавым!», важно выяснить, имеет ли это выражение в его устах преступный оттенок. Кренкебиль — незаконный сын уличной торговки, загубленной развратом и пьянством, он родился алкоголиком. Взгляните, шестьдесят лет нищенской жизни довели его до отупения. Согласитесь, господа, что он не отвечает за свои поступки.

Мэтр Лемерль сел, а председатель Бурриш, небрежно роняя слова, зачитал решение суда, по которому Жером Кренкебиль приговаривался к двухнедельному тюремному заключению и к пятидесяти франкам штрафа. В своих выводах суд опирался на показания полицейского Матра.

Когда Кренкебиля вели по длинным мрачным коридорам дворца Правосудия, ему страстно захотелось, чтобы кто-нибудь пожалел его. Он

повернулся к своему конвоиру и три раза окликнул его:

— Унтер… А унтер! Слышь, унтер?

И вздохнул:

— Сказали бы мне две недели назад, что со мной стрясется такое! — Затем добавил: — До чего шибко они говорят, господа-то. Хорошо говорят, только шибко. Никак с ними не столкуешься. Правда, унтер, говорят уж очень шибко?

Но солдат шагал, не отвечая, не поворачивая головы.

— Чего же ты не отвечаешь? — спросил Кренкебиль.

Солдат и на это промолчал.

— С собакой и то разговаривают. А вот ты со мной не говоришь. Рта ни разу не раскрыл — не боишься, что завоняется? — с горечью сказал Кренкебиль.

IV

В защиту председателя Бурриша

Кое-кто из публики и двое-трое адвокатов покинули зал, после того как приговор был зачитан и секретарь уже объявил следующее дело. Ухо-

дившие ни словом не обмолвились о случае с Кренкебилем, сразу же выкинув его из головы. Один лишь Жан Лермит, гравер, мастер офорта, случайно забредший во дворец Правосудия, задумался над тем, что увидел и услышал. Обло-котясь о плечо мэтра Жозефа Обарре, он начал так:

— Председатель Бурриш достоин похвалы хотя бы за то, что не дал воли праздному любопытству и обуздал в себе ту умственную гордыню, которая тщится все познать. Сопоставляя противоречивые показания полицейского Матра и доктора Давида Матье, судья вступил бы на зыбкий путь сомнений. Метод изучения фактов, основанный на законах критического мышления, несовместим с исправным ходом судопроизводства. Если бы судья имел неосторожность прибегнуть в своих выводах к этому методу, ему пришлось бы полагаться на личную проницательность, как правило скудную, и на обычную немощь человеческого разума. Какой вес имели бы такие выводы? Надо признать, что исторический подход отнюдь не придает делу необходимой достоверности. Достаточно вспомнить случай с Уолтером Ралеем.

Однажды, когда Уолтер Ралей, заточенный в лондонском Тауэре, по обыкновению, работал

над второй частью своей «Всемирной истории», у него под окнами началась потасовка. Он пошел посмотреть на драчунов и вернулся к работе, уверенный, что запомнил все подробности происходившего. Но когда назавтра он заговорил об этой сцене с одним своим другом, свидетелем и даже участником ее, тот опроверг все его наблюдения. Сделав отсюда вывод, сколь трудно дознаться истины о событиях далекого прошлого, когда и происходившее непосредственно на его глазах ускользнуло от него, он бросил свою рукопись в огонь.

Будь судьи так же совестливы, как сэр Уолтер Ралей, они бросали бы в огонь все результаты следствия. Но они не смеют так поступать. С их стороны это было бы отрицанием правосудия, а значит, преступлением. Итак, установить правду нельзя, но не судить тоже нельзя. А кто требует, чтобы судьи в своих приговорах опирались на последовательное изучение фактов, тех надо считать злокозненными лжемудрецами, враждебными как гражданской, так и военной юстиции. Обладая судейским складом ума, председатель Бурриш в своих решениях никогда не станет опираться на разум и науку, выводы которых служат предметом нескончаемых споров.

Свои приговоры он обосновывает догмами и подпирает традицией, что уподобляет их заповедям церкви. Приговоры его равноценны канонам. Я хочу этим сказать, что он руководствуется рядом неколебимых канонических положений. К примеру, свидетельские показания он оценивает отнюдь не по зыбким и обманчивым признакам правдоподобия и сообразия с человеческой натурой; ему важно, чтобы они были категоричны, незыблемы и самоочевидны. Вес оружия придает им весомость. Что может быть и проще и умнее? Он считает неоспоримым свидетельство полицейского, чьи человеческие качества ему безразличны и в ком он видит чисто отвлеченный идеал блюстителя порядка, числящийся по спискам парижской полиции. Ему вовсе не кажется, что Матра (Бастьен), уроженец Чинто-Монте (Корсика), не способен ошибаться. Он никогда не думал, что Бастьен Матра наделен исключительной наблюдательностью и умением строго и точно анализировать факты, Собственно говоря, для него существует не Бастьен Матра, а полицейский номер шестьдесят четыре. Он знает, что человеку свойственно ошибаться. Любой из простых смертных может ошибаться. Могли же ошибаться Декарт и Гассенди, Лейбниц

и Ньютон, Биша и Клод Бернар. Все мы то и дело ошибаемся. Поводов для заблуждений у нас множество. Восприятия чувств и суждения разума служат источником самообмана и причиной неуверенности. Нельзя доверять свидетельству одного человека: «Testis unus, testis nullus». А порядковому номеру следует верить. Бастьен Матра из Чинто-Монте не огражден от заблуждений. Но вне своей человеческой сущности, как понятие, как полицейский номер шестьдесят четыре, он ошибаться не может. Понятие не содержит в себе ничего от природы людей, от того, что их смущает, развращает, вводит в соблазн. Оно беспорочно, неизменно, едино. Потому-то суд без раздумия отверг свидетельство доктора Давида Матье, всего лишь человека, отдав предпочтение словам полицейского номер шестьдесят четыре, ибо он есть идея в чистом виде, луч, упавший от престола божия на свидетельскую скамью.

Поступая таким образом, председатель Бурриш обеспечивает себе ту единственную форму непогрешимости, какая достижима для судьи. Когда человек, дающий показания, вооружен саблей, прислушиваться надо к сабле, а не к человеку. Человек достоин презрения и способен ошибаться. Саблю же презирать нельзя, она всегда права.

Председатель Бурриш всецело проникся духом законов. Общество опирается на силу, и силу нужно уважать, как священную основу всякого общества. Сила правит с помощью правосудия. Председатель Бурриш знает, что в полицейском номер шестьдесят четыре есть частица верховной власти. Власть живет в каждом из своих слуг. Подорвать авторитет полицейского номер шестьдесят четыре — значит пошатнуть основы государства. Съесть листик артишока — значит съесть артишок, как выражается своим возвышенным слогом Боссюэ («Политика, извлеченная из Священного писания», passim[4]).

Мечи всякого государства направлены в одну сторону. Обратив их друг против друга, можно сокрушить республику. Вот почему обвиняемый Кренкебиль был по всей справедливости приговорен к двум неделям заключения и к пятидесяти франкам штрафа на основе показаний полицейского номер шестьдесят четыре. Мне кажется, я слышу, как председатель суда Бурриш самолично приводит высокие и благородные доводы, внушившие ему такой приговор. Я слышу, как он говорит: «Я осудил этого субъекта единодушно

---

[4] Примечания: 4
Повсюду *(лат.)*.

с полицейским номер шестьдесят четыре, поскольку полицейский номер шестьдесят четыре является порождением государственной власти. Чтобы понять всю мудрость моего поведения, вообразите обратный случай. И вам станет ясно, как бы это было нелепо. Если бы вынесенный приговор шел вразрез с силой, его бы не исполнили. Заметьте, господа, что судьям повинуются лишь тогда, когда сила на их стороне. Без жандармов судья был бы жалким мечтателем. Возражая жандарму, я только повредил бы себе и, кстати, вступил бы в противоречие с духом законов. Отнять оружие у сильных и отдать его слабым — значит изменить тот общественный строй, который я призван охранять. Закон утверждает вошедшее в обиход беззаконие. Разве правосудие поднимало когда-нибудь голос против победителей, разве ставило препоны узурпаторам? Когда кто-то незаконно присваивает себе власть, правосудию достаточно признать ее, чтобы она стала законной. Самое главное — форма, и вину от невиновности отделяет всего только листок гербовой бумаги.

От вас, Кренкебиль, зависело взять верх. Если бы вы, крикнув: «Смерть легавым!», провозгласили себя императором, диктатором, президентом

республики или хотя бы муниципальным советником, будьте уверены, я не приговорил бы вас к двум неделям заключения и к пятидесяти франкам штрафа. Я не наложил бы на вас никакого взыскания, можете в этом не сомневаться».

Такую речь, несомненно, держал бы председатель Бурриш, ибо он наделен юридическим складом ума и знает, в чем долг судейского чиновника перед обществом, чьи основы он защищает строго и последовательно. Правосудие — категория социальная. Одни только смутьяны ищут в нем человечности и сострадания. Его отправляют, руководствуясь твердо установленными нормами, а не болью душевной и не светом разума. А главное, не требуйте от него справедливости: раз оно — правосудие, ему не обязательно быть справедливым. Более того, идея справедливого правосудия могла зародиться лишь в анархическом мозгу. Конечно, председатель суда Маньо выносит решения по совести, но их объявляют недействительными, как того и требует правосудие.

Настоящий судья оценивает свидетельские показания на вес оружия. Это имело место и в деле Кренкебиля, и в других более громких процессах.

Так рассуждал г-н Жан Лермит, шагая из конца

в конец по залу ожидания.

Мэтр Жозеф Обарре, хорошо знакомый с судебными нравами, ответил, почесывая кончик носа:

— Лично я полагаю, что председатель суда Бурриш не трудился взбираться на такие отвлеченные высоты. По моему разумению, он воспринял показания полицейского номер шестьдесят четыре как формулу истины и, не задумываясь, сделал то, что делали до него. Причину большинства человеческих поступков нужно искать в подражании. Кто строго следует обычаям, тот всегда будет считаться порядочным человеком. Честными людьми называют тех, что поступают как все.

V

О подчинении Кренкебиля законам Республики

Когда Кренкебиля привели обратно в тюрьму, он сел на приделанную к стене скамейку, еще не опомнившись от растерянности и восхищения. Он и сам не был уверен, что судьи ошиблись. Свои тайные изъяны суд скрыл от него за внешней торжественностью. Ему казалось немыслимым,

что прав-то он, а не господа чиновники, чьи аргументы были ему непонятны; он не мог представить себе, чтобы в столь пышной церемонии была какая-то неувязка. Ни в церковь, ни в Елисейский дворец он не ходил и никогда в жизни не видел ничего великолепнее, нежели заседание уголовного суда. Он отлично помнил, что не кричал «Смерть легавым!». А раз его присудили к двум неделям заключения за то, что он якобы так кричал, значит, здесь была какая-то непостижимая тайна, вроде догматов церкви, которые слепо принимаются верующими, туманное и ослепительное откровение, благодатное и грозное.

Бедный старик признавал себя повинным в том, что какими-то загадочными путями оскорбил полицейского № 64, как мальчуган на уроке закона божия берет на себя вину за грехопадение Евы. Приговором ему было внушено, что он кричал: «Смерть легавым!» Следовательно, он и вправду таинственным, непонятным ему самому образом кричал «Смерть легавым!». Он очутился в мире сверхъестественных явлений. И приговор предстал ему неким апокалипсисом.

Как непонятно было ему преступление, не более понятно было ему и наказание. Он воспринял обвинительный приговор как торжественное

обрядовое действо, такое непостижимое в своем ореоле, что ни оспаривать его, ни кичиться им, ни обижаться нельзя. Если бы в этот миг председатель Бурриш, с сиянием вокруг чела, на белых крыльях спустился к нему сквозь щель в потолке, это новое проявление судейского могущества не поразило бы его. «Дело мое продолжается», — только и сказал бы он.

На следующий день к нему пожаловал его защитник.

— Ну как, голубчик? Не очень приуныли? Мужайтесь! Две недели пройдут незаметно. Нам особенно жаловаться не на что.

— Это да, господа судьи уж такие были обходительные, такие деликатные — грубого словечка не промолвили. Ни в жизнь бы не поверил, А вы видали? Солдат белые перчатки натянул.

— Если все взвесить, мы правильно решили сознаться.

— Все может быть.

— Я принес вам приятную весть, Кренкебиль. Нашелся добрый человек, который с моих слов принял в вас участие и передал вам через меня пятьдесят франков для уплаты наложенного на вас штрафа.

— А вы когда мне их отдадите?

— Будьте покойны, я внесу их в судебную канцелярию.

— Ладно. Все равно, скажите от меня спасибо тому человеку.

И Кренкебиль задумчиво добавил:

— Чудно как-то все получилось со мной.

— Незачем преувеличивать, Кренкебиль. Ваш случай далеко не единичный.

— А не скажете вы, куда они запроторили мою тележку?

VI

Кренкебиль перед лицом общества

Кренкебиль отсидел свой срок и вновь катил тележку по Монмартрской улице, выкрикивая: «Капуста, репа, морковь!» От своего приключения он не испытывал ни гордости, ни стыда. И вспоминал о нем без тягостного чувства. Как будто все это происходило в театре, в путешествии, во сне.

Он радовался, что снова месит грязь парижской мостовой и над головой видит небо, набухшее дождем, грязное, как сточная канава, милое небо родного города. Он останавливался на каждом перекрестке, чтобы промочить горло; а потом,

довольный и свободный, поплевав на шершавые ладони, снова брался за оглобли и толкал тележку, а перед ним воробьи, такие же ранние пташки-горемыки, добывавшие себе пропитание на мостовой, вспархивали стаей от его обычного выкрика: «Капуста, репа, морковь!» Подошла знакомая старуха хозяйка и, перебирая сельдерей, обратилась к разносчику:

— Что с вами было, дядюшка Кренкебиль? Почитай, три недели не показывались. Уж не расхворались ли? Бледный вы какой-то.

— Признаюсь вам, я немножко побарствовал, мадам Майош.

Ничего не изменилось в его жизни, только что он чаще обычного заглядывает в кабачок, — ему кажется, что праздник продолжается и он водит знакомство со щедрыми людьми. К себе в чулан он возвращается навеселе. Лежа на тюфяке и натянув на себя вместо одеяла мешки, одолженные торговцем каштанами с ближнего угла, он размышляет: «На тюрьму грех жаловаться, там все есть, что требуется. А дома как-никак лучше».

Радость его оказалась недолгой. Вскоре он заметил, что покупательницы чураются его.

— Сельдерей хорош, мадам Куэнтро!

— Мне ничего не нужно.

— Как так — ничего? Вы ведь не воздухом сыты?

А г-жа Куэнтро, не удостоив его ответом, надменно вплывала в свою булочную. Лавочницы и консьержки, прежде обступавшие его расцвеченную свежей зеленью тележку, теперь отворачивались от него. Добравшись до сапожной мастерской под вывеской «Ангел-хранитель», откуда пошли его распри с правосудием, он крикнул:

— Мадам Байар, а мадам Байар, вы остались мне должны пятнадцать су!

Но г-жа Байар, восседавшая за прилавком, даже не потрудилась повернуть голову.

Вся Монмартрская улица была осведомлена, что старик Кренкебиль отсидел в тюрьме, и вся Монмартрская улица знать его не желала. Слух о вынесенном приговоре долетел до улицы Фобур-Монмартр, вплоть до шумного перекрестка улицы Рише. Тут Кренкебиль около полудня увидел свою неизменную и щедрую покупательницу, мамзель Лору; она стояла нагнувшись над тележкой сопляка Мартена и выбирала кочан капусты. Волосы ее сверкали на солнце пышным пучком золотых нитей. А сопляк Мартен, лодырь и дрянь, клялся, положа руку на сердце, что луч-

шего товара не найти.

От этого зрелища у Кренкебиля зашлось сердце. Он наехал своей тележкой на тележку Мартена и срывающимся жалобным голосом сказал мамзель Лоре:

— Нехорошо с вашей стороны изменять мне.

Мамзель Лора и сама признавала, что она не графского рода и о полицейском фургоне, а также о кутузке получила представление не в высшем свете. Но честным можно быть в любом сословии. У каждого человека есть свое достоинство, и никому не охота знаться с проходимцем, только что выпущенным из тюрьмы. А посему она ответила Кренкебилю гримасой отвращения. Старик разносчик, рассвирепев от обиды, рявкнул:

— Потаскуха ты эдакая!

Мамзель Лора выронила из рук кочан и заверещала:

— Ишь ты, старый одер! Сам в тюрьме отсидел, а туда же, порядочных людей срамить!..

Если бы Кренкебиль владел собой, он ни за что не попрекнул бы мамзель Лору ее профессией. Долголетний опыт научил его, что занимаются в жизни совсем не тем, чем хочется, ремесла себе не выбирают, а хорошие люди найдутся повсюду. У него хватало ума не интересоваться, как живут

дома его покупательницы, и никого не осуждать. Но тут он не помнил себя. Трижды обозвал он мамзель Лору потаскухой, паскудой и шлюхой. Мамзель Лору и Кренкебиля уже обступили любопытные, а те продолжали обмениваться столь же смачными ругательствами и готовились исчерпать весь свой запас, если бы не внезапно выросший перед ними полицейский; при виде его неподвижной безмолвной фигуры они мигом застыли, замолкли и разошлись в разные стороны. Но этот эпизод окончательно погубил Кренкебиля в мнении улицы Фобур-Монмартр и улицы Рише.

VII

Результаты

Старик поплелся прочь, ворча себе под нос:

— Ну и верно, что девка, самая что ни на есть гулящая девка.

Но в глубине души он не в этом ее винил. И не презирал за ее ремесло. Он даже питал к ней уважение за бережливость и рассудительность. Бывало, они любили потолковать друг с другом. Она рассказывала ему о своих родных, живущих

в деревне. И оба они мечтали вслух завести садик с огородом и разводить кур. Хорошая была покупательница! Когда же он увидел, как она торгует капусту у сопляка Мартена, у дряни, у лодыря, у него самого все нутро перевернулось, а от ее брезгливой мины кровь бросилась в голову, и тут, конечно!..

А главная обида, что не она одна отмахивалась от него, как от паршивого пса. Никто больше знать его не желал. Как и мамзель Лора, им гнушались, его избегали и булочница г-жа Куэнтро, и г-жа Байар, хозяйка «Ангела-хранителя», и все прочие. Словом, вся общественность.

Как же так? Засадили человека на две недели в темную, а теперь ему и пореем торговать нельзя! Где же тут справедливость? Неужто честному человеку надо с голоду подыхать за то, что у него вышла заминка с полицейскими шавками? Раз нельзя торговать овощами, выходит — ложись и помирай.

Как горчит нестойкое вино, так в нем накапливалась горечь обиды. Поругавшись с мамзель Лорой, он ругался со всеми. Придираясь к безделке, он по-всякому обзывал покупательниц и, смею уверить, в выражениях не стеснялся. Стоило им не сразу выбрать товар, он тут же величал

их крикушами и сквалыгами; а в кабачке рычал на собутыльников. Приятель его, торговец каштанами, не узнавал прежнего Кренкебиля и только твердил, что старый хрыч стал чистым аспидом.

И в самом деле, он становился злыдней, задирой, несдержанным на язык горлопаном. Дело в том, что, убедившись в несовершенстве общества, он не мог с легкостью профессора, читающего лекции в Школе нравственных и политических наук, излагать свои взгляды на порочность государственной системы и на необходимость реформ, и мысли в его голове не текли чинно и плавно.

Беда сделала его несправедливым. Он отыгрывался на тех людях, которые вовсе не желали ему зла, а зачастую и на тех, кто был беспомощнее его. Однажды он дал оплеуху Альфонсу, сынишке виноторговца, когда тот спросил у него, хорошо ли сидеть в кутузке.

— Ах ты, гаденыш! Твоему бы отцу сидеть в кутузке, а не богатеть на торговле отравой, — ответил старик, давая оплеуху.

Ни слова, ни поступок не служили к его чести; ибо, как справедливо поставил ему на вид торговец каштанами, нельзя бить ребенка и попрекать его отцом, которого он себе не выбирал.

Кренкебиль пил теперь горькую. Чем меньше он зарабатывал, тем больше пропивал. Прежде был он бережлив и воздержан, а теперь и сам поражался такой перемене.

— В жизни не бывал транжирой, — говорил он. — Видно, к старости теряешь разум.

Временами он сам осуждал себя за нерадивость и беспутство:

— Ты, дед, только и знаешь, что опрокидывать шкалик.

А временами пытался себя обмануть, внушая себе, что пьет пользы ради:

— Иногда мне позарез нужно пропустить стаканчик, чтобы набраться сил и освежиться. Что-то у меня в животе печет, ничем, кроме как спиртным, его не остудить.

Нередко теперь он опаздывал на утренние торги, и ему отпускали в кредит подпорченный товар. Однажды, почувствовав, что ноги у него подгибаются и сердце обмирает, он оставил тележку в сарае и весь божий день протоптался у лотка торговки требухой г-жи Розы и у всех рыночных кабаков. Вечером, сидя на первой попавшейся корзине, он задумался и осознал, до какого дошел падения. Вспомнил свои молодые силы и давние труды, вспомнил утомительную

работу и отдельные удачи бессчетных, одинаковых, заполненных без остатка дней. Вот он задолго до рассвета шагает взад-вперед по рыночной площади, дожидаясь начала торгов; охапками собирает овощи, искусно раскладывает их на тележке; обжигаясь, проглатывает на ходу чашечку черного кофе у тетки Теодоры и крепкой рукой берется за оглобли; крик его, звучный, как пение петуха, сотрясает утренний воздух, и бодро катит он тележку по людным парижским улицам. Так прошла его жизнь, безобидная и трудная жизнь человека лошадиного ремесла, пятьдесят лет кряду доставляющего на своем подвижном лотке свежую лепту плодовых садов иссохшим от забот и бессонных ночей горожанам. Покачав головой, он вздохнул:

— Нет, прежней отваги мне не вернуть. Конченый я человек. Повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сложить. А после судебных моих дел я и вовсе переменился. Что говорить, другим человеком стал.

Словом, он потерял всякую власть над собой. Человек в таком состоянии будто лег на землю, и нет у него сил подняться. И каждый, кто пройдет, только норовит пнуть его.

VIII

Конечные результаты

Пришла нищета, лютая нищета. Прежде старик торговец приносил с улицы Фобур-Монмартр кошелек, туго набитый серебряными монетами, теперь же у него не бывало и гроша. Наступила зима. Из чулана его выгнали, и он ночевал в сарае под тележками. Дождь шел три недели подряд, сточные канавы переливались через края, и сарай затопило.

Свернувшись в своей тележке над лужами зловонной влаги, в компании пауков, крыс и голодных кошек, он размышлял в темноте. Весь день он ничего не ел; мешков из-под каштанов, чтобы укрыться, у него больше не было, и ему припомнились те две недели, в течение которых он имел кров и пищу иждивением казны. Его взяла зависть к арестантам, которые не терпят ни холода, ни голода, и у него явилась мысль:

— Раз я знаю способ, почему бы не попытаться?..

Он поднялся и вышел на улицу. Было часов около одиннадцати, стояла промозглая тьма.

Сеял холодный моросящий дождь, пронизывая хуже всякого ливня. Редкие прохожие жались по стенам.

Кренкебиль обогнул церковь св. Евстахия и свернул на Монмартрскую улицу. На ней было совсем безлюдно.

Один только полицейский торчал на панели у подножья храма под газовым фонарем, по которому бежали бурые струйки дождя и падали на капюшон полицейскому. Тот, как видно, совсем продрог, но либо предпочитал свет мраку, либо устал ходить; так или иначе, он упорно стоял под своим фонарем, быть может видя в нем товарища и друга; один этот колеблющийся огонек помогал ему коротать время в безлюдной ночи. В неподвижности полицейского было что-то нечеловеческое: отражение его сапог в мокрой панели, казавшейся озером, непомерно удлиняло его ноги, придавая ему издали вид земноводного чудовища, наполовину поднявшегося из волн. Вблизи же с капюшоном на голове и с оружием в руках он казался иноком-воином. Крупные черты его лица, еще увеличенные тенью капюшона, выражали беззлобную грусть. Густые подстриженные усы уже тронула седина. Это был старый служака, человек лет сорока.

Кренкебиль бесшумно подкрался к нему и чуть слышно пролепетал:

— Смерть легавым!

И стал выжидать, каково будет действие заповедных слов. Но никакого эффекта не последовало. Полицейский не шелохнулся, не проронил ни звука. Он стоял, скрестив на груди руки, и широко раскрытые блестящие во мраке глаза его грустно, пристально и презрительно смотрели на Кренкебиля.

Кренкебиль растерялся, но, собрав остатки решимости, промямлил:

— Я же вам говорю: смерть легавым!

Наступила долгая пауза, только тонкие бурые струйки дождя сочились в ледяной мгле. Наконец полицейский прервал молчание:

— Так говорить не положено… Ни в коем разе не положено. А по вашим-то годам тем более надо соображать. Ступайте своей дорогой.

— Почему же вы меня не задержите? — спросил Кренкебиль.

Полицейский помотал головой под мокрым капюшоном.

— Рук не хватит забирать всех пьянчужек, которые городят, что не положено. Да и на что это нужно?

Подавленный таким великодушным презрением, Кренкебиль долго стоял обеими ногами в луже и тупо молчал, но, прежде чем уйти, он сделал попытку объясниться:

— Я не вам сказал: «Смерть легавым!» И никому другому. У меня была своя мысль…

Полицейский внушительно, но мягко возразил:

— Мысль там или что другое, все равно это не дело. Когда человек мается и свой долг отправляет, нельзя оскорблять его почем зря… Повторяю вам, ступайте своей дорогой…

Свесив руки и поникнув головой, Кренкебиль поплелся в темень и мокроту.

ОКТАВ МИРБО
(1850–1917)

Мирбо родился в нормандском городе Тревьер, в мелкобуржуазной семье. Окончив иезуитский коллеж, в чине лейтенанта участвовал во франко-прусской войне. Получил юридическое образование, но избрал профессию публициста. В 70-е годы Мирбо выступает защитником монархизма и католичества. Однако в начале 80-х годах он переходит на крайне левые позиции, с которых и начинает вести яростную критику общественной жизни во Франции. Апогей его политической активности приходится на 1896–1908 годы, когда Мирбо оказывается в лагере дрейфусаров, участвует в социалистических и анархистских изданиях.

Яркое сатирическое дарование Мирбо отчетливо проявилось уже в первой его книге — сборнике рассказов «Письма из моей хижины» (1886), где изображение отупляющего и жестокого быта нормандского крестьянства окрашено горькой иронией.

Романам Мирбо «Голгофа» (1887), «Аббат

Жюль» (1888), «Себастьян Рок» (1890), в значительной мере автобиографическим, присущи остроиндивидуальное мироощущение и крайняя психологическая напряженность; в них проявилась склонность писателя к парадоксальности, эротике, к изображению болезненных состояний.

В отличие от первых романов, где внимание Мирбо сосредоточено на судьбе главного героя, в его прозе конца 90-х — начала 900-х годов («Сад пыток», 1899; «Дневник горничной», 1900; «Двадцать один день неврастеника», 1902) усиливаются нравоописательные мотивы: центральный персонаж оказывается здесь критически настроенным наблюдателем нравственно и физически извращенной жизни буржуазии.

Как драматург Мирбо впервые выступил в 1897 году (пьеса «Дурные пастыри»). Его выдающимся успехом явилась сатирическая комедия «Дела есть дела» (1903). Злая критика буржуазии содержится и в пьесе «Очаг» (1908). В последние годы жизни писатель не создал значительных произведений.

В творчестве Мирбо заметны тенденции, позволяющие сопоставить его с писателями-натуралистами, — в частности, с Золя. Но если Золя, стремившийся к монументальности, по-

рой создавал персонажи, величественные даже в своих преступлениях, то Мирбо показывает буржуазное общество измельчавшим, живущим в атмосфере трусливой лжи, гаденького порока и нравственного гниения.

Рассказы Мирбо были объединены в сборники уже после его смерти. В них заметны устойчивый интерес писателя к жизни крестьянства, лаконизм, точность характеристик.

Octave Mirbeau: «Lettres de ma chaumiere» (Письма из моей хижины»), 1886; «La pipe de cidre» («Бочка сидра»), 1918; «La vache tachetee («Пятнистая корова»), 1918; «Chez l'illustre ecrivain» («У знаменитого писателя»), 1919.

Рассказ «Лишние рты» («Les bouches inutiles») входит в сборник «Бочка сидра».

Г. Косиков

Лишние рты

Перевод О. Моисеенко

В тот день, когда стало ясно, что папаша Франсуа больше не может работать, его жена, бойкая

женщина с блестящими глазами скупердяйки, много моложе своего старика мужа, сказала ему:

— Чего уж там! Какой прок изводить себя с утра до ночи?.. Всему приходит конец на этом свете… Ты, поди, старее, чем мост на нашей речке… Тебе ведь под восемьдесят… Спина-то совсем не гнется, задеревенела, ни дать ни взять, ствол старого вяза… Надо же понимать, что к чему… отдыхай…

И в тот вечер она не дала ему есть.

Когда папаша Франсуа увидел, что ни хлеба, ни кувшина с питьем нет на столе, как обычно, на сердце у него захолонуло. Он проговорил дрожащим от обиды голосом, в котором звучала мольба:

— Я есть хочу… жена… дай-ка мне горбушечку…

Она ответила беззлобно:

— Есть хочешь?! Беда мне с тобой, горемыка ты несчастный… Но я-то тут при чем?.. Коли человек не работает… он не имеет права есть. Ведь так?.. Человек, который не работает, тот и не человек вовсе… он как есть ничто… хуже камня при дороге… хуже сухого дерева под окном…

— Но раз я не могу… ты же знаешь… — возразил старик, — я бы с охотой поработал… да не могу я… руки и ноги больше не слушаются…

— Я не в укор тебе говорю!.. Не моя ж это вина, сам подумай!.. Надо во всем поступать по справедливости… Я по справедливости поступаю… Пока ты работал, ты ел… Перестал работать, значит, и есть больше не будешь… Вот и все дела!.. Тут ничего не скажешь!.. Это все равно как дважды два — четыре. Неужто ты оставил бы на конюшне старую, ни на что не годную клячу, дал бы ей сена, да еще овса полную кормушку насыпал?.. Неужто оставил бы?..

— Ясное дело, не оставил! — честно признался папаша Франсуа, которого, казалось, сразила беспощадная верность этого сравнения…

— Вот видишь, понимать надо, что к чему!..

И посоветовала насмешливо:

— Коли голоден, соси кулак, а другой оставь про запас!..

Женщина ходила по комнате, очень бедной, но чистой, старательно прибирала ее, чтобы меньше дел осталось на завтра, — ведь теперь придется работать за двои х, — и, боясь потерять хотя бы минуту, торопливо впивалась острыми зубами в кусок серого хлеба и в незрелое яблоко, которое подобрала, видно, во дворе, под деревьями.

Старик грустно взглянул на нее крошечными мигающими глазками, которые, вероятно, впер-

вые увлажнились слезами. И почувствовал, как пронизало его до самых костей безмерное гнетущее отчаяние: он знал, что никакие рассуждения, никакие мольбы не смягчат эту душу, более твердую, чем камень. Знал он также, что и сама она, не колеблясь, подчинилась бы тому страшному закону, который применила к нему, ибо была сурова, груба и откровенна, как преступление. И все же он нерешительно проговорил, злобно кривя рот:

— У меня же припасено кое-что про черный день…

— Что у тебя припасено?.. Что?.. Уж не рехнулся ли ты, прости господи?! Ежели мы тронем наши денежки, к чему это поведет, подумай-ка, а?.. Да и сын-то что скажет? Ведь мы для него откладывали… Нет, нет… Будешь работать — получишь хлеба, не будешь работать — ничего не получишь!.. Это правильно… Так и должно быть!..

— Ладно… — пробурчал папаша Франсуа.

Он умолк, жадно устремив глаза на пустой стол, который отныне всегда будет пуст для него… Он находил это жестоким, но в глубине души все же считал справедливым, ибо его первобытная душа так и не поднялась из глухого мрака Природы до гармоничного единения человеческого Эгоизма

и Любви.

Он с трудом встал на ноги, кряхтя от боли: «Ох, поясница моя, ох, поясница!» — и заковылял в свой чулан, вход в который зиял перед ним, черный, как могила.

Эта зловещая минута должна была наступить для него, как наступила она прежде для его отца с матерью, которым он так же беспощадно отказал в хлебе, когда руки их уже не могли больше работать. Зачем было кормить лишние рты? Уже давно он чувствовал приближение этой минуты. По мере того как убывали его силы, сокращалась и скупо отпускаемая ему еда. Сперва его лишили мяса, которое они с женой ели по воскресеньям и четвергам, затем ежедневной порции овощей. А теперь очередь дошла до хлеба, но и тот вырвали у него изо рта. Он не жаловался и приготовился умереть молча, без единого стона, словно старое-престарое растение, чьи высохшие стебли и гнилые корни уже не в состоянии впитывать соки земли.

Он никогда не видел снов, а в эту ночь ему приснилась их последняя коза. Это была очень старая кроткая коза, вся белая, с черными рожками и остроконечной бородой, похожей на бородку каменных чертей, весело резвящихся на церков-

ном портале. Она долго приносила хорошеньких козлят и давала жирное молоко, потом чрево ее стало бесплодным, и молоко иссякло. Однако она не нуждалась ни в корме, ни в подстилке и никому не мешала: привязанная к колышку неподалеку от дома, день-деньской щипала траву на выгоне, гуляла, натягивая до отказа веревку, и радостно блеяла при виде людей, проходящих вдали по тропинке. Он мог бы дать ей умереть собственной смертью. Но он зарезал ее однажды утром, так как должно исчезнуть или умереть все, что перестало приносить пользу, будь то в виде молока, семян или труда человеческих рук. И он снова видел перед собой глаза козы, их покорный удивленный взгляд, мягкий взгляд, полный кроткого угасающего упрека, когда, зажав ее между колен, он полоснул еще раз по окровавленному горлу. Папаша Франсуа пробудился под впечатлением этого сна и прошептал:

— Правильно это… Человек есть человек, как и коза есть коза… Тут ничего не скажешь… Все правильно!..

Папаша Франсуа не жаловался, не протестовал. Он не вышел больше из чулана, не встал с кровати. Он лежал на спине с закрытыми глазами, вытянув ноги, прижав руки к телу,

неподвижный, как мертвец. В этом положении он не страдал от боли в пояснице, ни о чем не думал, погруженный в безвольное оцепенение, в беспрерывную дремоту, которая уносила его далеко от земли, далеко от этого убогого ложа, обволакивая нескончаемой беловатой пеленой, среди которой вспыхивали маленькие красные молнии и кишмя кишели крошечные огненные жучки. И от его постели несло смрадом, словно он лежал на навозной куче.

Уходя утром в поле, жена запирала его на три поворота ключа. Вечером, возвратившись домой, она не разговаривала с ним, даже не смотрела на него, а ложилась на соломенный тюфяк возле кровати и сразу погружалась в тяжелый сон, в беспробудный сон без сновидений. На заре она принималась хлопотать по хозяйству с той же спокойной деловитостью, с той же любовью к чистоте и порядку.

В следующее воскресенье она собрала пожитки мужа, починила их и тщательно сложила в шкафу. Вечером она привела священника соборовать старика, так как видела, что конец его близок.

— Что с папашей Франсуа? — спросил священник.

— Старость пришл а, — отрезала женщин а. —

Смерть пришла… Ничего не поделаешь, настал черед и этого бедняги.

Священник помазал руки и ноги старика святым миром и прочел положенные молитвы.

— А ведь он собирался еще пожить… — сказал священник перед уходом.

— Настал его черед!.. — повторила женщина.

И, войдя на следующий день в чулан, она уже не услышала слабого хрипа, того булькающего звука, который вырывался из горла старика, словно из опорожняемой бутылки. Женщина пощупала его лоб, грудь, руки и ощутила их холод.

— Кончился! — проговорила она растроганно и вместе с тем с оттенком глубокого почтения.

Веки папаши Франсуа открылись в минуту предсмертной агонии, и стали видны мутные, незрячие глаза. Она закрыла их быстрым движением большого пальца, затем несколько секунд задумчиво смотрела на труп.

«Он был степенный человек, бережливый, работящий, — думала она. — Не пил, не гулял… потрудился на своем веку… Обряжу покойника как полагается… надену на него новую рубашку, свадебный костюм… покрою белой простыней… А потом, ежели сын захочет… можно купить ему место на кладбище сроком на десять лет… как

какому-нибудь богачу...»

АЛЬФОНС АЛЛЕ
(1854–1905)

Шарль-Альфонс Алле, чье творчество в современной Франции пользуется большой популярностью, родился в городе Онфлёр (Нормандия), в семье аптекаря. Оставив занятия фармакологией, активно сотрудничал во многих периодических изданиях 80—90-х годов, проявив себя незаурядным юмористом. При жизни Алле было издано несколько сборников его рассказов, а также юмористические «романы» «Дело Блеро» (1899) и «Captain Кап» (1902). Роман «Бумеранг» был опубликован посмертно. Произведения Алле, не включенные им в сборники, вошли в полное собрание его сочинений, изданное в 60-е годы.

Внешне невозмутимый, однако едко ироничный и эксцентричный не только в литературе, но и в жизни, Алле не был воспринят всерьез современниками, видевшими в нем безобидного зубоскала: его юмор сильно отличался от привычного «французского остроумия». После смерти он был прочно и надолго забыт. Из забвения его извлек Андре Бретон, поместивший несколько рассказов

Алле в своей «Антологии черного юмора» (1939). Но настоящая известность пришла к писателю только в последние десятилетия, когда стало ясно, что его юмор созвучен манере мышления таких литераторов 40—60-х годов нашего столетия, как Жак Превер, Борис Виан, Эжен Ионеско.

Алле с тонкой издевкой, создающей впечатление легкого балагурства, высмеивает тупость и самодовольство процветающего обывателя, его страх перед малейшими переменами. Прибегая к своим излюбленным приемам — показу примелькавшихся вещей и явлений под неожиданным углом зрения и к созданию алогичных ситуаций, — Алле как бы выворачивает мир наизнанку, исподтишка бросая вызов обыденному «здравому смыслу». Немногословность и непринужденность тона, умение увлечь читателя при помощи неожиданных сюжетных ходов и остроумных комментариев делают Алле мастером короткого рассказа.

Alphonse Allais: «A se tordre» («Животики надорвешь»), 1891; «Vive la vie!» («Да здравствует жизнь!»), 1892; «Parapluie pour l'escouade» («Зонтик для отряда»), 1894; «Deux et deux font cinq» («Дважды, два

— пять»), 1895; «On n'est pas des boeufs» («Мы не скотина»), 1896; «Le bec en l'air» («Задрав нос»), 1897; «Ne nous frappons pas» («Не будем драться»), 1900.

Рассказ «Совсем как принц, или Охотник до шику» («Comme le prince ou un monsieur chic») входит в сборник «Мы не скотина», рассказ «Воспламенил-таки...» («Allumons la bacchante») — в сборник «Животики надорвешь», рассказ «Приданое» («La dot») впервые напечатан в журнале «Жиль Блаз иллюстре» в 1896 году (в 1970 году опубликован в «Oeuvres posthumes», t. VIII).

Г. Косиков

Совсем как принц, или Охотник до шику

Перевод Н. Жарковой

Просмотрев утренние газеты, герцог Онно де ля Люнри позвонил лакею.

— Изволили звать, господин герцог?

— Ах, это вы, Жан!.. Немедленно пришлите ко мне садовника. Я хочу с ним поговорить.

— Слушаюсь, господин герцог.

Прошло несколько минут, которые герцог Онно сумел использовать с толком: поднялся с постели и натянул подштанники, но тут как раз явился садовник.

— Ах, это вы, Доминик!.. Будьте добры, немедленно свалите в парке четыреста деревьев.

В голове Доминика промелькнула — правда, только промелькнула — более чем здоровая мысль: его высокородный хозяин герцог Онно де ля Люнри из вполне нормального идиота внезапно превратился в слабоумного кретина.

— Четыре сотни деревьев? — пробормотал он.

— Да, друг мой, именно четыре сотни! Немедленно выкорчуйте в парке четыреста деревьев! А то мы и так уже запоздали.

Но садовник только тупо твердил:

— Четыре сотни!.. Четыре сотни деревьев!

Тут герцог потерял терпенье:

— Да, именно четыре сотни, болван вы этакий!

— А… а… каких?

— Конечно, не мелкоту какую-нибудь, а старые деревья! Самые шикарные во всем парке!

— Четыре сотни!.. Четыре сотни деревьев!..

Герцог снисходительно улыбнулся, до того нелепо выглядел этот тупоголовый Доминик.

— Вот этого-то, милейший, вам никогда не по-

нять. Принца знаете?

— Какого еще принца?

— Да принца же, черт бы вас побрал! Принцев у нас не сорок штук… Есть только один принц!

— Ясно.

— Так вот, друг мой, принц уже не принц, он король, император! Король моды, император шика! Его фантазии и капризы для всех нас закон, подлежащий немедленному исполнению.

— Ясно.

— Когда принц стал носить монокль на широкой муаровой ленте, что, по-вашему, я сделал?

— Мне-то почем знать!

— Так вот, я тоже стал носить монокль на широкой муаровой ленте… И это тем более похвально с моей стороны, что в жизни монокль у меня в глазнице не держался. Но я хочу поступать, как принц.

— Ясно.

— А когда принц вздумал кататься на велосипеде, что, по-вашему, я сделал?

— Тоже небось начали кататься.

— Вот именно! И лишь господу богу известно, что один вид велосипеда приводил меня в священный трепет! Но я хотел быть таким, как принц.

— Только никак я в толк не возьму, при чем тут четыре сотни деревьев?

— Сейчас я вам все объясню, милейший. Принц велел срубить в Булонском лесу четыреста деревьев. Ну, я тоже хочу срубить у себя в парке четыреста деревьев, чтобы быть таким, как принц.

— Ясно!.. Пойду дровосеков скликать.

И наш славный садовник, вертя в мозолистых руках свою убогую рабочую каскетку, пятясь, выбрался из геральдической спальни хозяина.

Но, видно, известное выражение «задним умом крепок» не просто вымысел поэтического воображения, так как Доминик повернул обратно. Через несколько минут он осторожненько постучал в двери спальни.

— Войдите!

— А может, господин герцог разрешат мне сделать одно замечаньице?

— Валяйте, старина!

— Господин герцог желает быть, как принц?

— Ну конечно же.

— Точь-в-точь как принц?

— Конечно.

— Может, господин герцог разрешат мне заметить, что, ежели они будут валить деревья,

валить в своем парке, они не будут как принц, принц-то ведь велел валить не свои деревья, эти деревья никогда в жизни его деревьями не были, а господин герцог порубают деревья в своем собственном поместье, на своих собственных землях.

— Совершенно верно, милый мой Доминик. Что же нам теперь делать?

— Оставить деревья в покое.

— Мои личные деревья — согласен!.. Но чужие? Ага, идея! Сейчас же соберите дровосеков и срубите мне четыреста деревьев в казенном лесу.

— Да неужто стражники так вот и будут сидеть и смотреть на наши бесчинства?

— А вы, Доминик, возьмите все на себя. Напишите префекту письмо и подпишитесь «Доминик, подрядчик», — другими словами, растолкуйте ему, что действовали без моего приказания. А я, в свою очередь, тоже напишу префекту и предложу ему посадить хоть тысячу деревьев, где ему угодно. Вот тогда я буду как принц.

Будучи философом от природы, Доминик удалился, бормоча себе под нос:

— Ну что ж, раз как принц, — значит, как принц!

Воспламенил-таки…

Перевод Н. Жарковой

Богач — любитель живописи с пристрастием разглядывал картину.

А ведь хорошая была картина, только-только вышедшая из-под кисти художника, и изображала она обнаженную вакханку, дерзко изогнувшую стан.

О том, что это была именно вакханка, свидетельствовала гроздь винограда, которую девица закусывала своими прелестными зубками, а также и виноградная лоза, небрежно запутавшаяся в кудрях, потому что ни одна уважающая себя вакханка — или даже не совсем уважающая — ни за что не покажется на люди без этого украшения.

Богач был доволен, но… доволен он не был. Молодой художник с трепетом ждал его приговора.

— Господи боже мой… — говорил богач, — а ведь это действительно прекрасно… даже совсем неплохо… головка прелестна… грудь тоже… и хорошо выписана… от вашей грозди винограда прямо слюнки текут… но… но… у вашей вакханки… как бы поделикатней выразиться… не слишком вакханистый вид.

— А вам пьяную бабу подавай? — рискнул возразить художник.

— Ну, так уж и пьяную… но… как бы поделикатней выразиться… зажигательную.

Художник помолчал и только поскреб затылок.

В данном случае любитель был прав. Вакханка действительно была сама прелесть, но для вакханки чересчур походила на пансионерку.

— Так вот, мой юный друг, — заключил капиталист, — поработайте-ка над ней еще пару часиков. Завтра я к вам загляну. А пока что попытайтесь… как это я сказал?

— Воспламенить вакханку!

— Вот именно, именно воспламенить.

И ушел наш капиталист.

«Что ж, воспламеним вакханку, — мужественно решил про себя молодой художник, — воспламеним».

Моделью ему служила ослепительная натурщица восемнадцати лет, бесспорная обладательница самой красивой груди града Парижа и его окрестностей. Полагаю, если бы она позировала вам хотя бы один-единственный раз, на других вы и глядеть не захотели бы.

Личико под стать груди, а все прочее под стать

личику. Значит…

Так-то так, но холодновата…

Однажды, когда она позировала Гюставу Буланже, сей прославленный мэтр, потеряв терпение, заорал:

— Да побольше огня, черт тебя подери! Ведь я не статую для Академии с тебя леплю!..

(Шутка, между нами, не совсем уместная, особенно в устах члена Академии.)

Юный художник рысцой бросился к своей натурщице.

Девица еще спала.

Он растормошил ее, силком поднял с постели, помог ей одеться, причем все это с чисто профессиональной корректностью, и увел к себе.

Была у него своя идея.

У него же они и позавтракали.

Все, что стояло на столе, было переперчено, а шампанское лилось рекой, словно раскрылись хляби небесные.

А после завтрака, поверьте мне, если уж говорить о зажигательных вакханках, то зажигательней не было.

Юный художник тоже находился на грани самовозгорания.

Натурщица приняла полагающуюся позу.

— Вот это то, что надо, черт возьми! — воскликнул художник.

— Еще бы тебе не то!

Стан свой девица изогнула, пожалуй, чуть больше, чем требовал того художественный замысел. На щеках у нее играл румянец. Бесконечно нежный, розовый оттенок подчеркивал — о, лишь слегка подчеркивал! — лебединую белизну ее царственной груди. Веки были опущены, но из-под длиннейших ресниц поблескивал смеющийся лукавый взгляд серых глаз. Между несравненно пурпуровых губок влекуще светился влажный перламутр великолепных зубов.

Когда на следующее утро явился богач, он обнаружил студию на запоре.

Он поднялся этажом выше и стал долго и нудно стучать в дверь квартиры художника.

— Вакханка! — канючил он. — Где моя вакханка?

Тут из глубины алькова — так, по крайней мере, почудилось любителю живописи — донесся голос самой вакханки:

— Еще не закончена!..

Приданое

Перевод Н. Жарковой

Воскресенье, примерно часов шесть.

Интересно, заметили вы или нет вот какое обстоятельство: когда в Париже стоит жара, воскресные вечера жарче, чем во все прочие дни недели, что бы там ни показывал термометр.

Говорите, не заметили? Не важно. Просто вы человек ненаблюдательный.

Итак, продолжаем.

Шесть часов. Как раз в это время парижане, которым средства не позволяют раскошелиться на приличный обед, атакуют террасы кафе и, не торопясь, цедят аперитив, странный и загадочный напиток, мерзкий на вкус, но зато без промаха губительно действующий на желудок.

Если проглотить всего две порции этого пойла, голода уже не чувствуешь и вполне можешь за обедом удовлетвориться половинной порцией. В наши безденежные времена очень и очень стоит задуматься над этим способом экономии!

Я сидел на террасе кафе где-то на бульварах, а передо мной красовалась бурая жидкость, выпускаемая, без всякого сомнения, фирмой «Борджиа

и К°».

За соседний столик уселись двое — господин и дама, господин — явно муж дамы. Дама заказала вермут-кассис, а господин — абсент-анис.

Дама заказала свой вермут-кассис таким тоном, каким заказала бы что угодно. Господин заказал свой абсент-анис тоном неизбывной усталости.

«Дайте мне абсент, — казалось, говорит он, — о нет, нет, не для того, чтобы захмелеть, а для того, чтобы хоть немного забыться и вырваться прочь — пусть хоть всего на четверть часа — из стен этой ужасной фабрики бритв, каковая и есть, в сущности, жизнь!»

Наш любитель абсента был очень авантажный мужчина лет под тридцать, просто и изящно одетый, с живым умным лицом, но как же он скучал, бедняга!

Я человек воспитанный и никогда не позволю себе сказать про даму, что она уродлива или даже просто недостаточно миловидна. Ограничусь посему замечанием: дама господина любителя абсента была просто-напросто безобразна. Физическое уродство еще усугублялось нелеподерзким и неприязненным выражением лица. А все вместе было облечено в вычурный, но безвкусный туалет, что делало его обладательницу

неприемлемой по всем пунктам.

О, как я понимал отчаяние этого бедняги! Будь я на его месте, достанься мне такая подруга жизни, я пил бы абсент не стаканами, пил бы его бочками, морями, океанами!

Их беседа долетала до меня только отрывками, но, судя по агрессивной физиономии жены и по усталому виду мужа, я догадался, что супружеской идиллией здесь и не пахнет.

Вдруг господин как-то сразу переменился в лице, всем своим видом показывая, что он по горло сыт этой семейной трапезой.

Осушив залпом вторую половину стакана (первая была выпита предварительно), он сложил руки, посмотрел жене прямо в глаза:

— А не пойдешь ли ты подальше? (Слово «подальше» я написал для приличия, так как на самом-то деле господин употребил совсем иной термин.)

Уродливая дама слегка обомлела от этой неожиданной выходки.

— Да, да, — продолжал господин, — опять ты начинаешь меня пилить. Хватит мне твоих упреков и намеков!

— Моих намеков?

— Да, именно твоих намеков! Если не ошиба-

юсь, ты ведь имела в виду свое приданое?

— Но, друг мой…

— Приданое, приданое! Давай поговорим о твоем приданом. Славное же у тебя приданое! Знаешь, сколько за тобой дали?

— Сто тысяч франков.

— Именно сто тысяч франков! А знаешь, какой доход приносят твои сто тысяч, твои знаменитые сто тысяч франков?

— Точно не знаю…

— Не знаешь? Так вот я тебе сейчас скажу: твои знаменитые сто тысяч франков приносят три тысячи франков ренты, и это не считая расходов!

— Но, друг мой…

— А знаешь, сколько дают в день три тысячи ренты?

— Но, друг мой…

— Всего девять франков пятьдесят. Слышишь? Де-вять-фран-ков-пять-де-сят-сан-ти-мов!

— Но, друг мой…

— Ладно. Округлим цифру, получится десять франков… Десять франков в день. Знаешь, сколько это будет в час?

— Но, друг мой…

— Десять франков в день, в час это будет сорок сантимов. Вот оно, твое приданое. Восемь су в

час. Откровенно говоря, ты не переплатила!

— Вы меня оскорбляете!

— Держи, вот тебе восемь су, плачу их в погашение твоего приданого за шестьдесят минут свободы. Сейчас половина седьмого. Вернусь в половине восьмого…

— Вы просто хам!

— И предупреждаю, если обед не будет шикарным в полном смысле этого слова и если ты будешь корчить такую же рожу, я найду, где пообедать. Конечно, я выплачу тебе часть твоего приданого из расчета того времени, сколько продлится мое отсутствие. До свидания, дорогая.

Господин, уплатив за два аперитива, удалился, а жена сидела и тупо разглядывала лежавшие перед ней восемь су.

ЖОРЖ КУРТЕЛИН
(1858–1929)

Куртелин (настоящее имя — Муано) родился в провинции Ту-рень. Учился он в парижском колледже; воинскую службу проходил в полку конных егерей; простился с юностью на пороге одной из министерских канцелярий, куда его пристроил отец, практичный человек и удачливый литератор. Открывался верный путь, дотянув до пенсии, на старости лет зажить, «как все», в свое удовольствие. Но молодой человек принялся на досуге сочинять стихи, рассказы и печатать их. Он словно раздвоился: по службе продвигался Жорж Муано, а в литературных кругах росла известность насмешника Куртелина. До тех пор пока он высмеивал курьезы казарменного быта («Эскадронные забавы», 1886) и потрафлял обывателю, падкому на пикантные сценки («Жены, друзей», 1888; «Ветрогоны», 1893), ему все сходило с рук. Но художник все же пересилил в нем робость осмотрительного чиновника: в 1894 году Муано подал в отставку. Сбросив шутовской колпак забавника и пустомели, Куртелин ирони-

зировал над чинушами («Канцелярские крысы», 1892), по-мольеровски остроумно рассчитался с исподличавшимся буржуа (фарс «Бубурош», 1893), вступился за реформатора французской сцены Андре Антуана в разгар его борьбы за реалистический репертуар. Идиотизм частной жизни взбесившегося парвеню — объект холодного сарказма Куртелина в классическом фарсе «Буленгрены» (1898). Пристрастный характер буржуазного судопроизводства обнажен им в гротескном скетче «Статья 330-я» (1900). В «Обращении Альцеста» (1905) Куртелин «воскресил» мольеровского героя, дабы. тот вновь удостоверился, что невозможно примириться со злобным эгоизмом торжествующих мещан. Пьесы Куртелина шли с успехом на сценах «Свободного театра» и «Театра Антуана». Независимый художник; чиновник, над которым измываются все, кому не лень; девушка на побегушках, — словом, обыкновенные люди, вот кому симпатизировал Куртелин. Им и посвятил он свою последнюю комедию — «Кувшин» (1909). Сатира и ирония писателя, его парадоксы («Философические мысли Куртелина», 1917) метили не в человека вообще, а в институты и пороки собственнического общества.

Georges Courteline: «Les gaietes de I'escadron» («Эскадронные забавы»), 1886; «Lidoire et Biscotte» («Лидуар и Бискот»), 1892.

Рассказ «Епитимья» («La penitence») входит в «Les oeuvres completes. Les Linottes suivies de Tente Henriette», P., Bernouard, 1926.

В. Балашов

Епитимья

Перевод О. Пичугина

Запирая старую церковь, аббат Бурри дважды повернул огромный ключ в замочной скважине, но вдруг лицо его омрачилось, и он замер, еще не отняв пальцев от щеколды, всем видом своим выражая удивление и ожидание. Одной ногой он уже ступил на булыжную мостовую деревенской площади, и приподнявшаяся пола рясы открывала взору обтянутую черным чулком лодыжку и пряжку на туфле.

— Постойте, погодите малость, господин кюре! Мне бы исповедаться, а?

Из соседней улочки вихрем вылетела одна

из местных жительниц, по имени Клодина, и остановилась перед ним, умоляюще протягивая к нему руки. Она так спешила, что сердце колотилось у нее в висках, а самый край платка в белую и лиловую клеточку, повязанного вокруг ее головы, побурел надо лбом от пота. Лиловые шашечки на платке — такие испокон века носили здешние женщины — размылись и потускнели от совокупного действия воды и щетки на мостках, которыми сообща пользовались сельские прачки.

Старый священник нетерпеливо повел рукой:

— Помилуй господи! Кто же в такое время исповедуется!

— Да вот раньше не управилась...

Кюре рассердился.

— Весьма сожалею, приходите в другой раз!

Но Клодина глядела на него жалобными глазами, и он сказал:

— Э-э-э, старая песня! Первым делом коровы да свиньи, а уж потом бог, если останется время! Ступайте, голубушка, придете на той неделе. Я зван сегодня ужинать в замке, к шести часам, так что мне некогда нас слушать. До свидания.

Женщина притворно захныкала:

— Как же быть, господи? Как же быть! Уж так

мне хочется причаститься на страстную пятницу…

— На страстную пятницу? — повторил несчастный кюре и умолк.

Какое-то мгновение чувство долга боролось в нем с боязнью опоздать к ужину, где, как и всегда под страстную субботу, хозяева будут угощать постным мясом с душистыми приправами. Все же чувство долга возобладало.

Сжав губы, кипя от тихого бешенства, он дважды повернул тяжеленный ключ уже в противоположную сторону. Крестьянка вслед за ним переступила порог церкви. Приблизившись к главному алтарю, скромно украшенному букетами искусственных цветов из коленкора под стеклянными часовыми колпаками, священник поставил перед ним соломенный стул, подхваченный в спешке, на ходу, пока он торопливо пробирался между рядами кресел в приделе, уселся на него и приказал:

— Станьте на колени!

Клодина повиновалась.

— Осените себя крестным знамением и читайте «Исповедуюсь».

Будто язык ее сорвался с привязи, Клодина начала отбарабанивать молитву, как прилежная

ученица затверженный урок. Слова безостановочно слетали с ее губ.

Священнику пришлось вмешаться:

— Ну, хорошо, довольно, исповедуйтесь в ваших грехах.

Женщина молчала.

— Дочь моя, прошу вас поторопиться, — нетерпеливо сказал кюре, — у меня совсем не остается времени. Надеюсь, вы никого не убили, не ограбили? Может быть, лгали? Предавались чревоугодию? Пренебрегали молитвой или оскверняли язык нечестивыми речами? Так ступайте с миром и не грешите более. Отпускаю вам грехи ваши во имя отца, и сына, и святаго духа.

Он уже вставал со стула, когда кающаяся, не поднимаясь с колен, тихо проговорила:

— Я еще того похуже натворила, батюшка.

— Вот как? Говорите же, я слушаю вас!

— Я, батюшка, это… ну… — лепетала Клодина, опуская голову, — я… я… я с парнем спуталась…

— О, проклятье! — простонал священник. — Что я слышу, дочь моя!

Руки у него так и опустились. Он был до такой степени поражен, что невольно нарушил тайну исповеди:

— Вы тоже!.. И вы тоже!.. Этого только не хвата-

ло! Всего-то и было на всю округу две порядочные женщины, Жанна Марешалиха да вы… А теперь и вы туда же!.. Помилуй господи, что ж это такое!

От возмущения священник не находил слов. Немного погодя он спросил:

— Когда случилась с вами эта беда?

— Да вот уж месяц будет, батюшка, да, ровнехонько месяц. Как раз в середине марта.

— С кем же?

Она назвала имя соблазнителя.

— Мерзавец! — проворчал аббат, затем осведомился: — И сколько же раз за этот месяц вы… ну, сами знаете, что?

— Одиннадцать раз, батюшка.

— Одиннадцать!

Число показалось ему чудовищным. Словно проклиная блудницу, он воздел руки и уже открыл рот, готовясь заклеймить порок, как вдруг часы пробили три четверти, и под церковными сводами гулко отдались три удара, какие издают обыкновенно деревенские часы, три тягучих дребезжащих удара, как бы исходящих от надтреснутого чугунного котла. Бой часов напомнил кюре о действительности, и он быстро проговорил, торопясь кончить дело:

— Вы хотя бы раскаиваетесь?

Женщина воскликнула:

— Известно, раскаиваюсь! Как же не раскаиваюсь! Обрюхатил ведь меня стервец-то этот!

— Так вот, ступайте домой. — продолжал аббат, сделав вид, будто не слышал последних слов, — четыре раза прочитайте «Отче наш» и четыре раза «Пресвятая дево», а завтра приходите причащаться. Скорее, скорее, дочь моя, поспешим.

Он подобрал свою треугольную шляпу, положенную им на пол подле стула. Грешница поднялась на ноги. Но в эту минуту в ярко освещенном дверном проеме, сквозь который видна была залитая солнцем деревенская площадь, возник женский силуэт. Это была белокурая, неизменно веселая Жанна, супруга счастливчика Марешаля, такая дородная толстуха, что при каждом шаге груди ее под просторной кофтой колыхались, как тяжелые грозди спелого винограда.

Аббат вскричал:

— Нет, нет, хватит с меня!

Но Жанна невозмутимо продолжала свой путь. Ей тоже хотелось исповедаться и причаститься на страстную пятницу, и она с насмешливым удивлением спросила, уж не собирается ли сам кюре отвратить прихожанок от исполнения их священного долга. Сраженный ее доводом, бед-

няга в совершенном отчаянии рухнул на стул, схватил Жанну за руку и почти швырнул ее на колени перед собой, торопливо бормоча:

— Ну что, ну что там у вас такое? Что вы хотите мне сказать? Может, вы тоже изменили мужу?

Не говоря ни слова, Жанна трижды наклонила голову.

Кюре так и подскочил:

— А, пропади ты пропадом! Час от часу не легче! О, чертов народ! Чертов народ!

Наконец он спросил:

— Давно ли вы изменяете вашему бедному мужу?

— Да уж месяц будет.

— Так я и знал! О, чертова весна! Чертова весна! Каждый год та же история! Сколько раз вы согрешили?

— Семь раз, батюшка, — ответствовала Жанна.

Старый кюре пребывал, видимо, в совершенной растерянности. Он переспросил:

— Семь раз, говорите? Вы сказали, семь раз?

Подняв глаза, священник начал считать, стараясь найти справедливое соотношение между епитимьей, наложенной на Клодину, и наказанием, которому следовало подвергнуть Жанну.

— Так, одиннадцать относится к семи, как че-

тыре относится к иксу. Одиннадцать пополам… одиннадцать пополам… Помилуй, господи, угораздило же вас с этими нечетными числами! Значит, одиннадцать пополам будет пять с половиной, а семь пополам будет…

Часы пробили шесть.

Священник вскочил со стула, словно его хлестнули бичом.

— Ну, вот что, милочка, если вы думаете, что у меня есть время заниматься алгеброй и составлять пропорции, то вы ошибаетесь! Идите-ка вы домой. Прочитайте четыре раза «Отче наш», четыре раза «Пресвятая дево» и еще четыре раза измените мужу. Счет как раз и сойдется.

МАРГЕРИТ ОДУ
(1863–1937)

Тысяча девятьсот десятый год стал для Парижа годом литературной сенсации: премия «Femina» была присуждена автору романа «Мари-Клер», вышедшего с восторженным предисловием Октава Мирбо. Однако имя самого автора — Маргерит Оду — ни читателям, ни критикам решительно ничего не говорило: ведь Оду была не профессиональной писательницей, а простой портнихой. Ее детство прошло в сиротском приюте, отрочество — на ферме, познакомившей ее с тяжелым трудом батрачки, а вся остальная жизнь — в Париже, где ценой упорных усилий Оду открыла крохотную швейную мастерскую.

История первого романа Оду, явившегося одним из ранних свидетельств прихода в литературу людей из народа, необычна. В начале 900-х годов она познакомилась с группой молодых интеллигентов, среди которых выделялись писатели Шарль-Луи Филипп и Леон-Поль Фарг. Мечты о социальном равенстве, сочувствие к беднякам, умение за будничным существованием «малень-

кого человека» разглядеть значительность его внутренней жизни, некоторая сентиментальная растроганность — вот атмосфера, характерная для умонастроений группы и как нельзя более близкая духовному миру Маргерит Оду. Сначала Оду и не помышляла о книге: записи, которые она вела тайком от всех, были скорее своеобразными мемуарами или обращенным в прошлое дневником, куда она заносила воспоминания о своей нелегкой жизни. Лишь друзья, случайно обнаружившие тетрадки Оду, убедили ее в том, что из-под ее пера выходит настоящее литературное произведение. Так возник роман «Мари-Клер». Он подкупал современников своей безыскусной простотой, искренностью и глубокой задушевностью.

Эти черты присущи и остальным произведениям Оду — романам «Мастерская Мари-Клер» (1920), «Из города на мельницу» (1926), «Нежный свет» (1937). Их герои — скромные труженики, описанные с глубокой симпатией.

Не случайно Оду ценили демократически настроенные писатели 20–30-х годов. В ее творчестве жизнь народа изображалась глазами самого народа, с точки зрения одного из его представителей. Именно это качество придало

принципиальную новизну и ценность творчеству Маргерит Оду.

Marguerite Audoux: «Le chaland de La Reine» («Ладья королевы»), 1910; «La fiancee» («Невеста»), 1932.

Рассказ «Невеста» входит в одноименный сборник.

Г. Косиков

Невеста

Перевод Н. Кулиш

После недолгого отпуска я возвращалась в Париж. Когда я приехала на вокзал, поезд был уже переполнен, и почти у каждого купе, в дверях, стоял человек, словно для того, чтобы никого больше туда не впускать. И все же я заглядывала в каждую дверь в надежде найти себе местечко. В одном купе место в углу действительно оказалось свободным, но оно было заставлено двумя большими корзинами, откуда торчали головы кур и уток.

Помедлив, я все-таки решила войти. Я извинилась за то, что придется подвинуть корзины, но

их владелец, мужчина в блузе, сказал мне:

— Подождите-ка, мадемуазель, сейчас я их уберу.

Он попросил меня подержать корзину с фруктами, стоявшую у него на коленях, а сам задвинул своих кур и уток под сиденье. Утки стали громко выражать неудовольствие, куры обиженно нахохлились, и жена крестьянина ласково заговорила с ними, называя каждую по имени.

Когда я села, а утки угомонились, пассажир, сидевший напротив меня, спросил крестьянина, не везет ли он птицу на рынок.

— Нет, сударь, — отвечал тот, — я везу ее сыну, мой сын послезавтра женится.

Лицо его сияло; он оглядывался кругом, словно хотел, чтобы все видели его радость.

Слова крестьянина привлекли внимание остальных пассажиров, и казалось, они тоже радовались, слушая его. Только старуха, которая сидела, обложившись тремя подушками, и одна занимала два места, принялась ворчать, что вот, мол, эти крестьяне вечно забивают вагон своими вещами.

Поезд тронулся, и пассажир, заговоривший с крестьянином, собрался было читать газету, но тут крестьянин обратился к нему:

— Мой сын живет в Париже, он приказчик, и невеста его тоже служит в магазине.

Тот, к кому он обращался, положил развернутую газету на колени и, придерживая ее рукой, подвинулся к краю скамейки.

— А что, невеста красивая? — спросил он.

— Да не знаем, — отвечал крестьянин, — не видали еще.

— Вот как! А вдруг она окажется некрасивой и не понравится вам?

— Ну что ж, и такое бывает, — сказал крестьянин, — только думаю, она нам понравится: наш сын любит нас и не возьмет себе некрасивую жену.

— И потом, — прибавила крестьянка, — раз она нравится нашему Филиппу, значит, понравится и нам.

Она повернулась ко мне, и глаза ее ласково улыбались. Глядя на ее свежее румяное лицо, трудно было поверить, что у нее взрослый сын, которому уже пора жениться. Она спросила меня, не еду ли я тоже в Париж, я ответила утвердительно, и тогда пассажир, сидевший напротив, принялся шутить.

— Наверняка, — сказал он, — мадемуазель и есть невеста вашего сына: просто она решила

поглядеть на родителей жениха, да так, чтобы они ни о чем не догадались.

Тут все стали смотреть на меня, я сильно покраснела, а крестьянин с женой сказали:

— Ну, если это так, мы были бы только рады.

Я попыталась разубедить их, но пассажир, сидевший напротив, напомнил присутствующим, что я дважды прошла вдоль всего поезда, словно разыскивая кого-то, и что я медлила перед тем, как подняться в купе. Все рассмеялись, а я смущенно объяснила, что только в этом купе нашлось свободное место.

— Ну и хорошо, — сказала крестьянка, — вы очень мне нравитесь, и я была бы довольна, если бы моя сноха оказалась такой, как вы.

— Да, — подхватил крестьянин, — не худо бы ей быть похожей на вас.

Пассажир, сидевший напротив, в восторге от своей шутки, сказал, лукаво поглядывая на меня:

— Вот увидите, так оно и будет. Приедете в Париж, а сын вам скажет: «Вот моя невеста!»

Он расхохотался, затем поудобнее устроился на скамейке и погрузился в чтение.

Немного погодя крестьянка повернулась ко мне, порылась в своей корзине, вытащила оттуда лепешку и предложила ее мне, сказав, что

испекла ее сегодня утром. Я не знала, как отказаться. У меня был насморк; преувеличив свое недомогание, я сказала, что у меня жар. Лепешка возвратилась на дно корзины.

Затем она угостила меня гроздью винограда, которую мне пришлось взять. Я с трудом отговорила крестьянина, все порывавшегося выйти на станции и принести мне чего-нибудь горячего.

Глядя на этих милых людей, исполненных готовности полюбить избранницу своего сына, я пожалела, что и на самом деле не прихожусь им снохой; я чувствовала, что их привязанность была бы для меня счастьем. Своих родителей я не знала и всегда жила среди чужих людей.

То и дело я ловила на себе их взгляды, которыми они будто ласкали меня.

Когда мы приехали в Париж, я помогла им выгрузить корзины и направилась с ними по перрону. Но, увидев высокого юношу, кинувшегося им навстречу, я отошла в сторону. Он обнял их и стал целовать то мать, то отца, и они улыбались ему. Они не слышали предупреждающих окриков носильщиков, чьи тележки с багажом то и дело грозили наехать на них.

Они двинулись к выходу, и я пошла следом за ними. Сын надел на руку корзину с утками, а

другой рукой нежно обнял мать. Он шел, наклонившись к ней, и громко смеялся над чем-то, что она ему рассказывала. Как и у отца, у него были веселые глаза и широкая улыбка.

На улице почти совсем стемнело. Подняв воротник пальто, я остановилась в нескольких шагах позади них, а их сын в это время пошел за фиакром.

Крестьянин погладил пеструю, всю в крапинках курицу, и я услышала, как он сказал, обращаясь к жене:

— Знали бы мы, что эта девушка — не наша сноха, уж мы бы непременно подарили ей Пеструшку.

Женщина тоже погладила Пеструшку и ответила:

— Да, если б мы знали…

Она указала на вереницу людей, выходивших из дверей вокзала, и, глядя вдаль, произнесла:

— Она где-то там, в этой толпе.

Тут вернулся их сын с фиакром. Он постарался поудобнее усадить родителей, а сам сел боком, рядом с извозчиком, чтобы все время видеть их. Он казался сильным и ласковым, и я подумала: счастливая же его невеста…

Когда фиакр скрылся из виду, я медленно побре-

ла по улицам: очень не хотелось возвращаться одной в свою комнатушку. Мне было двадцать лет, и никто еще не говорил мне о любви.

ЖЮЛЬ РЕНАР
(1864–1910)

Родился в деревне Шалон-дю-Мен (департамент Майенн), в семье подрядчика строительных работ. «Я внук крестьянина, который сам ходил за плугом», — не без гордости вспоминал Жюль Ренар. Учился он в пансионе города Невер, а с 1881 года — в столичном лицее Карла Великого. В 1886 году Ренар издает поэтическую книжечку «Розы». Год спустя заносив первую запись в свой «Дневник», которому суждено было стать его любимым детищем. Духовная атмосфера Франции на рубеже веков и размышления о жизни, назначении искусства, призвании писателя воплотились здесь с той афористичностью, которая делает Жюля Ренара наследником и продолжателем традиций Монтеня и Лабрюйера. Две темы прозвучали на первых же страницах «Дневника»: природа и стиль. Быть голосом самой природы, говорить «прокаленными словами» от лица всей живой жизни и защищать униженного человека, бедняка — вот призвание художника.

В 1888 году Ренар издает первую книгу новелл

— «Деревенское преступление». Год спустя он участвует в основании журнала «Меркюр де Франс».

Одну за другой создает он повести о своих отроческих годах, неустроенной юности и изъязвленном обидами детстве («Мокрица», 1890; «Прихлебатель», 1892; «Рыжик», 1894), книги рассказов о природе, о суровой жизни крестьян — «С потайным фонарем» (1893), «Виноградарь в своем винограднике» (1894), «Буколики» (1898). В лаконичных заметках и миниатюрных драмах он стремится к глубокому анализу социальной действительности, объективному воссозданию деревенских будней, согретому молчаливым сочувствием художника обыкновенному пахарю, всем обездоленным. Его нравственная заповедь: искать счастья в том, чтобы делать счастливыми других.

Когда разразилось дело Дрейфуса и был осужден Золя, поднявший голос в его защиту, возмущение и гнев овладели обычно сдержанным Ренаром. Вот его запись в «Дневнике» от 18 и 23 февраля 1898 года: «Дело Дрейфуса нас захватывает… Признаюсь, я почувствовал внезапный и страстный вкус к баррикадам». Протест против несправедливости обретает у художника осознанную и устойчи-

вую форму. Он начинает сотрудничать в газете «Юманите» — в ее первом номере, 18 апреля 1904 года, опубликован рассказ Ренара «Старуха», — всерьез размышляет о социализме. «Хотя я и не являюсь социалистом на практике, — записывает он в «Дневник», — я убежден, что в этом была бы для меня настоящая жизнь... Я не могу не думать о социализме. В нем — целый мир, и там надо не создавать себе положение, а отдавать всего себя».

В 900-е годы Ренара захватывает театр и общественная деятельность. Его пьесы. «Рыжик» (1900), «Господин Верне» (1903), «Святоша» (1909) шли в постановке Андре Антуана. Их автор большую часть времени проводил в деревушке Шитри, где в 1904 году его единодушно избрали мэром.

Всего себя отдал Жюль Ренар литературе, защите оскорбленных, пролагая новое русло реалистической литературе XX века во Франции.

Jules Renard: «Sourires pinces» («Натянутые улыбки»), 1890; «La lanterne sourde» («С потайным фонарем»), 1893; «Coquecigrues» («Россказни»), 1893; «Le vigneron dans sa vigne» («Виноградарь в своем винограднике»), 1894; «Histoires

naturelles» («Естественные истории»), 1896; «Bu-coliques» («Буколики»), 1898, 1905; «Mes freres farouches» («Мои свирепые братья»), 1908.

Рассказы «Роза» («La Rose») и «Орангутанг» («L'Orang») входят в сборник «Россказни»; «Налог» («L'impot») входит в сборник «Виноградарь в своем винограднике», «Сабо» («Les sabots») — в сборник «Буколики»; рассказ «Родина» («La patrie») впервые опубликован в «Юманите» 22 апреля 1904 года, входит в сборник «Буколики» (1905).

В. Балашов

Роза

Перевод Н. Жарковой

Подруга Марселя вошла и протянула ему розу; она любила Марселя за модное имя и за то, что он печатался в журналах.

— В такой холод розы — просто редкость, — сказала она. — Угадай, сколько она стоит?

— Она бесценна!

Он налил воды в голубую пузатую вазочку и

поставил в нее цветок.

— Смотри не погуби ее. Цветочница сказала, что в тепле роза может распуститься.

— Ну, что ж, увидим; у меня тепло.

— А ты, чем ты меня порадуешь? — спросила подруга. Она уселась у камина и, грея ноги, добавила: — Подарков мне не нужно. С меня достаточно какого-нибудь пустяка, маленького знака внимания, который женщине дороже, чем все царства и все золото мира… Ну, что-нибудь такое! Придумай сам. Мне кажется, на твоем месте я бы придумала. Видишь, какая я внимательная. Отплати мне тем же, милый!

— Подожди минуту. Ты будешь довольна.

Он схватил рукопись и, похлопывая себя линейкой по щеке, начал читать главу, ту самую, о которой говорят: «Не знаю, как остальное, но за это я, брат, ручаюсь!»

И так бывало всегда. Все унижения ничему его не научили. Сколько ни твердил он себе: «Не будь глупцом!» — каждый раз он снова начинал, как нищий, вымаливать у этой женщины восхищение.

Его голос, звеневший на первых фразах, скоро упал, и, как всегда, дойдя до того волшебного места, где слово облегает мысль вплотную, до

духоты, он остановился и недоверчиво, с испугом взглянул на подругу.

Губы ее были сжаты, глаз не видно, руки засунуты в широкие рукава. Она не сказала даже: «Конечно, мое мнение не так уж важно…»

Поистине, она позабыла оставить на камине, справа и слева от часов, две не нужные ей раковины — свои неслышащие уши.

Подруга замкнулась. Наглухо.

И Марсель упал духом. Но вдруг его наполнила нежность: в голубой пузатой вазочке раскрылась роза.

Какая прелесть! Вне себя от восторга, Марсель весь светился изнутри. Он снова чуть было не потерял голову; он бросился, чтобы с благодарностью сунуть нос в распахнувшийся цветок, но вовремя овладел собой, услышав голос подруги:

— Ага! Роза! Вот хорошо. Значит, цветочница меня не обманула.

Орангутанг

Перевод Н. Жарковой

— Просто поразительно, как хорошо мой муж представляет орангутанга, — говорит г-жа Борнэ.

Избранные гости — их не больше десятка — на-

чинают присматриваться к г-ну Борнэ. Сегодня в интимной обстановке им было рассказано несколько страшных историй.

— Самый удивительный рассказ, — говорит г-н Борн э, — по моему мнению, это «Убийство на улице Морг». Эдгар По так ловко все построил, что я лично, сколько ни читаю и ни перечитываю, никогда не догадываюсь, что это был орангутанг.

— Уверяю вас, — говорит г-жа Борнэ, — он подражает орангутангу так искусно, что в первый раз я просто стала звать на помощь.

— Это верно, — сказал г-н Борнэ, — она кричала как полоумная.

— Вы не шутите? — сказали дамы. — Вы действительно умеете показывать орангутанга?

— Но у него нет ничего общего с обезьяной!

— Нет, есть. Приглядитесь, когда он улыбнется.

Застенчивая дама попросила, опасаясь, что ее просьбу исполнят:

— Ах, покажите нам, хорошо?

Мужчины, слегка встревоженные, тоже хотели увидеть, чтобы убедиться. Г-н Борнэ покачал головой:

— Это так просто не делается: нужно быть в настроении и в соответствующем костюме. Я хочу сказать — без костюма.

Слова г-на Борнэ охлаждают любопытных. Дамы не решаются настаивать и говорят только:

— Как жалко! Нам бы так хотелось!

Но возмущаются, когда кто-то из этих господ предлагает:

— Если бы вы удалились ненадолго, чтобы нам, мужчинам, остаться одним!..

— Нет, нет. Это не выход.

— Послушайте, господин Борнэ, мы удовлетворимся двумя-тремя штрихами. Снимайте сюртук!

— Орангутанг в накрахмаленной рубашке! — презрительно промолвил г-н Борнэ. — Вы смеетесь надо мной, ей-богу!

— Поскольку, госпожа Борнэ, мы вышли из детского возраста, скажите, носит ваш супруг набрюшник?

— Носит, но коротенький.

— Вот-то не везет! Как же теперь быть?

— Господин Борнэ, вы неучтивы. Нам достаточно было бы намека. Засучите рукава до локтей. Прочее восполним воображением.

Господин Борнэ колебался — ему хотелось сыграть свою роль, но он боялся сыграть плохо. Польщенный, как певец, которого упрашивают: «Ну, хотя бы один куплет», — он наслаждался

устремленными на него взглядами, полуоткрытыми ртами, умоляющими жестами.

— Пусть будет по-вашему! — сказал он.

Он снял сюртук, аккуратно натянул его на спинку стула.

— Прошу вашего снисхождения, — заявил г-н Борн э. — Во-первых, моя жена преувеличивает или, может быть, ошибается. Во-вторых, я еще не представлял орангутанга публично. И, наконец, и это вас, несомненно, удивит, я никогда не видел орангутанга.

— Тем большая заслуга! — сказали ему.

Задвигали стульями. Приготовились трепетать. Дамы, прижавшись друг к другу, устроились за столом; мужчины нервно затягивались папиросой, окружая себя клубами дыма.

— Придется, во всяком случае, снять манжеты, — сказал г-н Борнэ. — Они будут мешать.

— Пожалуйста, пожалуйста! — взмолилась одна из дам, уже побледневшая от страха.

Господин Борнэ начал.

Это был настоящий провал! Иллюзия разлетелась, как пушинки одуванчика от небрежного щелчка… Толстый господин корчился до изнеможения. Он кривлялся, потел, размахивал жирными руками, поминутно обтягивал упол-

завший вверх жилет. Часы, выскользнувшие из маленького карманчика, болтались, перелетая с одного бедра на другое. Орангутанг? Какое там! Просто макака, безобидная и вульгарная. Женщины щипали друг дружку, подталкивали одна другую коленками, прятали лица в салфетки, а один из гостей так сильно сжал ляжку своего соседа, что тот подпрыгнул от боли.

Госпожа Борнэ показала себя тактичной супругой. Она сказала сухо:

— Мой бедный друг, у тебя не получается!

Господин Борнэ остановился, словно волчок, который пнули ногой.

— Вы сами виноваты. Я вас предупреждал. Нужно было меня слушаться.

— Успокойся, — сказала г-жа Борнэ, утирая ему лоб. — Надень галстук и пойди умойся.

Пристыженный, он ушел в ванную комнату.

— Прошу извинения за него, — сказала г-жа Борнэ.

Но гости, успокоенные, потому что отделались ожиданием испуга, старались ее утешить:

— Дорогая госпожа Борнэ, не принимайте это слишком близко к сердцу. В следующий раз господин Борнэ сумеет лучше. Ведь это так трудно! И потом, это было совсем не так уж плохо. Быть мо-

жет, дело в нас, другие сумели бы почувствовать.

Они встали, окружили ее, тронутые ее огорчением. Избегнув страшной опасности, дамы вздохнули свободней. Они весело болтали, оживленные, сияющие, как под лучами полуденного солнца.

Вдруг орангутанг появился. Он медленно прошел вдоль стен, и яркий свет гостиной померк. Спина его согнулась, голова ушла в плечи, нижняя челюсть отвисла. Налившиеся кровью глаза смотрели в пустоту. Руками он мял, душил что-то, скрючив пальцы.

Гости, растерянные, сбились в кучу и старались подавить крик ужаса, чтобы не перепугаться окончательно. Но и сам орангутанг сдерживал рвавшийся из глотки рев. Он, то сжимая, то разевая пасть, старался выказать свою бешеную злобу: зачем его изгнали из родных лесов? Он был еле виден в полутьме. Обойдя вокруг стола, он молча схватил нож и стал им размахивать, но не так, как опытные убийцы, а как зверь, неуклюжий, страшный уже тем, что он не умеет пользоваться доставшимся ему оружием. Сцена тонула во мраке черной ночи. Не слышно было даже стесненного дыхания зрителей. Орангутанг тяжело дышал им в лицо.

— Довольно, милый, довольно, — сказала г-жа Борнэ.

Она зажгла все лампы. Гости вздохнули с облегчением, почувствовав, как свет проникает до глубины их сердец, и кто-то из присутствующих, желая рассеять общую неловкость, зааплодировал первым.

— Браво, браво! Удивительный талант!

— Полный успех, — сказала г-жа Борнэ, зардевшись. — Ты был безупречен.

Дамы кричали:

— Я чуть не задохнулась от страха!

— Я думала, что умру!

— Я уверена, что не усну всю ночь!

— Ни за что не пойду домой в темноте, буду ждать рассвета.

Представление нагнало на них такой страх, что даже самые непоседливые присмирели, как ни хотелось им встать и уйти.

— Понравилось, значит? — спросил г-н Борнэ. — Очень рад! Я и сам доволен. Благодарю вас, от души благодарю. — И он скромно добавил: — Видите ли, самое главное — игра света. Я и сам понимаю, что это не бог весть какое искусство. Но, поверьте, в девяти случаях из десяти, что-то удается сделать.

Памятуя, что после любой трапезы на полу обязательно остаются хлебные крошки и мелкие косточки, носков он не снял, и теперь они сползли ему на лодыжки. Его собственное уродство дополнялось благоприобретенным. Он был в самозабвении, торжествовал, мстя за неудачу. Его редкие, мокрые от пота волосы блестели. Он сопел, и из его ноздрей двумя струйками валил пар, как из бака, где кипятят белье. Руки он держал на животе, напоминавшем набитый мешок. Он выслушал комплименты и скрылся в соседнюю комнату… надеть рубашку.

Налог

Перевод Н. Жарковой

— Текст точный, — сказал сборщик, обращаясь к Нуармье. — «Закон от семнадцатого июля тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, статья третья, параграф третий: отец и мать, имеющие семерых живых законных или усыновленных детей, не подлежат обложению подушным налогом и обложению движимости».

— Послушай-ка, — сказал жене Нуармье, — у нас уже шестеро ребят, живо сделаем седьмого и тогда не будем больше платить налогов.

Эта мысль вселила в них бодрость, им стало казаться, что они не такие уж несчастные, как все остальные. Нуармье работал по целым дням; кроме того, он собирал и даже подворовывал лес, а при случае и картошку, но он был честный малый.

Его вечно брюхатая жена без устали суетилась в пустом доме, и ни один ребенок у них не умирал. Седьмой явился, как спаситель, и в самые тяжелые минуты несчастной своей жизни Нуармье повторял спокойно и с облегчением:

— Будь что будет, а налогов нам больше не платить!

Но вот он снова получил белый листок бумаги, который предписывал ему внести в счет налога на следующий год девять франков пятьдесят.

— Текст правильный, — сказал опять сборщик: — «Закон от восьмого августа тысяча восемьсот девяностого года, пункт тридцать первый. Параграф третий статьи третьей закона о налогах от семнадцатого июля тысяча восемьсот восемьдесят девятого года изменен следующим образом: отец и мать, имеющие семерых живых несовершеннолетних законных либо усыновленных детей, подлежащие подушному налогу либо обложению движимости в сумме десяти франков

и ниже, будут освобождены от этого налога».

Итак, Нуармье, ваш налог — девять франков пятьдесят, — ниже десяти франков, и вы отец семерых законных живых детей, но не все они несовершеннолетние, потому что вашему старшему, Шарлю, уже исполнился двадцать один год, и он достиг совершеннолетия; следовательно, он вам ни к чему.

Нуармье слушал эти слова с унылым видом, как сонная лошадь.

— Понимаешь, в чем дело? — сказал он жене. — Я то понимаю; они просто передумали, и все тут.

Нет. Она не понимала, она была убита горем, да и он — чем больше он разъяснял ей доводы сборщика, тем меньше сам их понимал.

— Как! — закричала жена. — Что же, теперь, выходит, семеро все равно что шестеро, и мы должны платить каждый год, пока не протянем ноги, по девять франков пятьдесят налога? Не может этого быть! Разве мы виноваты в том, что наши дети растут?

Нуармье долго размышлял.

— Слушай, жена, — сказал он наконец. — Мне пришла в голову одна мысль. Надо заменить нашего ребенка, который не в счет, другим, и, если им так нужны несовершеннолетние, сделаем им

живехонько еще одного.

Сабо

Перевод Н. Жарковой

Нет, нет, не подумайте, что я явился в Париж обутый в сабо. Но вот из деревни я ушел действительно в сабо.

Давно уже я задумал перебраться на заработки в Париж.

Мать не соглашалась на мой отъезд и следила за мной; она боялась, что я вдруг исчезну, не испросив ее позволения.

Я вставал первым, и мать прислушивалась к моим шагам. Она слышала, как стучат сабо, и думала: «Не уйдет же он в сабо». Если я надевал штиблеты, она, вслушавшись, кричала мне со своей постели: «Куда это ты собрался в штиблетах? Сегодня, кажется, не праздник, ярмарки нет». Я отвечал: «Мама, я иду работать в поле; я надел штиблеты, потому что дождь и в поле, можно увязнуть».

И я уже не смел уйти.

Но однажды утром я вышел из дому с штиблетами под мышкой, стуча как можно громче моими сабо.

Отойдя подальше от деревни, я перебросил через забор, отгораживавший наш луг, свои сабо — в знак прощания — и пустился в путь, на Париж.

Когда мать привела корову на луг, она увидела пару сабо. Сначала она ничего не поняла, стала меня звать, вернулась домой, пошарила, мет ли там моих сабо, а потом, устав искать, уселась в уголок у камина, чтобы наплакаться вволю.

Из книги «Естественные истории»

Перевод Н. Жарковой

Охотник за образами

Встает он рано, но отправляется в путь только в такие утра, когда мысли его ясны, сердце чисто и тело легко, как летние одежды. Он не берет с собой ничего съестного. Он пьет по дороге свежий воздух и вдыхает здоровые запахи утра. Свою снасть он оставляет дома. Он широко откроет глаза, — этого достаточно. Глаза у него вместо сетей, и образы в них запутываются сами. Первой попадается в сети дорога, которая показывает свой пыльный скелет, свои булыжники и колеи

между двух роскошных изгородей сливовых и тутовых деревьев.

А сейчас он берет образ реки. Она белеет на сгибах и спит под ласковыми ивами. Мелькнет в воде рыбье брюхо, и река блеснет, как будто в нее бросили серебряную монету, а при первых тонких струйках дождя она покрывается гусиной кожей.

Он подбирает образы волнующейся ржи, аппетитной люцерны, лугов, исполосованных ручьями. Он схватывает на лету полет жаворонка или щегленка. Потом он входит в лес. Он и сам не подозревал, что у него такое тонкое обоняние, осязание, слух; он тотчас же пропитывается всеми запахами; он не упускает даже самого слабого звука.

Он начинает чувствовать все слишком остро, почти до боли, до дрожи, что-то назревает в нем, он пугается, уходит из леса и идет в деревню следом за возвращающимися дровосеками. Одно мгновение он пристально смотрит на солнце, так что глаза вспыхивают огнем, — солнце садится, сбрасывая на горизонте свои сверкающие одежды и рассеянные тут и там облачка.

Наконец он возвращается домой, голова его набита до отказа, он тушит лампу и долго-долго,

прежде чем уснуть, с наслаждением перебирает в уме образы.

Они вновь послушно возникают в его памяти. Каждый образ, приходя в движение, пробуждает к жизни соседний, толпа их все прибывает, растет. Так вспугнутые куропатки рассыплются и сидят целый день поодиночке, а вечером, укрывшись от опасности, кричат и сзывают друг друга по колеям.

Лебедь

Он скользит по пруду, как белые салазки, от облачка к облачку. Он изголодался по перистым облакам, которые родятся на его глазах, движутся и исчезают в воде. Ему хочется облака. Он нацеливается клювом и вдруг погружает в воду свою шею, одетую в снега.

Потом шея его появляется из воды, как женская рука из рукава.

Ничего.

Он оглядывается: испуганные облака исчезли.

Он озадачен, но только на одну минуту, потому что облака тут же возвращаются, и вот там, где замирает дрожание воды, уже возникает новое облачко. Потихоньку лебедь подплывает на своей

пуховой подушке и приближается к нему…

Он утомлен погоней за неверными отблесками, и, быть может, он умрет, жертва иллюзий, так и не поймав ни кусочка облака.

…Но нет!

Каждый раз, когда он погружает голову в воду, он копается в тине и вытаскивает червяка.

И, как гусь, жиреет.

Сверчок

Наступает час, когда, устав от беготни, сверчок-работяга возвращается с прогулки и заботливо наводит порядок у себя в доме.

Прежде всего он расчищает узкие дорожки, проложенные в песке.

Он подпиливает корень высокой травинки, которая его раздражает. Собирает опилки и сметает их с порога своего жилья.

Он отдыхает.

Затем он заводит свои крошечные часики.

Заводит бесконечно. Уж не испортились ли они? Потом он отдыхает немножко.

Он входит к себе и запирает за собой дверь.

Он долго поворачивает ключ в хрупком замке. И прислушивается.

Вокруг все спокойно.

Но он не считает себя в полной безопасности.

И, как будто по скрежещущей цепочке, он спускается глубоко в землю.

Ничего больше не слышно.

В умолкшей деревне тополя вытягиваются в воздухе, как пальцы, и показывают на луну.

Олень

Едва я вступил на лесную просеку, как на другом краю появился он.

Сначала мне показалось, что идет какое-то страшное существо и несет горшок цветов.

Потом я различил маленькое карликовое деревцо с разросшимися ветвями и без листьев.

Наконец показался весь олень, и мы оба остановились.

Я сказал ему:

— Подойди ко мне, не бойся. Ружье у меня так, для виду, чтобы не отставать от серьезных людей. Я никогда им не пользуюсь и пули оставляю в ящике.

Олень слушал и обнюхивал каждое мое слово. Когда я замолчал, он больше не колебался: ноги его задвигались, как стебли, которые сплетает и

расплетает дыхание ветра. Он удирал.

— Какая жалость! — крикнул ему я. — А ведь я мечтал, что мы пойдем вместе и я буду кормить тебя из рук травами, которые ты любишь, а ты, выступая, как на прогулке, ты бы понес мое ружье на развилинах своих рогов.

Осел

Все ему безразлично. Каждое утро, по-чиновничьи мелко и дробно перебирая ногами, он тащит повозку почтальона Жако, который развозит по деревням сделанные накануне в городе заказы — пряности, хлеб, мясо, газеты, а то и письмо.

После окончания казенного турне Жако с ослом трудятся для себя. Повозка превращается в телегу. Они вместе ездят на виноградники, в лес, по картошку.

Здесь они грузят овощи, там свеженарезанные метелки, тут еще что-нибудь, смотря по сезону.

Жако монотонно, без выражения тянет, словно храпит во сне: «Но-о! Но-о!» Время от времени осел останавливается: то ли его прельстил чертополох, то ли просто о чем-то задумался. Тогда Жако обхватывает его за шею и толкает вперед. Если осел заупрямится, Жако покусывает ему ухо.

Завтракают они обычно в придорожной канаве, Жако довольствуется луковицей с горбушкой хлеба, а осел выбирает себе что повкуснее.

Возвращаются они уже в сумерках. Их тени лениво переползают со ствола на ствол.

Но тут озерцо тишины, поглотившей дремотные предметы, вдруг взрывается, гладь его взбаламучивается.

Какой же это хозяйке вздумалось в ночную пору тащить из колодца ведро воды, налегая на ржавую, пронзительно скрипящую лебедку?

Это осел, уже подходя к дому, пробует на всю округу мощь своего голоса и ревет до хрипоты, что ему на все наплевать, наплевать на все.

Мурашка и куропатка

Однажды мурашка упала в колею, где застоялась дождевая вода, и чуть не потонула, но тут куропатка, утолявшая по соседству жажду, подхватила ее клювиком и спасла ей жизнь.

— Я вам отслужу, — пообещала мурашка.

— Времена Лафонтена прошли, — скептически присвистнула куропатка. — Не то чтобы я сомневалась в вашей признательности, но как же вы ухитритесь укусить за пятку охотника, когда он

в меня прицелится! Охотники нынче босиком не ходят.

Мурашка не стала тратить сил на дальнейшие споры и побежала догонять своих сестриц, маршировавших друг за дружкой по дороге и похожих на черные жемчужинки, которые нижут на нитку.

А ведь охотник и впрямь был неподалеку. Тут он заметил куропатку, возившуюся в соломе и что-то там выклевывавшую. Он поднялся, хотел было прицелиться, но по его правой руке пошли мурашки. Он даже ружье вскинуть не мог. Рука бессильно упала, ну а куропатка не стала ждать, пока мурашки пройдут.

Жаворонок

Еще ни разу я не видел жаворонка, и напрасно я подымаюсь до зари. Жаворонок, в отличие от всех прочих птиц, не живет на земле.

Сегодня с самого утра я обшариваю все кочки и прошлогоднюю траву.

Над колючими изгородями перепархивают стайки серебьких воробьев и свежеокрашенных щеглов.

Сорока в своем парадном мундире делает смотр

деревьям.

Перепел пролетает так низко над люцерной, что прокладывает, как по шнурку, прямую своего полета.

Вслед за пастухом, который вяжет искуснее любой женщины, шагают неотличимо похожие друг на друга овечки.

И все это пронизано светом такой новизны, что улыбаешься даже при виде ворона, хотя встреча с ним — уж на что мрачная примета.

Последуйте моему примеру — прислушайтесь хорошенько.

Слышите, где-то очень высоко в небе кто-то толчет в золотой чаше кусочки хрусталя?

Кто скажет, где же поет жаворонок? Если я смотрю ввысь, солнце жжет мне глаза.

Значит, так мне и не суждено его увидеть.

Жаворонок живет в небе, это единственная небесная птица, чье пенье нисходит до нас.

Семья деревьев

Я встретился с ними, перейдя выжженную солнцем поляну.

Они не живут у края дороги из-за шума. Они поселились среди невозделанных полей у ручья,

о котором знают одни только птицы.

Издали кажется, что они стоят сплошной стеной. Но когда я подхожу, стволы расступаются. Они сдержанно приветствуют меня. Я могу под ними отдохнуть, освежиться, но я догадываюсь, что они за мной наблюдают и опасаются меня.

Они живут семьей: постарше в середине, а маленькие, у которых вот-вот должны появиться первые листочки, разбежались повсюду, но никто не отходит далеко.

Они умирают медленно, и умершие продолжают стоять, пока не упадут, рассыпавшись в прах.

Они касаются друг друга своими ветвями, чтобы удостовериться, все ли здесь, как это делают слепые; они гневно раскачиваются, когда подует ветер, готовый их свалить. Но между ними не бывает ссор, они ласково шепчутся друг с другом.

Я чувствую, что они должны стать моей настоящей семьей. Я быстро забуду свою семью. Деревья мало-помалу признают меня за своего, и, чтобы заслужить это признание, я научусь всему, что необходимо знать.

Я уже научился смотреть на плывущие по небу облака.

Я умею также быть неподвижным.

И я почти научился молчать.

Родина

Перевод Н. Жарковой

Помню, это было в вечер возвращения после долгой разлуки с моей родной деревней. Я бродил по коротким улочкам, которые когда-то казались мне запутанными, и мне было горько смотреть на наши дома, — такими они казались маленькими. Вдруг я увидел у входа в дом мальчика. Он стоял возле стула, да и сам был не выше его.

Он вопил: «Еще дай! Еще!»

Пожилая женщина выходила из дома и всякий раз выносила в шумовке несколько рыжих дымящихся зерен гороха, которые она клала на соломенное сиденье стула. Мальчик брал горошины толстыми ручонками в ямочках, обжигался, дул на пальцы, съедал горох и кричал: «Еще! Еще!»

Увидев, что я остановился, он бросил горох и стул, взял меня за руку и пошел за мной. Я с трудом узнавал его, но было ясно, что он моей породы.

Дальше я встретил мальчика из церковного хора. Он шел за священником к переносному алтарю. Он нес корзину, полную цветов, — ва-

сильки, маки, шиповник. Он разбрасывал цветы охапками. То ли он бросал их не так, как полагается, то ли просто бросал слишком щедро — не знаю. Но школьный учитель, шедший рядом, вдруг так ударил его по голове здоровенным молитвенником, что ребенок упал на колени и сразу присмирел. Увидев меня, он вышел из церковной процессии и взял меня за левую руку.

Дальше, прижавшись к стенке, стоял третий мальчик и плакал — не потому, что умерла его бабушка, а потому, что ему говорили: «Как! Твоя бабушка умерла, а ты не плачешь?»

Дальше четвертый, уже почти юноша, разговаривал с толстухой Бертой, не подозревая, что мать Берты заметила их и готовится задать ему трепку.

Как и те прежние, обе эти тени, сразу мной узнанные, последовали за мной: одна — отделившись от стены, другая — покинув свою подружку.

Я не хочу преувеличивать, я не скажу, что вся деревня была полна ими, что каждый мой шаг будил далекие призраки, призраки меня самого, и что вскоре толпа их преградила мой путь.

Нет, все это было ярко, но недолговечно.

Ни один из образов моего прошлого не решился

сопровождать меня за пределы деревни.

На вольном воздухе они рассеялись. Маленький мальчик с горошинами покинул меня последним.

Оставшись один и зная, что силой воображения я без труда могу собрать завтра же, сразу же, когда захочу, эту семью теней, я прислушивался, как стихал шум взволнованного сердца, и думал: «Три-четыре дома; ровно столько, сколько нужно, земли и воды для деревьев; и эти бледные воспоминания детства, покорные нашему зову, — до чего же она проста, родина! А если все люди могут иметь свою родину так просто, зачем же творят они бог знает что?»

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ
(1864–1936)

В 900–910-е годы Анри де Ренье был одним из наиболее известных, талантливых — ив определенном отношении характерных для эпохи — французских литераторов. По своему миросозерцанию он целиком принадлежит к той части интеллигенции рубежа веков, которая, утратив веру в возможности буржуазного прогресса, иронически отстранялась от житейской практики с ее «низким» утилитаризмом, противопоставляя ей экзотику дальних стран и исторического прошлого — черты, нашедшие яркое воплощение в творчестве Ренье.

Анри де Ренье родился в нормандском городке Онфлёр, в семье таможенного чиновника. Получив юридическое образование, он, однако, целиком, посвящает себя литературе. Как поэт Ренье сформировался под влиянием символиста Малларме и парнасца Эредиа. Уже в первый период творчества в стихах Ренье (сборники «Грядущие дни», 1885; «Ландшафты», 1887; «Игры поселян и богов», 1897; «Глиняные медали», 1900) наме-

чается тема, которой он останется верен всю жизнь, — тема хрупкости всего сущего, стремление опоэтизировать и увековечить средствами искусства мимолетные дары жизни.

В 1897 году Ренье впервые обращается к прозе (сборник «Яшмовая трость»). Ренье — автор семнадцати романов, материал для которых он черпал либо в современности («Полночная свадьба», 1903; «Каникулы скромного молодого человека», 1904; «Живое прошлое», 1905; «Страх перед любовью», 1907), либо в историческом прошлом Франции и Италии XVII и XVIII веков («Дважды, любимая», 1900; «По прихоти короля», 1902; «Героические иллюзии Тито Басси», 1916). Впрочем, в своих «исторических» романах Ренье отнюдь не стремится воссоздать подлинную картину жизни изображаемой эпохи: прошлое служит ему лишь колоритным фоном, на который он проецирует собственный взгляд на мир. Существование персонажей Ренье пропитано духом аморализма: они подчиняются скорее плотским инстинктам, чем нравственным императивом. Однако в центр своих романов писатель ставит обычно героя, для которого характерна определенная насыщенность душевной жизни, стремление воплотить свои сокровенные

мечты. Но такой герой одинок, нерешителен и беспомощен, и потому он оказывается покорным рабом или жалким паяцем в руках опытных и безжалостных эгоистов. Драматическое столкновение героя с действительностью, пропитывая романы. Ренье атмосферой нравственного мучительства, придает им особенную напряженность.

Ренье-повествователю присущи ясность изложения, отточенность и живописность языка, тонкая ирония, «вещность» образов. Для новеллистики Ренье, кроме того, характерен мягкий лиризм, нередко уходящий в подтекст, налет таинственности и нежная, сдержанная грусть.

Henri de Regnier: «La canne de jaspe» («Яшмовая трость»), 1897; «Les amants singuliers» («Необыкновенные любовники»), 1901; «Couleur du temps» («Цвет времени»), 1908; «Le plateau de laque» («Лаковый поднос»), 1913; «His-toires incertaines» («Загадочные истории»), 1919; «Les bon-heurs perdus» («Утраченное счастье»), 1924.

Новелла «Акация» («L'acacia») входит в сборник «Лаковый поднос».

Г. Косиков

Акация[5]

Перевод А. Смирнова

Когда Жюль Дюран проснулся, было, без сомнения, еще очень рано, потому что, когда он присел на кровати, ушки фуляра, которым он повязывал себе голову на ночь, обозначились на стене лишь очень бледной и неясной тенью. В самом деле, ставни окна, оставленного им полуоткрытым, пропускали в комнату лишь очень слабый свет. Он, однако, позволил Жюлю Дюрану отчетливо рассмотреть время на циферблате его часов. Жюль Дюран отметил, что было немного меньше пяти. Этому указанию вполне соответствовала тишина, царившая в доме. Августина, старая кухарка, еще не вставала.

В этом она лишь следовала примеру всех жителей ленивого маленького городка Блен-

---

[5] Примечания: 5

Печатается по изданию: Анри де Ренье. Собр. соч., т. XIII. «Academia», Л., 1926,

валя-на-Аранше. В пять часов утра Бленваль и бленвальцы еще почивали глубоким сном. Тщетно Жюль Дюран прислушивался в своей постели к звукам как внутри дома, так и снаружи; до него не доносился ни шум повозок на улице, ни стук каблуков по тротуару, ни гул голосов. Только равномерное тиканье часов оживляло мирно дремлющий дом.

Последив с минутку движение обеих стрелок, Жюль Дюран хотел уже положить часы обратно на ночной столик, когда легкое дуновение ветра пощекотало ему ноздри волной аромата. При этом душистом прикосновении круглое и полное лицо Жюля Дюрана расцвело от удовольствия. Он бережно и любовно вдохнул эту весеннюю утреннюю дань. Она напомнила ему о том, что прекрасное время года наконец настало и что несколько дней тому назад большая акация, красовавшаяся своим узловатым стволом и нежной листвой на маленькой площади, вновь покрылась цветами. При этой мысли Жюль Дюран не мог выдержать и, с фуляром на голове, с хлопающим по икрам подолом рубашки, соскочил с кровати и подбежал босиком к окну, чтобы посмотреть на долгожданное цветение любимого дерева.

Акация Жюля Дюрана была прекрасным деревом в полной силе, напоенным соками, о чем свидетельствовали пышное изобилие и сильный запах ее цветов. Вместе с фонтаном, бассейн которого, обычно сухой, оживляла помещенная посредине его цинковая фигурка, оно составляло главное украшение площади Мартина Гривуара, названной так в память одного бленвальского гражданина, который прославился в политике тем, что прозаседал в палате двадцать лет, ни разу не раскрыв рта, и который наградил бленвальцев этим фонтаном, столь же скудным водою, как сам он был скуп на слова. Эта площадь Мартина Гриву ара, более или менее квадратная и скромных размеров, имела честь быть окруженной жилищами главных должностных лиц Блен-валя, между тем как крупная местная буржуазия и аристократия — ибо в Бленвале имелись представители обеих этих каст — предпочитали квартал, именуемый кварталом Двух Мостов, по той, вероятно, причине, что налицо имелся только один, между тем как другой был однажды унесен Араншем во время наводнения. Если, таким образом, г-н Ле Вариссер и г-н Рабондуа у Двух Мостов были соседями баронессы де Буржо и г-д де Контри и дю Белуара, то сборщик прямых налогов г-н

Ребен и смотритель мостов и дорог г-н Фрилен жили на площади Мартина Гриву ара, где обитал также нотариус мэтр Варда, соединявший в своем лице юридические функции с гражданскими обязанностями мэра Бленваля-на-Аранше и генерального советника округа.

Жюль Дюран, облокотясь на подоконник и распахнув ставни, имел возможность, не переставая созерцать акацию, расположенную почти прямо против него на незамощенном уголке площади, лишь слегка высунувшись из окна, видеть направо от себя дощечку с нотариальным гербом мэтра Варда. Жюль Дюран не мог смотреть на эту дощечку, не возвращаясь невольно мыслью к прошлому и не испытывая некоторой нежности. В самом деле, с тех пор как три года тому назад Жюль Дюран перебрался в Бленваль, г-н Варда был одним из тех бленвальцев, с которыми он поддерживал самые тесные отношения. Более того, г-ну Варда был он обязан тем, что поселился на площади Мартина Гриву-ара и получил благодаря этому возможность с наступлением первых весенних дней любоваться зеленью акации, цветочный запах которой в эту минуту он впитывал в себя с наслаждением. Все же, несмотря на удовольствие, которое ему доставлял этот

благоухающий дар, Жюль Дюран вспомнил, что он в одной рубашке и не обут, и возвратился в постель, где продолжал свои размышления, ожидая, когда старая Августина, тяжелые шаги которой разносились теперь по дому, принесет ему кофе.

Углубившись в воспоминания о подробностях своего прибытия в Бленваль, ставших уже далекими, Жюль Дюран постепенно следил все течение своей жизни и припоминал обстоятельства, побудившие его избрать именно этот уголок земли, а не другой, чтобы закончить здесь свои дни в прочном покое, стремление к которому было главной целью его жизни и трудов. Пример отца и его уроки определили линию поведения, сознательно усвоенную и строго выдержанную Жюлем Дюраном. Наблюдая пятнадцатилетним мальчиком своего отца, прослужившего сорок лет во Французском банке, чтобы потом, выйдя в отставку с пенсией в две тысячи двести франков, влачить жалкое существование мелкого парижского рантье, которого его скудный доход принуждает терпеть всевозможные лишения, связанные с пристойной, но каждодневной нищетой, Жюль Дюран поклялся всеми силами постараться приготовить себе на будущее иного рода старость. Не то чтобы юный Дюран жаждал

купаться в богатстве! Такие мечты он охотно предоставлял другим. Его притязания были более скромными и легче осуществимыми. В Жюле Дюране были задатки мудреца. Его желания не шли дальше стремления к честному достатку, который обеспечил бы ему, когда настанет время, спокойный отдых. Таким образом, Жюль Дюран заранее наметил предел своим усилиям. Он хотел стать к шестидесяти годам единоличным обладателем капитала, приносящего шесть тысяч франков ренты, благодаря которым ему не придется ни в чем себе отказывать и ни в чем ни перед кем одалживаться. Однако, чтобы скопить эти шесть тысяч франков дохода, надо было кое-чем рискнуть и принять героическое решение. Жюль Дюран, если только он хотел приобрести некоторые шансы на осуществление своего проекта, должен был отказаться от государственной службы. Своей независимостью в преклонные годы он мог быть обязан лишь частным предприятиям. Жюль Дюран не должен был делаться чиновником.

В этом отказе и проявился, можно сказать, его героизм. Молодому французу, робкому и склонному к рутине, требуется истинное мужество, чтобы ради результата, в сущности весьма

проблематичного, пожертвовать спокойным продвижением по служебной лестнице. Однако Жюль Дюран решился на это, и заслуга его была тем более велика, что природа не наделила его способностями к свободным профессиям. Жюль Дюран не обладал ни языком адвоката, ни умом врача. Столь же мало был он вооружен для промышленной деятельности или коммерческой борьбы. Ему все же приходилось искать средств к существованию в одной из многочисленных профессий, которые можно назвать ненадежными, хотя для того, чтобы в них укрепиться и преуспеть, он не имел нужных качеств.

В восемнадцать лет, когда умер его отец, Жюль Дюран был крупным толстощеким юношей, коротколапым и неуклюжим. Прибавьте к этому, что он лишен был бойкости и сметливости. Он не мог рассчитывать ни на чью помощь. Его единственным оружием были его терпение, воздержанность и упорство. Заметьте также, что хотя Жюль Дюран и не вполне был неудачником, он нередко страдал от того, что называется «невезеньем». Не то чтобы ему приходилось претерпевать большие несчастия и настоящие катастрофы, но судьба словно испытывала злорадное удовольствие, нанося мелкие удары ему

и его начинаниям. Всех этих небольших огорчений и маленьких неудач оказалось, однако, недостаточно, чтобы сделать его пессимистом. Наоборот, он сохранил изумительное наивное доверие к людям. Добрейший Жюль Дюран не верил в коварство и злобу своих ближних. Он весьма искренне отрицал, чтобы кто-нибудь пытался ему когда-нибудь повредить, и не соглашался признать, чтобы с ним когда-нибудь поступали недобросовестно. Его безукоризненная честность отказывалась видеть в каких бы то ни было поступках ложь или плутовство. Не желая допустить, что по отношению к нему нарушили слово, оп оправдывал лжеца, обвиняя себя в том, что плохо его понял или сам неясно с ним объяснился.

И в сущности, Жюль Дюран не прогадал, действуя и мысля так. Жизнь в целом, несмотря на все ее царапины, была с ним не слишком злой, потому что в конце концов он добился от нее того, чего больше всего желал. Правда, это не легко ему далось. Ему пришлось повозиться, попотеть, побегать. Он должен был ломать свой характер, от природы робкий и сдержанный. Он пожертвовал своими вкусами, склонявшими его к домоседству. Страховой агент, представитель торговой

фирмы, он провел большую часть своей жизни на улице в утомительной беготне и тягостных разговорах. Мягкий и застенчивый, он должен был проявлять резкость и настойчивость. Ему надо было спорить и убеждать. Рожденный для семьи и домашнего очага, он в течение сорока лет знал лишь трактир и меблированные комнаты. Он остался холостяком по расчету и целомудренным из экономии. Да, но за все это он получил награду. После долгих лет труда и лишений Жюль Дюран осуществил свою мечту, что редко удается кому-нибудь, даже когда мечта бывает скромной и разумной. В шестьдесят лет он обладал шестью тысячами франков ренты, которые должны были обеспечить ему спокойную старость, и мог выполнить проект, являвшийся добавлением к намеченной им программе: поселиться в провинции, в собственном доме, в каком-нибудь тихом городке, где он мог бы прогуливаться мелкими шагами, не опасаясь толкотни прохожих, а потом, под вечер, выйти с палочкой в руке за город, чтобы пройтись среди полей, слушая, как птицы на деревьях поют свою вечернюю песенку, и жуя цветочек, сорванный под откосами дороги!..

При этой мысли Жюль Дюран повернулся в кровати. Сладкий запах проникал в комнату.

Положительно, акация благоухала. С ее ароматом вскоре смешается приятный аромат утреннего кофе, который Августина не замедлит принести. И Жюль Дюран с удовольствием прислушивался к стуку ее щетки на лестнице. Жюлю Дюрану это доставляло истинное удовлетворение. Эта лестница была «его лестницей», этот дом был «его домом»! Завернувшись в одеяло, он вкушал эгоистическое наслаждение улитки в своей раковинке. Он был владельцем недвижимости так же, как сосед и друг его, нотариус Варда. Это были два наилучше расположенных дома на площади Мартина Гривуара, ближайших к акации. Как хорошо сделал он, поселившись в Бленвале, и как благословлял он случай, который привел его сюда!

Ибо лишь случай сделал Жюля Дюрана одним из почтенных граждан Бленваля. Решившись покинуть Париж, он поделился этим проектом со своим старым другом Леру. Леру, заведующий одним из отделов магазина «Bon Marche», не прочь был поступить таким же образом, тем более что, если ему удастся сбросить ярмо, он знал, где он раскинет свой огород. Ему был знаком маленький, хорошенький, как игрушка, городок, называемый Бленвалем, кокетливый и свежий,

утопающий в садах и лесах, к тому же еще поблизости от Парижа. Вот где хорошо было бы пожить и отдохнуть; но когда у тебя куча ребят и жена, желающая разыгрывать из себя даму, есть ли возможность отложить копейку про запас? Этот разговор произвел сильное впечатление на Жюля Дюрана. Когда он вернулся от Леру, его решение было принято. По дороге он купил путеводитель. В начале одной из страниц он нашел Бленваль, справился в расписании, и два дня спустя он уже покупал билет до этой станции. При этом, однако, добрейший Жюль Дюран не заметил, что перед Бленвалем, куда он устремлялся, в указателе значилось несколько других местечек того же имени, с несколько иным правописанием, список которых занимал конец предыдущей страницы и среди которых находился Бленваль, рекомендованный почтеннейшим Леру! Вследствие чего, подъезжая к «своему» Бленвалю, Жюль Дюран слегка удивился, что нигде не видит садов и лесов, о которых рассказывал ему его друг Леру.

Тем не менее, каков бы он ни был, этот Бленваль, куда судьба занесла его, он сразу понравился Жюлю Дюрану, лишь позже узнавшему о своей ошибке из насмешливого письма Леру, которое очень пришлось ему не по вкусу и послужило

причиной разрыва между двумя друзьями после того, как Дюран ответил с большой резкостью. Бленваль-на-Аранше был не хуже других Бленвалей, и раз уж он напал на этот Бленваль, он готов удовлетвориться своей находкой!

По всей Франции рассеяно бесконечное число очаровательных маленьких городков. Сообразно с местностью, расположен ли такой городок на равнине или в горах, возле реки или на берегу моря, среди лесов или среди лугов, на пологом склоне или на дне долины, каждый из них имеет свою особенную прелесть, предлагая путнику какой-нибудь живописный и привлекательный вид. Он рождает желание пожить там несколько дней или дольше. Он сохраняется в памяти, оставляя в ней приятный образ. И вот из всех маленьких французских городов Бленваль, быть может, единственный, который, в виде какого-то чуда, лишен всякого интереса. Это специальное его качество происходит не только от него самого, но и от прилегающей к нему местности. Бленваль расположен среди природы, поистине исключительной по своей скудости. Уже издали эта скудость делается заметной. Цвет земли в окрестностях Бленваля отвратителен, листва деревьев бедна, форма их безобразна. Горизонт

лишен всякой гармонии. Река, текущая по линии железнодорожного полотна, делает неуклюжие и некрасивые изгибы. Она катит мутные и грязные воды. Фермы, разбросанные среди полей, неудачно расположены. Что до самого Бленваля, он вполне соответствует всему окружающему.

Вообразите себе маленький городишко в три тысячи восемьсот жителей, без малейшего намека на живописность; заурядные улицы, окаймленные домами без стиля, без возраста, без характера. Бленваль не насчитывает других зданий, кроме вокзала, городской ратуши, школ и вполне «современной» церкви, перестроенной лет тридцать тому назад невежественным архитектором, сделавшим из нее нечто незначительное и вульгарное, с ее алтарем с улицы Святого Сульпиция и витражами цвета мочи. Ах, она лишена, эта бленваль-ская церковь, даже того интимного очарования, каким обладает самая бедная деревенская церковка в ее убогой одежде старого камня и облупившейся извести! Впрочем, в Бленвале не только нет старой церкви, там не найти никаких следов прошлого. Ни старого моста, ни куска старой стены, ни обломка башни, ни остатков старинного дома, ни какой-нибудь забавной вывески, ни извилистой улички, ни

древнего, иззубренного межевого камня! Бленваль не обладает ни единым памятником былых времен. Он кажется целиком купленным по дешевке на фабрике, где его наскоро изготовили. Можно подумать, что его кое-как здесь расставили, только бы от него избавиться. Он ни с чем не связан. В нем нет даже тех кокетливых черточек, которые встречаются иногда в новых городах, заставляя прощать им их новизну.

И все-таки Жюль Дюран не без удовольствия вспоминал о своем прибытии в Бленваль. Больше трех лег прошло со дня, когда, справившись в гостинице об адресе нотариуса, он впервые позвонил у дверей мэтра Варда. Этот звонок был его первым решительным актом рантье, и всякий раз, как он потом заходил к г-ну Варда, он вновь испытывал это ощущение независимости и благосостояния. Впрочем, г-н Варда сразу же пленил его теплым радушием своего приема, контрастировавшим с суровым и торжественным видом кабинета, где нотариус принимал своих посетителей. Когда Жюль Дюран изложил мэтру Варда свое намерение приобрести дом в Бленвале, чтобы там обосноваться, нотариус стал горячо уговаривать его осуществить этот проект. Бленваль — самое подходящее место для

такого человека, как Жюль Дюран, чтобы там поселиться, — и г-н Варда стал расхваливать преимущества городка, которым он имел честь муниципально управлять. Блен-валь мог предложить своему новому поселенцу всевозможные жизненные удобства и даже некоторые приятные знакомства, заслуживающие внимания. Бленваль-ские семьи гостеприимны, и Жюль Дюран не замедлит найти среди них искренних друзей. При этом Бленваль лежит лишь в трех четвертях часа езды от Сен-Гранвье. В Сен-Гранвье есть прекрасный театральный зал, где заезжие труппы часто дают представления, имеющие большой успех, а балы в префектуре даже славятся. Наконец, поблизости находится элегантный курорт с теплыми водами, Мурни-ле-Бэн. Поистине, Жюлю Дюрану не найти лучшего места, нежели Бленваль, чтобы поселить здесь своих пенатов, — и г-н Варда готов был помочь ему в этом деле всем своим профессиональным опытом.

Жюль Дюран был крайне удовлетворен этим первым свиданием своим с мэтром Варда. На следующее утро он начал осмотр недвижимостей, которые ему указал нотариус. Из всех домов, им виденных, дом на площади Мартина Гривуара ему наиболее понравился. Он выглядел прилич-

но, хотя и скромно, был удобно распланирован и сходен по цене. Правда, Жюль Дюран, быть может, хотел, чтобы при доме имелся садик, но сады почти совершенно отсутствовали в Бленвале. У бленвальцев душа явно не деревенская. Только баронесса де Буржо, у Двух Мостов, завела оранжерею, где выращивала кактусы, что служило, без всякого видимого основания, предметом постоянных шуток на ее счет. Вообще же говоря, в Бленвале не было ни одного даже самого маленького сквера, ни одной тенистой аллеи для прогулок. Когда бленвальцам хотелось подышать воздухом, они отправлялись на проезжую дорогу. Такое презрение к ботанике было типичным для местного населения. Единственным деревом в городе была акация на площади Мартина Гривуара. Жюль Дюран собирался наслаждаться ею из своего окна. Наконец купчая на дом была утверждена.

После некоторых необходимых приготовлений Жюль Дюран скромно меблировал его, и месяц спустя после прибытия в Бленваль новый владелец в нем поселился. В тот же день он получил приглашение посетить семейство Варда. Г-жа Варда, слывшая не только самой элегантной дамой Бленваля, но и самой образцовой в нем

хозяйкой, любезно согласилась уступить Жюлю Дюрану свою кухарку Августину, ставшую слишком старой для того, чтобы служить в таком важном доме, как дом Варда, но вполне пригодную для того, чтобы вести хозяйство у холостяка.

Если Жюль Дюран сохранил приятные воспоминания о своих первых шагах в Бленвале, он все же не мог не сознаться, что чувствовал себя там немного чуждым и что жизнь его не лишена была некоторой скуки. Дни часто казались ему долгими, от его пробуждения до отхода ко сну, от часа, когда Августина подавала ему кофе, до часа, когда она приносила ему грелку с горячей водой. Не считая г-на и г-жи Варда, Жюль Дюран никого не знал в Бленвале. По совету г-на Варда он сделал несколько визитов, которые ему были вежливо возвращены, но дальше этого знакомство не пошло. Прежде чем стать в Бленвале своим человеком, Жюлю Дюрану надо было выдержать стаж. Впрочем, Жюль Дюран не особенно огорчался своим одиночеством. Он перебрался в Бленваль для того, чтобы мирно там жить, и он жил там в полнейшем спокойствии. Когда наступала зима и начиналась плохая погода, Жюль Дюран проводил долгие часы у окна, созерцая булыжники площади Мартина Гриву ара, и во время этих

созерцаний завязалась у него дружба с соседкой его — акацией.

Истинная симпатия к акации на площади Мартина Гривуара зародилась в Жюле Дюране в один ветреный день. Над Бленвалем разразилась настоящая буря. Шквал наполнил городок стонущим гулом, гнул флюгера, срывал ставни, сбрасывал с крыш черепицу и загонял в дома перепуганных бленвальцев. Ни один житель не рисковал выглянуть на улицу, и площадь Мартина Гривуара была еще пустыннее, чем обычно. Жюль Дюран, чтобы чем-нибудь заняться, попробовал читать газету, но грохот урагана все время его отвлекал. Из своего кресла, которое он придвинул к окну, чтобы иметь больше света, Жюль Дюран посматривал поочередно на небо, набухшее тучами, и на вихри пыли, подымавшиеся на площади; но вскоре все его внимание было поглощено акацией. Бедное дерево переживало трудные минуты. Его сотрясаемый ствол трепетал в порывах ветра. Его большие ветви раскачивались со стоном, а маленькие метались в истинном ужасе, словно прося помощи. Минутами казалось, что ветер сейчас вырвет с корнем или сломает его, и борьба эта начала мало-помалу захватывать Жюля Дюрана. Она смутно пред-

ставлялась ему образом его собственной трудной жизни, и когда дереву удавалось устоять против нового воздушного натиска, он испытывал от этого некую гордость и готов был аплодировать такой героической обороне.

Вообще говоря, акация сопротивлялась доблестно и показала себя молодцом. Она вела себя искусно и мужественно. Она казалась одаренной разумом. Она стойко выдерживала атаку своего невидимого врага. Перипетии этого поединка длились довольно долго, и Жюль Дюран следил за ними с неослабевающим вниманием до наступления темноты, когда старая Августина принесла лампу. Никогда еще день не проходил для Жюля Дюрана с такой быстротой, и всю ночь ему снилась картина, которую он только что наблюдал. Поэтому он спал довольно плохо и несколько раз просыпался, воображая, что слышит зловещий треск. Утром, едва он пробудился, первой его заботой было подбежать к окну. О, счастье! Акация по-прежнему крепко стояла на месте. Правда, она потеряла несколько веточек, но победа осталась за ней. Что касается ветра, то он исчез, унеся с собой мрачные облака, которые накануне составляли его свиту и беспорядочно сталкивались в небе над Бленвалем. Сейчас ясное

солнце, предтеча весны, старалось, как могло, развеселить печальную маленькую площадь Мартина Гриву ара. Торжествующая акация грела на нем свой израненный ствол, простирая в лазури измученные ветви. И Жюль Дюран почувствовал при этом зрелище истинную радость. Его сердце расширилось от блаженства. Он хотел бы возвестить эту победу всему Бленвалю. Теперь у него был здесь друг.

Поэтому для него было настоящим праздником, когда, несколько дней спустя, акация начала покрываться листьями. С каким заботливым вниманием следил Жюль Дюран за успехами героини с площади Мартина Гри-вуара! Но его энтузиазм достиг предела, когда к листве присоединились крупные гроздья душистых цветов. Он не уставал ими восхищаться, и, чтобы лучше вдыхать их аромат, он держал ночью окно открытым, что противоречило его гигиеническим принципам; но он полагался на свой фуляр, который должен был защитить его от ночной прохлады. Такое неблагоразумие могло иметь последствием жестокий насморк; любовь всегда заставляла людей совершать безумства, а Жюль Дюран испытывал именно любовь, в самой неожиданной форме, к этой акации, убранной цветами, как невеста, и

протягивающей ему свои душистые букеты. Поэтому, когда период цветения окончился, Жюль Дюран продолжал выражать признательность предмету своей любви. Не раз летом, в месяцы засухи, Жюль Дюран, в качестве заботливого влюбленного, выходил ночью из своего жилища, чтобы полить корни своего обожаемого деревца. Он делал это тайком, из страха, как бы старая Августина не стала смеяться над ним, и он умер бы со стыда, если бы г-н Варда поймал его за этим сельским занятием.

Надо сказать, Жюль Дюран несколько раз уже пытался поделиться с нотариусом своим восхищением акацией на площади Мартина Гриву ара, но г-н Варда оставался глух к намекам, весьма, впрочем, туманным, своего клиента, подчиненного и друга. Вместо того чтобы воздать должное одинокому дереву Бленваля, он смотрел на него скорее как на досадную аномалию, которую хороший смотритель дорог непременно бы устранил. С чем вязалась на строгой площади Мартина Гриву ара эта акация, выросшая там неизвестно как и почему? Если бы еще она составляла пару с другой, то истинно французский вкус к симметрии был бы удовлетворен. И г-н Варда презрительно пожимал плечами. Он охотнее вы-

слушал бы похвалу фонтану без воды, его сухому бассейну с цинковой фигурой; это был памятник, достойный Бленваля! Ни одно из этих двух мнений не отвечало взглядам Жюля Дюрана. Он был равнодушен к фонтану и обожал акацию. Как все влюбленные, Жюль Дюран был робок. Поэтому он решил беречь про себя свои чувства, но понадобился весь авторитет нотариуса для того, чтобы этот последний не уронил себя в глазах Жюля Дюрана подобным образом мыслей.

В самом деле, мэтр Варда был важной особой и занимал в Бленвале выдающееся положение. Купив, пятнадцать лет тому назад, одну из двух нотариальных контор в городе, он довел ее до состояния высокого процветания. Мало-помалу у конкурирующего нотариуса клиентура стала убывать. Его контора была сейчас почти всеми забыта. Все выгодные дела шли к мэтру Варда, а на долю его собрата, мэтра Пенисье, доставались лишь безделки. Из всего аристократического и буржуазного общества Бленваля лишь баронесса де Буржо пребывала верной мэтру Пенисье. Эта дама, главной страстью которой было культивирование в оранжерее кактусов, алоэ и других мясистых и колючих растений, выказывала непреодолимую симпатию к мэтру Пенисье,

более всего занятому своей минералогической коллекцией, предназначавшейся им, после его смерти, в дар неблагодарному городу Бленвалю, который, впрочем, не знал бы, что с ней делать. Поглощенный своими классификациями и этикетками, мэтр Пенисье проявлял по своей должности весьма умеренную активность, в то время как мэтр Варда был человеком с умом предприимчивым и изобретательным. Внешность обоих нотариусов являла такой же контраст, как и их характеры. Мэтр Пенисье был высоким стариком, сухим и скромным. Мэтр Варда был плотным здоровяком, полным важности, несмотря на его сладкие манеры. Его цветущий и жизнерадостный вид внушал доверие. Мэтр Варда всеми бленвальцами считался одною из самых умных голов в городе. Бленваль гордился своим нотариусом, и г-н Варда делал похвальные усилия, чтобы оправдать уважение, щедро ему расточавшееся.

Одной из черт г-на Варда, наиболее внушавших к нему почтение, была его манера тратить свои деньги. Г-н Варда умел, как говорят в провинции, заставлять плясать червонцы. Между тем крупная буржуазия и мелкая аристократия Бленваля, составлявшие его избранное общество, тщатель-

но соблюдали во всем строжайшую экономию. Зажиточные семьи Бленваля не признавали роскоши и излишеств. Бленвальцы никогда не впадали в расточительность и скорее даже проявляли некоторую склонность к скупости. Образ жизни в лучших бленвальских домах был скромен, обстановка посредственна, стол весьма умерен. Женщины одевались безвкусно, но просто, и парижские моды попадали в Бленваль лишь подвергшись некоторым изменениям, делавшим их менее разорительными. Достаточно было побывать в воскресенье на выходе с поздней обедни, чтобы убедиться в том, что счета, представляемые бленвальским дамам их портнихами, не слишком были длинны. Но если таковы были бленвальские нравы, то по старинной и необъяснимой последовательности все то, что бленвальцы и бленвалянки осудили бы в самих себе, они без оговорок и без зависти допускали в супругах Варда. Больше того, они взирали на образ жизни, столь отличный от принятого ими, с некоторым восхищением.

То, что у Варда был дом, лучше всего обставленный и лучше всего содержимый в Бленвале, дом, где была ванная комната последнего образца, уборная на английский лад и калорифер со

всеми усовершенствованиями, казалось вполне естественным, так же как никто не удивлялся тому, что кухня у Варда обличала величайшую и постоянную заботу о чревоугодии и изысканности. Тонкие блюда, самые редкие первинки, с ведома и одобрения всего Бленваля, появлялись на столе Варда. Лучшие вина подавались из богато снабженного погреба. Варда выписывали с мест всевозможные гастрономические тонкости, потому что г-н Варда любил вкусно поесть, а г-жа Варда была разборчивой лакомкой. Г-жа Варда, маленькая особа, жеманная и претенциозная, еще довольно хорошенькая, довольно хрупкого здоровья, пользовалась этой слабостью своего здоровья, чтобы избавить себя от повинностей, связанных с ее положением. Она часто жаловалась на усталость, на мигрени, на истерические припадки, целыми неделями лежала у себя на диване, одетая в элегантный пеньюар, окруженная модными журналами и романами. Наряды весьма ее занимали, и она проявляла в них чудеса вкуса и изящества. Она заказывала свои туалеты у одного из лучших портных Парижа. Она носила прелестные шляпы, разнообразие и элегантность которых были одной из тем разговоров в Бленвале. Ничто не казалось слишком хорошим или

слишком красивым для четы Варда.

В этом отношении г-н Варда разделял чувства своей жены и всего Бленваля. Платье на г-не Варда было безукоризненного покроя. Он всегда появлялся в свежих перчатках и носил в галстуках ценные булавки. Так как он был охотник, он арендовал в окрестностях обширный участок земли под охоту и ездил туда в хорошеньком английском шарабане, запряженном резвой лошадкой, которою он мастерски правил. У него были прекрасные ружья, хорошо выдрессированные собаки, и когда он отправлялся на вокзал, чтобы ехать в Сен-Гранвье, где он проводил иногда день в делах и ночь в удовольствиях (как снисходительно шептались кругом), его несессер черного сафьяна и тяжелый чемодан свиной кожи вызывали восхищение, и никто не осуждал этого неприкрытого эпикуреизма.

Итак, весь Бленваль одобрял роскошную жизнь своего мэра и нотариуса. В обеих этих должностях мэтр Варда внушал безграничное к себе доверие. Его городской совет повиновался мановению его пальца или бровей. Его клиенты слепо следовали его советам. В вопросах купли и продажи, дарственных и завещаний мнение г-на Барда было законом. Более того, большинство его клиентов

целиком полагалось на его мудрость в деле управления их имуществом. Значительные капиталы были отданы ему в руки. Он был, можно сказать, финансовым администратором всего Бленваля. Такая репутация его распространилась даже на окрестности. Г-н Варда пользовался авторитетом в ближних замках, и нередко можно было видеть у дверей его конторы фаэтон барона Плантье или древнюю коляску вдовствующей маркизы де Баркулан, а также слышать, как постукивает копытом привязанный за узду к стволу акации огромный рыжий жеребец г-на Дюпана, владельца теплых ванн в Журни-ле-Бэн.

Таково было обаяние г-на Варда, которому все покорялись и против которого было очень трудно устоять Жюлю Дюрану, тем более что мэтр Варда выказал себя очень любезным к нему, когда он приехал, чтобы поселиться в Бленвале. Поэтому Жюль Дюран не замедлил последовать общепринятому обычаю и попросил г-на Варда принять его капитал, чтобы держать, хранить его и распоряжаться им. Нотариус не проявил никакой торопливости в том, чтобы согласиться на просьбу Жюля Дюрана, так что Жюлю Дюрану пришлось настаивать, чтобы г-н Варда оказал ему эту услугу. Покорный Жюль Дюран чувствовал,

что он не станет настоящим бленвальцем, пока не выполнит этой финансовой формальности, а кроме того, вежливость требовала, чтобы он уговаривал нотариуса. Уклониться от вручения своего капитала г-ну Варда значило бы занять по отношению к нему в некотором роде враждебную позицию.

Жюль Дюран оказался бы в таком случае досадным исключением. Вот почему он почувствовал себя весьма приятно, когда отдал в руки г-ну Варда свое маленькое состояние. Следствием этой передачи имущества было второе приглашение к нотариусу на обед, за которым супруга нотариуса появилась в самом очаровательном декольте. С этой минуты Жюль Дюран сделался настоящим бленвальцем и вместе с тем одним лишним поклонником поступков и поведения г-на Варда. Его поклонение, впрочем, было искренним. Зачем только г-н Варда не любил акаций! Это было единственным, за что его мог упрекнуть Жюль Дюран.

Если г-н Варда считался во всем Бленвале образцом мудрецов и фениксом нотариусов, два голоса все же выпадали из этого согласного хвалебного хора. Да, г-н Варда насчитывал двух хулителей. Одним был его собрат, г-н Пенисье,

другою — старая Августина. Надо сказать, что г-н Пенисье не стеснялся в своих выражениях, характеризуя «этого господчика Варда». Когда одному из редких клиентов конторы Пенисье случалось произнести имя г-на Варда, г-ну Пенисье трудно бывало скрыть свои чувства. «С Варда, — говорил он, — дело ясное: он кончит каторгой. Предоставим ему, мой друг, идти его дорогой, и мы увидим, как он свернет себе шею». И г-н Пенисье принимался рассматривать свою минералогическую витрину, словно собираясь занумеровать в ней камушек, о который, рано или поздно, должен споткнуться его враг.

Что касается старой Августины, то она была менее категорична; она только сознавалась, что к г-ну Варда, у которого она раньше служила, у нее «душа не лежит». «Он совсем уж не такой хороший человек, ваш Варда, как вы воображаете, господин Дю ран, — говорила о на. — Пусть он строит из себя милашку и ангела, меня, старого воробья, не проведешь. Он порядочное зелье, наш мэр, и не очень-то сладко бывает, когда он себя показывает. Честное слово, я видела, как он обращается с этой бедняжкой госпожой Варда, словно с последней девчонкой. Уж не знаю, из-за чего у них там дело началось, должно быть, из-за этих

проклятых денег. Надо было послушать, как он ругался, господин Варда! Так что бедная дамочка наконец окрысилась и обозвала его негодяем. Правда ли это, уж не знаю, только может быть, что и так. На свете довольно найдется негодяев, и не все люди сделаны из хорошего теста, как вы».

Жюль Дюран улыбнулся, вспоминая слова Августины. Они были не в силах поколебать восхищения, которым он был преисполнен вместе со всем Бленвалем по отношению к г-ну Варда. Но рано или поздно он заткнет рот старой служанке, с осторожностью, конечно, так как она превосходно стряпала и варила изумительный кофе. Как раз в эту минуту Августина, постучав в дверь, вошла, держа в руках поднос, на котором находился утренний завтрак ее хозяина. Поставив поднос на столик, она принялась ждать неизменного вопроса, который ей задавал каждое утро Жюль Дюран, прислонясь к подушке и оправляя ушки своего фуляра:

— Ну как, Августина, что нового сегодня?

Августина привычным жестом приподняла тяжелую грудь, колыхавшуюся под ее утренней кофтой.

— Нового, сударь, по правде сказать, ничего нет, так как вам доставит мало удовольствия узнать,

что господин Варда едет сегодня десятичасовым поездом в Сен-Гранвье. Он только что приказал Пьеру заложить шарабан. Я это слышала через дворовую стенку. Он очень неспокоен последние две недели, господин Варда! Вот уже третий раз на этой неделе, как он ездит в Сен-Гранвье. Что он там стряпает, этот старый фокусник? Уж не захаживает ли он к тамошним красоткам? Ведь мужчины такие дураки!

Жюль Дюран положил в чашку два кусочка сахару. Ушки фуляра задвигались у него на голове. Запах горячего кофе приятно смешивался с ароматом акании. Жюль Дюран был настроен весьма игриво в это утро.

— Хе, хе! Быть может, вы не ошиблись, Августина. У господина Варда еще крепкие ноги и зоркий глаз.

Из привычного ей духа противоречия Августина пожала плечами и презрительно посмотрела на своего хозяина.

— Ну нет, вы меня все-таки не уверите, что господин Варда бегает за девчонками. У него других хлопот полон рот. У них в доме неладно, уж вы мне поверьте, господин Дюран. Я это знаю от Фелиси, горничной госпожи Варда. У госпожи Варда каждый день нервные припадки. Она пла-

чет и мечется. Стоит лишь дверью хлопнуть или что-нибудь уронить, она уже скрежещет зубами. Сущая благодать! Бьюсь об заклад, господину Варда не до шалостей. Его дамочка достаточно задает ему трезвона, не считая того, что господин Пенисье причиняет ему немало неприятностей с наследством Дарам-бона. Да он еще вывернется, эта старая лисица, этот ловкач, хотя господин Пенисье и госпожа Варда порядком ему отравляют жизнь. Знаете, я бы не удивилась, если бы он поехал в Сен-Гранвье за каким-нибудь знаменитым доктором. Нельзя же оставлять супругу в таком состоянии. Она решительно ничего не выносит. Да, эти дамы не то что женщины, как мы с вами, господин Дюран!

Хотя Жюль Дюран покорно согласился с таким обобщением, относившим его к полу, причислять себя к которому он, однако, не имел никакого права, Августина смерила его недовольным взглядом. Ей хотелось, чтобы г-н Дюран принял более активное участие в разговоре. Между тем г-н Дюран казался рассеянным. Говорить одному приятно, но еще приятнее перебивать собеседника. Августина пришла в раздражение:

— Что это вы так нюхаете? Или, по-вашему, мой кофе недостаточно хорошо пахнет? Ах, я

понимаю, это ваша «агация» не дает вам покоя. Ничего не скажешь, она хороша в этом году, но ее вместо сахару в кофе не положишь. Смотрите, чтобы у вас завтрак не простыл. Уже половина девятого. Да, приятно валяться утром в постели, имея ренту!

И старая Августина ушла, окинув суровым взглядом окно и «агацию», которая распускала свои свадебные букеты в то время, как сидевшая на ней птичка пела.

Ничто в продолжение дня, последовавшего за этим утром, не позволяло предвидеть события, которое должно было повергнуть милейшего Жюля Дюрана в горестное оцепенение. После того как Жюль Дюран в одиннадцать часов, по обыкновению, позавтракал в столовой и выкурил трубку, положив локти на стол и посасывая из рюмочки ром, он прошел в переднюю, чтобы взять там удочку, коробку с червями и рыбную сетку. Ему предстояло свидание со сборщиком податей г-ном Ребе-ном, пригласившим его половить вместе с ним рыбу на берегу Аранша. Сборщик податей Ребен и Жюль Дюран были единственными рыболовами в Бленвале. Несколько бленвальцев уже пробовало некогда заняться этим безобидным делом, но им пришлось, одному вслед за

другим, отказаться от него ввиду полного отсутствия рыбы в водах Аранша. Река была поистине лишена чешуйчатых обитателей. После долгих и бесплодных стараний пришлось признать эту нищету. Мало-помалу даже самые упорные покинули свои излюбленные посты. Одна за другою бленвальские удочки возвратились в свои футляры. Крючки ржавели на дощечках. Отныне земляные черви и мухи могли считать Бленваль безопасным местом и безнаказанно предаваться там своим подземным или воздушным занятиям. Лишь один сборщик податей Ребен поддерживал традицию, требующую, чтобы на каждой реке был свой рыбак с удочкой. Привычка взимать налоги с самых упорных кошельков, всегда сохраняя за собой последнее слово, точнее говоря — последний грош плательщика, выработала в нем исключительную твердость характера. Ребен поклялся выловить хотя бы одну рыбу из Аранша и увлек покорного Жюля Дюрана в эту фантастическую затею. Но Жюль Дюран был случайным рыболовом, приходившим лишь время от времени закинуть в скупую воду свой бесполезный поплавок, между тем как Ребен, не пропуская ни одного дня, простаивал долгие часы на берегу реки. Такое постоянство не только

не являлось предметом насмешек со стороны бленвальцев, но, наоборот, внушало им глубокое уважение к сборщику податей, особенно с тех пор, как один финансовый инспектор, большой шутник, какие бывают даже в этой серьезной корпорации, не найдя Ребена во время своего объезда ни в его конторе, ни на квартире, решил лично его разыскать на берегу реки, после чего не обнаружил никаких упущений в отчетности этого сборщика податей, рыболовную страсть которого он сам разделял. Таким образом, вкус к рыбной ловле нисколько не вредил Ребену в умах его сограждан. В Бленвале любят людей, верных своим идеям и проявляющих упорство, Ребен был не только упрямцем, он был апостолом, и он убедил Жюля Дюрана купить себе удочку и лесу. Жюль Дюран был первым его учеником.

С тростниковой палочкой на плече Жюль Дюран шел на свидание с Ребеном. Проходя мимо акации, он еще раз любовно посмотрел на нее и ласково потрогал ее славную кору. Сделав это, он направился к Араншу и, расположившись на берегу реки рядом с Ребеном, закурил трубку, между тем как героический Ребен воздерживался от папиросы, чтоб не терять из виду, хотя бы на мгновение, чуткий поплавок. За долгие

часы их речного караула они обменялись лишь немногими словами. Один раз Ребену показалось, что поплавок нырнул, но эта ложная тревога не имела последствий. Такая неудача ничуть не испортила настроения терпеливому Ребену. Неиссякаемая надежда его поддерживала. Во всякой реке есть рыба, и Ребен был убежден, что не сегодня-завтра рыба эта сверкнет над водою на кончике его лесы. Будет ли это рыба большая или маленькая, Ребену было безразлично. Единственное, что ему хотелось, это возвратить Араншу утраченную им честь и дать бленвальцам лишнее основание гордиться своей рекой, которую отныне ни одна из рек Франции не вправе будет ни в чем упрекнуть! И Ребен, заранее учитывая триумф своего упорства, легко утешался в его отсрочке уверенностью, что он придет.

Когда на уродливой церковной колокольне пробило шесть, оба сложили свои инструменты и двинулись обратно в Бленваль. Шагая по дороге, Жюль Дюран с нежностью думал об акации. Именно к вечеру от цветов ее исходил особенно сильный аромат. Жюль Дюран ускорил шаги, идя бок о бок со сборщиком податей Ребеном, насвистывавшим военный марш. Они миновали квартал Двух Мостов, поднялись вверх по Кресто-

вой улице и в ту минуту, как на ратуше пробило половину седьмого, вышли на площадь Мартина Гри-вуара.

Как и можно было ожидать от влюбленного, Жюль Дюран прежде всего устремил взор в сторону своей дорогой акации. Он много раз вспоминал о ней в течение сегодняшней рыбной ловли. Он сравнивал ее цветущую сень со скудной листвой скорченной ивы, подле которой он положил свою коробку с червями, между тем как Ребен повесил свою на сломанной ветке тщедушной ольхи, меланхолично склонившей свой заморенный ствол над мутной водой Аранша, — и на обратном пути в Бленваль он радовался при мысли, что вновь увидит на площади свою возлюбленную акацию. Обычно, возвращаясь к себе, Жюль Дюран замечал, как ветки ее рисуются на фасаде его дома, но сегодня, сколько он ни смотрел, он ничего не мог различить. Дерево исчезло.

Потрясенный, Жюль Дюран испустил возглас изумления. Был ли он жертвой галлюцинации? Уж не сошел ли он с ума? Что значила эта внезапная слепота? Жюль Дюран провел рукой по глазам. Он искренне надеялся, что сейчас снова увидит акацию. Но нет! На месте, где она раньше стояла, толпилась кучка бленвальцев: десятка

два мужчин, женщин, детей, среди которых Жюль Дюран узнал столяра Рабуа и дровосека Ларанти. Вдруг кучка раздалась в стороны. Эрто, полевой сторож, грозил своей палкой мальчишкам, которые прыгали, широко размахивая цветущими ветками. Была толкотня, раздавались смех и крики.

Жюль Дюран побледнел как смерть. Среди столпившихся кружком любопытных акация лежала на земле, покрывая ее своими широко раскинувшимися ветвями. Рабуа, наступив ногой на ствол, отвязывал одну из веревок, которые опутывали прекрасную пленницу, между тем как Ларанти, с топором на плече, смотрел с видом победителя. О, злодеи! Так это, значит, они совершили это злое и глупое преступление! И бедному Жюлю Дюрану показалось, словно он присутствует при зрелище убийства. Негодование, которое он испытывал, пригвоздило его к месту. Ноги его подкашивались. Слезы гнева и скорби подступали к глазам. Его акация, его дорогая акация лежала здесь, злодейски срубленная, вытянувшись в пыли со своими прекрасными цветами, которые еще этим утром торжествующе распускались на солнце. Но для чего они это сделали? Кто мог отдать такое жестокое и

бесполезное приказание? Кто был его врагом, постаравшимся уязвить его в самой сердечной его привязанности? Ибо бедный Жюль Дюран искренне и наивно верил, что это покушение было направлено против него. Зачем убили его единственного друга, — ибо что значил для него этот Ребен, стоявший возле него, что значили для него все бленвальцы, которых он знал? Если он кого любил, то только это дерево, свое прекрасное дерево, свою прекрасную, зеленую и благоуханную акацию, которая так красиво возвышалась на унылой площади Мартина Гриву ара, а теперь жалобно лежала, с корою, взрезанной топором, с ветвями, сломанными при падении, с цветами, разошедшимися по рукам шалунов!

Жюль Дюран бросился к полевому сторожу. При его приближении Эрто поднес руку к фуражке. Жюль Дюран стоял перед ним, что-то бормоча, задыхаясь, с судорожно сжатым горлом. Слова с трудом выходили из его рта. Наконец ему удалось произнести сдавленным голосом:

— Несчастный, что вы сделали? Зачем вы срубили акацию?

Эрто с удивлением смотрел на Жюля Дюрана. Он не узнавал в нем мирного и скромного буржуа, которого он всегда почтительно приветствовал.

Жюль Дюран топал ногой:

— Срубить акацию!!!

Эрто видел крайнее возбуждение Жюля Дюрана, не понимая причины его. Что хотел г-н Дюран сказать, говоря о своей акации? Видно было только то, что он сильно разгневан. Благоразумный Эрто почувствовал потребность сложить с себя ответственность:

— Честное слово! Вы не должны на меня сердиться, господин Дюран. Так приказал господин мэр. Я здесь ровно ни при чем.

Славный Эрто имел смущенный вид. Он ударил палкой мальчишку, который подошел, чтобы сорвать ветку с поваленного дерева. Столяр Рабуа и дровосек Ларан-ти натягивали свои пиджаки, которые они сняли, чтобы совершить свое смертоносное дело. Зрители расходились, потому что приближался час обеда. Полевой сторож собирался тоже пойти выпить стаканчик с Ларанти и Рабуа. Он вежливо поклонился Жюлю Дюрану.

— Право же, господин Дюран, не стоит расстраиваться из-за таких пустяков! Деревом больше, деревом меньше, Бленваль останется все же Бленвалем, — словом сказать, знатным местечком. К тому же ей, наверное, было скучно, этой «кации», стоять одной на площади. Видите ли,

все это вышло из-за ее цветов. Кажется, от них болела голова у супруги господина мэра, будто они ее нервировали, как выразился господин Варда, когда зашел ко мне сегодня утром по дороге на вокзал, чтобы велеть мне взять с собой Рабуа и Ларанти и свалить этого гражданина, не откладывая. Мое дело — слушаться приказа, но мне очень неприятно, господин Дюран, что мне и этим двум молодцам пришлось огорчить вас.

Ларанти и Рабуа, видимо, соглашались с маленькой речью полевого сторожа, но Жюль Дюран не слушал его. Внезапно, при имени г-на Варда, он кинулся к двери нотариуса и стал дергать изо всех сил звонок. Когда дверь открылась, он оттолкнул горничную Фелиси и, не стучась, не подумав о том, чтобы снять шляпу, ворвался в кабинет г-на Варда.

Мэтр Варда сидел за своим бюро и проверял толстую пачку банковых билетов. Весьма, видимо, раздосадованный появлением посетителя, он поспешно сунул связку в ящик, закрыть который Жюль Дюран не дал ему времени. Вне себя, г-н Дюран схватил нотариуса за плечо и принялся с силой его трясти. Г-н Варда резко оттолкнул его и поднялся, опрокинув за собой свое кресло. Он нащупал в своем кармане револьвер, который

всегда имел при себе, когда возвращался из Сен-Гранвье с ценностями или важными бумагами. Чего хотел от него этот неистовый? Не сошел ли Жюль Дюран с ума?

В тишине кабинета раздался повелительный и недовольный голос г-на Варда:

— Послушайте, Дюран, что означает ваше поведение? Вы являетесь ко мне, как громила. И потом, что это за манера хватать людей за плечо? Почему бы не сразу за горло? Честное слово, Дюран, я вас не узнаю! Что с вами случилось?.. Ну, говорите же... Какая вас муха укусила? Опять сплетни этого мерзавца Пенисье? Ну же, выкладывайте скорее наружу. Я знаю, этот господин на мой счет не стесняется. Извольте объясниться.

Мэтр Варда не был больше тем елейным нотариусом, который пленял всех бленвальцев своим приятным обращением. Опершись кулаками на стол, наклонившись всем корпусом вперед, вобрав голову в плечи, в вызывающей боевой позе, он казался плотным и коренастым, сильным и грубым. Оборотливый, любящий жизнь буржуа вдруг показал себя расчетливым хищником; но бедный Жюль Дюран был не в таком состоянии, чтобы заметить это тревожное превращение. Он видел перед собой только палача своей доро-

гой акации. При этом виде его ярость достигла предела.

— Акация, акация, зачем вы велели срубить мою акацию?

Гнев Жюля Дюрана был столь комичен и причина его столь неожиданна, что г-н Варда, сразу успокоенный, не мог удержаться, чтобы не разразиться хохотом; но его веселость быстро сменилась раздражением. Так это из-за акации этот дуралей наделал такого шума! Хорошо же, он ему сейчас покажет! Г-н Варда сделался холодным и ироническим.

— «Ваша акация», говорите вы, мой дорогой Дюран? Но она принадлежит городу, ваша акация! Да, я велел ее срубить. Она уродовала площадь. А кроме того, ее цветы отравляют и раздражают соседей. Ко мне поступали на этот счет жалобы… Тогда я принял решение. Я имел на это право. Разве я не мэр Бленваля?

Господин Варда выпрямился. Он восстановил свой авторитет; теперь ничто больше не мешало ему перейти на примирительный тон:

— Ну, довольно, мой дорогой Дюран, я вам прощаю вашу выходку и прошу вас не сердиться на мой поступок. Мэр должен заботиться о благе всех граждан, а не о частных интересах. Я был

немного резок с вами, но я сейчас несколько расстроен: моя жена чувствует себя нехорошо. Черт побери, если бы я знал, что вы дорожите этим деревом! Но что сделано, то сделано. Ну, руку!

Жюль Дюран попятился в глубину комнаты перед протянутой рукой нотариуса. Лицемерие и лживые сожаления г-на Варда возмутили его еще сильнее. Его гнев перешел в ненависть.

— Никогда, слышите вы, никогда! Все кончено между нами. Я не желаю разговаривать с человеком, срубившим мою акацию, бедное безобидное дерево, которое я любил, которое составляло мою радость. И я не останусь здесь. Я уеду из Бленваля. Я продам свой дом.

Господин Варда сделал жест безразличия. Жюль Дюран непоправимо сошел с ума. Он перестал его интересовать. Такая позиция еще более взбесила Жюля Дюрана. Страстная жажда мщения его обуяла. Внезапно его наполнила горькая радость. Он нашел! Он продолжал:

— Да, я продам свой дом. Я сейчас же отправляюсь к мэтру Пенисье.

Господин Варда нахмурил брови. Жюль Дюран прибавил:

— Но прежде вы мне отдадите мои деньги, и немедленно, иначе весь Бленваль узнает, что вы

отказываетесь возвращать денежные вклады.

Жюль Дюран свирепо посмотрел на г-на Варда. Он попал в цель. Г-н Варда стукнул кулаком по бюро.

— Ваши деньги, вы их получите, ваши деньги… через несколько дней, господин Жюль Дюран… Дайте мне только время продать бумаги, в которые они вложены.

Жюль Дюран подошел ближе. Он смутно улавливал замешательство г-на Варда. Как все простые души, он действовал под влиянием какой-то неясной интуиции. Он чувствовал, что совершается месть за акацию. Он, в свою очередь, стукнул кулаком по бюро.

— Нет, сию же минуту, или я потребую их от вас через мэтра Пенисье. К тому же вы не можете сказать, что у вас сейчас нет денег!

И Жюль Дюран указал пальцем на пачку банковых билетов, торчавшую из плохо прикрытого ящика.

Они оба посмотрели друг другу прямо в глаза. Г-н Варда, с перекошенным лицом, казалось, решал трудную задачу. Жюль Дюран со сжатым горлом думал о своей дорогой акации. Внезапно г-н Варда решился. Он открыл ящик, вынул из него связку белых с голубым билетов и бросил

часть ее на бюро.

— Считайте.

Медленно и тщательно Жюль Дюран пересчитывал денежные листы, переворачивал их, щупал с медлительной осторожностью. Иногда, по поводу того или другого из них, он выражал сомнение и спрашивал глазами неподвижного г-на Варда; затем, кончив, он вышел, без единого движения со стороны г-на Варда. Когда дверь закрылась, нотариус аккуратно повернул ключ в железном ящике, заключавшем в себе остаток привезенной им из Сен-Гранвье суммы, затем пробормотал сквозь зубы:

— Эта акация обошлась мне довольно дорого. Но не будем сейчас волноваться, мэтр Варда, не будем волноваться…

Выйдя из конторы Варда, Жюль Дюран почувствовал, что весь гнев его упал. С ним оставалась одна только его печаль. Площадь Мартина Гриву ара, мрачная в поздних сумерках, была пустынна. Акация по-прежнему плачевно на ней лежала. Жюль Дюран подошел к ней. В последний раз вдохнул он в себя сладкий запах ее цветов. Он наклонился, погладил рукой кору своего милого дерева, держа в другой голубые билеты, которые он и не подумал положить к себе в карман, и в

то время, как отец Фланшен зажигал, словно для заупокойного бдения, четыре фонаря площади Мартина Гриву ара, Жюль Дюран медленно, горько, по-детски принялся плакать.

Лишь начав оправляться после тяжелой болезни, приковавшей его на долгие недели к постели, узнал Жюль Дюран о трагическом событии, глубоко взволновавшем тихий городок Бленваль. Г-н Ребен, сборщик податей, великодушно забросивший свой пост на берегу Аранша ради того, чтобы сидеть у изголовья своего товарища по рыбной ловле, имел удовольствие рассказать ему о катастрофе, постигшей более или менее все буржуазные и аристократические семьи Бленваля, равно как и о том, что в одно прекрасное утро мэтр Варда был найден в своей конторе мертвым, с виском, простреленным револьверной пулей. Г-н Варда покончил с собой, предварительно растратив в злостных спекуляциях состояния, вверенные ему наиболее видными его согражданами. Так оправдалось предсказание мэтра Пенисье относительно его собрата. Мэтр Пенисье уже давно разгадал преступные действия г-на Варда. Поэтому он не выразил никакого удивления по поводу происшедшего краха, неизбежного и лишь ускоренного выплатою Варда ста семиде-

сяти пяти тысяч франков, вверенных ему Жюлем Дюраном.

Жюль Дюран, с поднявшимися от ужаса ушками фуляра, молча слушал рассказ сборщика податей Ребе-на. В душе его к удовлетворению примешивалась признательность. Итак, злодеяние, совершенное над его милой акацией, понесло ужасное наказание, и вместе с тем своему прекрасному дереву был он обязан чудесным спасением своего маленького состояния. И Жюль Дюран со своих подушек обратил глаза, полные слез, тоски и благодарности, к окну, где ее, увы, уже больше не было, его дорогой акации, но где он всем сердцем ощущал ее образ, дружеский и благоуханный, являвшийся одним из самых нежных воспоминаний его жизни, — потому что мы лишь в том случае жили, когда хоть раз любили, если не живое существо, то вещи. Любовь, когда она не улыбается нам в чертах обожаемого лица, может открыться нам в звуке, в краске, в аромате и предстать нам если не в форме женщины, то в форме цветка.

РОМЕН РОЛЛАН
(1866–1944)

Бургундец Боньяр, дед Ромена Роллана, участвовал в штурме Бастилии, его раблезианское жизнелюбие — основа образа Кола Брюньона. Отец писателя был нотариусом. Сам Роллан учился в коллеже города Кламси, потом в Париже, преподавал в Сорбонне. В философском трактате «Верую, ибо это истина» (1887) Роллан определил свой нравственный кодекс: «посвятить жизнь благу людей, упорствовать в поисках истины». Переписка с Львом Толстым укрепила Роллана в поисках народных истоков искусства.

Гений Роллана отмечен редкой в XX веке энциклопедичностью. Он прекрасно разбирался в истории, философии, теоретических основах музыки и живописи, в истории религии. На редкость многообразно его творческое наследие: романы, мемуары, эссе, пьесы, объединенные в циклы «Трагедии веры» и «Театр Революции»; биографии — исследования творческого пути Льва Толстого, искусства Микеланджело, религиозно-нравственных учений Рамакришны, Вивекананды, Махатмы

Ганди; музыковедческий труд о Бетховене. В эстетическом манифесте «Народный театр» (1903) Роллан провозгласил: «Наша политика, наш идеал, — одновременно художественный и социальный, — заключается в том, чтобы спаять воедино народ и вернуть ему... классовое сознание». Эту программу он стремится осуществить, приступив к сотрудничеству в «Двухнедельных тетрадях», редактор которых, Шарль Пеги, ратовал за нравственное очищение общества, правда, на путях активизации националистических настроений. Девиз, избранный Ролланом для первой книги бетховенско-го цикла — «пусть нас овеет дыхание героев», — характерен для всего творчества Роллана.

В канун первой мировой войны завершилась публикация его романа «Жан-Кристоф» (1904–1914), за ним сразу последовал роман «Кола Брюньон», этот, по словам Горького, «галльский вызов войне». Война застала Роллана в Швейцарии. Его страстные публицистические выступления обращены к разуму тех, кого еще не захватила шовинистическая истерия. Ненавистью к войне порождено самое лиричное из произведений Роллана — повесть «Пьер и Люс» (опубликована в 1920 г.).

Двадцатые годы были для Роллана порой трудных исканий — от манифеста «Над схваткой» (1915) художник шел к зрелым раздумьям над природой социальных противоречий и задачами искусства. Статьи этого периода собраны в книгах «Пятнадцать лет борьбы» и «Через Революцию к миру» (1935). Новые горизонты роллановского творчества ощутимы в романе «Очарованная душа» (1921–1933), в очерках «Ленин. Искусство и действие» (1934), «Вальми» (1938), драме «Робеспьер» (1939).

Оккупация Франции была тяжким испытанием для художника-гуманиста. В Везеле, недалеко от родного Кламси, терзаемый болезнями и горечью поражения, Роллан торопился завершить автобиографические произведения «Внутреннее путешествие» (1942) и «Кругосветное плаванье» (1946), цикл о Бетховене, биографию Пеги (1944). Роллану посчастливилось за несколько месяцев до смерти увидеть Париж свободным; он успел передать слова благодарности советскому народу, положившему конец варварству «нового порядка».

Romain Rolland: «Pierre et Luce» («Пьер и Люс»), 1918.

Т. Балашова

Пьер и Люс

Перевод И. Грушецкой

AMORI
Pacis Amor Deus[6]

Проперций

Действие происходит с вечера 30 января до страстной пятницы 29 марта 1918 года.

Пьер спустился в метро. Грубая, возбужденная толпа. Стоя у входа, в плотной толще человеческих тел, он дышал воздухом, спертым от дыхания множества людей, и смотрел невидящим взором на темные гулкие своды, по которым скользили огненные зрачки поезда. В душе у него были те же тени, те же резкие вспышки света. Задыхаясь в поднятом воротнике пальто, не в силах по-

[6] Примечания: 6
Любви [посвящается]. Мирно любви божество *(лат.).*

шевельнуться, стиснув губы и чувствуя, как его влажный от испарины лоб охлаждают порою клубы ледяного воздуха, врывающегося в двери на остановках, он старался не видеть, не дышать, не думать, не жить. Смутная тоска наполняла сердце этого восемнадцатилетнего юноши, почти ребенка. Там, высоко, над черными сводами, над этой кротовой норой, где проносилось металлическое чудовище, кишевшее личинками — людьми, был Париж, снег, холодный январский вечер, кошмар жизни и смерти — война.

Война. Вот уже четыре года, как она вторглась сюда. Она легла тяжким гнетом на его отрочество. Она застигла его в том переходном возрасте, когда юноша, встревоженный пробуждением неведомых дотоле чувств, в испуге обнаруживает, что стал добычей звериных, слепых, разрушительных сил жизни, хотя он ничего еще не просил от нее. Если это, подобно Пьеру, хрупкий мальчик с нежной и впечатлительной душой, он, никому не решаясь признаться, испытывает отвращение и ужас перед грубостью, нечистоплотностью, бессмысленностью плодовитой и ненасытной природы — этой вечнородящей свиньи, пожирающей свой приплод. В каждом юноше шестнадцати — восемнадцати лет есть частица души

Гамлета. Не требуйте от него понимания войны! (В этом разбирайтесь вы, умудренные опытом люди.) Ему и без того трудно понять и оправдать жизнь! Обычно юноша весь уходит в мечты и в искусство, пока не освоится со своим новым состоянием и куколка не завершит своего мучительного перехода от личинки к насекомому. Как нуждается он в покое и сосредоточенности в эту смутную апрельскую пору созревания души! Но его находят в его тайном убежище и, такого беззащитного в новой, еще не затвердевшей оболочке, вытаскивают из тени и бросают на резкий свет, в самую гущу грубой человеческой толпы, где он, ничего не понимая, немедленно должен приобщиться к ее безумствам и ненависти и, так же ничего не понимая, расплачиваться за них.

Пьер был призван вместе со своими ровесниками, восемнадцатилетними юношами. Через полгода родине понадобится его жизнь. Этого требовала война. Полгода отсрочки! Полгода. Ах, если бы не думать об этом до той поры! Оставаться в своем подземелье! Не видеть жестокого света дня…

Мысль Пьера, подобно мчавшему его поезду, углублялась во тьму; он сомкнул веки…

Когда он снова открыл глаза, в нескольких

шагах от него, отделенная двумя случайными попутчиками, стояла только что вошедшая девушка. Ему был виден лишь тонкий нежный профиль, затененный полями шляпки, белокурый завиток у впалой щеки, блик света на скуле, изящная линия носа и вздернутой верхней губки, рот, приоткрытый частым дыханием. Сквозь его широко раскрывшиеся глаза, словно в распахнутую дверь, она вошла в его сердце, вошла вся целиком; и дверь захлопнулась. Житейский шум умолк. Тишина. Покой. Она была в нем.

Она не смотрела на него. Она даже не знала еще, что он существует. Но она уже была в его сердце! Он держал в своих объятиях ее безмолвно прильнувший к нему образ и боялся дышать, чтобы не спугнуть ее своим дыханием…

На следующей станции — замешательство. Люди с криком ринулись в переполненный вагон. Волна человеческих тел подхватила и отбросила Пьера. Над сводами, над городом, где-то там, в вышине, слышались глухие разрывы. Поезд снова тронулся. И в это мгновение какой-то словно обезумевший человек, сбегавший, закрыв лицо руками, по станционной лестнице, вдруг скатился вниз… Еще успели увидеть кровь, сочившуюся между пальцами… И снова туннель и мрак… В

вагоне крики ужаса: «Готы, готы!..»[7] В общем смятении, слившем всех этих людей в одно целое, Пьер схватил прикоснувшуюся к нему руку и, подняв глаза, увидел, что это — Она.

Она не отстранилась. Ее взволнованные пальцы судорожно сжали схватившую их руку, а потом медленно отдались пожатию, — мягкие, горячие, успокоенные. Так стояли они под покровом мрака, и руки их, точно две птицы в одном гнезде, прижались друг к другу; сквозь горячие ладони единым током текла кровь их сердец. Они не обменялись ни словом. Не пошевельнулись. Его губы почти касались завитка волос на ее щеке, кончика уха. Она не смотрела на него. На второй остановке она отняла свою руку — Пьер ее не удерживал, — скользнула в толпе, ушла, так и не бросив на него взгляда.

Когда она исчезла, Пьер спохватился. Поздно. Поезд уже тронулся. На следующей станции он вышел на улицу. Тот же вечерний сумрак, то же незримое касание редких перышек снега, и город, еще испуганный, но уже готовый улыбнуться. В вышине все еще парили птицы войны. Но Пьер не видел ничего, кроме той, которая вошла в

---

[7] Примечания: 7

Тип немецких аэропланов, в 1918 году бомбардировавших Париж.

его сердце; и он вернулся домой, рука об руку с незнакомкой.

Пьер Обье жил со своими родителями недалеко от сквера Клюни. Отец его был судьей; брат — шестью годами старше — с первых же дней войны ушел добровольцем. Истинно французская добропорядочная буржуазная семья, почтенные, добросердечные, прекраснодушные люди, ни разу в жизни не дерзнувшие высказать собственное суждение и, по всей вероятности, даже не подозревавшие о такой возможности. Неподкупно честный, проникнутый сознанием высокого значения обязанностей председателя суда, г-н Обье счел бы себя смертельно оскорбленным, если бы кто-нибудь заподозрил, что его приговоры могут быть продиктованы иными соображениями, нежели те, которые внушают ему требования справедливости и голос совести. Однако его совесть никогда не высказывалась против правительства, даже шепотом. Она была прирожденным чиновником и всецело подчинялась официальным государственным установлениям, которые, даже меняясь, остаются безупречными. Власть предержащая в глазах г-на Обье была чем-то святым и непреложным. Он искренне восхищался как бы отлитыми из бронзы душами

великих судей прошлого, независимых и непреклонных, и, быть может, втайне считал себя их преемником. Это был совсем маленький Мишель де л'Опиталь, на которого столетие служения Республике наложило свой отпечаток. Что до г-жи Обье, то она была в такой же мере доброй христианкой, в какой ее муж добрым республиканцем. И, подобно тому как ее честный, неподкупный супруг соглашался быть послушным орудием правительства против всякой неузаконенной свободы, она, в простоте душевной, присоединяла свои молитвы к человекоубийственным молениям, возносимым во имя войны во всех странах Европы католическими священниками и протестантскими пасторами, раввинами и попами, газетами и всеми благомыслящими людьми того времени. Оба они — отец и мать — обожали своих детей, как истые французы, только к ним и питали глубокое, настоящее чувство, готовы были всем пожертвовать ради них, но чтобы не отставать от других, не задумываясь, приносили их в жертву. Кому? Неведомому божеству. Во все времена Авраам отдавал Исаака на заклание. И его прославленное в веках безумие продолжает служить примером несчастному человечеству.

В их семейном кругу, как это случается нередко

ко, было много любви, но не было душевной близости. Да и возможен ли свободный обмен мыслями там, где не пытаются разобраться в своих собственных? Что бы вы ни думали, вы обязаны уважать известные догматы; и если они вас стесняют, даже оставаясь в строго очерченном кругу (а именно, относящиеся к потустороннему миру), то что же сказать о тех, которые, подобно обязательным гражданским догматам, стремятся вмешиваться в жизнь, всецело руководить ею! Попробуйте-ка позабыть о догмате родины. Новая религия возвращала нас ко временам Ветхого завета. Она уже не довольствовалась благочестивым лепетом и бесхитростными обрядами, в какой-то мере полезными, хотя и смешными, как исповедь, пост по пятницам, воскресный отдых, которые навлекали на себя едкие насмешки наших «философов» в те времена, когда народ был свободен — при королях. Новой религии требовалось все, на меньшее она не соглашалась: весь человек — его плоть, его кровь, его жизнь и помыслы. И прежде всего его кровь. Никогда еще со времен мексиканских ацтеков божество не было столь кровожадным. Было бы глубоко несправедливо утверждать, что верующие от этого не страдали! Они страдали, но верили. О

люди, бедные мои братья, для вас и страдание — доказательство промысла божия! Г-н и г-жа Обье страдали, подобно другим, и, подобно другим, поклонялись божеству. Но нельзя же было заставить подростка точно так же отречься от сердца, от чувств, от здравого смысла. Пьеру хотелось хотя бы разобраться в том, что его угнетало; но он не дерзал высказать ни одного из сжигавших его существо сомнений, ибо все они начинались словами: «Но если я в это не верю?» — что уже само по себе было кощунством. Нет, он не мог говорить.

Они воззрились бы на него с изумлением, со страхом, с негодованием, стыдом и болью. И так как Пьер был в том восприимчивом возрасте, когда нежная, еще не окрепшая оболочка души поддается малейшим дуновениям жизни и, трепеща под ее легкими перстами, обретает законченную форму, то ему уже заранее становилось и грустно и неловко. О, до чего сильна была их вера! (Но так ли уж сильна?) И как это им удавалось? Спросить об этом было нельзя. Но когда среди верующих один не верит, он подобен человеку, лишенному какого-то органа, быть может и ненужного, но присущего всем остальным; и он, краснея, сторонится других.

Понять тревогу Пьера мог бы только его старший брат. Пьер обожал Филиппа, как часто, ревниво оберегая свою тайну, младшие обожают старших: брата или сестру, случайного знакомого, порой даже мимолетного спутника, уже скрывшегося из виду, всех, кто олицетворяет в их глазах образ того, кем они хотели бы стать и кого они одновременно хотели бы любить. Целомудренный, но уже тревожный жар души — предвестник будущих противоречивых страстей! Старший брат замечал это наивное обожание, и оно льстило ему. В ту пору он старался читать в сердце Пьера и многое осторожно объяснял ему: хотя и более мужественный, чем Пьер, он был человеком того же мягкого, женственного склада, — особенность, которой не стыдятся эти достойнейшие из мужчин. Но пришла война и оторвала его от привычного труда, от занятий наукой, от его юношеских мечтаний, от дружеской близости с младшим братом. В самозабвенном опьянении первых дней войны он бросил все и, подобно большекрылой птице, ринулся вдаль, ослепленный героическим и нелепым упованием на то, что своими когтями и клювом он покончит с войной и восстановит на земле мир. С тех пор эта птица два-три раза возвращалась в гнездо, с

каждым разом, увы, все более пощипанной. Он расстался со многими иллюзиями, но говорить об этом ему было тяжело. Ему было стыдно, что он верил во все это. Как глупо было не разглядеть подлинный лик жизни! Теперь он с ожесточением стремился разбить все прежние иллюзии и стоически принять действительность, какой бы она ни была! Он бичевал не только самого себя; с болезненным раздражением ополчался он на подобные же иллюзии, которые находил в душе младшего брата. Когда в первый приезд Филиппа Пьер бросился к нему, сгорая от желания раскрыть перед ним свое замурованное сердце, его сразу же охладило обращение старшего брата, правда по-прежнему ласковое, но с оттенком какой-то горькой иронии. Вопросы, готовые сорваться, замерли на устах Пьера. Филипп, угадывая их, одним небрежным замечанием или взглядом останавливал его. После двух-трех попыток Пьер, душевно раненный, ушел в себя. Он не узнавал больше брата.

Зато Филипп слишком хорошо узнавал его. Он узнавал в нем себя самого, каким он был еще недавно и каким никогда уже не будет. И за это он мстил брату. Затем он раскаивался, но не подавал вида и продолжал в том же духе. Оба страдали и,

как это часто бывает в жизни, общее страдание, вместо того чтобы сблизить, отчуждало их. Но между ними была некоторая разница: Филипп знал, что они страдают вместе, а Пьер думал, что страдает в одиночестве и нет друга, которому он мог бы открыться.

Почему же не обратился он к своим сверстникам, к школьным товарищам? Казалось бы, мальчикам следовало теснее сплотиться, искать взаимной поддержки? Но этого не было. Наоборот, обстоятельства роковым образом отдаляли их друг от друга и заставляли держаться небольшими группами, и даже внутри этих групп замыкаться и обособляться. Самые недалекие из них вслепую, очертя голову бросились в водоворот войны. Но большинство стояло в стороне и не чувствовало никакой связи со старшим поколением; они вовсе не разделяли их страстей, надежд и ненависти и смотрели на их фанатические действия, как трезвые смотрят на пьяных. Но что могли они сделать? Кое-кто пытался издавать небольшие политические журнальчики, но цензура душила их, и они угасали на первых номерах. Вся мыслящая Франция задыхалась от недостатка воздуха, словно под стеклянным колпаком. Самые достойные среди молодежи,

слишком слабые, чтобы бороться, и слишком гордые, чтобы жаловаться, знали, что нож войны уже занесен над ними. Ожидая своей очереди идти на бойню, они молча наблюдали за происходившим, каждый про себя, выносили свою оценку, полную иронии и презрения. Из духа противоречия жалкому стадному чувству они культивировали своеобразный умственный и художественный эготизм и идеалистический сенсуализм, и в нем преследуемое «я» отстаивало свои права, не желая единения с человечеством. Это пресловутое единение представлялось подросткам совместно содеянным и совместно пережитым убийством. Преждевременный опыт развеял их иллюзии: они познали цену этим иллюзиям на примере старших, которые, утратив их, тем не менее платили за них кровью. Было поколеблено даже их доверие к сверстникам, да и вообще к человеку. Вдобавок в те времена доверчивость обходилась дорого. Что ни день — новый донос: беседы в дружеском кругу, угаданные мысли — все получало огласку, а усердие шовинистически настроенного шпика награждалось и поощрялось правительством. И все, вместе взятое, — уныние, презрение, осторожность, стоическое сознание своего духовного одиночества — не располагало

этих молодых людей к откровенности.

Пьер не мог найти среди них Горацио, которого страстно ищут юные, восемнадцатилетние Гамлеты. Ему претило отдавать свои мысли на суд общественного мнения (этой публичной девки), но он жаждал свободно поделиться ими с избранным другом. Его слишком нежное сердце тяготилось одиночеством. Он страдал от страданий всего человечества. Оно сокрушало его бременем горя, тяжесть которого он преувеличивал: ведь, как бы там ни было, человек несет это бремя, стало быть, шкура у него грубее, чем нежная кожа еще не возмужавшего юноши. Но то, чего он не преувеличивал, то, что угнетало его сильнее, чем всемирное страдание, было всеобщее отупение.

Не страшно страдать, не страшно умереть, когда видишь в этом смысл. Жертвовать собой прекрасно, когда знаешь, во имя чего ты жертвуешь. Но какой смысл в глазах юноши может иметь мир, раздираемый распрями? Чем может привлечь честного и духовно здорового юношу ожесточенная схватка народов, сцепившихся, как бараны над пропастью, куда им всем предстоит рухнуть? Между тем дорога достаточно широка для всех. Откуда же эта жажда самоистребления?

Для чего эти обуянные гордыней отечества, эти государства, живущие грабежом, эти народы, которым внушают, что их долг убивать? Для чего это всемирное побоище? Это взаимопожирание живых существ? Для чего эта кошмарная, нескончаемая, чудовищная цепь жизни, каждое из звеньев которой вонзает зубы в затылок соседа, насыщается его плотью, наслаждается его муками и на его смерти созидает свою жизнь? Для чего эта борьба, для чего эти муки? Для чего смерть? Для чего жизнь? Для чего? Для чего?!

Когда сегодня вечером юноша вернулся домой, «для чего» молчало.

Между тем все как будто было по-прежнему. Он у себя в комнате, заваленной книгами и бумагами. Вокруг — знакомые звуки: вой сирены возвещает конец воздушного нападения; на лестнице, возвращаясь из подвала, оживленно болтают соседи; этажом выше ходит и ходит из угла в угол старик, все поджидая сына, без вести пропавшего несколько месяцев назад. Но тревога, притаившаяся здесь, когда он уходил, исчезла.

Иногда неполный аккорд, резанув слух, оставляет душу в смятении, пока не прозвучит нота, которая объединит враждебные или просто равнодушно-чуждые элементы, подобные незна-

комым еще между собою гостям, ожидающим, чтобы их представили друг другу. Но вот лед разбит, и гармония течет, заполняя ваше существо. Такого рода химическое превращение произвело в душе Пьера это теплое мимолетное прикосновение. Пьер не отдавал себе отчета, не задумывался, почему произошла эта перемена, но он чувствовал, что всегдашняя враждебность окружающего мира вдруг смягчилась. Часами изводит вас острая головная боль; и внезапно вы замечаете, что ее уже нет; неужели она прошла? Только чуть-чуть еще напоминает о ней пульсация в висках. Пьер отнесся недоверчиво к этому внезапному успокоению. Он опасался, что после временной передышки боль разразится с новой силой. Он знал, какое умиротворение дарит нам искусство. Когда наши глаза радует божественная соразмерность линий и красок и наше чуткое ухо ласкают дивные переливы многозвучных аккордов, рассыпаясь и сливаясь согласно законам гармонических чисел, — нас объемлет мир и затопляет блаженство. Но это озарение нисходит на нас откуда-то извне; как бы от далекого солнца, в лучах которого, завороженные, мы парим над жизнью. Это длится недолго — и мы снова падаем на землю. Искусство — лишь мимолетное забве-

ние действительности. И Пьер боязливо ждал, что все это пройдет. Но нет, на этот раз излучение шло из глубины души. Ничто житейское не было забыто. Но все было в согласии: воспоминания и новые мысли; и все окружающее — предметы, книги, бумаги — как бы оживало, становилось интересным, чего давно уже с ним не случалось.

Уже несколько месяцев его умственный рост был скован, подобно юному деревцу, в полном цвету побитому дыханием «ледяных святых». Пьер не принадлежал к тем предприимчивым юнцам, которые, пользуясь университетскими льготами для юных призывников, ожидающих мобилизации, спешили приобрести диплом под снисходительным взглядом экзаменаторов. Не владела им и бессмысленная жадность, с какой многие, в предчувствии близкой смерти, захлебываясь, глотали знания, уже ни на что им не нужные. Всегдашнее ощущение пустоты там, в конце, как и здесь, под ногами, — пустоты, прикрытой жестокими и обманчивыми иллюзиями, сдерживало все его порывы. Он увлекался какой-нибудь книгой, предавался размышлениям — и вдруг остывал, охваченный безнадежностью. На что ему все это? Для чего учиться? Для чего обогащать себя, если придется все потерять, все

бросить, если ничто тебе не принадлежит? Чтобы видеть смысл в какой-нибудь деятельности или науке, надо видеть смысл и в самой жизни. Ни усилия ума, ни мольбы сердца не помогали ему обрести этот смысл… И вот он появился неожиданно сам собой… Жизнь приобрела смысл…

Почему? И, гадая, что же вызвало эту улыбку души, он увидел полуоткрытые уста, к которым жаждали прильнуть его губы.

В обычное время очарование этой безмолвной встречи, вероятно, вскоре развеялось бы. В пору юности, когда вы влюблены в любовь, она глядит на вас изо всех очей; непостоянное сердце жаждет вкусить ее и здесь и там; ничто не торопит его сделать выбор: заря еще только занимается.

Но нынешний день будет краток: нужно спешить.

Сердце юноши рванулось вперед с тем большей стремительностью, что оно уже запаздывало. В больших городах, что издали кажутся вулканами, окутанными дымом сладострастья, таятся девственно-свежие души и нетронутые тела. Сколько там юношей и девушек свято чтут любовь и берегут в ожидании брака свежесть и чистоту чувств! Даже в утонченно культурной среде, где любопытство преждевременно

разбужено воображением, сколько забавного неведения скрывается под вольными речами светской девушки или студента, который все знает, но ничего не познал! В сердце Парижа есть наивные, провинциальные уголки, монастырские сады, чистые родники. Париж оклеветан своей литературой. От его имени говорят самые порочные. К тому же хорошо известно, что из ложного понимания престижа целомудренные юноши нередко скрывают свою невинность. Пьер еще не вкусил любви и готов был послушаться ее первого зова.

Очарование его мечты было тем сильнее, что любовь родилась под крылом смерти. В минуту смятения, когда они почувствовали над собой нависшую угрозу, когда их сердца дрогнули при виде окровавленного, изувеченного человека, их руки соединились; и оба в этот миг почувствовали сквозь дрожь страха ласковое утешение незнакомого друга. Мимолетное пожатие! Мужская рука сказала: «Обопрись на меня!» — а другая, материнская, поборов свой страх, шепнула: «Дитя мое!»

Слова эти не были произнесены вслух, не были услышаны. Но такой глубинный шепот внятен душе лучше слов, этой лиственной завесы, что

заслоняет мысль. Пьера убаюкивало это жужжание; точно поет золотистая оса, кружа в полумгле сознания. В непонятной истоме дремало время. Одинокое, бесприютное сердце мечтало о теплом гнездышке.

В первые дни февраля Париж подсчитывал разрушения от последнего воздушного налета и зализывал раны. Печать в своей конуре заливалась лаем, требуя репрессий. По словам «человека, который сажал на цепь»[8], правительство объявило французам войну. Началась целая серия судебных процессов над изменниками. Муки несчастного, защищающего свою жизнь, на которую предъявлял права общественный обвинитель, забавляли «весь Париж», чью жажду зрелищ не могли утолить ни ужасы четырехлетней войны, ни десять миллионов безвестно погибших жизней.

Но юноша был всецело занят таинственной гостьей, посетившей его. Поразительная яркость любовных образов, запечатленных в памяти и в то же время лишенных четкости! Пьер не мог бы сказать, какое у нее лицо, цвет глаз, рисунок губ; в душе сохранилось одно лишь волнующее

---

[8] Примечания: 8
То есть Клемансо, премьер-министра Франции.

впечатление. Тщетно силился он воспроизвести ее черты — они являлись ему все иными. Так же безуспешно искал он ее по улицам города. Он поминутно обманывался: ее улыбка, белокурый локон на затылке, блеск глаз… и кровь приливала к сердцу. Но нет, у этих мимолетных видений не было ничего общего с тем девическим образом, который он искал, думая, что любит его. Но любил ли он? В том-то и дело, что любил; потому и видел повсюду, в каждом облике. Ведь вся она — улыбка, вся — сияние, вся — жизнь. А точный рисунок определяет границы. Но эта определенность нужна, чтобы обнять любовь и завладеть ею.

Если не дано ему будет снова ее увидеть, он все же знает, что она есть, она есть, и она — гнездышко. Пристань: в бурю. Маяк в ночи. Stella Maris, Amor. Любовь, поддержи нас в час наш смертный!..

Пьер брел по набережной Сены, мимо Института; он находился у лестницы моста Искусств, рассеянно глядя на выставку книг одного из букинистов, оставшихся на своем посту; подняв глаза, он вдруг увидел ту, которую ждал. С папкой для рисунков в руках она легко, как лань, сбегала по ступеням. Он не раздумывал ни секунды: он устремился навстречу девушке, спускавшейся

по лестнице, и взоры их впервые встретились и проникли в глубь души. Поравнявшись с девушкой, Пьер остановился, невольно краснея. От неожиданности, видя его смущение, она тоже покраснела. Не успел он перевести дыхание, как легкие шаги лани стихли. И когда он снова пришел в себя и оглянулся, ее пальто уже мелькнуло у поворота аркады, выходящей на набережную Сены. Ему и в голову не пришло догонять ее Перегнувшись через перила моста, он видел ее взгляд в речных струях.

На время его сердцу хватит пищи… (О, милые, глупые дети!..)

Спустя неделю он бродил по Люксембургскому саду, напоенному золотистой негой солнца. Какой лучезарный февраль в этом мрачном году! Влюбленный, погруженный в свои грезы, не зная, грезится ли ему то, что он видит, или он видит то, о чем грезит, счастливый и несчастный в своем страстном томлении, согретый любовью и солнцем, он улыбался, гуляя, рассеянно глядя перед собой на песчаную дорожку, и губы его невольно шевелились, произнося какие-то несвязные слова, что-то похожее на песнь. И вдруг словно крыло голубя задело его на лету — он почувствовал чью-то улыбку. Пьер обернулся и увидел, что

мимо него прошла она; в ту же минуту и девушка на ходу обернулась и, улыбаясь, посмотрела на него. Не размышляя, он рванулся к ней в таком юношески простодушном порыве, что и она невольно остановилась. Он не извинился. Ни он, ни она не чувствовали никакой неловкости. Они как бы продолжали давно начатый разговор.

— Вы смеетесь надо мной, — сказал он, — и вы, конечно, правы.

— Я вовсе не смеюсь над вами. (В ее голосе была та же легкость и живость, что и в походке.) Вы улыбались своим мыслям, и мне стало смешно, глядя на вас.

— Неужели я улыбался?

— Вы и сейчас улыбаетесь.

— Но теперь-то я знаю почему.

Она не спросила. Они пошли рядом, счастливые.

— Солнышко какое славное, — сказала она.

— Это рождение весны!

— Не ей ли вы посылали ваши нежные улыбки?

— Не только ей. Может быть, и вам.

— Вот лгунишка! Противный! Вы же со мной не знакомы.

— Разве можно так говорить! Ведь мы уж сколь-

ко раз встречались!

— Всего три... считая и сегодня.

— А-а, вы помните! Вы сами видите, что мы старые знакомые!

— Рассказывайте!

— А я только этого и хочу... Но давайте присядем на минутку, пожалуйста! Здесь у воды так хорошо!

(Они стояли у фонтана «Галатея». Рабочие закрывали его, чтобы уберечь от повреждений.)

— Не могу, я пропущу трамвай...

Она назвала время отхода загородного трамвая. Он сказал, что в ее распоряжении еще целых двадцать пять минут.

Да, но ей надо купить чего-нибудь на завтрак: тут на углу улицы Расина продают очень вкусные булочки. Пьер вынул из кармана свежую булку.

— Вот такие? Не хотите ли попробовать?..

Она засмеялась в нерешительности. Пьер вложил булку ей в ладонь и задержал ее руку.

— Вы мне доставите большое удовольствие! Пойдемте же присядем! — Он повел ее к скамейке в аллее, огибавшей бассейн. — У меня есть еще и это.

Он вынул из кармана плиточку шоколада.

— Ну и лакомка! Чего только у него нет!

— Но я не смею предложить… Он не завернут.

— Давайте, давайте… Время военное!

Пьер смотрел, как она грызла шоколад.

— В первый раз чувствую, что и в войне есть что-то хорошее.

— Не будем говорить о войне! Надоело!

— Да, — подхватил он с воодушевлением, — не надо о ней говорить.

(И вдруг стало легко-легко дышать.)

— Смотрите-ка, — воскликнула она, — воробьи купаются!

(Она указала на птичек, плескавшихся в бассейне.)

— Значит, в тот вечер, — продолжал он о своем, — там, в метро, вы все же заметили меня, скажите?

— Конечно.

— Но вы даже ни разу на меня не взглянули, вы все время стояли отвернувшись… вот как сейчас…

(Он видел ее в профиль, как она ела булку и глядела перед собой, лукаво щурясь.)

— Ну, повернитесь ко мне… Что вы там увидели?

Она не повернула головы. Он взял ее правую руку; из дырочки на перчатке выглядывал кон-

чик указательного пальца.

— Куда вы смотрите?

— Смотрю, как вы разглядываете мою перчатку… Пожалуйста, не порвите ее еще больше!

(В рассеянности он теребил разорванный палец перчатки.)

— Ах, простите! Как это вы увидели?

Она не ответила; но, взглянув на ее лукавый профиль, он заметил краешек смеющегося глаза.

— Вот плутовка!

— Это же очень просто… все так делают…

— А я не могу.

— А вы попробуйте!.. Скосите глаз.

— Нет, я так не умею… Я вижу только, когда смотрю прямо перед собой, как дурак…

— Да вовсе не как дурак!

— Наконец-то! Вот теперь я вижу ваши глаза.

Они глядели друг на друга, ласково посмеиваясь.

— Как вас зовут?

— Люс.

— Красивое имя! Светлое, как этот день.

— А ваше?

— Пьер. Самое обыкновенное.

— Очень хорошее имя, у него такие ясные, открытые глаза.

— Как у меня.

— Что они ясные — это правда.

— А все потому, что они смотрят на Люс.

— Люс! Надо сказать «мадемуазель Люс».

— Нет!

— Нет?

(Он покачал головой.)

— Вы не «мадемуазель». Вы просто Люс, а я Пьер.

Они держались за руки. Устремив глаза в небо, кротко синевшее меж голых древесных сучьев, они замолчали. Они глядели друг на друга, но мысли, их волновавшие, передавались через пожатье руки.

Она сказала:

— В тот вечер нам обоим было страшно.

— Да, — подхватил он, — и это было хорошо.

(Позднее они невольно улыбались, вспоминая этот разговор: оба в ту минуту, конечно, думали об одном.)

Вдруг она выдернула руку: били часы.

— Ах! Я опоздаю…

Они пошли вместе. Люс шла быстрой, легкой походкой парижанки, которая и в спешке не теряет присущего ей изящества.

— Вы часто здесь бываете?

— Каждый день. Но почти всегда на той стороне площадки. (Она указала на сад, на купу деревьев, точь-в-точь как у Ватто.) Я возвращаюсь из музея.

(Он посмотрел на ее папку.)

— Вы художница? — спросил он.

— Нет, — ответила она, — для меня это чересчур громкое слово. Так, малюю немного…

— Но зачем же? Для развлечения?

— О, конечно, нет. Ради денег.

— Ради денег?

— Ну да! Как дурно, не правда ли, заниматься искусством для заработка?

— Нет, это скорее странно — зарабатывать деньги, не умея рисовать.

— Однако это так. Я вам объясню в следующий раз.

— В следующий раз мы опять перекусим у фонтана.

— Пожалуй, если будет хорошая погода.

— Но вы придете пораньше? Хорошо? Ну скажите, Люс?

(Они дошли до трамвайной остановки. Она вскочила на подножку вагона.)

— Ну, скажите… ответьте мне… милый мой лучик!..

Девушка не отвечала, но, когда тронулся трамвай, она прикрыла веки, и по одному лишь движению ее губ он угадал ответ:

— Да, Пьер.

По дороге домой оба думали: «Удивительно, какие все радостные сегодня...»

И сами улыбались, не пытаясь разобраться в том, что произошло: но они знали — у них что-то есть, они что-то нашли, им что-то принадлежит. Что именно? Ничего. Но сегодня жизнь так полна! Дома каждый из них поглядел на себя в зеркало ласковым взглядом, как на друга, думая: «Эти глаза смотрели на тебя». Они улеглись рано, охваченные какой-то сладостной усталостью, — почему бы это? И, засыпая, думали: «Как хорошо, что наступит завтра!»

Завтра!.. Те, кто придет после нас, едва ли представят себе, сколько затаенного отчаяния и беспредельной скорби поднимало в душе это слово на четвертом году войны... Все были так измучены! Столько погибших надежд! Сотни «завтра» сменялись чередой, похожие на вчера и сегодня и равно обреченные на небытие и ожидание, ожидание небытия. Время приостановило свой бег. Год стал подобен Стиксу, охватившему жизнь кольцом черных мутных вод, недвиж-

ных, подернутых тусклой зыбью. Завтра? Завтра умерло.

В сердцах двух детей завтра воскресло.

Завтра снова увидело их у фонтана, так же как и все последующие «завтра». Ясная погода благоприятствовала этим коротким, но с каждым разом все менее коротким, встречам. Оба приносили с собой какую-нибудь еду — так приятно было угощать друг друга. Пьер всегда поджидал Люс у входа в музей. Ему захотелось посмотреть ее рисунки. Она ими не слишком гордилась, но не заставила себя упрашивать. Это были уменьшенные копии известных картин или их фрагментов: группа, лицо, бюст. На первый взгляд недурно, но очень небрежно. Кое-где довольно верные, умелые штрихи, а рядом — ученические промахи, выдававшие не только невежество, но и нетребовательность, полное равнодушие к чужой оценке. «Ничего! Сойдет!» Люс называла подлинники. Пьер и сам хорошо знал их. Он досадливо морщился. Люс видела, что ему не нравится, но все равно показывала — вот вам еще!.. Самая скверная! С ее губ не сходила усмешка — насмешка и над собой и над Пьером; ей не хотелось признаваться самой себе, что ее самолюбие задето. Пьер не открывал рта, боясь

сказать лишнее. Но наконец он не вытерпел. Она показала ему копию с одной флорентийской картины Рафаэля.

— Но здесь совсем не те краски! — воскликнул он.

— Ничего удивительного! — возразила Люс. — Подлинника я и в глаза не видела… я делала по фотографии.

— Но разве вам не дают указаний?

— Кто? Заказчики? Они тоже не видели… Да если бы и видели, разве они в этом разбираются? Красный ли тут, зеленый, синий — им все равно. Иногда мне и дают цветной оригинал, но я меняю цвета… Вот хотя бы здесь, взгляните… («Ангел» Мурильо.)

— И вам кажется, что так лучше?

— Нисколько, но это меня забавляет… И к тому же так легче… А в общем, мне все равно… Лишь бы продалось.

Выпалив это, она замолчала, забрала у Пьера свои рисунки и рассмеялась.

— Ну что? Хуже, чем вы думали?

Он огорченно спросил:

— Зачем? Зачем вы это делаете?

Она взглянула с доброй, материнской усмешкой на его растерянное лицо. Глупый мальчик!

Его родители — люди обеспеченные, ему все так легко достается… Разве он понимает, что иногда приходится идти на компромисс?

А он все повторял:

— Зачем, ну скажите, зачем?

(Он казался совсем сконфуженным, словно сам был этим злополучным художником! Славный мальчик! Ей захотелось поцеловать его… по-матерински, в лоб.)

Она кротко ответила:

— Чтобы прокормиться.

Он был поражен. Ему это и в голову не приходило.

— Жизнь не так проста, — продолжала она непринужденно-насмешливым тоном, — прежде всего, надо есть, каждый день есть. Сегодня пообедал, а завтра начинай с начала. Кроме того, надо одеваться. Прикрыть все — и тело, и руки, и ноги, и голову. Вот сколько надо вещей! И за все надо платить. Жить — значит платить.

Впервые он заметил то, что ускользнуло от его близоруких глаз влюбленного: скромный, местами потертый мех, уже не новые ботинки и другие признаки нужды, которые скрадывала присущая парижанке элегантность. И сердце у него сжалось.

— Нельзя ли, нельзя ли мне помочь вам?

Она покраснела и чуть отстранилась от него.

— Нет, нет, — обиженно возразила она, — об этом не может быть и речи… никогда… я не нуждаюсь…

— Но я был бы так счастлив!

— Нет… и довольно об этом! Или я с вами не дружу.

— Так, значит, мы друзья?

— Да. Если только вы не отказываетесь, поглядев на мою мазню.

— Ну, конечно, нет! Вы же не виноваты.

— Но это вас огорчает?

— О да.

Люс от удовольствия даже засмеялась.

— А вам весело? Злюка вы!

— Вовсе не злюка. Вы не поняли.

— Почему же вы смеетесь?

— Не скажу.

(А сама думала: «Дорогой мой! Какой же ты милый… Огорчился, что я скверно рисую!»)

И сказала:

— Вы добрый. Спасибо.

(Он удивленно взглянул на нее.)

— Не старайтесь понять! — Она ласково похлопала его по руке. — Довольно, поговорим о

другом…

— Да, только еще один вопрос… Мне все-таки хотелось бы знать… Скажите (только не обижайтесь!)… может быть, вы сейчас стеснены в средствах?

— Нет, нет, я так сказала потому, что у меня бывали трудные минуты. А теперь уже легче. Мама нашла место, где хорошо платят.

— Ваша мама работает?

— Да, на военном заводе. Ей платят двенадцать франков в день. Мы теперь богатые!

— Как, на заводе? На военном заводе?

— Да.

— Но это ужасно!

— Что поделаешь! Приходится соглашаться!

— Люс, но если бы вам — вам самой предложили?

— Мне? Но вы же видите: я мазюкаю… Теперь-то вы согласны, что я права, занимаясь этим?

— Но если бы вам надо было зарабатывать, и ничего другого не представилось, кроме работы на заводе, где производят снаряды, вы пошли бы?

— Если бы надо было зарабатывать и не было выбора? Ну, конечно, пошла, помчалась бы со всех ног!

— Люс, а вы думали о том, что там делают?

— Нет, не думала.

— Там делают то, что несет страдания, смерть, что будет терзать, жечь, мучить таких же людей, как вы, как я…

Она приложила палец к губам в знак молчания.

— Знаю, все это знаю, но не хочу об этом думать.

— Не хотите думать?

— Не хочу, — решительно сказала Люс.

И, с минуту помолчав, продолжала:

— Надо жить… Как только начинаешь думать — жить невозможно… А я хочу, хочу жить! Если жизнь заставляет меня делать то или другое, разве я должна из-за этого терзаться? Я тут ни при чем, я этого не хотела, и не моя вина, если это дурно. В том, чего я хочу, нет ничего дурного.

— А что вы хотите?

— Прежде всего — жить.

— Вы любите жизнь?

— Еще бы! А разве это плохо?

— Нет, нет, так хорошо, что вы живете!

— А вы? Вы не любите жизнь?

— Я не любил ее раньше, до того…

— До того, как?..

(Ответа не требовалось. Все было понятно без

слов.)

Пьер продолжал допытываться:

— Вы сказали «прежде всего», «прежде всего я хочу жить». А потом? Чего бы вам еще хотелось?

— Не знаю.

— Нет, знаете.

— Вы очень нескромны.

— Да, очень.

— Я стесняюсь сказать вам…

— Шепните мне на ухо. Никто и не услышит.

Она улыбнулась.

— Мне хотелось бы… (Она запнулась.) Мне хотелось бы *капельку* счастья…

(Они сидели совсем близко друг к другу.)

Она продолжала:

— Разве я слишком многого требую? Я часто слышу, что это эгоистично; да я и сама себе говорю: «На что мы сейчас имеем право?» Когда видишь кругом столько страданий, столько горя, не смеешь ничего требовать. И все же мое сердце требует и говорит: «Нет, есть у тебя право, есть право на чуточку, на капельку счастья…» Ну скажите мне прямо: разве это эгоистично? Вы находите, что это нехорошо?

Его охватила бесконечная жалость. Этот крик сердца, трогательный и простодушный, взвол-

новал его до глубины души. На глазах у него выступили слезы. Сидя на скамье, прижавшись друг к другу, они чувствовали тепло своих колен. Ему хотелось повернуться, обнять ее, но он боялся потерять самообладание. Они сидели не двигаясь, глядя на свои ноги. Торопливо, горячо и глухо, едва шевеля губами, он проговорил:

— Маленькая моя! Моя дорогая! Мне хочется прижать ваши крохотные ножки к своим губам, мне хочется съесть вас всю целиком…

Не поворачиваясь, так же торопливо и тихо, она ответила в полном смущении:

— Вы с ума сошли! Замолчите! Умоляю вас…

Мимо них медленно прошел пожилой человек. Им казалось, что они растворяются в безграничной нежности…

В аллее не было никого. Взъерошенный воробей копошился в песке. Фонтан рассыпался светлыми каплями. Они робко обернулись друг к другу; и как только взгляды их встретились, губы их, словно летящие птицы, соединились, боязливо и трепетно, и разлетелись, Люс встала, пошла. Пьер тоже встал. Она сказала ему: «Останьтесь».

Они избегали смотреть друг на друга. Пьер пробормотал:

— Люс… эта капелька… Эта капелька счастья…

теперь она у нас есть… скажите?

Из-за непогоды завтраки у фонтана с воробьями прекратились. Февральское солнце затянуло туманами. Но они не могли погасить то солнце, которое влюбленные носили в своем сердце. Не все ли равно, какая погода: холод, жара, дождь, ветер, снег или солнце! Им всегда хорошо, будет еще лучше. Когда счастье в поре своего цветенья, самый прекрасный день — это сегодняшний.

Туман был им на руку: меньше рискуя попасться кому-нибудь на глаза, они не расставались подолгу. С утра Пьер поджидал Люс у остановки трамвая и сопровождал ее в беготне по Парижу. Воротник его пальто был поднят. Люс была в меховой шапочке, в боа, плотно окутывавшем ее шею до самого подбородка; под туго натянутой вуалеткой маленьким кружочком вырисовывались ее пухлые губки. Но самой лучшей вуалью служила обоим влажная пелена укрывающей мглы, густая, пепельно-серая, с желтыми фосфоресцирующими бликами. В десяти шагах ничего не было видно. Среди сгущавшегося тумана они шли по старым улицам, выходившим к Сене. О друг туман, на твоих ледяных простынях потягивается и нежится мечта! Они были как зернышко в мякоти плода, как огонек, скрытый в потайном

фонаре. Пьер крепко держал свою спутницу под руку; они шли в ногу, оба почти одного роста, — Люс чуть повыше, — и щебетали вполголоса, близко наклонившись друг к другу; ему так хотелось поцеловать влажный кружок на вуалетке.

Люс ходила продавать к скупщику поддельной старины заказанную ей «пачкотню», как она это называла. Они не спешили прийти к месту и, как бы нечаянно (по крайней мере, они хотели себя в этом уверить), выбирали путь подлиннее, сваливая вину на туман. Когда же все-таки вопреки всем уловкам, на которые они пускались, чтобы обойти нужный им дом, он вставал перед ними, Люс входила в лавку, а Пьер становился на углу улицы. Он ждал подолгу, и ему было холодно. Но ради Люс он готов был ждать, зябнуть и даже скучать. Наконец девушка показывалась, спешила к нему, улыбающаяся, растроганная, обеспокоенная, не продрог ли он. По ее глазам он видел, когда все сходило благополучно, и радовался не меньше ее самой. Но чаще всего она возвращалась с пустыми руками; чтобы получить деньги, приходилось наведываться по два-три дня подряд. Хорошо еще, если обходилось без обидных замечаний и ей не возвращали заказа. Как раз сегодня ей устроили целый скандал

из-за миниатюры, сделанной с фотографии одного умершего человека, которого она никогда не видела. Родные покойного возмущались тем, что она не передала в точности цвет его глаз и волос. Придется переделывать! Склонная видеть свои невзгоды с их комической стороны, она посмеивалась, бодрилась; но Пьеру это не казалось смешным; он выходил из себя:

— Идиоты! Какие идиоты!

Рассматривая фотографии, которые Люс предстояло воспроизвести в красках, Пьер кипел от негодования (до чего ее забавляла эта смешная ярость!) при виде тупых физиономий, застывших в торжественной улыбке. Он считал просто кощунством, что милые глаза Люс должны созерцать, а руки воспроизводить эти рожи. Нет, это возмутительно! Лучше уж копировать картины старых мастеров; но на это нечего было рассчитывать: закрывались последние музеи, искусство больше не интересовало заказчиков. Пора мадонн и ангелов прошла, настала пора солдата, В каждой семье был свой солдат, живой или мертвый, чаще мертвый, и семья хотела увековечить его черты. Богатые заказывали копии в красках; работа эта неплохо оплачивалась, но, к сожалению, перепадала все реже; приходилось

мириться со многим. Скоро кончится и это — ничего другого не останется, как за грошовую плату делать увеличенные копии с фотографий.

Словом, у Люс уже не было необходимости задерживаться в городе: работа в музее отпала; бывать в магазине — получать и сдавать заказы — приходилось не чаще двух-трех раз в неделю; а работать можно и дома. Это не очень-то устраивало юных друзей. Они кружили по улицам, не решаясь повернуть обратно к трамвайной остановке.

Почувствовав усталость и продрогнув от холодного, пронизывающего тумана, они зашли в церковь; усевшись тихонько в уголке одного из приделов и любуясь витражами, они заговорили вполголоса о повседневных мелочах своей жизни. Время от времени наступало молчание, и душа, освобожденная от слов (ибо не смысл слов имел для них значение, но самое дыхание их жизней, соприкасавшихся трепетно и тайно), продолжала другую беседу, более значительную и сокровенную. Призрачные видения витражей, сумрак меж колонн, убаюкивающее пение псалмов сливались с их мечтами, напоминали о жизненных невзгодах, которые хотелось забыть, порождали умиротворение, мысли о бесконеч-

ном. Хотя было уже около одиннадцати часов, желтоватый сумрак наполнял храм, как масло — священный сосуд. Сверху, откуда-то издалека, падали неясные отсветы, темный пурпур цветного стекла, алый блик среди лиловых тонов, смутно различимые лица в черных оправах. В высокой стене мрака зиял, словно рана, кровавый свет.

Люс прервала молчание:

— Вас должны *взять?*

Он сразу понял ее, ибо его мысль в тишине следовала тою же темной тропой.

— Да, — ответил он, — не надо об этом говорить.

— Скажите только одно: когда?

Он ответил:

— Через полгода.

Она вздохнула.

— Не стоит говорить об этом, — заметил Пьер, — все равно не поможет.

— Да, не поможет, — отозвалась она.

И, сделав над собой усилие отогнать печальную мысль, они мужественно (пожалуй, следовало бы сказать наоборот: «трусливо»? Кто знает, в чем состоит истинное мужество!) заставили себя говорить о посторонних вещах: о звездах-свеч-

ках, мерцавших в сумраке храма; о зазвучавшем органе; о церковном стороже, прошедшем мимо; о коробке с сюрпризами — сумочке Люс, в которой беззастенчиво шарили пальцы Пьера, — надо же было чем-нибудь развлечься. Ни он, ни она не допускали даже мысли уйти от рока, грозившего разлучить их. Противостоять войне, пойти против течения, уносившего за собой целый народ, — все равно что поднять церковь, прикрывшую их своим щитом! Единственным спасением было не думать, не думать до последней минуты, надеясь втайне, что она никогда и не наступит. А до той поры не омрачать своего счастья.

Когда они уже шли по улице, оживленно болтая, Люс вдруг дернула Пьера за рукав, приглашая взглянуть на витрину обувного магазина. Он заметил, что взгляд ее умильно ласкает пару высоких ботинок из тонкой кожи со шнуровкой.

— Недурны! — заметил он.

— Душки! — вырвалось у нее.

Это выражение рассмешило его; она тоже засмеялась.

— Но, пожалуй, чуть велики?

— Нет, как раз впору.

— Так не купить ли?

Она сжала его руку и потянула прочь от витрины — от соблазна.

— Будь мы с деньгами… (и напевая на мотив: «Станцуем капуцинку…») Но это не для нас!

— Почему? Золушка ведь надела туфельку!

— В ту пору еще водились феи.

— А в наши времена еще водятся влюбленные.

Она пропела:

— Нет, нет и нет, мой милый друг!

— Почему же нет, раз я вам друг?

— Именно потому.

— Именно потому?

— Да, от друга нельзя брать.

— От кого же можно? От врага?

— От постороннего, ну хотя бы от моего скупщика, если бы этот скряга расщедрился на аванс!

— Но, Люс, ведь и я тоже имею право заказать вам картину!

Она прыснула со смеху и остановилась:

— Мне — картину! Бедняжка вы мой, да на что она вам нужна? Спасибо вам и за то, что вы их смотрели. Я и сама знаю, что это за стряпня… Она застрянет у вас в горле.

— Вовсе нет. Были очень приятные миниатюры. Да и о чем толковать, раз у меня такой вкус?

— Он сильно изменился со вчерашнего дня!

— А разве нельзя меняться?

— Нельзя… если дружишь.

— Ну, сделайте мой портрет!

— Еще что! Теперь подавай ему портрет!

— Я не шучу! Неужели я хуже этих болванов?

В невольном порыве она сжала ему руку.

— Милый!

— Что вы сказали?

— Ничего.

— Но я прекрасно слышал.

— Ну и держите про себя!

— Не буду держать… верну вам вдвойне… Милая!.. Милая!.. Итак, вы делаете мой портрет, не правда ли? Решено?

— А есть у вас фотография?

— Нет.

— Как же быть? Не рисовать же мне вас посреди улицы?

— Вы говорили, что дома вы почти всегда одна?

— Да, в те дни, когда мама на заводе… Но я не решаюсь…

— Вы опасаетесь, что нас могут увидеть?

— Нет, не то… да у нас и нет соседей.

— Чего же вы боитесь?

Она промолчала.

Они дошли до трамвайной остановки. Здесь было много ожидавших, но в тумане, по-прежнему скрывавшем их от посторонних глаз, никто не видел юной пары; Люс избегала смотреть на Пьера. Он взял обе ее руки в свои и нежно сказал:

— Милая, не бойтесь ничего…

Она подняла глаза, и взгляды их встретились. Глаза у обоих были такие открытые!

— Я верю вам, — промолвила она.

И опустила веки. Она чувствовала, что для него она — святыня. Они разомкнули руки. Трамвай уже трогался. Взгляд Пьера вопрошал Люс.

— Когда же? — спросил он.

— В среду, — ответила Люс, — приходите часам к двум…

На лице ее снова заиграла лукавая улыбка, и на прощание она шепнула ему на ухо:

— Все-таки захватите с собой снимок. Я не так искусна, чтобы рисовать с натуры… Ну-ну, я уж знаю, что он у вас есть, притворщик вы этакий!

По ту сторону авеню Малакофф. Улица, точно щербатый рот, вся прорезана пустырями, которые тянутся вдаль, к неприглядному поселку, где за дощатыми заборами пестреют лачуги старьевщиков. Серое, тусклое небо опустилось на бледную землю, тощее чрево которой курится

туманом. Воздух скован холодом. Домик Люс нетрудно найти: последний из трех, стоящих по одной стороне улицы. Напротив — пустырь. Двухэтажный домик в окруженном забором небольшом дворе, два-три чахлых деревца, занесенный снегом квадрат огорода.

Пьер вошел бесшумно: снег заглушил его шаги; но занавеска в окне нижнего этажа шевельнулась; он подходит к двери — дверь открывается, и Люс стоит на пороге. В полутемной прихожей они здороваются сдавленным голосом; она ведет его в первую комнату — столовую; здесь она работает; у окна стоит мольберт. Сначала они даже не знают, что сказать: слишком много думали они об этой встрече, и заранее приготовленные фразы застревают в горле; они говорят вполголоса, хотя в доме никого нет; именно поэтому. Скованные, они сидят на почтительном расстоянии друг от друга. Пьер даже не опускает воротника пальто; говорят о похолодании, о времени прихода загородного трамвая и досадуют на свою глупость.

Поборов наконец смущение, Люс спрашивает, принес ли он фотографии. И стоит лишь ему вынуть их из кармана, как оба оживляются. Фотографии — это как бы свидетели, при которых им легче вести беседу, они уже не совсем одни, на

них смотрят чьи-то глаза, ничуть их не стесняя. Пьер догадался (вполне бесхитростно) захватить с собой все свои фотографии с трехлетнего возраста; среди них есть и снимок Пьера в юбочке. Люс в полном восторге смеется; она говорит малышу смешные ласковые слова. Может ли что-нибудь живее тронуть сердце женщины, чем детский портрет того, кто ей дорог? Мысленно она баюкает его, дает ему грудь; она готова поверить, что носила его под сердцем! К тому же (она ведь с хитрецой) очень удобно высказать крошке то, что не решаешься сказать взрослому. На его вопрос, какая из фотографий ей больше нравится, она, не задумавшись, отвечает:

— Вот этот милый малыш…

Ах, до чего у него серьезный вид! Пожалуй, серьезнее, чем теперь. Конечно, если бы Люс решилась (она и решилась) взглянуть для сравнения на теперешнего Пьера, она увидела бы в его глазах доверчивость и детскую радость, чего нет у ребенка; глаза ребенка из обеспеченной семьи, которого держат под стеклянным колпаком, — это лишенные света глаза птички, запертой в клетке. Но свет блеснул, не правда ли, Люс?.. Он тоже хочет посмотреть фотографии Люс. Она показывает ему девочку лет шести с толстой

косичкой, которая сжимает в объятиях щенка, и Люс, взглянув на свою фотографию, думает не без лукавства, что и тогда она любила не менее горячо, не менее преданно; и тогда уже она целиком отдавала сердце своему другу — маленькой собачке, которая, в ожидании прихода любимого, заменяла его. Потом она показала девочку лет тринадцати — четырнадцати, изгибавшую шейку с кокетливым и несколько жеманным видом; к счастью, в уголках губ таилась ее всегдашняя лукавая усмешка, которая как бы говорила: «Знаете, это я просто забавляюсь… Я себя еще не принимаю всерьез…»

Смущения как не бывало!

Люс принялась набрасывать портрет Пьера. Так как двигаться ему было нельзя, а разговаривать можно лишь краешком губ, она болтала без умолку, за двоих. Женское чутье подсказывало ей избегать молчания. Как это случается с людьми чистосердечными, когда они разговорятся, она вскоре поведала Пьеру все сокровенные тайны своей жизни и жизни своих близких, говорить о которых вовсе и не предполагала. Она сама с удивлением слушала свою болтовню, но уже не могла остановиться: молчание Пьера было как бы скатом, по которому лился этот словесный

поток.

Она рассказала ему о своем детстве в провинции; родилась она в Турени. Мать ее, девушка из зажиточной и почтенной буржуазной семьи, увлеклась учителем, сыном фермера. Богатая семья была против их брака; но влюбленные настояли на своем; дождавшись совершеннолетия, девушка обратилась к властям с официальным прошением. После этого родители отказались от нее. Для юной четы потянулись годы любви и бедности. В борьбе за кусок хлеба отец надорвался; его сломила болезнь. Жена мужественно взвалила на свои плечи и это бремя, работая за двоих. Родные, закоснев в своем уязвленном тщеславии, отказывались хоть немного помочь им. Больной скончался незадолго до начала войны. Мать с дочерью и не пытались возобновить отношения со своей родней, хотя она приютила бы девушку, сделай та первые шаги, которые были бы восприняты как mea culpa за проступок матери. Но этого они не дождутся! Лучше уж перебиваться как-нибудь!

Такое жестокосердие богатой родни поразило Пьера. Люс же находила его в порядке вещей.

— Вы думаете, таких людей мало? В общем не злых. А я уверена, что дед с бабушкой — лю-

ди не злые, уверена даже, что им было трудно не сказать нам: «Вернитесь!» Но их самолюбие уязвили. А самолюбие — это самое сильное, что только есть в таких людях. Оно берет верх над всеми чувствами. Если вы их оскорбили, они воспринимают это не только как личную обиду, но как Неправоту вообще! Другие — неправы, а они — они непогрешимы! И, в сущности не злые (нет, право, не злые), они скорее дадут вам умереть медленной смертью в двух шагах от себя, чем согласятся признать, что они сами, быть может, неправы. И разве мало таких? Да сколько угодно! Вы думаете, нет? Скажите, разве не все они такие?

Пьер задумался. Слова Люс поразили его.

— Да, — говорил он себе, — они именно такие…

И вот глазами этой девочки он увидел духовную нищету и пустынное бесплодие того общественного класса, к которому сам принадлежал, — класса буржуазии. Сухая, истощенная земля, утратившая мало-помалу все жизненные соки и уже не пополнявшая их, подобно тем азиатским странам, где живительные реки ушли, капля за каплей, в прозрачный, как стекло, песок. Даже тех, кого они, казалось бы, любили, они

любили собственнически, принося их в жертву своему эгоизму, своему тупому тщеславию, своей косности, ограниченности. Пьер с грустью обратил мысленный взор на самого себя и на своих родных. Он молчал. Оконные стекла дребезжали от отзвуков далекой канонады. Подумав о тех, кто погибал, Пьер произнес с горечью:

— Это тоже их черное дело.

Да, за все — за хриплый лай пушек там, вдали, за всеобщую бойню, за великое бедствие народов, — за все это львиную долю ответственности несла та же буржуазия, жестокосердная и бесчеловечная, тщеславная и ограниченная. И вот теперь (справедливое возмездие!) сорвавшееся с цепи чудовище не остановится, пока не пожрет ее самое.

— Да, это так, — сказала Люс.

Ибо, сама того не подозревая, она невольно следовала за мыслью Пьера; тот вздрогнул, услыхав этот отклик.

— Да, это так, — повторил он, — все, что совершается, справедливо. Этот мир слишком стар, он должен умереть, и он умрет.

Люс, покорно опустив голову, грустно проговорила:

— Да.

Задумчивые лица детей, поникших челом под бременем судьбы, омраченных заботой и безотрадными мыслями!..

В комнате сгущались сумерки. Становилось холодно. Руки у Люс озябли, и она оставила работу, на которую Пьеру запрещено было смотреть. Они подошли к окну и загляделись на вечереющие поля и лесистые холмы. Лиловые леса вырисовывались полукругом на зеленом небе, подернутом бледно-золотистой пылью. Здесь витала частица души Пювис де Шаванна. Вскользь брошенное замечание Люс дало Пьеру почувствовать, что она понимает тайную гармонию природы; он взглянул на нее с удивлением. Люс, ничуть не обидевшись, сказала, что можно уметь чувствовать и не обладая способностью выразить свои чувства. Не ее вина, если она плохо рисует. Из недальновидной экономии она не окончила курса в Школе прикладного искусства. Впрочем, только нужда заставила ее взяться за кисть. Зачем рисовать, если нет потребности? Разве Пьер не находит, что почти все, кто занимается искусством, делают это не по настоящему призванию, а из тщеславия, от безделья либо оттого, что вначале им казалось, что они одарены, а потом уже не хотелось признать свою ошибку. За искусство

надо браться только в том случае, если человек никак не может сдержать переполняющих его чувств, если они бьют через край. Но у нее, сказала Люс, их ровным счетом на одного.

— Ну, на двоих, — добавила она, заметив, что Пьер насупился.

Великолепные золотистые тона неба потускнели. На пустынную равнину лег отпечаток уныния. Пьер спросил Люс, не страшно ли ей одной в таком глухом углу.

— Нет.

— А когда возвращаетесь поздно?

— Здесь не опасно. Хулиганы сюда не заглядывают. У них свои обычаи. Ведь это тоже в своем роде буржуа. И потом, тут рядом живет старик тряпичник с собакой. Да я и не боюсь. О, я этим не хвастаю. Никакой заслуги тут нет. Это не храбрость. Просто мне еще не пришлось испытать настоящего страха, а когда приведется, я, быть может, окажусь трусливее других. Разве знаешь, каков ты на самом деле?

— Я-то знаю, какая вы, — вставил Пьер.

— Это гораздо легче. Я тоже знаю… вас. Других всегда лучше знаешь.

Сквозь закрытые окна проникала леденящая вечерняя сырость. Пьер поежился. Люс инстинк-

тивно почувствовала его озноб и поспешила вскипятить на спиртовке чашку шоколада. Они подкрепились. Люс по-матерински укутала Пьера платком; он не противился, нежась, как котенок, в теплоте шерсти. Мысли их снова вернулись к прерванной беседе.

Пьер спросил:

— Вы с вашей матерью, — обе такие одинокие, — наверное, очень близки?

— Да, — ответила Люс, — были близки.

— Были? — переспросил Пьер.

— О, мы и сейчас очень любим друг друга! — Люс досадовала на себя за случайно вырвавшееся слово. (Почему она всегда говорила ему больше, чем следовало? Он ведь не расспрашивал ее, не решался расспрашивать. Но Люс чувствовала, что сердце Пьера вопрошало ее. А это так сладко — довериться другу, впервые в жизни! Тишина дома и полумрак комнаты располагали к откровенности.)

Она сказала:

— Не поймешь, что творится эти четыре года. Все так изменились.

— Вы хотите сказать, что ваша мать изменилась или вы сами?

— Все изменились, — повторила Люс.

— Но в чем?

— Трудно сказать. Только чувствуешь, что везде, среди знакомых и даже в семье, уже не те отношения. Ни в ком нельзя быть уверенным; встаешь утром и думаешь: «Что-то принесет вечер! Узнаю ли я своих близких?» Словно барахтаешься в волнах, держась за дощечку, и она вот-вот перевернется.

— Но что, собственно, произошло?

— Не знаю, — ответила Люс, — не могу объяснить. Но это с войны. Что-то носится в воздухе. Все в смятении. Видишь семьи, где люди не могли дышать друг без друга, а теперь они расходятся в разные стороны, и каждый, как в беспамятстве, бредет куда глаза глядят…

— Куда же?

— Не знаю. И сами-то они, должно быть, не знают. Куда их поманит случай и жажда удовольствий. Женщины заводят любовников. Мужья бросают жен. А все это порядочные люди, всегда, казалось бы, такие уравновешенные, благоразумные. Только и разговора что о разбитых семьях. То же между родителями и детьми. У моей мамы…

Она замялась, потом добавила:

— У мамы своя жизнь.

Опять запнулась.

— О, это так понятно! Она, бедняжка, еще молода, видела так мало радости; запас ее любви не растрачен. Она права, желая устроить свою жизнь.

Пьер спросил:

— Она собирается еще раз выйти замуж?

Люс неопределенно покачала головой: пока еще ничего не известно… Пьер не посмел расспрашивать.

— Она и теперь меня любит. Но уже не так, как раньше… Теперь можно обойтись и без меня… Бедная моя мама! Она так огорчилась бы, поняв, что привязанность ко мне уже не на первом месте в ее сердце. Она в этом ни за что не сознается…

Странная штука — жизнь!

Люс улыбалась — нежно, печально и лукаво. Пьер ласково положил руку на ее пальцы, лежавшие на столе, и оба замерли.

— Бедные мы, бедные, — проговорил он.

Помолчав с минуту, она ответила:

— У нас-то с вами на душе спокойно!.. А другие — как в лихорадке. Война. Заводы. Надо торопиться! Торопиться жить, работать, наслаждаться…

— Да, — подтвердил Пьер, — миг жизни короток.

— Тем более спешить незачем, — ответила

Люс, — слишком скоро придешь к концу. Давайте идти потихонечку.

— Но сама-то жизнь мчится, — возразил Пьер. — Давайте же держать ее крепче.

— Я держу ее, держу, — проговорила Люс, сжимая его руку.

Так беседовали они то шутливо, то серьезно, точно два добрых старых друга. И настороженно следили, чтобы между ними находился стол.

Вдруг они заметили, что в комнате уже совсем стемнело. Пьер поспешно встал. Люс его не удерживала. Краткий миг прошел. Они страшились того, который мог наступить. Прощание вышло натянутое, голоса их звучали так же глухо и неестественно, как и при встрече. На пороге они едва решились пожать друг другу руки.

Но уже за дверью, перед тем как выйти из сада, Пьер оглянулся на окно столовой, догоравшее медным отблеском, и увидел в зыбком полусвете страстное лицо Люс, смотревшей ему вслед. Вернувшись к дому, он прильнул губами к стеклу; и они поцеловались через стеклянную преграду. Затем Люс отступила в темноту, и занавеска упала.

Уже недели две они ничего не знали о том, что происходит на свете. В Париже могли без конца

арестовывать и выносить приговоры. Германия могла подписывать и расторгать соглашения. Правительства могли лгать, пресса — метать громы и молнии, армии — убивать. Пьер и Люс газет не читали. Они знали, что кругом идет война, как свирепствует тиф или инфлюэнца, но старались забыть, не думать об этом.

Однако в эту ночь она им напомнила о себе. Они уже легли (так много душевного пыла тратили они за день, что к вечеру их одолевала усталость). Услыхав, каждый в своем квартале, сигнал тревоги, они решили не вставать; только закутались плотнее, спрятали голову под одеяло, как дети во время грозы, вовсе не из страха (они были уверены, что с ними ничего не случится), а чтобы спокойно помечтать. Прислушиваясь в темноте к гулу, наполнявшему воздух, Люс думала: «Как хорошо было бы слушать грозу в его объятиях!»

Пьер зажимал уши: пусть ничто не мешает ему сосредоточиться! Вновь и вновь воспроизводил он на клавиатуре своей памяти песнь сегодняшнего дня, мелодическое течение часов с той первой минуты, как он вошел в домик Люс, малейшие оттенки ее голоса и движений, все схваченные на лету впечатления — тень от ресниц, легкий трепет, пробежавший по ее лицу,

словно зыбь по воде, улыбку, скользнувшую по губам, как луч света, и ласку двух теплых протянутых рук, между которыми задержалась его ладонь, — все эти драгоценные осколки пыталась соединить в одно целое волшебная фантазия любви. Пьер оберегал этот мир от вторжения жизни. Все житейское было для него непрошеным гостем… Война? Знаю, знаю. Она здесь? Пусть подождет!.. И война терпеливо дожидалась у порога. Она знала, что придет и ее час. Он тоже это знал и потому не стыдился своего эгоизма. Скоро и его захлестнет волна смерти. А до той поры он ничего не обязан ей отдавать. Ничего! Пусть зайдет за долгом по истечении срока! А пока пусть молчит! Ах, хотя бы до той поры он ничего не желает терять из этого восхитительного времени, каждая секунда — крупинка золота, а он — скупой, перебирающий свои сокровища. Это мое, мое богатство. Не трогайте моего покоя, моей любви! Это мое, до того часа… А когда этот час настанет?.. Может быть, и не настанет! Чудо?.. Почему бы и нет?..

Между тем поток часов и дней продолжал свой бег. С каждым поворотом приближался грохот стремнин. Уносимые течением в своем челне, Пьер и Люс слышали его. Но им уже не было

страшно. Этот могучий рокот, словно басы органа, баюкал их любовный сон. А когда перед ними разверзнется бездна, они закроют глаза, теснее прижмутся друг другу — и все будет кончено. Их ждет бездна, так незачем утруждать себя мыслями о жизни, которая могла бы быть, о безрадостном будущем. Люс предвидела преграды, с какими столкнется Пьер, когда встанет вопрос о их браке; те же опасения, хотя и более смутно (он меньше ее любил ясность), возникали и у Пьера. Но зачем заглядывать так далеко? Жизнь после бездны — это как та «иная жизнь», о которой твердят в церкви. Говорят, что мы там встретимся снова, но никто в этом не уверен. Достоверно только одно: сегодняшний день — наш день. Вольем же в него, не раздумывая, всю нашу долю вечного.

Люс еще меньше, чем Пьер, следила за событиями. К войне она оставалась совершенно безучастной. Это только лишнее бедствие в той цепи бедствий, из которых соткана человеческая жизнь. Война пугает лишь тех, кто отгорожен от действительности. И юная девушка, преждевременно познавшая, что такое борьба за хлеб насущный, — panem quotidianum… (господь бог не даст его даром!) открыла глаза своему благопо-

лучному другу на ту смертельную войну, которая для бедняков и в особенности для женщин никогда не прекращается и царит на земле, прикрытая обманчивым покровом мира. Она многого недоговаривала, боясь слишком огорчить Пьера; видя, как он ужасается ее рассказам, она, в сознании своего превосходства, проникалась к нему дружелюбным снисхождением. Люс, подобно большинству женщин, не питала ни физического, ни духовного отвращения к уродливым сторонам жизни, которые оскорбляли чувства юноши. В ней не было мятежного начала. Если бы раньше ей пришлось очень трудно, она ради заработка могла бы без отвращения согласиться на унизительное занятие и, бросив его, чувствовать себя спокойной и чистой, без единого пятнышка на совести. Но теперь она уже не могла! Теперь, когда она узнала и полюбила Пьера, она переняла пристрастия своего друга и его отвращение к некоторым вещам. Но от природы она была совсем иной: отнюдь не печального, а спокойного, жизнерадостного нрава. Беспредметная тоска, возвышенная отрешенность от жизни были не по ней. Жизнь есть жизнь. Принимать ее надо такой, какая она есть. Она могла бы быть и хуже! Превратности необеспеченного существова-

ния, требовавшего постоянной изворотливости, особенно со времени войны, научили Люс не задумываться о завтрашнем дне. Вдобавок этой свободомыслящей маленькой француженке было чуждо стремление к потустороннему. Ей было достаточно и земной жизни. Люс находила, что эта жизнь хороша, но все в ней держится на волоске, этому волоску ничего не стоит оборваться, и, право же, незачем беспокоиться о том, что случится завтра. Глаза мои, пейте сияние, которое изливается на вас в этот миг! А там будь что будет. Сердце мое, беззаботно доверься течению!.. Ничего все равно не изменишь!.. Вот мы влюблены, и разве это не восхитительно? Люс знала, что это ненадолго. Но ведь и жизнь ей дана ненадолго…

Как не походила она на этого любимого ею и любящего ее мальчика, нежного, пылкого и нервного, счастливого и несчастного, который и радовался и страдал слишком остро, страстно отдавался, страстно сопротивлялся и был ей дорог именно потому, что совсем не был похож на нее. Но оба, по безмолвному уговору, решили не заглядывать в будущее: она из беспечности — мирный ручеек, напевающий свою песенку; он из страстного неприятия, погрузившего его в пучину настоящего, в котором он хотел бы

остаться навсегда.

Старший брат приехал в отпуск на несколько дней. С первого же вечера он почувствовал в доме какую-то перемену. Что именно произошло, сказать он не мог, но ему было не по себе. У души есть щупальца, осязающие на расстоянии то, чего еще не осознал разум. И самые тонкие — это щупальца самолюбия, они шевелились, искали и недоумевали: чего-то не хватает… Разве не было все того же семейного круга, отдававшего ему обычную дань восхищения, — внимательной аудитории, которую он скупо оделял своими рассказами, — родителей, окутывавших его своим трогательным обожанием, младшего брата… Стоп! Его-то и нет на перекличке.

Он, правда, присутствовал, но не увивался вокруг старшего и не смотрел ему в глаза, как прежде, ожидая задушевных бесед, между тем как Филиппу доставляло удовольствие не замечать этого. Жалкое самолюбие! Филипп, который раньше, при нетерпеливых расспросах младшего, напускал на себя снисходительно-насмешливый и усталый вид, был теперь недоволен его молчанием и попытался его раззадорить; он разговорился, поглядывая на Пьера, как бы давая ему понять, что делает это ради него. Прежде

Пьер, радостно встрепенувшись, подхватил бы на лету брошенный ему платок. Теперь он спокойно предоставил Филиппу самому поднимать его, если тот хочет. Филипп, задетый за живое, пустил в ход иронию. Пьер не растерялся и отпарировал в том же непринужденном тоне. Филипп попробовал завязать спор, разгорячился, ударился в красноречие, но вскоре заметил, что разглагольствует в одиночестве. Пьер только наблюдал за ним, как бы говоря: «Продолжай, продолжай, дружище! Раз тебе это доставляет удовольствие! Я слушаю…»

А на губах дерзкая улыбочка! Роли переменились.

Филипп, обиженный, замолчал и начал присматриваться к младшему брату, не обращавшему уже на него внимания. Как он изменился! Родители, постоянно видевшие его, ничего не замечали, но проницательные и вдобавок ревнивые глаза Филиппа, увидев Пьера после нескольких месяцев разлуки, не находили у него привычного выражения. Пьер выглядел счастливым, томным, беспечным, сосредоточенным в себе, безразличным к людям, невнимательным ко всему окружающему, витающим, подобно юной девушке, в мире упоительных грез. И Фи-

липп понял, что мысли брата уже не заняты им.

Умея читать в себе самом не хуже, чем в других, он скоро понял, что уязвлен, и посмеялся над собой. Однако, заставив замолчать свое самолюбие, он внимательнее пригляделся к Пьеру; ему хотелось найти разгадку этой перемены, вызвать Пьера на откровенность; но это было для него непривычным делом, к тому же и Пьер, по-видимому, не склонен был к излияниям; с независимым, небрежным и насмешливым видом наблюдал он за нехитрыми попытками Филиппа поймать его на удочку; руки в карманах, насвистывая песенку, он улыбался, думая о чем-то своем, рассеянно отвечал на вопросы, не вникая в их смысл, и тотчас же замыкался в себе. До свиданья — и его уже нет. Вы только тщетно ловили руками его ускользающее отражение в воде. И Филипп, как покинутый любовник, потеряв это сердце, только теперь по-настоящему оценил его и проникся обаянием его тайны.

Ключ к загадке был им найден совершенно случайно. Вечером, возвращаясь бульваром Монпарнас, он столкнулся во мраке с Пьером и Люс. У него мелькнуло опасение, что они его заметили. Но какое им было дело до окружающих! Рука об руку — Пьер поддерживал Люс под локоть,

переплетя пальцы с ее пальцами, — они шли медленным шагом, прижавшись друг к другу с жадной, неутолимой нежностью Амура и Психеи, возлежащих на брачном ложе Фарнезины; их взгляды сливались в ласке, точно тающий воск. Прислонившись к дереву, Филипп смотрел, как они прошли мимо, остановились, двинулись дальше, скрылись во мраке. Сердце его наполнилось жалостью к этим детям. Он думал: «Моя жизнь принесена в жертву. Пусть будет так. Но как несправедливо брать и эти! Если бы я мог заплатить собою за их счастье!..»

На следующее утро Пьер, несмотря на свое вежливое безучастие, все же заметил — правда, это дошло до его сознания не сразу, — как ласково разговаривает с ним брат. И, наполовину очнувшись, Пьер увидел уже забытое им, доброе выражение его глаз. Филипп пристально глядел на него, и Пьеру показалось, что брат видит его насквозь; он неловко попытался запереть свою тайну на замок. Филипп улыбнулся, встал, положил руку на плечо Пьера и предложил прогуляться. Пьер не мог оттолкнуть брата, возвращавшего ему свое дружеское расположение, и они отправились вместе в Люксембургский сад. Гуляя, старший все время держал руку на

плече младшего: и тот, гордясь, что между ними опять согласие, разговорился. Братья оживленно беседовали на отвлеченные темы, о том, что они узнали по опыту, обменивались суждениями о людях, о прочитанных книгах, — обо всем, кроме того, что их больше всего занимало. Это было как бы молчаливым уговором. Таким счастьем было чувствовать себя близкими и вместе хранить тайну! Беседуя с братом, Пьер терялся в догадках: «Знает ли он? Но откуда ему знать?»

Филипп слушал его болтовню и улыбался. Пьер остановился на полуслове.

— Ты что?

— Ничего. Смотрю на себя. И доволен.

Пожатие рук. На обратном пути Филипп спросил:

— Ты счастлив?

Пьер, не отвечая, утвердительно кивнул головой.

— Ты прав, дружок. Счастье прекрасно… Бери и мою долю.

Пока длился отпуск, Филипп, не желая портить Пьеру настроение, избегал всяких упоминаний о его близящемся призыве. Лишь в день отъезда он не удержался и высказал брату свое беспокойство: скоро и ему предстоит пройти сквозь те

же, хорошо знакомые, испытания. Быть может, лишь на секунду легкая тень омрачила лоб юного влюбленного. Он чуть сдвинул брови, замигал глазами, как бы отгоняя докучный призрак, и сказал:

— Ничего!.. Еще не скоро! Chi lo sa![9]

— Знаем слишком хорошо, — заметил Филипп.

— Я, во всяком случае, знаю одно, — отрезал Пьер, рассерженный настойчивостью брата, — когда я окажусь там, я убивать не стану.

Филипп промолчал и только грустно улыбнулся: он-то знал, что делала со слабыми существами и их волей неумолимая стадная сила.

Наступил март. Длиннее дни, и первые песни птиц. Но с солнечным светом еще ярче вспыхнуло зловещее пламя войны. Воздух был накален ожиданием весны и военных бедствий. Слышно было, как нарастал громовой раскат, как гремело оружие несметных врагов, месяцами скоплявшихся у плотины траншей и готовых хлынуть яростным разливом на Иль-де-Франс и на сердце его — Париж. Мрачной тенью ползли недобрые слухи: тревожные толки об удушливом газе — яде, разлитом в воздухе, который вскоре, как

---

[9] Примечания: 9
Кто знает! *(итал.).*

говорили, распространится по всей Франции и умертвит все живое, подобно удушливой пелене вулкана Мон-Пеле; а все учащавшиеся налеты «готов» искусно поддерживали нервное напряжение в Париже.

Пьер и Люс по-прежнему относились безучастно ко всему, что творилось вокруг; но горячечный воздух предгрозья, которым они невольно дышали, разжигал томившее их желание. Три года войны породили в Европе падение нравов, которое коснулось людей даже самых безупречных. Кроме того, Пьер и Люс не были верующими. Их оберегало только благородство их чувств и врожденная чистота. Уже давно, не говоря об этом, они втайне решили, что станут близки прежде, чем их разлучит слепая человеческая жестокость. Сегодня вечером они сказали это друг другу.

Раза два в неделю мать Люс дежурила в ночной смене на заводе. Люс, не желая оставаться одна в пустынном квартале, ночевала в Париже у подружки. Здесь за ней не следили. Влюбленные пользовались случаем провести часть вечера вместе; иногда они позволяли себе скромно поужинать в ресторанчике. В этот мартовский вечер, выйдя из ресторана, они услышали сигнал воздушной тревоги. Точно застигнутые ливнем,

они бросились в ближайшее укрытие и некоторое время развлекались, наблюдая за своими случайными соседями. Им показалось, что опасность уже далека или совсем миновала, и, боясь попасть домой очень поздно, они, не дождавшись гудка, пустились в путь, весело болтая. Они свернули в старую, темную и узкую улочку, неподалеку от церкви св. Сульпиция, миновали экипаж с возницей, дремавшим, так же как и его лошадь, у каких-то ворот, отошли от него шагов на двадцать и были уже на другой стороне улицы, когда внезапно все вокруг содрогнулось: огненно-красная вспышка, громовой удар, град сорванных черепиц и разбитых стекол. Прижавшись к стене во впадине какого-то дома, резким углом выступавшего из ряда других домов, они обнялись. При вспышке молнии их глаза, полные ужаса и любви, встретились. И во вновь воцарившемся мраке прозвучал умоляющий голос Люс:

— Нет! Я еще не хочу!..

Пьер почувствовал на своих губах губы и зубы Люс, прильнувшей к нему в страстном поцелуе. Охваченные трепетом, они замерли во мраке. Неподалеку от них люди, вышедшие из домов, вытаскивали из-под обломков расколотого в щепки экипажа истекающего кровью, полумертвого

возницу; его пронесли мимо, совсем близко от них. Пьер и Люс все еще стояли в оцепенении, прижавшись друг к другу всем телом, и когда они пришли в себя, им показалось, что они лишены покровов. Они разжали руки и слившиеся губы, которые, словно корни, пили любимое существо. Их охватила дрожь.

— Вернемся! — промолвила Люс, объятая священным ужасом.

Она увлекла его за собой.

— Люс, ты не дашь мне уйти из этой жизни, прежде чем…

— О, боже! — ответила Люс, сжимая ему руку. — Это было бы хуже смерти!

— Любовь моя! — сказали оба.

Они опять остановились.

— Когда же я стану твоим? — спросил Пьер.

(Он не осмелился спросить «Когда же ты будешь моею?»)

Это не ускользнуло от Люс; она была тронута.

— Ненаглядный мой… — сказала она. — Скоро! Не торопи! Ты не можешь этого желать больше, чем я сама!.. Побудем еще немного вот так… Это так хорошо!.. Хотя бы до конца месяца!..

— До пасхи? — спросил он.

(В этом году пасха приходилась на последний

день марта.)

— Да, до святого воскресения.

— Ах! — возразил он. — Этому воскресению предшествует смерть.

— Ш-ш-ш! — И Люс зажала ему рот поцелуем.

Они разомкнули объятия.

— Сегодня наше обручение, — сказал Пьер.

Они шли в темноте, прильнув друг к другу, и тихо плакали от переполнявшей их нежности. Под ногами скрипели осколки стекла, и тротуар был забрызган кровью. Смерть и ночь, притаившись, подстерегали их любовь. Но над их головами, точно над магическим кругом, в пролете между черными стенами улицы, узкой, как коридор, высоко-высоко, в гуще небесной тьмы билось сердце звезды…

И вот запели колокола, зажглись огни. Улицы оживают. Воздух освобожден от врага. Париж перевел дыхание. Смерть отступила.

Наступила вербная суббота. Они ежедневно проводили вместе несколько часов и даже не считали нужным скрываться. Им было уже не в чем отдавать отчет миру. С ним связывали их такие тонкие нити! Два дня назад началось решающее наступление германской армии. На пространстве чуть ли не в сто километров бушевали его волны.

Город жил в постоянном напряжении: взрыв в Курневе потряс Париж, подобно землетрясению; непрекращавшиеся тревоги разбивали сон и выматывали нервы. И вот ранним утром в вербную субботу люди, едва сомкнув глаза в ту беспокойную ночь, просыпались под гром неведомой пушки, которая из своей далекой засады с того берега Соммы, словно с другой планеты, наугад метала смерть. При первых выстрелах, которые сперва приписали очередному налету «готов», все послушно спрятались в подвалы; но постоянная опасность становится привычкой, к ней приспосабливаешь свою жизнь и, пожалуй, находишь в ней известное удовольствие, если она не слишком велика и пережита совместно с другими. К тому же стояла такая прекрасная погода, что обидно было хоронить себя заживо, и все вышли на свежий воздух еще до полудня; улицы, сады, террасы кафе — все выглядело так празднично в этот лучезарный, солнечный полдень.

Этот-то полдень Пьер и Люс и выбрали для прогулки в Шавильском лесу, подальше от людей. Все эти десять дней их не покидало состояние тихого восторга, умиротворенности и нервного возбуждения, такое чувство, словно они на островке, вокруг которого бушует поток. Опьянение зрения

и слуха влечет вас туда. Но зажмуриваешь глаза, зажимаешь уши, закрываешь дверь на засов, и вот в глубине души — тишина, ослепительная тишина, недвижный летний день, где незримая Радость, подобно притаившейся птице, поет свою песню, журчащую и свежую, как ручеек. О, Радость! Волшебная певунья, щебетание счастья! Я хорошо знаю, что достаточно щелочки меж век или чтобы палец хоть на минуту не зажимал уши, — и вновь тебя обдаст пена и рев потока. Шлюз так слаб! И я знаю, что он не надежен, и ярче разгорается моя Радость от нависшей над ней угрозы. Само спокойствие и тишина пронизаны дыханием страсти!..

Войдя в лес, они взялись за руки. Первые дни весны — молодое вино, ударяющее в голову. Юное солнце опьяняет чистейшим соком своей лозы. Еще не опушенный лес облит сиянием. Лазурное око неба меж голых ветвей завораживает и усыпляет разум… Они едва обменивались словами. Язык ленился договорить начатую фразу. Ноги подкашивались; шатаясь, они как бы нехотя брели среди солнечного безмолвия леса. Земля тянула их к себе. Так бы и лечь на дороге. Унестись на ободе великого колеса мироздания…

Они взобрались по откосу лесной дороги, углу-

бились в чащу, улеглись рядом на сухих листьях, сквозь которые уже пробивались фиалки. Первые песни птиц и отдаленный гул пушек сливались с сельскими колоколами, возвещавшими о завтрашнем празднике. Сверкающий воздух был пронизан надеждой, верой, любовью, смертью. В этом уединении они разговаривали вполголоса. Сердца их замирали — от счастья ли, от горя? Они сами не знали; на них нахлынули грезы. Люс неподвижно лежала на спине, вытянув руки вдоль тела и устремив в небо задумчивый взгляд; она чувствовала, как нарастает в ее душе затаенное страдание, которое она с утра пыталась побороть, чтобы не омрачать радости этого дня. Пьер, как спящий ребенок, положил голову на колени Люс, касаясь лицом ее платья, ее теплого живота. Люс молча ласкала уши, глаза, нос и губы любимого. Казалось, что на кончиках этих милых, одухотворенных любовью пальцев были, как в сказках, крошечные ротики. И Пьер, подобно чуткой клавиатуре, угадывал по легкому дрожанию ее пальцев о царившем в душе подруги волнении. Он уловил ее вздох раньше, чем она вздохнула. Люс приподнялась и, подавшись вперед всем телом, задыхаясь, чуть слышно простонала:

— О Пьер!..

Пьер с изумлением взглянул на нее.

— О Пьер! Кто мы есть?.. Чего хотят от нас? Чего хотим мы сами?.. Что творится в нас?.. Эта пушка, птицы, война, любовь… эти руки, это тело, глаза… Где я?.. И что такое я сама?..

Пьер, никогда еще не видавший ее в таком смятении, потянулся обнять ее. Но она резко отстранилась.

— Нет, нет!..

И, закрыв лицо руками, она упала в траву. Взволнованный Пьер умолял:

— Люс!

Он наклонился к ней близко-близко.

— Люс, — повторил он, — что с тобой?.. Это не из-за меня?..

Она приподняла голову:

— Нет!

На глазах у нее он увидел слезы.

— Ты чем-то огорчена!

— Да.

— Но чем?

— Я не знаю.

— Скажи мне…

— Ах, мне стыдно… — проговорила она.

— Стыдно? Чего?

— Всего.

И замолчала.

С самого утра она находилась под гнетущим впечатлением грустной сцены, тягостной и унизительной: мать ее, зараженная дурманом распущенности, насыщавшим атмосферу больших заводов — этих чанов смерти, в которых бродили нездоровые страсти, — отбросила всякий стыд. У себя дома она устроила любовнику дикую сцену ревности, ничуть не смущаясь присутствием дочери; и Люс узнала, что мать ее беременна. Она восприняла это как нечто постыдное, осквернявшее и ее самое, и любовь вообще, бросавшее тень даже на ее чувство к Пьеру. Вот почему, когда Пьер прикоснулся к ней, она оттолкнула его: ей было стыдно и за себя и за него… Стыдно за него? Бедный Пьер!..

Он сидел тут, рядом, обиженный, боясь пошевельнуться. Ей стало жаль его, она улыбнулась сквозь слезы и, положив голову ему на колени, сказала:

— Теперь моя очередь…

Пьер, все еще встревоженный, осторожно проводил рукой по ее волосам, точно гладил котенка. Он пробормотал!

— Люс, чем ты расстроена? Скажи мне!..

— Ничем, — ответила она, — просто я видела

невеселое зрелище.

Из уважения к ее тайнам он не стал допытываться. Минуту спустя она продолжала:

— Ах, бывают минуты, когда стыдишься, что ты человек.

Пьер вздрогнул.

— Да, — отозвался он.

Помолчав немного, он нагнулся и прошептал:

— Прости.

Люс, порывисто приподнявшись, закинула руки ему за шею и тоже сказала:

— Прости.

И губы их слились.

Детьми овладело страстное желание утешить друг друга. И каждый думал про себя: «К счастью, мы скоро умрем!.. Было бы хуже стать такими, как эти люди, которые гордятся тем, что они люди, и могут разрушать, осквернять...»

Касаясь уст устами, ресниц ресницами, погружая взгляд в глаза любимого, они улыбались с нежным состраданием. И всё не могли насытиться этим прекрасным чувством — самым чистым из проявлений любви. Наконец они оторвались от созерцания друг друга, и Люс, взглянув вокруг просветленным взором, увидела всю прелесть неба, оживающих деревьев, уловила дыхание

цветов.

— Как хорошо! — сказала она.

И думала: «Почему все в природе так прекрасно? И только мы так убоги, ничтожны, уродливы!.. (Но не ты, моя любовь, не ты!..)»

Затем она снова взглянула на Пьера:

— Ах, что мне до других?

С очаровательной непоследовательностью влюбленных она расхохоталась, проворно вскочила на ноги и побежала по лесу, крикнув Пьеру:

— Лови меня!

До самого вечера они резвились, как дети. И, утомленные, не торопясь, вернулись в долину, наполненную, словно корзина, снопами вечерних лучей. Все открывалось для них по-новому, все, что, они вкушали с наслаждением одним существом, одним общим сердцем.

Их было пятеро, друзей-сверстников, собиравшихся вместе, пятеро юных товарищей по школе, со сходным во многом направлением мыслей и складывающихся юношеских убеждений, что сближало их между собою и отгораживало от других. Однако среди них не нашлось бы и двух думающих одинаково. Под внешним единодушием сорока миллионов французов таится

сорок миллионов людей, мыслящих каждый по-своему. Мысль Франции похожа на ее землю — страну мелких огороженных владений. Пятеро друзей — каждый со своего клочка — пытались поверх ограды обмениваться мнениями, но это приводило лишь к тому, что они еще крепче утверждались в своих взглядах. Впрочем, все они были свободомыслящими, и если не все являлись республиканцами, то все были врагами умственной или социальной реакции, противниками возврата назад.

Больше других был захвачен войной Жак Сэ. Этот благородный молодой еврей беззаветно разделял все увлечения мыслящей Франции. Во всей Европе его израильские собратья, подобно ему, приобщились к интересам и идеям той страны, которая стала их родиной. У них была даже склонность преувеличивать все, с чем они сроднились. Этот красивый юноша с пламенным, хотя и тяжеловатым взглядом, звучным голосом, правильными и словно изваянными чертами лица в своих убеждениях доходил до крайности и был неистов в спорах. По его мнению, речь шла о крестовом походе демократий с целью освободить народы и раз и навсегда покончить с войной. Четыре года кровавой бойни во благо

человечества ни в чем не убедили его, ибо он был из тех, кого факты убедить не могут. В нем жила двойная гордость: скрытая гордость его народа, который ему хотелось реабилитировать, и его личная гордость, ибо он хотел доказать свою правоту. Чем меньше в глубине души он был уверен в собственной правоте, тем яростнее настаивал. За его искренним идеализмом скрывались властные, слишком долго подавляемые инстинкты и не менее искренняя жажда опасной, рискованной деятельности.

Антуан Нодэ тоже стоял за войну. Но лишь потому, что иначе он не мог. Это был плотный и румяный, благодушный и покладистый, но себе на уме молодой буржуа, слегка задыхавшийся и раскатисто, с жеманной грацией уроженца центральных провинций, произносивший букву «р»; он слушал с невозмутимой улыбкой пылкие красноречивые излияния своего друга Сэ и не упускал случая раззадорить его небрежно брошенным словцом; но, толстый ленивец, сам и не думал пускаться за ним вдогонку. К чему лезть на рожон, раз ничего от нас не зависит? Это только в трагедиях изображают героическую и велеречивую борьбу между долгом и желанием. Когда выбора нет, исполняешь свой долг

без громких фраз: от них, увы, он не становится приятнее! Нодэ не восторгался и не возмущался. Здравый смысл подсказывал ему, что раз уж машина пущена в ход и война в разгаре, придется принимать в ней участие, — иного выхода нет. А все разговоры об ответственности — пустая трата времени. Если мне надо драться, то для меня слабое утешение знать, что я мог бы и не драться, если бы… события сложились не так, как они сложились!

Ответственность! Для Бернара Сессэ вопрос об ответственности и был главным вопросом; он с ожесточением пытался распутать этот змеиный клубок; или, вернее, он потрясал им над головой, словно маленькая фурия. Хрупкий юноша, благородный, горячий и очень нервный, сжигаемый повышенной восприимчивостью ума, отпрыск богатой буржуазной семьи, принадлежавшей к старому республиканскому роду, членам которого случалось занимать самые высокие посты в государстве, он из духа противоречия исповедовал ультрареволюционные идеи. Слишком близко наблюдал он нынешних хозяев жизни и их клику. Он обвинял все правительства, и прежде всего свое собственное. Он только и говорил что о синдикалистах и большевиках; недавно от-

крыв их, он братался с ними, точно знал с детства. Не представляя себе ясно, в чем именно может состоять спасение, он видел его в решительном изменении общественного строя. Он ненавидел войну, но с радостью пожертвовал бы своей жизнью в классовой борьбе — в войне против своего собственного класса, в войне против себя самого.

Четвертый член содружества, Клод Пюже, следил за этими словесными поединками с холодным, несколько пренебрежительным интересом. Выходец из мелкобуржуазной среды, бедный, оторванный от родной почвы, он был вывезен из провинции каким-то заезжим инспектором, обратившим внимание на его способности. Преждевременно лишенный близости семьи, этот лицейский стипендиат, привыкший рассчитывать только на самого себя и жить замкнуто, так и жил — лишь собою и для себя. Философ-эготист, склонный к анализу душевных переживаний, сладострастно погруженный в самосозерцание, он, словно жирный, свернувшийся клубком кот, на заражался волнением окружающих. Трех приятелей, которые никак не могли столковаться между собою, он сваливал в одну кучу вместе с «чернью». Разве эти трое не роняли себя, стремясь разделить чаяния толпы? Говоря по правде, для

каждого из них толпа была разной. Но, по мнению Пюже, какова бы она ни была, толпа всегда неправа. Толпа — это враг. Дух должен пребывать в одиночестве, подчиняться только собственным законам и, отдалившись от черни и государства, основать замкнутое царство мысли.

А Пьер, сидя у окна, рассеянно смотрел вдаль и мечтал. Обычно он со страстью устремлялся в эти юношеские поединки. Но сегодня они казались ему праздным жужжанием, которому он внимал откуда-то издалека, совсем издалека, в полузабытьи, устало и насмешливо. Остальные в пылу спора долго не замечали его молчания. Наконец Сессэ, привыкший встречать у Пьера поддержку своей чисто словесной революционности, не слыша его голоса, вдруг спохватился и окликнул друга.

Пьер, как бы внезапно разбуженный, покраснел и, улыбаясь, спросил:

— О чем вы говорите?

Они пришли в негодование.

— Так ты ничего не слышал?

— О чем это ты размечтался? — спросил Нодэ.

Пьер несколько смущенно и вместе с тем дерзко ответил:

— О весне. Она все же вернулась без вашего

разрешения и уйдет, не спросясь у вас.

Все смотрели на него с уничтожающим презрением. Нодэ обозвал его поэтом, а Жак Сэ — позером.

Лишь холодно прищуренные глаза Пюже остановились на Пьере с насмешливым любопытством, и он произнес:

— Крылатый муравей!

— Что такое? — весело отозвался Пьер.

— Побереги крылышки! — посоветовал Пюже. — Это брачный полет. Он длится не более часа.

— Вся жизнь длится не дольше, — ответил Пьер.

На страстной неделе они встречались ежедневно. Пьер навещал Люс в ее уединенном домике. Жидкий садик пробуждался. Они проводили в нем послеполуденные часы. Им стал теперь чужд Париж, с его толпой и шумными проявлениями жизни. Временами на них находило даже какое-то оцепенение, и они молча сидели рядом, ленясь пошевельнуться. Странное чувство владело ими: они боялись, боялись приближения дня, когда должны были стать близки, — боялись из-за избытка любви, из-за чистоты душевной, которую оскорбляли уродства, жестокость, грязь жизни,

ибо в опьянении страсти душа томительно мечтала быть от них избавленной. Но между собою они об этом не говорили.

Время обычно протекало в тихой беседе о будущем жилище, о совместной работе, о своем маленьком хозяйстве. Они заранее устраивали свое гнездышко во всех подробностях, расставляли мебель, отводили место книгам, бумагам, каждому предмету. Люс, вызывая в воображении все эти милые мелочи, уютные картины повседневной семейной жизни, как истая женщина, бывала порой растрогана до слез. Они наслаждались, предвкушая простые и пленительные радости будущего очага… Но знали, что все это несбыточно, — Пьеру это подсказывал его прирожденный пессимизм, а Люс — любовное прозрение, открывшее ей неосуществимость их брака. Вот почему они и спешили вкусить его в мечтах, скрывая друг от друга уверенность, что все это так и останется мечтою. Каждый думал, что это понятно только ему, и заботливо оберегал радужные надежды друга.

Мысленно предвосхитив горькие радости несбыточного счастья, они чувствовали себя усталыми, словно пережив все это наяву. И тогда они отдыхали, сидя в беседке, увитой диким

виноградом, в котором солнце растопляло замерзшие соки; Пьер клал голову на плечо Люс, и оба, мечтая, слушали гудение земли. Молодое мартовское солнце, играя в прятки с набегавшими тучками, то улыбалось, то исчезало. Светлые лучи, темные тени скользили по равнине, как в душе — радость и горе.

— Люс, — спросил вдруг Пьер, — не кажется ли тебе… что когда-то, давным-давно… все это уже было…

— Да, — подтвердила Люс, — правда, я помню… Все было как сейчас… Но чем мы тогда были?

Их забавляло строить предположения, в каком же облике они уже встречались. Людьми? Может быть. Но тогда, наверное, девушкой был Пьер, а Люс — возлюбленным. Или птицами в воздушной синеве? В детстве мать говорила Люс, что она была диким гусенком, свалившимся к ней через трубу; ах, как она изломала свои крылья! Но особенно нравилось им воображать себя в виде изменчивых частиц природы, которые сплетаются вместе, свертываются и развертываются, подобно прихотливому узору мечты или дыма: белоснежные облачка, тонущие в бездонности неба, легкая зыбь волн, капли дождя, роса на траве, пух одуванчика, плывущий по воздушным

струям… Но ветер их уносит. Только бы он не разбушевался опять и им не потерять бы друг друга навеки!

Но Пьер возразил:

— А я думаю, что мы никогда и не разлучались; мы были вместе, вот как сейчас, лежа друг подле друга; только мы спали и видели сны; иногда просыпались… не совсем… Я чувствую твое дыхание, твою щеку у моей щеки… Усилие, и губы наши сближаются… И снова впадаем в забытье… Милая, милая, я здесь, я держу твою руку, не покидай меня! Сейчас нам еще рано просыпаться, весна высунула только самый кончик своего замерзшего носа…

— Как твой, — перебила Люс.

— Скоро мы проснемся в ясный летний день…

— Мы сами будем ясным летним днем, — вставила Люс.

— …Знойной сенью лип, солнцем в ветвях, поющими пчелами…

— …Персиком на шпалере, его ароматной плотью…

— …Полуденным отдыхом жнецов и их золотыми снопами…

— …Ленивым стадом, пасущимся на лугу…

— …А вечером, на закате, зыбким светом, ко-

торый расстилается вдали, над лугами, точно цветущий пруд…

— …Мы станем всем, — заключила Люс, — всем, чем приятно любоваться и обладать, что сладостно целовать, вкушать, осязать и вдыхать… А остальное пусть достается им…

Люс указала на дымки города. И рассмеялась, обняв своего друга.

— Неплохо исполнили мы наш маленький дуэт. Ты не находишь, Пьерро?

— Да, Джессика, — согласился он.

— Мой бедный Пьерро, — продолжала она, — мы с тобой были созданы не для этого мира, где только и умеют петь «Марсельезу»!

— Если бы еще умели ее петь! — проронил Пьер.

— Мы ошиблись станцией и сошли раньше.

— Боюсь, что следующая станция оказалась бы еще хуже… Представляешь себе, что было бы с нами в том новом обществе, в том обетованном улье, где никто не посмеет жить для себя, а только для пчелиной матки или для республики!

— Нести яйца с утра до ночи, как пулемет, или с утра до ночи лизать личинки, спасибо за такой выбор, — заявила Люс.

— О Люс, скверная девочка, как некрасиво ты

рассуждаешь! — рассмеялся Пьер.

— Да, гадко, я и сама знаю. Ни на что хорошее я не годна. Да и ты тоже, дружок. Ты плохо приспособлен к тому, чтобы убивать и калечить людей на войне, а я к тому, чтобы потом зашивать их, как тех несчастных лошадей, искалеченных во время боя быков, которые должны еще послужить в будущей свалке. Мы с тобой бесполезные, опасные существа. Мы хотим — а это нелепое, даже преступное стремление — жить для любви, любить тех, кто нам близок, моего милого возлюбленного, моих друзей, хороших людей и ребятишек, добрый дневной свет, вкусный мягкий хлеб, все хорошее и все то, что приятно положить на зубок. Это позор, позор! Красней за меня, Пьерро! Но мы будем наказаны по заслугам! Земля скоро станет одной огромной фабрикой, работающей без отдыха и срока, но для нас с тобой там не найдется места… К счастью, нас тогда уже не будет!

— Да, к счастью! — подтвердил Пьер.

В твоих объятьях даже смерть желанна!

Что честь и слава, что мне целый свет,

Когда моим томлениям в ответ
Твоя душа заговорит нежданно!

— Что ж! Неплохо сказано!

— Неплохо, и в истинно французском духе. Это из Ронсара, — сказал Пьер.

Но, робкому, пусть рок назначит мне
Сто лет бесславной жизни в тишине
И смерть в твоих объятиях, Кассандра.

— Сто лет, — вздохнула Люс, — он довольствуется малым!

И я клянусь: иль разум мой погас,
Иль этот жребий стоит даже вас?
Мощь Цезаря и слава Александра[10].

— Негодный, негодный, негодный шутник! И тебе не стыдно! В наше-то время героев!

— Их слишком много, — возразил Пьер. — Лучше уж я буду простым влюбленным мальчиком, сыном обыкновенной женщины.

— Младенцем, у которого еще не обсохло на губах мое молоко, — сказала Люс, обнимая его. — Мой милый малыш.

---

[10] Примечания: 10
Стихи переведены В. Левиком.

Все, кто пережил эти дни, кому суждено было стать свидетелем ослепительного поворота судьбы, забыли, конечно, впоследствии о том, как в эту неделю тяжелое темное крыло в своем зловещем взмахе нависло над Иль-де-Франс, задев своей тенью и Париж. В радости легко забываешь перенесенные испытания. Германские войска в стремительном натиске достигли высшей точки своего наступления на страстной неделе между понедельником и средой. Форсирована Сомма, взяты Бапом, Нель, Гискар, Руа, Нуайон, Альбер. Захвачено тысяча сто пушек. Шестьдесят тысяч пленных…

Во вторник на страстной скончался Дебюсси, символ попранной страны прекрасного. Сладкозвучная лира разбилась… «Бедная маленькая умирающая Эллада!..» Что останется от него? Несколько чеканных ваз, несколько безупречно прекрасных стел, которые заглушит трава Стези Забвения. Нетленные останки разрушенных Афин…

Пьер и Люс смотрели, словно с вершины холма, как опускалась на город тень. Еще обласканные лучами любви, они без страха ждали конца своего краткого дня. Отныне в ночи они будут неразлучны. Как вечерний благовест, реяла над

ними навеянная воспоминаниями сладостная печаль дивных аккордов любимого ими Дебюсси. Больше, чем когда бы то ни было прежде, откликалась на зов их сердца музыка, — единственное искусство, которое было голосом освобожденной души, прорывающимся сквозь оболочку формы.

В страстной четверг они шли рядом, держась за руки, по размытым дождем дорогам пригорода. Порывы ветра проносились над затопленной равниной. Они не замечали ни дождя, ни ветра, ни безотрадной картины полей, ни грязной дороги. Они уселись рядом на низкой ограде какого-то парка, часть которой недавно обвалилась. В промокшем плаще и с мокрыми руками, Люс, свесив ноги, смотрела из-под зонта Пьера, едва прикрывавшего ей голову и плечи, как падают капли дождя. Когда ветер шевелил ветви, капли ударяли по земле, точно дробинки: хлоп! хлоп! Люс молчала, улыбалась и вся тихо светилась. Их пронизывала глубокая радость.

— Почему мы так любим друг друга? — спросил Пьер.

— Ах, Пьер, ты, видно, мало меня любишь, если спрашиваешь — почему.

— Я спрашиваю, — возразил Пьер, — чтобы услышать то, что и сам знаю не хуже тебя.

— Ты ждешь от меня похвал, — сказала Люс, — но останешься ни с чем. Если ты знаешь, за что я тебя люблю, то я этого не знаю.

— Не знаешь? — в изумлении протянул Пьер.

— Конечно, нет! (Люс исподтишка усмехнулась.) Да мне и не нужно знать! Если ты спрашиваешь себя — почему, значит, нет полной уверенности, значит, это не так уж хорошо. Раз я люблю, я не желаю знать никаких «почему», никаких «где», «когда», «откуда» и «зачем»! Есть моя любовь, только моя любовь, а до остального мне нет дела.

Они поцеловались. Дождь этим воспользовался, забрался под неповоротливый зонт, коснулся холодными пальцами их волос и щек; они выпили капельку, проскользнувшую меж губ. Пьер спросил:

— Ну, а другие?

— Кто это — другие?

— Несчастные, — ответил Пьер, — все, кто не мы с тобой.

— Пусть поступают, как мы! Пусть любят!

— Но хочется, чтобы и тебя любили! А это ведь не всем дано.

— Нет, всем!

— Нет, не всем! Ты не знаешь цены тому, что

ты мне подарила.

— Подарить свое сердце любви, а свои губы любимому — это поднять глаза к свету. Это — не отдать, а взять.

— Но есть слепые.

— Их нам не исцелить, мой Пьерро. Мы будем видеть за них.

Пьер молчал.

— О чем ты задумался?

— Я думаю, что в этот день, такой далекий от нас и такой близкий, принял крестную муку тот, кто пришел на землю, чтобы исцелять слепых.

Люс взяла его руку.

— Разве ты веришь в него?

— Нет, Люс, больше не верю. Но он всегда остается другом тех, с которыми он, хотя бы однажды, разделил трапезу. А ты, ты знаешь его?

— Очень мало, — ответила Люс, — мне никогда о нем не говорили. Но я, и не зная, люблю его… за то, что он любил.

— Да, но не так, как мы.

— Почему же? Ведь у нас всего лишь маленькие, жалкие сердца, которые умеют любить только друг друга. А он — он любил всех. Но это все та же любовь.

— Не пойти ли нам завтра, — растроганно

спросил Пьер, — на таинство его погребения?.. В церкви Сен-Жерве, говорят, будет хорошая музыка.

— Да, Пьер, я буду рада пойти с тобой в церковь в такой день. Он примет нас радушно, я уверена. А мы, став ему ближе, станем ближе и друг другу.

Молчание… Дождь, дождь, дождь. Падает дождь. Опускается вечер.

— Завтра в этот час мы будем там, — сказала Люс.

Туман пронизывал их. Люс вздрогнула.

— Милая, ты озябла? — с беспокойством спросил Пьер.

Она поднялась.

— Нет, нет. Все для меня — любовь. Я люблю все, и все меня любит. И дождь меня любит, и ветер, и серое, холодное небо — и мой дорогой возлюбленный.

В страстную пятницу небо все еще было затянуто сплошной серой пеленой, но день был теплый и тихий. На улицах продавали цветы. Пьер купил подснежники и левкои, и Люс несла их в руках. Они прошли по тихой набережной Дез-Орфевр, миновали собор Парижской богоматери. Старый город, окутанный неясной дымкой, повеял на них очарованием своего кроткого величия. На

площади Сен-Жерве из-под ног у них вспорхнули голуби. Они долго смотрели на птиц, круживших над фасадом; одна голубка села на голову статуи. На последней ступеньке паперти, перед тем как войти в храм, Люс обернулась и увидела неподалеку, в толпе, рыжеволосую девочку лет двенадцати, которая, прислонившись к порталу, с закинутыми за голову руками, смотрела на нее. У девочки было тонкое лицо старинной соборной статуи с загадочной улыбкой, жеманной, лукавой и нежной. Люс улыбнулась в ответ и указала на нее Пьеру. Но вот глаза девочки, устремленные куда-то поверх головы Люс, наполнились ужасом. И дитя, закрыв лицо руками, исчезло.

— Что с ней? — спросила Люс.

Но Пьер ничего не видел.

Они вошли. Над их головами ворковал голубь. Последний звук извне. Голоса Парижа смолкли. Вольный воздух остался за порогом. Наплывы органа, высокие своды, завеса из камня и звуков отделила их от мира.

Они остановились в одном из боковых приделов, между вторым и третьим алтарем налево от входа. И там, за выступом колонны, присели на ступеньки, скрытые от остальных молящихся. Отсюда, повернувшись спиной к хорам и подняв

глаза, они видели крест, венчавший алтарь, и витражи одного из боковых приделов. Дивные старинные песнопения изливали свою благочестивую печаль. В этой церкви, облаченной в траур, двое маленьких язычников взялись за руки и, обращаясь к великому другу, чуть слышно прошептали:

— Великий друг! Перед лицом твоим я беру его, я беру ее. Благослови нас! Ты видишь наши сердца.

И пальцы их соединенных рук переплелись, подобно соломинкам корзины. Они были единой плотью, по которой трепетом пробегали волны музыки. Словно лежащие на одном ложе, они предались мечтам.

В памяти Люс опять всплыл образ рыжей девочки. Ей смутно представилось, будто она видела ее во сне прошлой ночью, но она никак не могла вспомнить, действительно ли так было или сегодняшнее видение только сливалось с прошедшим сном. Наконец, устав от усилия, мысли ее унеслись далеко.

Пьер вспоминал о днях своей короткой жизни. Жаворонок взмывает над туманной равниной, устремляясь к солнцу… Оно так далеко! Так высоко! Долетит ли?.. А туман все сгущается. Не

видно земли, не видно неба. И силы изменяют… Внезапно сквозь струившуюся под сводом хора грегорианскую вокализу прорвалось ликующее пение, из мглы вынырнуло крохотное окоченевшее тельце жаворонка и поплыло по безбрежному морю солнца…

Легкое пожатие пальцев напомнило им, что они плывут вместе. И они опять очнулись в полумраке храма, тесно прижавшиеся друг к другу, окутанные звуками прекрасных песнопений; любовь, в которой растворились их души, подняла их к высотам самой светлой радости. И в пламенной мольбе они пожелали никогда уже оттуда не спускаться.

В это мгновение Люс, обласкавшая страстным взглядом своего дорогого юного спутника (полузакрыв глаза и приоткрыв губы, как бы растворившись в безграничном счастье, он в порыве благодарной радости поднял голову к той высшей Силе, которую бессознательно ищут наверху), — Люс с замиранием сердца вдруг увидела на красно-золотом витраже алтаря улыбавшееся ей лицо рыжей девочки с паперти. Онемев от изумления, вся похолодевшая, она снова увидела на этом странном лице выражение ужаса и сострадания.

И в ту же. секунду мощная колонна, к которой они прислонились, пошатнулась, и вся церковь задрожала до самого основания. Сердце Люс так бешено колотилось, что заглушало для нее и грохот взрыва, и вопли толпы, и она бросилась, не успев ощутить ни страха, ни страдания, бросилась, чтобы прикрыть своим телом, как наседка своих птенцов, Пьера, который с закрытыми глазами все еще улыбался от счастья. Материнским движением она крепко-крепко прижала к груди эту дорогую голову; она вся припала к нему, касаясь губами его затылка; и оба стали совсем маленькими.

И мощная колонна, рухнув, погребла их.

Август 1918 г.

ФРАНСИС ЖАММ
(1868–1938)

Поэт и романист Франсис Жамм родился в департаменте Верхние Пиренеи. Служил помощником нотариуса в Ортезе. Его первые поэтические сборники начала 90-х годов обратили на себя сочувственное внимание Стефана Малларме. Бесхитростная и чистая мелодия, пронизывающая книгу стихов Жамма «От заутрени до вечерни» (1898), выгодно отличалась от выспреннего версификаторства тогдашних французских символистов. «Я хочу искусства мирного, далекого от всякой трескотни, в котором душа моя раскрылась бы, подобно цветку», — писал по поводу своих стихов сам поэт. Благоговейное чувство единения с природой, поэтизация обыденного, любовное изображение простой сельской жизни — таковы темы этого сборника, углубленные в последующих книгах Жамма: «Траур вёсен» (1901), «Прогалины в небе» (1906), «Христианские георгики». (1912).

Лаконичная и тонкая проза Жамма («История зайца», 1901; «Анисовое яблочко», 1904; «Солнеч-

ные четки», 1916; «Колокола для двух свадеб», 1924) не уступает его стихам по задушевности и лиризму; ее отличает сочувствие невзгодам «маленького человека», интерес к его внутреннему миру.

В годы, предшествовавшие первой мировой войне, популярность Жамма достигает апогея. Его дом в Ортезе становится местом паломничества поэтов и художников. В 1921 году Жамм переезжает в Страну Басков, в деревушку Аспарен. Там им были созданы живописные и добродушные мемуары «От божественного возраста к возрасту неблагодарному» (1921), «Любовь, музы и охота» (1922), «Капризы поэта» (1923), а также классически прозрачные «Четверостишия» (1922–1925).

Francis Jammes: «Le roman du lievre» («История зайца»), 1903; «Feuilles dans le vent» («Листья на ветру»), 1914.

Рассказы «Горечь жизни» («Le mal de vivre») и «Конка» («Le tramway») входят в книгу «История зайца».

Ю. Стефанов

Горечь жизни

Перевод Е. Гунста

Некий поэт, по имени Лоран Лорини, остро ощущал горечь жизни. Это мучительный недуг, и тот, кто им страдает, не может видеть людей, животных и окружающие предметы, не испытывая жестокой боли. Кроме того, сердце страдальца постоянно терзают сомнения, правильно ли он поступает.

Поэт покинул город, в котором он жил. Он отправился в деревню, чтобы любоваться деревьями, нивами, рекой, внимать крикам перепелок и журчанию ручейков, стрекоту ткацких станков и гулу телеграфных линий. Но все эти картины и звуки только печалили его.

Самые сладостные мысли отзывались для него горечью. А когда он, в надежде отвлечься от своего жестокого недуга, срывал цветок, он заливался слезами, что сорвал его.

Он приехал в село ясным вечером, когда воздух был напоен благоуханием груш. То было прелестное село, вроде тех, что он не раз изображал в своих книгах. Тут была главная площадь, церковь, кладбище, сады, кузница и темный по-

стоялый двор, из которого валил синеватый дым, а за окнами мелькали стаканы. Была тут и речка, извивавшаяся под сенью дикого орешника.

Больной поэт грустно опустился на камень. Он думал о пытке, которая неотступно терзает его, о матери, оплакивающей его отсутствие, о женщинах, его обманувших, и сокрушался при мысли, что время первого причастия минуло для него навсегда.

«Сердцу моему, печальному моему сердцу не суждено измениться», — думал он.

Вдруг он увидел возле себя молодую крестьянку, — под звездным небом она гнала домой гусей. Крестьянка спросила у него:

— Отчего ты плачешь?

Он ответил:

— Душа моя, низвергаясь на землю, больно ушиблась. Выздороветь я не могу, ибо у меня слишком тяжело на сердце.

— Хочешь мое? — сказала она. — Оно легкое. А я возьму твое, и меня оно не обременит. Мне ведь не привыкать к тяжелой ноше.

Поэт отдал ей свое сердце, а ее сердце взял себе. И тотчас же они улыбнулись друг другу и рука об руку пошли по тропинкам.

Гуси, как дольки луны, бежали впереди них.

Она говорила ему:

— Я знаю, что ты ученый и что я не могу знать того, что ты знаешь. Но я знаю, что люблю тебя. Ты пришел издалека и, верно, родился в красивой колыбельке, вроде той, какую я видела однажды, ее везли на телеге. Смастерили ее для богачей. Твоя мать, должно быть, умеет говорить красивые слова. Я люблю тебя. Ты, должно быть, проводил ночи с белолицыми женщинами, а я кажусь тебе уродливой и черной. Я-то родилась не в красивой колыбельке. Я родилась в поле, в пору жатвы, среди снопов. Так мне сказывали, а еще сказывали, что матушку мою и меня, да еще ягненка, которого овца родила в тот же день, — всех троих нас посадили на осла, чтобы довезти до дому. У богачей-то есть лошади.

Он говорил ей:

— Я знаю, что ты простая и что я не могу стать таким, как ты. Но я знаю, что люблю тебя. Ты здешняя, и, должно быть, баюкали тебя в корзине, поставленной на черный стул, вроде того, какой я видел однажды на картинке. Я люблю тебя. Матушка твоя, должно быть, сучит лен. Ты, должно быть, плясала под деревьями с красавцами парнями, сильными и веселыми, а я кажусь тебе хилым и грустным. Я родился не в поле в

пору жатвы. Мы с сестрой родились в нарядной комнате, мы были близнецами, но она вскоре умерла. Матушка моя хворала. Бедняки наделены здоровьем.

Они лежали вместе в постели и теперь обнялись еще крепче.

Она говорила ему:

— У меня твое сердце.

Он говорил ей:

— У меня твое сердце.

У них родился прелестный мальчик.

И поэт, почувствовав, что недуг его прошел, сказал жене:

— Моя мать не знает, что со мной сталось. Когда я думаю об этом, у меня сжимается сердце. Отпусти меня, друг мой, в город сказать ей, что я счастлив и что у меня сын.

Она улыбнулась ему, зная, что в залог у нее остается его сердце, и сказала:

— Поезжай.

И он вновь отправился по тем же дорогам, по каким прибыл в эти края.

Вскоре он оказался у городских ворот, возле великолепного дома, откуда доносился смех и веселая речь, потому что там давали вечер, на который не пригласили бедняков, Поэт знал, что это

дом одного из его прежних друзей, знаменитого и богатого художника. Прислушиваясь к разговорам, он остановился у решетки парка, за которой видны были водометы и статуи. Женщина, — он узнал ее по голосу, — красавица, некогда растерзавшая его юношеское сердце, говорила кому-то:

— Помните великого поэта Лорана Лорини?.. Говорят, он женился на совсем простой девушке, на крестьянке какой-то...

На глаза его набежали слезы, и оп пошел по городским улицам к отчему дому. Плиты мостовой тихо вторили звукам его усталых шагов. Он отворил дверь, вошел. И его собака, ласковая, преданная и старая, подбежала к нему, хромая, радостно залаяла и стала лизать ему руку. Он понял, что, пока он отсутствовал, бедную тварь разбил паралич, ведь горести и время не щадят и животных.

Лоран Лорини стал подниматься по лестнице и растрогался, увидев у перил старого кота — он кружился, выгибал спину, задирал хвост и терся о ступени. На площадке приветливо пробили часы.

Он тихо вошел в свою комнату. Он увидел мать — она стояла на коленях и молилась. Она шептала:

— Боже мой, сохрани моему сыну жизнь! Боже мой, ведь он так мучился… Где он теперь? Прости меня, что я его родила. Прости его, что из-за него я умираю.

А он, преклонив колени рядом с нею, уже прижимался юными устами к ее поседевшим волосам и говорил:

— Пойдем со мною. Я исцелился. Я знаю край, где есть деревья, нивы, речка, где слышится крик перепелок и стрекот ткацких станков, где гудят телеграфные линии, где скромная женщина владеет моим сердцем и где резвится твой внук.

Конка

Перевод Е. Гунста

Жил на свете скромный мастеровой. У него была хорошая жена и славная маленькая дочка. Они жили в большом городе.

По случаю дня рождения отца решено было купить отличного салата и зажарить курицу. И все были в то воскресное утро очень довольны, не исключая и котенка, который лукаво посматривал на курицу и думал: «И мне достанется поглодать вкусных косточек».

Они позавтракали, и отец сказал:

— Сегодня мы, в кои-то веки, позволим себе прокатиться на конке и отправимся за город.

Они вышли из дома.

Они не раз видели, как нарядные господа и дамы подавали рукою знак вознице и тот сразу же останавливал лошадей, чтобы можно было сесть на конку.

Мастеровой держал дочку на руках. Они с женой стали на углу широкой улицы.

К ним приближалась нарядная, почти пустая конка. И они уже радовались, что вот-вот, заплатив по четыре су за каждого, займут в ней места. Мастеровой подал знак вознице, чтобы тот остановил лошадей. Но возница, при виде бедных, простых людей, бросил на них презрительный взгляд и проехал мимо.

ПОЛЬ КЛОДЕЛЬ
(1868–1955)

Клодель родился в городке Вильнев-сюр-Фер (департамент Эна), в семье чиновника; в 1881 году поступил в парижский лицей Людовика Великого; в 1890 году принял католичество. На миросозерцание Клоделя оказали воздействие Библия и Шекспир, Фома Аквинский и Достоевский. В первых драмах — «Золотая голова» (1890) и «Город» (1893) — проявились его симпатии к идеям социальной справедливости.

Почти полвека Клодель представлял интересы Франции на дипломатической арене. С 1895 по 1909 год он находился на консульской службе в Китае. В ранге посла был в Токио, Вашингтоне и Брюсселе. Первая поэтическая книга Клоделя программно названа «Познание Востока» (1900). Место действия его самой сокровенной драмы «Раздел под южным солнцем» (1905) и выраженная в ней философия жизни также навеяны. Востоком. Интерес к искусству и верованиям восточных народов — устойчивая черта духовного облика художника, которому чужда европео-

центристская концепция культуры. Клоделя восхищал японский театр; еще на исходе прошлого века его заинтересовали древние китайские философы-даоситы, а спустя много лет, в 1931 году, он в притче «Уход Лао-цзы.» воплотил и образ основоположника даосизма Лао-цзы, и самую суть его учения. В даосизме Клоделя привлекала мысль о мнимом характере господства кичливой власти над ходом самой жизни и простодушием мудреца.

Живое чувство истории, интерес к судьбам различных народов побудили Клоделя вынести приговор буржуазному индивидуализму и системе кастовых привилегий (драматическая трилогия — «Заложник», 1911; «Черствый хлеб», 1918; «Униженный отец», 1920). Под впечатлением трагических событий первой мировой войны писатель противопоставил в трагифарсе «Медведь и луна» (1919) подлого банкира и самоотверженную работницу, в облике которой запечатлена возрожденная к мирной жизни Франция.

Клодель — эпический поэт и темпераментный публицист. В «Обращении к немецкому народу», прозвучавшем по радио 29 октября 1939 года, он заявил, что все свободолюбивые народы приняли решение навсегда покончить с Гитлером и

нацизмом. Гражданственность — суть клоделевского театра, который принес ему всемирную известность. Клодель-драматург возвеличивает самоотверженность («Атласный башмачок», 1929), рыцарственное служение прогрессу, познание мира человеком («Книга Христофора Колумба», 1935), его верность общественному долгу и нравственному чувству (драматическая оратория «Жанна д'Арк на костре», 1939).

Paul Claudel: «Figures et paraboles» («Образы и притчи»), 1936; «Oeuvres en prose» («Проза»), 1965.

«Уход Лао-цзы.» («Le depart de Lao-Tzeu») входит в книгу «Образы и притчи».

В. Балашов

Уход Лао-цзы

Перевод В. Козового

Когда на склоне своих дней Лао-цзы пешком добрался к подножью Западного пограничного перевала, который назавтра должен был одолеть, чтобы навсегда удалиться от мира, он явился засвидетельствовать свое почтение тамошнему

правителю, и пока они распивали чай, мудрец с похвалой отозвался о приятном местоположении вверенной правителю заставы.

— Я, — сказал он, — прожил жизнь на необозримой равнине, где единственное, что напоминает о влаге, это чавканье глинистой жижи, в которую погружаются ноги крестьянина, дабы разнести ее, смешав с собственным потом, по крохотному участку. Зато как приятно мне поклониться этой горе, которая вся щебечет естественными потоками, и ощущать на лице ее живительное дыхание! Воистину, подданные вашей милости пользуются в равной мере преимуществом подвижности и оседлости, ибо, с первых шагов своих являясь горными жителями, они подобны путнику, который, усевшись на свою лошадь, может спокойно отдаться ее воле.

— Но я вижу, — ответил начальник, — что сами вы обходитесь без лошади, если не считать двух этих тяжко навьюченных животных, которые вас сопровождают.

— Я узнал сегодня, — сказал мудрец, — что переход, о котором я должен условиться, труден; вьючное животное его не выдержит. Вот почему я решаюсь просить вас об одной услуге. Не подумайте, что эти лошади нагружены товаром,

которым я хочу снискать расположение чужестранцев. Увы, это лишь связки книг, всех тех книг, которые я написал с начала моего литературного странничества, или, лучше сказать, весь тот узкий бумажный путь, какой я проделал со дней моей юности, запечатлевая черным по белому каждый свой шаг. Можно ли удивляться, что спины этих несчастных слуг моих сгибаются под тяжестью груза, если к пути, который влачится у них под ногами, прибавляется тот, что влачат они на себе? Ежели я возьму книги с собой, чиновники на таможне будут рыться в них бесконечно, и я опасаюсь, что вынужден буду остаться здесь.

— Что же должен я делать? — спросил начальник. — Мой дом слишком мал и не вместит столько бумаги.

— Пусть ваша милость, взявши кисть и книгу для записей, соблаговолит лишь внести в нее заглавия этих трудов; пусть принесут вам весы, дабы вы могли труды эти взвесить; пересчитайте, прошу вас, листы, составьте их опись согласно размерам; отметьте все это на специальной дощечке и, наконец, в один из ветреных дней велите собрать хороший костер из сухих ветвей и сосновых шишек и без сожаления предайте огню содержимое этих связок… В самом деле,

когда меня призывает к себе живой путь, тот, что некогда, как помнят люди, я называл «дао», что, по-вашему, делать мне с этим мертвым его подобьем, которое следует за мной по пятам? Я слышал однажды о некоем завоевателе, который сжег свои корабли; я же хочу предать огню не только корабли, но и весь свой путь, от начала до конца.

— Как! — воскликнул начальник. — От всех этих слов и строк, от всех ваших чувств и мыслей ничего не останется?

— Почему же не останется, — отвечал Лао-цзы, — если остаются заглавия? Что останется от ваших родителей, кроме имени, благоговейно записанного на табличке? Так и с книгой: знать ее заглавие, ощутить на руке ее тяжесть, оглядеть ее со всех сторон, уловить ее аромат тем единственным вдохом, какого достаточно знатоку, чтобы ее исчерпать, — к чему после этого все остальное?..

— Так и поступил один император, предав огню всю накопленную школами мудрость, — сказал начальник.

— Мой друг Конфуций, — ответил Лао-цзы, — сурово его порицал, но ведь, в сущности, его величество хотело лишь одного: почтить голубое Небо жертвой, приличествующей его высокому

сану. Разве слова, сотканные из воздуха и слюны, не уносятся ветром? Не лучше ли обратить в пепел и черные письмена, которые сами по себе выветриваются?

— Я исполню вашу просьбу, — сказал начальник, — но в памяти людей вы оставите о себе слишком скудное воспоминание.

— Что остается от ушедшего друга? — сказал Лао-цзы. — Отнюдь не вся его жизнь, не пространное описание его многосложного бытия, а какой-то неприметный случай, звук голоса, какая-то фраза, конца которой мы даже не помним, и этого нам достаточно, чтобы его воскресить. Так и со мной: вы созерцаете мое лицо, на котором время тысячами тончайших штрихов записало свое свидетельство, вас изумляет этот могучий, взращенный мудростью лоб, которым еще будут восхищаться художники. Но когда завтра я отправлюсь в путь, сперва вы увидите лишь мой силуэт и походку. Когда я поднимусь к маленькому храму у первого поворота, вы еще сможете различить мой дружеский взмах рукой. Потом лишь белое пятнышко. А потом — ничего, разве что стаю ворон, вспугнутую моими шагами. Затем, если, вслушавшись, вы и уловите нечто, это будет звук камня, сорвавшегося у меня под ногой

в непроглядную пропасть.

— А что там за тонкий дымок, что за легкая струйка возносится к небу у входа на перевал? — спросил начальник.

— Это мои соломенные сандалии, которые я сжигаю, ибо больше в них не нуждаюсь, — отвечал Лао-цзы, — мои страннические сандалии, которые я приношу в жертву духам Горы.

МАРСЕЛЬ ПРУСТ
(1871–1922)

Марсель Пруст — парижанин; он происходит из богатой семьи врача. Окончил столичный лицей Кондорсе, изучал юриспруденцию в Сорбонне. Испытал воздействие интуитивистской философии Бергсона и рационализма Декарта, глубоко воспринял наследие французских моралистов XVII века — Паскаля, Ларошфуко, Лабрюйера, изысканный психологизм Мари-Мадлен де Лафайет.

Благодаря своему положению Пруст мог изнутри наблюдать и изучать нравы буржуазно-аристократической среды, ее духовную агонию, снобистскую атмосферу светских салонов. Сам же он еще в юности решил жить значительно и достойно, подчинив все свое существование творчеству. Анатоль Франс, написавший предисловие к первой книге Пруста «Утехи и дни» (1896), отметил серьезность намерений молодого писателя, его мастерство психолога.

В 900-е годы Пруст издал лишь свои переводы двух книг английского писателя Дж. Рескина. Правда, его десятилетний труд воплотился

в трехтомном романе о собственной жизни — «Жан Сантейль», но, не удовлетворенный аморфностью повествования, Пруст отказался от идеи его завершения и выпуска в свет (опубликован в 1952 г.). С 1905 года он ведет уединенный, затворнический образ жизни; всего себя Пруст посвящает осуществлению нового замысла — созданию лирического эпоса «В поисках утраченного времени». Первая его часть — «По направлению к Свану» — вышла в 1913 году: затем последовали: «Под сенью девушек в цвету» (1918), принесшая Прусту Гонкуровскую премию, «Сторона Германтов» (1920), «Содом и Гоморра» (1921–1922) и заключительная часть — «Обретенное время», — которая увидела свет посмертно, в 1927 году.

«Богатство его воспоминаний — это и есть его произведение, — так определил А. В. Луначарский ценность и особый строй цикла «В поисках утраченного времени». — Его власть здесь действительно огромна… Здесь он бог, ограниченный только самим богатством волшебной реки своей памяти».

Marcel Proust: «Les plaisirs et les jours» («Утехи и дни»), 1896.

Рассказ «Званый обед» («Diner en ville») входит в названный сборник.

В. Балашов

Званый обед

Перевод Н. Касаткиной

I

Скажи, Фунданий, кто делил с гобой радости пиршества? Мне не терпится это узнать.

Гораций

Оноре запоздал; он поздоровался с хозяевами дома, с теми из гостей, кого знал, был представлен остальным, и все отправились к столу. Немного погодя сидевший рядом совсем молодой человек попросил его назвать приглашенных, рассказать, кто и что они. Оноре ни разу еще не встречал этого юношу в свете. Тот был очень хорош собой. Хозяйка дома поминутно бросала на него пламенные взгляды, яснее ясного говорившие, что приглашен он не зря и скоро войдет в ее круг.

Оноре почувствовал в нем будущую силу, но без зависти, с приветливой учтивостью постарался удовлетворить его любопытство. Он обвел глазами стол. Напротив двое соседей не разговаривали между собой: с ними из лучших побуждений поступили бестактно, пригласив их вместе и посадив рядом, потому что оба занимались литературой. На этот основной повод к ненависти налагался другой — сугубо личный. Гость постарше, родственник г-на Поля Дежардена и г-на де Вогюе, под воздействием двойного гипноза подчеркнутым молчанием язвил младшего собрата, любимого ученика г-на Мориса Барреса, а тот, в свою очередь, насмешливо поглядывал на соседа. При этом каждый от злопыхательства невольно раздувал значение другого, и получалось, будто атамана разбойников столкнули с королем дураков. Сидевшая дальше эффектная испанка молча, с остервенением ела. Как женщина положительная, она, не задумываясь, отказалась на этот вечер от любовного свидания ради надежды продвинуться на светском поприще, приняв приглашение отобедать в столь фешенебельном доме. И расчет ее, безусловно, имел все шансы оправдаться. Снобизм г-жи Фремер и ее приятельниц служил для них взаимной страховкой

против оме-щанивания.

Однако случилось так, что г-жа Фремер именно в этот вечер решила разделаться с теми из знакомых, кого не приглашала на свои традиционные обеды, но по той или иной причине не хотела обделить вниманием, и потому созвала всех сразу вперемешку. Правда, сборище возглавлялось настоящей герцогиней, но ее-то испанка уже знала и выжала из нее все, что могла. Не мудрено, что она обменивалась недовольными взглядами со своим мужем, который гортанным голосом взывал на каждом светском рауте, усердно юля и шаркая в короткие промежутки между двумя последовательными просьбами: «Не откажите представить меня герцогу! — Ваша светлость, не откажите представить меня ее светлости герцогине. — Герцогиня, разрешите представить вам мою жену?» Взбешенный напрасной потерей времени, он скрепя сердце затеял разговор со своим соседом — компаньоном хозяина дома. Больше года домогался Фремер, чтобы жена пригласила его. Наконец она сдалась и засунула компаньона между мужем испанки и ученым гуманитарием. Гуманитарий много читал, а сейчас много ел. Он непрерывно цитировал и отрыгивал, двумя этими неприятными проявлениями в равной

мере докучая своей соседке, аристократке из простых, г-же Ленуар. Она не замедлила перевести разговор на победы принца де Бьювра в Дагомее и умильным тоном повторяла: «Дорогой мальчик, как я счастлива, что он не посрамил фамильной чести!» Она и в самом деле состояла в родстве с семейством Бьювр, все члены которого были моложе ее и оказывали ей почтение, обусловленное ее возрастом, преданностью королевской фамилии, большим состоянием и стойким бесплодием трех ее браков. Всю меру доступных ей родственных чувств она перенесла на Бьювров. Грязные делишки того из них, над кем пришлось учредить опеку, она ощущала как личный позор, а дагомейскими лаврами генерала без раздумья венчала свое благомыслящее чело и уложенные на пробор орлеанистские седины. Вторгшись в строго обособленный дотоле клан, она стала его главой, чем-то вроде вдовствующей матери семейства. В современном обществе она искренне чувствовала себя изгнанницей и с придыханием говорила о «вельможах былых времен». Ее снобизм был пустым воображением, впрочем, им все ее воображение полностью исчерпывалось. Имена, богатые доблестным прошлым, оказывали сильнейшее воздействие

на ее восприимчивый ум, и обеды в окружении высоких особ доставляли ей то же бескорыстное удовольствие, что и чтение мемуаров о старом режиме. Она неуклонно носила английские локоны, будучи одинаково постоянной и в прическе и в убеждениях. Глаза ее излучали глупость. Лицо в улыбке было величаво, но мимика его утрирована и невыразительна. Уповая на господа, она бывала столь же радостно возбуждена накануне garden party[11] что и накануне революции, порывистыми жестами отмахиваясь и от эксцессов, и от дождливой погоды.

Сосед ее, гуманитарий, говоря с ней, употреблял утомительно изысканные обороты, с ужасающей легкостью жонглируя словесными формулами. Он приводил цитаты из Горация, дабы опоэтизировать для себя и оправдать перед другими свое обжорство и пьянство. Незримый венок античных, все еще свежих роз осенял его узколобую голову. Но, желая быть равно приветливой со всеми, что в первую очередь было приятно ей самой, ибо утверждало ее превосходство и уважение к исконным традициям, столь редкое в наши дни, г-жа Ленуар каждые пять минут обра-

---

[11] Примечания: 11
Прием гостей в саду, пикник *(англ.).*

щалась к фремеровскому компаньону. Впрочем, он и так был не в обиде. С другого конца стола г-жа Фремер адресовала ему изысканнейшие любезности. Она хотела, чтобы этот вечер зачелся ей на годы вперед, и, решив надолго позабыть неуместного гостя, хоронила его под ворохом цветов. Г-н Фре-мер, тот целыми днями корпел в своем банке, а вечером либо жена тащила его в гости, либо, если прием был у них, заставляла сидеть дома; в конце концов он притерпелся к насилию, к узде, и теперь, даже в самых безобидных обстоятельствах, на лице его сочеталось выражение глухой злобы, хмурой покорности, сдержанного бешенства и полного отупения. Однако сегодня вечером, всякий раз, как взгляд банкира сталкивался со взглядом компаньона, черты его озарялись непритворной радостью. В повседневном обиходе он терпеть его не мог, а сейчас испытывал к нему приливы нежности, мимолетной, но искренней, и не оттого, что без усилия подавлял его своей роскошью, а по тому же смутному чувству братства, какое охватывает нас за границей при виде соотечественника-француза, хотя бы препротивного. Фремера ежевечерне так жестоко отрывали от милых ему привычек, так несправедливо лишали вполне

им заслуженного отдыха, а тут вдруг он ощутил, что обычно ненавистные, но крепкие узы все же с кем-то связывают его, выводя из одичания и тоски одиночества. Сидя напротив мужа, г-жа Фремер отражалась своей белокурой красотой в очарованных взорах гостей. Сопутствовавшая ей двойная репутация сбивала с толку всякого, кто пытался разглядеть подлинную ее суть. Честолюбивая интриганка, чуть что не авантюристка по ходячему мнению финансового мира, который она покинула ради более высокой доли, наоборот, в глазах покоренного ее чарами Сен-Жерменского предместья и королевского дома она представала светочем ума, ангелом кротости и добродетели. Кстати сказать, она не забывала прежних скромных друзей, вспоминая о них главным образом, когда они болели или хоронили близких, — словом, в тех грустных обстоятельствах, когда никто не станет обижаться, что его не приглашают в общество, куда, впрочем, он все равно не вхож. Тем ценнее были проявления ее милосердия, и, беседуя с родственниками или священнослужителями у постели умирающего, она проливала искренние слезы, одно за другим убивая в своей совестливой душе угрызения за собственную чересчур беззаботную жизнь.

Самой обаятельной из гостей была молодая герцогиня Д..., чей ясный живой ум, чуждый сомнений и тревог, так не соответствовал неизбывной тоске прекрасных глаз, печальной складке губ и вековой аристократической лености рук. Чувственной страстью любя жизнь во всех ее проявлениях — добро, чтение, театр, действие, дружбу, — она кусала свои прекрасные пунцовые губы, не тронутые поцелуем, точно цветок, обделенный лаской, и разочарованная улыбка чуть приподнимала их уголки. Судя по глазам, ум ее навеки погрузился в застойные воды сожалений. Сколько раз на улице и в театре эти переменчивые светила зажигали воображение прохожих мечтателей!

А сейчас герцогиня, вспоминая сюжет водевиля или комбинируя фасон платья, не переставала в печальной задумчивости выпрямлять свои аристократические персты и обводила стол глубоким и скорбным взглядом, захлестывая впечатлительных гостей волнами своей меланхолии. Свою пленительную речь она небрежно расцвечивала поблекшим, но тем более милым жеманством старомодного скептицизма.

За столом о чем-то заспорили, и эта женщина, столь бескомпромиссная в жизни, считавшая,

что надо раз и навсегда выбрать себе манеру одеваться, уговаривала каждого участника спора:

— Но почему же нельзя говорить и думать все, что захочется? Любой из нас может быть прав. Какая отвратительная узость — иметь всего одну точку зрения!

Ум ее, не в пример телу, не подчинялся последнему крику моды — она охотно посмеивалась над символистами и фанатиками, складом мыслей напоминая тех красивых женщин, у которых достаточно обаяния и живости, чтобы нравиться в самых старозаветных нарядах. Впрочем, возможно, это было обдуманное кокетство. Чересчур смелые идеи затмили бы ее ум, как чересчур яркие краски не шли к ее цвету лица.

Оноре беглыми штрихами и в таких благожелательных тонах обрисовал красавчику соседу их сотрапезников, что, при всем глубоком различии, те получились совершенно одинаковыми — и блистательная сеньора де Торрено, и остроумная герцогиня Д..., и неизменно прекрасная г-жа Ленуар. Он упустил единственную общую им всем черту или, вернее, массовое безумие, эпидемию, не пощадившую никого, — я имею в виду снобизм. Впрочем, у разных натур он принимал различные формы. Так, от надуманного,

лирического снобизма г-жи Ленуар была большая дистанция до воинствующего снобизма сеньоры де Торрено, которая уподоблялась чиновнику, жаждущему опередить других. И вместе с тем эта страшная женщина была способна очеловечиться. Сосед сказал ей, что любовался в парке Монсо ее дочуркой. Она тотчас же прервала негодующее молчание. В ней поднялось такое теплое, бескорыстное и благодарное чувство к этому ничтожному конторщику, какое, пожалуй, не мог бы ей внушить никакой принц, и они принялись беседовать, точно старые друзья.

Госпожа Фремер направляла общий разговор, воодушевленная уверенностью, что выполняет высокую миссию. Привыкнув представлять знаменитых писателей герцогиням, она возомнила себя кем-то вроде всесильного министра иностранных дел, накладывающего отпечаток своей личности даже на строго установленный церемониал. Так зритель, переваривая в театре обед, свысока смотрит на актеров, на публику, на автора, на законы драматургии, на талант, благо ему дана возможность их судить.

Кстати, беседа протекала довольно плавно. Обед подошел к той стадии, когда соседи либо пожимают колени соседкам, либо осведомля-

ются об их литературных вкусах, что зависит от собственного темперамента и воспитания, а главное, от самой соседки. Чуть было не возник острый момент, когда красавчик, сидевший подле Оноре, вздумал с молодым задором ввернуть, что в произведениях Эредиа, пожалуй, больше мысли, чем принято считать; потревоженные в привычных понятиях гости сразу же насупились, но г-жа Фремер поспешно возразила:

— Что вы, это всего лишь ювелирно отточенные прекрасные камеи, ослепительные эмали!

И лица гостей вновь обрели веселое оживление. Спор об анархистах грозил принять более серьезный оборот. Но г-жа Фремер, как бы склоняясь перед непреоборимым законом природы, покорно протянула:

— К чему спорить? Богатые и бедные будут всегда.

И так как у самого бедного из этих людей было не меньше ста тысяч франков дохода, все они, пораженные очевидностью этой истины, избавленные от укоров совести, с душевным удовлетворением выпили по последнему бокалу шампанского.

II

После обеда

Ощущая легкое головокружение от смеси вин, Оноре, не простившись, спустился с лестницы, взял пальто и пешком направился вниз по Елисейским полям. На душе у него было на редкость радостно. Рухнули границы недоступного, закрывающие простор действительности от наших желаний и грез, и мысль его весело порхала по несбыточному, окрыленная собственным движением.

Его манили пролегающие между всеми людьми таинственные тропы, в конце которых, быть может, ежевечерне заходит солнце немыслимой радости или скорби. О ком бы он ни подумал, каждый тотчас же становился ему непреодолимо мил, он сворачивал с улицы на улицу, рассчитывая встретить какое-нибудь из этих милых лиц, и если бы надежды его оправдались, он без колебания со сладостной дрожью подошел бы к неизвестному или едва знакомому. Упала декорация, поставленная вплотную перед ним, и жизнь простерлась вдаль во всем очаровании

загадочной новизны, ласковыми ландшафтами завлекая его. Он приходил в отчаяние от того, что этот мираж или действительность всего-навсего одного вечера, решая впредь только и делать, что вкусно есть и пить, лишь бы увидеть опять такую красоту. Единственное, что было ему обидно, — почему нельзя очутиться сразу во всех живописных уголках, разбросанных вдалеке, куда едва достигает взгляд? И вдруг его поразил звук собственного голоса, хрипловатый и не в меру громкий, твердивший уже четверть часа подряд: «Жизнь тосклива, все это вздор!» (Последнее слово отмечалось резким жестом правой руки — он заметил, как подпрыгивает в ней трость.) С тоской подумал он, что его бессознательные слова служат весьма плоским пересказом тех видений, которые, пожалуй, и выразить нельзя.

«Увы! Должно быть, только сила моего наслаждения или сожаления возрастает во сто крат; интеллект же ведет свой рассказ по-прежнему. Восторг мой — плод нервного возбуждения, присущий мне одному, непередаваемый другим, и, если бы я сейчас взялся за перо, мой слог обнаружил бы свои обычные достоинства, обычные недостатки и, увы, обычную свою посредственность». Но блаженное физическое самочувствие

не позволило ему задерживаться на таких мыслях, подсунув тут же лучшего утешителя — забвение.

Он добрался до бульваров. Мимо шли люди, к которым он был полон симпатии и не сомневался в их взаимности. Он ощущал себя средоточием их восторженных взглядов; он распахнул пальто, чтобы все видели белизну манишки, которая была ему к лицу, и красную гвоздику в петлице. Таким он отдавал себя восхищенному обозрению прохожих и нежности, в которой сладострастно сливался с ними.

ПОЛЬ ВАЛЕРИ
(1871–1945)

«Случилось так, — пишет Валери в одной из своих автобиографических заметок, — что силою обстоятельств я начал литературную карьеру, когда мне уже минуло сорок пять лет». Это не совсем верно: первые стихотворные опыты Валери, отмеченные влиянием Малларме, учеником и почитателем которого он был, печатались в журналах еще в начале 90-х годов. А несколькими годами позже он опубликовал аналитическое эссе «Введение в систему Леонардо да Винчи» (1895) и философскую новеллу «Вечер с господином Тэстом» (1896). Господин Тэст, это воплощение «чистого интеллекта» в понимании Поля Валери, присутствует и в некоторых более поздних его произведениях: «Письмо друга», «Письмо госпожи Эмили Тэст» (1924) и др.

Однако изобразительные средства, унаследованные от символизма, не удовлетворяли поэта, и, отрекшись от литературной гласности, он целых двадцать лет проводит в поисках собственной художественной системы, которая

мыслилась ему в виде некоего «нового классицизма», обогащенного совокупностью методов, заимствованных из области философии и точных наук. В области искусства Валери стремится идти «путем анализа и в самом себе сочетать с самопроизвольными доблестями поэта проницательность, скептицизм, внимательность и разборчивость критика».

Воплощением этих концепций явилась поэма «Юная парка» (1917). Позже были опубликованы поэтические сборники «Альбом старых стихов» (1920) и «Чары.» (1922). Основными темами философской лирики Валери становятся размышления о сущности познания и природе поэтического творчества. Разрешение трагического конфликта между интеллектом, пытающимся проникнуть в тайны мироздания, и косностью замкнутого в себе мира, противящегося этим попыткам, поэт видит, порой в осознании иллюзорности всего сущего: «Вселенная — ошибка в чистоте Небытия». Предельная сгущенность поэтического языка, из которого удалено все, что может быть выражено средствами прозы, последовательное искоренение устоявшихся словосочетаний и замена их новыми словесными формулами, призванными «выразить невыра-

зимое», усложненность синтаксиса, смелость ассоциаций — все вместе делало поэзию Валери весьма трудной для понимания. Несмотря на это, она была оценена по достоинству: опрос, проведенный в 1921 году журналом «Коннэсанс», установил, что большинство французских читателей видит в Валери крупнейшего поэта современности. В 1925 году Французская академия предоставляет ему кресло незадолго перед тем скончавшегося Анатоля Франса.

Проза Валери, помимо указанных выше произведений, включает в себя «сократические» диалоги («Эвпалинос, или Архитектор», «Душа и танец», 1921), обширную эссеистику, посвященную вопросам литературы, искусства, истории и современной культуры (пять томов «Variete», 1924–1944) и сборники фрагментов из тетрадей, в которых собраны многолетние заметки и размышления писателя.

В 1945 году вышла пьеса Поля Валери «Мой Фауст».

Paul Valery: Oeuvres, tt. I, II. P., 1957–1960.

«Письмо госпожи Эмили Тэст» («Lettre de madame Emilie Teste») впервые опубликовано в журнале «Коммерс» в 1924 году.

Ю. Стефанов

Письмо госпожи Эмили Тэст

Перевод В. Козового

Сударь и друг!

Благодарю вас за вашу посылку и письмо, которое вы написали г-ну Тэсту. Я думаю, ананас и варенье ему понравились; я уверена, что сигареты пришлись по вкусу. Что касается письма, не скажу вам о нем ни слова, чтобы не покривить душой. Я прочла его мужу, но почти ничего не могла в нем понять. Должна, однако, признаться, что читала его не без удовольствия. Рассуждения отвлеченные или же слишком для меня возвышенные мне отнюдь не скучны; я нахожу в них какое-то очарование, близкое к чарам музыки. Есть в нас заветная часть души, способная упиваться, не понимая; у меня эта часть велика.

Итак, я прочитала ваше письмо г-ну Тэсту. Он выслушал его, ничем не выказывая, что он о нем думает и думает ли о нем вообще. Вы знаете, что

сам он почти не читает: глаза служат ему для целей странных, как будто бы *внутренних.* Впрочем, я неточна; лучше бы сказать: *личностных.* Нет, и это не то. Не знаю, как выразиться; может быть, сразу: *внутренних, личностных и… универсальных!!! Они прекрасны, его глаза; и я люблю их за то, что в них всегда остается какое-то место незримому. Невозможно понять, ускользает ли от них хоть что-либо, или, напротив, весь мир для них только мелкая частность всего ими видимого, черная точка, которая может нам докучать, оставаясь, однако, лишь мнимостью. За все время совместной жизни с вашим другом я, сударь, никогда не могла до конца понять его взгляда. Предмет, на который этот взгляд обращен, есть, быть может, тот самый предмет, с которым разум его стремится покончить.*

Наша жизнь неизменна, вы ее знаете: моя, бесцветная, проходит в заботах, его — отдана целиком привычкам и отрешенности. Что отнюдь не мешает ему, когда он того хочет, внезапно очнуться и проявить себя во всей своей чудовищной силе. Я люблю видеть его таким. В нем появляется вдруг нечто великое и устрашающее. Механизм его заученных отправлений взрывается; лицо его горит; истины, которые он изрекает, я подчас

едва понимаю, но в память они врезаются неизгладимо. Не хочу, однако, ничего — или почти ничего — от вас скрывать: *порой он бывает очень жесток.* Мне думается, никто не может с ним в этом сравниться. Одной-единствен-ной фразой он помрачает ум, и я кажусь себе вдруг негодным сосудом в безжалостных руках горшечника. Он жесток, как ангел, сударь. Он сам не сознает своей силы: его суждения неожиданны и слишком беспромашны; они изничтожают людей, вторгаются к ним в разгар их безмыслия, застигают их наедине с самими собой, такими, как они есть, когда они со всею естественностью живут своим вздором. Все мы чувствуем себя, как рыбы в воде, живя каждый в своей абсурдности; и лишь волею случая мы замечаем, сколько таится нелепицы в существовании всякой разумной личности. Мы и помыслить не смеем, что то, что мы мыслим, скрывает от нас то, что мы есть. Я надеюсь, сударь, что мы сто*и*м большего, нежели все наши мысли, и что нашей главной заслугой перед всевышним будет попытка уразуметь нечто более содержательное, чем болтовня, пусть даже прекрасная, нашего разума с самим собой.

Впрочем, г-н Тэст и без слов обнажает убогость и почти животную элементарность тех, кто с

ним сталкивается. Само его существование как будто обесценивает все прочие, и даже его мании озадачивают.

Но не подумайте, что он всегда нетерпим и безжалостен. Если б вы знали, сударь, как он умеет преображаться!.. Он действительно бывает жесток, но в иные минуты он озаряется дивной, поразительной нежностью, которая кажется милостью неба. Его улыбка — дар неизъяснимый и обворожительный. Его редкая ласка — как роза зимой. И, однако, ни его благодушия, ни его свирепости предвидеть нельзя. Искать в них какую-то закономерность или же предпочтительность было бы безнадежно. Своей глубокой рассеянностью и непостижимостью хода своих размышлений он опрокидывает любые расчеты, в коих обычно находим мы ключ к поведению себе подобных. Никогда не могу я заранее предугадать, как отзовется г-н Тэст на мои хлопоты и мои нежности, на мои оплошности или маленькие прегрешения. Но должна признаться, что это непостоянство его настроения больше всего меня в нем привлекает. В конце концов, я вполне счастлива тем, что не слишком его понимаю, что не угадываю наперед каждый свой день, каждую ночь, каждый ближайший миг моего пребывания на земле. Душа

моя жаждет прежде всего изумления. Ожидание, риск, толика неуверенности живят и волнуют ее куда более, нежели твердая несомненность. Я понимаю, что это дурно; но как бы я ни упрекала себя, такой уж я создана. На исповеди я не раз сознавалась, что разум мой предпочитает веровать в бога, нежели узреть его в полноте славы; меня порицали за это. Мой духовник сказал, что мысль моя скорее неразумна, нежели греховна.

Простите, что пишу вам о своем ничтожестве, тогда как единственное ваше желание — узнать что-либо новое о том, кто столь живо вас интересует. Однако я не только свидетельница его жизни; я ее частица и своего рода орган, хоть и не самый существенный. Мы муж и жена, и наши поступки связуются в браке, а преходящие наши потребности достаточно согласованы, несмотря на огромное и невыразимое различие наших умов. Следственно, долг мой — хотя бы вскользь рассказать вам о той, что рассказывает вам о нем. Быть может, вы недостаточно представляете себе мое положение в роли спутницы г-на Тэста и то, как удается мне пребывать в обществе этого поразительного человека, ощущая себя столь ему близкой и столь далекой.

Мои сверстницы, подлинные или мнимые

мои подруги, безмерно удивляются тому, что я, женщина вполне привлекательная и, очевидно, достойная жить, как они, отнюдь не возмущаюсь своим простым и ясным уделом и довольствуюсь своей ролью в жизни подобной личности, чья чудаческая репутация их шокирует и оскорбляет. Но им этого ни за что не понять. Они не понимают, что малейшее снисхождение моего дорогого супруга в тысячу раз драгоценнее всех ласк их мужей. Чего стоит любовь их, однообразная и повторяющаяся, которая давно утратила всякий след непредвиденности, неизвестности, невероятности; все, что малейшие наши прикосновения исполняет смысла, могущества, риска; что делает звуки знакомого голоса единственной пищей нашей души; все, наконец, что придает окружающему красоту, знаменательность, озаряет либо мрачит его, насыщает или обеспложивает, — в зависимости от одной лишь догадки о том, что происходит в изменчивой личности, непостижимо ставшей центром нашего существования?

Надобно, сударь, ничего не понимать в наслаждениях, чтобы стремиться очистить их от чувства тревоги. При всей моей неискушенности, для меня очевидно, как много они утрачивают, когда их укрощают и приурочивают к домашним

привычкам. Покорность и обладание, которые взаимосвязаны, мне кажется, бесконечно выигрывают, когда подготовляются самой неизвестностью их приближения. Эта предельная ясность должна вызреть в предельной неясности и выявиться как финал некоей драмы, чей ход и развитие, от безмятежности до высшей угрозы развязки, нам было бы крайне трудно обрисовать...

Сама я, хорошо это или плохо, никогда не уверена в чувствах г-на Тэста, что для меня отнюдь не столь важно, как вы могли бы предположить. При всей странности моего супружества, я отдаю себе полный отчет в своей супружеской роли. Я знала прекрасно, что великие личности вступают в брак лишь волею случая — или же для того, чтобы наполнить теплом свою комнату, где женщина, насколько позволено ей войти в систему их жизни, всегда находилась бы под рукой и оставалась бы узницей. Не без приятности замечают они, прервав на миг ход своих мыслей, нежный отсвет изящного плеча!.. Таковы уж мужчины, даже самые глубокомысленные.

Я не говорю этого о г-не Тэсте. Он так необычен! Поистине, что бы мы ни сказали о нем, это мгновенно окажется ложным!.. Мне думается, его

рассуждения слишком неукоснительны. Он то и дело опутывает вас сетью, которую один только умеет плести, распутывать, связывать. Он раскручивает в себе столь хрупкие, столь утонченные нити, что не рвутся они лишь благодаря совокупным усилиям всего его существа. Он извлекает их из своих непостижных пучин и, оторвавшись от обычного времени, погружается, несомненно, в некую бездну преткновений. Хотела бы я знать, что с ним там происходит. Очевидно, что в силу такой принудительности человек перестает быть самим собой. Наша природа не в состоянии следовать за нами к столь отдаленным прозрениям. Душа его, надо думать, уподобляется некоему диковинному растению, чей корень — а не листва! — наперекор природе тянется к свету.

Не значит ли это удаляться от мира? — Найдет ли он жизнь или смерть на крайнем пределе своей сосредоточенной волеустремленности? — Будет ли это бог или всего только ужасающее ощущение от встречи, в глубочайших тайниках мысли, с бледным отблеском своего собственного эфемерного естества?

Нужно видеть его в этой безмерности самоуглубления! Его черты затуманиваются — стираются!.. Еще немного такой поглощенности, и, я

уверена, он станет незримым!..

Но, сударь, когда он возвращается ко мне из этих глубин!.. Можно подумать, что я открываюсь ему как какая-то неведомая земля! Я кажусь ему незнакомой, иной, необходимой. Он, этот гений невыразимого, заключает меня в объятия с такой исступленностью, как если бы видел во мне скалу жизни и твердой реальности, в которой находит он точку опоры и за которую вдруг цепляется, после всех своих чудовищных, нечеловеческих безмолвствований. Он припадает ко мне, как если бы я была самою землей. Он оживает во мне, во мне узнает себя — какое счастье!

Голова его всею тяжестью давит мне на лицо; и вся его нервная сила обрушивается на меня. Его руки исполнены крепости и устрашающей хватки. Мне кажется, я во власти ваятеля, врача, убийцы, жертва их грубых рассчитанных жестов; и я с ужасом ощущаю себя в когтях какого-то интеллектуального хищника. Признаться ли вам? Я подозреваю, он и сам не знает доподлинно, что творит, что сжимает.

Все его существо, которое только что было приковано к определенному *месту* на границах сознания, утратило свой идеальный предмет — предмет существующий и не существующий,

ибо зависит он лишь от несколько большего или несколько меньшего нашего напряжения. Всей энергии этого большого тела оказалось не вполне достаточно, чтобы удержать перед умственным взором алмазный миг, который является одновременно Идеей, Вещью, порогом и завершением. Итак, сударь, когда мой необыкновенный супруг меня как бы осиливает и укрощает, вливая в меня свою мощь, мне кажется, я заменяю ему тот объект его устремления, который он только что утратил. Я словно бы становлюсь игрушкой его мускульного постижения. Я выражаюсь, как умею. Истина, которой он ждал, наполнилась моей силой и моей живой упругостью; и под действием совершенно неизъяснимой метаморфозы его внутренние влечения сходятся, разряжаются в его жестоких и неумолимых руках. Это очень нелегкие минуты. Что же мне тогда делать? Я укрываюсь в собственном сердце, где люблю его, как хочу.

Что касается его чувств ко мне, что касается мнения, какое он мог бы обо мне иметь, я их не знаю, как не знаю о нем ничего, что остается невидимым и неслышимым. Я изложила вам свои догадки; но, в сущности, мне неведомо, в каких размышлениях или выкладках проводит

он столько часов. Сама я держусь на поверхности жизни; я отдаюсь бегу дней. Я говорю себе, что являюсь послушницей непостижного мига, когда мое супружество решилось как бы само собой. Мига, может быть, восхитительного, а быть может, и сверхъестественного…

Не могу утверждать, что я любима. Должна вам сказать, что слово «любовь», столь зыбкое в своем обыденном употреблении, колеблющееся между самыми различными образами, вовсе теряет смысл, если говорить об отношениях, какие связывают сердце моего супруга с моей особой. Его голова — заповеданное сокровище, а есть ли у него сердце, я не знаю. Могу ли я знать, видит он меня, любит меня — или меня изучает? Вы понимаете, что на всем этом я не настаиваю. Коротко говоря, я чувствую себя в его руках, в его мыслях как некий предмет, то самый знакомый ему, то самый для него диковинный, в зависимости от изменчивого взгляда, который на нем останавливается.

Если бы я решилась передать вам свое постоянное ощущение, каким я себе его мыслю и каким часто делюсь с г-ном аббатом Моссоном, я сказала бы, что чувствую себя так, будто живу и двигаюсь в клетке, где содержит меня высший разум — *са-*

мим фактом своего бытия. Его разум заключает в себе мой собственный, как мужской разум — разум ребенка или собаки. Поймите меня, сударь. Порой я слоняюсь по дому; я брожу с места на место; некий напев пробегает во мне и уносится; я лечу, пританцовывая, из комнаты в комнату, во власти внезапной веселости и нерастраченной юности. Но, как бы я ни резвилась, я по-прежнему чувствую на себе могущество своего отсутствующего повелителя, который сидит где-то рядом, в кресле, размышляет и курит, разглядывая свою руку и неторопливо играя ее суставами. Никогда я не ощущаю себя душой безбрежной. Всегда — объятой, всегда — обозримой. Боже! Как трудно это объяснить! Я отнюдь не хочу сказать — *пленной.* Я свободна, но мне подведен итог.

То, что в пас наиболее личностно, наиболее ценно, неясно для нас самих, — вы это прекрасно знаете. Мне кажется, я бы не вынесла, если бы видела себя насквозь. А между тем есть некто, для кого я прозрачна, кто меня видит и предвидит такой, как я есть, без всякой тайны, без темных пятен, лишенной возможности укрыться в собственной непроницаемости — в неведении своего собственного существа!

Я как мушка, которая мечется и трепещет в

орбите неколебимого взгляда, то зримая, то незримая, но всегда в поле зрения. Я помню ежемгновенно, что пребываю в фокусе наблюдения, всегда более обширного и более всеобщего, чем моя внимательность, всегда более быстрого, чем мои внезапные, самые быстрые мысли. Самые сильные мои душевные порывы для него лишь мелкие, никчемные эпизоды. И, однако, есть во мне беспредельность… которую я ощущаю. Я вынуждена признать, что она заключена в его беспредельности, но примириться с этим я не могу. Это, сударь, неизъяснимо, но, имея возможность мыслить и действовать, как мне заблагорассудится, я никогда — *никогда!* — не могу помыслить или пожелать нечто такое, что было бы непредвиденно, было бы значимо, было бы внове для г-на Тэста!.. Поверьте, что столь постоянное и столь странное ощущение питает идеи весьма глубокого свойства… можно сказать, что жизнь моя ежечасно дает мне наглядный пример пребывания человека в божественной мысли. Я на собственном опыте познаю существование в сфере единого существа, подобно тому как все души пребывают в Сущем.

Но, увы, это же самое ощущение неизбывного присутствия и необычайно глубокого проникно-

вения способно внушать мне порой низменные мысли. Я впадаю в соблазн. Я говорю себе, что человек этот, возможно, отвержен богом, что рядом с ним я подвергаюсь великому риску, что я живу под сенью пагубного древа… Но почти сразу же я замечаю, что эти обманчивые соображения сами таят в себе угрозу, от которой меня предостерегают. Я угадываю в них лукаво скрытое побуждение к мечтам об иной, более сладостной жизни, о других мужчинах. И я кажусь себе чудовищем. Я снова думаю о своем уделе; я чувствую, что он именно тот, каким должен быть; я говорю себе, что удел мой *желанен,* что я всякий миг сызнова выбираю его; я слышу в душе чрезвычайно отчетливый и глубокий голос г-на Тэста, который зовет меня… Но если б вы только знали, какими он называет меня именами!

Нет в мире женщины, которую так называли бы. Известно, сколь нелепыми прозвищами обмениваются любовники, какие собачьи и попугаичьи клички естественно рождаются в плотском общении. Слова сердца ребячливы. Голоса плоти незамысловаты. Г-н Тэст полагает к тому же, что любовь есть *возможность совместной глупости:* полный простор безмыслию и инстинктам.

И он называет меня на свой лад. То, как он ко мне обращается, почти всегда обусловлено тем, чего он от меня хочет. Имя, которым он меня наделяет, само по себе показывает, чего мне следует ждать и что я должна делать. Когда у него нет особых желаний, он зовет меня *Существо* или *Вещь*. А иной раз он называет меня *Оазис*, — и мне это приятно.

Но никогда он не говорит, что я глупа, — и это глубоко меня трогает.

Господин аббат, который питает к моему мужу глубокий душевный интерес и относится к этому замкнутому уму с какой-то участливой симпатией, откровенно признался, что г-н Тэст внушает ему весьма противоречивые чувства. Он как-то сказал мне: *«Обличья вашего уважаемого супруга бесчисленны»*.

Он представляется ему «чудовищем отрешенности и одинокого знания», и он не без сожаления приписывает это гордыне, которая обособляет нас от живущих, — не только от живущих теперь, но и от живущих вечно; гордыне, которая была бы совсем омерзительной, едва ли не дьявольской, если бы в его чрезмерно изощренной душе она не вонзалась в себя самое столь яростно и не знала себя с такой дотошностью, что ее зло, вероятно,

уже обескровлено в своей основе.

— *Он губительно отрешается от добра,* — сказал мне аббат, — *но он спасительно отрешается и от зла… Есть в нем какая-то устрашающая чистота, какая-то отстраненность, какая-то несомненная сила и истина. Я никогда не встречал такого отсутствия тревог и сомнений в глубочайше перенапряженном уме. Он ужасающе спокоен! Нельзя заподозрить в нем малейшего душевного недомогания, малейшего внутреннего беспокойства, — ничего, что бывает обязано инстинктам страха и вожделения… Как, впрочем, и ничего, что обращено к Милосердию.*

Его сердце — пустынный остров… Вся широта, вся энергия его мысли опоясывают и защищают этот остров; ее глубины обособляют его, преграждая путь истине. Он гордится тем, что на острове этом совсем одинок… Но терпение, дочь моя. Быть может, в один прекрасный день он найдет на песке некий след… Какой благодетельный священный трепет, какой спасительный ужас постигнет его. когда он узнает, по этому чистому знамению благодати, что его остров таинственно обитаем!..

Тут я сказала г-ну аббату, что мой муж довольно часто кажется мне неким *мистиком без бога…*

— Какое прозрение! — воскликнул аббат. — *Какие прозрения черпают иногда женщины в простоте своих впечатлений и в прихотливости своего языка!..*

Но он сразу же сам себе возразила.

— Мистик без бога!.. Ярчайшая бессмыслица!.. Вот уж легко сказать!.. Обманчивый свет... Мистик без бога, сударыня... но невозможно вообразить движения, которое было бы лишено направленности и смысла, которое так или иначе, не устремлялось бы к некоей точке!.. Мистик без бога!.. Почему бы не гиппогриф, не кентавр?

— Почему бы не сфинкс, господин аббат?

Впрочем, г-н аббат по-христиански признателен г-ну Тэсту за то, что он позволяет мне блюсти мою веру и исполнять труды благочестия. Мне оставлено право любить бога и служить ему, и я могу счастливо делить себя между моим господом и моим дорогим супругом. Порой г-н Тэст просит меня рассказать ему о моей молитве, объяснить с наивозможнейшей точностью, как я к ней приступаю, как предаюсь ей, как ее выстаиваю; и он хочет знать, так ли истинно я погружаюсь в нее. как мне кажется. Но едва только я начинаю искать в памяти нужные слова, он меня опережает, он ищет ответа в самом себе и, каким-то чудом

меняясь со мною местами, говорит о собственной моей молитве такие вещи, сообщает такие ее нюансы, что они вносят в нее прозрачность, как бы уравниваются с нею в тайных ее высотах, — и тем самым он пробуждает во мне настроение и желание, ей соответственные!.. Есть в его словах некая сила, которая делает зримым и слышимым самое в нас сокровенное… И тем не менее слова его — слова человеческие, только человеческие; это всего лишь интимнейшие проявления веры, искусно воссозданные и великолепно переданные умом, несравненным по дерзости и глубине! Словно бы он хладнокровно исследовал благочестивую душу… Но в этом воспроизведении моего пылкого сердца и его веры он чудовищно упускает саму его основу, какою является *надежда*… Во всем существе г-на Тэста нет ни грана надежды; вот почему это проявление его власти мне не слишком приятно.

Ничего примечательного я вам сегодня больше сказать не могу. Не стану оправдываться в том, что написала так много: вы сами просили меня об этом, признаваясь в своем ненасытном интересе ко всему, что составляет жизнь вашего друга. Однако пора кончать. Настал час ежедневной прогулки. Сейчас я надену шляпу. Мы пойдем не

спеша по каменистым извилистым улочкам этого старого города, который вам немного знаком. Наконец мы направимся туда, куда и вам, окажись вы здесь, приятно было бы пройтись, — в старинный сад, где все, кто погружен в мысли, в заботы или в самих себя, сходятся к вечеру, как бегущие в реку ручьи, и непременно встречаются. Это ученые, влюбленные, старики, священники, меланхолики, — все, кто, так или иначе, *не от мира сего.* Они как будто стремятся навстречу взаимной своей отчужденности. Им, должно быть, приятно видеться, будучи незнакомыми, и их одиночные горечи привыкли соприкасаться. Один влачит свою немочь, другого гонит тоска; это — тени, которые избегают друг дружку; но избежать прочих можно лишь здесь, куда одно и то же сознание одиночества неодолимо влечет все эти сомнамбулические существа. Скоро и мы придем туда, в это место, достойное мертвецов. Это — ботаническая развалина. Мы придем туда перед самыми сумерками. Представьте мысленно, как мы неторопливо, шаг за шагом, проходим под лучами солнца, среди кипарисов и птичьего гомона. Ветер на солнце такой же холодный, слишком прекрасное небо порою сжимает мне сердце. В невидимом храме звонят. То здесь, то

там на пути нам встречаются круглые, чуть возвышающиеся бассейны, которые доходят мне до пояса. Они полны до краев черной непроницаемой влагой, к которой пристали огромные листья лотосовой нимфей; капли, попавшие на эти листья, скользят и сверкают, как ртуть. Г-н Тэст разглядывает эти крупные живые капли или же медленно прохаживается между грядок с зелеными табличками, где экземпляры царства растений выглядят более или менее ухоженными. Его смешит этот весьма нелепый порядок, и он забавляется, разбирая затейливые имена:

Antirrhinum Siculum
Solanum Warscewiezii!!!

И этот Sisymbriifolium — что за тарабарщина!.. И все эти Vulgare, все эти Asper, и эти Palustris, и эти Sinuata, и Flexuosum, и Proealtum!!!

— *Настоящий сад эпитетов,* — сказал он мне однажды, — *сад-лексикон, сад-кладбище…*

И, помолчав немного, про себя добавил:

— *Умереть знаючи… Transiit classificando*[12].

---

[12] Примечания: 12
Прошел, классифицируя *(лат.).*

Примите, сударь и друг, наши общие благодарности и наши добрые воспоминания.

Эмили Тэст».

АНРИ БАРБЮС
(1873–1985)

Первые сознательные годы жизни Анри Барбюса связаны с Парижем: здесь он кончил лицей, учился в Сорбонне, подрабатывал хроникальными заметками в столичных газетах. В газету же он принес свои первые стихи. Одна из них — «Эко де Пари» — неожиданно отдала свою ежегодную премию именно ему, приветствуя «неизвестного поэта с признаками поразительной одаренности». Стихи, собранные в сборнике «Плакальщицы» (1895), публиковались первоначально в журналах вместе с поэтическими манифестами символистов.

Роман «Ад» (1908) приблизил Барбюса к опыту Эмиля Золя, обнаружил социальную зоркость начинающего писателя. На фронт первой мировой войны он уходит добровольцем. Там, не отрываясь от «чудовищной страшной работы», какой оказалась война, Барбюс начинает снова писать. «Я занят сейчас сооружением большой махины...» — так сообщал он друзьям о романе «Огонь», принятом к печати газетой «Эвр» с февраля

1916 года. По мнению Анатоля Франса, «Огонь» — «одна из лучших книг во всей французской литературе». Популярность «Огня», показавшего «превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера» (В. И. Ленин), была огромна во всех европейских странах.

На исходе войны Барбюс начал готовить почву для создания ассоциации бывших фронтовиков. «За что ты сражаешься? — спрашивала одна из листовок, составленных Барбюсом. — Мы сражаемся, чтобы обогащать богатых, чтобы защитить страну, которую у нас уже украли... Фронтовики всех стран, соединяйтесь!» В 1919 году Барбюс создает международную организацию писателей в защиту мира и социальной справедливости — «Кларте». С 1923 года он — член Коммунистической партии Франции, с 1928 по 1934 год — редактор журнала «Монд», с 1933-го — член редколлегии боевого литературного издания «Коммюн».

Двадцатые — тридцатые годы — время исключительной творческой и политической активности Барбюса: он создает романы. «Ясность» (1919) и «Звенья» (1925), «Правдивые повести»

(1928), репортами о залитых кровью Балканах, этюд о Золя (1932), документальную книгу «Россия» (1930). Барбюс — инициатор и организатор Первого Антивоенного конгресса (Амстердам, 1932), страстный глашатай правды, о стране социализма, «Я обвиняю!» — повторяет он слова Эмиля Золя, бросая их в лицо тем, кто рассчитывал поссорить народ Франции с народами Страны. Советов. «Никто из нас, писателей Запада, пока не повторил его подвига...» — говорил о Барбюсе Ромен Роллан.

Барбюс сделал все, чтобы его отчизна и родина социализма понимали друг друга.

Henri Barbusse: «Nous autres» («Мы»), 1914; «Quel-ques coins du coeur» («Несколько уголков сердца»), 1921; «Faits divers» («Правдивые повести»), 1928.

Новелла «Улюлю!..» («Hallali») входит в книгу «Мы», новелла «Женщина» («La femme») — в книгу «Несколько уголков сердца», новелла «Преступный поезд» («Train criminel») — в «Правдивые повести».

Т. Балашова

Улюлю!..

Перевод Н. Галь

Под вечер я сидел на скамье возле дома и в последний раз оглядывал мои скромные владения, пока они не погрузились в сон: передо мною с холма спускался двор, направо — живая изгородь, напротив в стене — калитка, всегда распахнутая настежь.

За калиткой открывалась дорога, вьющаяся по опушке леса, виднелись зеленые облака листвы, позолоченной закатом, — их золотила уже и осень, словно еще одно огромное солнце.

Тихо и, как подумалось мне, старательно заканчивался день. Ясные лучи перебирали тончайшую гамму оттенков, высвечивали каждый цветок и даже каждый лист.

Внезапно прозвучал рожок: лесом мчался выезд старой маркизы.

И вот в проеме калитки, заполнив его, возник громадный, удивительно четкий силуэт. Потом великан взметнулся в прыжке и, шатаясь, остановился посреди двора.

Это был олень — тот самый, за которым уже много часов охотились гости из замка… На мгно-

вение он замер, и наши взгляды встретились. Я видел, шкура его в грязи и в пене, язык вывалился, в больших глазах смятение, а бока вздрагивают от ударов сердца, оно стучит, точно молот.

Еще прыжок — и олень забился в самый угол ограды, готовый грудью встретить опасность, но видно было: он совсем без сил и, недвижный, безмолвный, не ведает, что его ждет. А вокруг дома уже слышался неистовый лай. Разгоряченная свора теснилась у калитки, гомонила под стенами ограды.

Вслед за собаками сбегались запыхавшиеся, взбудораженные мальчишки, их становилось все больше. Вскоре вокруг нас уже собралась вся деревня. Зеваки с торжеством показывали друг другу на оленя, увенчанного огромными рогами, словно на дикого царственного беглеца, которому наконец-то отрезали путь к отступлению.

Потом зрители торопливо попятились: нахлынули всадники, всадницы; вихрь пыли, ярко-красных камзолов и амазонок; топот копыт, щелканье хлыста, вскрики медных рожков.

Все это в беспорядке стеснилось у входа, и псари выстроились за неровной линией собак, готовые спустить их на зверя.

Он один не шевелился, безмерно одинокий,

безвестная живая тварь, забежавшая ко мне во двор, как в ловушку. Он безропотно ждал, когда же настанет покой, будь то покой жизни или смерти. Я видел, как беснуется толпа и жаждет его крови; а он — он живой, тяжело вздымаются его бока, трепещет горло, горло, которое перервут, чтоб завершить это безумное празднество.

Всадник в красном легко соскочил с коня. Не торопясь, он вытащил из ножен охотничий нож, блеснул клинок с узорной насечкой…

Собаки всё надрывались лаем. А люди смолкали, застыли неподвижно и смотрели, смотрели во все глаза. Лишь изредка слышались приглушенные возгласы, судорожный смех.

Человек в красном уже хотел войти во двор; он кивнул мне и крикнул (надо было кричать, иначе ничего бы не услыхать за яростным лаем своры):

— Вы, конечно, позволите, мсье?

Но я вытянул руку, преграждая ему путь, и в свой черед крикнул:

— Нет, не позволю!

Озадаченный, он разом остановился.

— А? Что такое? Как вы сказали? Что он такое сказал?

Человек в красном обернулся к остальным:

— Он не желает нас впускать!

Эту новость встретили криками изумления, в общем хоре выделялись пронзительные голоса женщин.

— Наглец! — заявила какая-то старая дама.

И все так же громко обратилась к кому-то из своих спутников:

— Предложите ему денег.

— Вам заплатят за беспокойство, любезный!

Я сдвинул брови, и тот растерянно замолчал.

А потом они заговорили все разом; возбужденные, раздосадованные, они наперебой упрашивали меня уступить, и глаза их горели бешеной злобой.

Я упрямо стоял на пороге, точно в землю врос, и всматривался в лица осаждающих, в лица, которые нечаянный случай открыл мне так близко во всей их наготе.

Все они отмечены были одной и той же печатью — жаждой убийства, она бесстыдно рвалась наружу, подстегнутая неожиданным сопротивлением. Это она отчетливо сквозила за всеми словесами, благовидными предлогами, за попытками соблюсти приличия. Они рады были бы на меня наброситься, дать волю злобе и ненависти — их терзало не только уязвленное тщеславие, но и жестокое разочарование.

Они так долго преследовали беглеца — и вот загнали эту живую плоть, затравили и жаждут прикончить. Один из них сбивчиво пытался мне это объяснить, голос его срывался, он все закидывал голову, чтобы лучше видеть добычу.

Какой-то старик протягивал к вожделенной жертве судорожно скрюченную когтистую лапу. Другой, более свирепый, впивался в оленя алчным взглядом.

Женщины были еще отвратительней мужчин. Стыд останавливал у них на губах слова, которые выразили бы их истинные чувства, но их одолевало непомерное волнение. Чувствовалось: все тело их трепещет во власти позорного ожидания.

Одна, совсем юная (за спину ей спадала наполовину распустившаяся коса), в неудержимом порыве выскользнула из толпы и подняла на меня прекрасные глаза.

— Прошу вас, мсье! — сказала она и молитвенно сложила руки.

Пред остервенением этих людей вой собачьей своры уже звучал почти невинно: собаки не питали вражды к оленю, они лишь были рабами людской ненависти…

И крестьяне теперь тоже держались отчужденней. Мне казалось, они отстраняются от

охотников, начинают понимать: охота — нечто совсем иное, чем они думали.

Простая женщина с ребенком на руках поспешно пошла прочь, будто вдруг испугалась, что подхватит какую-то заразу… Деревенский мясник в запятнанном кровью фартуке (примета его ремесла) смотрел на происходящее, величаво скрестив руки на груди, и в лице его — сумрачном лице труженика — явственно проступали презрение и гнев.

А меж тем угрожающий гул все нарастал.

Я понял, что мы оба потерпим поражение, я недолго смогу защищать загнанного оленя — им слишком не терпится его убить.

Глаза мои остановились на огромном животном — оно даже ранено не было, — и вихрем заметались мысли, полные отчаяния и нежности… Краткие минуты бытия, которые я успел ему сохранить, показались мне такими драгоценными, почти счастливыми. И под градом кровожадных выкриков я понял, что человек и зверь, в жизни такие непостижимо разные, схожи перед лицом смерти и что все живые существа умирают как братья.

И тогда я сжал кулаки и, запинаясь, пробормотал:

— Не хочу!.. Уходите!

Но человечья волна уже готова была нас захлестнуть.

— Нам нужен олень! — задыхаясь, выкрикнул кто-то.

— Убить его!.. Убить!.. — завопили другие.

Над толпой взметнулась маленькая женская рука.

— Я придумала! Его можно застрелить отсюда, из моего карабина!

— Верно! Верно! Прекрасная мысль!..

— Я застрелю!

— Нет, я!

Толстый молодой человек вскинул ружье, прицелился. Я ухватился за дуло и вырвал ружье у него из рук.

— Наглый мужлан! — злобно крикнул он.

...И тут неодолимый натиск взял свое... Толпа ворвалась во двор.

Меня оттеснили, затолкали, отбросили назад, и все же я снова попытался возвысить голос:

— Убирайтесь отсюда! Я не хочу!..

Но они ликовали, неистовствовали; уже ничего не слушая, они кинулись к оленю, а он стоял в углу у стены, и из огромных глаз его смотрело спокойствие самой природы, а быть может,

небытия.

И я так явственно ощутил: вот я бросаюсь вперед и заслоняю собой обреченное животное, вот вскидываю карабин и стреляю в осатанелую свору двуногих… и знаю — я прав!

Женщина

Перевод Е. Бируковой

Лачуга, где ютились две женщины, была такой низкой и темной, что дневные лучи, проникая в нее, меркли, как вечером, и можно было разглядеть лишь углы каморки с корявыми кирпичными стенами и полом, каменистым и землистым, как глухой проселок.

Умирающая, высохшая до костей, приподнялась на убогом ложе в скудном свете, падавшем из решетчатого оконца, и сказала своей дочке Мари:

— Как я помру, поди разыщи своего брата, он остался там, на шахте, когда я поругалась с вашим отцом. Теперь вы оба будете сиротами, так уж живите вместе. Так оно и должно быть, и вас за это только похвалят. Ты как-никак его найдешь, имя-то не забыла. Будешь ты ему помогать, а он тебе, ведь он, сама знаешь, малый неплохой…

Она выговорила эти слова из последних сил и навеки замолкла в ближайшую же ночь.

После похорон Мари, в сером платье и шляпке, из которой она вынула цветок в знак траура, села в поезд и, выйдя из него, зашагала по широкой равнине черной страны в надежде разыскать своего брата Жана.

Дороги, направлявшиеся к угольным копям, становились все сумрачней по мере приближения к ним. Казалось, необъятная грозовая туча распростерлась над землею и окрасила ее своей чернотой.

Мари остановилась в одной из гостиниц на главной улице, где теснились дома, почерневшие от угольной пыли и от пыли, долетавшей с полей. Вечером она стояла у шахты, вместе с другими женщинами ожидая выхода рабочих. Сперва ее чуть не сбил с ног рев сирен, а затем тяжелая свинцовая толпа углекопов, которые выходили из забоя и направлялись все в одну сторону, как погребальная процессия.

Она сразу же узнала брата, хотя при их расставании ему было всего пятнадцать лет. Да, это был Жан, — его маленькое бледное лицо, слишком маленькое и слишком бледное, его большое, слишком большое тело. Он как-то отличался от

других и выглядел утомленным и бесконечно одиноким.

— Боже!..

Мари заметила, что товарищи то и дело толкали его, зубоскалили, подсмеиваясь над ним. Он отбивался, вырвался, убежал.

Она последовала за ним. Он вошел в здание меблированных комнат, у входа поднял голову, будто не узнавая дома, как это делают рассеянные люди. Вскоре он вышел на улицу и завернул в ресторанчик пообедать. Он замер на пороге, словно испуганный шумом, потом какой-то механической походкой направился в самый отдаленный конец зала и съежился в уголке.

Так у него нет ни жены, ни подруги? Как чудно!.. Это означало, что ей ничто не помешает поселиться с братом, — великая удача! — и при мысли о том, как ей повезло в ее рискованном предприятии, у нее сжималось сердце… Вслед за ним и она вошла в ресторан. Уселась напротив через два столика от него, стиснутая людьми, которые обедали, зычно перекрикиваясь.

На лице Жана застыл отпечаток тоски, он был словно в трауре, хотя и не мог знать о смерти матери. В обнаженном свете газового рожка на его костлявом лице обозначались черные линии

и белые выпуклости.

— Ишь ты! Красавчик!..

Несколько балагуров, — среди них мегера, вся в лентах, с пьяным взглядом, — размахивая руками и приплясывая, сгрудились перед юношей и язвительно его задирали. В смущении, невнятно бормоча, он опустил голову в тарелку. Наконец зубоскалы убрались. Но кругом раздавались женские смешки.

Ах, она разыскала брата, а он какой-то чудак, посмешище для всех! Никому-то он не нужен и, возвращаясь с работы, пытается спастись от людей, убегает от них и обедает, забившись в самый дальний угол ресторана.

Слезы прихлынули к глазам Мари. Ей стало жаль его до боли. Но, слава богу, она приехала. Она скрасит ему жизнь. Она заменит ему семью. У него будет уютное жилье, уж она постарается…

Перед тем как выбраться со своего места, из живых тисков своих соседей, она принялась разглядывать брата. В этот миг он случайно поднял голову и, в свою очередь, взглянул на нее.

Она улыбнулась ему.

Он застыл на месте с открытым ртом и поднятой рукой, увидав, что ему улыбается женщина.

Она покраснела: он не мог ее узнать. Значит,

он вообразит, что… Непроизвольно она опустила глаза, но тут же непроизвольно их подняла. Он по-прежнему созерцал ее, глаза его были широко раскрыты и на бледном лице блестели, как слезы. И на этом лице отобразилось такое душераздирающее изумление, что Мари вся вздрогнула и снова улыбнулась.

Эта сцена не ускользнула от внимания людей, обедавших за столиками в горластой толкотне: Жан и смазливая незнакомка перемигиваются! Рабочие подталкивали друг друга локтями и, огорошенные, наблюдали интрижку.

— Он! И впрямь он! Так оно и есть! — перешептывались вокруг.

Потрясенная Мари окаменела, она окончила свой обед, больше не отваживаясь глядеть на брата, но чувствуя, что на нее упорно смотрят и он, и все остальные.

Когда приступили к кофе, зал наполовину опустел.

Тут она встала и направилась к брату. Догадавшись, что она хочет завязать с ним разговор, он поднялся ей навстречу и, чтобы положить конец досадному недоразумению, которое он предчувствовал, назвал свое имя:

— Я Жан Кадио.

У нее уже приоткрылись губы сказать: «А я Мари, узнаешь, я Мари?» — но он смотрел на ее свежие губы с такой невероятной надеждой, что она, не понимая своего душевного состояния, стояла в безмолвии все с той же улыбкой.

Но вот молодой человек набрался мужества и прошептал:

— Хотите, выйдем отсюда?

Они вышли вместе, потихоньку, неловко пробираясь. Пока они проходили, в толпе завсегдатаев рабочего ресторана царила глухая тишина.

Едва они выбрались наружу, как он прикоснулся к ней, потом взял ее под руку. Она не противилась.

Почему она сразу же не рассеяла удручающее заблуждение? Почему? Она только спросила:

— Вы живете совсем один?

— Ну, конечно, — отвечал он.

Потом, сделав усилие над собой, промямлил:

— Зачем вы меня об этом спрашиваете? Как чудно, что на меня обратили внимание! Я не богат, так и знайте! Они потешаются над нами, вон там…

Он показал большим пальцем на кабаре, расположенные вдоль улицы, в их окнах, запотелых и белесых, как экраны кинематографа, расплю-

щились темные физиономии жадно глазевших на них.

— У вас нет друзей?

— Да разве меня кто-нибудь любит?.. Я-то понимаю, но как бы это сказать…

Он с трудом говорил о таких вещах, они были ему непривычны, и он просто не находил слов.

Момент был подходящий, чтобы все ему открыть, но она продолжала вполголоса:

— Вы, как видно, человек мягкий. Найдется женщина, которая будет счастлива с вами.

— Мне еще не говорили такого, — пробормотал молодой человек.

— А вот я вам говорю.

— Вы… вы…

Внезапно он обхватил длинными руками свою спутницу за плечи и привлек к себе, готовый ее поцеловать. Но она оттолкнула его.

— Нет, нет…

Он покорился, руки его безвольно повисли, как у раба.

— Слушайте, — сказала Мари, — вам не пристало меня любить. Для меня было бы сущим несчастьем, если б вы меня полюбили. Я не свободна, никак не свободна. Если б вы только знали! И я уеду из этих краев. Но другие женщи-

ны наверняка найдут, что вы совсем непохожи на остальных мужчин.

— Ах! — вырвалось у него. — Ах, чем же? Чем же?..

Вне себя, он недвижно стоял перед нею.

— Полюбить меня? Неужели это возможно? Скажите: вы-то полюбили бы меня, будь вы свободны?

— Да, — ответила Мари. — Прощайте. Да…

Она скрылась из виду, а он все стоял на месте, прямой, бледный, похожий на горящую свечу. Его глаза, его лицо, все его существо светилось отблеском женской прелести.

Этот отблеск будет и впредь сиять на нем, он сохранит его, как бесценное сокровище, как талисман, который наверняка даст ему отвагу и силу бороться с жизнью за счастье.

Она проскользнула по коридору гостиницы и спряталась в свою комнатку — краткое пристанище, откуда на заре она убежит далеко-далеко. Теперь ей было уже заказано вновь свидеться с покинутым, для которого она предпочла быть призраком подлинной женщины, чем подлинной сестрой. И она заплакала от избытка печали и радости.

Преступный поезд

Перевод Н. Жарковой

В ночь с 11 на 12 декабря 1917 года вокзал небольшого французского городка Модана, расположенного близ итальянской границы, кишел народом.

То на перроне, то в залах ожидания вдруг, как призраки, появлялись пассажиры, до странности, до жути схожие между собой. Та же унылая одежда того же убогого покроя — все на один лад. Многие были явно больны: кто сутулился, кто волочил ногу. Даже самые беспечные лица уродовала маска грязи и усталости. Только несколько ожидающих выглядели обычными людьми.

Эти тени, неразличимо тусклые, бродили по темным каменным плитам зала; кто-то уселся прямо на пол. Резкий свет вокзальных фонарей лезвием лучей перерезал человеческие фигуры надвое: одна половина тела — черная, другая — белая, лица у одних — как зияющий темный провал, у других — неестественно светлые, будто фонарь во мгле.

И все-таки у них был счастливый вид. Сосед громко переговаривался с соседом, кто-то пел,

даже самый убогий насвистывал…

Эти счастливые несчастливцы были отпускниками, солдатами-отпускниками. Французские солдаты, отпущенные на несколько дней с итальянского фронта после боев при Пиаве.

Пиава… Ныне это слово уже утратило свою прежнюю силу, свой, так сказать, особый привкус; ведь с тех пор прошло десять лет, а за десять лет многое испаряется из памяти людской.

В ту пору слово «Пиава» означало отчаянное, изнурительное напряжение всех сил, ряды обезумевших солдат против рядов других солдат, бывших игрушкой в руках других рабовладельцев. Те солдаты, что были здесь, делали все то, что им приказано было делать. Они продвигались вперед, потом располагались лагерем, потом снова продвигались вперед, совершали перебежки, потом снова стреляли, потом вся масса их бросалась в горнило боя и, расплавившись в его огне, заполняла образовавшиеся пустоты. Я не ошибусь, если скажу, что все они были самоубийцы, но не все они умерли. Однако армия, растаявшая наполовину, сдержала натиск врага. И теперь солдаты с удовольствием вспоминали все перипетии этого похода и даже тешились своими воспоминаниями, как тешится ребенок

новой куклой.

Теперь они были далеко от Пиавы, на французской земле, и сюда до них уже не доходила парадная шумиха, для которой их героизм был лишь поводом; они ждали теперь поезда на вокзале пограничного городка Моданы, где, впрочем, и сейчас, спустя десять лет, нельзя быть уверенным, что вдруг снова не увидишь передвижения воинских эшелонов.

И вот, добродушно пыхтя, подошел поезд, остановился на своих стальных рельсах, выстроился всем составом вдоль перрона, и солдаты бросились по вагонам, стараясь занять уголок поудобней; они, эти люди, уцелевшие на каторге войны, вдруг становились свободными, и образ родного очага возникал не только в их сердце, но и где-то в самом нутре. Их было пятьсот.

Однако поезд не трогался. Машинист, вместо того чтобы сидеть у себя на паровозе, вышел на перрон и начал о чем-то горячо спорить.

Он спорил с золотопогонным, бренчавшим медалями начальством — с повелителями Моданского вокзала. Он позволил себе возражать.

Он говорил:

— Ехать невозможно.

Слово «невозможно» оскорбило благородные

души начальства.

— Невозможно! Невозможно! И это говорит француз! Неужели вы не знаете, вы, жалкий пораженец, что слово «невозможно» исключено из французского языка?

Но машинист твердил:

— Состав перегружен.

Он объяснял господам офицерам, что этот маршрут — самый что ни на есть проклятый маршрут: резкие повороты, крутые спуски; он надеялся, что начальство, быть может, не знало обо всем этом. Пуститься по таким кручам, да еще с перегруженным составом, значит не управиться с непокорной машиной.

Никто не требует, чтобы начальство было осведомлено обо всем на свете. Однако самые главные начальники отлично знали, каков рельеф пути — головокружительный, как «американские горы», и все время через Альпы. Но здесь уже затрагивался высший принцип — воля начальствующих лиц, которая священна, и все доводы здравого смысла должны были отступить перед этим неопровержимым доводом: был отдан приказ отправить поезд.

Низенький закопченный человек напрасно размахивал руками, напрасно он кричал, что,

уж поверьте, паровоз вместе с вагонами рухнет прямо в пропасть. Начальники, отливающие золотом в свете вокзальных фонарей, заявили, что ехать все-таки придется.

Соскучившиеся в вагонах отпускники высовывались из окон и разочарованно спрашивали: «Почему не едем?»

Разумный страх машиниста был столь велик, что он наотрез отказался вести состав.

Начальствующие лица отдали приказ: ехать. Тогда машинист влез в свою кабинку, поезд дрогнул и медленно отошел от перрона.

Но скоро, в силу естественных законов, его понесло прямо под уклон. И в самом деле, состав был слишком тяжелый, а паровоз недостаточно мощный, чтобы подчинить его своей воле. И пар и машинист оказались бессильны. Состав неудержимо влекло вперед. Это было как раз при спуске в Арскую долину, там, где железнодорожный путь зигзагами вьется по скалистому обрывистому берегу горного потока.

Вагоны, подгоняемые собственной тяжестью, бешено катились с горы. Машинист выпустил весь пар, но длинная членистая вереница вагонов с каждой минутой убыстряла ход. Она рвалась вниз по наклонной плоскости, как экспресс, как

курьерский поезд, и под конец понеслась, словно адское видение.

Человеческая сила не могла уже остановить вереницу вагонов, которые неудержимо катились в бездну. Среди ужасающего грохота и густых клубов пара — ибо машинист тормозил, тормозил из последних сил — стальное чудовище, уже не повиновавшееся воле человека, неотвратимо влекло вперед двести пятьдесят тысяч килограммов металла и тридцать тысяч килограммов человеческой плоти, — и наконец огонь охватил все его суставы.

От мчавшихся вихрем черных домиков сыпались искры, потом они запылали, и головокружительной кометой поезд пронесся мимо вокзала Сен-Мишель-де-Мориен.

Те, которые были заперты в раскаленных докрасна стальных клетках, среди дымящегося дерева, те, которых как бы замуровала сверхъестественная скорость, — пять сотен счастливцев, спасшихся от ужасов Пиавы, поняли наконец, что означает эта скачка смерти. Кулаками вышибали они вагонные дверцы, но их вжимало обратно вихрем разгона. Многие все-таки выскочили прямо в ночь и бездну. Все до одного они погибли, и бесконечной гирляндой тянулись их искром-

санные тела вплоть до того места на склоне горы, где с математической точностью должно было исчерпать себя бедствие.

Этой последней гранью и оказался крутой поворот, ведущий к железнодорожному мосту, неподалеку от станции Сен-Мишель. Взвихренный куб, метеор, начиненный человеческой плотью, как выпущенный из пушки снаряд, сделал поворот и уткнулся в землю. Паровоз рухнул набок. Один за другим наталкивались на него вагоны и, подскакивая на камнях, скатывались в бездну и так висели от парапета моста до самого дна пропасти. Весь поезд чудовищно вздыбился. Эту пирамиду, мгновенно возникшую из обломков вагонов, охватило пламя, и она запылала, как гигантский костер.

Костер вскоре погас. Позже из-под пылающих в ночи обломков было извлечено полтораста раненых, многие из них получили тяжелые увечья. А все остальные превратились в обуглившиеся трупы — трупы трехсот пятидесяти солдат, которые с веселым сердцем ехали домой хоть немного отдохнуть перед тем, как снова вернуться к своей проклятой судьбине.

Ужасающие подробности «происшествия» в Сен-Ми-шель-де-Мориен были на следующий

день опубликованы в газетах. Ими зачитывались добрые граждане, которые мирно сидели у камелька — ногам тепло, на сердце спокойно, пусть где-то там идет война, — столь же безмятежные и душой и телом, как те главные начальники, что приказали машинисту трогаться в путь. Впрочем, у этих последних никто не осмелился потребовать объяснений, и все они со временем удостоились высоких чинов и наград.

А мы, называющие вещи своими именами, не смеем об этом забывать.

КОЛЕТТ
(1873–1954)

Габриель-Сидони Колетт родилась в селении Сен-Совер-ан-Пюизе (департамент Йонна), в семье кадрового офицера. Детство и юность Колетт прошли в провинциальной глуши, и память об этой счастливейшей поре жизни одухотворяет все ее творчество. В 1893 году она вступила в брак с преуспевающим литератором Гомье-Вилларом, издававшим гривуазные историйки. Под его псевдонимом — Вилли она в 1900–1903 годах выпустила цикл автобиографических повестей — «Клодина в школе», «Клодина в Париже», «Клодина замужем», «Клодина уходит». В ранней прозе Колетт звонко прозвучал молодой, свежий смех, блеснуло «что-то прекрасное, как лукавый апрель» (А. В. Луначарский). Правда, в ее повестях встречались, и нередко, эротические пассажи, вкрапленные в текст рукой Гомье-Виллара. Не побоявшись бракоразводного процесса и вызванной им скандальной шумихи, Колетт рвет узы, унижающие ее человеческое и писательское достоинство.

Незаурядность дарования Колетт, склонность к тончайшему анализу чувств, к отточенному стилю проявились в романах «Сентиментальное отшельничество» (1907) и «Развращенная наивность» (1909). Стремление утвердить свою индивидуальность привело Колетт на эстраду, в кафе-концерт. Выступала она в амплуа мимической актрисы и танцовщицы, исполняла и комедийные и трагедийные роли. Опыт театральной жизни претворен ею в психологическом романе «Скиталица» (1910), в цикле реалистических рассказов о скудости актерского быта и подвижнической преданности рыцарей сцены своему ремеслу. В камерных романах «Шери» (1920), «Сидо» (1930) Колетт размышляет о непредугаданных порывах человеческого сердца, всесильном злосчастье любви. Ей присуще пантеистическое восприятие природы и влюбленно-ироническое изображение животных («Мир среди зверей». 1916), которым, в согласии с басенной традицией, дано судить о человеческих слабостях и прегрешениях.

Многие произведения Колетт были экранизированы. Она любила кинематограф и внимательно следила за его успехами.

Естествен, как дыхание, ритм прозы Колетт

и в ее воспоминаниях («Дом Клодины», 1922), и в автобиографических повестях («Рождение дня», 1928; «Голубой фонарь», 1949), Ей принадлежат живые зарисовки национальной катастрофы 1940 года («Сумбурный дневник», 1941) и освобождения Франции от фашизма («Вечерняя звезда», 1946).

Colette: «Les vrilles de la vigne» («Усики виноградной лозы»), 1908; «L'envers du music-hall» («За кулисами мюзик-холла»), 1913; «La femme cachee» («Скрытная женщина»), 1924; «Douze dialogues de betes» («Двенадцать диалогов между животными»), 1930.

«Усики виноградной лозы» входят в одноименный сборник, «Собака» («La chienne») — в сборник «Двенадцать диалогов между животными», «Клад, а не ребенок» («L'enfant prodige») — в сборник «За кулисами мюзик-холла».

В. Балашов

Усики виноградной лозы

Перевод Л. Лунгиной

А ведь в давние времена соловей по ночам молчал. У него был нежный слабенький голосок, и едва наступала весна, он искусно распевал все дни напролет. Он пробуждался вместе со своими товарищами на рассвете, когда воздух был еще сизо-серым, и от птичьего гомона майские жуки, примостившиеся на ночь на изнанке листьев сирени, вскакивали как встрепанные.

Но вечером, едва часы успевали пробить половину восьмого, а может, даже и семь, соловей засыпал, где придется, часто в цветущем винограднике, пахнущем резедой, и спал без просыпа до утра.

Однажды весенней ночью, нахохлившись и грациозно склонив набок головку, словно кокетка, страдающая прострелом шеи, соловей сладко спал на молодой виноградной лозе. А пока он спал, усики этой лозы — тонкие, цепкие спирали, наполненные кислым, как щавель, набивающим оскомину соком, хорошо утоляющим жажду, — усики этой лозы росли так буйно, что соловей, проснувшись утром, оказался весь оплетенный зелеными нитями: лапки его были крепко-накрепко связаны, крылья опутаны сеткой…

Он думал, что погиб, отчаянно рвался, а когда ценой невероятных усилий все же высвободился

из пут, тут же поклялся не смыкать глаз весной, пока растут молодые побеги винограда.

Всю следующую ночь соловей пел, чтобы не заснуть:

Пока растет лоза, лоза,
Я не сомкну глаза!
Пока растет лоза, лоза…

Он свободно импровизировал на эту тему, украшал ее причудливыми вокализами, влюбился в свой голос и мало-помалу превратился в того вдохновенного артиста, одержимого, хмелеющего от собственного пенья, которого слушаешь и не наслушаешься, замирая от страха при мысли, что он может умолкнуть.

Как-то лунной ночью я увидела поющего соловья, вольного певца, который не знал, что за ним следят. Время от времени он замолкал и вытягивал шею, будто прислушиваясь к угасшей ноте, все еще звучавшей в нем… А потом начинал новую фиоритуру, запрокинув голову, напрягшись, словно рыдал от безнадежной любви. Он пел, чтобы петь, и пел так прекрасно, что уже не знал, о чем поет. Но я, я слышу в перезвоне этих золотых колокольцев, в низких тремоло флейты, в трепетных, кристально-прозрачных трелях,

в чистых мощных звуках ту первую наивную, тревожную песнь соловья, скрученного усиками молодых побегов.

Пока растет лоза, лоза…

Тонкие, цепкие усики горькой лозы оплели меня, когда в первую свою весну я спала счастливым, доверчивым сном, но отчаянным рывком я разорвала все эти витые нити, которые уже врезались в мою плоть, и бежала… Когда оцепенение новой брачной ночи смежило мне веки, я устрашилась усиков виноградной лозы и крикнула, что было сил… И впервые услышала свой голос!..

Я теперь одна и бессонной ночью гляжу, как поднимается сладострастный и унылый диск луны… Чтобы снова не поддаться соблазну счастливого сна и лживой весны с ее цветущим коварным виноградом, я вслушиваюсь в свой голос… Иногда я лихорадочно выкрикиваю то, о чем принято молчать, что говорят только на ухо, а потом вдруг перехожу на шепот, ибо не смею продолжать…

Я хочу сказать, сказать, сказать все, что знаю, все, о чем думаю, о чем догадываюсь, все, что приводит меня в восторг, оскорбляет и вызывает удивление! Но всякий раз, на исходе такой

поющей ночи, в предрассветной мгле, чья-то благоразумная, холодная ладонь ложится на мои губы… И мой крик, все более полнозвучный и вдохновенный, превращается в бормотанье, в лепет младенца, болтающего невесть что, лишь бы прогнать страх и забыться…

Мне неведом теперь счастливый сон, но я уже не страшусь усиков виноградной лозы.

Клад, а не ребенок

Перевод Л. Лунгиной

— Вы не находите, мадам, что в этом спектакле занято слишком много детей? — высокомерно, с чувством собственного превосходства бросила мне, проходя мимо, исполнительница медленных вальсов, полная блондинка, затянутая в кимоно, что стоит семь франков девяносто пять сантимов — такие кимоно из бумажного крепа непременно увидишь в каждой актерской уборной мюзик-холла. У нее кимоно — розовое, с летящими аистами, у меня — синее, с красными и зелеными веерами, а у дрессировщицы голубей — лиловое, в черных цветах.

Полная блондинка недовольна: ее толкнули трое мальчишек ростом не выше охотничьей со-

баки, одетые в костюмы краснокожих индейцев — они мчались наверх разгримировываться. Но ее язвительное замечание метило не в мальчишек, а в молчаливую даму в черном, обликом похожую на унылую гувернантку, которая ходила взад-вперед по коридору.

Полная блондинка со значением кашлянула и скрылась в своей уборной, смерив презрительным взглядом даму в черном, которая вместо ответа повернулась ко мне с каким-то подобием улыбки и пожала плечами.

— Это камешек в мой огород… Она злится, что много детей занято в спектакле… Что ж, я с ней согласна… И моя девочка там в первую очередь лишняя.

— Как? Вы не довольны? Да ведь «Принцесса Лили» пользуется бешеным успехом!

— Ну и что?.. От моей дочки можно сойти с ума! Уверяю вас! Не думайте, она и вправду моя дочь… Позвольте, я вам застегну крючок на корсаже… Самой вам не дотянуться… Ничего, ничего, для меня это дело привычное. И я как раз свободна. Дочка в гримерной, ей завивают локоны, знаете, на английский манер… Я охотно побуду здесь с вами… Тем более что она мне только сейчас так нагрубила…

В зеркале я вижу стоящую за моей спиной женщину в черном. Доброе, смиренное лицо, влажные глаза…

— Да-да, нагрубила… Поверьте, мадам, от этой девчонки действительно можно сойти с ума, и это в тринадцать-то лет! Правда, по виду ей их не дашь. А уж одевают ее для выступлений совсем как малютку. Не подумайте только, что я хочу выставить ее перед вами в дурном свете, вовсе нет. Не хвалясь, скажу: когда она играет на скрипке в белом детском платьице, она до того прелестна… прямо ангелочек… Или когда поет по-итальянски… вы ее видели в костюме маленького неаполитанца? И как отплясывает американский танец тоже видели? Публика всегда предпочитает мою Лили этим трем жалким мальчишкам, которые только что пробежали… До чего же они истощены, мадам! И какие робкие!.. Стоит им на сцене чуть ошибиться, и у них глаза делаются круглыми от страха. «Поглядишь на них — и сердце кровью обливается», — говорю я как-то Лили. «П-ф-ф! Плевать я на них хотела». — ответила Лили. Я понимаю, тут дух соперничества, но иногда она может сказануть такое, что у меня все внутри переворачивается!.. Я вам все это рассказываю, но это, конечно, между нами… Я разнервничалась,

ведь она нагрубила мне, своей матери… Поверьте, не очень-то мне удружил господин, который устроил Лили в театр, хотя он вполне приличный человек, пишет пьесы… Я шила его даме сердца: ведь я по специальности белошвейка и в то время еще ходила по домам. Она была так добра, что разрешала Лили после школы забегать за мной и ждать, пока я кончу работу. Как-то раз, это было уже года четыре назад, этому господину понадобилась смышленая девочка на роль ребенка, и шутки ради он предложил попробовать Лили. Я не успела опомниться, как все решилось. Девочка их очаровала. Уверенность, память, голос, — словом, все! Я стала относиться к этому всерьез только после того, как ей положили по восемь франков в день. Ну, что на это возразишь?.. После первой пьесы была другая, потом третья. И всегда я говорила: «Конец! Лили играет в последний раз». А на меня все кричали: «Не болтайте глупостей! Лучше бросьте ваше дурацкое ремесло! Разве вы не видите, что это не ребенок, а клад! Да и какое вы имеете право губить талант!» Ну и так далее и тому подобное, — короче, я пикнуть не смела… Вы бы только поглядели, как моя малышка зафорсила! Со всеми знаменитостями на «ты», директора иначе как «мой дорогой» не

зовет. И все это с таким серьезным видом, что люди вокруг покатываются со смеху. Прошло два года, и вдруг оказалось, что в репертуаре детских ролей больше нет. «Ну и слава богу! — думаю я. — Отдохнем, заведем какое-нибудь скромное дело на те деньги, которые удалось сэкономить». Я, конечно, рассказала о своих планах Лили. В последнее время она ведет себя так, будто все знает лучше всех, я даже как-то терялась перед ней. И представляете, что она мне ответила? «Бедная мама, ты просто выжила из ума! К несчастью, мне не всегда будет одиннадцать лет, так что зевать не приходится. Раз в этом сезоне нет работы в театре, я пойду в мюзик-холл». И, поверите ли, мадам, ее все поддержали, все те, кому до нее нет никакого дела. Она ведь такая способная, враз научилась и петь и плясать… Только вот ее заботит, что она растет. Я ее меряю каждые две недели: ей так хочется остаться маленькой! Она пришла в ярость, когда обнаружила, что с прошлого года выросла на два сантиметра. «Уж не могла меня родить лилипуткой!» — упрекала она меня. Вы бы видели ее за кулисами — это самое ужасное. Какой гонор! Она просто помыкает мной, а я не умею настоять на своем. Вот и сегодня опять наговорила мне бог знает что. Она мне так на-

дерзила, что я не могла стерпеть и взорвалась: «Хватит! В конце концов я твоя мать! Сейчас я выволоку тебя отсюда, я раз и навсегда запрещу тебе выступать!..» Она в это время подводила себе глаза и даже не обернулась в мою сторону, только расхохоталась: «Запретишь? Ха-ха-ха! Ты, что ли, пойдешь вместо меня петь им «Чири-бири-би», чтобы мы могли заплатить за квартиру?» У меня слезы на глаза навернулись, мадам: тяжело, когда тебя унижает собственная кровиночка… Но больше всего меня огорчило другое… Не знаю, мадам, как это вам объяснить… Иногда я гляжу на нее и думаю: «Это моя дочка, ей тринадцать лет. Она уже четыре года на сцене. Репетиции, закулисные сплетни, придирки дирекции, соперничество, афиши, зависть товарищей, дирижер, который на нее зубы точит, помреж, дающий занавес то слишком рано, то слишком поздно, клакеры, костюмерша… Только это у нее и в голове, только об этом и разговору все четыре года. И за все эти четыре года она не сказала ничего по-детски… И никогда уже больше не скажет ничего… ничего по-детски…»

Собака

Перевод Л. Лунгиной

Нежданно приехав в Париж на побывку, сержант не застал своей подруги дома. И все же он был встречен взрывом неистовой радости, его тискали в объятиях, целовали: Вораска, овчарка, которую он оставил здесь, уезжая, жарким пламенем вилась вокруг него, норовя лизнуть в лицо побелевшим от волнения языком. Впрочем, горничная была возбуждена не менее, чем Вораска, и тараторила без умолку:

— Надо же, такая незадача! А мадам как раз отправилась на два дня в Марлотт, чтобы запереть дом — жильцы-то ведь съехали. Мадам надо проверить, все ли там в порядке, осмотреть мебель… Но Марлотт, слава богу, не за тридевять земель… Может быть, мсье составит телеграмму, а я сбегаю на почту? Если ее тотчас отправить, мадам успеет вернуться утром, к завтраку. А вы, мсье, оставайтесь здесь ночевать. Не угодно ли вам, мсье, чтобы я затопила ванну?

— Да я уже дома вымылся, Люси… Отпускник первым делом должен смыть с себя службу!

Он взглянул в зеркало. Голубизна мундира и

подпаленная пороховым дымом кожа цветом напоминали бретонский гранит. Бриарская овчарка, застывшая в экстазе обожания, мелко дрожала всем телом. Он рассмеялся, заметив, до чего же она похожа на него, — серо-палевая, с голубым отливом, собака гляделась такой же хмурой, как и он.

— Вораска!

Она вскинула на хозяина полные любви глаза, и сержант растрогался, вдруг вспомнив свою возлюбленную, очень молодую и очень веселую Жаннину — пожалуй, слишком молодую и частенько слишком веселую…

Они пообедали вместе, он и собака. Вораска, верная ритуалу их прежних совместных трапез, хватала на лету куски хлеба, которые он ей бросал, и по команде подавала голос — безграничная преданность хозяину помогала ей в час встречи забыть месяцы разлуки.

— Я скучал по тебе, — признался он ей тихо. — Да, и по тебе!..

Теперь он курил, полулежа на диване. Собака, в позе мраморного изваяния борзой, какими украшают надгробные памятники, притворялась спящей и даже не двигала ушами. Только по бровям, чуть вздрагивавшим при каждом звуке,

можно было понять, что она бодрствует.

Сержант был изнурен усталостью, и от тишины его охватила дремота. Рука с сигаретой скользнула вдоль подушки, слегка царапнув по шелку. Он поборол сон, встал, раскрыл наугад какую-то книжку, затем перетрогал все новые безделушки и взял в руки незнакомую ему фотографию: Жаннина в короткой юбке, в блузке без рукавов, на фоне сельского пейзажа.

«Любительский снимок… Она прелестна…»

На оборотной стороне фотокарточки, не вложенной в паспарту, он прочитал: «Пятое июня 1916 г…».

«Я был тогда… А где же я, собственно, был тогда, пятого июня?.. Ах да, под Аррасом… Пятое июня… Почерк незнакомый…»

Он снова сел, и сон, прогоняющий всякую мысль, все-таки одолел его. Пробило десять. Он успел улыбнуться, услышав низкий, полнозвучный бой настенных часов, про которые Жаннина говорила: «Маленькие, а бьют, как большие…» Пробило десять, и собака вскочила на ноги.

— Фу! — сквозь сон приказал сержант. — Лежать!

Но Вораска не легла, она отряхнулась и долго потягивалась, далеко выкинув лапы, что для со-

бак значит примерно то же, что для людей надеть перед выходом шляпу. Она подошла к хозяину, и ее желтые глаза внятно спросили: «Ну?»

— Что — ну? — переспросил он. — Что тебе надо?

Она почтительно опустила уши, пока он говорил, но тотчас их снова подняла.

— Ох, — вздохнул сержант. — До чего же ты надоедная! Чего ты хочешь? Пить? Гулять?

При слове «гулять» Вораска ощерилась и задышала коротко и прерывисто, обнажив свои роскошные клыки и мясистый лепесток языка.

— Ладно, пошли. Только ненадолго. Умираю, хочу спать!

На улице, ошалев от радости, Вораска взвыла по-волчьи, высоко подпрыгнув, ткнулась носом хозяину в затылок, погналась за кошкой и завертелась волчком. Сержант ее ласково журил, но она старалась ради него и никак не могла угомониться. Наконец она все же успокоилась и степенно зашагала впереди. Сержант наслаждался теплым вечером и шел следом за собакой, лениво напевая две-три бесхитростные фразы:

— Завтра утром я увижу Жаннину… Я буду спать в мягкой постели… Я проведу здесь целую неделю…

Тут он заметил, что собака идет под фонарем, нетерпеливо поглядывая на хозяина. Ее глаза, мотающийся туда-сюда хвост, все ее напряженное тело спрашивали: «Ну, что же ты не идешь?»

Сержант подошел к ней, и Вораска решительно свернула на боковую улочку. Тогда он понял, что собака знает, куда идет.

«Быть может, — подумал он, — сюда ходит горничная… Или Жаннина…»

Он остановился на мгновение, потом двинулся дальше за собакой, даже не замечая, что разом прошли сон, усталость и ощущение счастья. Он ускорил шаг, и собака весело побежала впереди, как верный поводырь.

— Иди-иди! — время от времени приказывал сержант.

Он прочитал название улицы и пошел дальше. Прохожих совсем не было. Тускло горели редкие фонари. Маленькие особнячки, сады. Собака в радостном нетерпении слегка куснула его за руку. Он чуть было не стукнул ее, с трудом сдержав вдруг вспыхнувший необъяснимый гнев.

Наконец Вораска остановилась — «Вот мы и пришли!» — перед старой, покосившейся решеткой, ограждавшей сад и приземистый домик, увитый диким виноградом и хмелем, маленький

домик, испуганно притаившийся в зелени…

«Ну, что ж ты стоишь? Открывай!» — казалось, говорила собака, переминаясь с ноги на ногу у калитки.

Сержант протянул было руку к щеколде, но тут же опустил ее. Он наклонился к собаке, показал пальцем на полосу света, пробивающегося сквозь закрытые ставни, и тихо спросил:

— Кто там?.. Жаннина?..

Вораска взвизгнула и залаяла.

— Тсс! — цыкнул сержант и стиснул пальцами влажную, прохладную морду собаки…

Он снова нерешительно протянул руку к щеколде, собака ринулась грудью на калитку, но сержант схватил ее за ошейник и оттащил на другую сторону улицы. Оттуда он еще раз поглядел на незнакомый домик и на полоску розоватого света… Потом сел на тротуар, рядом с собакой. В нем еще не созрели те мысли и образы, которые возникают, когда думаешь о возможной измене, но чувствовал он себя странно одиноким и беспомощным.

— Ты меня любишь? — пробормотал он собаке на ухо.

Она лизнула его в щеку.

— Пошли, пошли!

И они двинулись. На этот раз впереди шел сержант. Оказавшись снова в маленькой гостиной, Вораска увидела, что сержант запихивает свое белье и домашние туфли обратно в ранец, который она так хорошо знала. Застыв от охватившего ее отчаяния, собака неотрывно следила за всеми движениями сержанта, и крупные слезы, отливая золотом, дрожали в ее желтых глазах. Он потрепал ее по шее, чтобы успокоить:

— Ты пойдешь со мной. Мы больше не расстанемся. Я не хочу, чтобы в следующий раз ты рассказала мне *остальное.* Быть может, я и ошибаюсь… Быть может, я тебя неверно понял… Но тебе нельзя здесь дольше оставаться. Твоя душа должна хранить только мои тайны…

Собака дрожала, все еще боясь, что ее не возьмут, а сержант держал ее голову в своих ладонях и говорил ей тихо-тихо;

— Твоя душа… Твоя собачья душа… Твоя прекрасная душа…

ШАРЛЬ-ЛУИ ФИЛИПП
(1874–1909)

«Малая» родина Шарля-Луи Филиппа — провинция Бурбоннэ — находится в самом сердце Франции. Отец писателя, потомственный башмачник, послал сына учиться в Монлюсон, затем в лицей города Мулена.

В юности Ш.-Л. Филипп боготворил Леконта де Лиля, подражал Бодлеру и Малларме. Поэт Рене Гиль ободрил юношу, опубликовав его «Осеннюю песню» в символистском журнале «Ар Литтерер». В 1895 году Ш.-Л. Филипп приезжает в Париж, где его изысканное версификаторство быстро угасло в силках нужды, одиночества, конторской скуки: с октября 1896 года по июль 1902 года он тянет лямку в мэрии IV округа. В 1896–1899 годах на страницах радикального журнала «Анкло» Филипп вел полемику с декадентами, защищал принципы демократического искусства.

Ш.-Л. Филипп-рассказчик утверждал свои пути и свою тему, повествуя о простой душе, оскорбленной пошлостью самовлюбленных и равнодушных. Его повесть «Мать и дитя» (1900) — пример

исповедальной прозы. С годами автобиографическая основа творчества Филиппа постепенно объективизируется. В первом же романе о жизни парижского «дна» («Бюбю с Монпарнаса», 1901) художник стремится к воссозданию будничных сцен, выражающих глубинную суть жизни. Индивидуализму и паразитическому существованию сутенера автор противопоставил человечность униженных и оскорбленных. Ницшеанский культ «сильной» личности, смело оспоренный в этом романе, вскоре, однако, сказался в письмах и публицистике самого Филиппа, прельщенного идеей превосходства активного индивидуума над пассивным страдальцем. В цикле статей «Происшествия» (1901–1902) и в «Хроникальных заметках» (1903) ощутимо его увлечение анархизмом, отчаянными «героями» индивидуального террора.

Преодолевая искус анархического своеволия, Ш.-Л. Филипп вновь обращается к участи бедняков (роман «Папаша Пердри», 1903), к характеру интеллигента, осознающего свою причастность к судьбам простых соотечественников (роман «Мари Донадье», 1904). В интервью 1904 года об эволюции современной литературы Ш.-Л. Филипп определил свое кредо: «Я обретаю себя и душу

свою в народе… Вы делите людей по их национальности, мне же очевидно, что они разделены на классы. Вот почему я ощущаю отъединение от класса буржуазии и свою нерасторжимость с трудящимися всех национальностей». Итоговый расчет писателя с ницшеанством состоялся в его ироническом романе «Крокиньоль» (1907), поведавшем о вредоносной и губительной пустоте аморализма. В 1908 году новеллы Шарля-Луи Филиппа печатались в газете французских социалистов «Юманите». Незавершенный роман о голоде и нищете «Шарль Бланшар» — классическое воплощение реализма Шарля-Луи Филиппа, писателя, в котором А. В. Луначарский видел «высокодаровитого» предтечу пролетарской литературы во Франции.

Chartes-Louis Philippe: «Dans la petite ville» («В маленьком городе»), 1910; «Contes du matin» («Утренние рассказы»), 1916.

Новеллы «Возвращение» («Le retour») и «Жизнь» («Une vie») входят в сборник «В маленьком городе», «Ромео и Джульетта» («Romeo et Juliette») и «Встреча» («La rencontre») — в сборник «Утренние рассказы».

В. Балашов

Возвращение

Перевод О. Моисеенко

Он подождал, пока не стемнело. Было, вероятно, без четверти семь, когда он решил постучаться. Голос, который он не сразу узнал, громко ответил:

— Войдите!

Ему не пришлось искать ощупью щеколду — она была на прежнем месте: он нажал на нее большим пальцем, отворил дверь и переступил порог.

Жена не удивилась. С тех пор как четыре года назад он ушел из дому, она при каждом стуке в дверь невольно думала: «Уж не он ли?»

Суповая миска стояла у нее на коленях, и, прижав ковригу хлеба к груди, женщина отрезала от

нее ломтики для супа привычным движением, которое он так хорошо знал.

Она не сказала ни слова, поставила миску и положила хлеб на соседний стул, затем, опустив голову, схватила фартук и уткнулась в него лицом. Не надо было видеть ее глаз, чтобы понять — она плачет.

Он сел, прислонился к спинке стула и, не зная, что сказать, стал смотреть в другую сторону. Вид у него был смущенный.

Дети, все трое, сидели у лампы, склонившись над столом. Двое маленьких, Люсьен и Маргарита, играли в лото. Они увидели, что вошел какой-то мужчина, похожий на других мужчин, которые приходят и говорят о вещах, совсем не интересных для детей. Они продолжали играть. Но Антуанетта, старшая — ей, верно, пошел тринадцатый год, — которая готовила письменный урок, положив перед собой раскрытую тетрадь, почти сразу узнала его, хотя он и отпустил бороду.

— Ой, папа! — вскрикнула она.

Девочка очень выросла, но была все такой же бедовой; прежде он любил подтрунивать над ней, но и она за словом в карман не лезла. Ей уже не сиделось на месте. Она вскочила со стула и,

подойдя к отцу, положила ему руку на плечо, так как он сидел к ней спиной. Он не стал больше сдерживать себя и взглянул на дочь. Робкой она не была. Она посмотрела на него с чувством превосходства и сказала:

— Давно ты не называл меня «плодом любви»!

Она до сих пор не могла терпеть этих слов. Когда они жили вместе, отец целыми днями торчал на постоялом дворе. Он был кузнецом. И как только надо было подковать лошадь, жена волей-неволей посылала за ним Антуанетту. Девочка пробиралась среди посетителей, а он, заметив ее, говорил собутыльникам: «Это моя дочь, господа, моя старшая дочь, плод моей любви!» И всякий раз она была в обиде на отца.

Он провел рукой по ее волосам, но поцеловать еще не осмелился.

В ту самую минуту дверь отворилась. Батист Ронде — он был плотником — вошел не постучавшись и с таким уверенным видом, что Ларменжа все понял без слов. Он встал с места, как это делают при появлении хозяина дома, и сказал:

— Вот видишь, это я.

Батист ответил:

— Ну что ж, садись, — и прибавил: — Я не сомневался, как, впрочем, и твоя жена, что ты

вернешься.

Затем — ведь они были мужчинами, а мужчины знают жизнь — ни тот, ни другой не стали отмалчиваться. Ларменжа заметил:

— Ну и промашку я дал!

Со своей стороны, Батист Ронде все выложил начистоту:

— Ничего не поделаешь, старина, я жену потерял.

— Что? Адель умерла? Какое несчастье!

— Да, и можешь мне поверить — быстро ее скрутило. Воспаление легких… в три дня не стало. Я отвык жить бобылем. Твоя жена — хорошая женщина.

Ларменжа ответил:

— У меня, поверишь ли, накопилась тогда куча долгов, а заработка не было. Я подумал: кому нужен такой пьянчуга, как я? И уехал вроде бы для того, чтобы подыскать работу. Понятно, я мог бы написать…

— Да, а она только через три месяца поняла, что ты ее бросил. Впрочем, кто из нас не ошибался?

Они помолчали. Оба хорошо знали друг друга. Вместе были призваны, вместе служили в Клермон-Ферране, в 36-м артиллерийском. Вспомнив об этом, Ларменжа сказал:

— Могли ли мы думать тогда, что у нас тобой так получится?

Вот каким оказалось возвращение Ларменжа. И вот какие слова он произнес.

Слезы не могут литься бесконечно. Женщина отняла фартук от лица, затем взяла суповую миску, ковригу хлеба и вышла в соседнюю комнату, служившую кухней, — дверь туда была отворена. Не понимая всего того, что говорили взрослые, Антуанетта вскоре последовала за матерью.

Когда мужчины остались с глазу на глаз, Ларменжа сказал:

— Да, лучше бы мне не возвращаться.

Батист Ронде возразил:

— Как же так? Ведь надо было тебе узнать, что сталось с твоей женой и ребятишками.

Они были очень внимательны к нему. Видя, что он ерзает на стуле, чувствует себя неловко и словно бы собрался уходить, как человек, которому здесь нечего больше делать, Батист сказал:

— Оставайся, поужинаем вместе, да и суп готов.

Он согласился: другого выхода не было. На постоялый двор он не мог пойти, поскольку все в округе его знали. Александрина, жена, уже успевшая немного оправиться, поддержала Батиста.

Она выглянула из соседней комнаты лишь для того, чтобы извиниться — к ужину у них ничего нет, кроме супа и сыра, а этого маловато, — возражать же против приглашения ей и в голову не пришло. Батист был славный малый. Он заявил, что, коли так, надо сходить за закуской и за бутылкой вина. Раз уж на то пошло, Ларменжа не пожелал остаться в долгу и вытащил из кармана монету в один франк: он тоже хочет поставить бутылку вина, а на сдачу можно купить сластей для детворы. Затем он добавил из вежливости:

— Ну вот я и заставил вас потратиться.

Узнав, что за ужином будет гость, малыши мигом убрали лото. Они были довольны и сами взялись накрыть на стол. Александрина вынула скатерть и расстелила ее. Ларменжа было запротестовал, но она сказала:

— Чего там, есть у меня скатерти, для кого ж и беречь их, как не для гостей.

Немного погодя Александрина принесла из лавки ветчины, студня, печенья, две бутылки вина, и пиршество началось. Ларменжа очень проголодался. Он сказал об этом напрямик, что и послужило толчком для разговора.

Хозяева стали расспрашивать, как он устроился, где живет, где столуется. А. ведь правда, он

даже не сказал им, что приехал из Парижа. Живет он в гостинице, обедает в ресторане. Самое трудное — это починка одежды, потому что никто не хочет за нее браться. Работает он в метрополитене, так это там называется. И он объяснил, что такое метрополитен. Батист сказал:

— Ишь ты, чем только не занимаются в Париже.

Они прекрасно поужинали. Теперь уже не Ланжевен-отец торгует колбасами, а его сын, но у него товар тоже очень хороший. Обе бутылки распили незаметно. Если бы Александрина не сказала, что не хочет больше пить, им не хватило бы вина к сыру. Позабыли лишь об одном: купить сигар. Тут Ларменжа снова вытащил кошелек, извлек оттуда десять су и сказал Антуанетте:

— Вот тебе, дочка, принеси-ка нам две сигары.

Девочка была очень мила. Она не только согласилась сходить в лавку, но и стала просить отца пойти вместе с ней; она готова была ходить с ним по всему городу. Матери пришлось одернуть ее:

— Да оставь ты отца в покое и, главное, не говори в лавке, что сигары для него. Людям ни к чему знать, что он здесь.

Печальная минута настала позже, когда пришло время укладывать детей. С двумя младшими

это было нетрудно — глаза у них слипались еще за столом. Ларменжа дал каждому по два су. Но они так и не захотели сказать: «Спасибо, папа». Они сказали:

— Спасибо, мсье.

Когда очередь дошла до Антуанетты, она крепко прижалась к отцу. До сих пор она молчала, словно для того чтобы сберечь силы, а тут крикнула что есть мочи:

— Не хочу, чтобы он уходил! Не хочу! Не хочу!

Она повисла у отца на шее. Мать пыталась образумить ее:

— Отстань от него, ему же больно.

Пришлось силой разжать ей руки, оторвать, оттащить ее от Ларменжа, пообещав, что он не уйдет. Отец плакал, мать и Батист тоже плакали. Когда Антуанетту увели, Батист сказал:

— Что за девочка! Лучше ее не найти в целом свете! Я всегда жалел, что она не моя дочь.

Когда детей уложили, взрослые начали зевать, и не мудрено: было уже поздно. Сигары успели докурить, вино кончилось, и делать было нечего. Ларменжа понял, как надо поступить. Он сказал:

— Ну, мне все-таки пора.

Никто не стал его удерживать.

Хозяева спросили только, каким путем он при-

ехал сюда; оказывается, приехал он поездом. Ларменжа рассказал, что захватил с собой даже сундук; ведь поначалу он собирался здесь остаться. Жена сказала ему:

— Не надо было уезжать… Что ж ты хочешь? Я устроила свою жизнь. Не могу же я то сходиться, то расходиться.

А вообще все сложилось удачно: парижский поезд отходил в одиннадцать. Станция была в шести километрах но опаздывать не следовало — поезд ждать не станет.

Перед уходом, в одну из тех минут, когда человек подытоживает все, о чем он до сих пор думал, Батист сказал Ларменжа:

— Вот так-то мы и живем. Я перевез сюда свою мебель. Одной кроватью стало больше, чем в твое время.

Батист показал ему все их помещение, где домохозяин сделал кое-какой ремонт. Провел его в детскую. Стены там были заново оклеены, печку тоже исправили, так как она дымила. Дети спали крепким сном. Ларменжа лишь взглянул на ребят, но поцеловать их не решился, чтобы не разбудить. Он сказал:

— Ив самом деле, вы славно устроились.

Перед уходом он обнял Александрину и, видя,

что Батист протянул ему руку, сказал:

— Давай-ка и мы с тобой обнимемся, старина.

Жизнь

Перевод Н. Галь

Когда папаше Боннэ было сорок, его еще порой спрашивали:

— Отчего вы не женились, Боннэ?

Он отвечал:

— Так ведь дело известное, от добра добра не ищут.

Вот почему он всю жизнь отказывал себе в удовольствии обзавестись собственной женой.

И насчет детей он тоже поразмыслил. Дети ни к чему. Вот знавал он, к примеру, Ломе, сапожника, — вырастил Ломе дочку, выдал ее замуж. А на старости лет, когда его скрутил ревматизм и он больше не мог работать, он все-таки не захотел есть зятев хлеб. И утопился.

Или взять Матьо, каменщика, — у него был сын, а все ж он повесился. Сын плотничал в Париже и насилу мог прокормиться сам.

Дети стоят недешево, их ведь надо вырастить. А станут взрослые — в свой черед заведут детей и уже не могут возместить родителям того, что на

них потрачено.

Боннэ решил уж лучше посвятить себя работе, ведь только этой дорогой и можно шагать уверенно. Когда работаешь, терять нечего; даже добываешь себе пропитание. И еще того больше! Если кто умеет из заработанного кое-что отложить, ему не страшны ни болезни, ни старость, он потом до смертного часа может смотреть на жизнь, как крестьянин — на воров, от которых его хозяйство охраняют верные псы.

Боннэ жил, как всякий батрак: такая жизнь завладевает человеком безраздельно, берет за шиворот и ведет, куда хочет, и ему уже ничего, кроме работы, не видать. Боннэ нанимался жать, косить; молотилки в ту пору были редкостью, не то что сейчас, и он молотил цепом; когда же они появились повсюду, он освоился с ними и стал, как говорят крестьяне, молотить машиной. Он работал с артелями поденщиков на проселочных дорогах, строил с каменщиками амбары, был и кровельщиком и плотником, колол дрова. Он бы и речной песок добывал, будь в этих краях река.

Если он средь бела дня шагал по дороге, это значило: он идет куда-нибудь работать. Только тем, кто знал наперечет всех жителей в округе, известно было его имя. Остальные спрашивали:

— Это кто ж такой?

Им отвечали:

— Да не знаю. Какой-то батрак, видно, идет на работу.

Он оставался безымянным. Неизвестно было, зовут ли его Дюпье, Окутюрье или Бернар. Он был один из тысяч людей, неотличимых друг от друга, ибо все они заняты одним и тем же: работают в полях и безраздельно сливаются со своей работой.

Как и труд, не пугали его и лишения. На своем веку он съел немало сыра. Вдвойне хороша была испеченная в золе картошка, она быстро наполняла желудок и утоляла голод, и притом картофель ведь пища самая что ни на есть дешевая. Насчет хлеба у Боннэ тоже имелись свои соображения. Хлеб хорош, когда он черствый, потому что свежий хлеб ешь с удовольствием, ну и забудешься, хвать — целого фунта как не бывало. Вино — штука превосходная, но жажду можно утолить водой.

Под конец такая жизнь принесла свои плоды. В пятьдесят пять лет Боннэ был не чета многим другим, которые сколько заработают, столько и потратят и в пятьдесят пять остаются при том же, что у них было в двадцать пять. Такие если

заболеют, у них одна надежда на благотворительность.

Боннэ, конечно, нельзя было назвать богачом, но, если б ему пришла охота, он мог бы всю зиму напролет греться в своем углу у огонька и не браться ни за топор, ни за лопату. Да и летом тоже у него больше не было нужды работать. Если б вздумалось, он мог бы растянуться в тени возле работающих людей и глядеть на них до самого вечера, пальцем не пошевельнув.

И, однако, он работал. Тогда как раз спускали воду из пруда Сен-Жерве, чистили дно, а потом снова заливали пруд. Работа была не из легких и растянулась на полгода, но Боннэ тоже пошел в эту артель — просто для развлечения, не для чего другого.

И наконец Боннэ стукнуло шестьдесят. Славное это было время. Сбылась мечта всей его жизни. Он скопил довольно денег, чтобы протянуть до ста лет. Как хорошо он сделал, что не женился! Ни жены, ни детей — ничто не помешает счастливой старости.

И сразу же все так и получилось, как он ожидал. Выходит, весь свой век он рассуждал правильно. Стало ломить поясницу, и ноги тоже, и немного плечо. И не столько из-за болей (прежде в иные

дни от усталости ломило и похуже), сколько потому, что на это были деньги. Боннэ заторопился к доктору.

Было это при докторе Лебуа. А он был не то что нынешние — эти как получат свои три франка, так сразу — до свидания, словечка больше не скажут. Доктор Лебуа дал старику Боннэ кое-какие советы. Он сказал так:

— Вот что, папаша Боннэ, вы уже не молоденький. Немало потрудились на своем веку, что и говорить. Знаете, как бы я поступил на вашем месте? Я бы отдохнул! Так-то. Хватит вам сидеть на супе да на картошке. Пейте вино, ешьте яйца и мясо. И варите-ка себе каждое утро добрую чашку шоколаду.

«Только и всего?» — подумал Боннэ. Две недели кряду он с жаром исполнял предписания врача. Вот и пришла пора.

— Рано или поздно надо ж о себе позаботиться и отдохнуть, — говорил себе папаша Боннэ. — Так уж лучше приняться за это пораньше.

Однако три недели спустя, когда он поутру случайно повстречался на дороге с доктором Лебуа и тот стал его спрашивать о самочувствии, Боннэ на все вопросы отвечал только:

— Хо-хо!

А потом стал объяснять: яйца — это на один зуб, ими не наешься; мясо больно хлопотно готовить, и потом, скажу я вам, сударь, мясо — это не для рабочего человека. И какая надобность пить вино, если ты ушел на покой? По правде сказать, просто непонятно, как это богачи управляются, — видно, у них желудки луженые.

— Взять, к примеру, ваш шоколад — да он мне в глотку не лезет. Я уж и соли в него сыпал, и перцу, и лук клал, а все равно вкусу никакого!

Впрочем, когда Лебуа растолковал ему, как нужно готовить шоколад, папаша Боннэ смеялся еще веселей, чем сам доктор. Однако это заставило его решиться. Он сказал:

— Вот видите, сударь, ни к чему вам было говорить, что мне надобно для счастья. Когда весь век работал, так не знаешь, с какого боку за этот самый отдых приниматься. Я слишком стар, сударь, слишком стар, в мои годы переучиваться поздно.

В то время прокладывали дорогу от Сен-Жерве к Четырем мельницам. Не могли же сбережения папаши Боннэ помешать ему работать! И потом, а как же другие, у кого нет ни гроша? Из-за ломоты во всем теле ему было очень нелегко орудовать киркой и лопатой, а все-таки со своим делом он справлялся. Впрочем, умер он еще до того, как

дорогу достроили. Ему посчастливилось — он не дожил до того часа, когда больше не мог бы работать.

Ромео и Джульетта

Перевод О. Моисеенко

Пасье, строго говоря, не был предпринимателем. Под началом у него работали всего двое каменщиков, которые и помогали ему строить дома. Крупных заказов он не брал и был, в сущности, старшим рабочим. Что до Бюиссона, то он торговал лесом. Их дома не соприкасались, так как были разделены двумя большими строениями — жилым домом и конюшней г-на Оливье, но все же находились по соседству.

А случилось вот что: Пасье понадобились доски, и он купил у Бюиссона кубический метр досок, предупредив, что товар ему требуется сухой. Однако доски, проданные Бюиссоном, оказались сырыми, и пустить их в дело было нельзя. Бюиссон вообще слыл человеком не слишком добросовестным, а на этот раз поступил просто непростительно: с соседями таких шуток не шутят. Пасье ни в чем не упрекнул торговца лесом. Он ограничился тем, что приказал жене и дочери,

которые зимой коротали вечера у Бюиссонов, а летом любили сидеть в холодке, на скамейке, у двери их дома:

— Чтоб ноги вашей у них больше не было!

Заметив, что Жанна Пасье с матерью перестали заходить к ним, супруги Бюиссон не слишком опечалились.

— Ну что ж, обойдемся и без них, — сказали они.

Жан, их сын, подумал было то же самое. Однако он очень любил юную Жанну. Ей было шестнадцать лет, ему — семнадцать. Он гордился тем, что водит знакомство со взрослой девушкой, чем не могли похвастаться его приятели. Гордился он и тем, что ее зовут Жанной, а его Жаном. Кроме того, сидя летними вечерами бок о бок на скамейке, они любили держаться за руки, когда их никто не видел. Как-то у себя в комнате Жанна встала перед зеркалом рядом с Жаном и обратила его внимание на то, что они с ним почти одного роста. Обе матери были тут же. Мать Жана заметила:

— Сдается мне, Жанна, что ты не прочь выйти за моего парня.

Мать Жанны засмеялась.

Теперь они в ссоре, ничего не поделаешь! Жан

Бюиссон был тихоней. Никогда не ходил в кафе. Не любил много разговаривать. Он работал у нотариуса и получал шестьдесят франков в месяц. Жанна Пасье была ничем не примечательной девочкой. Она работала в швейной мастерской. И было у нее только одно достоинство: она очень хорошо пела.

Бедняга Жан Бюиссон что-то почувствовал лишь в тот день, когда повстречался с Жанной Пасье на улице. Поравнявшись с ней, он отвернулся, не поклонился, а затем было уже поздно. Она поступила точно так же: не девушке же, в самом деле, здороваться первой. Жану тут же захотелось вернуть упущенное, ведь они не желали друг другу зла. И он подумал: «Жанна, бедняжечка, я даже ей не поклонился!»

Он с нетерпением дождался следующего дня. И даже помог случаю. Он знал, в котором часу Жанна уходит из мастерской, и постарался оказаться на ее пути. На этот раз он смело сказал ей: «Здравствуй, Жанна!» Она ответила: «Здравствуй, Жан!» И так как на улице никого не было, они обернулись, чтобы обменяться улыбкой. Теперь они каждый день поджидали друг друга, чтобы поздороваться. И здоровались даже при людях.

Однажды с Жаном произошел занятный слу-

чай. Был воскресный день. Он гулял один по полям. Он шел по узенькой тропинке, по которой обычно никто не ходит, и вдруг увидел идущую ему навстречу девушку в голубой блузке того же цвета, что и блузка Жанны. Впрочем, он сразу заметил, что это не Жанна, но был застигнут врасплох, посмотрел девушке прямо в лицо и поклонился ей в честь той, другой. Он готов был полюбить ее только потому, что на ней была такая же блузка, как у Жанны.

Этот случай не был последним. Как-то весенним вечером у Жана вышла встреча гораздо приятнее первой. По своему обыкновению, он после ужина отправился погулять. Уже несколько минут он слышал за собой чьи-то шаги. Он обернулся просто так, из любопытства. И хорошо сделал, что обернулся. Шедшая позади него девушка была Жанной. Она очутилась здесь так просто и естественно, словно иначе и быть не могло. Узнав Жана, он первая заговорила с ним. Она сказала:

— Да, это я. Отец послал меня с поручением. Велел сказать Венюа, своему рабочему, чтобы он не приходил завтра в указанное место: отец не может с ним встретиться.

Жан тотчас же ответил. Он сказал:

— Я видел тебя вчера вечером. Ты ходила к ба-

калейщику за сахаром. Мне хотелось подождать тебя, но я не посмел.

Она сказала:

— А я видела тебя позавчера. Твою тень можно было разглядеть сквозь занавеску конторы. Мне хотелось постучать в окно, но я тоже не посмела.

В общем, Жанна Пасье не торопилась; болтая, она даже прошла мимо дома Венюа. Ничего, если ее долгое отсутствие удивит мать, она скажет, что не застала Венюа дома и ей пришлось ждать. Давно они с Жаном не держались за руки. Они вознаградили себя за потерянное время, и Жан чувствовал, что указательный палец на левой руке Жанны исколот иглой, как это бывает у портних. Зато вся рука казалась от этого более нежной.

Они еще некоторое время шли по дороге, но Жанна все же вспомнила о поручении и захотела повернуть назад. Жан ждал ее поодаль, пока она ходила к Венюа. Вскоре она вернулась и сказала:

— Они уже легли спать. Дверь была заперта, но я крикнула с улицы все, что мне велено было передать.

Тут они направились к дому, и Жанна возвратилась бы к себе, если бы при входе в город им не надо было расставаться из боязни встретить

прохожих. Жан сказал:

— Погоди минуточку!

Была еще одна дорога влево, через сады, прозванная к тому же дорогой влюбленных. Жан и Жанна свернули на нее. Дорога шла по косогору. Оттуда были видны все окрестности: поля, река, скалы по ее берегам, Рошфорский лес, весь небосвод и луна, поднимавшаяся в одном его уголке. Жан смотрел на эту картину и убеждался, что любит Жанну больше, чем небо, чем луну, чем поля, речку, скалы и Рошфорский лес. В конце концов она сказала:

— Пора домой, не то мама будет беспокоиться.

Она непременно вернулась бы на этот раз, если бы не запел соловей. Подойдя к небольшой рощице, они услышали его трель. Еще не начав своей песни, соловей становится соловьем, как только он раскроет клюв и даст первую трель. Они замерли на месте. Жан выпустил руку Жанны и взглянул на девушку, как бы прося ее не дышать. Лишь после того, как соловей все сказал, Жан обратился к Жанне:

— Говорят, что в них поет любовь.

Жанна с минуту молчала, видно, спрашивала свое сердце, и затем ответила:

— Наверно, так оно и есть.

Они подумали о значении этих слов лишь после того, как те были произнесены. И только немного погодя Жанна сказала:

— Очень поздно. Теперь я уже не посмею вернуться домой.

Не будучи чересчур суровой, мать Жанны все же держала ее в строгости. Так, например, она ни разу не пустила дочь на танцы. Жанна позабыла обо всем и только твердила про себя, что мать непременно ее побьет. Который может быть час? На церковной колокольне пробило одиннадцать: соловей поет дольше, чем это кажется.

Они попытались, разумеется, вернуться в город и посмотреть, нельзя ли пробраться домой, но, подойдя к дороге, которая вела к дому Венюа, услышали шум шагов и голоса. В голову им пришла одна и та же мысль. Вероятно, мать Жанны, обеспокоенная отсутствием дочери, отправилась к Венюа, чтобы узнать, не задержалась ли девочка у них. Должно быть, она очень рассердилась. Жанна сказала:

— Я подожду тебя здесь. Ступай потихоньку и взгляни, кто там.

Жан спрятался за изгородью и, несмотря на темноту, узнал мать Жанны.

Что тут оставалось делать? Жан сказал:

— Был бы я на год старше, я заявил бы, что хочу жениться на тебе. Но мне только семнадцать.

За всю ночь они так и не придумали, что делать. Да и кроме того, им было так хорошо вдвоем! Под конец они совсем перестали стесняться. Они целовались.

Целовали друг друга в щеки, в глаза, в лоб, в голову. Однако не посмели целоваться в губы, так как это очень дурно. И даже поплакали немного.

Было, верно, около часа ночи, когда Жанна спросила:

— Хочешь, мы никогда больше не расстанемся?

И в самом деле, они не расстались. Часа в два они сели на край канавы, чтобы удобнее было поразмыслить. В три часа они еще сидели на том же месте. Только в четыре часа Жанна сказала:

— Мы с тобой очень провинились.

Немного позже забрезжил рассвет, и первые птицы, среди которых был, несомненно, и жаворонок, разбудили утро. Послышался стук колес на дорогах. В ту минуту, когда Жан и Жанна меньше всего этого ожидали, они увидели, что по направлению к ним идет крестьянин с заступом на плече. Жан узнал его: это был папаша Бюрло. Они пустились наутек. Они и так слишком

долго медлили. Пришлось бежать. Под откосом текла река. Никогда в жизни они не посмеют вернуться домой. Да и кроме того, они утомились и не вполне понимали, что делают, — ведь они провели всю ночь без сна.

Было, верно, часов пять, когда они добрались до луга над рекой. Скат был пологий. Они мягко опустились на траву. Жан протянул руку Жанне, чтобы она не ушиблась.

Встреча

Перевод Я. Лесюка

Он обогнал ее и наивно решил, что стоит ему остановиться у какой-нибудь витрины, она тоже станет рядом. Однако она даже бровью не повела и продолжала свой путь.

Тогда он надумал сам подойти к ней. Но она осталась такой же недоброй, какой была с ним все последнее время. Притворилась удивленной и вымолвила:

— Надо же! А мне говорили, будто ты умер!

Это сильно задело его. Стало быть, если б он и вправду умер, она продолжала бы жить, как ни в чем не бывало…

Она была чертовски элегантна. Он бы не мог

сказать, из какого меха ее манто — из выдры, кролика или из каракуля: он ведь никогда толком не разбирался в ее туалетах. И он почти пожалел, что подошел к ней: таким ничтожным он вдруг почувствовал себя рядом с этой женщиной. Все же он попытался пошутить:

— Ого! Видно, дела твои идут неплохо!

— Должна признаться, ты хорошо придумал, потребовав развода, — ответила она. — Мне это пошло на пользу.

С минуту он шел рядом с самым дурацким видом. Плелся за ней против ее желания, точно нахал, приставший на улице к незнакомой женщине. Наконец, он спросил:

— Что же ты все-таки делаешь?

Она бросила через плечо:

— Как видишь, иду.

Так они дошли до площади Бастилии. Здесь ему надо было сворачивать вправо, чтобы попасть на вокзал, к поезду. И он невольно сделал шаг в ту сторону. Она указала рукой налево и проговорила:

— А мне — сюда.

Перед тем как уйти, она из вежливости остановилась. Словно хотела подчеркнуть, что хорошо воспитана. А он не знал, как проститься. Еще

вздумает, пожалуй, рассказывать, что он к ней приставал и она его оттолкнула. Они стояли возле кафе, и, чтобы лишить ее возможности похвастаться тем, будто она его прогнала, он предложил:

— Если не очень спешишь, можно зайти сюда.

Она рассмеялась, немного подумала и воскликнула:

— С удовольствием, это будет забавно!

Они вошли. Уселись за столик, друг против друга. И заказали хинную водку. Ее вскоре принесли.

И тут произошло нечто странное. Особенно неожиданно это было для женщины. С его языка вдруг слетели те же слова, с какими он когда-то постоянно обращался к ней. Каждый вечер, возвращаясь в шесть часов со службы, он обычно спрашивал: «Ну как?» Это означало: «Ну как, что произошло в мое отсутствие?» Они не виделись целых восемь лет. И вот, едва открыв рот, он произнес именно эти слова:

— Ну как?

Никогда он не обращался так к другой женщине.

Услышав привычные слова, она невольно улыбнулась и слегка кивнула.

Да и с ней самой произошло нечто похожее. Прежде, всякий раз, когда он выходил из дому, она имела обыкновение придирчиво осматривать его с ног до головы, проверяя, все ли на нем в порядке. Бог знает как бы он выглядел, если б она постоянно не следила за тем, как он одет. И теперь, не отдавая себе в этом отчета, она быстро оглядела его и сказала:

— Вижу, ты так и не научился завязывать галстук. Ну-ка, наклонись немного, я поправлю…

Он рассмеялся. И то правда! Галстук на нем всегда повязан как попало. Он нагнул голову, и она старательно расправила узел. Когда он затем взглянул на себя в зеркало, она, смеясь, прибавила:

— Право, как странно! Оказывается, мне до сих пор неприятно видеть, что ты небрежно одет.

Они уже не испытывали неловкости.

Он рассказал ей обо всем, что произошло с ним за эти восемь лет, как рассказывал когда-то о том, что происходило за день.

Спустя год после развода он женился вторично. Теперь у него двое детей, две девочки. Старшей шесть лет, младшей — пять. Служит он все там же. Живет в Сен-Мандэ. Когда они сегодня встретились, он шел на вокзал, к поезду Венсеннской

железной дороги. Сказав это, он, в сущности, рассказал ей о себе все. И умолк.

Любопытная, однако, вещь! Чем дольше он на нее смотрел, тем больше убеждался, что в свое время так толком ее и не разглядел. Когда они были женаты, он был убежден, что у нее голубые глаза. А когда вспоминал о ней после развода, то, неизвестно почему, ему начинало казаться, будто глаза у нее серые, даже светло-серые; чудесные глаза, право же, по ним сразу видно, что она умница. Он поделился с нею своими мыслями. Она засмеялась и пошутила:

— Вот видишь, ты никогда не понимал и не ценил меня.

Ей было интересно все, что его касалось. Чтобы получить еще более полное представление о его жизни, она спросила:

— Ну, а твоя жена, какая она?

— Что я могу тебе сказать, Алиса? — проговорил он, немного помолчав. — У человека бывает только одна настоящая жена — первая. А во второй раз женишься лишь для того, чтобы у тебя был дом, дети.

С какой грустью произнес он эти слова! Как могли бы они быть счастливы, если б она тогда захотела! И он заговорил об этом. Так прямо и

сказал:

— Ах! Зачем ты меня обманула!

Он ведь хорошо ее знал, в последнюю пору их совместной жизни он постоянно замечал, что она упорствует во зле и тщится непременно доказать, что права. А теперь — странная вещь! — она вдруг ответила мягко и доверительно:

— Ну как же ты не понимаешь? Ведь я была на целых восемь лет моложе. А в молодости все мы глупы!

Она была с ним очень мила, совсем как в первую пору их брака, когда она была так добра и так легко отзывалась на добрые чувства. Он спросил:

— А как ты жила все эти восемь лет?

— Милый, разве надо рассказывать тебе об этом? — ответила она. — Ты ведь и сам понимаешь, какую жизнь ведут разведенные женщины.

И тогда он пробормотал:

— Одно только меня утешает, Алиса: я вижу, ты ни в чем не нуждаешься.

Они сидели за столиком, друг против друга, как два добрых приятеля, которые вместе о чем-то грустят. Она извинилась перед ним:

— Не сердись, что я была так неприветлива, когда ты заговорил со мной. Это я из гордости.

Право же, было бы гораздо лучше, если бы я тебе не ответила. Сам видишь, мы совершили ошибку. И теперь будем горевать, вспоминая о прошлом.

Впрочем, долго беседовать они не могли. Часы на стене уже показывали половину восьмого. Она не хотела, чтобы у него были из-за нее неприятности. И сказала:

— Я тебя дольше не удерживаю, Поль. Твоя жена станет беспокоиться.

Он ответил:

— О да! Бедняжка беспокоилась бы еще больше, если бы знала, о чем я думаю в этот вечер.

Они обменялись рукопожатием, как два товарища, которым в жизни не повезло.

МАКС ЖАКОБ
(1876–1944)

Родился в семье антиквара из города Кемпер. В Париже, в среде художников и поэтов, юный Жакоб прославился эксцентрической манерой поведения. Он блистал парадоксами, балагурил, любил всевозможные розыгрыши. Пересмешник и весельчак, Жакоб артистично отмахивался от назойливой буржуазной вульгарности и самодовольства. Глубинную суть его натуры ценили Аполлинер и Пикассо, верные друзья Жакоба. Личность поэта — создателя «Бурлескных и мистических сочинений брата Маторе́ля» (1912) и каламбурного «Рожка с игральными костяшками» (1917), притягивала всех, кто сумел разглядеть за маской острослова и мистификатора грустное лицо подвижника, преданного искусству и всерьез озабоченного человеческими бедами. Волшебный дар Жакоба художественно преображать мир воплотился в его детских сказках. Его фантазия жизнерадостна, затейлива и прихотлива.

В 1915 году безбожник Макс Жакоб принял

католическую веру, в 1921-м — поселился близ монастыря в селении Сен-Бенуа-сюр-Луар. Он по-прежнему сочинял иронические романы. («Филибют, или Золотые часы», 1922; «Владения Бушабаль», 1923), стихи, в которых изощрялся в каламбурах, порой изъясняясь внятно и ясно, как на духу (сборник «Главная лаборатория», 1921; «Баллады», 1938), эстетические трактаты и мистические произведения.

Двадцать четвертого февраля 1944 года гестаповцы арестовали Жакоба: в «вину» ему вменялось его еврейское происхождение. В тюрьме он заболел и 5 марта скончался в концлагере Дранси.

Max Jacob; «Le geant du Soleil» («Солнечный великан»), 1904; «Le roi de Beotie» («Король Беотии»), 1921; «Romanesques» («Романические характеры»), 1956.

«Воспоминания папаши Вобуа» («Les memoires du pere Vaubois») входят в сборник «Король Беотии», «Жизнеописание великого человека» («Biographie du grand homme») — в книгу «Романические характеры».

В. Балашов

Мемуары папаши Вобуа

Перевод О. Пичугина

Оно, конечно, так… да только кто же садится за мемуары в семьдесят два года? Чутье, говорите? Чутье чутьем, но тем не менее, так сказать, образования-то мне не хватает, да! А я мог бы немало порассказать о Шарлевиле, ведь я служил комиссаром полиции не за страх, а за совесть, да и не трусливого десятка был. Спросите хоть у доктора Трассена! Жаль вот, умер он, а то бы рассказал вам, как мне прижигали руку каленым железом, а я хоть бы пикнул. Да что говорить, однажды утром растапливал я, как водится, печь в здешней библиотеке, и у меня загорелась рука, а я гляжу на нее и даже не подую. Надо вам сказать, Шарлевиль будет побольше этого городишка. Теперь-то я частное лицо, хожу себе в синей накидке и в сабо, важность не велика, но тогда, знаете ли, чтобы я куда без перчаток!.. Ни-ни! Для меня одного держали в театре ложу на пять кресел! Была у меня перевязь, фотография при себе, на случай ежели что, и еще семейная книжечка, как я ее называл, такой блокнотик, куда я записывал все, что от кого услышу. Вхожу я, положим, в какую-

нибудь лавочку и говорю: «Если вам, случаем, будет недосуг прийти к нам дать показания, не стесняйтесь, кликните меня, коли я поблизости. Такая уж у меня служба, чтобы порядок был!»

Однажды в городе стала орудовать шайка грабителей. Жандармов тогда было маловато, не то что теперь, и нам никак не удавалось сцапать их. Зовет меня прокурор и говорит: «Что же, так вы их и не поймаете, Вобуа?» — «Извиняюсь, — говорю, — да скорее я подам в отставку!..» Нет, вы слушайте, что было дальше. В те поры попрошайничал в Шарлевиле один побирушка, сухонький такой, с палочкой. А от двоих или троих моих знакомых я узнал, что он угрожает тем, кто ему не подает. Вот однажды встречаю я его и делаю ему внушение. А он мне этак гордо: кто вы, мол, такой? Ну, я ему показываю на мою фуражку с бляхой. Посмотрим, думаю, что ты теперь запоешь. «Эту штуку, — спрашиваю, — знаете?» — «Нет, — говорит, — не знаю». Вижу, крепкий орешек попался, ничем его не проймешь. «Ну, что ж, — говорю, — могу объяснить: комиссарская фуражка» (мы тогда еще фуражки носили). Посмотрел я его бумаги, а они, как на грех, в порядке. Возраст — тридцать семь лет, профессия — носильщик, место рождения — Азенкур.

Словом, придраться не к чему. Начал я тогда наводить о нем справки в других участках, — у нас всегда так, непременно что-нибудь да отыщется, а тут — осечка, в деле номер два — чисто: так, пустяки, несколько случаев браконьерства и все. Однако вечером того же дня мне удалось задержать его за бродяжничество и посадить в каталажку. Вы слушайте, тут-то и начинается самое главное. Некоторое время спустя мне доложили, что он говорил такие слова: «Какое же дурачье эти жандармы и комиссары! Сажают невинных людей, а воры у них под носом гуляют на свободе, потому что таких поймать у них кишка тонка».

Как раз незадолго до того воры так обнаглели, что забрались в мэрию, похитили приставную лестницу, а потом разбили витраж в церкви и пытались взломать ларь с церковными деньгами. «Э-э-э, — думаю, — ты, видать, дружок, знаешь немало, да только помалкиваешь, погоди же». Так вот слушайте, что было дальше. Зову я одного из моих стукачей и говорю: «Раздобудь-ка себе рубаху, какую постарее, да сабо, и мне тоже… Этого добра где угодно найти можно». Переоделись мы, значит, нахлобучили шапки и фуражки и так, знаете, изменили личность, просто не узнать. Пошел я к прокурору, а прокурор был трусоват.

Как завидел меня из своего кабинета, бросился к двери, навалился на нее изо всех сил, чтобы, значит, я не вошел, и вопит, зачем, мол, пускали к нему. «Да не бойтесь вы, господин прокурор, — кричу я ему через дверь, — это же я, Вобуа!» Тогда прокурор очень удивился и улыбнулся, — он-то знал, какой я честный служака. «Велите двум жандармам притащить меня в каталажку, — говорю я ему, — и будьте покойны, я накрою этих голубчиков!» Прокурор охотно согласился устроить это маленькое представление, и вот нас со стукачом впихивают в каталажку. А там сидит этот сморчок-побироха. Вы не знаете, что такое каталажка?.. Никогда не видели? Вообразите такое местечко, где темно, как в дровяном подвале, стоит там ведро, куда ходят по нужде, и топчан для ночлега, так-то! Попрошайка лежал на койке у стены. «Ах, как мне плохо, как мне плохо, — начал я причитать не своим голосом, понятно, — как мне плохо. Ах, мерзавцы жандармы! Ах, негодяи!» Ложусь я это рядом с ним, и мои сабо колотятся о топчан. «Ах, как мне плохо», — причитаю я, стало быть, изменив голос, и все на пол плюю.

Тут этот сморчок и говорит мне: «Еще какие мерзавцы эти жандармы! И дураки в придачу! Са-

жают людей, которые ничего такого не сделали, а те гуляют себе на свободе».

— Кто «те»? — спрашиваю я.

— Воры, кто ж еще!..

— Воры? Так вы их знаете?

— Еще бы мне их не знать!

— Да не может быть!.. Вы их знаете не больше, чем я.

А он мне в ответ:

— Это я-то не знаю? Я не знаю Кудрявого, Милорда и всю их шатию? Я не знаю дома на горе, на Черной Пустоши?!

Сами понимаете, мой стукач даром времени не терял. Он лежал на койке и притворно охал, а сам между тем составлял протокол, так сказать, в присутствии заинтересованных сторон. Тут я поднимаюсь, ни слова не говоря, и как бы невзначай натыкаюсь на дверь. Такой у нас был условный знак. Незачем мне было торчать здесь до завтрашнего дня. Жандармы отворили нам. Побирушка так и вылупил глаза, а сам молчит. Оттуда я прямиком к прокурору — теперь уже, ясное дело, в гражданском платье — и говорю ему: «Господин прокурор, готово, они у меня в руках».

Жизнеописание великого человека

Перевод И. Шрайбера

Шарль Дюран родился в тысяча… году. Он происходил из провинциальной семьи, ничем, видимо, не примечательной, хотя во французских архивах Дюраны упоминаются с XIV века. В списках жителей городка Бо провинции Пуату за 1398 год значится некий Дюран, якобы снявший у кого-то дом; в архиве прихода Сент-Сколастик, что в Ле-Мане, среди бумаг XVI века сохранилась запись о крещении другого Дюрана; в анналах наполеоновских войн упоминается сержант Шарль Дюран, который, объевшись лапшой, скончался в канун битвы при Маренго от несварения желудка (см. «Мемуары генерала М…», т. XI, стр. 213). Но речь здесь не о предках Дюрана. Исследование данной проблемы не входит в нашу задачу. Предоставим ее решение знатокам по части родословных. Нас же здесь будет интересовать жизнь и творчество великого Дюрана. Из одного трогательного в своей банальности письма его матери явствует, что знаменитая Жюли Дюран, любимая писательница молодежи 1860-х годов, состояла с Шарлем в далеком родстве.

Названия ее произведений широко известны: это «Аглая, или Тяжкий долг», «Арман, или Юный наставник». Итак, почтенная кузина — достойная предшественница Шарля, и потому следует ли удивляться, что с младых ногтей он подавал такие блестящие надежды?

К восьми годам Шарль уже почти выучился читать и в лицее никогда не отставал от своих одноклассников. При распределении наград он редкий год не удостаивался похвальной грамоты за примерное поведение и декламацию классических авторов. Так что уже с малолетства он выказывал любовь к Поэзии, которая впоследствии проявилась в отборе книг его библиотеки (см. «Библиотека Шарля Дюрана», изд. Ашетт, in = 18). Не без труда сдав на степень бакалавра, как это бывает со всеми выдающимися умами, ибо нелегко им приноравливаться к ограниченным экзаменационным требованиям (о, когда же наконец свершится реформа выпускных экзаменов в лицеях?!), Шарль стал упорно изучать право. Своей безукоризненной осанкой и манерой держаться он привлекает к себе внимание одного адвоката и становится его секретарем. Однако великие гении, увы, не умеют подчиняться дисциплине: адвокат расстается с Шарлем под тем

предлогом, что тот якобы не знает даже… орфографии! Орфография?! Было бы о чем говорить! В голове Шарля теснилось столько дум и замыслов! К истинно великому искусству его приобщил Ксавье Дюран, кузен Шарля, впоследствии получивший известность благодаря своей службе в акционерном обществе «Дюпон» (изготовление надгробий и скульптур для скверов). Именно Ксавье подал Шарлю Дюрану идею «Компиляции компиляций», сочинения, прославившего его жизнь.

Это было в 18… году. Шарль только что стал наследником ренты в три тысячи франков и получил — после десяти лет напряженного труда — степень лиценциата права. Отбыв годичную службу вольноопределяющимся, он решает жениться. Его выбор пал на собственную кузину, Эжени Дюран, которая в наш век экстравагантности и безудержного индивидуализма обладала, по крайней мере, одним редким достоинством: она ни в чем не отличалась от других. Эжени воспитала двух детей, поручив заботу о них замечательным преподавателям наших лицеев и коллежей, что было вполне разумно, и без излишних церемоний принимала друзей мужа в своем скромном особняке. Вот в этой-то атмосфе-

ре безмятежного покоя, который до самой смерти Дюрана ни разу не был нарушен, он и написал семь томов своей знаменитой «Компиляции компиляций».

«Компиляции» ставили в упрек, что она-де, мол, не более, чем компиляция. Ну да! Разумеется, компиляция! А что же из того? Разве Шарль это скрывает? Отнюдь нет! Напротив, со скромностью гения он даже гордится этим, прекрасно понимая, что покаявшийся в грехе уже наполовину прощен. И не он ли — великий автор! — написал: «Где нет формы, содержание — ничто!» А форма у Дюрана поистине великолепна. Великолепна она тем, что ее вовсе не существует, то есть, иными словами, она заставляет забыть о себе, а это и есть вершина искусства! И как же далеко то время, когда какой-то безвестный адвокатишка распекал его за орфографические ошибки! Теперь вся Франция жадно зачитывается отрывками из произведений Шарля, публикуемыми в газетах, и если в его прозу порой вкрадываются те или иные погрешности (ведь и Бальзак не безупречен), то на это существуют корректоры — пусть исправляют.

Шарлю было сорок лет, когда он завершил свою «Компиляцию компиляций», сочинение, ставшее

приятным и назидательным чтением, в котором публика черпает чеканные формулы самой высокой морали.

Возвышенное встречается столь редко!

О да, Шарль! Оно встречается крайне редко! Но только не в твоей жизни, исполненной самоотречения и скромного, но истинного служения долгу. В ней что ни день — то новая жертва. И насколько же хорошо ты это сознавал, если мог написать великолепные слова, раскрывающие глубины твоей великой души:

Есть неприметные герои!

Да, они есть, о великий человек, и оставаться бы тебе в их числе, если бы не лучи славы, озарившие твою жизнь! Да, они есть! И все это знают, но еще никто не выразил этого в присущей одному тебе мягкой и не навязчивой манере.

Добродетель отлична от порока!

О да, она отлична от него, и сказал это людям ты, Шарль, сказал в наши дни, ибо пришло время поведать эту истину миру, в котором все понятия

перемешались и где рукоплещут скорее пороку, нежели добродетели.

Любовь есть страсть, толкающая молодых людей на всяческие глупости!

Именно глупости! Какая впечатляющая свобода слога! Вот он — этот отеческий и вместе серьезный тон, приличествующий великим умам!

Но что, собственно, мы хотим этим сказать? Что Шарль Дюран — суровый моралист? Что он — строгий судия? Нет и нет! Шарль в первую очередь отец, о чем он ни на минуту не забывает, его читатели — это его друзья, стиль его полон нежности, подобно стилю Евангелия, которое неизменно приходит на ум, когда приобщаешься к этой мысли, ясной и умиротворенной и в то же время столь простой и безыскусной по форме.

Любовь — это страсть!

О, как он страдал! Как любил! Опустошительная внутренняя борьба — вот цена его умиротворенности! (См. наши труды «Шарль Дюран и женщины», т. I, «Кузины Шарля Дюрана», т. II, «Идиллия времен Третьей республики: горничная Шарля Дюрана»).

Недостаток места вынуждает нас к краткости, хотя нравственный аспект «Компиляции» следовало бы рассмотреть в полном объеме. Чтобы завершить наш по необходимости слишком беглый очерк, отметим еще, что, как и все великие умы, Шарль не устоял перед соблазном политической карьеры. Неоднократно он избирался в члены совета того самого департамента, в котором унаследовал родительское имение, а затем — силою обстоятельств — депутатом, сенатором, министром. И живи в нем дух интриги — чего всегда не хватало этому кристально честному человеку, — он, несомненно, стал бы президентом Республики.

В эпоху, когда Шарль делал свои первые шаги на политическом поприще, было принято представать перед избирателями в качестве кандидата-социалиста, чтобы таким образом заручиться поддержкой большинства, и Шарль — человек состоятельный и обладатель ренты — поступил, как все остальные. Но разве подумает кто-нибудь, что этот землевладелец назвался социалистом ради своей выгоды? Процитированные нами величественные изречения служат порукой редкого бескорыстия этого человека. О том же свидетельствуют и его многочислен-

ные замечательные пространные речи. Порой их называли слишком нейтральными и малозначительными. Но утверждать подобное — значит плохо разбираться в политической жизни. Шарль был наделен чудесным даром приспособления: в палате депутатов выдающийся мыслитель, великий писатель уступает место человеку безукоризненного такта, и этот человек умеет никого не задеть, никого не обидеть. О, как он не похож на этих драчливых бычков, помышляющих лишь об узких интересах своих партий! Величие Франции — вот единственное, что заботит Шарля. Он кроток. Кроток и в семье, и на парламентской трибуне, и в своем рабочем кабинете. Шарль миролюбив. «А что он, в сущности, сделал в палате или в сенате?» — вопрошают его недруги. «Произносил речи», — отвечают им поклонники этого яркого, неиссякаемого красноречия, этого lactea ubertas[13] этого властного всепримиряющего обаяния, коим он обладал, как никто другой. «Эти речи принадлежат не ему, они написаны…» О, я уже догадываюсь, кем именно… я слышу голоса, полные ненависти… Да, я узнаю эти злобные голоса, порочащие все великое, все

---

[13] Примечания: 13
Молочное изобилие *(лат.)*.

благородное, все, что составляет подлинную силу Франции! Бедный Шарль! Ты изведал людскую злобу! Ты изведал зависть! Изведал клевету и незаслуженные оскорбления! Но утешься в своей могиле: у тебя есть почитатели, и почитатели твои — люди высокоинтеллектуальные.

Поговаривали еще и о том, что в пору твоего пребывания на различных министерских постах ответы на запросы депутатов вместо тебя готовили чиновники министерств. Но разве кто-нибудь полагает, что бывает иначе? Вряд ли. Ибо в противном случае он расписался бы в полном незнании парламентских нравов. А уж кто-кто, но Дюран знал их досконально. Но пусть даже… пусть даже… Я беру на себя смелость и заявляю: пусть даже ни одна его речь не была написана им самим! Пусть «Компиляция компиляций» была всего лишь компиляцией! Пусть его политическая, равно как и административная роль сводилась к нулю. Неужели это может помешать тому, спрашиваю я вас, тому, чтобы Шарль Дюран остался в нашей памяти великим Шарлем, великим Дюраном, великим гражданином, великим Шарлем Дюраном?!

Шарль Дюран скончался в возрасте шестидесяти пяти лет, оплакиваемый осиротевшей семьей.

Всю Францию охватила глубокая скорбь. Дабы утешить несчастную вдову, власти назначили ей государственную пенсию. Дети и внуки покойного получили почетные должности. Его произведения были переизданы за счет казны. Статуи Дюрана установлены в его родном городе и в зале ожидания Дипломатического института в Лоншане. Портреты его украшают ряд музеев. Бывшая Поросячья площадь в Париже переименована в площадь Шарля Дюрана. Биография Шарля, написанная его бывшим секретарем, ныне сенатором и директором Главного управления, включена в школьные учебники наряду с биографиями Пьера Корнеля и Вольтера.

Составить себе представление о философской системе Дюрана довольно трудно. Иные, опираясь на афоризмы, которые мы процитировали выше, пытались представить его каким-то ученым психиатром. Мы же полагаем, что он и слова такого не знал. Дюран был простой человек, и об этом не надо забывать. Другие ограничивались сравнением его с Распайлем и Беранже, не задумываясь над тем, что Распайль был ученым, а Беранже — поэтом. Но самые глубокие интерпретаторы видят в философии Шарля Дюрана «добродушную снисходительность», что, как нам

кажется, более всего соответствует истине. Однако, как сам он часто говорил: «Не следует ничего преувеличивать». Вспомним его замечательное изречение, последнее, произнесенное им уже на смертном одре: «Я никогда никого не презирал, кроме моих неудачливых коллег!» Так что мы отнюдь не склонны усматривать в творчестве Дюрана ханжеский оптимизм, который кое-кто пытался приписать этому мыслителю, одному из величайших умов, прославивших человечество.

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР
(1880–1918)

Его дед — Михаил Аполлинарий Костровицкий, польский дворянин, штабс-капитан русской армии в отставке, после поражения польского восстания 1863 года бежал из Варшавы в Рим. Здесь и родился Вильгельм Владимир Аполлинарий Костровицкий, двадцать лет спустя принявший литературный псевдоним — Гийом Аполлинер.

В начале века определилось его призвание лирического поэта и иронического рассказчика. Поэзии Аполлинера присущи чистый тон, мужественная искренность, трагедийное восприятие жестокости жизни (цикл «Бестиарий, или Кортеж Орфея», 1911). Его книга «Алкоголик (1913) вобрала в себя и интонации народной песни, и эпический голос большого города, и ренессансное вольнодумство поэта.

И в поэзии и в прозе Аполлинер нередко экспериментировал. Ему принадлежит романическая обработка легенды о волшебнике Мерлине — «Разлагающийся чародей» (1909) и посмертно

изданный роман «Сидящая женщина», созданный по принципу ассоциативного письма. Его дар рассказчика, тончайшего психолога раскрылся в новеллистических миниатюрах, которым свойственны все оттенки раблезиански жизнерадостного и вольтеровски «простодушного» смеха.

Аполлинера искушали модернистские веяния эпохи: символизм, футуризм, кубизм, сюрреализм. Но ни одной из этих школ не удалось сковать его цепями своих догматов. Ценой неизбежных потерь, но с неизменным упорством он выбирался из очередных тупиков на свою дорогу, которую сам назвал «новым реализмом».

Накануне первой мировой войны поэт ощутил накаленность общественной атмосферы, он сознавал, что грядет время революций. В декабре 1914 года Аполлинер добровольцем вступил в армию; желание видеть Польшу свободной — один из мотивов этого решения. 17 марта 1916 года он получил на фронте ранение в голову. Первые военные стихи, в духе куртуазной лирики, адресованные возлюбленной — «прекрасной даме», окрашены воинственным презрением к врагу. Изведав все тяготы окопной жизни, Аполлинер создает лирическую хронику трагедии войны,

протестуя против бессмысленного разрушения и убийства (сборник «Каллиграммы. Стихотворения мира и войны 1913–1916», 1918). Итоговое размышление Аполлинера о судьбах старого мира в трагифарсе «Цвет времени» (1918) звучит как эпитафия эпохе самоубийственного индивидуализма.

Творчество Аполлинера оказало глубокое воздействие на европейскую литературу XX столетия.

Guillaume Apollinaire: «L'Heresiarque et Cie» («Ересиарх и К°»), 1910; «Le poete assassine» («Поэт убиенный»), 1916.

«Непогрешимость» («L'infaillibilite») входит в сборник «Ересиарх и К°», «Святая Адората» («Sainte Adorata») — в сборник «Поэт убиенный», «Тень» («La promenade de l'ombre») — в цикл «Contes retrouves» («Обретенные рассказы») из книги: G. Apollinaire. Oeuvres completes, vol. I. P., 1965.

В. Балашов

Непогрешимость

Перевод И. Шафаренко

Двадцать пятого июня 1906 года, когда кардинал Порпорелли кончал обедать, ему доложили, что прибыл французский священник аббат Делонно и просит принять его.

Было три часа дня. Безжалостное солнце, которое некогда распаляло всепобеждающую хитрость в древних римлянах, а ныне едва подогревает холодную изворотливость в римлянах наших дней, хотя и заливало жгучими лучами площадь Испании, где возвышается кардинальский дворец, все же щадило личные апартаменты монсеньера Порпорелли; благодаря опущенным жалюзи там царили приятная прохлада и ласкающий полумрак.

Аббата Делонно ввели в кардинальскую столовую. Это был священник из Морвана. Своим упрямым выражением лицо его несколько напоминало лицо индейца.

Уроженец Отена, он, видимо, происходил из какого-нибудь кельтского уголка древней Бибракты, на горе Беврэ. В Отене — городе, возникшем в галло-романскую эпоху, — и в его окрестностях

до сих пор еще встречаются галлы, в чьих жилах нет ни капли латинской крови. Аббат Делонно принадлежал к их числу.

Он приблизился к князю церкви и, по обычаю, поцеловал перстень на его руке. Отказавшись от сицилийских фруктов, отведать которых предложил ему монсеньер Порпорелли, аббат объяснил цель своего приезда.

— Я желал бы, — сказал он, — получить аудиенцию у нашего святейшего отца, папы, но непременно с глазу на глаз.

— Секретное правительственное поручение? — спросил кардинал, прищурив один глаз.

— Отнюдь, монсеньер! — ответил аббат Делонно. — Причины, побудившие меня просить об этой аудиенции, затрагивают интересы не только французской церкви, но и всего католического мира.

— Dio mio![14] — воскликнул кардинал, надкусывая сушеный плод инжира, начиненный орехами и анисом. — Это в самом деле так важно?

— Очень важно, монсеньер, — подтвердил французский священник, который вдруг заметил на своей сутане застывшие капли воска и теперь

---

[14] Примечания: 14
Боже мои! *(итал.)*

старался соскоблить их ногтем.

— Ну что там опять происходит? — досадливо протянул прелат. — У нас и так достаточно мороки с вашим законом об отделении и с бредовыми писаниями этого ландсгутского каноника из Баварии, который без конца выступает против догмата непогрешимости…

— Безумец! — перебил его аббат Делонно.

Монсеньер Порпорелли закусил губу. В молодые годы, когда он еще был простым флорентийским священником, он тоже поднимал голос против догмата непогрешимости, но потом склонился перед ним.

— Аудиенцию вы получите завтра, синьор аббат, — сказал кардинал. — Вы знакомы с церемониалом?

Он протянул руку; священник наклонился, запечатлел на ней звучный поцелуй и стал пятиться к двери, где, уже перед самым выходом, отвесил еще один глубокий поклон, а кардинал тем временем, с усталым видом посылая ему благословения правой рукой, левой шарил в корзине с фруктами и на ощупь отыскивал персик.

На следующий день аббат Делонно был введен в папские покои; опустившись на колени, он поцеловал кончик туфли его святейшества, а затем

решительным движением поднялся и по-латыни попросил выслушать его без свидетелей, как на исповеди. И — какая снисходительность! — святой отец не отверг его дерзновенную просьбу.

Оставшись с папой вдвоем, аббат Делонно начал медленно говорить. Он старался произносить латинские слова на итальянский лад, но его семинаристская речь пестрела галлицизмами, и к тому же он часто сбивался на французское «и», непривычное для слуха папы, — тогда папа прерывал аббата и заставлял его повторить фразу, смысла которой не уловил.

— Ваше святейшество, — говорил аббат Делонно, — после длительных занятий и тяжких раздумий я окончательно убедился в том, что наши догмы не имеют божественного происхождения. Я утратил веру и решаюсь утверждать, что она не может выдержать никакой честной и беспристрастной проверки разумом. Нет ни одной области науки, которая неоспоримыми фактами не опровергала бы так называемые религиозные истины. Увы, святой отец! Сколь тягостно для служителя церкви обнаружить эти заблуждения и сколь мучительно признаваться в них!

— Сын мой, — произнес папа, — я полагаю, что в этих обстоятельствах вы перестали отправлять

службу. Вряд ли найдется священник, могущий похвалиться тем, что его никогда не одолевали сомнения. Но здесь, в этом городе, колыбели католицизма, вы получите убежище, которое возвратит вам веру, и при ваших заслугах…

— Нет-нет, святой отец! Я делал все возможное, чтобы вновь обрести веру, но, будучи поколеблена однажды, она рухнула окончательно. Я силился отвратить свою душу от терзавших меня мыслей. Тщетно! Да и вы сами, святой отец, минуту назад сказали, что сомнения посещали и вас! О, я говорю: сомнения! Нет! То были просветления, озарения, уверенность! Признайте, святой отец, что папская тиара тяжко давит ваше чело своею ложною святостью! И, хотя политические мотивы не позволяют вам высказать отрицание вслух, оно продолжает настойчиво напоминать о себе в вашем мозгу. Ведь именно ужас перед необходимостью править с помощью многовековой лжи — истинное бремя папства, и это бремя заставляет дрогнуть избранников в минуту, когда отворяются двери конклава… Ответьте мне, святой отец: ведь и вам знакомо все это! Не может же римский первосвященник быть менее прозорливым, чем простой морванский аббат!

Все то время, пока священник произносил за-

ключительную часть своей тирады, папа сидел неподвижно и не открывал рта. Рядом с ним аббат Делонно казался похожим на тех галлов, которые во время разграбления Рима варварами окружали величественных сенаторов, восседавших, как статуи, в своих курульных креслах, и глумились над ними.

Наконец, медленно подняв глаза, папа спросил:

— Аббат, чего вы добиваетесь?

— Святой отец! — воскликнул аббат Делонно. — В ваших руках безграничная власть! Вам дано право по своей воле устанавливать в мире добро и зло. Ваша непогрешимость — догма неоспоримая, ибо она зиждется на реальном, земном могуществе, — делает любое ваше слово непререкаемым. По своему выбору вы можете предписать всем католикам, как закон, равно истину и заблуждение. Так будьте же добрым! Будьте человечным! Проповедуйте то, что истинно! Объявите ex cathedra[15] католицизм упраздненным. Провозгласите, что вся его обрядность покоится на предрассудках, что славная роль, которую церковь играла в течение тысяче-

[15] Примечания: 15
С амвона *(лат.)*.

летий, сыграна до конца. Возведите эти истины в догму — и наградой вам будет благодарность человечества. И тогда вы достойно покинете престол, который существует по недоразумению и который отныне уже никто не сможет занять на законных основаниях, поскольку вы объявите его свободным навечно!

Папа поднялся с места. Пренебрегая церемониалом, он вышел из зала, не удостоив ни словом, ни взглядом презрительно улыбавшегося французского священника, которого затем стражник по великолепным галереям Ватикана препроводил к выходу.

Некоторое время спустя римская курия учредила новую епархию в Фонтенбло, и епископом туда был назначен аббат Делонно.

Когда в свою первую же поездку ad limina[16] новый епископ, представ перед папским престолом, предложил объявить догмой божественную миссию Франции, узнавший об этом кардинал Порпорелли воскликнул: — Чистейший галликанизм! Какое благо, однако, для этих галлов галло-римское управление! Оно совершенно необходимо, чтобы обуздать мятежный пыл

---

[16] Примечания: 16
К подножию [апостольского престола] *(лат.).*

французов! Но сколько приходится тратить усилий, чтобы привести их в цивилизованное состояние!..

Святая Адората

Перевод И. Шафаренко

Однажды, в бытность мою в Венгрии, я посетил церквушку в местечке Сепени, и там мне показали раку, глубоко почитаемую местными жителями.

— В этой раке покоятся останки святой Адораты, — сказал мне мой гид. — Ее могилу нашли неподалеку отсюда лет шестьдесят тому назад. Очевидно, святая была одной из жертв, замученных на заре христианства, во времена римского владычества, когда население этих мест было обращено в христианскую веру диаконом Марцеллином, присутствовавшим при распятии святого Петра.

По всей вероятности, в истинную веру ее обратил сам Марцеллин, а после пыток тело мученицы было погребено римскими священниками. Предполагают, что имя «Адората» — просто латинский перевод ее языческого имени, ибо никакого иного крещения, кроме крещения кровью,

она, видимо, не приняла. Имя «Адората» не похоже на христианское, но, с другой стороны, самый факт сохранности ее тела, которого не коснулось тление за столько веков пребывания в земле, свидетельствует о том, что она принадлежала к числу избранных и что душа ее находится в сонме невинных душ, славящих господа в раю. Вот уже десять лет, как святая Адората причислена Римом к лику святых.

Я рассеянно слушал все эти объяснения. Святая Адората не слишком интересовала меня. Я направился было к выходу из церкви, как вдруг мое внимание привлек чей-то глубокий вздох, послышавшийся совсем рядом. Он исходил от невысокого, щеголевато одетого старичка, который стоял, опершись на палку с коралловым набалдашником, и, не отрываясь, смотрел на раку.

Я вышел из церкви; старичок вышел следом за мной. Я обернулся — захотелось еще раз взглянуть на его элегантную, немного старомодную фигурку. Он улыбнулся мне. Я ответил поклоном. Тогда он спросил меня по-французски, но с раскатистым венгерским «р»:

— Скажите, сударь, вы верите объяснениям, которые дал вам ризничий?

— Бог мой, — сказал я, — да я в таких вопросах совершеннейший профан!

Он ответил:

— Вы тут, сударь, человек приезжий, а мне уже давно хочется открыть кому-нибудь эту тайну. Я поделюсь ею с вами, но при одном условии: вы никогда не расскажете о ней никому из здешних жителей.

Во мне проснулось любопытство, и я обещал ему все, чего он требовал.

— Так вот, сударь, — сказал старичок, — святая Адората была моей любовницей.

Я отшатнулся, решив, что передо мной умалишенный. Он улыбнулся, заметив мое изумление, но продолжал говорить чуть дрожащим голосом:

— Я не сумасшедший, сударь, и сказал вам чистую правду. Святая Адората действительно была моей любовницей. Да что там! Пожелай она только — я бы непременно женился на ней!..

Мне было девятнадцать лет, когда я познакомился с нею. Сейчас мне за восемьдесят, но я никогда не любил ни одной женщины, кроме нее. Мой отец был богатый дворянин, владевший поместьем около Сепени, Я изучал медицину и занимался наукой с таким усердием, что довел себя до полного истощения; тогда врачи потребовали,

чтобы я дал себе отдых и отправился путешествовать — рассеяться и переменить обстановку.

Я поехал в Италию. В Пизе я встретил ту, которой сразу же и навсегда посвятил мою жизнь. Она сопровождала меня в Рим, в Неаполь. Это было упоительное путешествие: любовь украшала все города, которые мы посещали… Мы доехали до Генуи: я собирался привезти ее сюда, в Венгрию, представить моим родителям и обвенчаться с нею. Однажды утром я проснулся и увидел ее мертвой рядом с собой…

Старичок на минуту умолк. Когда он вновь заговорил, голос его дрожал еще сильнее, — я его едва слышал.

— Мне удалось скрыть смерть моей возлюбленной от служащих гостиницы, по для этого пришлось прибегнуть к таким уловкам, какие под стать настоящему убийце. И по сию пору не могу вспомнить обо всем лом без содрогания. Меня ни в чем не заподозрили — поверили, что моя подруга уехала рано утром. Не хочу рассказывать подробности о страшных часах, проведенных мною у ее тела, которое я запер в сундук. Коротко говоря, я проявил незаурядную ловкость и даже бальзамирование тела сумел устроить так, что никто этого не заметил. Правда, моим действиям

благоприятствовала суета, обычная в большой гостинице, — в толпе суетящихся людей чужие дела никого не занимают, и каждый чувствует себя относительно свободно; в моих обстоятельствах это оказалось весьма кстати. Потом еще было долгое путешествие и всяческие затруднения на границе, которую мне, благодарение небу, все-таки удалось благополучно пересечь. Это поразительная история, сударь, уверяю вас! Домой я вернулся бледным и исхудавшим до неузнаваемости.

Проезжая Вену, я купил у одного антиквара каменный саркофаг, некогда составлявший часть какой-то знаменитой коллекции. У себя дома я мог делать все, что угодно, — никому и в голову не приходило ни интересоваться моими намерениями, ни удивляться количеству или размерам багажа, который я привез с собой из Италии.

На саркофаге, в который были заключены обернутые покрывалом останки обожаемой мною женщины, я собственноручно высек надпись «Адората» и крест.

Однажды ночью, приложив невероятные усилия, я сам вытащил саркофаг на соседнее поле и закопал его там, запомнив это место, известное мне одному на целом свете. Потом каждый вечер

я в одиночестве ходил туда молиться.

Так прошел год... Однажды мне пришлось поехать в Будапешт. Я вернулся лишь два года спустя, и вообразите мое отчаяние, когда я увидел, что на месте, где хранилось бесценное для меня сокровище, высится какая-то фабрика!

Я обезумел от горя и думал о самоубийстве. Но однажды вечером наш кюре, зайдя ко мне в гости, рассказал, что, когда копали яму для фундамента фабрики, в земле обнаружили саркофаг некоей христианской мученицы эпохи римского владычества, которую звали Адората, и что эту драгоценную раку перенесли в нашу скромную деревенскую церковь. В первую минуту я чуть было не рассказал кюре всю правду, но тут же одумался, поняв, что в церкви я буду иметь возможность видеть мое сокровище, сколько захочу, — и промолчал. Любовь подсказала мне, что моя обожаемая возлюбленная была вполне достойна почестей, которые ей оказывались. Я и сейчас считаю, что она заслужила их своей необыкновенной красотой, удивительной прелестью и безграничной любовью, которая, может быть, и стала причиной ее смерти. Она была добра, кротка и благочестива, и я непременно женился бы на ней, если бы смерть нас

не разлучила. Итак, я предоставил события их естественному ходу, и любовь в моей душе постепенно переросла в благоговение.

Моя любимая была возведена в ранг преподобной. Потом ее причислили к лику блаженных, а еще через пятьдесят лет — канонизировали. Я ездил в Рим, чтобы присутствовать на торжественной церемонии; это было самое прекрасное зрелище, какое мне довелось видеть в жизни!

После канонизации моя возлюбленная вознеслась на небо. Я был счастлив, как ангел в раю, и, полный возвышенного и в то же время какого-то странного ликования, поспешил сюда, чтобы молиться перед алтарем святой Адораты…

Тут маленький щеголеватый старичок удалился со слезами на глазах, стуча по земле своей палкой с коралловым набалдашником и повторяя: «Святая Адората! Святая Адората!..»

Тень

Перевод И. Шафаренко

Это было незадолго до полудня. Впереди я увидел тень. Но, к моему удивлению, она не отбрасывалась ничьим телом, а двигалась одна, сама по себе.

Она скользила вперед, косо распластываясь по земле. Достигнув тротуара, она внезапно переламывалась надвое, а минуя стену, сразу выпрямлялась во весь рост, словно бросая кому-то вызов, — быть может, солнц у, — ведь ничто не заслоняло ей мир. Я пошел следом за тенью, — она как раз поворачивала в какую-то совсем пустынную улочку, — и мне почудилось, будто она не без колебания свернула в нее.

Но не пора ли описать эту тень, вернее, ее силуэт?

Известно, что всякая тень непрестанно меняет свои очертания — то словно худеет, непомерно вытягиваясь в длину, то, напротив, сплющивается настолько, что становится похожей на бочонок. Одинокая тень, о которой я рассказываю, в наиболее стойких своих очертаниях являла собой силуэт стройного молодого человека: вдруг мелькал кончик уса или вырисовывался изящный профиль.

В конце улочки, на которую мы свернули, показалась девушка — она шла нам навстречу, и тень, поравнявшись с ней, скользнула по ее телу, словно желая поцеловать ее. Девушка вздрогнула и быстро обернулась, но тень промелькнула мимо и уже удалялась, летя по неровной мостовой.

Девушка, — у нее было грустное и покорное лицо, как у всех, кто потерял кого-нибудь на войне, — с трудом сдержала крик, и мне показалось, что на лице ее вспыхнула радость, смешанная с сожалением… Потом лицо ее вновь стало печальным, но глаза жадно следили за скользящим движением голубоватой тени.

— Так, значит, вы знаете ее? — спросил я у девушки. — Вы знаете эту синеватую одинокую тень?

— Вы тоже ее видели! — вскричала она. — Вы видели ее, как и я! Да, да, мы оба видим это подвижное, струящееся ничто с очертаниями человеческого тела! Мне кажется, я узнала его… О нет, не кажется, я в самом деле узнала! Я видела его профиль, его усики, а вот взгляда не видела… Я его узнала. Он не изменился с тех пор, как приезжал сюда последний раз на побывку. Мы были обручены и собирались пожениться, когда его отпустят домой еще раз. Но осколок снаряда попал ему в сердце. Они убили его — и все-таки вы его видите. Тень его жива. Она более материальна, чем воспоминание о нем, и в то же время более эфемерна…

Девушка ушла; в глазах ее светилась юная, пылкая любовь. Я попрощался с ней и кинулся

вслед за тенью. Она удалялась, изгибаясь на неровностях мостовой, по которой скользил ее силуэт. Я увидел ее снова около церкви, потом на главной улице, где она мелькала среди прохожих, которые не обращали никакого внимания на скользящее мимо них, то и дело меняющее очертания синеватое пятно.

Тень бродила по улицам. Она останавливалась у витрин магазинов; видно было, что эта прогулка по родным местам доставляет ей огромное удовольствие. Временами она исчезала, как бы смешиваясь с другими тенями — тенями проходивших людей, — словно она ничем не отличалась от них.

В городском саду, куда я последовал за нею, она старалась держаться поближе к розовым кустам, которые в ту пору были в цвету. Казалось, она с наслаждением вдыхает их неповторимый аромат и словно вся содрогается от рыданий.

Я с волнением наблюдал, как горюет бедная тень. Мне хотелось как-то утешить ее, поцеловать тем братским поцелуем, какими обменивались первые христиане. Но тайна ее оставалась для меня неразгаданной, и единственное, что я мог сделать для нее, это попытаться слить мою собственную тень с ее бесплотным телом.

Я наклонился к ней и тут же отпрянул — боялся наступить на нее, причинить ей боль. Ее одиночество рождало во мне глубокую жалость. Но вдруг каким-то необъяснимым образом она дала мне понять, что она, тень, счастлива, что слезы ее — слезы радости, ибо ей даровано бессмертие: пережив исчезнувшее тело, она остается сопричастной всему, что было дорого и близко тому, умершему… И счастье ее в том, что она может посетить места, где он бывал.

Да, это было так: тихая радость охватила меня, и теперь я с улыбкой наблюдал, как резвится тень среди зеленых газонов и цветущих кустов.

Потом я увидел, что она уходит из городского сада, и последовал за нею; она привела меня на кладбище, к месту, предназначенному для того, кому она принадлежала прежде, но чье тело не будет тут погребено.

Затем она вернулась в город, на который уже спускались сумерки, и здесь нас настигла ночь.

Постепенно тень становилась все менее различимой, и в конце концов я вовсе потерял ее в сгустившейся тьме. Но я понял, что смерть бессильна, что она едва ли может помешать умершим оставаться среди нас. Мертвые не исчезают. Та одинокая нетленная тень, что бродила

по улицам городка, не менее реальна, чем образы ушедших от нас, запечатленные в нашей памяти, — голубоватые призраки, не покидающие нас никогда.

ВАЛЕРИ ЛАРБО
(1881–1957)

Ларбо родился в Виши. По окончании лицея много скитался по свету. Побывал в Италии, Германии, Англии, Испании.

Писатель однажды сказал о себе, что в глазах потомков он, быть может, останется «одним из забытых писателей начала XX века». В этих словах не было кокетства, но лишь трезвое понимание того факта, что настоящее способно высветить в сумерках прошлого лишь ограниченное количество лиц и событий — фрагменты, на основании которых оно пытается воссоздать целостный облик ушедшей эпохи. Готовый примириться с тем, что сам он может и не попасть в поле зрения потомков, Ларбо, человек разносторонне образованный, стремился расширить кругозор своих современников. Он извлекает из забвения многих писателей XVI века, переводит и пропагандирует во Франции книги английских, испанских, американских поэтов и прозаиков. Жажда охватить и вобрать мир во всем его неистощимом многообразии присуща

и наиболее значительному произведению Ларбо: «А-О. Барнабус. Полное собрание его произведений: повесть, стихи и дневник» (1913). Ларбо одним из первых сумел раскрыть и донести до читателя поэзию тесных вагонных купе и уютных гостиничных номеров, стремительных экспрессов и медлительных океанских пароходов — всего, что связано с путешествиями, с непрекращающимся открытием мира. Но сделать путешествие своей профессией — это значит отказаться от надежного пристанища и затеряться хоть и в прекрасном, но все же немного чужом и холодном мире. Писатель ненавязчиво, проявляя себя тонким психологом, рисует эту внутреннюю драму своего героя, с мягким лиризмом передает он чувство головокружения, рождающееся от осознания невозможности исчерпать неисчерпаемый мир.

Ларбо не оказался в числе «забытых»: прозаик, поэт, эссеист, мастер внутреннего монолога, он остается в числе лучших представителей французской культуры.

Valery Larbaud: «Les enfantines» («Рассказы о детстве»), 1918; «Amants, heureux amants» («Любовники, счастливые любов-

ники»), 1923; «Jaune, Bleu, Blanc» («Желтое, Синее, Белое»), 1927.

«Граммофонная пластинка» («Disque») входит в сборник «Желтое, Синее, Белое».

Г. Носиков

Граммофонная пластинка

Перевод Н. Кудрявцевой

I was so fond of dancing…[17]

Да-да, я отправилась одна в Монтекатини, что в Апеннинах, между Флоренцией и Болоньей. Представляете себе — совсем одна разъезжала по деревням! Итальянка на это никогда бы не решилась, и все-таки, как видите, я стала почти итальянкой. Сколько лет прожила здесь с мужем, да и после его смерти! Из родственников у меня там никого уже не осталось, и знакомства тоже я все растеряла. Кто бы мог сказать в Доркинге, когда мне было двадцать лет, что я выйду замуж за итальянца?! Che vuole?[18] Вот видите, я часто

---

[17] Примечания: 17
Я так любила танцевать *(англ.).*

[18] Примечания: 18
Что поделаешь? *(итал.).*

запинаюсь и не нахожу слов. Да, никогда бы не подумала, что до этого дойду; правда, немного найдется англичан, которые говорили бы на бергамском диалекте так же свободно, как я. А вы не понимаете по-бергамски? Слышите? Тут все на нем говорят. Могли бы все-таки сообразить, что при вас следует говорить уж если не по-французски, то хотя бы по-итальянски. Зато мы с вами можем не стесняться и поболтать вволю. Сколько я ни старалась привыкнуть, но иногда их манеры меня просто шокируют. Вы не обратили внимания за обедом на графиню Пипистрелли? Между нами, вы себе представляете, чтобы английская графиня так ела! A generalessa[19] — с какой откровенностью говорила она о своих… семейных делах, и это за столом, да еще в присутствии молоденьких девушек! Но такое, вероятно, можно наблюдать во всех странах на континенте — люди не умеют прилично есть, они не знают, что о некоторых вещах в обществе упоминать не принято. Ну конечно, теперь вы решите, что я — как они тут говорят? — criticona…[20] Донна Виттория садится за рояль — хорошо бы она сыграла тот

[19] Примечания: 19
Генеральша *(итал.).*

[20] Примечания: 20
Критиканша *(итал.).*

фокстрот, который недавно привезен к нам из Милана. Вряд ли вы поверите, но в молодости я так любила танцевать!

Нет, по-французски я не знаю ни слова, но по пути в Англию мы с мужем непременно останавливались на неделю в Париже, и уж бог весть как, но мне удавалось с ними объясняться, и, представьте, они меня понимали.

О да, я обожаю Париж! Не могу забыть, что мне довелось увидеть там маршала Мак-Магона. Еще бы мне не знать квартал Пантеона! Прекрасно помню эти синие стекла в окнах купола. Во Дворце инвалидов? Ничего подобного, именно в Пантеоне. Я же все-таки знаю, что говорю. Ну хорошо, согласна: когда буду в Париже, я заеду к вам, и мы вместе пойдем в Пантеон, и вы убедитесь, что я права. Только в мои годы я уже не доберусь до Парижа, — вот вы и спасены. Теперь все женщины курят. Континентальные нравы! Зато в Англии… Да что вы! Не может быть! В жизни ничего подобного не слыхала! Ну, значит, лишь в самые последние годы, и те, кто этим занимается… А служанки — до чего же они не похожи на наших! Наши держатся так важно, с таким достоинством! А здесь их и не отличишь от хозяек. И декольте носят почти такие же глу-

бокие, как синьоры, и в разговоры вмешиваются, будто они вам ровня. Поглядела бы я на вас, моя милая, в каком-нибудь английском доме за десятью запорами, целый день с каменным лицом. А, это valzer[21] с каким-то французским названием… Valzer всегда меня трогает, потому что, знаете, в молодости я так любила танцевать!

Эйфелева башня была тогда построена лишь до второго этажа. Ах, poverino![22]. Он умер совсем молодым. Кингсуэй?[23] Вы ведь сказали «Кингсуэй», не правда ли? Теперь туда ходит трамвай с набережной, почти от самого парламента. Спасибо вам большое. У меня такое чувство, будто я провела вечер в Англии. Я боюсь беседовать со здешними жителями: все они выучили язык по разговорникам. Произношение у них куда хуже вашего… то есть, я хотела сказать, не такое хорошее. Ужасающий акцент, и стоит им открыть рот, Dio mio[24] кажется, что вот-вот об-

---

[21] Примечания: 21
Вальс *(итал.).*

[22] Примечания: 22
Бедняжка! *(итал.).*

[23] Примечания: 23
Кингсуэй — улица в Лондоне.

[24] Примечания: 24
Боже мой (итал.).

рушится потолок… Вы влюблены в Англию? Как это мило с вашей стороны! И только в Англию?.. Нет-нет, вы еще подумаете, что я любопытна, а я — просто старая женщина, у меня две замужние дочери в Милане, а старший из внуков готовится поступать в королевскую морскую пехоту. Он поверяет мне все свои тайны. А лет мне столько же, сколько и моей дорогой старушке Прасседе. Поглядите, как она улыбается, а ведь она — без посторонней помощи и шагу ступить не может. Видели бы вы, до чего она была хороша! Настоящая ломбардка, высокая, белокожая, и пелерине медных волос, и замуж она вышла по любви. Что это? Танго? Между нами, — теперь об этом уже можно говорить, — он ее похитил. Да, танго, один из этих новомодных танцев… Ма, mi piace![25] Нет, не кладите мне в кофе сахара, и так достаточно сладко. О да, я так любила…

[25] Примечания: 25
А мне нравится! *(итал.).*

ЛУИ ПЕРГО
(1882–1915)

Луи Перго родился в одной из деревушек древней земли Франш-Контэ, близ швейцарской границы. От отца, сельского учителя, убежденного республиканца, он унаследовал трезвую оценку окружающего, устойчивый демократизм. С 1898 года Перго — студент Эколь Нормаль в городе Безансоне; быстро раскусил он местных клерикалов и националистов, проникся симпатией к социалистам. В поэтических медитациях (сборник «Рассвет», 1904) он мечтал о дне, когда народ на «старинный лад запоет новую «Карманьолу». Вера в разум помогала ему противостоять козням угрюмых святош и невежд из глухих углов, где не один год учил он грамоте деревенских ребятишек.

В 1907 году Перго переехал в Париж, издал книгу пейзажных стихов («Апрельская зелень», 1908) и принялся рассказывать «естественные истории» о вечном чуде обновления природы, о жизни дикого зверя. Первый же сборник анималистических рассказов — «От Лиса до Марго» (1910) — просла-

вил их создателя. Перго не свойственна басенная нравоучительность, он порывает с традиционной «эксплуатацией» животных ради иносказательных суждений о человеке. Вся жизнь для него исполнена великого смысла — и люди и все живое как бы уравнены в правах. Но невежественный и темный человек прав природы не признает. В священном лесу жизни ведет он себя, как дикарь в джунглях. У каждого лесного обитателя свой нрав, но, хитрые или доверчивые, в трагедийных рассказах Перго они гибнут от руки человека. На суде совести художник осуждает темного и озлобленного человека, однако порой он судит и тех, кто направлял его руку: социальную иерархию, обскурантизм церковников. Люди, убеждал Перго читателей, призваны дружить, а не враждовать с природой: ведь от рождения человек добр, он жаждет мирного и радостного земного бытия (роман «Пуговичная война», 1912). Перго проницательно распознавал жестокость, тупость, себялюбие под любой личиной и весело смеялся над всем достойным осмеяния.

В зрелую пору Перго не отступился от идеалов студенческих лет: на страницах «Юманите», газеты французских социалистов, увидел свет его «Роман о Миро, охотничьей собаке» (1913).

В ночь с 7 на 8 апреля 1915 года во время атаки младший лейтенант Луи Пеого получил ранение в ногу и пропал без вести. Его призыв к людям — одуматься и прекратить самоубийственное истребление живой жизни на земле звучит ныне, как никогда, пророчески и повелительно.

Louis Pergaud: «De Goupil a Margot» («От Лиса до Марго»), 1910; «La revanche du corbeau» («Реванш, ворона»), 1911; «Les Rustiques» («Деревенские рассказы»), 1921.

«Гибельное изумление» («Le fatal etonnement de Guerriot») входит в сборник «От Лиса до Марго», «Трудная проповедь» («Le sermon difficile») — в сборник «Деревенские рассказы».

В. Балашов

Гибельное изумление

Перевод Н. Галь

Тропинкой орешника и ольхи уже пятнадцатый раз за день путешествовал с буковым орешком в зубах Вояка; он прыгал с ветки на ветку, навострив уши, зорко глядя по сторонам,

и то подбирал пушистый хвост, будто шлейф, то распускал его пышным султаном и вскидывал над головой, словно изящный летний зонтик.

Под ним гнулись и вновь выпрямлялись гибкие ветки, хлестали по росе и папоротникам, и он, искусный прыгун и неутомимый жонглер, подброшенный ими, как пружиной, вмиг отталкивался, пуская в ход взрывную силу мускулистых задних лапок, и взлетал еще выше, еще дальше, словно дыханье кустарника, словно мяч, которым перебрасываются дети лесных духов, — веселая живая игрушка.

Все мышцы его напрягались, маленькое тело трепетало, он прыгал высоко-высоко, потом скатывался кубарем чуть не до самой земли, и казалось, он — продолжение несчетных задетых им на лету ветвей, он мелькает в каждом просвете, где сквозь листву пробивается солнце, и всплывает в волнах зелени — веселая щепочка на отливе погожего дня.

Он возвращался с опушки родного леса, где осматривал буки и орешник в поисках подходящих припасов на зиму: орехи здесь поспевали раньше, чем вблизи его жилища.

Пришла пора запасаться провизией. Теперь белкам уже недосуг все дни напролет резвиться

в вершинах дубов и елей, без конца гоняться друг за дружкой, играть в прятки среди ветвей, кувыркаться напропалую, выделывать самые дерзкие сальто, лишь чудом сохраняя равновесие. Настало время собирать урожай — ведь скоро плоды начнут подгнивать и падать, скоро зима, пойдут холода, дожди, снег, и надо будет отсиживаться в каком-нибудь убежище на земле или под землей. Потому что зимним жилищем станет Вояке либо расщелина в скале — старательно прибранная, заботливо выстланная мхом и сухими листьями, разделенная на равные части, на кладовые, где сложены и рассортированы его припасы; либо вместительный шар из сучьев, проложенных плотным слоем листьев и длинного мха, прошитый для прочности стеблями трав, которые топорщатся щетиной во все стороны: маленькая крепость, надежно укрытая в развилине меж ветвей могучего, неприступного дерева, лучше всего — ели.

Туда он и возвращался после каждого похода с орешком в полуоткрытой маленькой пасти, из которой торчали двойняшки-лезвия резцов; он нес то крупное, желтое, гладкое ядро лесного ореха, то тяжелый, налитой буковый орешек, вынутый из лопнувшей треугольной чашечки со

всей бережностью, на какую способен зверек с безошибочным чутьем и падежным опытом.

И сразу, все такой же веселый, неутомимый, он снова легкими скачками пускался в путь, только сначала аккуратно пристраивал добычу в кладовой: зимою он укроется в своем жилище и понемножку станет поедать эти припасы, а никчемную шелуху, от которой одна помеха, будет выбрасывать либо через узкую боковую отдушину, либо из главного входного отверстия — его можно открыть изнутри, а потом вновь прочно заделать и проконопатить мхом.

Так Вояка поступал в прошлом году и так будет поступать год за годом, а все жаркое лето он оставляет вход в свое жилье открытым настежь, чтобы оно получше проветрилось после долгой душной зимовки и осенью в нем снова была чистота и свежесть.

Лето он провел в своем полевом домике — в гнездышке из мха, которое по весне надо всякий раз подправлять: эта зеленая беседка, подвешенная меж ветвей дуба, служила Вояке приютом в пору любви.

Но едва бельчата подросли, вышли из-под родительского крова и рассеялись по лесу, Вояка возвратился к прежней жизни: теперь он опять

был сам по себе; веселый, беззаботный, он кормился недолговечными плодами, что изо дня в день дарил ему лес, иной раз забирался на соседние лужайки и до отвала наедался дикой вишней, которую ведь впрок не запасешь, а изредка даже, как настоящий кровожадный хищник, загрызал в гнезде или просто среди ветвей застигнутую врасплох пичугу.

А чаще всего, радуясь жизни и погожему дню, он перелетал с ветки на ветку, рыжий комочек, будто подхваченный ветром; чуть дрогнет дерево, на котором он было примостился, — и он неудержимо брызнет прочь, будто большая яркая искра, будто огонек фейерверка, что вспыхнул под солнечными лучами в зеркальных озерцах листвы.

Он кормился там, где жил, и чаще всего — в одном и том же месте, под елями, что высились темным островком в море леса, — здесь он встречался с веселыми друзьями.

Они взбегали по огромным стволам, прямым, без единой ветки, почти доверху, — казалось, сама природа воздвигла эти мачты для нескончаемого праздника, открытого одним лишь обитателям леса, и на макушках среди ветвей гроздьями развесила призы победителям в состязаниях на

храбрость и ловкость: шишки, тяжелые от семечек, до которых так лакомы белки. И зверьки то по очереди карабкались по стволу, то с пронзительными криками мчались наперегонки — на этих отвесных колоннах, на головокружительной высоте они чувствовали себя свободней, чем на земле: по ней они передвигались неуклюже, их длинные когти застревали в рыхлой почве.

Едва до белок доносился зов птицы или какого-нибудь зверька, они настораживались, повернув мордочку к ветру, чутко прислушивались и тотчас же спешили на голос, чтобы повстречать сойку Жако или сороку Марго, поразвлечься их болтовней, их играми, ласками или ссорами. Чаще всего белки пристраивались где-нибудь в развилинах ветвей и смотрели на всех сверху, сами почти невидимые: выглядывает одна только голова, да пушистый хвост распластан по спине или машет веером то вправо, то влево, чтобы обмануть врага, — ведь всегда надо опасаться нежданного нападения.

В этот день Вояка вышел из лесу; он пробежал по опушке, по большим замшелым, потемневшим и высохшим на ветру камням, что огораживали ее, как стеной, — бежал и спугивал ящериц: они грелись тут на солнце, но спешили юркнуть в свои

убежища, стоило им завидеть в воздухе хвост торчком, выгнутую спину и голову, опущенную так низко, словно Вояка удирал от заслуженного наказания.

Он побывал в буках и орешнике, выбрал подходящий орешек и возвращался в лес верхами, по ветвям — воздушной дорожкой, самой привычной и удобной.

Тропинка начиналась как бы тенистой аркой, под стрельчатый свод ее врывался пламенный сноп солнечных лучей, а ее верхушку, — мост, переброшенный между темными упорами двух исполинских стволов, — окаймляли дрожащие перила яркого света. По утоптанной, плотно убитой, как гумно, земле потоком свежести струился ветер и шелестел листвой вдоль тропы; могучие корневища, обнаженные шагами людей, выступали из земли и пересекали тропинку, словно громадные змеи: узлы и наросты вздувались странными бородавками, головы и хвосты скрывались в мрачном переплетении колючих кустов, гнилых сучьев и опавших листьев. Изредка среди обломанных веток копошилась крыса, в зловещем ядовитом хаосе что-то подрагивало, шуршало, оттого что вскинулась острая морда или вильнул длинный хвост, — и еще явственней

чудилось, будто в этой путанице узловатых тел таится недоброе подобие жизни.

Орешник и ольха росли здесь не так густо, но все же уцелели и образовали что-то вроде неплотного, с просветами, забора, — он ограждал тропу тонкой, хрупкой колышущейся цепочкой, кое-где ее звенья рассекла острым жалом коса, а местами оборвала, внезапно и мощно взметнувшись поперек, низко растущая ветвь бука или граба.

Солнце ласкало вершины деревьев и, словно нескромный друг, прокрадывалось в глубь высоких зарослей, стараясь проникнуть в их семейные секреты, — там и сям оно пускало, как стрелы, пытливые лучи, и они пробирались меж ближних, не столь густо покрытых листвою веток и распластывались на земле или вновь от нее отражались; но порою какой-нибудь дуб-исполин, один из тех ветеранов, что в ответе за судьбы леса, вскидывал могучую косматую ветвь, будто высылал под самое небо часового, и целомудренной ладонью заслонял сверху, от нескромных взоров, нечаянную наготу, заботливо охраняя сокровенные лесные тайны.

Вояка чутко ловил каждый звук, радовался солнечному лучу, полету птахи, жужжанью мошки; порой он замирал на кончике раскачавшейся

ветви, приветствовал простор, бросал вызов пустоте, — и вновь изумительный, неправдоподобный скачок, мгновенная, как взрыв, разрядка мускулов — зверек взлетает много выше того места, куда метит, хвост вытянут во всю длину, лапки выставлены вперед, когти наготове, словно крепкие, надежные крюки, и он легко, изящно опускается точно в цель, пригибая пружинящие ветки.

Когда он отправлялся в путь, на тропинке все было тихо, а теперь тишина ожила: у подножья огромного дуба вдруг засвистал дрозд. Дрозд в неизменном безупречном фраке — строгий распорядитель на весенних концертах, но что понадобилось ему в такой неурочный час? Обычно он свищет на заре или в вечерних сумерках, размеренным щелканьем передает другим птицам дневной пароль и отзыв на ночь. Странно, почему он подал голос не вовремя! Надо взглянуть, в чем дело. И Вояка заторопился — он низко опустил голову, точно пострел-мальчишка, что прикинулся скромником, и порывисто наклонялся то вправо, то влево, вперед, вбок, высматривая за шелковой завесой листвы, меж бесчисленных зеленых складок, свистуна в желтых сапожках, который окликал своих собратьев.

Вот Вояка примостился пониже на гибкой ветви, живо наклонился, зорким глазом оглядел пустоту, — как странно, ничего не видать, ничего больше не слышно! — и вдруг под дерево, на котором он сидел, кинулся огромный рыжий пес: задрал морду, яростно лает, шумно принюхивается… Испуганный его внезапным появлением и громкими воплями Вояка обезумевшей молнией метнулся в сторону, и в тот же миг раздался грубый человеческий голос и мирное море листвы, чуть колеблемой утренним ветерком, встревожил оглушительный грохот.

И тут Вояка ощутил: вокруг со свистом что-то пронеслось, как будто собака напустила на него стаю разозленных шершней — и они шквалом промчались мимо.

Кисточки на ушах Вояки взъерошились, хвост задрался на спину; от гнева и страха он защелкал зубами и помчался стрелой, во весь дух перескакивал с ветки на ветку, штопором вился по стволам, перелетал все дальше, выше, вверх, вниз, вкось, удирал сломя голову неправдоподобными прыжками: он сбивал со следа врага, который так напугал его громким лаем и грозился настичь опасным свистом… ведь Вояка видел только пса — и, вполне естественно и логично,

ему одному приписал и гром выстрела, и свист хлестнувшего в листве свинца.

Окольным путем он ловко пробрался к своему жилищу, выложил там орех (он ухитрился не выронить свою ношу) и тотчас же скользнул на вершину соседнего дерева; здесь он укрылся в ветвях и стал внимательно всматриваться — что там творится внизу? — и вслушиваться в собачий лай, а лай все удалялся, и рассерженный, перетрусивший Вояка понемногу успокоился.

Как умудрился тяжеловесный зверь, который угрожал Вояке с земли, пустить ему вдогонку эту свистящую стаю? От нее пришлось удирать во всю мочь, со страха вся шерсть встала дыбом!

Но больше ничто не тревожило лесную тишину, и Вояка опять отправился на промысел — он скакал все той же привычной дорогой, и его стремительные, дерзкие прыжки словно разбивали стеклянный купол зелени, и солнце подглядывало в щелки, что приоткрывал ему на миг маленький сообщник.

Несколько дней прошло в мирных и радостных трудах — Вояка собирал добрую лесную жатву.

И опять он возвращался той же дорожкой, на сей раз в зубах он держал лесной орех и собирался уложить его в отделение кладовой, отведенное

именно под это лакомство. Как вдруг что-то сухо щелкнуло, раздался еще какой-то гортанный звук — и Вояка от неожиданности мигом взлетел по стволу огромного дерева, под которым лежал его путь.

Он вскарабкался на нижние ветки, почувствовал себя в безопасности — обычные враги здесь его не настигнут, — остановился «посмотрел вниз. Там стоял чужак на двух лапах и внимательно его разглядывал. Вояка тотчас метнулся прочь, обогнул ствол граба, на котором очутился, и в свой черед стал разглядывать человека — при первом же угрожающем движении этого странного существа с разноцветной шкурой он пустится наутек, только его и видели! Ушел же он несколько дней назад от того горластого зверя!

Но человек не кричал, как собака, не кидался угрожающе на дерево, значит, он был не опасный; пожалуй, только чуть забавный, тем более что почти сразу он как будто съежился и стал ниже ростом.

С каждой минутой он словно все меньше угрожал, казалось, от встречи с Воякой он даже перетрусил. Изумленный Вояка не сводил с него глаз.

Тогда двуногий медленно поднес к плечу длин-

ную трубку и уронил на нее голову, голова легла точно неживая, и он начал медленно, постепенно поднимать эту трубку к Вояке, а тот, нимало не встревоженный, смотрел на него и не шелохнулся.

Скоро трубка застыла неподвижно — и Вояка очутился лицом к лицу с черной дыркой, которая смотрела на него в упор, и с круглым глазом человека, пристывшего к своему оружию, — этот глаз тоже глядел на белку в упор, и Вояке стало не по себе, словно что-то заныло и странно дрогнуло глубоко внутри.

Он хотел бежать — и не видел опасности. Он не понимал, что с ним творится, тоскливо ему стало, что-то он чуял грозное — и все же не мог оторваться от странного зрелища, не мог отвести глаз, будто его заворожила эта круглая черная дырка, ее немигающий взгляд.

Все пристальней он смотрел, все тревожней высовывал вперед голову, притянутый бездной этого пустого взгляда и горящим человечьим глазом, который словно придавил его.

Где вы, полные кладовые, где вы, желтые лесные орехи, налитое зерно буковых орешков, мирные зимние дни в уютном тепле, в спокойном, надежном жилище высоко над землей!

Вояка чувствует — голова его отяжелела и ничего не соображает. Надо бежать, бежать! Вот сейчас он стряхнет колдовство, шевельнется, кинется прочь. Поздно! Из пустого глаза рванулась огромная красная молния, безмерное, безумное удивление пронзило маленькую лобастую голову, хлестнуло по горячему сердцу под белой шерсткой на груди злосчастного зверька — он подпрыгнул и кубарем скатился наземь, все еще сжимая в зубах круглое желтое ядро ореха, — маленькие челюсти стиснули эту добычу еще крепче, сведенные последним, всепоглощающим изумлением смерти.

Трудная проповедь

Перевод И. Татариновой

Мелотский кюре уже тридцать долгих лет пас ту маленькую паству, которую господь через своего архиепископа Жака-Мари-Адриена-Сезэра-Фюльжанса Майе поручил ему блюсти.

Те, кого в свое время он повенчал, уже состарились, кого окрестил — выросли, он похоронил многих дедов и бабок, наставил в вере не одно поколение сопляков, и, несмотря на неусыпную заботу и непоколебимую кротость, да, несмотря

на все эти — и не только эти — качества, он уже давно видел, — и господу богу было известно, с каким сокрушением сердечным, — что вера медленно убывает, как вода в садке, когда иссякнет источник, и его церковь, милая его сердцу деревенская церквушка, с каждым воскресным днем пустеет.

Однако он знал, что его вины в этом бедствии нашего века нет и что подобным же прискорбным недугом заражены и соседние приходы, а также и более дальние, — словом, почти все. Равнодушие к вере стало обычным явлением, но вражды к ней еще почти не чувствовалось, разве что в богохульных речах, которые тайком пытались вести лукавые злоязычники: франкмасоны, вольнодумцы, анархисты, безбожники, известные враги господа и его служителей, паршивые овцы, к счастью весьма малочисленные среди его паствы.

Хоть его прихожане и предпочитали потокам его воскресного красноречия во славу божью, изливаемого ex cathedra или просто во время таинства причастия, хоть они и предпочитали партию в кегли или рюмочку аперитива за столиком у гостеприимного Нестора, именуемого Кастором, местного трактирщика, однако надо

сказать, что в большие праздники, — на пасху, в троицын день, в праздник тела господня и даже в петров день, престольный праздник в его приходе, а также в успение, в день всех святых и в рождество Христово, все — старые и малые, женщины и дети заполняли церковь.

Надо также заметить, что, хотя большинство прихожан, чтобы не сказать — все, уже не первый год пренебрегали пасхальными предписаниями церкви, все же в смертный свой час каждый призывал к своему одру этого славного старичка, который знал их с рождения и всем помогал, кому добрым советом, кому ласковым словом.

Мелотского кюре все любили и уважали: ведь он был одним из самых старых в деревне и в приходе. Но его уже не боялись. Словесные громы и молнии, угрозы адским огнем, обещания вечного блаженства в раю, в общем довольно скучном и весьма сомнительном, приводили в трепет разве что нескольких набожных старух да детей от девяти до одиннадцати лет, которые более или менее послушно внимали его отеческим наставлениям, готовясь к первому причастию.

И это не потому, что его советы были недобрыми, а запреты чрезмерно строгими; он никогда не позволял себе, подобно многим другим священно-

служителям, возбранять молодежи и даже людям в зрелом возрасте и старикам, если им приходила охота, танцевать в свое удовольствие в канун престольного праздника, да и любого другого, когда урожай был богатый или сбор винограда обильный; он также никогда не таил зла против землепашца или винодела, если тот, скажем, случайно не испросив его разрешения, работал на свой страх и риск в дни, которые полагалось посвящать богу.

Он ограничивался безобидными увещеваниями и мягкими советами: не пейте столько аперитивов, стакан доброго вина куда приятней; не сквернословьте при детях, они еще успеют сами этому научиться; к чему ссориться и сердиться друг на друга, не так уж много времени отведено нам на здешнюю жизнь.

Сами видите, мелотский кюре был не слишком нетерпим в вопросах религии. Вначале он не раз задавал себе вопрос: а что, если его снисходительность — просто преступная слабость? Но, судя по результатам, к которым привела других священнослужителей их непримиримость и строгость, он отлично понимал, что в наши дни его метод был наилучшим, потому что давал ему возможность хотя бы в смертный час вернуть

заблудшую овцу в лоно церкви и направить ее на путь истинный.

С другой стороны, такая терпимость и подлинно христианская кротость создали ему среди прихожан добрую славу человека хорошего и добродетельного, несмотря на одну историю, в действительности совершенно безобидную, что всем было хорошо известно, но, на первый взгляд, непристойную, которую всячески старались распространить те злые языки, что уже упоминались выше. В сущности говоря, ничего не могло быть проще и невиннее, вот послушайте.

Мелотский кюре, угощаясь, как и все прочие, вместе с друзьями в последний день карнавала, возможно, скушал и выпил чуточку больше обычного. Этот легкий, но непривычный для него излишек, в котором, как в грехе чревоугодия, он к тому же горько каялся, оказал на него неприятное действие, и на следующее утро, когда уже пора было начинать службу, ему пришлось из-за непредвиденной неприятности срочно переменить штаны. Уже кончали звонить к обедне, а он только-только успел снова влезть в сутану и поспешил в ризницу, чтобы надеть облачение.

Сначала все шло гладко, но когда пришло время коснуться чела прихожан пеплом, сопровождая

это действие сакраментальной латинской формулой: «Memento quia pulvis es» — «Помни, что ты только прах», он быстро приподнял сутану, чтобы достать из кармана заранее приготовленную металлическую коробочку с пеплом, нужным для совершения этого обряда.

Он не нащупал ее, быстро полез в карман с другой стороны, там тоже не нашел и, позабыв от смущения место, где он находится, и торжественность минуты, негромко воскликнул:

— Боже мой, я забыл в штанах то, что нужно!

Сказанное им было услышано. Вот так-то и рождаются легенды и создаются клеветнические репутации; слова его стали поговоркой, дошло до того, что о парне не промах… о парне, который… о парне, которому… словом, о парне… о таком парне… говорили: «А-а! Он как мелотский кюре, у него то, что нужно, в штанах», — намекая при этом… но лучше не будем уточнять.

Тем не менее люди порядочные, а считаться следует только с их мнением, знали подлинную цену этой выдумке, и ранее утвердившаяся за ним репутация осталась по-прежнему незапятнанной и неосквернённой.

Однако с некоторых пор нашего кюре что-то тревожило, он скорбел, раздражался, горячился,

гневался.

Само собой, у ребят, которым он преподавал слово божие, не были в ходу вежливость и мягкость, хоть отдаленно напоминавшие былое французское галантное обхождение и христианское милосердие. Мальчишки и из его деревни, и из соседских ругались и дрались часто и упорно, мужчины дольше, чем следует, засиживались у гостеприимного Кастора, женщины болтали, пожалуй, больше, чем прежде. Но все это пустяки! Нашего кюре тревожила и удручала распущенность деревенской молодежи.

Он давно это подозревал, но на покаянную исповедь надеяться не приходилось: уже с пятнадцати — шестнадцати лет вся молодежь выходила из-под его влияния и пренебрегала этой скучной обязанностью, вся молодежь — и те, кого он знавал пострелятами, кого в свое время крестил, кому давал подзатыльники, и те, кого помнил в коротких юбчонках, с косами, — увы! надо признать, что невинных детей уже не осталось!

Ему передавали об их поведении, да и сам он видел, видел не раз, да, видел собственными глазами…

Нет, разумеется, нет! Не подумайте невесть что… хотя бы, что он заставал парочки… ну, сло-

вом, парочки… конечно же, нет! Прежде всего, он ни за что не решился бы подойти, он скорее бы убежал — всякое нескромное зрелище уже грех и может довести до смертного греха. Но издали ему случалось видеть, как при его приближении оба — и парень и девушка — слишком быстро вскакивали, девушки обдергивали и оправляли передники и юбки, парни держались как-то смущенно, неловко, странно. Сомневаться он больше не мог.

Все же он долго молчал, довольствуясь тем, что при встрече строго смотрел на виновника, поначалу тот краснел, но исправляться не исправлялся. Тогда, подстерегши его наедине, кюре отчитывал его с глазу на глаз, стыдил, угрожал, но тот все решительно отрицал. Затем кюре попробовал воздействовать на родителей, говоря обиняками, не выходя за пределы общих рассуждений; родители улыбались, пожимали плечами.

— Помилуйте, господин кюре, когда же и обниматься-то с девушками, как не в двадцать лет!

Нет, ни те, ни другие не хотели ничего знать, они были как нечестивцы из псалма: «In exitu.

Israël de Ægypti»[26] — имели уши и не слышали, имели глаза и не хотели ничего видеть.

Не мог же он сказать матерям: «Черт возьми, да стерегите же вы наконец получше дочек, а то как бы они… не попали в пасть к волку!»

И все-таки он сказал, но они сочли, что он болтает зря.

Дело принимало серьезный оборот; совесть замучила его, она говорила все громче и громче, кричала, вопила, повелевала ему принять меры, принять меры немедля. У него на глазах эти дети губили свою душу, не говоря уже о теле… Ведь если не со стороны юноши, то со стороны девицы, во всяком случае, недобросовестно выдавать за нетронутый… уже початый капитал. Вот именно, недобросовестно!

Если бы они хоть сделали ребенка. Если бы хоть одна из них, все равно которая, заполучила младенца, может, тогда отцы и матери открыли бы наконец глаза, — худа без добра не бывает!

Но нет, ни одна из них не попалась, из чего как раз и явствовало, сколь глубока их испорченность! В нынешний лицемерный век разврат, подобно масляному пятну, медленно расползал-

---

[26] Примечания: 26
«Исход евреев из Египта» *(лат.).*

ся, марая его деревню. Раз все было шито-крыто, родители — жалкие родители! — закрывали на все глаза; они, эти преступные родители, даже усмехались!

Да, предупредить их повелевал ему долг: он обязан сказать им, сказать громко, во всеуслышание, возгласить в воскресный день с кафедры, потому что падение нравов стало уже возмутительным!

На берегу Ду, на тропинке, идущей сперва вдоль виноградников, а затем вдоль леса, куда манят мягкая мурава, прохлада и тень, прозрачная вода реки, молчание и безлюдье, манят, как я полагаю, не без участия дьявола… Да, там, именно там, под сенью листвы, благоприятствующей сладостному отдыху и размышлениям, именно там каждый день, каждое утро, от десяти часов до полудня, возвращавшиеся с базара парочки останавливались на отдых, на отдых… слишком длительный, чтобы его можно было счесть пристойным.

Наш кюре обдумывал, как тут быть, размышлял и днем, и вечером, и в бессонные ночи.

Приближалась троица, как раз подходящий день. В этот день к обедне придет много народа, и он знает, чем их привлечь: «Приходите к обедне, а главное, не пропустите проповеди, услышите что-то очень интересное, очень для вас важное,

приходите, не пожалеете».

Итак, решено: в троицын день он даст бой; он скажет напрямик, всем — и самим виновным, и не менее их виновным родителям, он вложит перст в рану, он поставит точки над «і», дабы они знали, сколь это серьезно и кто будет за это в ответе.

Но задача, которая предстояла ему, сама по себе была трудная. Ведь мало сказать: ваши дочери бесстыдницы, а сыновья негодники, но… в церкви будут не только старики и взрослые, там будут и дети. Как же можно, чтобы священнослужитель, духовный пастырь забылся и неосмотрительно произнес слова, которые пробудят дурные помыслы, грязной мутью осядут в кристально чистых невинных детских сердцах! Горе тому, кто станет причиной такого позора!.. Надо, чтобы поняли только те, кому надо понять.

Кюре молился, он просил господа вложить ему в уста слова, которые надлежит произнести. И в троицын день, взволнованный, но твердый в своем решении выполнить задуманное, уверенный, что действует по божьему повелению, он начал так:

— In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.

Amen[27].

Братья, возлюбленные братья! Вот уже тридцать лет, вы это знаете, как господь повелел мне печься о вас; за эти годы я пережил немало горестей и немало радостей.

Вы не сомневаетесь в том, что я посильно трудился, дабы удержать вас на стезе добродетели и споспешествовать спасению ваших душ. Не всегда были вы мне послушны, и я скорблю об этом; мне жаль вас, братья, жаль вас, сестры, жаль и себя, ведь придет день, когда господь спросит с меня за тех заблудших овец, коих я не уберег.

Сердце мое часто обливалось кровью, ибо я люблю вас, как повелевает Писание, и печалуюсь, видя ваше духовное убожество.

Именно поэтому я и обязан сегодня говорить с вами твердо, как подобает отцу, именно поэтому совесть и долг повелевают мне не молчать долее. Итак, я подавлю в себе естественное чувство и скажу то, что обязан сказать, ибо, братья мои, дело идет о вашей душе, о спасении вашей бессмертной души. Прежде всего я обращаюсь к вам, отцы и матери. Слушайте мои слова.

Каждое утро вы посылаете сыновей и дочерей

---

[27] Примечания: 27
Во имя отца и сына и святого духа. Аминь *(лат.).*

ваших на рынок продавать овощи, и я вас не порицаю. Вы рассуждаете так: они молодые, а мы старые, у них ноги сильнее наших, то, что для нас — тяжелая работа, для них — прогулка и отдых. Вы вполне правы.

Но известно ли вам, сестры, что происходит на рынке? Нет, вам это неизвестно, но сейчас вы об этом узнаете.

Покончив с делом, распродав овощи, отпустив фрукты, сыновья ваши неизменно обращаются к девушкам с таким предложением: ты купи сладкий пирог, а я поставлю бутылочку, хлеб, сыр, колбасу. Отказа, братья, не бывает.

Вы скажете: что тут плохого? И я отвечу: ничего!

Молодые люди поработали, они проделали долгий путь, бегали, говорили, торговались, они нагуляли себе аппетит, им хочется есть, хочется пить, вполне понятно, что им надо подкрепиться, я думаю так же, как и вы.

Однако где, как вы полагаете, они съедят колбасу и пирог — в городе? Где разопьют литр вина — за столиком в трактире? Нет, братья, и сейчас я прошу вас быть сугубо внимательными.

Эта скромная трапеза совершается на возвратном пути, в лесу, на берегу реки.

«Прелестно!» — воскликнете вы. Конечно, завтрак на траве куда приятней, чем в грязном, душном трактире.

И тут вы опять правы.

Но я продолжаю. Молодежь расходится парочками, и, найдя укромный уголок на полянке в лесу, тихий и уединенный, парочки садятся и достают съестные припасы.

Девушки аккуратны, и, чтобы не испачкать юбку, девушка поднимает ее, расправляет на коленях нижнюю юбку и на нижней юбке, на ее нижней юбке, на разостланной нижней юбке, братья, разостланной вместо скатерти, вы слышите, сестры, вместо скатерти, парочка раскладывает съестные припасы, хлеб, вино, сладкий пирог и принимается за еду.

— Ну и чего тут плохого?

— Конечно, чего тут плохого, да… чего тут плохого… Но, черт возьми, — продолжал он, весь красный и гневный, волнуясь и горячась, — чего тут плохого! Так вот, слушайте, после того, как они попили и поели, поболтали и посмеялись, знаете вы, что происходит? Говорите, знаете? Нет, вы не знаете! Ну тогда я вам скажу! Так вот, — медленно и внятно произнес он и крепко ударил несколько раз кулаком по кафедре, — так вот,

возлюбленные братья, да-да, так вот, парень… парень срывает скатерть, срывает скатерть и — вы меня слышите? — влезает на стол… Так вот оно как! Вот оно как! Вот как!

И он сошел с кафедры, красный и гневный. Глаза его метали молнии, он грозно потрясал кулаком и призывал на грешников кару господню.

Злые языки говорят, что от волнения он, по привычке, прибавил: «Да будет с вами милость господня». Но я навел справки и знаю из достоверных источников, что это неправда, верьте мне: это злостная клевета.

ЖАН ЖИРОДУ
(1882–1944)

Жироду родился в городке Беллак провинции Лимузен. Окончил в Париже Эколь Нормаль и в 1910 году вступил на дипломатическое поприще. Был дважды, ранен на фронтах первой мировой войны. В 20-е годы возглавил ведомство печати министерства иностранных дел. В годы «странной войны» — правительственный комиссар по делам информации; подал в отставку, когда к власти пришел Петэн.

В раннем творчестве Жироду стремился выразить контраст между гармонией природы, и социальной дисгармонией, тягостное предчувствие всемирной катастрофы. В войну 1914–1918 годов внутренняя смятенность писателя сменилась у него осознанной тревогой за судьбы человечества. В романах «Симон патетический» (1918), «Союзанна и Тихий океан» (1921) художник задумывается над естественным стремлением человека к счастью и невозможностью «робинзонад» в XX веке.

В романе «Зигфрид и Лимузен» (1922) Жироду

с позиций буржуазного радикализма размышляет о хитросплетениях власти, политики и идеологии, от которых, по его убеждению, зависит участь отдельных людей и судьбы народов. Углубляя эти мысли, он создал инсценировку своего романа — «Зигфрид» (1928). Вскоре ход европейской истории побудил Жироду обратиться к соотечественникам с предостережением: новая угроза миру исходит от прусского милитаризма и фашизма (пьесы. «Фуги на тему Зигфрида» и «Смерть Зигфрида»). Драмы Жироду 30–40-х годов остро конфликтны. Героев разделяет этика, мораль, философия. Художник не равнодушен к их интеллектуальным поединкам. Комедийно-иронически, а порой и гротескно-сатирически очерчены им честолюбцы и исступленные фанатики в «Юдифи» (1931), продажные циники и рутинеры в комедии «Троянской войны не будет» (1935), тираны в трагедии «Электра» (1937), эгоисты, презревшие свой общественный долг («Содом и Гоморра», 1943), биржевики и их челядь («Безумная из Шайо», опубликована в 1946 г.). Вера Жироду в разум и совесть человека, в торжество гражданской доблести над злом индивидуалистического равнодушия порождает масштабность его театра. Парадоксальность

стиля, его изысканную метафоричность — все изобразительные средства художник подчинил единой задаче: научить людей смотреть в грозное лицо реальности и принять на себя долю ответственности за жизнь в этом трагедийном мире.

В годы фашистской оккупации Жироду до последнего вздоха верил в освобождение родины, но встретить свободу ему не пришлось.

Jean Giraudoux: «Provinciales» («Провинциальные рассказы»), 1909; «L'ecole des indifferents» («Школа равнодушных»), 1911; «La France sentimentale» («Сентиментальная Франция»), 1932; «Les contes d'un matin» («Утренние рассказы»), 1952.

«Аптекарша» («La Pharmacienne») входит в сборник «Провинциальные рассказы».

В. Балашов

Аптекарша

Перевод И. Татариновой

I

В этот вечер никто из гостей г-жи Ребек не замечал, как красивы присутствующие дамы. Мужчины предоставили им играть в безик, а сами уселись поудобнее и курили, положив локти на стол. С веранды все смотрели на уходящее солнце: так в городах, более облагодетельствованных судьбой, смотрят на уходящий поезд. Солнце было предвечернее, уже не такое яркое, и можно было подумать, что г-жа Дантон, которая обмахивалась носовым платком, шлет с перрона вокзала привет уезжающей родственнице. Был тут и какой-то оголтелый соловей, распевавший при свете дня, до того напрягая горлышко, что казалось, будто у него вот-вот лопнет жилка. Была тут и Коко Ребек, сидевшая рядом с матерью и подражавшая руладам соловья, но так неискусно, что птичка не принимала эту насмешку на свой счет и пела с тем же самозабвением. Была тут и Люлю Ребек, она предлагала гостям сахар и бенедиктин так робко, так ненавязчиво, словно приготовила их собственными руками; около нее сидел смотритель дорог, он зло высмеивал щипчики для сахара и вместо них пользовался

пальчиками соседки, большим и указательным.

— Вы оригинал! — говорила черноволосая г-жа Ребек, а про себя думала: «Каким он будет прекрасным зятем, если женится на Люлю, потому что любит брюнеток, или на Коко, если предпочитает блондинок. Деловой и притом скромный». Еще учеником лицея в Бурже он получал решительно все награды, и теперь его рыжие, остриженные бобриком волосы представлялись ей золотым книжным обрезом.

Он как раз рассыпался в комплиментах Коко, а она, чтобы не отвечать, продолжала мурлыкать себе под нос. Вот ведь несообразительная девица! Матери пришлось подхватить разговор.

— Вы ее балуете, — сказала она. — Средние ноты у нее, правда, приятные, но мы с причудами. При ангельском терпении и то не добьешься, чтобы Коко отчетливо произносила слова. Мне приходится заставлять ее по нескольку раз на день петь пятое действие «Фауста».

— В этом есть своя прелесть, — возразил смотритель дорог. — Возьмите американок. Или хотя бы немок. Какая у них дикция? Однако немки прославились на весь свет своей музыкальностью. Уверяю вас, в этом есть своя прелесть.

— Нет, это недостаток, — заявила г-жа Ребек

не терпящим возражения тоном. — Коко француженка во всем, и в пении она тоже будет француженкой. Немки едят в пивной — Коко будет готовить дома, как, впрочем, и Люлю. Американки танцуют кекуок — Коко будет танцевать польку, и мазурку, и кадриль, если, конечно, это не вызовет у нее сердцебиения. Послушай, Коко, перестань упрямиться, попробуй внятно произнести первую попавшуюся фразу, ну хотя бы: «Я люблю пирог с капустой», или другую, какую тебе угодно, скажем: «Я люблю пирог с кислой капустой».

Коко повернула голову, будто бы фраза, сказанная матерью, была зашифрована и содержала приказ поглядеть на г-на Дантона, который как раз ковырял в ухе мизинцем и теперь, застигнутый врасплох смотревшей на него барышней, принялся для отвода глаз со всей силой теребить мочку, словно неожиданно обнаружив в ней серьгу.

— Она в гроб меня вгонит, — сказала г-жа Ребек и пошла играть в безик.

Смотритель дорог взял двумя пальцами руку Коко, словно собирался положить ее в кофе вместо сахара.

— Мадемуазель Коко, — взмолился он, — для

меня, для меня одного повторите фразу, сказанную вашей матушкой!

Коко с отличавшим ее своенравием возразила:

— Это будет неправдой: я не люблю капусту.

Он не без остроумия заметил:

— Вы ошибаетесь, мадемуазель Коко, — как раз в капусте находят то, что вам больше всего нравится, — маленьких мальчиков еще в пеленках и свежее масло.

Коко рассеянно улыбнулась, занятая своими мыслями; она думала, какого цвета взятые порознь волоски смотрителя: такого же рыжего, как все вместе, или нет.

— Мне больше всего нравится Париж! — сказала она, неожиданно погрустнев.

Он принялся расхваливать Париж, где прожил полтора месяца. Как он ее понимает! Пройдя бульвар Рас-пайль, выходишь прямо на бульвар Сен-Жермен, а в двухстах метрах оттуда площадь Согласия, напротив церковь св. Мадлены, напротив церкви — палата депутатов, Дом инвалидов; напротив Дома инвалидов — мост Александра III. Все улицы вымощены булыжником; и все это сделано меньше чем за полгода! Но что касается его лично, ему больше нравится Женева.

Они замолчали, потому что замолчали все на

веранде: свет уже начал меркнуть, и пейзаж тоже стал зыбким, расплывчатым, как проекция диапозитива, когда ее только еще наводят на фокус. Северный ветер — все, что осталось от ушедшей зимы, — разыскал где-то опавшие листья, и они бежали за ним вдогонку и разом останавливались, как только останавливался он, проявляя такую же сообразительность, что и старые дамы, пытающиеся догнать трамвай. Соловей в неровном полете вышивал зигзаги на сосняке. Местами уже затемненная, словно меняющая кожу, дорога, вившаяся вокруг холмов, устало разжимала объятия. В затихшем саду сильней ощущалась уединенность. Коко улыбалась смотрителю, он передавал ее улыбку Люлю, она передавала ее своему соседу — так передают по кругу кольцо, играя в веревочку; г-жа Блебе переходила от группы к группе и то и дело заливалась серебристым смехом, должно быть, чтобы не потеряться, вроде коровы, которая то и дело гремит колокольчиком. В воздухе веяло чем-то необычным. Вдруг вспоминалось, что на свете есть не только безик, и солнце, и наша Франция, но еще и Италия и Тироль, что за четыре часа поездом можно доехать до гор, где лежат сказочные озера, такие глубокие, что утесы высотой в двенадцать тысяч

футов отражаются в них до самой вершины; где вспугнутое пистолетными выстрелами эхо, как серна, прыгает с уступа на уступ; где, будто в панораме, проходят виды тех мест, по. которым отступали войска генерала Бурбаки, оттесненные к швейцарской границе; где при мысли о наших бедных солдатиках в киверах с бледно-зелеными помпонами невольно вспоминается яблоко на голове сына Вильгельма Телля. Надвигавшаяся справа гроза никого не пугала, никто не встал бы со своего складного стула, даже если бы самая красивая женщина департамента прошла мимо, потупясь, опустив, словно виноградные листья, ресницы на сулящие блаженство глаза, никто не встал бы, даже если бы прошла самая красивая женщина в мире.

Так знайте же, она прошла по дорожке мимо террасы, прошла с охапкой вереска, встряхивая ее, чтобы сбросить увядшие цветы. И ее божественная грудь вздымалась скорее от биения сердца, чем от дыхания.

— Это новая аптекарша, — объявил инспектор так же бесстрастно, как в оратории исполнитель речитатива возвещает, что самаритянка близко, уже в двадцати, уже в десяти шагах, что она вот-вот появится.

Смотритель дорог зачарованным взором провожал неземное видение, не замечая того, что между соснами виднелось уже только ее платье, да что я говорю — платье, — только небо.

— Она совсем девочка, такая худенькая, — сказала г-жа Блебе.

— Она только кажется худышкой, — возразил инспектор.

Все равно, как ее ни назови — девочкой или худышкой, но если бы наутро ее нашли задушенной, американские детективы несомненно признали бы за убийцу смотрителя дорог, потому что его изображение навсегда запечатлелось у нее на сетчатке.

— Исчезла, совсем исчезла, — шептал он, но так громко, что дамы встрепенулись и уставились на него беспокойным взглядом. Пенсне у него на носу дрожало, как дрожит образок на сердце у первопричастниц. Коко, задетая за живое, отняла руку, он не стал ее удерживать, только крепче сжал губы, а инспектор продолжал не спеша все так же монотонно рассказывать биографию аптекарши:

— Она родилась в Ла-Шатре, как Жорж Санд. Ее можно принять за шатенку, но на самом деле она брюнетка. Кто ее мать? Мать ее была акушеркой.

Коко вскрикнула: по ее бархатной юбке полз паук. Прерванный на полуслове, старик инспектор рассердился, решив, что Коко усомнилась в достоверности его рассказа, и, повернувшись к ней, сказал:

— Говорю вам, ее мать была акушеркой — не какой-нибудь бабкой-повитухой.

Он слишком поздно убедился в своей ошибке. Последовало ледяное молчание, тем более неприятное, что на Коко напал неудержимый смех, и, не решаясь закрыть лицо руками, она только кудахтала. К счастью, фоксу г-жи Дантон показалось, что в одном из гостей он узнал своего исконного врага, и под его громкий лай инспектор осмелился уточнить:

— Ее мать была акушеркой в Шатору. Это она принимала Эжена, крестника г-жи Ребек. Она отлично знала свое дело, роды у нее всегда проходили удачно. Умерла она лет двадцать тому назад, произведя на свет нашу аптекаршу.

Господин Пивото рискнул пошутить, но весьма осторожно, рискнул, так сказать, ставкой в двадцать су.

— Пожалуй, мы все, кроме моей жены, не обошлись в свое время без акушерки и без бабки.

Дело в том, что г-жа Пивото родилась в поез-

де, между Ла-Мот-Бевроном и Монтаржи. Она улыбнулась мужу не без благодарности и не без гордости, вспомнив, как удивлялись учительницы в пансионе, когда, заполняя список представленных к награде учениц, спрашивали о месте ее рождения.

Госпожа Блебе пожалела аптекаршу:

— Бедняжка!

Госпожа Блебе жалела всех на свете: волов, потому что на них надевают ярмо, ос, потому что их давят, бедненький мед, потому что его кушают; жалела не ради того, чтобы пожалели и ее тоже, а просто по привычке и еще, может быть, чтобы не усложнять своих чувств, так же как находила во всем, что нюхала, запах гелиотропа и во всем, что кушала, — вкус орехов. Но смотритель, не подумав, угрожающе запротестовал:

— Почему «бедняжка»? Позвольте узнать, почему «бедняжка»?

Госпожа Блебе остолбенела от неожиданности. Солнечный свет, мирные и привычные звуки вдруг стали для всех так же невыносимы, как рыночный галдеж для больного. Г-жа Блебе даже позабыла пожалеть смотрителя дорог, и ветер играл волосами на ее голове и цветами на ее шляпке, принимая их за живые. От дуновения

воздуха отмахивались, как от мошкары. Голос инспектора звучал так фальшиво, что фокс г-жи Дантон не выдержал и завыл; он замолчал, только когда инспектор нагнулся и, сделав вид, будто отколупнул от ковра кусочек рисунка, запустил его, как камешек, на лужайку, видимо ожидая, что он отскочит рикошетом. Одна г-жа Ребек, понимая, к чему обязывают светские приличия, молча, закрыв глаза, горевала.

«Влюбился, — думала она. — В кого влюбился: в аптекаршу! И это не меньше чем на полгода. Если он женится на Коко, еще ничего не потеряно. Но упаси бог, если он остановит свой выбор на старшей!»

II

Смотритель дорог в сопровождении папаши Беноша, старшего дорожного мастера, совершал еженедельный обход. Они шли по национальной дороге, как корабль идет по течению, шли не отдавая себе в том отчета, а в деревнях сами собой замедляли ход, как корабль в шлюзе. Они инспектировали кучи щебня, не глядя на них. Только папаша Бенош вдруг начинал думать. Он думал: «Какой отличный денек!»

И всякий бы это подумал: в небе — три-четыре розовых облачка да несколько стаек скворцов, которые с упорством осы, бьющейся о стекло, ударялись о горизонт. Телеграфные столбы гудели так, словно из всех кантонов сразу слали телеграммы, поздравляя с таким отличным деньком. Упрямый ветер стряхивал, сбрасывал с деревьев жару, и она тут же прицеплялась к прохожим. Папаша Бенош пробовал дремать на ходу, но ничего не получалось: в своей нагретой солнцем голове он вынашивал новую мысль. Он думал: «Отличная дорога!»

И, пущенная в ход, его мысль уже не знала удержу. Она работала, перечисляя все кантональные общины, все окружные кантоны, адреса всех кантональных делегатов. Мало-помалу она перешла на другое, обрела голос, и смотрителю еще раз пришлось выслушать небылицы, сделавшие его спутника личностью легендарной, — рассказ о гусятах, которые утонули в городском бассейне, оправдав тем самым страхи высидевшей их курицы, рассказ о ледащей кобыле, которую он два года подряд водил с ярмарки на ярмарку, убеждая барышников: «Вот это лошадь так лошадь! Поставьте ее крупом к стене, и если она попятится хоть на шаг, я вам ее даром отдам».

— Бенош, Бенош! Вы ребенок! — проворчал смотритель.

— Я шутник, — отпарировал Бенош, причмокнув губами, — вот я кто!

Все же он замолчал; они подходили к постоялому двору. Любовница смотрителя сидела на пороге, но она даже не поднялась ему навстречу. Она была одна, хозяина никогда не было дома, вероятно, он объезжал окрестные деревни, вербуя постояльцев, в надежде, что в один прекрасный день гуртом пригонит их к себе на двор. Бенош деликатно удалился на реку удить рыбу, и смотритель, пылая страстью, поднял хозяйку и унес ее в своих объятиях к стойке. Там он выпил бутылку пива и сел отдохнуть, — он очень устал.

Лучи солнца проникали сквозь узкие оконные стекла длинными полосами, как свет уличного фонаря. При вечернем освещении пейзаж приблизился, наклеился на окно, будто витражная бумага, и хотелось сцарапать ногтем часовню, доводившую до одури звоном своих колоколов. Но сначала лень было шевельнуть пальцем, а потом трезвон уже не мешал, постепенно став привычным. Суп на плите булькал, как родник, который еще только-только пробивается на свет божий и не знает, смеяться ему или плакать.

Смотритель сидел, подперев рукой голову, и не знал — счастлив он или несчастлив, и ему казалось, что его любовница разжирела.

— Елена! — позвал он.

Елена, прислонившаяся к стойке, была прекрасна и в то же время нелепа, как наряженная в платье статуя. Серьги в ее ушах были такого огромного размера, что ему захотелось привязать к ним веревочки и поиграть в лошадки. Вероятно, желая отвратить от себя эту опасность, она подошла к нему и взяла его руки в свои — взяла в свои большие загорелые руки, будто специально созданные для того, чтобы хлопать по ним изо всех сил, играя в «Отгадай, кто тебя ударил». Пробило четыре часа.

Когда пробило пять, она поправила прическу, и они вышли из дому. Эндр блестящей лентой, будто след гигантской улитки, тянулся среди пологих холмов, где луга спускались террасами. Правой рукой смотритель прикрывал свой красный галстук, боясь быков, но совершенно напрасно: галстук был такой маленький, что на него не покусился бы даже лягушонок. Он не знал, что делается с его левой рукой. Он не знал, что делается с его сердцем.

— Елена, — шепнул он, — ведь правда, ты по-

прежнему моя милая, моя любимая Елена?

— А твоя аптекарша, она кто? — отрезала его любовница.

Кто она? И эта туда же! Он ей сейчас покажет, кто она. На него вдруг напала ярость. Он схватил ее за обе руки и грозно спросил:

— Это тебе муж наговорил?

Казалось, она его не слышит. Взор ее блуждал по холмам, одевавшимся перед сном лиловым флером, следил за голубым дымком, улетавшим с каждого дворика в небо, чтобы за ночь снова покрыть его синей глазурью. Затем она перевела взгляд на смотрителя дорог и улыбнулась. В самом деле, его глаза вбирали в себя того, кто смотрелся в них, как те голубые и серебряные шары, что вешают в садах у беседок. Даже солнце отражается там в форме груши.

— Скажешь или нет? — крикнул он.

Она пробормотала:

— Не валяйте дурака.

Он сильнее стиснул ей руки.

— Скажешь? Раз!

— Вы мне надоели, — сказала она, — мне надо высморкаться.

Это была неправда. У нее не было носового платка.

— Скажешь? Два!

Она улыбнулась такой улыбкой, что он позабыл сосчитать до трех. Он отпустил ее и влепил ей звонкую пощечину.

— Ой! — вскрикнула она. — И это называется смотритель дорог!

Она села на откосе и принялась поглаживать щеку, вроде того как поглаживают смятую юбку, а у него к глазам подступали слезы, тяжелые, как угрызения совести, но они остановились в горле, — не хватило напора.

Наконец она встала и вернулась на постоялый двор. Он шел за ней следом, но на приличном расстоянии.

«Когда я люблю, — думал о н, — явственно проступают все мои недостатки, вроде как веснушки, когда светит солнце. Вот я закатил Елене пощечину, возможно, она, по примеру прочих женщин, любит, когда ее бьют, но она слишком примитивна и потому не понимает, что ей это приятно. Теперь она будет дуться, чтобы проучить меня за доказательство моей любви. А впрочем, я ее не люблю. Я упрямо разжигал свою страсть к ней, чтобы не предаваться мечтам о любви блистательной, или поэтичной, или жестокой, но я вел себя подобно тому воробью, который думает,

будто выражает свое презрение хозяину огорода, садясь на огородное пугало, и забывает клевать вишни. Или, пожалуй, я упорно считал свою связь завидной, потому что это любовь, подобно тому как парижане упрямо называют океан синим, потому что это море. Предоставим крестьянок крестьянам и поэтам; лучшие любовницы, равно как и лучшие солдаты, все же те, что умеют читать и писать. В сущности, свою Елену мне следовало бы искать среди представительниц буржуазии, среди тех, у кого в столовой витражи, а судки похожи на церковные чаши; свою Елену мне следовало бы искать в пышном зале, или в зимнем саду, или на балу в префектуре, где она небрежно опирается на руку префекта, рядом с ней довольно непрезентабельного. В крайнем случае моей избранницей могла бы стать одна из младших учительниц начальных классов, которые стыдливо краснеют, узнав, что шесть из их подопечных родились в один и тот же день: ведь это наводит их на мысль, что зачаты они были в одну и ту же ночь; или одна из тех телеграфисток, что с тем же равнодушием, с каким днем выстукивают на своем аппарате, вечерами строчат на швейной машинке, не интересуясь, шьют они рубашки или носовые платки. Чтобы

она могла гордиться мною, я подготовился бы в школу дорожно-мостового строительства, и в день поступления она в восторге примчалась бы ко мне, крепко сжав губы, чтобы не растерять понапрасну поцелуев».

Через минуту одна мысль прогнала все остальные. Сначала неуловимая — ведь не видим же мы ветра, прогоняющего тучи, — она вдруг стала явственной.

— Ах, если бы аптекаршу звали Еленой! — вздохнул он.

Бенош уже возвращался. Смотритель ушел, не пожелав попрощаться с любовницей, он даже думал уязвить ее, заплатив за выпитое пиво, но, отойдя на двадцать метров от постоялого двора, оглянулся. «Если она сидит на пороге, — подумал он, — я прощу ее. Если ее там нет, между нами все кончено».

Она сидела на пороге и провожала его непонимающим взглядом, от изумления так широко разинув рот, что хотелось бросить в него деньги за выпитое.

«Я прощаю ее, — подумал он. — Но она дура. Не люблю таких, что подставляют левую щеку, когда их ударили по правой. Если она решила сидеть тут до моего следующего обхода, она успеет по-

крыться ржавчиной».

На дороге через каждые сто метров лежали кучи щебня, как если бы кто-то в припадке ярости расколотил дорожные столбы. В течение нескольких минут смотритель машинально пересчитывал их, но вдруг, сам не зная почему проникнувшись симпатией к папаше Бено-шу, стал поверять ему свои любовные горести. В чем и раскаялся, — старик воспользовался случаем и до первых домов предместья рассказывал ему историю своей женитьбы. Не избирайте никого поверенным ваших сердечных огорчений: он будет слушать две минуты, а потом прожужжит вам уши рассказами о собственных горестях. Не укрывайтесь в непогоду под деревьями; они уберегут вас от ливня на четверть часа, а потом встряхнутся и окатят с головы до пят.

III

Скажем, вы чиновник и с пятичасовым омнибусом едете в Бом, куда, благодаря связям, получили назначение. Вы распрощались с прежним местожительством без всякого сожаления, самым фактом своего отъезда поквитавшись с сослуживцами за их пренебрежительное обхождение.

С высоты империала луга представляются вам полями еще не заколосившейся пшеницы, все фермы кажутся образцовыми: навоз не свален посреди двора, как там, где вы жили; вы восторгаетесь каждым ручьем, словно существование проточной воды для вас приятный сюрприз; вам улыбается девушка, глаза которой затмевают своей синевой все доселе виденные вами голубые глаза, и вы улыбаетесь ей в ответ, даже не подозревая, что это безмужняя мать по прозванию Красотка Фатьма; все витрины восхищают вас своей красочностью; голуби на трубах сами садятся клювами к ветру и вращаются, как флюгера; на площади стоит памятник какому-то натуралисту, а вы этого никак не ожидали и потому принимаете его за водоразборную колонку. Вы сожалеете только о том, что хозяйка книжной лавки в том городе, где вы до сих пор проживали, не стала вашей любовницей; предаваться любовным воспоминаниям в здешнем добропорядочном и ленивом городке было бы так же приятно, как после свидания беседовать с монахиней.

А если окажется, что связи у вас более влиятельные, чем вы полагали, и вскоре по прибытии вас повысят в должности, вы так и не узнаете, в какой бой вступила бы с вами гидра о трех головах —

бомская буржуазия. Вам пришлось бы выбирать между тремя кланами, и ваш выбор, продиктованный чистой случайностью, — скажем, первым клубным знакомством, — навсегда закрыл бы вам доступ в два другие клана. Долгое время первый клан составляли всего-навсего два брата Дюма, бывшие обойщики из Буржа, великие ловцы пред господом, в существование которого они, впрочем, не верят, но уже несколько лет, как к ним присоединился неизвестно откуда взявшийся вдовец с четырьмя малолетними дочками. Во второй клан входит с десяток реакционеров, предки которых, когда-то бывшие арендаторами, под тем или иным ложным предлогом вызвали из эмиграции своих прежних господ, выдали их якобинцам и купили принадлежавшие им владения, о чем свидетельствовали компрометирующие их подписи в архивах, впоследствии уничтоженные, словно прожженные насквозь горящей сигарой, как это затем обнаружил в одно прекрасное утро учитель начальной школы. Столпом третьего клана является г-н Ребек, мировой судья, столпом сухим и неподатливым, республиканцем с роялистами и роялистом с республиканцами, столпом, который берегут и лелеют жена и две дочки. Чиновников объединяет либо возраст, либо страсть

к охоте. К третьему клану принадлежат самые красивые женщины, числом семь; одна из них — вылитый портрет императрицы Жозефины. Другая — чтобы не называть ее, скажу просто: седьмая — в один прекрасный день сбежала из дому — никто не знал, а теперь и она сама уже не знает почему — и вернулась через три месяца, не обновив своих туалетов, но после этого вояжа у нее появилась такая смиренная улыбка, что даже братья Дюма теперь ей кланяются. Смерть наудачу выхватывает свою добычу из всех трех кланов, отдавая, однако, некоторое предпочтение первому. Как только умирает свекор или тесть из клана Дюма, всем начинает распоряжаться свекровь или теща.

У смотрителя дорог не было цилиндра, поэтому он радовался, что принят как свой в семействе Ребек и, значит, ему меньше грозит необходимость присутствовать на похоронах, радовался до того дня, пока Амур, играя в жмурки, не поймал его, не признал и, сняв со своих глаз повязку, не украсил ею голову смотрителя.

Теперь дело заключалось в том, чтобы познакомиться с аптекаршей, а для этого была одна-единственная возможность: набраться смелости, пойти в аптеку и представиться. И вот в

одно из воскресений смотритель, полный решимости, отправился в путь.

— Я куплю йодную настойку, йод всегда нужен, — рассуждал он. — Вот уж больше года, как у меня его нет.

Но в двух шагах от аптеки он остановился, посмотрел на часы и пошел обратно, как если бы йод продавался только в строго определенное время. Смотритель возвращался, опустив голову, опустив ее, правда, не очень низко, — он боялся растереть воротничком чирей на шее, а какой бы это был прекрасный предлог купить мазь от чирьев! И он сурово осуждал себя за такое малодушие.

«Верно, я человек робкий», — подумал он.

Мимо проходила г-жа Блебе, она была в круглой шляпке с цветами. Невольно приходило на мысль, что, прежде чем идти на кладбище, она решила проветрить венок, предназначенный на могилу покойного мужа.

Смотритель дорог поймал себя на том, что улыбнулся ей.

«Нет, я совсем не робкого десятка, скорей наоборот, — подумал он, повеселев. — Держу пари, что сейчас поклонюсь поэту».

Это был чрезвычайно смелый шаг. Бомский

поэт жил отшельником, бездомным и бессемейным, как те птицы, что не вьют своего гнезда из боязни разучиться петь, собирая прутики. Он жил в гостинице, в выбеленной комнатушке и целыми днями прохаживался по узенькой тенистой аллее, наподобие голубоватой жилки соединявшей две главные артерии — национальную и департаментскую дороги, или, усевшись на краю канавы, читал такие аморальные книжки, что на их желтой обложке, как на этикетках для ядов, пришлось предосторожности ради напечатать кадуцей. Г-жа Пивото привезла как-то из Парижа томик его стихов — двести тридцать одно стихотворение, все посвященные некоей Жанне, стихотворения такие целомудренные, что в обществе строились всяческие догадки, кто эта Жанна — его мать, его невеста или Жанна д'Арк. Смотритель поклонился поэту, не глядя на него; поэт поглядел на смотрителя, не ответив на поклон.

«И госпоже Леглар тоже поклонюсь, — решил смотритель дорог. — Она не хуже других!»

Сидевшая у окна г-жа Леглар, по слухам бывшая трактирщица, проводила его оторопелым взглядом. Но, не замечая ее удивления, он уже кланялся всем окнам подряд — кланялся тем, дру-

гим, что были не хуже г-жи Леглар. Несчастный! Он не подумал, что навлечет на себя ненависть тех, кому на следующий день, отрезвев, не поклонится.

«Я пройдусь по кафе и не сяду за столик».

Он прошелся по кафе, будто бы разыскивая инспектора, хотя знал, что тот в отъезде. Он поискал его у стойки, словно инспектор только и делал, что сидел у стойки, поискал в бильярдной, оттуда он увидел аптеку, и сердце у него забилось сильней. Казалось, аптека просто часть кафе, а стоявшие там на окнах цветные сосуды легко было счесть за бутылки с пе-перментом и гренадином. Жребий был брошен: он вышел на улицу и, толкнув приоткрытую дверь, очутился в аптеке.

Там было полно народа. Аптекарь в отрывистых торопливых фразах просил его извинить.

— Ах, господин смотритель, я очень сожалею, — видите, весь город тут. Обождите у нас в спальне, ученик вас проводит.

Ученик проводил его в спальню, но потом оба — и ученик и хозяин — позабыли о нем.

IV

Смотритель дорог стоял, облокотясь о перила балкона, и удивлялся, что спальня аптекарши не подвластна, как его кабинет, постоянной угрозе солнца. Казалось, смена утра и вечера диктуется здесь не солнечным шаром, не неумолимым размахом этого гигантского маятника, ежедневно проходящего путь от Бома-пригорода до Бома-города; казалось, утро и вечер рождаются здесь сами собой, как туман над прудом, понемногу растворяясь и меняя свой облик. Если часы пробьют двенадцать, значит, можно, не раздумывая, отправляться в ресторан. Окно обвивал дикий виноград, который не нуждается в плодах, потому что вино, не дожидаясь осени, уже играет пурпуром на его листьях. На холмах блестели постепенно усыхавшие большие солнечные лужи; садики зябко жались друг к другу, видны были только изгороди, как будто даже без калиток, и коровы, привязанные к этим изгородям, верно, с того самого дня, как те были поставлены, обмахивались хвостами, отгоняя слепней.

Смотритель надел пенсне, и мир предстал перед ним в своем настоящем виде, приобрел

многоплановость; четко вырисовывались стройные березы и две дороги, соединяющие здешний городок с соседним, прямые и параллельные, как ремни в молотилке. Он увидел, что солнечные пятна на самом деле поля рапса; он мог пересчитать все сараюшки в садах, одни — продуваемые насквозь, — сейчас в них гулял ветерок, — другие — увенчанные огромными трубами в жестяных треуголках, столь же нелепыми на убогих крышах, как жандарм на тележке, запряженной осликом. И от земли отделялись звуки, становились явственнее; просмоленные телеграфные столбы гудели, словно пчелиные ульи; речка наигрывала на плотине, как на губной гармошке; собаки выли, приняв круглую вывеску на здании суда за луну, а когда их побили, еще долго жалобно подвывали, кляня свою собачью Жизнь. Бессердечные дети передразнивали их. Где-то далеко, бог знает где, поминали всуе имя божье. В подобный вечер первые люди на земле в разгар весны, вероятно, уже почувствовали неотвратимый приход зимы.

Смотритель размечтался. Он представил себе столовую, в камине ярко пылают дрова, мрамор пламенеет, как лужа на закате, и от его ног струится к ногам аптекарши; сухие стручки по-

трескивают, будто какой-то завистливый демон подсыпал в огонь соли; его можно прогнать, помешав кочергой в камине; руки тянутся к рукам, но взоры избегают встречаться, словно к глазам подступают слезы; их можно прогнать, сказав первые пришедшие на ум слова.

— Дождь не идет, — говорит она. — Идет снег.

Утверждать, что идет дождь, могут только очень унылые люди. Валит снег, небо вытряхивает на дрожащий в ознобе январь весь свой запас хинина. Но, не успев упасть, снег тут же тает, точно изгнанный демон из мести горстями сыплет на землю соль. И мечты смотрителя, не успев оформиться, тоже тают. Прямо в лицо ему светит до приторности сладкое лето и так припекает, что он, осердясь, прислоняется спиной к перилам балкона. И тут перед ним предстает кровать аптекарши.

Какая кровать у аптекарши: длинная, широкая, металлическая или орехового дерева, он, смотритель, сказать не может, — не может потому, что счастьем он не избалован и мимоходом рассмотреть кровать во всех подробностях он не в силах. К тому же спинка, как чехлом, закрыта пледом.

Это ее кровать, ее — металлическая или ореховая — не все ли равно! После свидания она

свалится на нее как сноп, когда бы она ни вернулась. Пусть в самый полдень, когда солнце стоит в зените и раздумывает, куда ему теперь спускаться: в сторону утра или в сторону вечера. Пусть в три часа дня, когда все идет вкривь и вкось, когда ей, может быть, придется встать, чтобы завести часы или поправить на стене картину. Пусть уже в сумерки, когда неохота подниматься, чтобы присмотреть за служанкой, которая накрывает на стол. В спальню долетает звон посуды, и, если рухнет горка тарелок, она не рассердится и не станет бранить прислугу: просто все трое скушают суп из десертных тарелок.

Ведь чтобы у аптекаря не возникло никаких подозрений, его, смотрителя, раз в неделю приглашают к обеду. Потом они идут прогуляться по дороге до моста, построенного его заботами. Встречные двуколки смазанной дегтем втулкой задевают его, аптекарь отчитывает возчика, а тот ругается на чем свет стоит. Они возвращаются все так же втроем; он идет по правую руку от нее по обочине, шагая через дренажные канавки. Она вскрикивает при виде гусей, индюшек, цесарок, щенков, которые едят лошадиный навоз, потому что видели, как его клюют куры. Муж, страстный охотник, идет полем по бороздам и машет ру-

ками, вспугивая жаворонков; кажется, будто он засевает ими все поле; потом он возвращается, перелезая через трещащие под ним плетни. Тогда смотритель шутливо берет руку своей спутницы, смотрит на обручальное кольцо и говорит: «Вот как, а я и не знал, что вы замужем!» — говорит очень громко, чтобы не возбудить подозрения аптекаря.

Так и росла в нем любовь, повсюду находя то, что ей нужно: дождь, солнце, гололедицу. Она была как растение — раз посаженное, оно уже не ошибется и не станет расти к центру земли, вместо того чтобы тянуться к небу… В кухне гремели тарелками, булькал на плите суп; мяукала ее кошка; вот упала горка тарелок; рыдания душили смотрителя, и, чтобы скрыть свое подлинное горе, он ухватился за первое попавшееся грустное воспоминание — стал оплакивать горбунью кузину Элизу-Адель Дюшене, шепча ее фамилию и имя.

V

Город Бом обходится без стоустой молвы, ему хватает и одних уст, даже очень маленьких — я имею в виду уста вдовушки г-жи Блебе, — так или иначе, но смотритель не пробыл и десяти минут

в аптеке, а местные дамы уже дожидались, когда он выйдет, и не спускали глаз с дверей аптеки. За ним подсматривали из окон вторых этажей, откуда, словно высунутые языки, свешивались ковры; за ним подглядывали из окон первых, притаившись за занавесками, спущенными на мутные стекла, напоминавшие полуприкрытые веками лицемерные глаза святош. Только г-жа Ребек имела мужество открыто восседать на балконе. Казалось, она возглавляет турнир, в чем ей помогают две ее родственницы, две старые девы, как говорят, близнецы, но за давностью лет утратившие сходство. Их прозвали Кисаньками, потому что они, как по уговору, томно склоняли головки на левое плечо, точно прислушиваясь, бьется ли еще у них сердце. В этот день они слышали даже биение сердца своей кузины, бившееся в унисон с ихним, потому что поведение смотрителя дорог возмущало их тоже: они горели желанием хотя бы своим присутствием испортить его победоносное появление.

По правде говоря, Ромео заставлял себя ждать; никогда еще из аптеки не выходило так много покупателей, так мало похожих на него. К тому же все способствовало нервозности ожидающих: какая-то шавка на крыльце аптеки так усердно

тявкала, словно покупатели приходили в аптеку за фрикадельками. Торговец чулками и прочим трикотажным товаром не спеша разъезжал по улице, подолгу задерживаясь у каждой двери и угрожая заслонить нагруженной верхом повозкой выход донжуана. Когда торговец опять появился под балконом, теперь уже уступая чулки по тринадцати су за пару, г-жа Ребек и обе Кисаньки не могли скрыть свое возмущение. На мгновение показалось, что он сейчас смахнет пыль со всех трех длинными перяными метелками, которые висели у него на плече… Время дня, небо, солнце — все, казалось, благоприятствовало любви; если бы кто послюнил палец, чтобы узнать, откуда дует ветер, палец не высох бы и за полчаса, а если б он провел им по стеклу или по дереву, звук как две капли воды походил бы на воркование голубки.

Наконец Аттила появился. Он шел, опустив голову, словно в ней не нашлось ничего, чем бы уравновесить его рот, перегруженный поцелуями; а может быть, он проверял, хорошо ли завязал шнурки на ботинках; губы у смотрителя были ярко-красные, и невольно приходило на ум, что аптекарша то ли шутки ради, то ли из озорства измазала их губной помадой. Он на-

гнулся и погладил собачонку, а она, грубиянка, отблагодарила его, погнавшись за кошкой г-жи Ребек. Потом он вынул из кармана часы, взглянул на них, поморщился и вошел в лавку часовщика, словно стрелки на циферблате остановились, зафиксировав минуту его блаженства.

И г-жа Ребек почувствовала на своем плече чью-то головку. Это плакала Коко. Она ронята слезинки, в которых было больше воздуха, чем влаги, они испарялись, не докатившись до первого этажа. Да, теперь все было ясно, и Коко спешила выплакаться до обеда: г-н Ребек не терпел за столом недовольных физиономий. Г-жа Ребек не плакала, но она охотно бы приподняла резким толчком склоненные головки улыбавшихся Кисанек.

Они улыбались, но вдруг лица их стали серьезными, и сколько бы они, прощаясь, ни трясли головой, они не вытряхнули печальную тень, залегшую у них в морщинах. Они молча поцеловали Коко и торопливо ушли, забыв поздороваться с Моро, помощником мэра, который мог обеспечить их брату десятую долю взимаемых им муниципальных сборов. Они шли, склонив голову на левое плечо, а следом за ними шел мальчуган и передразнивал их. С балкона можно

было подумать, что это их сынок.

VI

Злаки перли из земли; стрекозы, сбившись с пути у моста, летали как ошалелые, над дорогами, принимая их за реки и недоумевая, в какую же сторону они текут. Собаки, которых звали просто по имени, Блэк или Миро, долго лаяли вслед каждому прохожему, оповещая его, какого они роду-племени.

Четверо дорожных рабочих переделывали на клумбы прежние огородные грядки — смотритель собирался принимать в будущем саду аптекаршу. Они привыкли ворочать камни, и вскапывать землю казалось им легкой работой; иногда они в шутку швыряли друг в друга комья земли. Но на цветы вкусы у них были разные. Беноша любил герань, потому что ее не любят муравьи. Пази герани терпеть не мог, потому что она пахнет сардинками, а Баду равнодушно слушал их препирательства, потому что никогда не нюхал цветов и, чтобы угодить спорщикам, охотно засеял бы клумбы хоть травой. Время от времени смотритель выходил их утихомирить и насвистывал, стоя на пороге.

С того дня, когда он увидел спальню аптекарши, в его душе пели райские птицы. Зевая, он широко открывал рот, словно впервые в жизни вдыхал воздух; ему хотелось бы сидеть в кресле, не опираясь на подлокотники; ему хотелось бы ходить, не передвигая ног; он завидовал крестьянам, которые шагали впереди повозки, спиной к ярму, так что казалось, будто их подталкивают сзади волы. Его демисезонный костюм вдруг стал ему слишком тяжел, и тут же явился портной; он предложил английскую материю, будто созданную для визитки, — впрочем, и для пиджака она тоже вполне годилась, — и быстро ушел, торопясь приступить к шитью. Теперь смотритель понимал, для чего нужны качели и гамаки, и проектировал повесить гамак из рыбачьей сети, конфискованной одним из его сторожей, потому что ячейки в ней были не положенной ширины. Аптекарша, оступаясь и все же смеясь, заберется к нему в гамак, как купальщица, которая, наплававшись, опять садится в лодку. Гамак, словно вуалью, покроет ее корсаж и юбку. Сеть гамака неизбежно подтолкнет их друг к другу, а уж он постарается, чтобы она укрыла их с головой.

— Дорогая Венера, — скажет он.

— Дорогой мой Марс, — ответит она.

Сеть гамака выдавит на ее обнаженных руках тысячи ромбиков, и в каждом хватит места для поцелуя. Для губ ячейки в сети окажутся как раз «положенной» ширины.

Они будут болтать просто так, чтобы поболтать.

— Не находите ли вы странным, — скажет он, — что молодым людям запрещают жить с любовницами, пугая их чахоткой, но как только они женятся, пусть даже на своей прежней любовнице, никакая чахотка им уже не страшна. Вот ведь нелепость!

— Да, — покраснев, шепнет аптекарша.

Он научит ее не верить общепринятым взглядам на брак, на религию.

— Вы, может, представляете себе Иисуса Христа юношей с женственными чертами лица, с русыми волнистыми волосами?

— А разве это не так? Почему? — спросит она.

Он улыбнется:

— Потому что это не так, любимая. Он был небольшого роста, сухой и черноволосый. Не забывайте, любимая, не забывайте, что он был евреем.

— Я люблю тебя, — скажет она, — люблю всем сердцем.

И за такой болтовней они позабудут, что их любовь — адюльтер, как дети, сосущие ячменный сахар, забывают, что это ячмень.

Так мечтал смотритель, сидя над своими бумагами. Тут он услышал, что на крыльце кто-то чистит о скребок ноги, потом раздался стук в дверь. Он не откликнулся: нищие тоже чистят о скребок ноги, хоть они и не гости; случается, звонит и служанка, позабывшая свой ключ.

«Пускай отыщет, — подумал смотритель дорог, — а если не отыщет, пускай закажет другой, за свой счет. И пусть только попробует не убрать вовремя у меня в спальне!»

Но на крыльце стояли обе Кисаньки, подняв головы к небу, словно ожидая, что со второго этажа им спустят веревочную лестницу. Сердечко у них в груди дрожало, словно ядрышко ореха в своей скорлупе. Старшая опустила глаза на каменный порожек, на котором какой-то озорник вывел углем: «Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю!» — и, смутившись, снова постучала, втайне желая, чтобы служанки не было дома. Ее и не было дома. Открыл дверь сам смотритель и так внезапно, что они испугались. Он улыбнулся и провел их в кабинет. Младшая упредила его.

— Нет, мы не сядем, — сказала она. — Простите

нас, старых дев, не умеющих золотить пилюлю. Мы не сядем.

Сова у нее на шляпке распластала крылья, словно высиживала коварные замыслы.

Он, все так же улыбаясь, ответил:

— Ваша сестрица сядет. Вот это кресло приглашает вашу сестрицу. Я позволю себе также откупорить бутылочку лимонада.

Младшая стала агрессивной.

— Моя сестрица, если ей угодно, может сесть. Может, для вашего удовольствия, если ей заблагорассудится, выпить лимонада, хотя она отлично знает, что таит в себе ваш лимонад. Лично я скажу вам только одно: ваше ухаживание скомпрометировало Коко Ребек, нашу родственницу. Ради нее вы обязаны прекратить беспутный образ жизни.

Ошеломленный смотритель, глядя на нее в упор, ответил намеренно грубо:

— Но, простите, вы ошибаетесь. Беспутный образ жизни ведет господин Ребек, папаша мадемуазель Коко, связавшийся с Красоткой Фатьмой!

Младшая Кисанька покраснела от обиды и крикнула:

— Так, по-вашему, нашу соседку любит он?

— Какую соседку?

— Эту, бесстыжую!

— Какую бесстыжую?

— Аптекаршу!

Вы, может, видели, как рушатся карточные замки; или же видели в сумерках руины настоящих замков из гранита и мрамора; видели, как в лучах заката пылают на горных хребтах оседлавшие их массивные стены с такими огромными башнями, что туда по широким лестницам можно въехать верхом; или, может быть, вы видели крошечную дачку на холме, примостившуюся тут, как больной ребенок, и неизвестно почему облюбованную молнией. Вот так же рухнули все надежды смотрителя. Он только нашел в себе силы сказать:

— Вот дверь, сударыни.

Они, не понимая, посмотрели на дверь, словно ждали, что он по порядку перечислит им все в кабинете: вот окно, вот потолок, вот корзина для бумаг. Но, впрочем, смотритель и сам не хотел, чтобы они тут же исчезли. Он цеплялся за них, как утопающий цепляется за первую попавшуюся доску, пусть это будет доска с корабля, протаранившего его судно.

— А вы сами, сударыни, вы сами никогда не любили?

Они опустили головы. В свое время обе, конеч-

но, любили и, порывшись немножко в памяти, обязательно вспомнили бы: вспомнили бы кузена, который целовал их только в щечку, когда они в смущении склоняли головки; другой кузен, видимо, не знал, которую выбрать, если умер, так и не остановившись ни на той, ни на другой, — и как они жаждали познакомиться с братом г-на Блебе — тенором; и если бы Пьер Лоти предстал перед ними, моля или угрожая, ах, как горячо они бы его полюбили! Младшая Кисанька раскаялась в том, что была так жестока. Она сказала:

— Нет, мы не требуем, чтобы вы порвали с ней тут же. Госпожа Ребек пригласит вас провести воскресенье у нее на вилле в Антраге. Не отказывайтесь. Аптекарша тоже там будет. Мы обещаем. У вас достанет времени, чтобы сказать друг другу «прости». И никто никогда не узнает, что было между вами.

Никто также никогда не узнает, как исчезли Кисань-ки. Оторопевший смотритель дорог сидел один у себя в кабинете; стук в дверь вывел его из оцепенения. Вошел Бенош: что посадить на клумбах — герань или циннии?

— Что угодно, хоть конский навоз, — ответил смотритель.

Потом он подошел к окну и как только опустил

голову, так сразу и заплакал. Дул очень сырой ветер, и слезы не высыхали. Они лились и лились, а смотритель подставлял носовой платок и думал: «Ни разу в жизни, да, ни разу у меня не шла так сильно кровь носом!»

VII

Сесть незамеченным в третий класс десятичасового поезда, в котором ехали в Антраг гости г-жи Ребек, можно было двояким способом. Смотритель дорог мог прийти за час до отхода и забраться в один из передних вагонов или, сделав вид, что опаздывает, вскочить в последнюю минуту в последний вагон. В Антраге он рассчитывал быстро выпрыгнуть из поезда и дожидаться дам на платформе около вагона второго класса. Он запасся терпением и, только когда часы пробили десять, выскочил из почтово-транспортной конторы, где просидел двадцать минут, показавшихся ему целой вечностью.

Возможно, в пути суждено было произойти крушению, потому что перед ним, как перед приговоренным к смерти у помоста с гильотиной, за несколько секунд, точно в панораме, прошла вся его жизнь: Ле-Пюи, где он родился, Париж,

где, вероятно, умрет; и он уже собирался перелистать свое прошлое, точно список полученных им наград, потому что знал себя за человека добродетельного, трудолюбивого и честного; но тут среди его мирного бытия встали три или четыре порочащих воспоминания, словно утесы среди его родного города; они возвышались даже над самыми скромными его воспоминаниями, все же не закрывая их своей тенью. Было такое сентябрьское воскресенье, когда он грубо, незаслуженно оскорбил кузину; был такой вечер, когда на занятиях в лицее он присвоил коллекцию марок; был и такой день, когда он, сдав очередной экзамен, навестил известную улочку в Клермоне, и единственным оправданием может служить ему то, что он сдавал в этот день экзамен не за первый, а за второй класс; был, наконец, и такой день, когда он нанюхался гашиша и с трудом волочил свое тело, которое за все зацеплялось, ноги прилипали к тротуару и растягивались, как тянучка, воздух расплющивал руки, как вода в ванне. Был также и такой день… был также… но поезд тронулся, и дверь закрылась.

Впрочем, вероятность крушения была ничтожна: паровоз для вящей безопасности почти все время шел вдоль шоссейной дороги, а в туннелях

непрерывно свистел, вроде тех путников, что для храбрости поют в лесу.

К тому же в случае столкновения смотритель был бы предан земле как нельзя более элегантно одетым. Погруженный в безутешную скорбь, он надел лакированные ботинки и бархатный жилет и теперь не садился, не зная, что предпочтительнее: уберечь от износа брюки или фалды визитки. Он стоял у окна, снедаемый сомнениями, и думал, за сколько вагонов от него едет аптекарша и едет ли она вообще; а что, если она одна из тех бесчисленных девушек, которые в этот воскресный день высыпали на природу? Где только их не было! Они гуляли по берегу канала и любовались своим поясным отражением в его маслянистой воде, трепетным, как огонек ночника; они гуляли по берегам быстрых рек, которые тщетно старались унести их отражения, оторвать их, перекрутить, как ветер перекручивает сохнущие на веревках полотенца, и недоумевали, какие веревки держат эти образы так крепко; они стояли у железнодорожных переездов, облокотясь на шлагбаум, и посылали поезду воздушные поцелуи, и поезд, тронутый их вниманием, на минуту замедлял ход; они сидели на теннисной площадке, уже наигравшись, и завтракали, слов-

но по ошибке вместо мячиков захватили крутые яйца; они стояли на террасах, лежали на склонах холмов, поднимались на цыпочки, чтобы дотянуться до ежевики, наклонялись и что-то искали в траве, не то трилистник о четырех листиках, не то оброненный носовой платок; они покусывали цветы, провожали глазами поезд, хотя глаз их почти не было видно, махали найденным платком; кричали, смеялись, кашляли, хотя голоса их не было слышно, но он кружил у самых их уст и в любую минуту мог влететь обратно, как пчела, вылетевшая из улья. А молодых людей совсем не было видно.

Толпа гостей г-жи Ребек уже уходила со станции, но неожиданно их остановили крики и шум, несшиеся с платформы: смотритель дорог, запертый в купе третьего класса, отчаянно жестикулировал, а поезд, устыдившись, что ссадил такую уйму пассажиров, непрерывно свистел, как бы давая ему понять — от катастрофы не зарекайся! Выпущенный наконец на волю, смотритель, сняв из кокетства пенсне, направился к гостям и сразу приметил незнакомую бледную даму, как раз похожую на всех тех девушек, которых он видел из окна вагона.

Это могла быть только она. Ее божественная

грудь вздымалась под трепет ее ресниц. Старшая Кисанька представила его:

— Господин смотритель дорог.

Он сокрушенно пробормотал:

— Ах, сударыня! Ах, сударыня!

Она с удивлением разглядывала смотрителя, а младшая Кисанька уже представляла его другой даме, на которую он не обратил никакого внимания, и она, разобиженная его неучтивостью, прошла вперед с г-ном Пивото.

Смотритель предложил первой даме руку, не будучи уверен, куда ее деть. Она касалась его руки только кончиками пальцев, а ему чудилось, будто он несет ее в своих объятиях. Из глаз его скатилась слеза. Он сам не знал отчего и подумал, как думают дети, когда при ярком солнце идет дождь: это черт с женой дерется. Другая слеза упала на руку его дамы.

— Смотрите, дождь, — сказала она.

— Но это не с неба, — ответил он.

— Верно, набежало облако, — сказала она.

— Оно пронесется, — ответил он.

Он готов был тысячу лет проболтать так с ней, намеренно перемежая радость и горе. Он глядел на нее, такую тоненькую, такую чистую, и в голове его шевелились безрассудные мысли, он

думал: а что, если она, несмотря на замужество, все еще девушка? Может, старик аптекарь женился на ней, чтобы избавить ее от жестокого опекуна. А может, он слишком понадеялся на свои пилюли. Смотритель шел молча, чтобы ничто не мешало ему слушать шелест и шорох ее платья. Коко Ребек обогнала их, принудив себя улыбнуться. Они заговорили о ней.

— Как вы находите, господин смотритель, ведь правда Коко изменилась за последние дни? Она стала женщиной!

— Стала женщиной? — недоверчиво переспросил он.

— Да, господин смотритель, и это меня не удивляет. Она из тех, что ложатся спать девочками, а встают взрослыми барышнями. В одно прекрасное утро они расстаются с куклами и косичками. Она из тех, чье тело послушно законам, устанавливающим возраст совершеннолетия, возраст брака, а после двадцати одного года они вдруг приходят в замешательство, потому что кодексом не определено, с какого года считать женщину зрелой, с какого — старой. Словом, она из тех, кому господь бог отпустил жизнь не целой ковригой, а ломтями, чтобы съесть ее за семейным столом.

Смотритель мысленно повторял каждую из сказанных его спутницей фраз и применял их к ней самой.

— Нет, господин смотритель, я созревала медленно, для самой себя незаметно и не придавала этому значения. Я родилась со всеми тридцатью двумя зубами; мои волосы порыжели с годами, а в день появления на свет они были светло-пепельными, на всех своих фотографиях я все та же. Жизнь моя течет, словно канал без шлюзов, сам проложивший себе водоскат. Я приду к смерти, как приходят к морю, совершенно естественно, постепенно идя под уклон. Меня положат на мою девичью постель и подвяжут мне подбородок платком, которым Амур ни разу не завязал мне глаза.

Вокруг них расстилались вечные, не знающие ни молодости, ни старости поля и воскресные дни, накладывая свой праздничный глянец на эмалевую поверхность рек и прудов, и думалось, что пить из них воду небезопасно: можно заполучить аппендицит. Их встречали своим ароматом бесчисленные цветы, и каждый запах вызывал определенное воспоминание — былые горести и радости, уже потускневшие и стершиеся, виделись, как в стереоскопе, приобретали

объемность. Стоило смотрителю взглянуть на аптекаршу — и воздух дышал анемонами, настурциями, остролистом; стоило ему взглянуть на поля — и воздух дышал аптекаршей.

Он сказал:

— Я стал мужчиной сразу, в один вечер, приблизительно в пору экзаменов на бакалавра.

В небе сталкивались и таяли ледяные горы. Воркующая горлица, высунув из гнезда головку, щеголяла своим обручальным кольцом. Смотрителю хотелось, чтобы аптекарша стала совсем маленькой, чтобы он мог взять ее на ладонь и нежно, чуть касаясь губами, целовать, как горлица целует своего птенца.

До них долетал только голос г-на Пивото, который шел в авангарде и говорил своей даме:

— Ну да, я оставил охоту и занялся фотографией. Теперь я охочусь не за куропатками, а за ландшафтами, и это ничуть не легче. Они тоже прячутся в скалах, в заповедниках; увидишь с дороги пейзаж, подымешься в гору, кажется, вот-вот и он пойман, не тут-то было, он уже спрятался в свою нору. Приятнее всего маленькие, простенькие ландшафты: так, два дерева, мостик, автомобиль у обочины. Вот это, сударыня, стоящие ландшафты.

— А нас вы не снимете? — умильно попросили Ки-саньки.

— С величайшим удовольствием. Готово!

— Уже, — недовольно протянула г-жа Дантон, которая всячески старалась сделать рот бантиком, выворачивала свои и без того вывернутые губы и снова стягивала, сжимала их, покусывала уголки рта. — Какой вы смешной! Где уж тут позировать, раз снимок моментальный. Вы даже не заметили, что нас тринадцать.

— На снимке будет четырнадцать, — возразил он. — Дама господина смотрителя выйдет о двух головах. Она как раз вовремя повернулась к своему кавалеру.

Он покраснел. Она покраснела. Не помня себя от счастья, он рвал заячий овес и дул на него, стараясь в подтверждение того, что любим, сразу сдуть с колоска все пушинки. Он спутал заячий овес с одуванчиком. Г-н Пивото быстрыми шагами пошел вперед, чтобы проявить пластинку. Навстречу подходившим к вилле гостям он выбежал из темной комнаты в полном расстройстве чувств.

— Черт знает что, — вопил он, — проявитель превратился у меня в закрепитель!

Госпожа Дантон могла бы это предсказать.

VIII

Полдень. Непонятно, как это не перепутались между собой крепко сцепившиеся на перекрестках дороги. Каменотесы кончают работу; доносятся последние равномерные и глухие удары молота, будто бьют солнечные часы. Даже со дна колодца нельзя увидать звезды; чопорные гелиотропы подымают головки; кошки с тигровой шкурой растягиваются, как пружины, — хвост на свету, голова в тени, зрачок их зеленых глаз плавится от жары. Не надо бояться, что солнце стоит над самой головой: даже если оно сорвется, успеешь двадцать раз умереть, прежде чем оно долетит. Часы бьют и не считают ударов, в полной уверенности, что, сколько ни пробей, беды в том не будет — все равно не узнаешь, когда наступил полдень — на шестом или на двенадцатом ударе. Смотритель дорог всегда уважал границы, уважал все рубежи, как между французскими департаментами, так и между дневными часами; он любил ложиться спать ровно в полночь, так же как ему нравилось, чтобы на рубеже, отделяющем Бурбоннэ от Берри, правая нога у него была в департаменте Шер, а левая в Алье или чтобы

тело его было в одной из этих провинций, а тень от него в другой.

Итак, тень смотрителя была по ту сторону полдня и уже кушала суп, как вдруг внезапное, словно удар хлыста, происшествие перебросило его через положенный предел. На его соседку напала икота. Сначала икота вела себя скромно, довольствовалась равномерными толчками в грудь, словно сердце тоже отбивало двенадцать часов; но потом икота усилилась, перешла в затяжное рыдание, будто суп пробуждал в его даме тяжкие думы. Теперь все гости ели с опаской, и каждый рекомендовал радикальные средства излечения. Г-н Пивото советовал ей ущипнуть себя за мизинец, а г-н Ребек — задержать дыхание, пока не прекратится икота; г-жа Дантон велела принести огромный ключ и собиралась приложить его к плечам болящей, но тут ей напомнили, что она спутала икоту с кровотечением из носу; потом смотритель дорог потребовал, чтобы бедняжка зажала уши и выпила маленькими глотками из его рук стакан холодной воды. Но тут раздался громкий крик:

— Господа, господа, под столом горит пол!

Все в страхе вскочили, кроме самой болящей — ведь ей ничего не было слышно, — и тут же,

улыбаясь, сели опять за стол: г-н Дантон жалобным голосом признался, что думал излечить икоту страхом. Впрочем, мысль эта была неплохая, и теперь все наперебой старались напугать соседку смотрителя: г-н Ребек неожиданно поцеловал ее в шею, вероятно тоже спутав икоту с кровотечением из носу; кто-то прочитал телеграмму, из которой явствовало, что Бом разрушен землетрясением; но она заявила, что, по словам одного врача, икать она будет до самой смерти и никакое волнение ей не поможет. Она встала и под руку со смотрителем дорог вышла из столовой.

Они молча углубились в парк. Вдоль аллеи деловито ползли лесные клопы; скрытые под своими розовыми крылышками, они смахивали на муравьев с грузом земляники. Дубы, привязанные друг к другу бельевой веревкой, как альпинисты на краю пропасти, осмелились осторожно спуститься к реке, и самый отважный с благоговением пил, протянув корни наподобие хоботов.

Болящая тоже нагнулась к воде, оступилась, вскрикнула — и… икота прошла.

Теперь, стряхнув с себя тяжесть, они, как дети, сделавшие уроки, могли гулять в свое удоволь-

ствие. Они уселись в тени бука, мириады насекомых плясали вокруг; легкий ветерок приподымал листья, обнаруживая их белую подкладку; вдали дремала припудренная пылью вилла с окнами, обложенными кирпичом и похожими на губы, накрашенные помадой.

— Мне снилось, что вас зовут Мари-Мадлена.

Он нашел способ не робеть, переложив всю ответственность за свои слова на сон, и теперь он ни перед чем не останавливался.

— Вы почти угадали, — ответила она, — мое имя начинается с Мари…

Но ведь все женские имена начинаются с Мари — все равно, произносится это имя или нет, точно так же как имена всех египтян оканчиваются на «бей». И все же смотритель попытался угадать, вспомнив стишок, который в свое время выучил наизусть: «Мари-Мадлена свежа, как вербена; Мари-Роза нежна, как мимоза; Мари-Луиза — цветок без каприза».

Он осмелел:

— Мне приснилось, что я на коленях молил вас произнести ваше имя и что, кроме того, я поцеловал вам руку.

— А не снилось ли вам, — заметила она, — что идет дождь?

Он как раз хотел это сказать: дождь пробивался даже через листву. Капля упала на сухие губы Мари-Луизы и расплылась, как клякса на промокашке. Они встали, чтобы предоставить дождю меньшую поверхность, и углубились в лесную поросль. Листья падали, их срывала и уносила вода, высыхая по дороге. Сбросив с себя груз дождя, они кружились в воздухе. Смотрителя одолевала любовь. Он заговорил:

— Может, вы представляете себе Иисуса Христа юношей с женственными чертами, с русыми волнистыми волосами?

Она остановилась, ничего не ответив. Она раздавила лягушонка, спешившего спрятаться от дождя в пруд. Маленькое сердечко еще билось и приподнимало пятнистое брюшко. Она рассматривала лягушонка, стараясь заглушить грусть, и улыбалась, утверждая в свое оправдание, что мертвые лягушки похожи на жаб. Потом она раздавила жука, оставшаяся на этот раз кашица ни на что не была похожа; потом — кузнечика, от которого уцелели только длинные лапки: казалось, он сделал огромный прыжок, позабыв на дорожке свои костыли. Улитке с трудом удалось от нее спастись.

Но смотрителя дорог эта бойня не пугала. Он

знал, что любовь сродни смерти; ему хотелось, чтобы она раздавила еще и птицу или розу, — словом, он жаждал увидеть кровь. А может, с верхушки дуба как раз вовремя свалится дровосек…

— Мари-Луиза, — прошептал он, — Мари-Луиза, я думаю, вы всегда будете моей любимой Мари-Луизой?

Она насмешливо отпарировала:

— А ваша аптекарша? Она кто?

Он в замешательстве посмотрел на нее. Охваченный беспокойством, он надел пенсне и тогда понял свою ошибку.

— Ну да, вы увязались за несчастной старой девой, — продолжала обманщица, — и бросили вашу аптекаршу. Вы даже не успеете с ней проститься, она уезжает с поездом в два тридцать.

Тогда он вспомнил ту даму на станции, которой был наспех представлен, вспомнил, что она ушла под руку с г-ном Пивото, вспомнил и тут же бросился бежать.

Он бежал на станцию. Бежал, не зная, где станция, ведомый инстинктом, как поезд, который предоставляет рельсам указывать ему путь. Шляпа повисла на ветке, визитка изодралась о колючки, — не все ли равно, только бы уцелели

башмаки и можно было бежать дальше; разорванные штанины болтались и обдували ноги от щиколотки до колен; он позабыл обо всем, он помнил только о плохо зажившем волдыре: что, если волдырь опять откроется и тогда придется ковылять на пятке? Ах, черт, будь у него хоть камешек во рту, тогда не так бы хотелось пить! И вдруг перед ним в рамке из кипарисов и тиса предстал вокзал, надменный, как дом священника. И колокол звонил, возвещая похоронным звоном не то о прибытии поезда, не то об отчаянии смотрителя. В зале ожидания он видел молодую женщину с охапкой дрока, она стояла потупясь, опустив, словно виноградные листья, ресницы на сулящие блаженство глаза. Он пролез через кустарник, отделявший поля от шоссе, но позабыл, что в этом кантоне канавы на двадцать сантиметров шире, чем в его. Он упал, стукнулся головой о землю и остался лежать: сердце билось в груди, как стенные часы в покинутом доме.

Когда он пришел в себя, он увидел, что лежит на шезлонге в гостиной на вилле г-жи Ребек. По правую руку от него стояла Мари-Луиза, по левую — Коко Ребек, в головах — Елена, его бывшая любовница, ходившая на поденную к богатым соседям. Он даже не удивился. Так вытащенный

после катастрофы из шахты шахтер не удивляется, почему возле него собралась вся семья. А три женщины улыбались друг другу, как улыбаются три кузины, узнав, что их кузен потерял единственную сестру и теперь они самые близкие ему родственницы.

ПЬЕР МАК ОРЛАН
(1882–1970)

Настоящее имя писателя — Пьер Дюмарше. Родился он в городе Перонна, в семье офицера, уроженца Фландрии. Осиротев, прошел школу жизни на парижском дне: в мире богемы и люмпен-пролетариата. По прихоти богатой меценатки ему посчастливилось повидать Италию. Возвратившись в Париж, Мак Орлан сочиняет песенки, простые и дерзкие, и продает их на кафешантанном рынке.

Мак Орлан-рассказчик забавлял рантье и сам потешался над ними, порой задыхаясь от бессильной ярости (сборник новелл «Лапки кверху», 1911; повесть «Желтый смех», 1914). В солдатской шинели он исходил немало военных дорог (книга очерков «Мертвые рыбы», 1917), на фронте получил ранение, в разгар империалистической бойни разил сатирой прусский милитаризм, культ слепого повиновения (повесть «Ю-713», 1917).

Послевоенные будни ужаснули Мак Орлана, показались ему чередой зловещих призраков, терзающих живых людей (роман «На борту «Утренней

звезды», 1920; повесть «Коварство», 1923). Романтическая критика буржуазной цивилизации прозвучала в творчестве писателя отчетливо и крайне экспрессивно. Но его романтизм в те годы — это и мистификация реальности (эссе «Учебник настоящего авантюриста», 1920), выражение отчаяния и страха перед власть имущими. Им в угоду Мак Орлан шаржировал революцию, воспринимаемую им как гротескное светопреставление (роман «Эльза-кава-леристка», 1921).

Писатель выходил из зоны мертвых вод декаданса (повесть «Ночная Маргарита», 1924; роман «Набережная туманов», 1927), сострадая жертвам социального зла, развенчивая тех, для кого война — всего лишь опасное приключение (детективный роман «Лагерь Домино», 1937). В патриотической «Хронике конца одного мира» (1940) Пьер Мак Орлан сформулировал идею «социального романтизма», оказавшую воздействие на творчество Лану, Шаброля, Кла-веля. Все шире открывая окно в реальность («Предрассветный дневник», 1955), он обретал подлинную веру в грядущее (эссе «Колокол Сорбонны», 1959) и в мужество людей доброй воли («Воспоминания в песнях», 1965).

Умудренный опытом истории XX века, Мак

Орлан незадолго до смерти сказал: «...Россия — страна, с которой мы можем отлично ладить. Француз и русский — близки друг другу».

Pierre Mac Orlan: «Les pattes en l'air» («Лапки кверху»), 1911; «Les contes de la pipe en terre» («Рассказы глиняной трубки»), 1914; «Les bourreurs de crane» («Мастера морочить голову»), 1917; «Malice» («Коварство»), 1923.

«Превратность судьбы» («L'aventure») и «Сад в Шпейере» («Le jar din de Spire») входят в сборник «Коварство».

В. Балашов

Сад в Шпейере

Перевод О. Моисеенко

Тень от собора падала на самую большую лужайку Домкирххофа, цветники которого тянутся вдоль мутного ручейка вплоть до самого Рейна, вольно раскинувшегося между пологими берегами.

В конце жаркого дня, под высокими, затейливо подстриженными липами молодые девушки в

голубых, розовых, белых платьях и в туфельках с бантами являли взору умиротворяющую прелесть своих мещанских добродетелей. В этот час они казались не менее красивыми и воздушными, чем легкие стрекозы. Сидя в холодке, отцы и матери подтверждали своим присутствием, что ни один необузданный фавн не подстерегает под густыми деревьями их дочерей. Парк простодушно предоставлял гуляющим свои уютные уголки, не таившие никаких неожиданностей.

Бессильно опустившись на скамью в тени высокого собора, словно вырезанного светом полной луны из черного картона ночи, какой-то человек, с виду молодой и благовоспитанный, поглядывал, скрестив на коленях руки, на то, как увлекшиеся игрой девушки отбивали ракеткой маленькие воланы, обшитые золотой тесьмой.

Несмотря на сумрак, можно было рассмотреть, что незнакомец изящно одет. Треуголка прикрывала его напудренный парик, белые чулки подчеркивали юношескую стройность ног. Своей тростью он чертил какие-то знаки по песку аллеи. Он смотрел на землю и на кончик трости и, по-видимому, был равнодушен к забавам барышень — дочерей горожан. Весь его облик свидетельствовал о полном упадке духа.

Раздумье одинокого посетителя было прервано появлением молодого человека, запыхавшегося от быстрого бега. Этот незнакомец, тоже весьма добропорядочный на вид, упал на каменную скамью рядом с меланхолическим мечтателем. Он проговорил со вздохом: «Боже мой, боже мой! Я дешево отделался!» — и закрыл лицо руками. Человек с тростью стал чертить по песку справа налево и слева направо, словно маятник, какие-то непонятные кривые.

— О, mein Herr[28], — простонал новоприбывший, прижав руки к сердцу, — я слишком страдаю. Mein Herr, я не выдержу этой борьбы. Обратите внимание на то, как бьется мое сердце. Слушайте… слушайте… Недалек тот день или тот вечер, когда грудь моя разорвется… я слишком страдаю!

— Не знаю, mein Herr, — ответил первый, — так ли велики ваши страдания, как вы это утверждаете. Я и сам сгораю от внутреннего огня, и это мешает мне сочувствовать чужому горю. Мое сердце бьется спокойнее вашего, но прислушайтесь, и вы убедитесь, что кровь стучит у меня в висках. Когда-нибудь под ее напором

---

[28] Примечания: 28
Милостивый государь *(нем.)*.

мои вены лопнут, и наступит конец. Я страшусь этого исхода и, словно какой-нибудь лавочник, веду постоянную борьбу, чтобы отсрочить его. Забудем, mein Herr.

О наших невзгодах и, поскольку тень собора защищает нас, поглядим лучше на этих девушек, в которых люди более счастливые, чем мы, видят целительный бальзам.

— Ни слова больше! — воскликнул запыхавшийся человек. — Если я не ослышался, вы произнесли слово «тень»?

— Увы, — молвил человек с тростью.

Наступила тишина, прерываемая только девичьими голосами. Затем материнский ласковый голос созвал барышень, резвившихся на лужайке.

— Mein Herr, я смутно чувствую, что нас с вами роднит одинаковая судьба, — сказал человек с шумно бьющимся сердцем.

Светлые платья исчезли, направившись на зов отдаленного колокола. Теперь уже ничего не было слышно, кроме шелеста листвы.

— Быть может, — вздохнул молодой человек, первым опустившийся на скамью, — не знаю, какая душевная боль вынуждает меня сегодня вечером разговаривать с вами, — быть может,

мое имя лишь пустой звук для вас: меня зовут Петер Шлемиль.

— А меня Ганс Грюль, — заявил второй.

Петер Шлемиль отвесил поклон и снова заговорил:

— Итак, надо вам сказать, — по всей вероятности, вы ни о чем не догадываетесь, — что я продал свою тень дьяволу. Я продал свою тень из корысти однажды на берегу моря, ибо богатство, которое женщины олицетворяют с таким несравненным изяществом, представилось мне конечной целью всех людских устремлений. Тень кажется пустяком, когда собираешься заключить договор с нечистым. Я заключил его. А ныне меня снедает внутренний огонь, ибо, продав свою темь, я потерял защиту от моих дурных наклонностей. В прежнее время я прятался за своей тенью, как прячусь сейчас в тени этого собора. Теперь же я лишен опоры в борьбе против самого себя и живу, слепо подчиняясь требованиям моей больной совести. Из-за нелепой щепетильности я навек расстался со своей любимой. Ах, mein Herr, никогда не продавайте своей тени. Ее дружеское присутствие позволяет нам взирать на добро и зло, гармонически сочетая их. Счастье состоит лишь в разумном сочетании этих двух начал. Че-

ловек, лишившийся тени, не может заниматься такими умозрительными построениями.

Слушая Петера Шлемиля, Ганс Грюль вскочил со скамьи и в сильном волнении принялся ходить взад и вперед по аллее. Он случайно вышел из темноты, и вся его фигура отчетливо выступила в лунном свете. Было ясно видно, как тень вытянулась у его ног, словно чудовищный паяц. Ганс Грюль сделал огромный прыжок и снова оказался во мраке.

— Вы видели? — спросил он.

— Что?

— Мою тень, несчастный!

— Завидую вашей удаче, — простонал Петер Шле-миль.

— Моей удаче?! — И Ганс Грюль горько рассмеял-с я. — Я был прежде таким, как вы, mein Herr, — у меня не было тени, и я жил ни хорошо, ни плохо — по сравнению с моим теперешним положением. Купил ее тот же нечистый, что купил и вашу тень. Потом, в зависимости от обстоятельств, я то умолял его, то проклинал и в конце концов заключил новую сделку. Вы видели ее результат. Тень была мне возвращена, — добавил Ганс Грюль, понизив голос, — в обмен на новый договор, по обычаю скрепленный кровью.

С тех пор тень следует за мною по пятам, как всякая благовоспитанная тень. Но слушайте внимательно: мне сразу же показалось, — а теперь я убежден в этом, — что она замыслила недоброе по отношению к своему хозяину. Я боюсь своей тени, Петер Шлемиль! Боюсь этой враждебной, этой злобной тени. Она появляется лишь для того, чтобы склонить меня на ложный шаг и попытаться задушить. Тот, кто купил мою тень, испортил ее, внушил ей кровожадные умыслы. Я повсюду таскаю за собой бесплотного врага, который поджидает удобной минуты, не зная, когда лучше совершить убийство — при лунном свете или в обличительных лучах солнца. Петер Шле-миль, давайте вернемся на постоялый двор, пользуясь благодетельной тенью домов, которые выстроились по правую руку от нас… я заметил это… O, mein Herr, с тенью или без тени, но оба мы погубили свою жизнь.

Превратность судьбы

Перевод О. Моисеенко

Молодой человек по имени Варлен влюбился в Алису Грей, потому что встретил ее на теннисном корте в Отейле. Впрочем, девушка была

очаровательна, и белый костюм очень шел к ней. Подавая мяч, она с врожденной грацией изгибала стан, а ее голос напоминал голос сирены, которая говорила бы с легким английским акцентом. Варлен вступил на поприще влюбленного с единственной надеждой два или три раза в неделю служить ей партнером. Он родился в мещанской среде и в своем воображении никогда не выходил за пределы обыденной жизни. Семьи их не были знакомы — обстоятельство, которое отнюдь не способствовало тому, чтобы уладить дело и довести этот флирт до логического конца, способного удовлетворить, по крайней мере, одного из молодых людей.

Но частые встречи с этой хорошенькой девушкой, веселой и сдержанной, привели к тому, что в игру вмешалась любовь и превратила восемнадцатилетнего юношу в паладина нежных чувств, даровав ему сверх того страстную до исступления внутреннюю жизнь.

Итак, эта история развивалась классически до тех пор, пока юноша не преодолел своей робости и оба теннисиста не разоткровенничались; это случилось как-то октябрьским вечером, по окончании партии, когда они вышли вместе из гардеробной и он учтиво провожал ее домой.

Молодой человек умел превосходно носить костюм, и Алиса Грей не без удовольствия шла рядом с ним при скупом свете первых уличных фонарей. Девушка болтала без умолку о своей семье, о лично ей присущих вкусах, недаром же она побывала на Дальнем Востоке и в нескольких не слишком значительных африканских странах.

Варлен благоговейно слушал Алису Грей и напрасно пытался отыскать у нее слабое место, чтобы разом поразить и подчинить себе девушку, которая чувствовала себя как дома на борту любого судна.

Вечерами, у себя в комнате, он мысленно перебирал наиболее примечательные случаи из своей лицейской жизни. И по окончании этой самопроверки бывал совершенно подавлен. Но сила его любви внушала ему необходимое мужество, и он продолжал идти по избранному пути, имея перед собой одну цель — жениться на своей юной и прекрасной приятельнице.

По истечении месяца, прошедшего в описании заморских стран и в вымученных любезностях, Алиса, выйдя в один из четвергов из гардеробной корта, остановилась перед своим партнером и дружески положила ему руки на плечи.

— Я уверена, милый Варлен, — произнесла

она, — что вы меня любите, это же бросается в глаза.

Она мило улыбнулась, а юноша покраснел от удовольствия. Он вернулся домой и провел вечер словно в бреду, едва различая голоса родителей, которые доносились до него откуда-то издалека. Спал он, естественно, плохо.

— К какому решению вы пришли? — спросила у него Алиса два дня спустя.

— Но… я решил жениться на вас… мои родители…

Девушка перебила его:

— Во-первых, вы слишком молоды, дорогой Варлен, а во-вторых, я больше вас повидала на свете, мы не найдем общего языка в супружестве. Поймите, для того чтобы мы были счастливы, вы должны повидать больше, чем я. Это же логично.

И началась война между молодым человеком и его семьей, в жизнь которой внесла смятение восемнадцатилетняя англичанка. Отец и мать молодого человека были не слишком склонны поощрять его жажду приключений в далеких странах. Нет нужды приводить здесь доводы, выдвинутые обоими лагерями, чтобы одержать верх в этой борьбе. За обеденным столом, где ку-

шанья казались теперь безвкусными, конфликт нарастал с каждым днем.

Отныне при встрече с Алисой Варлен озабоченно морщил лоб. Он скромно умалчивал о семейных раздорах. Алиса болтала с ним «по-приятельски», настойчиво упирая на это слово.

— Я уезжаю, — сказал однажды Варлен.

Алиса пронзила его взглядом своих красивых спокойных глаз.

— Я уезжаю, — повторил юноша, — я говорю вам это наскоро, без лишних слов, по вашему примеру, Алиса, но когда я вернусь, вы станете моей женой.

Подойдя к Варлену, девушка приблизила свои губы к его губам, но поцелуй остался на грани едва ощутимого прикосновения. Затем, наклонившись к самому его уху, она пропела вполголоса прекрасную песню Киплинга:

Мандалей, Мандалей, где стоянка кораблей.

Где заря приходит в бухту, точно гром из-за морей…

Ставя свою исполнительницу вне игры, песня позволяла ей осторожно коснуться будущей общности их сокровенных воспоминаний.

После этого прошли годы.

Наемные солдаты Иностранного легиона, прибывшие из Тонкина, ожидали в форте Сен-Жан поезда, чтобы отправиться на тот сборный пункт, который каждый из них указал при демобилизации.

Их было человек десять, в красных кепи, в синих куртках и синих брюках колониальной пехоты. Желтые, болезненные, они неторопливо сворачивали сигареты своими исхудалыми, тонкими пальцами. Европа, однако, сразу согрела их, словно чье-то могучее целительное дыхание. Они жадно впитывали в себя дорогие их сердцу и вновь обретенные впечатления европейской жизни: их затаенная радость выражалась в неловких жестах.

Солдат 1-го иностранного полка Варлен получил железнодорожный билет вместе с остальными и вернулся в Париж, так и не сделав карьеры, ибо недостаточно уехать, чтобы снискать благосклонность судьбы. Убежав из отчего дома и безуспешно испробовав разные ремесла, в которых неопытный человек всегда бывает чужаком, он кончил тем, что поступил на военную службу ради душевного покоя и удовлетворения своего изголодавшегося желудка. И покой пришел,

отупляющий и бездумный, настала жизнь без иллюзий, переходы с места на место, по воле случая, когда ранец товарища вечно маячит у тебя перед глазами. Сегодня он возвращался домой без особой охоты, но с надеждой на теплое местечко, которое обеспечило бы ему ежевечернюю рюмку аперитива в каком-нибудь уютном кафе.

Возвращение Варлена походило на возвращение блудного сына. После семилетнего отсутствия худоба солдата искупала в глазах родителей все его прегрешения.

Вечером, после праздничного ужина, семья перешла в гостиную. Солдат благодушно курил и пил кофе, щурясь от удовольствия. Он наслаждался безоблачным счастьем и даже не слышал, как отворилась дверь гостиной. Он увидел только, что к нему подходит высокая молодая женщина. Тогда он встал навытяжку и, равнодушно улыбаясь, застыл в ожидании.

— Ты не узнаешь ее? — спросила мать, довольная, что приготовила сыну этот сюрприз.

— Ах, боже мой! — И Варлен хлопнул себя по лбу. — Извините меня, мадемуазель… мадемуазель Сесиль…

— Нет, Алиса Грей! — ответила молодая женщина, и на ее губах промелькнула бледная, слегка

печальная улыбка.

ШАРЛЬ ВИЛЬДРАК
(1882–1971)

Еще в юности Вильдрак взял за правило не отгораживаться от обыкновенного человека, а посвятить ему свое слово. На всю жизнь духовно сроднился он с Ролланом и Дюамелем. Ободряющая добро~ та Вильдрака охраняла от множества напастей группу молодых поэтов, известную в истории литературы под названием «Кретейское аббатство» (1906–1908 гг.). Когда же содружество распалось, поэт не утаил своего глубокого огорчения (сборник «Образы и миражи», 1908), но декадентскому безверию не поддался. Ведь мудрость жизни для него — в мужестве, доверии, радости. «Возвышать жизнь, а не принижать ее» — вот, по меткому определению Верхарна, неколебимое основание творчества Вильдрака.

«Хотел бы быть солдатом первым, павшим в первый день войны», — скорбно отозвался поэт-пацифист на весть о мировой войне. Все ее ужасы изведал он на передовой и с классической ясностью выразил ее преступный характер («Песни

отчаявшегося», 1920). Вильдрак — рассказчик и драматург реалистически запечатлел, как это всенародное бедствие отупляло, надламывало одних, устремившихся в мирные дни в погоню за «кусочком» счастья (драма «Пароход «Тинэсити», 1919), и просвещало, закаляло других, не желавших жить по-старому (повесть «Демобилизованный», 1929).

Социалист чувства по своему мироощущению, Вильдрак поддержал движение «Кларте», участвовал в основании журнала «Эроп».

Вильдрак, казалось, от природы создан был увлекать детей веселым вымыслом, поучительной сказкой (роман «Розовый остров», 1929; «Львиные очки», 1932). Но соседство взрослых чудищ, воцарившихся за Рейном, побуждало его заниматься земными делами. В 1934 году Вильдрак едет в Берлин и требует свидания с Тельманом, чья жизнь находилась в опасности. Фашистские власти ответила отказом.

В годы Сопротивления Вильдрак сложил гимн свободе — «Париж 1943». 8 октября 1943 года он был арестован оккупантами. Прямых улик подрывной деятельности обнаружить не удалось, и фашистские власти вынуждены были отпустить Вильдрака. Он нашел убежище в Везеле у

Роллана.

В новогоднем поздравлении 1945 года советским людям Вильдрак писал: «Знайте же, русские друзья, что нет французов и француженок, достойных этого имени, которые не были бы проникнуты благодарностью к вам и восхищением грандиозной эпопеей, развернувшейся в Советском Союзе... Принеся нам победу и мир, 1945 год будет свидетелем... расцвета франко-советской дружбы». Для ее упрочения в послевоенные годы немало потрудился Шарль Вильдрак. Ведь не случайно же всю жизнь он бережно хранил память о своем отце — коммунаре Анри Мессаже (очерк «Анри Мессаже», 1971) и вару в правое дело штурмующих небо.

Charles Vildrac: «Recits» («Рассказы»), 1926; «Lazare» («Лазарь»), 1945; «Enfance» («Детские годы»), 1945; «D'apres I'echo» («Отзвуки былого»), 1949.

«Свора» («La meute») входит а *сборник «Рассказы».*

В. Балашов

Свора

Перевод О. Пичугина

Я знаю в Аргонском лесу прекрасный замок. Война хотя и пощадила его, но оставила по себе страшную память, о чем я и поведу рассказ.

Едва начались военные действия, владельцы замка уехали в Париж, сторожей и садовников призвали на военную службу, так что единственными хранителями поместья остались старый псарь Антуан, более похожий на крестьянина, чем на слугу, и маленький конюх Каде, едва достигший пятнадцати лет подросток.

Этот Каде был, вероятно, в ту пору живым, смышленым и крепким пареньком. Я познакомился с ним уже четыре года спустя, когда он носил солдатскую форму, и эту быль передаю вам с его слов.

Кроме Антуана и Каде, в имении оставалась еще свора из четырнадцати псов. За ними ухаживал Каде и попарно выводил их гулять на сворке. Мальчик страстно любил псовую охоту и уже недурно трубил в рог. Далекий мыслями от войны, пока оставшейся для него понятием отвлеченным, он был вполне счастлив со

дня отъезда господ, внушавших ему страх, и их челяди, принуждавшей его исполнять самые тяжелые работы. Антуан любил мальчика и доверял ему. Прежде Каде редко случалось войти в замок, теперь он отворял в нем окна. Он осмелел настолько, что обследовал замок от подвалов до чердака, расхаживал, самозабвенно насвистывая, вверх и вниз по гулким белокаменным лестницам, дерзко отворял любую дверь и с видом знатока листал каталоги оружейных мастеров, оставленные на столе в библиотеке, либо усаживался в трапезной и в свое удовольствие разглядывал старинный гобелен, изображающий святого Юбера, преклоняющего колена перед волшебным оленем в Арденнском лесу. Отныне мальчик появлялся на дорожках парка не иначе как с ружьем через плечо, и когда его старший товарищ отлучался в деревню, чтобы пополнить запасы снеди, он обшаривал заросшие травой лужайки в поисках забегавших сюда кроликов или, высоко подняв голову, высматривал в вершинах буков лесных голубей и белок, составлявших его охотничью добычу.

Однажды вечером пришли солдаты. В замке поселилось полтора десятка офицеров разных чинов и званий. Не все ли равно, французы или

немцы — то были солдаты на войне. По-хозяйски разместившись в жилых покоях, они, не мешкая, спустились в подвалы, заключавшие великое множество бутылок с вином всевозможных марок и сверх того запас превосходной сливянки. За сим последовала попойка, длившаяся всю ночь. Недовольство, выраженное по этому поводу Антуаном, глубоко проникшимся сознанием своего долга хранителя замка, было сочтено бражниками столь же наивным, сколь и неуместным. Каде, как и подобало, разделил негодование почтенного псаря, но он был еще ребенком, которого все забавляло, да к тому же и спать он лег довольно рано.

К рассвету кутилы в большинстве своем уснули, повалившись прямо в одежде на кровати и диваны. Однако трое из них бодрствовали как ни в чем не бывало и встали из-за стола лишь затем, чтобы освежиться на вольном воздухе. Дабы не расставаться надолго с вином, они решили пройтись вокруг замка. Прохаживаясь таким образом, троица очутилась против обнесенного решеткой дворика псарни, и четырнадцать находившихся там псов встретили их появление самым оглушительным лаем, какой им когда-либо доводилось слышать.

В первое мгновение офицеры опешили, потом разозлились. Срезавши ореховых хлыстов, они начали стегать сквозь прутья ограды по собачьим мордам и лапам. Затем один из них, в чине капитана, выплеснул на рычащие морды воду из стоявшего поблизости ведра. Собаки пришли в неистовство.

— Это просто невыносимо! — воскликнул толстый, изрядно захмелевший майор. — Надо непременно разогнать этих мерзких тварей! Сейчас мы их! Возьмем на всякий случай палки.

Вооружившись таким образом, предусмотрительный майор отворил дверцу псарни. Собаки выскочили из ограды и радостно рассыпались по двору. Тут ворота одной из конюшен распахнулись, появившийся оттуда Антуан подбежал к майору и вскрикнул сдавленным от гнева голосом:

— Вы что же здесь безобразите? Видать, вконец перепились!

Не дожидаясь ответа, псарь отбежал к главному входу и стал у крыльца, откуда ему был виден весь луг — обширное зеленое пространство, обсаженное деревьями, по которому уже рыскали, задрав хвост и жадно принюхиваясь к траве, несколько собак. Приложив к губам деревянный

свисток, псарь начал созывать свору редкими протяжными свистками, и когда трое офицеров, за которыми на небольшом расстоянии следовал разбуженный шумом Каде, приблизились к Антуану, четыре-пять псов уже рычали и лаяли вокруг него.

— Я запрещаю вам сзывать их! — завопил майор. — Отдайте мне свисток! Живо! Ну!

— Нет, — сердито возразил Антуан, — я должен загнать их, и я их загоню.

— Нет? Вы слышите, он говорит «нет»! Ты что, забыл, милейший? Мы на войне! В тюрьму захотел?

Антуан отошел на несколько шагов и дважды протяжно свистнул.

— Погоди же, я тебя проучу! — пробурчал толстяк и кинулся к подъезду замка. Почти тотчас он вернулся, размахивая револьвером. Один из его товарищей засмеялся, другой же потихоньку отодвинулся в сторону.

— Или ты распустишь своих псин, или я их перестреляю! Слышишь? Господа, подите за оружием! Какие прекрасные мишени, поупражняемся в стрельбе!

В подобных обстоятельствах военный ни за что не отступится от своего, а псарь был из редкой по-

роды слуг, повинующихся лишь своим господам. К тому же Антуан принадлежал к тому разряду людей, которые никому не дадут спуску, будь то даже сам главнокомандующий. Старый слуга крепко сжал свисток зубами и подул что было мочи. От усилия он даже закрыл глаза. Подле него грянул револьверный выстрел. Одна из собак взвизгнула и упала, судорожно разинув окровавленную пасть. Подняв кулаки, псарь всем телом повернулся к майору и крикнул ему в лицо:

— Вы скотина! Подлая скотина! Вы…

Он не договорил. Побагровевший майор толкнул его в грудь дулом револьвера и, то ли умышленно, то ли нечаянно, нажал спуск. Каде, наблюдавший события издали, выглядывая из-за подстриженного в виде пирамиды куста самшита, испуганно вскрикнул. Прежде чем упасть, Антуан отступил на шаг, повернулся к своему товарищу, словно призывая его в свидетели, и слабым голосом позвал:

— Каде!

На какой-то миг глаза мальчика встретились с выпученными, расширившимися от ужаса глазами старика.

Охваченный безумным страхом, мальчуган со всех ног бросился бежать к лесу. Не разбирая

дороги, он долго продирался сквозь чащу, ломая ветви. Совершенно выбившись наконец из сил, он повалился на землю, устланную палыми листьями, и долго рыдал, уткнувшись лицом в сгиб локтя.

Военные покинули замок в то же утро. Перед уходом несколько человек зарыли под деревом тело «шпиона со свистком», который, как рассказывали, оскорбил майора, когда его разоблачили и он понял, что погиб.

Уже на склоне дня, немалое время провалявшись в полудремоте на ложе из сухих листьев, Каде опасливо возвращался к замку, подгоняемый любопытством, тревогой и голодом. Осмелев, он вышел на широкую тенистую аллею, окаймлявшую луг. Человеческих голосов нигде не было слышно, кругом царил привычный покой. Там и сям солнечный свет жаркими потоками лился сквозь листву на землю. Вспорхнула сорока и с трескучим криком полетела на луг; спелый буковый орех свалился под ноги мальчику, он по привычке подобрал его, очистил и съел. Уж не приснились ли ему страшные события утра? Увы, не приснились! Но, объятый благодатным предвечерним теплом, Каде преисполнился надежды: верно, товарищ его просто ранен, а

солдаты ушли восвояси. Кружным путем он прокрался в людскую. Ни души. Через распахнутые ворота конюшни он увидел единственную стоявшую там лошадь, лошадь псаря. Нигде ни одного солдата. Тогда мальчик поспешил во флигелек, где они ютились вдвоем с Антуаном, но псаря на кровати не нашел. Мальчик звал и искал всюду, даже в замке, но тщетно. Успокоенный тишиной, Каде заключил, что раненого переправили в деревню: когда человеку пятнадцать лет от роду и здоровье его несокрушимо, ему трудно поверить, что может случиться непоправимое несчастье. Итак, Каде решил сбегать в деревню. Но, войдя в обеденную залу, он увидел освещенный солнцем стол, уставленный остатками обильного пиршества. Там лежал едва початый хлеб, ломти красного мяса, над которым усердно трудились осы, корзина груш и бесчисленные бутылки, а среди них и не совсем порожние.

Каде принялся есть и пить, но, несмотря на голод и природную жизнерадостность, с трудом проглотил первые куски: его воображению представлялись деревенский врач и жена сторожа Мария у изголовья старого друга, лежащего в бреду. Но уже второй глоток старого бургундского внушил ему уверенность в том, что рана Антуана

не опасна, что пуля лишь пробила ему плечо. Однажды Ронсен точно так подстрелил свою жену, а она жива и здорова.

Мальчик жадно поглощал снедь, запивая ее остатками вина из разномастных бутылок, и к концу трапезы не без гордости почувствовал себя властелином замка.

Он читывал приключенческие романы и теперь возомнил себя отважным моряком, которому выпало принять под свое начало корабль. В воображении он видел себя удостоенным высочайших должностей. Став на отяжелевшие ноги, мальчик обошел свои владения, хлопая дверями, осматривая сады и строения, пряча в карман ключи.

Завидев псарню, он вздрогнул: собак не было на месте! Надо было разыскать, возвратить их! Он побежал во флигель, взял там, как обычно, ружье, зарядил его, снял со стены охотничий рог и помчался по сырому уже от вечерней росы лугу. Лесом он добежал до ближайшего перекрестка, где сходилось шесть дорог, прямо, как струна, тянувшихся вдаль и терявшихся в сумеречной мгле. Высокие деревья величаво возносили вокруг свои вершины, и звуки голоса гулко прокатывались по лесу. Как раз на скрещении дорог был

врыт белый камень. Каде поставил на него ногу и затрубил. Остановившись, чтобы перевести дух, он испугался необъятной тишины, потревоженной звуками рога и вновь окружившей его. Он поспешно затрубил еще раз, трубил долго и громко, позволяя себе лишь короткие передышки, чтобы чувствовать себя увереннее. Он трубил, обращая рог в разные стороны, и им овладевало безотчетное чувство хмельной радости от того, что дрожащее, хриплое пение рога будит лесные дебри.

Когда наконец он устал трубить, явственно послышался лай. Он прислушался, в восторге от своей удачи. Да, сомнений не было: лай раздавался все ближе. Он вновь приставил к губам рог, теперь уже неторопливо и гордо.

Скоро было уже слышно, по какой дороге бегут псы. Увидев вдали скачущие светлые пятна, он устремился им навстречу. Но что это? Там были не только собаки: далеко обогнав их, впереди бежало большое темное животное. Значит, свора преследовала зверя, и с каждым мгновением погоня приближалась к перепутью. С сильно бьющимся сердцем Каде стал посреди дороги, бросил рог и хотел стрелять. Но прямо к нему бежал рослый олень, он был уже совсем рядом,

и мальчик непроизвольно расставил руки, преграждая ему путь.

Измученное животное встало прямо против Каде на дрожащих ногах и посмотрело на него. Со сдавленным воплем мальчик отпрянул: он узнал эти глаза, он уже видел их, встречал их взгляд сегодня утром. Это был взгляд старого псаря в смертный час, взгляд бедняги Антуана, зовущего его, Каде!

Олень вновь помчался как безумный, мимо мальчика стремглав пронеслись собаки. Охваченный вдруг страхом и стыдом, внезапно постигнув страшную истину, Каде бросил рог и ружье и перевел дух, лишь очутившись в деревне.

ЖАН-РИШАР БЛОК
(1884–1947)

Во время франко-прусской войны родные Ж.-Р. Блока выехали из Эльзаса, чтобы остаться французами. Жан-Ришар Блок родился в Париже, где окончил Сорбонну и преподавал историю. В 1905 году он вступил в социалистическую партию. Представления о социализме у Блока той поры еще зыбки, но пафос служения народу ощутим во всех его публичных выступлениях. Идеал демократического искусства писатель воспринял от Льва Толстого, а «Жорес, Роллан, Пеги перевели его нам на французский язык», — говорил Блок. В основанном им журнале «Эффор» (потом «Эффор либр», 1910–1914 гг.) Блок ратует за искусство, понятное массам, вдохновляющееся интересами масс: «Пусть наше искусство заговорит языком, общим для всех, пусть оно познает общие заботы... Искусство обретет силу, только составив единое целое с трудящимися».

Три года Ж.-Р. Блок провел в окопах, был ранен; в госпитале правил гранки романа «... и компания» (1918). Через историю одной семьи здесь воссозда-

на история французской буржуазии, гнетущая атмосфера буржуазного предпринимательства.

В 20-е годы Ж.-Р. Блок публикует новеллы (сборник «Рено идет на охоту», 1927), документальные повести («На грузовом пароходе», 1924; «Курдская ночь», 1925) и литературно-критические статьи, утверждающие гражданскую ответственность художника. Проблема гражданственного искусства волнует Блока и в период работы над романом «Сибилла» (1932).

Тысяча девятьсот тридцать четвертый год Блок сам считал переломным в своей биографии: он был гостем I съезда советских писателей; давно увлекавшее его слово «социализм» наполнилось реальным содержанием. Вернувшись из Москвы, в Париж, Блок печатает статью за статьей, торопясь рассказать соотечественникам правду о Советской стране. Ж.-Р. Блок — один из организаторов международных конгрессов в защиту культуры, член редколлегий журналов «Эроп» и «Коммюн», директор коммунистической вечерней газеты «Се суар». Первым из французских писателей — через четыре дня после начала франкистского мятежа — он вылетел в Испанию, опубликовав вскоре серию блестящих репортажей («Испания, Испания!», 1936).

В канун второй мировой войны, когда будущие коллаборационисты запретили ФКП, коммунисту Ж.-Р. Блоку пришлось уйти в глубокое подполье, а затем выехать в СССР. В течение четырех лет его голос звучал в эфире, на московской волне. Он обращался к своим соотечественникам с ободряющими словами правды о битве советского народа против фашистских захватчиков, с призывом крепить дружбу между Советской страной и сражающейся Францией. Цикл этих радиопередач вошел в книгу очерков «От Франции преданной к Франции, взявшейся за оружие». Здесь же, в Москве, Блок создал пьесу о восстании французских моряков — «Тулон» (1943). Возвращение на родину было печальным: в гитлеровских застенках погибли мать и дочь писателя. Но он снова занял место в строю: до самой смерти на посту главного редактора возрожденной «Се суар» Жан-Ришар Блок прозорливо анализировал опасные симптомы начинавшейся «холодной войны».

Jean-Richard Bloch: «Levy» («Леви»), 1912; «Les chasses de Renaut» («Рено идет на охоту»), 1927.

Рассказ «Рено идет на охоту» входит в одноименный сборник.

Т. Балашова

Рено идет на охоту

Перевод Т. Таубе

В это утро Рено проснулся с твердым намерением подстрелить какого-нибудь зверя. Он распахнул окно. В комнату вполз длинный язык бледно-серого тумана. Вместо неба над холмами словно разливалось нечто текучее.

Рено принадлежал к числу тех людей, которым все удается, которые пожимают плечами, когда речь заходит о невезении, усмехаются, когда при них говорят о доблести, и считают, что достаточно носить усы, чтобы покорять женщин и распутывать все их козни, и достаточно доброго ружья, чтобы зайцы тысячами выскакивали прямо у тебя из-под ног.

Итак, в это утро Рено проснулся с твердым намерением подстрелить какого-нибудь зверя, как в другие утра он просыпался с намерением выкурить трубку или съесть яичницу с ветчиной.

Накануне вечером фермер, прощаясь с ним,

сказал:

— Знаете, мсье Жозеф, завтра на заре славная будет охота в низине — зайчишек можно настрелять сколько угодно.

Рено скорчил презрительную гримасу. Со скучающим видом пошел он за фермером, который непременно хотел показать ему поле, где завтра будет такая славная охота.

— Вот увидите: я скоро разбогатею на продаже шкур о к, — шепнул ему фермер, хитро подмигнул и ушел.

И все же, вопреки своему вчерашнему настроению, наутро Рено встал в четыре часа и прежде всего подумал о том, что надо пойти пострелять. Охотничий сезон кончился. Но поместье было огорожено, да к тому же Рено вообще плевал на всякие запреты.

— А может, он и не появится, — сказал фермер в ответ на его замечание, что можно нарваться на сторожа.

Рено встретил вползший в комнату язык тумана легкой дрожью и начал поспешно одеваться, как человек, который жаждет побыстрее взяться за неотложное дело. Он спустился по лестнице, снял с крючка ружье — славное восьмикалиберное ружье — и открыл затвор.

Обнажилось алчное чрево казенной части. Рено ощутил округлую, крепкую мускулатуру ружья — два сдвоенных ствола отскочили вниз с холодной жадностью, отброшенные затвором. Полоска света, проникшая внутрь через разверстую пасть, играла на грани, полируя голубым, металлическим блеском душу этих двух братьев, лишенных привязанности к чему бы то ни было.

Рено вложил в стволы патроны. Цилиндрики из сероватого картона выглядели такими безобидными. Медные стаканчики гильз заткнули отверстия стволов, и все вместе вновь приняло строгое обличье точного прибора. Донышко гильзы, обведенное ободком более красной меди, притягивало к себе взгляд. Оно как бы говорило: «Сюда направлен удар. Здесь предрешается гибель».

Рено весело опустил отяжелевшее ружье дулом вниз и с видом человека, для которого мир припас множество удовольствий, скупым движением большого пальца закрыл затвор. Парень он был, в общем, славный. Он надел нижнюю фланелевую рубаху, простые веревочные туфли и больше ничего — ведь он шел только затем, чтобы подстрелить какую-нибудь живность.

За порогом колыхалась текучая масса, которую

он заметил еще из окна. Не успел он выйти на крыльцо, как эта масса — холодная, обжигающая, словно эфир, и липкая, точно снег, — обволокла ему лицо, забила нос, глаза, уши, обвила шею, облепила ладони. Он часто-часто заморгал.

Все, что происходит во вселенной, есть лишь отблеск сновидений, некогда сотканных сивиллой где-то в недрах земли; точно так же и все запахи представляют собой лишь слабое и весьма приблизительное воспроизведение того изначального аромата, который издает материя и о котором мы давно забыли. Лишь на несколько часов в сутки появляется этот аромат. Человек, который бодрствует в эти часы, постигает самую суть вещей.

Вот и сейчас, на заре, над землей носился сильный запах родниковой ледяной воды — матери всего сущего. Пьянящая первозданная чистота овевала день в момент его зарождения.

Нечто, скорее жидкое, чем газообразное, колыхалось над землей. Все растения — вплоть до мельчайшей былинки — погружали в это нечто свои стебельки и получали свою ежедневную жемчужину влаги. В этой животворной ванне распрямляли свои скелетики и тянулись в бесконечность крохотные злаки, высотой не более

мизинца. Длинные рыжеватые нити паутины повисли от одного края горизонта до другого в бледном свете зарождающегося дня. Мир казался перевернутым аквариумом. На поверхности земли — словно в глубинном иле — возникали зародыши; прозрачные пузырьки воздуха поднимались ввысь и лопались где-то в атмосфере.

Ощутив всем телом резкий холод сырого утра, Рено спустился с крыльца и зашагал вниз по склону. Под его веревочными подошвами гибли тысячи живых существ. Но ведь он и вышел, чтобы убивать. Он дошел до ограды и сверлящим взглядом — как и подобает человеку решительному — оглядел долину.

Там, над рекой, точно осадок на дне сосуда, молочнобелый туман лежал более плотной пеленой. Вокруг деревьев, обволакивая их, медленно кружили как бы блестящие хлопья ваты. Рыжие сережки тополя вырисовывались на этом фоне отчетливо, точно на японской гравюре. Потом туман добрался и до них, и они погрузились в сон. И все дерево, во всей своей филигранной и легкой красе, постепенно тонуло, поглощаемое медленно и безмолвно поднимавшимся молочным туманом. Теперь и тень этой затонувшей тени плавно исчезла из глаз.

Склоны холмов выступали на миг из сиреневатой ночи и тотчас растворялись в белой мгле. Рыжеватые полосы на влажном небе приняли оттенок кармина. Из-под ватного покрова вдруг выглянула излучина реки. Мертвая, заснувшая тяжелым сном речная влага под колышущейся влагой воздуха, казалось, была покрыта лаком. Туман опустился на эту лакированную гладь, и в мягком изгибе его очертаний было столько изящества, что человек — сам не понимая отчего — прикусил губу. Молочно-белый покров, лениво и томно извиваясь и взлетая над недвижной плитой реки, добрался до противоположного берега, еще окутанного сумраком ночи, и лизнул прибрежные холмы.

Ночь постепенно отступала. Откуда-то сверху спустились фиолетовые тени. Водная гладь как бы приподнялась над землей. Изменились запахи. Из одного аромата рождалось множество.

И прежде других возник аромат земли, насыщенной влагой, — земли, пахнущей хлебом. Превратив в горошины покрывавшую ее пыль, земля словно скатала крошечные шторки, открывая свои поры проникновению жизни.

Потом над испарениями самой земли малопомалу возникло целое сооружение из запахов,

издаваемых растениями, рожденными землей. Первым среди них был аромат зелени — простой и говорящий лишь об одном, везде одинаковый и преобладающий над всем остальным. Потом аромат вечно зеленых растений, никогда не меняющих листвы, но с каждым годом пробуждающихся к любви, — аромат лавров, бересклета, самшита, плюща. Их запах, одновременно горький и сладкий, и составляет пряный напиток весны.

А над всем этим поднялись легкие запахи растений, рожденных для роскоши и любви, запах роз, вишен, фруктовых деревьев. И, наконец, одевая своим покровом и венчая собою все, в сад проник стойкий аромат могучих деревьев с опадающей рано листвой, аромат вяза, липы, каштана, клена, дуба, бука.

Когда же воздух был напоен запахами и между ними установилось равновесие, когда каждый аромат занял свое место, а чувства человека были насыщены до предела, после которого уже перестаешь что-либо воспринимать, когда мир был наполнен до краев и уже ни для чего больше не оставалось места, гулкий удар смычка по басовой струне довершил гармонию, — казалось, именно его-то и недоставало; во дворце зазвучала симфо-

ния, и стены его сразу точно раздвинулись: запах сосен, терпкий и тонкий запах хвои, певучая нежность и сила ее ласки, аромат дали — морских дорог, ночных путешествий, неведомых заморских стран, — словно подвел фундамент под все это воздушное сооружение. Теперь оставалось только дню вступить в свои права.

И тут человек, вышедший с намерением убить, встрепенулся. Он попытался вновь обрести ту волю к действию, которая двигала им в момент пробуждения. Но между прежним и теперешним его состоянием был непостижимый разрыв.

Он шел прямо вперед. Ничто так не возвращает вкуса к действию, как само действие. Покачивая ружье в правой руке, он стал спускаться по заросшей травою тропинке. И перед его мысленным взором возник заяц.

…Покрытый рыжевато-бурой шерсткой зверек; словно подбрасываемый пружиной шарик, заяц рывками продвигается вперед; две длинные пушистые лапы рассекают воздух, боязливо бьют по нему, как бы стараясь вызвать к жизни сокрытые в нем звуки, по обеим сторонам мордочки над усами будто вставлены две неподвижные стеклянные пуговки… Рено взглянул на свое ружье.

Два отливающих бронзой ствола нацелены

вниз, в траву, размеренно и презрительно прорезаемую металлом. Сколько сдержанной силы — и какая мощь взрыва! Сколько уверенности — и какая невозмутимость вплоть до решающей минуты! Извергнув выстрел из своего нутра, заставив содрогнуться все вокруг, а человека, пошатнувшегося от силы отдачи, подивиться содеянному, ружье по-прежнему остается его безупречным, чуть высокомерным слугой.

Несоответствие между этой математической точностью, с одной стороны, и слабостью в сочетании с отвагой — с другой, вызвало у Рено улыбку. Почему так враждебны к нему текучие эти воды и шорохи? У него застыли ноги. Вот он вернется домой, кухарка поднимет зайца за уши, и его передние лапы — такие короткие и забавные — скрестятся, словно для молитвы. Она пощупает зверюшку и скажет:

— Нынче у мсье была удачная охота.

За обедом Рено спокойно извлечет изо рта дробины, попавшие между зубами.

Все в доме еще спят. Его выстрел, возможно, разбудит их. Рено почувствовал гордость от сознания, что наконец он нашел цель для применения своей энергии, когда все вокруг еще блуждает в стране сновидений.

И вот, пока он шел, оставляя за собой борозду в траве, мысли его сосредоточились на выстреле, который он по своей воле может задержать и по своей же воле произвести. И ему страстно захотелось всколыхнуть деревенскую тишь.

Внезапно, слева от него, две тяжелые ветки рассекли воздух — ввысь взмыла какая-то птица. Перед глазами Рено промелькнула большая шишка, сорвавшаяся с дерева, в то время как причудливо окрашенное бело-черное тельце с треском врезалось в соседний кустарник, круша все на своем пути. Мелькнул длинный хвост. Человек вскинул левой рукой ружье — в ответ раздалось сухое щелканье насмешливого клюва. Еще три сороки поднялись из кустов и уселись на клене, огласив лес оглушительным концертом проклятий.

Это было словно сигналом, по которому пробудился мозг Рено, а вслед за тем — и небо, и воздух, и все, что дышит. Он удивился, как это он раньше не замечал необычайного обилия звуков. Быть может, потому, что они заглушали друг друга? А быть может, они возникли только сейчас.

Влаге надоело затоплять землю, и она сгустилась — из жемчужной ванны, из молочного тумана в свете рыжеватых полос возникло мно-

жество маленьких шариков, трепеща оседавших на всем — вплоть до самых крошечных веточек; подобные клочкам мокрой ваты, они непрерывно дрожали, и из них — словно из переполненной чаши — торопливо точилась звонкая капель. Хрустальные капли разбивались при падении, рождая новых певцов, которые перепрыгивали с сучка на сучок, с ветки на ветку, прорезая неоформившимися тельцами листву, — крошечные сподвижники урожая мелькали перед глазами Рено.

Апрель наполнил щебетаньем гнезда. Даже из самых маленьких кустиков неслись призывные трели, щелканье, пересвист; птичий гомон рвался из чащи строевого леса, окружавшего поместье, словно луч солнца, прорывающийся в полдень сквозь гряду туч.

Как бы поддразнивая Рено, где-то рядом во все горло заливался маленький взъерошенный комочек. Его головку украшало горделиво заостренное подобие капельницы. Рено шагнул к кусту, где появилось это существо. Зазвенела в ускоренном, почти исступленном ритме капель. Еще один шаг — и, в стремительном полете обернувшись пятнышком тумана, пташка исчезла в боярышнике.

Какой инстинкт помог этому крошечному ко-

мочку пробиться сквозь густые колючие заросли? Откуда черный глазок, величиной с булавочную головку, следил за врагом? И врагу захотелось это узнать. Выставив вперед приклад, он ринулся в заросли. В каком-то водоеме, должно быть, образовалась пробоина, и ледяные капли, словно град острых иголок, осыпали Рено; выпрямившаяся, точно на пружине, гибкая ветка ударила его, оставив на лице и руках несколько колючек, а кругом все зашуршало, поднялся пронзительный гомон, и куст опустел. Вокруг Рено захлопало множество крыльев, засвистел разрезаемый ими воздух. Охотник рассмеялся.

Четырежды размеренно крикнул зяблик. Прямо над головой охотника, в кусте акации, запел щегол; трель его взвивалась вверх, спускалась, снова поднималась — так путник наклоняется к источнику, пьет и шагает дальше. Отряхиваясь от колючек, Рено вскинул голову: он успел заметить задранный в небо клювик и округлую желтовато-малиновую грудку, раздувавшуюся от пения. Тем временем поднялся легкий ветерок, и птица сразу превратилась в пестрый комочек взъерошенных перьев. Медленно скрестились две ветки. Когда же они раздвинулись и снова показалось небо, видение исчезло. Его унесло

дыхание зари.

Целый лес задранных кверху остреньких носиков, ливень щебета, град росы, каплями стекающей с клювиков… Внимание охотника привлекли воробышки и малиновки. Он продолжал свой путь в низину. С листьев сбегали каскады воды, каскады перьев низвергались с ветвей, каскады мелодий изливались из горла какой-то птицы. Мир пернатых пробуждался. Три траурно-черные птицы спешили к полю, засеянному пшеницей; они тяжело хлопали крыльями. Одна из них каркнула — точно упали проржавевшие железные стружки.

Сквозь листву орешника проглянуло дальнее поле. Земля цвета венецианской киновари казалась врезанной в раму из ветвей. Рено остановился.

Гора, с которой он только что смотрел вниз, в долину, теперь была над ним. Тополя будто выросли; казалось, на их кронах покоится дневной свет. Словно по неуловимому сигналу гонга, на востоке появились новые краски; они насытили собой свет дня и, смешавшись с ним, угасли. Ирисы раскрывали свои причудливые уста. Дымка рассеивалась. Плотная сероватая пелена еще обволакивала вдали контуры лугов с вклинив-

шимися в них вспаханными полями.

Внезапно в лесу раздалось два резких удара по дереву: это дятел возвещал о начале своего трудового дня; теперь его сухое постукивание не прекратится до самого вечера. Дятел смолк, а потом опять размеренно застучал, побуждаемый необходимостью труда и потребностью труженика.

Красноватая горлица, с отороченными белым крыльями, пролетела над самой землей и вскоре исчезла, слившись с рыжеватой пашней. Некоторое время спустя послышалось ее воркованье над оцепенелой ольхой — и от дерева, еще окутанного туманом, вдруг словно повеяло теплом.

И в ту же минуту закуковала кукушка: далеко это было или близко — трудно сказать; ее меланхолическая песнь зазвучала сразу со всех сторон, и в симфонию утренней зари вплелась мелодия бесконечности. Тройная песнь — песнь труда, любви и молчания — предшествовала наступлению дня, в котором царит человек.

Внезапно Рено увидел зайца.

И совсем не так, как он думал.

Поле представляло собой длинный покатый прямоугольник: с одной стороны — луг, с другой — замшелые скалы, вдали — заросли ясеня.

На противоположном конце поля, во фруктовом саду, над морем рыжеватых борозд среди яблонь возвышалась цветущая вишня. Рено окинул взглядом поле — все оно находилось менее чем в сотне шагов от дула его ружья.

Что-то вроде кочки на пашне привлекло его внимание. Вдруг кочка словно рассыпалась и волнами потекла по борозде; остановилась, вздрогнула, снова пустилась в путь — только уже в другом направлении; перемахнула через борозду, обнаружив при этом белый хвостик, и застыла у подножья вишни.

Нечто, ничем не напоминающее животное. Нечто почти неподвижное. Нечто совсем спокойное. Просто какой-то бурый комочек — он отделялся от столь же бурого фона и снова сливался с ним. Так этот комочек совершал мирную прогулку, а вокруг него под неуловимым дуновением наступающего дня дождем осыпался вишневый цвет. Добравшись до царства зелени, комочек сделал петлю; ошеломленный Рено следил за тем, как он, не спеша, скачками, стал двигаться обратно по борозде.

У охотника слегка закружилась голова: параллельные борозды струились у него перед глазами. Машинально он принялся считать линии,

прочерченные плугом, — ему почему-то очень хотелось успеть сосчитать их в промежутке между двумя ударами, которые дятел клювом наносил по каштану. К величайшему своему удивлению, Рено уловил в пении птиц двудольный такт — он усмотрел в этом проявление высшей, предустановленной гармонии.

Воспитанная собака, проходя мимо кур, поджимает хвост, опускает морду, а глаза прикрывает ушами, ибо знает, что взгляд в сторону будет стоить ей основательной взбучки. Но может случиться, что, завидев пса, курица прямо у него под носом разразится вдруг испуганным кудахтаньем и ни с того ни с сего бросится наутек, с шумом, какой произвела бы пышная дама в розовых шелках, если бы за ней погнался резвый теленок. Тут уж всякое воспитание идет насмарку: животное чует птицу, и ваша собака, как бы хорошо она ни была выдрессирована, устремляется за курицей, точно самая последняя дворняжка.

Вот так же случилось и в ту минуту, когда рыжеватый комочек неизвестно почему вдруг подскочил и в три прыжка перемахнул метров двадцать. Ружье тотчас подняло нос. Но на полях уже снова воцарились мир и тишина. Ничто больше не нарушало таинств этого необычного

часа. Длинноухий преспокойно сидел на самом виду и делал какие-то непонятные знаки.

С дальнего конца поля выкатился другой комочек; зашуршали колючки возле самой тропинки, где стоял Рено; рыжевато-бурый комочек промелькнул в траве. Звук жующих челюстей вторил звону капели. Отовсюду мчались на пир живые существа — всем хотелось полакомиться травой, напоенною влагой.

И тут Рено сделал то, что противоречило здравому смыслу и было просто губительно для его репутации разумного человека. Он осторожно повернулся на левой пятке и пошел прочь, скользя на облепленных глиной веревочных подошвах. И вот что — слово в слово — он подумал: «Иду, точно выслеженный браконьер, который пытается удрать от преследователя».

Теперь события стали развиваться довольно быстро. Рено единым духом взобрался на гору и обогнул дом. В водоеме стояли три пятнистые голландки, дрожа от утреннего холодка. Над головой одной из них примостился дрозд. Гнев и презрение охватили человека. Он прицелился в пересмешника — цель была недурная. И вдруг птица запела.

Дрозд ведь не свистит. Он поет. И сразу все зву-

ки в саду, в лугах, в полях и рощах стали тоном ниже. Звонкая, трепещущая от счастья мелодия лилась широкой волной, с неожиданными взлетами и падениями, полная искреннего чувства. И лишь четыре хриплые ноты, в самом конце нарушившие гармонию, говорили о том, что мастер не достиг совершенства. Человек повернул голову, спрашивая себя: неужели это всего лишь обычный пересмешник преподал ему такой урок? Признаться ли? Взглядом он искал соловья — и вдруг убедился, что звуки действительно исходили из жалкого желтого клюва, торчавшего над черным оперением.

Рено открыл казенную часть: пружина выбросила ему на ладонь два сероватых цилиндрика, в которых заключена гибель. Рено подошел к водоему и швырнул их в воду. На поверхности показались два пузырька — как бы приветствие водных глубин, которые хранят столько тайн!

В эту минуту издали донесся голос человека — он звучал повелительно, и все вокруг невольно подчинилось ему. И только тут Рено вспомнил, что у него тоже есть голос.

Он снова подошел к обрыву. В полукилометре от него по ухабистой дороге спускался пастух, гоня к реке четырех белых быков с черными пят-

нами у глаз, на ногах и на хвосте.

Снова послышался крик пастуха. Слова его звучали как приказ — на диво четко и резко. Вокруг все словно склонилось перед ним, уступая ему дорогу. Настала тишина. Взлетело несколько птиц, Рено окинул взглядом поле. Оно было пусто. И сердце у Рено сжалось.

Он прислонил ружье к ограде и побрел вниз по тропинке. Шагах в двухстах впереди него вспорхнула стайка воробьев.

Он подошел к зарослям боярышника. Там царило молчание. Он взялся за веточку и робко взмахнул ею. Упало несколько капель. Но ничто живое не шелохнулось.

Рено направился к каштану — дерево опустело, птицы оставили его. Когда Рено приблизился к дереву вплотную, все вокруг было мертво, и он испугался.

Он пошел дальше, но вместе с ним передвигались и границы круга, живым центром которого он был, — круга, в чьи пределы не решалось ступить ни одно существо.

Уже совсем рассвело. На противоположном склоне по рыжему полю, поскрипывая, тащился плуг. Низко опустив голову, его волокла белая лошадь; она высоко поднимала ноги, чтобы не

увязнуть в глине. Сухо щелкал кнут.

Рено повернул обратно. Он с тревогой ждал, будет ли по-прежнему тяготеть над ним проклятье. А оно преследовало его. При каждом шаге перед ним разверзалась бездна молчания, — и он, точно нищий, протянул к лесной чаще руки, безоружные и до смешного бессильные. Однако ничто не ответило на его призыв.

Ему хотелось плакать, но не было слез. Он вернулся домой. У порога сидела кошка и облизывала лапы. Человек заметил, с каким недоверием взглянула она на него сквозь щелочки прищуренных глаз. Он толкнул дверь. Животное скользнуло за ним следом и замяукало, прося молока. Он с отвращением налил ей в миску то, что оставалось на дне горшка, — свой собственный завтрак.

Затем он снова вышел на крыльцо и свистнул собаку — породистого сеттера. Из конуры показался клубок черной шерсти, и на Рено обрушились две лапы, язык и хвост, Он схватил мохнатую голову, еще влажную от тепла конуры, и прижал к себе.

Над холмами вставало солнце; его золотистые блики осветили верхушки кедров и каштанов. Легкие тени еще скользили в траве. Перебегая с листка на листок, сноп света достиг края низи-

ны и перекинулся на противоположный склон. Точно выпущенные из пращи, в небо уносились жаворонки.

И впервые в жизни Рено ясно почувствовал, что все это не для него. Прижавшись друг к другу, человек и единственное из всех живых существ, чей разум созвучен его разуму, смотрели, как зарождался этот день, чуждый им.

И Рено думал: «В этом мире, который я держу на мушке моего ружья, я все равно что изгнанник. Кто из живых существ согласится предоставить мне место рядом с собой, стоит мне подать голос? Я — вынужденный властелин навеки враждебной мне вселенной. Ничто не может сравниться с ужасающим одиночеством, на которое я обречен».

И он посмотрел на своего друга.

«Жил в древности человек, попытавшийся преодолеть это роковое отчуждение, — могущественный царь, которому было подвластно все. И неудача, которую он потерпел, весьма поучительна… У меня только и есть что вот эта собака, — промелькнуло в голове у Рено.

Как бы мне хотелось знать, не навлек ли я и на нее проклятье изгнания? Душа ее непроницаема для меня. А ведь она мой единственный провод-

ник, связующий меня с другими существами. Тайна творения сокрыта от меня. Это животное приоткрывает мне ее, но лишь издали. О моя всемогущая черная собачонка, я преклоняюсь перед тобой, ибо благодаря тебе я не стою нагой, одинокий и несчастный посреди этого огромного мира!»

Рено поднялся, сделал несколько шагов, взялся за ручку двери. Он не был лишен воображения. Живо представил он себе свою теплую постель и спящую в ней, раскинувшись, жену, — черные волосы ее распущены, одна рука согнута в локте и лежит на подушке.

Он окинул взглядом парк, поля и, глубоко вздохнув, прошептал:

— Вот оно, мое логово. Я сын богов. Но я никогда не смогу стать даже последним из муравьев.

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ
(1884–1960)

Сюпервьель — уроженец Монтевидео. Когда ему не было еще а года, он потерял родителей и воспитывался в семье своего дяди — уругвайского финансиста. В середине 90-х годов Сюпервьель приехал в Париж, намереваясь заняться правоведением, но в нем возобладал поэт: в 1900 году он дебютировал книгой стихов «Дымка прошлого».

Вся последующая жизнь и творчество Сюпервьеля были как бы связующим звеном между двумя материками; он живет то в Париже, то в Уругвае, а в его стихах французская поэтическая традиция обогащается темами и образами, навеянными свежестью и очарованием природы, среди которой протекло его детство.

Постепенно освобождаясь от влияния сюрреалистов, поэзия Сюпервьеля становится все более прозрачной. Поэтическая вселенная Сюпервьеля пронизана космическими токами, связующими воедино «землю людей» и волшебное царство животных («Дебаркадеры», 1922), мир живых и мир мертвых («Невинный каторжник», 1930). Биение

человеческого сердца сливается в его стихах с «гармонией сфер», с ритмами всего мироздания, микрокосм и макрокосм взаимопроникают и взаимообогащают друг друга («Тяготения», 1925). Подобная «выспренность» (если понимать это слово в том смысле, какой ему придавали русские поэты XVIII в., производя его от глагола «воспарять») не уводит поэта в сторону от реальной действительности, а поднимает над ней, помогая пристальнее вглядеться в ее мельчайшие проявления и угадать сквозь их внешнюю бессвязность и скоротечность незыблемую и соразмерную структуру первооснов бытия.

Откликом на трагические события второй мировой войны, заставшей поэта в Уругвае, явились его гневные и скорбные «Стихи о Франции в беде», полные боли за поруганную и растерзанную страну.

Прозу и драматургию Сюпервьеля трудно, а подчас просто невозможно отделить от его лирики. Сюпервьель-прозаик остается поэтом, сказочником, фантастом («Человек из пампасов», 1923; «Ребенок в открытом море», 1931; «Приникнув к источнику», 1933; «Молодой человек в воскресенье...», 1955).

Jules Supervielle: «L'enfant de la haute mer» («Ребенок в открытом море»), 1931.

Новелла «Девушка с голосом скрипки» («La jeune fille a la voix de violon») входит в указанный сборник.

Ю. Стефанов

Девушка с голосом скрипки

Перевод Ю. Стефанова

Эта девушка ничем не отличалась от своих сверстниц, разве что глаза у нее были чуть больше, чем у других, но ведь это не такая уж редкость.

По тому, как обходились с нею взрослые, она еще ребенком догадалась, что от нее что-то скрывают. Ей была непонятна причина этой скрытности, и она не старалась до нее доискаться, думая, что так бывает всегда, если в доме есть ребенок.

Но однажды, падая с дерева, она вскрикнула, и внезапно до нее дошло, что за диковинный это был крик; нечеловеческий и музыкальный. С тех пор она стала вслушиваться в собственный голос и понемногу научилась улавливать, как

сквозь самые обыкновенные слова пробивается скрипичная мелодия; ей казалось даже, что она различает ми-бемоли, фа-диезы и тому подобную чепуху… А когда ей случалось говорить с кем-нибудь, она делала вид, будто по-прежнему ничего не замечает.

Как-то раз один мальчишка попросил ее:

— Сыграй-ка мне на своей скрипке!

— Нет у меня никакой скрипки.

— Есть, есть, — закричал он, стараясь дотянуться до ее горла, — она у тебя там!

Судите сами, легко ли ей было с таким голосом сидеть в гостях за чашкой чаю или принимать участие в загородных прогулках: ведь этот необычайный голос, который она постоянно ощущала в себе, в своем горле, готов был зазвучать всякий раз, когда надо было произнести любую, даже самую пустяковую фразу: «Благодарю вас!» — или: «Не за что».

И ничто ее так не задевало, как чья-нибудь похвала: «Какой чудный у нее голосок!»

«Что же это со мной происходит? — думала она. — Этот невесть откуда взявшийся голос выдает меня с головой. Словно я начинаю раздеваться при посторонних: «Это мой лифчик, а вот это, обратите внимание, мои чулки… Ну, теперь

вы довольны? Ведь на мне больше ничего нет!»

И поскольку ей меньше всего хотелось выставлять себя напоказ, она старалась больше молчать, одевалась как можно скромнее, как можно проще, а свое музыкальное горлышко прятала под широким серым-пресе-рым бантом.

«В конце концов, — рассуждала она, — не обязана же я болтать без умолку».

Но и тогда, когда она не произносила ни звука, невозможно было забыть, что этот волшебный голос в любой миг готов прорваться из-под серого банта. Одна из ее подружек, обладавшая тонким слухом, утверждала даже, что она никогда не умолкает вовсе, что в ее молчании таятся приглушенные аккорды или даже целые мелодии — стоит только как следует прислушаться. Иные из ее приятельниц восхищались этим, другим это внушало беспокойство и зависть. В конце концов и те и другие перестали с ней знаться.

«Выходит, мне теперь и помолчать нельзя!»

Решено было пригласить знакомого доктора, чтобы он осмотрел ее горло и голосовые связки. Никто не сомневался в необходимости операции, неясно было только, что же именно нужно оперировать. Но доктор с опаской заглянул в раскрытый рот, словно в омут, где водятся русалки,

и счел за благо не вмешиваться.

«Знали бы они, где я была! — подумала она однажды, усаживаясь за обеденный стол вместе с родителями, упрекавшими ее за опоздание. — Но им и в голову не придет, что со мной случилось: ни отцу с его кислой миной, ни матери, которая только делает вид, будто ей все безразлично, а на самом деле готова взорваться от злости. Бесценные мои родители, неужели вы не перестанете донимать меня своим нытьем из-за остывшего супа? Да ведь и опоздала-то я сегодня всего на пять минут, не больше!»

Она просидела втихомолку весь вечер, но под конец ей все-таки пришлось ответить на какой-то вопрос отца.

Родители недоуменно переглянулись: голос их дочери стал совершенно обыкновенным, таким же, как у всех.

— Повтори-ка, что ты там сказала, — попросил отец самым вкрадчивым тоном, на какой он был способен, — я не дослышал.

Но девушка залилась краской и промолчала.

После ужина родители удалились к себе, и глава семейства предложил:

— Гм… Если у нее и в самом деле пропал этот странный голос, то нужно бы поделиться такой

радостью со всеми родственниками. Устроить что-то вроде небольшого семейного торжества, никого, разумеется, не оповещая о его причине.

— Подождем еще недельку.

— Да, конечно, стоит немного подождать. Поспешишь — людей насмешишь.

С тех пор каждое утро отец просил девушку почитать ему вслух газету. Он наслаждался непривычными интонациями ее голоса, словно гурман, пробующий редкостное блюдо. И лишь изредка поеживался при мысли, что его дочь, упаси бог, может опять заговорить по-прежнему.

Как-то утром, читая очередную пространную статью на внешнеполитические темы, девушка — впрочем, теперь ее можно назвать женщиной — тоже заметила, что ее голос стал точь-в-точь таким же, как у ее подруг. И она не удержалась, чтобы не посетовать на одного своего знакомого, с чьей помощью в ней умолкли диковинные звуки.

— Ах, если бы он любил меня по-настоящему… — вздохнула она.

— Ну, что там с тобой? — спросил отец. — Да ты, никак, плачешь? Неужели это все из-за голоса? Тут не плакать надо, а радоваться, дитя мое…

ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ
(1884–1966)

В 1906 году в старинном аббатстве близ Парижа обосновалось содружество молодых поэтов. Они открыли типографию и сами печатали свои книги. Это были — Жорж Дюамель, Шарль Вильдрак и Жюль Ромен. Продержались они недолго: материальные невзгоды сокрушили художнический фаланстер. Но под его кровлей уже возникло новое течение в литературе — унанимизм (от франц. unanime — единодушный), в русле которого и дебютировал Дюамель-поэт (сборник «Легенды и битвы», 1907), драматург (пьеса «Свет», 1911) и критик (этюд «Поль Клодель», 1913). Унанимисты исповедовали приятие жизни, доверие к разуму, сострадание к «маленькому человеку», ясность стиля. Их ахиллесова пята — вера в иллюзорную гармонию между классами или, как они выражались, «группами» и «коллективами».

Врач по профессии, в годы первой мировой войны военный хирург, спасший жизнь многим фронтовикам, Дюамель пацифистски критически осудил империалистическую бойню в правдивых

рассказах, печальных балладах и элегиях.

Дюамель — один из инициаторов создания антимилитаристского движения «Кларте», деятельность которого высоко ценил В. И. Ленин. Вместе с Ролланом и Барбюсом он стремился объединить миролюбивые усилия передовых людей Запада. Но Дюамелю была свойственна ограниченность: он верил в необходимость познания жизни, однако путь к ее переустройству видел лишь в нравственном самоусовершенствовании (эссе «Овладение миром» и «Беседы в суматохе», 1919). Критика ницшеанствующих «спасителей» человечества (комедия «Сообщество атлетов», 1920), интерес к созиданию нового мира (очерки «Путешествие в Москву», 1927) совмещались у Дюамеля с защитой «независимости духа» от политики, боязнью революционной активности масс. Герой его пятитомного цикла романов «Жизнь и приключения Салавена» (1920–1932) стремится к духовной самоотдаче, но так и не может найти себя в общественном действии.

Дюамелю близки традиции реалистов XIX века; Горького он называл своим «учителем и товарищем». Писатель видел опасность фашизма; его очерковые книги военной поры «Французские позиции» (1939) и «Место убежища» (1940) были

сожжены оккупантами, которых он выставил на позор в очерке «Руины морали: Орадур-сюр-Глан» (1944). Десятитомная серия романов «Хроника семьи Паскье» (1933–1945) — итоговое создание художника, встревоженного общим кризисом буржуазного общества. Примечательны мемуары Дюамеля «Моя жизнь при свете дня» (1945–1953) и книга о радости творчества «Труд, мой единственный отдых!» (1959).

Georges Duhamel: «Vie des martyrs» («Жизнь мучеников»), 1917; «Civilisation» («Цивилизация»), 1918; «Les hommes abandonnes» («Обездоленные»), 1921; «Les septdernieres plaies» («Семь последних ран»), 1928; «Fables de mon jardin» («Притчи моего сада»), 1936; «Recits du temps de guerre» («Рассказы военной поры»), 1949.

«Третья симфония» («La troisieme symphonie») входит в сборник «Жизнь мучеников», «Кирасир Кювелье» («Le cuirassier Cuvelier») — в сборник «Цивилизация».

В. Балашов

Третья симфония

Перевод Н. Галь

Каждое утро санитары приносили фельдфебеля Шпета в перевязочную, и всякий раз с его появлением там возникал некоторый холодок.

Другие раненые-немцы — оттого ли, что с ними хорошо обращались, от неотступной боли, по иным ли причинам, — стали податливей и принимали заботу и уход не без признательности. Но не таков был Шпет. Неделю за неделей мы бились, стараясь вырвать его у смерти, потом — стараясь облегчить его страдания, а он ничем ни разу не показал, что ценит наши усилия, и мы не слыхали от него ни слова благодарности.

Он знал немного по-французски, но пользовался этим лишь для надобностей сугубо практических, чтобы сказать, к примеру: «Еще немного ваты под ногу, мсье!» — или: «Температура сегодня высокая?»

А помимо этого мы неизменно видели застывшие черты, и неизменно жестко и холодно смотрели из-под белесых ресниц бесцветные глаза. По некоторым признакам мы догадывались, что перед нами человек умный и образованный,

но его явно одолевали жгучая ненависть и преувеличенное чувство собственного достоинства.

Он мужественно переносил боль и самолюбиво старался ничем не выдать, как страдает его израненная плоть. Не помню, чтобы он при мне хоть раз вскрикнул, а ведь это было бы вполне естественно и ничуть не уронило бы господина Шпета в моих глазах. Он только стонал, у него вырывалось глухое «А!..», точно у дровосека, что с маху вонзает топор в неподатливый ствол.

Однажды нам пришлось его усыпить, чтобы надсечь края раны на ноге и выпустить гной; он сильно покраснел и сказал почти с мольбою:

— Но вы ее не отрежете, мсье, правда? Только не отрезайте!

А едва очнулся от наркоза, вновь стал держаться сухо и враждебно.

Под конец мне уже не верилось, что лицо его способно выразить какие-то иные чувства, кроме сдержанной злобы. Неожиданный случай обнаружил, что я заблуждался.

У меня, как, впрочем, у многих, есть привычка: чем-нибудь озабоченный, я насвистываю сквозь зубы. Может быть, это и неуместно, а все же я не могу не насвистывать, особенно когда поглощен нелегкой работой.

И вот однажды утром я заканчивал перевязывать фельдфебеля Шпета и рассеянно что-то насвистывал. Я смотрел только на его ногу и не обращал ни малейшего внимания на лицо, как вдруг странным образом ощутил, что он смотрит на меня совсем иначе, чем прежде. Я поднял глаза.

Поистине, произошло нечто необычайное: лицо немца преобразилось, просветленное, согретое непонятным оживлением и радостью: он улыбался, улыбался — и я его не узнавал. Я просто не мог поверить, что черты, которые мы видели изо дня в день, способны вдруг принять выражение столь мягкое и открытое.

— Скажите, мсье, — пробормотал он, — ведь это Третья симфония, правда? Вы… как это называется… свистели, я правильно сказал?

Я перестал насвистывать. Потом ответил:

— Да, как будто Бетховен, Третья симфония.

И замолчал, взволнованный.

Через пропасть нежданно перекинулся хрупкий мостик.

Так продолжалось несколько секунд, я еще раздумывал о случившемся, но тут снова на меня пала леденящая, неизменная тень — враждебный взгляд господина Шпета.

Кирасир Кювелье

Перевод И. Шрайбера

Запала мне в сердце эта история с кирасиром Кювелье. Я не назвал бы г-на Пуассона злым человеком, ни в коем случае! И все-таки он… как бы сказать… он, пожалуй, слишком стар!

Вообще нельзя было начинать войну, имея под ружьем такое старье. Сами знаете, во что нам это обошлось. Просто смешно, и никто этого не отрицает, — ведь в конце-то концов пришлось отправить их в тыл, всех до одного! Словом, не будем говорить об этом, тут пахнет политикой, а до политики мне нет дела.

Что же до г-на Пуассона, то у него один большой недостаток: любит выпить. А в остальном, как я уже сказал, он сделан из неплохого теста. Но поверьте, если тесто, из которого вы сделаны, без конца пропитывать маленькими, а иногда и большими дозами спирта, то раньше или позже оно испортится. Короче, г-н Пуассон пьет, а это очень плохо для человека, занимающего видное положение.

Еще замечу и то, что он не похож на нас с вами — людей штатских. Да-да, это человек особенный.

Кажется, будто весь мир поделен для него на две части. На одной стороне — все, кто выше его. Тут он берет под козырек и с почтением: «Слушаюсь, господин генерал!», «Так точно, господин полковник!» А на другой — все, кто ниже. Взглянув на них, он сразу наливается краской и орет: «Молчать! К чертям собачьим!» — и прочее в том же духе. Хотя, по сути дела, он, по-моему, прав, уж такое у него ремесло. Еще раз говорю вам: человек он не злой, скорее даже робкий. Потому и кричит по любому поводу — не хочет показывать свою робость.

В конце-то концов все это и есть военная служба, и не нам тут судить. Лучше поговорим о чем-нибудь другом. У меня такой принцип — не касаться вещей, в некотором роде священных.

Лично я в обиде на г-на Пуассона за то, что он прикомандировал меня к моргу, или, как он выражается, к «анатомичке». И это меня, человека, умеющего писать почерком рондо, простой и готической вязью, писать вразрядку, с утолщениями и еще десятком других способов. Да ему и не снился такой писарь!

Вообразите только. Являюсь я к месту назначения в каске, с мешком за плечами, в общем, как говорят, в полном боевом. Кто-то указывает

мне на его барак и говорит: «Господин главный врач у себя!»

Вначале я ничего не вижу: г-н Пуассон зарылся в свои бумаги, даже головы не видать. Только слышно прерывистое дыхание астматика — будто ветер свистит в замочной скважине. И вдруг он вылезает из своей бумажной норы и начинает меня разглядывать. Передо мной старый, полноватый человек с коротенькими ручками, не очень опрятный с виду — под ногтями траур. На тыльной стороне ладоней кожа дряблая, веснушчатая, вся в морщинах. Он разглядывает меня, но словно бы не замечает. А я смотрю ему прямо в лицо и замечаю все: нос у него в лиловатых прожилках, скулы отливают синевой, кожа под подбородком висит, как у коровы, а под глазами — точно две рюмки водки — два подрагивающих мешка: так и хочется проколоть их булавкой.

Он снова оглядывает меня, сплевывает на пол и бормочет:

— М-да…

Я сразу:

— Прибыл в ваше распоряжение, господин главный врач!

И тут он как заорет, а голос старческий, хриплый от мокроты:

— Вы же видите, что мне не до вас! Оставьте меня в покое! Не ясно разве, что я занят по горло, — идет наступление, раненых полно. Да еще все эти махинации!..

Что, по-вашему, я должен был ему ответить? Встал я навытяжку и отчеканил:

— Так точно, господин главный врач!

Тогда он закуривает сигарету и откашливается; по причине спиртного, заметьте, у него вечно першит в горле.

В эту минуту входит какой-то офицер. Г-н Пуассон опять взрывается:

— Это вы, Перрэн? Да не морочьте мне голову с вашими махинациями! Вы что, не видите — я вконец замотан. Взгляните на эти бумаги: девятнадцать списков. Я никогда с ними не разделаюсь. Целых девятнадцать штук!..

Офицер берет меня за локоть и говорит, обращаясь к главному врачу:

— Он прибыл с пополнением.

Тут г-н Пуассон подходит ко мне, зачем-то заглядывает мне под нос и снова начинает бушевать, обдавая меня винным перегаром:

— Вот и суньте его в морг! Надо же кому-то быть в «анатомичке»! Суньте его туда! Давайте, давайте! Пусть помогает Танкерелю. Вот так! В

морг его! И хватит с меня всех этих махинаций!

Минут через десять меня водворили в морг.

Я, конечно, загрустил, что и говорить. Человек я довольно покладистый, но судите сами, что это за жизнь — с утра до ночи перетаскивать мертвецов. Да каких мертвецов! Цвет нации, и в каком виде! Даже не поверишь, что можно так изуродовать человеческое тело.

До войны Танкерель служил приказчиком в мясной лавке. Тоже, между прочим, хороший выпивоха! Ему поручают самую грязную работу, потому что он пьет, и дают выпить под тем предлогом, что он выполняет самую грязную работу. В общем, не будем говорить об этом… Об алкоголизме я судить не берусь — я, к сожалению, трезвенник.

Танкерель, скажу я вам, не товарищ, это не человек, а просто наказание, напасть какая-то. Когда он трезвый, молчит как рыба, но трезвым он никогда не бывает. Без конца мелет всякую чушь, пристает со своими пьяными разглагольствованиями, от которых коробит, особенно когда рядом трупы.

Говорят, будто трупы это, в общем-то, ерунда, и если к ним привыкнуть, то постепенно начинаешь смотреть на них, как все равно на

какие-нибудь камни. А вот у меня так не получается. Я провожу среди них почти все время, и в конце концов они становятся моими друзьями. Одни мне просто симпатичны, и я почти жалею, когда их увозят. Иной раз неловко повернешься, заденешь его локтем и едва сдерживаешь себя, чтоб не сказать: «Прости, друг!» Я гляжу на них, на их мозолистые руки, на огрубевшие от долгих маршей ноги, и что-то в душе переворачивается. Вот дешевенькое обручальное колечко на пальце, родинка, зарубцевавшийся шрам, иногда даже татуировка или что-нибудь такое, чего не может отнять у человека даже смерть: жиденькие седые волосы, морщины на лице, какие-то следы улыбки… впрочем, чаще — следы предсмертного ужаса. И все это наводит на разные мысли. По этим телам я читаю их жизнь. Сколько дел, думаю я, переделали вот эти руки, чего только не перевидали эти глаза, женщины целовали эти губы под щегольскими усами. А бороды? В них сейчас прячутся вши, озябнув на застывшей коже… Вот о чем я думаю, ненароком задев локтем суровое полотно, в которое они завернуты, и все это нагоняет на меня какую-то странную тоску, странную потому, что, в сущности, эта тоска мне чем-то приятна.

Но я, кажется, ударился в философию. Ладно, молчок! Я не философ и не вправе морочить вам голову. Начал-то ведь я о кирасире Кювелье, не так ли? Что ж, вернемся к его истории.

Было это в дни майского наступления. Поверьте, в то время я не бил баклуши! Сколько мертвецов прошло через мои руки! Их жены и матери могут быть спокойны: я честно выполнял свой долг. Все они отправлены в могилу как положено: со сложенными на груди руками, с подвязанной бинтом челюстью, — разумеется, если было что складывать и что подвязывать, — аккуратно завернутые в простыню. О глазах не говорю, глаза им закрывал не я — когда их доставляли в «анатомичку», делать это было уже поздно. Но, в общем, я заботился о своих покойничках, как только мог…

И вот, представьте, однажды поступает ко мне труп без бирки. Лицо изуродовано — хуже нельзя, тело почти сплошь забинтовано, а бирки нет, номерок к руке не привязан!

Я положил его отдельно и попросил сообщить главному врачу. Не прошло и минуты, как открывается дверь, и г-н Пуассон тут как тут. Конечно, под мухой, однако держится молодцом. Но я-то сразу замечаю: он по-особому откашливается,

сплевывает, теребит свой крест — ведь он, учтите, кавалер ордена Почетного легиона.

— Значит, у вас тут лишний человек? — говорит он.

— Не знаю, господин главный врач, лишний он или нет, но он поступил без опознавательной бирки.

— Не в том дело, — отвечает. — Я вижу восемь трупов, следовательно… постойте-ка…

Он достает из кармана смятый клочок бумаги, вертит его и так и сяк и начинает кричать:

— Семь! Только семь! У вас здесь должно быть не более семи трупов, свинья вы этакая! Кто вам подкинул этого мертвеца?

Я дрожу как осиновый лист и бормочу, заикаясь:

— Не заметил… какие-то санитары принесли на носилках…

— Ах, вы не заметили! Что же, по-вашему, должен делать я с этим мертвецом? Во-первых, как его зовут?

— Как раз имя его и неизвестно, господин главный врач, поскольку личность не установлена.

— Не установлена! Веселенькая история! Вы меня еще попомните, милейший! Я положу конец этим вашим махинациям! А пока что — следуйте

за мной!

И вот мы шагаем с ним от барака к бараку, и у каждой двери г-н Пуассон грозно спрашивает:

— Это вы отправляете нам трупы без документов?

Сами понимаете, услыхав такой вопрос, подчиненные г-на Пуассона, как говорится, в кусты — одни с ухмылочкой, другие в перепуге. Но все неизменно отвечают:

— Труп без бирки? Нет, господин главный врач, это наверняка не от нас.

Господин Пуассон начинает задыхаться, мотает головой, как загнанная лошадь, плюется во все стороны, от ярости рычит нечеловеческим голосом — хриплым, надсадным, будто изодранным в клочья. И вообразите, несмотря на несносный характер старика, мне вдруг стало жаль его.

Наконец он направляется к себе в барак — я по-прежнему иду за ним по пятам. Он набрасывается на бумаги и с остервенением роется в них, точно пес в земле. Вскоре снова раздается его злобное рычание:

— Пожалуйста! Всего поступило тысяча двести тридцать шесть. Выбыл пятьсот шестьдесят один. Ясно? А налицо шестьсот семьдесят четыре. Значит, одного не хватает, а этот лишний. И

неизвестно, откуда он взялся. Вот мы и влипли!

Не скрою — уверенность г-на Пуассона произвела на меня впечатление. Особенно меня поразила точность приведенных им цифр. Как хотите, а все-таки удивительно, какой у этих военных порядок в делах: всегда с точностью отрапортуют, что, например, из сотни поступивших раненых шальной пулей поражены двадцать три человека — не больше и не меньше. Или, скажем, поступила тысяча раненых, из них пятьдесят умерли, значит, девятьсот пятьдесят пока живы. Выходит, что ради такой математической точности есть полный смысл писать все эти сводки. Покуда г-н Пуассон производил свои подсчеты, до меня дошло, насколько же этот мой несчастный труп действительно лишний и никому не нужный.

Главный врач повторил: «Вот мы и влипли!» Затем добавил: «Ступайте за мной». И вышел.

И опять началось бесконечное хождение взад и вперед. С поникшей головой я брел за г-ном Пуассоном, чувствуя, как его лихорадочное возбуждение постепенно передается и мне. Он останавливал каждого офицера.

— Хватит с меня этих махинаций! Проверьте, не ваш ли мертвец. Проверьте еще раз. А вдруг…

Он влетал даже в операционные и набрасывал-

ся на хирургов:

— Не вы отправили труп без бирки?

И всякий раз он доставал свою измятую бумажку и то записывал на ней карандашом цифру, то ставил крестик.

Уже вечером он посмотрел на меня воспаленными глазами и проговорил:

— Возвращайтесь в «анатомичку»! Я еще до вас доберусь!

Я вернулся в мертвецкую и в тоске присел на табурет. Принесли три новых трупа. Танкерель втискивал их в гробы. Ему помогал столяр.

На столе, завернутый в кусок холстины, безвестный мертвец ждал своей участи. Танкерель был пьян в стельку и распевал вальс «Миссури», что не очень-то уместно, когда возишься с трупами. Я приподнял краешек холста и взглянул на окоченевшее тело. Искромсанное лицо скрывали бинты, кое-где из-под них выбивались пряди светлых волос. В остальном — тело как тело, такое же, как ваше или мое.

Настала ночь. Вдруг отворилась дверь, и в морг, с фонарем в руке, вошел г-н Пуассон, сопровождаемый Перрэном. Главный врач казался спокойным. Он несколько раз отрыгнул, как человек, который только что пообедал на славу.

— Все-таки вы дурак, — обратился он ко мне. — Вы даже не заметили, что это труп кирасира Кювелье.

— Но, господин… глав…

— Молчать! Это кирасир Кювелье, и точка! — Он приблизился к столу, смерил взглядом труп и воскликнул: — Никаких сомнений! У него вполне подходящий рост для кирасира. Вы поймите, Перрэн: кирасир Кювелье поступил в лазарет позавчера. По данным регистрации, он оттуда не выбывал. Но вместе с тем и на излечении он уже не находился. Значит, он умер. Значит, это он и есть. Ясно, как дважды два!

— Бесспорно, это он, — согласился Перрэн.

— А кто же еще? — сказал г-н Пуассон. — Это Кювелье. Сразу видно. Бедняга… А теперь пошли спать.

Затем, повернувшись ко мне:

— Кладите его в гроб и приклейте на крышку ярлык: «Кювелье Эдуард, Девятый кирасирский». А в дальнейшем, знаете ли, попрошу вас без махинаций!..

Оба офицера вышли, я уложил кирасира Кювелье в гроб и прилег на свой соломенный тюфяк часок-другой вздремнуть.

Утром, когда я уже собрался было заколотить

гроб с телом кирасира Кювелье, в морг опять явился г-н Пуассон. На сей раз вид у него был столь же невозмутимый, как накануне.

— Погодите! Не торопитесь его хоронить! — сказал он.

Несколько раз он обошел вокруг гроба, жуя окурок сигареты и заходясь застарелым, древним, как мир, кашлем; видно было, что он порядком взволнован и уже отказался от мысли вот так, легко и просто, отправить Кювелье в вечность. Из его затеи ничего не выходило: мертвец лежал с таким видом — не подступись. Не знаю, был ли г-н Пуассон человеком долга или просто боялся неприятностей, но в эту минуту я испытывал к нему какую-то жалость и даже симпатию.

Вдруг он обратился ко мне, словно побаивался оставаться один:

— Пойдемте! Сходим туда еще раз!

И стали мы опять обходить бараки.

— Восьмой барак? — спросил г-н Пуассон. — У вас здесь тяжело раненные? Нет ли среди них кирасира Кювелье?

Врачи и сестры переглянулись, пошептались и ответили: «Нет».

Мы пошли дальше.

Господин Пуассон снова спросил:

— Седьмой барак? У вас тут нет Кювелье, из Девятого кирасирского?

— Нет, господин главный врач.

Тут г-н Пуассон возликовал:

— Ну, конечно же! Его и не может быть, раз он умер. Я их проверяю просто так, для очистки совести. Такой уж я дотошный.

Потом нам повстречался Перрэн.

— Понимаете, какое дело, — обратился к нему главный врач, — хочу окончательно успокоиться, вот и хожу по баракам, спрашиваю, нет ли где Кювелье. А его нет как нет. Захожу, разумеется, только туда, где тяжело раненные. Ясно ведь: если он умер, значит, от тяжелого ранения.

— Безусловно, — согласился Перрэн.

Когда мы закончили обход, г-н Пуассон горделиво напыжился, так, что вся кожа под подбородком собралась у него в складки.

— Итак, это Кювелье, и только он! — заключил главный врач. — Вот что значит образцовый порядок! У меня в госпитале все в ажуре, не то что у Пуса или Виейона, у этих жалких разгильдяев.

— И тем не менее, — заметил Перрэн, — может, стоило бы уже заодно справиться в бараке легко раненных… Так… для полной уверенности…

— Что ж, извольте, если вам охота, — небрежно

бросил г-н Пуассон.

И вот мы направляемся к бараку «транспортабельных». Входим, задаем обычный вопрос. Никто не отвечает. Г-н Пуассон собирается уходить и уже в дверях повторяет:

— Нет ли здесь Кювелье?

И вдруг звонкий голос:

— Так точно! Я Кювелье!

Высокий курчавый парень встает с койки и машет рукой, на которой белеет совсем маленькая повязка.

И тут все начинает принимать трагический оборот. Лицо г-на Пуассона меняется на глазах, становится фиолетово-черным, будто его хватил удар. Он сплевывает дважды, даже трижды подряд, хлопает себя по ляжкам и хрипло бормочет:

— Что ж, отлично! Он, конечно, должен быть жив…

— Кювелье — это я! — повторяет высокий курчавый парень.

— Кювелье Эдуард?

— Так точно, Эдуард!

— Из Девятого кирасирского?

— Так точно, из Девятого!

Господин Пуассон пулей вылетает из барака. За ним Перрэн, а следом за обоими — я. Главный

врач трусцой бежит в морг, становится перед гробом и, роняя слюну на свой френч, мрачно произносит:

— Раз это не Кювелье, надо все начинать с начала…

Трудно представить, какой я пережил день. Никогда не забуду!..

Тем временем наступление продолжалось. Мертвецы заполняли отведенное им последнее прибежище. Но истинная жизнь мертвецкой словно оборвалась.

Вам случалось видеть, как на самой середине реки вдруг застрянет пароходик — и все движение останавливается? Вот так же было и с этим безвестным трупом? будто он сел на мель прямо поперек всех наших дел и стал угрожать всему — и прежде всего здоровью несчастного г-на Пуассона, начавшего уже было поговаривать о том, что-де, мол, и его не мешало бы куда-нибудь эвакуировать. Ежечасно он приходил взглянуть на труп, который уже начал разлагаться. Он сверлил покойника неподвижным взглядом, словно не потерял еще надежду заставить смерть заговорить.

После обеда я ненадолго успокоился — г-н Пуассон отдыхал. Около шести он появился снова, и

я с трудом узнал его. Он почти дочиста вымыл руки, надел белоснежный воротничок, побрился. От него несло хорошо настоянной виноградной водкой.

— Вы что же — до сих пор не заколотили гроб с этим немцем? — набросился он на меня. — Вот ведь дурак!

— Но, господин главный врач…

— Молчать! Пишите табличку: «Немец. Личность не установлена». Понятно?

Вошел Перрэн. Оба офицера еще раз взглянули на труп.

— Совершенно очевидно, что это бош, — сказал г-н Пуассон.

— Безусловно! Типичный бош.

— Об этом, Перрэн, следовало подумать раньше.

Они направились к выходу. Вдруг г-н Пуассон обернулся.

— И еще вот что: вытащите-ка его из ящика. Поскольку это немец, будет похоронен без гроба. Как обычно.

Из книги «Притчи моего сада»

Перевод Н. Галь

Сад Кандида

Собираются плотные тучи. На юге уже сгущается угрюмая тьма, за нею движутся исполинские удушливые клубы. Внезапными порывами налетает резкий ветер, пригибает колосья в полях. Глухо рычит вдалеке земля, словно от страха. Гроза приближается, нащупывает дорогу. Быть может, нас она обойдет стороной, быть может, пощадит. А быть может, это водяное чудище придавит нас тяжкими лапами. Еще несколько мгновений — и, может быть, наша задыхающаяся равнина застонет под ударами ливня.

И, однако, садовник с тяжелой лейкой в руке обрызгивает заботливо отмеренным дождиком пока еще не потревоженный сад.

Как будто еще можно надеяться. Как будто жажду всегда надо утолять радостно. Как будто самому малому цветку дается вечная жизнь, полная доверия и радости.

Верить себе

Только что привезенные саженцы вполголоса беседовали под навесом, дожидаясь, когда их посадят.

— Вот я всегда зацветаю рано, — говорило черешневое деревцо. — И не потому, что хочу отличиться. Вовсе нет, уверяю вас: я сама скромность. Я зацветаю рано, потому что так принято в нашем благородном семействе. По правде сказать, цвету я чудесно: белоснежный шелк одевает каждую мою ветку до самого кончика. Лепестки так нарядны! А какой аромат! А когда настает пора отцветать, как откровенно они осыпаются! И какой ковер на земле у моих ног! Вот увидите, это поэма. Плоды, которые мы приносим, славятся на весь мир. Только подумайте: наше семейство — белая черешня! Наши ягоды — белые. А вы кто, сосед?

— Я? — хмуро ответил соседний саженец. — Я груша.

— Ах, вот что, груша! Как интересно! У вас, кажется, нет косточек?

— Слава богу, нет! Но есть семечки, и гораздо больше, чем мне хотелось. Груши я, если нужно,

даю, но, разумеется, при условии, чтобы мне не докучали. Если здесь меня оставят в покое, я, пожалуй, принесу парочку. А если начнут подрезывать, теребить— ну, дудки! Я себя утруждать не стану, с меня взятки гладки.

— Как вы сказали?

— С меня взятки гладки.

— Вот око что? Как интересно! А вы там, малыш, вы кто такой?

— Простите?

— Да-да, я вас спрашиваю! Вы что приносите?

Теперь учинили допрос яблоньке — уж такая она была корявая, такая невзрачная…

— Да я что ж… — тихо ответила яблонька. — Делаю, что могу.

Новичков поселили в саду. В первый же год черешневое деревцо покрасовалось чудесными цветами и принесло четыре или пять черешенок. Груша не дала ни единого плода. Яблонька — ее посадили где-то в темном углу, на холоде и на ветру, — подарила нам ведерко яблок.

Прошло десять лет. Верная маленькая яблоня по-прежнему подавляет нас своим великодушием. Груша держит слово: она так и не принесла ни одного плода. Черешня каждый раз, как настает апрель, твердит всем, кому не лень слушать: «Вот

погодите — и увидите!».

И ее прекрасного фейерверка в конце концов всегда хватает на завтрак воробью.

Правило воздержания

Уже месяц, как нет дождя, и сад в отчаянии. Мы, люди, тоже мучаемся: не за себя — нам хорошая погода приятна, — но за все эти бессловесные создания, за несчетное множество страдающих от жажды. Такова теперь наша жизнь: ничем, даже солнцем, мы больше не можем наслаждаться безмятежно, всегда мешает какая-нибудь сторонняя мысль.

Садовник с горечью оглядывает цветы на главной аллее. Не в том дело, что не хватает воды напоить несчастных. Нет, воды у нас вдоволь. Не хватает другого: времени и рук.

Земля суха и безотрадна. Цветы не умирают, но испытывают адские муки. Как иные под тяжестью изобилия, они сгибаются под гнетом нищеты. Будь тишина полной и нерушимой, мы бы услыхали их жалобы.

Я осторожно вмешиваюсь:

— Может быть, все-таки можно разок их напоить? Один только раз?

Садовник качает головой.

— Сейчас они в силах терпеть и ждать, — говорит он. — А если я их полью хоть один раз, только один разочек, они захотят, чтобы их поливали каждый день.

Техник. Философ. И пророк

Автомобиль Марселя Куна свалился в канаву. Случилось это как нельзя проще. Густые июньские травы скрывали ловушку — они так пышно разрослись после дождя. Обочины дорог не чужды подобного предательства. Марсель Кун слишком усердно держался правой стороны; и вот его машина лежит на боку, правые колеса по ступицу в жидкой грязи.

Едва схлынуло первое волнение, дамы — свидетельницы происшествия — вернулись к теннису: все это для них чересчур сложно. Они рассеянно перебрасывались мячами и время от времени поглядывали, не стал ли снова зверь на все четыре лапы. Кун очень маялся. Он скинул куртку, но перчаток не снял. Он пытался извлечь из канавы не только свою машину, но и недавно обретенное доброе имя автомобилиста. С немалым достоинством он делал усилия, которые не лишены

были изящества, хотя пот лил с него в три ручья. На все это смотрела кучка исполненных сочувствия зрителей: тут сошлись только друзья, они не осмеливались подавать советы — все они, люди весьма разумные, были глубоко убеждены, что никакой автомобиль не может остаться в канаве навсегда — и этот тоже в конце концов вернет себе естественное равновесие. Притом вот и спаситель, аварийный механик. Это мсье Тьебо, ветеран дороги, истинный профессор по части всяческой техники. Он мерит больную тварь быстрым взглядом знатока и тотчас же — за дело! Что тут требуется? Камни, кирпичи, доски, домкраты, брусья, рычаги, тросы. Мсье Тьебо облачается в рабочий комбинезон и приступает. Он все эти приемы знает назубок. Теперь и он щедро проливает пот заодно с Марселем Куном.

Чудовище, потерпевшее крушение, слегка приподнимается, вновь оседает, вздрагивает, устраивается поуютней и окончательно погружается в сон. Ему и здесь хорошо. Так пусть же его оставят в покое. А ближайший прилив уж как-нибудь да снимет его с мели.

Проходит час. Пот все течет ручьями. Летают в огромной клетке перепуганные теннисные мячи. Кучка зрителей разрастается, тараторят языки,

лопается терпение. Каждые пять минут выглядывает солнце — как там дела? Ветер вздыхает и, протягивая руку помощи, легко перебирает взмокшие волосы.

Погожий воскресный день. На дороге оживленно. Проносятся автомобили. Те, что покрупнее, замедляют бег и роняют слово сочувствия, смешок, совет. В самых маленьких любопытство говорит громче всего. Они останавливаются подле раненого чудовища, словно звери вокруг западни, где рычит их сородич. Они высылают мужчин в огромных защитных очках — мужчины обводят взором картину, и осторожно выражают соболезнование злополучному шоферу. Совсем по-особенному они произносят: «Вам что-нибудь нужно?» Сразу ясно, на обыкновенном человеческом языке простые слова эти должны означать: «Вот уж чего со мной никогда не бывает!» Затем они гордо отправляются дальше.

Два механика на дне канавы по-прежнему в трудах. Они не позволяют себе отвлечься. Последовательность и упорство.

Появляется полковник Бежо. Это человек ученый. Он проложил железные дороги в песках Африки. Поверх пенсне он оглядывает автомобиль, дорогу, толпу и канаву. Складывает руки на

животе и очень тихо спрашивает:

— Сколько весит ваша машина?

Марсель Кун глубоко уважает полковника Бежо, однако сейчас едва удостаивает его ответом.

— Девятьсот пятьдесят килограммов, — говорит он с полнейшим равнодушием.

— Девятьсот пятьдесят, — повторяет полковник Бежо. — Что ж, мы куда быстрей вытащили бы ее из канавы, если бы просто все вместе в нее впряглись. Двенадцать человек. Этого вполне достаточно.

Двигая бровями, он мысленно делает расчеты. И повторяет:

— Мы куда быстрей вытащили бы ее…

Полковника никто не слушает. Никто ему не верит.

Его очень уважают, но верить не верят. Он говорит слишком тихо.

Он и не настаивает, поправляет пенсне и смотрит, как хлопочут оба механика. Два муравья подле трупа. Машина удобно расположилась в жидкой глине. Судя по всему, она решила остаться здесь не на один день. Она чувствует себя прекрасно. Она не понимает, чего ради к ней пристают.

Проходят долгие минуты. За минуту с каждого

лба стекает примерно двадцать капель пота. Мучит жажда.

А дорога живет. Появляются новые люди. Другие уходят. Приедается все, даже чужие несчастья.

Останавливается молодой велосипедист. Это крестьянин. Ему едва минуло двадцать. Краснолицый крепыш. Он шумно дышит. Стискивает обеими руками руль велосипеда. Он явно недоволен. Мгновенье молча смотрит на застывших в бездействии зрителей и на потерпевшую крушение машину. И вдруг не выдерживает. Рывком прислоняет свой велосипед к живой изгороди и, взмахнув руками, врезается в наше сборище. Он невысок ростом, но кажется великаном. В лице его смешались гнев, изумление, жалость. Сердито и взволнованно он кричит:

— Чего это? Чего ж вы? Нельзя ж так оставлять! Машина! Да это раз плюнуть, десяти человек хватит! А ну, давайте! Надо взяться сзаду, так будет полегче. Раз — и на дорогу! А потом только потянуть.

Механики встрепенулись, подняли головы. Кучка зрителей почти робко смотрит на краснолицего молодого парня. Полковник Бежо кивает.

— Давайте! Давайте! — кричит парень. — Де-

сять человек беритесь сзаду, говорю ж вам, этого хватит!

Голос его звучит властно, почти свирепо. Наша нерешительность его злит; он рассеивает ее взмахом руки. Все мы беспрекословно повинуемся. И вот он уже распоряжается, расставляет людей, руководит операцией.

— Раз-два, взяли! Так! Пошла!

Машина уступает. Она больше не противится. Охотно готовится к прыжку, словно конь, который почуял руку и шпоры искусного наездника.

Десять секунд — и машина уже на дороге. Мы теснимся вокруг, ошеломленные свершившимся чудом. Нам пришлось приложить так мало усилий! И, однако, все кончено. Полковник Бежо улыбается: разум обрел голос и руку. Молодой крестьянин отыскивает свой велосипед.

— Нельзя же так расстаться! — восклицает Марсель Кун. — Надо выпить по стаканчику.

— Некогда! — возражает молодой человек.

Он уже в седле. Приподнимает шапку. Смеется. Катит прочь. Он уже далеко. Он едет спасать мир. Ему надо спешить. Он нужен людям.

Счастливые дороги

Край наш — равнинный. Огромная глиняная плоскость изрезана неглубокими ложбинами, их промыли на бегу речки и ручьи. Дороги у нас счастливые.

В дни юности я сотни раз бродил пешком по суровым горным краям, по Центру и Югу нашей страны. Там жизнь дорог полна препятствий. На каждом шагу они наталкиваются не на пропасть, так на стену. Но как они осмотрительны! Какая мудрость и осторожность! Они подолгу колеблются, прежде чем пуститься на риск. Не торопясь, в обход приближаются к крутым подъемам. Они предчувствуют: путь будет долог и труден.

В конце концов они всегда оказываются на высоте — и словно бы иначе им нельзя.

А у нас дороги счастливые. Им все дается без труда. И уж если на пути попадется холм, они кидаются на него очертя голову, так поспешно, даже дерзко, а главное, с таким легкомыслием, что путник насилу переводит дух и не без досады вспоминает благоразумные и надежные дороги, которые умеют, не теряя дыхания, проходить над облаками.

Гора и река

Между рекой и крутым горным склоном люди провели шоссе — прекрасную звонкую дорогу, по ней с утра до ночи проносятся машины, проезжают путешественники, проходят крестьяне и гонят стада пастухи.

Однажды вечером я бродил по обочине и услыхал в сумерках жалобу нашей горы.

— Когда-то, — говорила она, — я царила над всем этим краем, от небосклона до небосклона. Но упрямая река мало-помалу вгрызалась в меня. Она подрывает мое подножье. Она расшатывает меня и губит. Она — мое мученье, мой ужас, вечное мое наказание. Придет день, когда она меня одолеет, и от меня останется один лишь песок на дне морском.

— Почему ты жалуешься? — прошептал я горе. — Можешь впредь ничего не бояться: мы, люди, построили эту дорогу. Она прочная, у нее крепкое, надежное основание. Река теперь не достигнет тебя даже в половодье. Можешь спать спокойно. Право, к чему тебе жаловаться?

Гора отозвалась не сразу. Наконец она молвила голосом всех своих трав:

— Да, но будете ли вы здесь через тысячу лет? А через два миллиона лет вы будете здесь, бедные козявки, бедные храбрые козявки?

Планы на еще одну жизнь

Если когда-нибудь я вернусь в мир, чтобы прожить лет двести — триста, быть может, из каждой моей притчи я сделаю роман, а может быть, комедию или — как знать? — драму.

На сей раз это невозможно. У меня уже не остается времени. Могу предложить только зерно. Посейте его в ваших садах, о мои друзья во всем мире! Посейте на цветниках вашей памяти. Из этих семян взойдут цветы — и вы вспомните обо мне.

АЛЕКСАНДР АРНУ
(1884–1973)

В новелле «История Марии» Арну поведал о судьбе одинокой женщины: еще в дни войны она узнала, что сын ее пропал без вести, а вскоре получила и «похоронку». Однако шли годы, а она упорно ждала, до последнего вздоха веруя, что сын ее непременно вернется.

Новелла эта типична для повествовательной манеры художника: простая фабула, безыскусный стиль и, наконец, цельный характер, патетика чувства, непоправимость человеческой трагедии, близкой и понятой людям. Удел Марии небезразличен Арну: ведь и его, подобно ее сыну, могли счесть «пропавшим без вести». Недаром на вопрос, какое военное деяние вызвало у него восхищение, Арну скорбно-иронически ответил: «Лично участвовать в двух мировых войнах и не быть убитым». Свои фронтовые переживания писатель воплотил в антивоенных рассказах из цикла «Кабаре» (1919) и в романе «Индекс 33» (1920).

В интервале между двумя войнами в романах

«Цифра» (1926) и «Неаполитанский соловей» (1937) Арну размышлял о тайных пружинах истории, от хода которой зависит участь каждого человека. Художник отчетливо видел, как пагубно для личности подчиняться денежному расчету, ограничивать себя горизонтом буржуазного бытия и сознания. Само время не раз подтверждало прозорливость его наблюдений, характерность, к примеру, той парадоксальной коллизии, о которой поведал Арну в рассказа о тлетворной индустрии стандартных идеалов («Экран»).

И после минувшей войны Арну по-прежнему влечет разгадка тайны исторического прошлого (роман «Король одного дня», 1956), тема социальной ответственности личности (роман «Итог», 1958) и силуэт завтрашнего дня. В поле зрения Арну попали ранее незнакомые ему герои. «Новый персонаж, — заявил он в одном из интервью, — коммунист... Это значительный сюжет нашего времени». Таково знаменательное признание художника, сумевшего взглянуть в лица людей, своих современников.

Alexandre Arnoux: «Le cabaret» («Кабаре»), 1919; «Suite variee» («Пестрой чередой»), 1925; «Helene et guerres» («Елена и

войны»), 1945.

«Экран» («L'ecran») входит в сборник «Пестрой чередой».

В. Балашов

Экран

Перевод Н. Галь

Хоть я и жил на широкую ногу, как подобает кинозвезде, непостоянному светилу и властелину экрана, я успел отложить несколько миллионов, — но внезапно меня поразил жестокий недуг и сделал непосильной тяжелую работу в студии, в духоте под стеклянным куполом, под яростным огнем «юпитеров», перед объективом, который ничего не прощает. Собственно, это нельзя назвать болезнью: я чувствовал себя очень недурно, ел и спал, как всегда; мой тренер (ибо я заботливо следил за своим телом) считал, что ничуть не ослабла моя атлетическая мускулатура, и моя подруга не замечала, чтобы я хоть сколько-нибудь сдал как любовник; кровяное давление держалось на вполне приличном уровне; кожа и легкие дышали свободно; мысль была ясна, воля крепка — ни малейших признаков неврастении,

какою Рок для забавы поражает счастливчиков, что завалены всеми дарами жизни и под конец — странная превратность судьбы! — оскудевают сами, лишаются того единственного блага, которого никому не отнять у бедняков. Нет, право, никакими обычными понятиями не объяснить, отчего мне изменила способность проявлять свои чувства, отчего онемели и застыли черты лица — стали вялыми, бессильными отразить внутренние потрясения, отчего меня предало тело, ноги, руки, — прежде они так чутко передавали малейший трепет моей души, а теперь служили всего лишь орудиями, рычагами: по-прежнему сильные и гибкие, они утратили всякую живость и выразительность. Так опошленные слова, затасканные образы, сто раз перепетые мелодии обращаются в ничто, теряются в смутных и сумрачных пучинах небытия. Но ведь люди, черт возьми, даже когда стареют, не утрачивают своеобразия, каждый по-прежнему изумляет своими особенными красками, передает другим то, что присуще ему одному, и растворяется только в смерти; люди не стираются, как ходячая монета, напротив, нередко черты их с годами проступают все отчетливей, все рельефней. Не так вышло со мной. Внутри как будто ничего не пострадало,

а меж тем я незаметно разрушался, истаивал, уже не отделялся от внешнего мира; лучи света больше не упирались в меня, я в них тонул. Неисцелимая болезнь: я уже не отпечатывался на пленке, от моих жестов на ней оставалось лишь нечто зыбкое, без определенных очертаний, расплывчатая рябь, сквозь которую просвечивали холмы или деревья; казалось, это движется призрак, а ведь перед объективом камеры играл я — живой, из плоти и крови, безо всяких трюков и ухищрений! И вот в расцвете сил, на вершине успеха пришлось мне расстаться с моим искусством. Я был богат, избалован славой, и тяготило меня только одно: вынужденное безделье; ибо у меня не было никакого другого ремесла и мне казалось единственно достойным занятием изливать на весь мир тщательно отработанную жизнь моего лица и волнующее совершенство тела.

Я укрылся в загородном доме, вблизи городка, где когда-то родился, и несколько лет прожил мирно и однообразно среди своих цветников, среди собак и домашней птицы — ни дать ни взять разбогатевший торговец, которому пришла пора удалиться на покой. Когда-то, пятнадцати лет от роду, я сбежал из мрачного, убогого предместья, с десяток лет жил как придется, зарабатывал на

хлеб чем попало, ходил в статистах, а потом вдруг поднялся на роли, которые принесли мне славу и деньги, славу самую громкую и ослепительную, сокровища в самой надежной валюте и по самому великолепному курсу: английские фунты, аргентинские пиастры, доллары. Я притягивал все взоры, мои изображения покупались нарасхват, мир еще не знал столь беспредельной славы и столь мгновенного падения… Иной раз вечером я доставал из шкафа какую-нибудь старую ленту и прокручивал ее в просторной комнате, где экраном служила стена — небо на ней получалось шероховатым, а озера в царапинах. Я крутил фильм для себя одного, только для себя, я напевал вполголоса, был сам себе актер и публика, механик и оркестр, сам себя выпускал на экран и в себя всматривался, раздваивался и сам с собою соединялся. Ох уж эти осенние ночи! За стеною — резкий ветер и колючие звезды, ледяное одиночество; а в зале свершается невеселый круговорот между аппаратом, стеной и сетчаткой моих глаз; пучок света подхватывает меня и пригвождает к голубоватой штукатурке, а с нее возвращаются в меня образы моей жизни и уже не умеют больше вырваться наружу. У ног моих дремлет собака и ворчит во сне. Длится механическое безумие,

размеренное сумасбродство, упорядоченная галлюцинация, и по милости старой пленки я снова с горечью встречаю свою молодость.

Да, я создал образ, образец, которым до сих пор бредят люди в Старом и Новом Свете. Я его породил, он вышел из моего нутра; своей походкой, переменчивым лицом, своим безмолвием и внезапными причудами он заполнил тысячи и тысячи метров белого полотна в черной или коричневой рамке. Оливье Мальдон — так его зовут — больше мне не принадлежит; он взял взаймы мое обличье и отделился от меня. Я изобрел этого Оливье Мальдона — вернее, сама Европа, мир, опустошенный бедствиями, наш изголоданный отчаянием век заставили меня дать ему жизнь; я наделил его обликом и плотью — так девушка, которую совратили и взяли силой, вновь узнает в сыне черты не только свои, но и любовника. Я отдал свое лицо и тело — и создал тип, создал героя, который даже не сохранил моего имени. Воля к власти, жажда наслаждений, внутренний разлад, падения, тоска и тревога — все, что после стольких битв швыряет нас из одной крайности в другую, заставляет то поклоняться силе, то упиваться слабостью, то жаждать богатства, то исповедовать смирение, переходить от само-

отречения к непомерной гордыне, от мерзкого неодолимого смеха к сладостным слезам, неистовые порывы, опьянение жизнью, которое так трезво сознает всю обманчивость своих восторгов, исступление грубой нежности — все это я воплотил при помощи моих мышц и уменья так выразительно двигаться и замирать, которым одарила меня природа. Я вернул людям общее их благо и неразделимое зло. Да что там! Несколько судорожных гримас, буйных вспышек, крутых поворотов настроения, несколько недолговечных анекдотов — и я воплотил в белом и черном цвете целую эпоху! Несколькими вывертами и уловками я заставил моих ближних познать самих себя. Вся неуравновешенность нашего сегодняшнего мира отражалась в нарочито нерешительной складке моих губ, когда лицо мое крупным планом заполняло стену комнаты, а моя собака тявкала на призрак, что примерещился ей в этот ноябрьский вечер. Оливье Мальдон!.. Пленка раскручивалась до конца, огромный прямоугольник, высвеченный на стене, пустел и только отбрасывал в комнату подобие окаменелого лунного света, — и тогда я сваливался без сил и уже не шевелился до зари.

Однажды поздней ночью я совсем уже собрался

лечь в постель — и вдруг упал, на висках проступил холодный пот; странная бесчувственность кожи, что прервала мою карьеру, завладела теперь всем моим существом, въелась до мозга костей. Я не испытывал страданий, чувствовал только, что сделался невесомым и от всего далеким. Тут-то я узнал: фильмы, в которых я играл, после нескольких лет забвения вновь выпущены на экраны и опять вошли в моду, ибо мои преемники и подражатели оказались однодневками, они не сумели меня заменить, а люди меня помнили и требовали моего возвращения. Притом в ту пору, после недолгого затишья, когда Европа как бы замерла и замкнулась в себе, она вновь начала биться в муках и противоречиях, открылись и кровоточили раны, хотелось погибнуть — или уж наконец вздохнуть свободно. Вот почему я, вернее Оливье Мальдон, вновь тревожил людское воображение, и тень его опять заполняла белые плоскости экранов. И напротив: моя жизнь, которую я когда-то так щедро раздавал, а потом так щадил, теперь от меня ускользала; мое создание, точно ненасытный младенец, высасывало из меня соки, пило мою кровь, подтачивало силы, пожирало меня. Я знал, понимал: мое детище меня убивает — и я нашел лекарство, единственное,

почти недоступное, но верное. Я сжег все пленки, которые мне принадлежали, потратил все свое состояние, по-настоящему разорился, продал свою землю, дом, породистых собак — и по одной скупил ленты моих фильмов, которые разошлись по всему свету: я уничтожил их, чтобы спастись самому. А потом однажды утром, ослабевший, обескровленный, без гроша в кармане, я снова, как когда-то в пятнадцать лет, пустился в дорогу: блестящее прошлое мое пожрал огонь, дыхание мое успокоилось, я заплатил за это немалую цену — отдал все, что только у меня было, — и отправился навстречу плачевному будущему.

Некоторое время я скитался по воле случая, как вели меня милостыня и людская жалость, и однажды февральским вечером забрел в сумрачный поселок, где только и светился вход в кинематограф на площади. Туда сходились люди, отряхивали у входа плащи и зонты и скрывались в красном парусиновом балагане, который с грехом пополам защищал от снега и ветра. Я подошел ближе и на афише прочел: «Насилие», знаменитый фильм с участием Оливье Мальдона». Итак, несмотря на все мои старания, одна пленка все же уцелела. По счастью, у меня нашлось немного мелочи, я купил билет на верхотуру, движимый

двойным чудовищным любопытством: хотелось увидеть, как я вновь оживу, — и хотелось ощутить, как умираю, капля за каплей теряя кровь. Фильм длился всего лишь час, и это был час ужаса и сладострастия; я был опустошен, я терял сознание; то было самоубийство — добровольное и вместе неизбежное; настоящая агония; и в провалах тишины, когда чахлому фортепьяно не хватало изобретательности, я слышал, как все глуше, все слабей бьется мое сердце. Подмывало крикнуть: «Это моя кровь!» — но я не мог выговорить ни слова. Под конец все смешалось, я впал в смертное оцепенение, порою его прорезали вспышки бреда, и когда зал опустел, я так и остался на скамье, меня забыли, точно брошенные хозяином обноски.

Очнулся я, когда часы на колокольне пробили два — четыре сбивчивых четверти и затем два сухих, отрывистых удара. Тусклая лампа, почти ночник, еле-еле освещала зал, где воняло застоявшимся табачным дымом. В глубине, напротив квадратного окошечка, откуда бил прежде пучок света и слышалось пчелиное жужжанье дуговой лампы, слабо отсвечивал экран. Невидимый в полутьме, по голубоватому лучу я пересекал тогда весь этот зал и врезался в стену и на ней

обретал плоть; быть может, к ней прилепилась и еще уцелела малая частица моей жизни. Ведь экран — мое достояние, моя подлинная родина, мое жилище; ведь на самом деле мой облик существует только в двух измерениях, а если кому-то кажется, что в трех, он просто заблуждается — или, может быть, искусный режиссер так ловко провел зрителей колыханьем листвы на заднем плане. А впрочем, тут себя не обманешь. Кто же не слыхал про Оливье Мальдона? А я — кто знает меня? Тысячи экранов по всей земле сожрали меня, впитали своими холодными плоскостями тончайшие чешуйки моего существа, похитили у меня жизнь, по капле воровски высосали мою кровь. Если поскрести их ножом, быть может, отыщется толика меня, в них растворенного… И через силу, хватаясь за спинки стульев, хлопая откидными сиденьями, я пошел вперед по разделяющему зал наклонному проходу, застланному ковровой дорожкой. Честное слово, экран под своим шутовским плащом с бахромой надо мною издевался! Его вычерченный по линейке рот с чуть закругленными углами застыл в оскорбительной усмешке; и вдруг, словно чье-то дыхание оживило аппарат, впереди мелькнуло мое отражение — мимолетная зыбь, неуловимая

волна, призрачная быстрая тень рыбешки, плененной подо льдом. Но если лента раскрутится еще хоть раз, это смерть: стена поглотит меня без остатка, я застыну бессмысленным бликом, конец последнему и единственному, что у меня еще осталось, — отчаянью, дыханию. Нет, Оливье Мальдон должен исчезнуть безвозвратно. Я подобрал несколько забытых газет, какие-то липкие обертки от сластей; я подпалил этот факел и через квадратное окошечко торопливо сунул его в будку механика, туда, где хранились ленты, — если я хочу жить, последняя пленка должна сгинуть в пламени.

Час спустя, в хаосе пожара, в суматохе, почти уже задохнувшийся, я все же чудом оттуда ускользнул. Кинотеатр сгорел вместе с пленкой; уцелел один лишь экран — он чернел в слабом предутреннем свете, обугленный, весь в саже. И тогда я пошел прочь, и в сердце у меня была скудная, горькая стариковская радость. Оливье Мальдон умер, умер навсегда, окончательно и бесповоротно. А мне еще осталось недолгие дни дышать на этой земле, и меня уже не станет преследовать мой убийца — мое отродье. И как раз вовремя на южных склонах скал расцвели, цепляясь корнями за камень, душистые кустики

голубого розмарина — первые предвестники весны, первый земной аромат, за них удобно хвататься, когда взбираешься в гору. Я убил порожденного мною героя, я нищий. Все идет, как надо.

АНДРЕ МОРУА
(1885–1967)

Эмиль Гериог, известный читателям разных стран под именем Андре Моруа, родился в Нормандии, неподалеку от Руана; его отец владел текстильной фабрикой, где позднее Моруа служил администратором. Детство его было безмятежным: дружная семья, внимание и уважение со стороны, взрослых. «Это и сформировало во мне, — вспоминал Моруа, — чувство личного и гражданского долга, а также естественную терпимость к чужому мнению». Ребенком он много читал; по его собственным словам, в нем рано вспыхнула «великая любовь к русским писателям», не угасавшая до последних дней: среди не завершенных им планов — биография Льва Толстого.

В руанском лицее Андре Моруа впервые начал писать. Новеллистические пробы пера он собрал только к 1935 году в книге «Первые рассказы», включив сюда также новеллу 1919 года «Рождение знаменитости». Художественная дистанция, разделяющая полудетские рассказы и эту новел-

лу, поразительна; она объясняет, почему свою первую книгу, «Молчаливый полковник Брэмбл», навеянную фронтовыми впечатлениями, — Моруа прошел первую мировую войну с пехотным полком шотландцев, — писатель опубликовал лишь в тридцать три года; он воспитывал в себе требовательность. От этой первой книги до последних — полвека напряженного литературного труда. Невозможно назвать жанр, к которому остался бы равнодушен Моруа-писатель. Среди его наследия психологические романы. («Превратности любви», 1928; «Семейный круг», 1932; «Инстинкт счастья», 1934); романизированные биографии Шелли, Байрона, Вольтера, Тургенева, Гюго, Бальзака, Жорою Санд, Дюма, Дизраэли, Флеминга; исторические исследования («Параллельная история СССР и США», в соавторстве с Арагоном, 1962); литературные эссе, социологические очерки («Вначале было дело», 1966); повести для детей.

Бесспорное качество Моруа-художника — утонченный психологизм, ярко проявившийся в его новеллистических миниатюрах. Андре Моруа — убежденный поборник реалистических традиций. Его знаменитое выступление начала 60-х годов «Роль писателя в современном мире» прозвучало

как завет современникам: «Художник обязан сделать понятным столь непонятный реальный мир... Наша обязанность помочь читателю увидеть в каждом человеке — Человека. Читатели ищут в книгах... высокие духовные ценности и новые силы, чтобы продолжать борьбу».

Andre Maurois: «Me'ipe ou la delivrance» («Meun, или Освобождение»), 1923; «Premiers contes» («Первые рассказы»), 1935; «Toujours l'inattendu arrive» («Всегда случается неожиданное»), 1943; «Le diner sous les marroniers» («Обед под каштанами»), 1951; «Pour piano seul» («Только для фортепьяно»), 1964.

Новелла «Рождение знаменитости» («Naissance d'un maitre») входит в сборник «Первые рассказы».

Т. Балашова

Рождение знаменитости

Перевод С. Тархановой

Художник Пьер Душ заканчивал натюрморт — цветы в аптечной склянке и баклажаны на

блюде, — когда в мастерскую вошел писатель Поль-Эмиль Глез. Несколько минут Глез смотрел, как работает его друг, затем решительно произнес:

— Нет!

Оторвавшись от баклажанов, художник удивленно поднял голову.

— Нет, — повторил Глез. — Нет! Так ты никогда не добьешься успеха. Мастерство у тебя есть, и талант, и искренность. Но искусство твое слишком обыденно, старина. Оно не кричит, не лезет в глаза. В Салоне, где выставлено пять тысяч холстов, твои картины не привлекут равнодушного посетителя... Нет, Пьер Душ, успеха тебе не добиться. А жаль.

— Но почему? — вздохнул честный малый. — Я пишу то, что вижу. Стараюсь выразить то, что чувствую.

— Разве в этом дело, мой бедный друг? Тебе же надо кормить жену и троих детей. Каждому из них требуется по три тысячи калорий в день. А картин куда больше, чем покупателей, и глупцов гораздо больше, чем знатоков. Скажи мне, Пьер Душ, каким способом ты полагаешь выбиться из толпы безвестных неудачников?

— Трудом, — отвечал Пьер Душ, — правдиво-

стью моего искусства.

— Все это несерьезно. Есть только одно средство вывести из спячки тупиц: решиться на какую-нибудь дикую выходку! Объяви всем, что ты отправляешься писать картины на Северный полюс. Или нацепи на себя костюм египетского фараона. А еще лучше — создай какую-нибудь новую школу! Смешай в одну кучу всякие ученые слова, ну, скажем, — экстериоризация, динамизм, подсознание, беспредметность — и составь манифест! Отрицай движение или, наоборот, покой, белое или черное, круг или квадрат — это безразлично! Придумай какую-нибудь «неогомерическую» живопись, признающую только красные и желтые тона, «цилиндрическую» или «октаэдрическую», «четырехмерную», какую угодно!..

В эту самую минуту нежный аромат духов возвестил о появлении пани Косневской. Это была обольстительная полька, чьи синие глаза волновали сердце Пьера Душа. Она выписывала дорогие журналы, публиковавшие роскошные репродукции шедевров, выполненных трехгодовалыми младенцами. Ни разу не встретив в этих журналах фамилии честного Душа, она стала презирать его искусство. Устроившись на тахте,

она мельком взглянула на стоявшее перед ней начатое полотно и с досадой тряхнула золотистыми кудрями.

— Вчера я была на выставке негритянского искусства Золотого века! — сообщила она своим певучим голосом, раскатывая звонкое «р». — Сколько экспрессии в нем! Какой полет! Какая сила!

Пьер Душ показал ей свою новую работу — портрет, который он считал удачным.

— Очень мило, — сказала она нехотя. И ушла… благоухающая, звонкая, певучая и разочарованная.

Швырнув палитру в угол, Пьер Душ рухнул на тахту.

— Пойду служить в страховую кассу, в банк, в полицию, куда угодно! — заявил о н. — Быть художником — последнее дело! Одни лишь пройдохи умеют завоевать признание зевак! А критики, вместо того чтобы поддержать настоящих мастеров, потворствуют невеждам! С меня хватит, я сдаюсь.

Выслушав эту тираду, Поль-Эмиль закурил и о чем-то задумался.

— Сумеешь ли ты, — спросил он наконец, — со всей необходимой торжественностью объявить

Косневской и еще кое-кому, что последние десять лет ты неустанно разрабатывал новую творческую манеру?

— Я разрабатывал?

— Выслушай меня… Я сочиню две-три хитроумные статьи, в которых сообщу нашей «элите», будто ты намерен основать «идеоаналитическую» школу живописи. До тебя портретисты, по своему невежеству, упорно изучали человеческое лицо. Чепуха все это! Истинную сущность человека составляют те образы и представления, которые он пробуждает в нас. Вот тебе портрет полковника: голубой с золотом фон, на нем — пять огромных галунов, в одном углу картины — конь, в другом — кресты. Портрет промышленника — это фабричная труба и сжатый кулак на столе. Понимаешь теперь, Пьер Душ, что ты подарил миру? Возьмешься ли ты написать за месяц двадцать «идеоаналитических» портретов?

Художник грустно улыбнулся.

— За один час, — ответил он. — Печально лишь то, Глез, что, будь на моем месте кто-нибудь другой, затея, возможно, удалась бы, а так…

— Что ж, попробуем!

— Не мастер я болтать!

— Вот что, старина, всякий раз, как тебя попро-

сят что-либо объяснить, ты, не торопясь, молча зажги свою трубку, выпусти облако дыма в лицо любопытному и произнеси эти вот простые слова: «А видели вы когда-нибудь, как течет река?»

— А что это должно означать?

— Ровным счетом ничего, — сказал Глез. — Именно поэтому твой ответ покажется всем необычайно значительным. А уж после того, как они сами все изучат, истолкуют и превознесут тебя на все лады, мы расскажем им про нашу проделку и позабавимся их смущением.

Прошло два месяца. Выставка картин Душа вылилась в настоящий триумф. Обворожительная, благоухающая, певуче раскатывающая звонкое «р», пани Кос-невская не отходила от своего нового кумира.

— Ах, — повторяла она, — сколько экспрессии в ваших работах! Какой полет! Какая сила! Но скажите, дорогой друг, как вы пришли к этим поразительным обобщениям?

Художник помолчал, не торопясь закурил трубку, выдохнул густое облако дыма и произнес:

— А видели вы когда-нибудь, мадам, как течет река?

Губы прекрасной польки затрепетали, суля ему певучее раскатистое счастье.

Группа посетителей обступила молодого блистательного Струнского в пальто с кроличьим воротником.

— Потрясающе! — возбужденно говорил он. — Потрясающе! Но скажите мне, Душ, откуда на вас снизошло откровение? Не из моих ли статей?

Пьер Душ на этот раз особенно долго молчал, затем, выпустив в лицо Струнскому громадное облако дыма, величественно произнес:

— А видели вы, дорогой мой, как течет река?

— Великолепно сказано! Великолепно!

В эту самую минуту известный торговец картинами, завершив осмотр мастерской, ухватил художника за рукав и оттащил в угол.

— Душ, приятель, а ведь вы ловкач! — сказал он. — На этом можно сделать карьеру. Беру вашу продукцию. Только не вздумайте менять свою манеру, пока я вам не скажу, и я обещаю покупать у вас пятьдесят картин в год… По рукам?

Не отвечая, Душ с загадочным видом продолжал курить. Постепенно мастерская пустела. Наконец Поль-Эмиль Глез закрыл дверь за последним посетителем. С лестницы доносился, понемногу отдаляясь, восхищенный гул. Оставшись наедине с художником, писатель с веселым видом засунул руки в карманы.

— Ну как, старина, — проговорил он, — ловко мы их провели? Слыхал, что говорил этот молокосос с кроличьим воротником? А прекрасная полька? А три смазливые барышни, которые только и повторяли: «Как это ново! Как свежо!» Ах, Пьер Душ, я знал, что глупости человеческой нет предела, но то, что я видел сегодня, превзошло все мои ожидания.

Его охватил приступ неукротимого смеха. Художник нахмурил брови и, видя, что его друг корчится от хохота, неожиданно выпалил:

— Болван!

— Я болван? — разозлившись, крикнул писатель. — Да сегодня мне удалась самая замечательная проделка со времен Биксиу!

Художник самодовольно оглядел все двадцать идеоаналитических портретов.

— Да, Глез, ты и правда болван, — с искренней убежденностью произнес он. — В этой манере что-то есть…

Писатель оторопело уставился на своего друга.

— Вот так номер! — завопил он. — Душ, вспомни! Кто подсказал тебе эту новую манеру?

Пьер Душ помолчал немного, затем, выпустив из своей трубки густое облако дыма, сказал:

— А видел ли ты когда-нибудь, как течет река?

ФРАНСУА МОРИАК
(1885–1970)

Франсуа Мориак любил называть себя «католиком, пишущим романы», указывая на тот идеал, в свете которого изображается жизнь в его произведениях. И, однако, именно католическая церковь всегда относилась к писателю с нескрываемой подозрительностью: ведь религия для Мориака вовсе не была догмой, дающей последние ответы на существенные вопросы бытия. В основании всего творчества писателя лежит мысль о безысходном противоречии между неодолимой потребностью человека в идеале гармонии и справедливости и невозможностью дать ему жизненное осуществление: отсюда рождается катастрофичная конфликтность произведений Мориака, насыщенных острым психологизмом. В первую очередь в глаза бросается удивительная устойчивость идейно-художественной структуры его произведений. Проблематику, характеры персонажей, способы построения сюжета, наметившиеся в первом зрелом романе писателя — «Поцелуй прокаженному» (1922), без труда

можно обнаружить и в остальных его произведениях — романах «Прародительница» (1923), «Тереза Дескейру» (1927), «Клубок змей» (1932), «Конец ночи» (1935), «Дорога в никуда» (1939), «Фарисейка» (1941), в повести «Обезьянка» (1951) и др.

Мориака всегда занимала проблема Зла. Однако, в отличие от Бернаноса, который мыслил Зло как автономную сущность, для Мориака оно возникает в результате заблуждения и утраты любви. Ведь никто не может поручиться, что он не причинил страдания окружающим. Эта способность человека сеять вокруг себя зло, пусть даже невольно, позволяет понять, почему и мире, созданном Мориаком, так затруднен и проблематичен доступ к подлинным человеческим ценностям.

Как и персонажей Бернаноса, персонажей Мориака можно разделить на «святых» и «грешников». Но для «святых» Мориака — детей или взрослых, сохранивших детскую чистоту, — не находится места в реальной жизни с ее страшными в своей будничности драмами. Добро, живущее в их сердцах, подобно яркому факелу, в свете которого особенно рельефно выделяются уродливые черты жестокого мира себялюбцев, но факел этот не может ни зажечь огня в уже омертвевших ду-

шах, ни осветить путь тем, кто ищет выхода из потемок неподлинного существования.

Есть у Мориака и персонажи, которых обличает искренняя набожность, оборачивающаяся, однако, либо религиозным конформизмом, либо «фарисейством»: истовая вера, рождающая в человеке иллюзию собственной непогрешимости, идет рука об руку с душевной черствостью, догматизмом и нетерпимостью.

Облик жизни в ее сложившихся формах определяют в художественном мире Мориака многочисленные нравственные мертвецы, чье существование проходит под знаком эгоизма и своекорыстия. Цельные в своей негативной сущности, эти персонажи играют вспомогательную роль. Подлинными героями Мориака являются люди, заблудившиеся на «путях любви». Глубочайший трагизм их положения и судьбы проистекает из противоречия между стремлением к духовному освобождению и необходимостью прибегать для этого к таким средствам (будь то брак по расчету или хладнокровно обдуманное убийство), которые в нравственном плане уравнивают этих героев с персонажами «отрицательными»: деградация героя, его подчинение окружающей жизни оказываются прямым следствием его протеста

и незаурядности.

Писатель-реалист, Мориак видел, что идеалы его героев не могут найти своего воплощения. И, однако, он питал глубокую гуманистическую веру в неистребимость Добра. В этом, по Мориаку, залог нравственной значительности человеческого существования.

Frangois Mauriac: «Trois recits» («Три рассказа»), 1929; «Plongees» («Поверженные»), 1938.

Рассказ «Престиж» («Le rang») входит в книгу «Поверженные».

Г. Косиков

Престиж

Перевод Л. Зониной

I

— Уже вернулась? Ты не пошла на кладбище?

В ответ мужу Ортанс Беллад только пожала плечами. Глядя, как жена, округлив короткие толстые руки, снимает шляпу с черной вуалью,

он понял, что она в ярости.

— На кладбище? Да, как же, на кладбище! Когда я увидела перед церковью фургон похоронного бюро, я решила, что хоронят кого-то еще. Но нет, он, оказывается, приехал за бедняжкой Эммой. Я не могла поверить собственным глазам; Огюст перевозит тело своей сестры в Лангуаран, в фамильный склеп. Он себе ни в чем не отказывает! Это уж слишком. Люди, которые много лет живут на наш счет… Всем известно, во что обходится теперь перевозка тела. Ты не находишь, что это переходит все границы? — добавила она с затаенной угрозой.

— Разумеется, это роскошь… Но нужно понять Огюста: его отец, его мать, его сестра Эдокси похоронены в Лангуаране. Нельзя же, чтоб Эмма, последняя в семье, оказалась в общей могиле…

— Чувствительность — дело похвальное, но не на чужой счет. Я так и скажу Огюсту: если он настолько богат, чтобы перевозить Эмму в Лангуаран, больше ничего от нас не получит; теперь всем приходится туго.

Эктор Беллад промолчал, но Ортанс хотела, чтобы ей перечили.

— Ты не согласен со мной? — настаивала она. — Я прекрасно вижу, что ты меня не одобряешь.

Из-за развернутой газеты послышался примирительный голос:

— Только один Огюст и остался… И мне, увы, известен его возраст! Мы ровесники: шестьдесят шесть лет… Он не будет нам дорого стоить…

— Прости! Он не будет нам стоить ровным счетом ничего, раз у него достаточно денег, чтобы перевозить Эмму в автомобиле.

Эктор сложил газету. Его лысина порозовела — признак крайней встревоженности.

— Надеюсь, ты не попрекнула этим Огюста во время церемонии?

— За кого ты меня принимаешь? Я только спросила: «Вы перевозите тело в Лангуаран?» Он кивнул головой… Как ни в чем не бывало…

— Но больше ты ничего не добавила?..

— Нет, я только сказала «а?», достаточно выразительным тоном, само собой…

— Ты извинилась за меня? Ты сказала, что у меня встреча с маклером?

Да, она извинилась за него. Но Огюст Дюпруи удивился, как это его кузен не пришел… Он, вероятно, не видел ничего особенного в том, что Эктор упустит продажу урожая.

— Знаешь, этот его обалделый вид, он все повторял: «Не пришел? Не смог прийти?»

Поскольку Эктор прошептал: «Мне следовало бы…», она возмутилась:

— Ты сошел с ума! Я-то ведь там была!

Он ничего не ответил. Жена расхохоталась бы, признайся он ей, что в ранней молодости они с Огюстом были неразлучны. Она бы в это не поверила или стала бы его презирать. Он возвращался на пятьдесят лет назад и снова видел деревенскую комнату у бабушки Дюпруи, деревянный балкон, юношу, обнаженного по пояс, с гантелями в раскинутых руках. Это был Огюст в то лето, когда они сдали первый экзамен на бакалавра. Комната выходила на юг, на массив гелиотропов и китайской гвоздики.

— Вечерком я попытаюсь повидать Огюста… Чтобы выяснить эту историю с перевозкой, — поторопился добавить Эктор.

— Он, разумеется, занял необходимую сумму… Но тем хуже для тех, кто рискнул своими деньгами: я и слышать о них не желаю. Конечно, я не оставлю Огюста без средств, но об этом счете похоронного бюро пусть и не заикается. Дюпруи всегда любили пускать пыль в глаза. Эти дамы себе никогда ни в чем не отказывали: прислуга, приемный день, ты ведь помнишь?

Эктор заметил, что многие годы Огюст все же

и сам зарабатывал как коммивояжер дома Мокудина.

— Да, но даже в те годы приходилось выплачивать им ренту…

— Это было их право: так завещала моя мать.

— Ну и что! У меня, на их месте, хватило бы деликатности отказаться; я предпочла бы обойтись без прислуги.

— Подумай, Ортанс, что ты говоришь? Наши кузены должны были прежде всего думать о своем положении в обществе. На нас стали бы показывать пальцем.

Он попал в цель. Г-жа Беллад опустила голову.

— Я не спорю… Но это еще не значит, что нужно платить за перевозку в автомобиле… Если уж без этого не обойтись, мы могли бы предоставить им наш склеп. Правда, там остается всего два места.

II

Эктор Беллад неохотно посещал унылую часть города, где жил Огюст — район внешних бульваров поблизости от кладбища, — окружающие его одноэтажные дома, в которых ютились служащие и учителя, немногим отличались от склепов. Здесь со времен его детства не изменился ни

единый камень. Он вспоминал новогодние визиты к тетушке Дюпруи. Узнавал стены, дощечку врача под звонком, запах прели: этот район был настолько мертв, что время утратило власть над ним.

С двери еще не были сняты черные драпри. Странно, что против драпри Ортанс не нашла возражений. Очевидно, в ее глазах они были частью необходимого, того, на что люди, даже очень бедные, обязаны потратиться, чтобы почтить семью, к которой принадлежат и которая никогда от них не отрекалась.

Долгий звонок раскатился в доме с закрытыми ставнями. Эктор боялся, что его кузен еще не вернулся из Лангуарана. Но ставни на первом этаже приоткрылись. Он услышал возглас, шум отодвигаемых засовов, и вот он уже в объятиях Огюста. К его лицу прижалась жесткая борода старичка, который прерывисто дышал и всхлипывал без слез. Дом вымерз и пропах кошкой. Дверь с двухцветными стеклами в глубине коридора, выходившая в сад, окрашивала его в красный и синий тона. Эктору показалось, что он слышит голос тетушки Дю-пруи: «Дети, ступайте играть. Не трогайте собаку, от нее воняет».

— Проходи в гостиную… Входи, входи, я сейчас

затоплю. Где наша не пропадала! Один раз не в счет. Знал бы ты, как я счастлив, что ты пришел! Если б мне сказали, что такой день принесет мне радость! Не снимай пальто, пока огонь не разгорится.

На алебастровой подставке коптила керосиновая лампа. Ее венчал зеленый абажур, украшенный оборками и галуном. Ничто здесь не сдвинулось с места за пятьдесят лет: все тот же Генрих IV — ребенок на камине, а на консоли — все тот же Амур, стискивающий в своих объятьях петуха. На круглом столике в керамическом горшке возвышалась комнатная пальма, обвязанная розовой лентой. Пианино загромождали фотографии, настолько блеклые, что лица в рамках с выжженным узором сделались неразличимы. Дядя Дюпруи всегда любил искусство, и стены были увешаны картинами. «У них есть Кабье», — говорили с завистью. «У них есть полотно Смита… Раз уж они так нуждаются, могли бы продать своего Кабье».

Огонь не разгорался. Гость умолял кузена не хлопотать, но тот упорствовал, стоя на коленях перед камином, и Эктор видел два маленьких ботинка с еще неотлипшей кладбищенской землей и две кости, проступавшие под потертыми

до блеска брюками. Жалкий язычок пламени наконец вспыхнул. Огюст встал.

— А я было перепугался, думал, принесли счет из похоронного бюро, представляешь! Как хорошо, что ты пришел… Это такая потеря… Да, конечно: Эмма очень сдала, но подчас она рассуждала вполне здраво. Она исповедалась… Исповедь ребенка, сказал нам аббат Дюрос со слезами на глазах… В ней был весь смысл моего существования, — добавил он, прослезившись.

— Полно, Огюст, ни за что не поверю, что в твоей жизни не было ничего другого…

Старичок отнял руку, которую Эктор сжимал в своих ладонях.

— Я всегда все делал для семьи… И верил, что не переживу ее. А они меня покинули, одна за другой, сперва Эдокси, потом матушка и теперь Эмма. Конечно, я могу утешаться мыслью, что благодаря мне они смогли до последних дней сохранить положение в обществе. Им доводилось иногда голодать, но они не уронили своего имени. Да, это для меня большое удовлетворение… Потому что не дешево мне обошлось… Вспомни, Эктор: только ты один и можешь теперь это вспомнить… Я был хорошим, блестящим учеником! Сегодня я могу так говорить, не рискуя

показаться нескромным. Помнишь господина Фабра, в классе риторики? Он хотел, чтобы я пошел в педагогический, по филологии. Я был уверен, что сделаю карьеру… Но это требовало времени: семья не могла ждать так долго; папа оставил долги, а пенсии, которую нам выплачивали твои родители, едва хватало на хлеб: вместе с прислугой, кормить приходилось пять ртов. Мокудина предложил мне место коммивояжера, ну, скажем, маклера. Я уступил не сразу. Помнишь те каникулы, когда я должен был решиться? У бабушки, комната с балконом… (Эктор смотрит на старичка; он словно ощущает запах кретона той комнаты; балкон был из сосновых досок, и на них еще выступала капельками смола.) Помнишь, как я проплакал целый вечер? Твоя мать была так добра ко мне! Помнишь, что она придумала, чтобы я мог продолжить ученье?

Нет, Эктор ничего не помнил. Огонь опять сник, фитиль в лампе обуглился. Тень Генриха IV — ребенка вырисовывалась на обоях, где бесконечно повторялись огромные цветы дурмана в золотых рамках, засиженные мухами. Все эти предметы, которые на протяжении полувека каждый вторник созерцали старые шиньоны, бывшие «парадным» убором г-жи Дюпруи, теперь глядели

на старичка, отказавшегося от педагогического института ради того, чтобы этот еженедельный ритуал мог соблюдаться возможно дольше.

— Так и слышу твою бедную матушку: «У Эдокси восхитительное контральто, великолепная дикция. Эмма вполне прилично играет на пианино. Мы найдем им учеников: в первую очередь все дети из нашей семьи… Вы сможете прожить, пока ты закончишь образование!» Я дал себя убедить. Твоей бедной матушкой руководило только одно — нежность ко мне. Она не отдавала себе отчета в том, на что меня толкала, диктуя письмо к родным, в котором я объяснял им этот блестящий план… Какой ответ я получил! Ты застал меня за разборкой бумаг, и представь, я как раз наткнулся на это восхитительное послание матушки; теперь уже нет женщин такого закала. Эта порода вымерла. Ты должен прочесть его. Не правда ли, оно — великолепно?

Он наблюдал за Эктором, который, приблизясь к лампе, разбирал благонравный монастырский почерк, едва заметно поблекший:

«Прочитав твое письмо, мой дорогой сын, я обратилась к богу и молила его просветить меня в обстоятельствах столь серьезных. Тебе известна крайняя чувствительность твоих се-

стер и то, как я всегда старалась их щадить. Я сочла тем не менее своим долгом поделиться с ними странным и неожиданным планом, придуманным их тетушкой Беллад, судить которую я не смею. Милые малютки пролили немало слез, и я имела слабость смешать с ними мои собственные. Тебя не удивит, мой Огюст, если я скажу, что эти благородные души в порыве природной самоотверженности, проявляющейся в каждом их поступке, выслушав, какая жертва от них требуется, единодушно на нее согласились; да, они были готовы работать. Они с радостью пожертвовали бы своим положением, равного которому, можно сказать, нет во всем Сент-Филомене, если учесть, что они занимают посты председательницы и вице-председательницы благотворительного общества нашего прихода и известны своим деятельным участием во всех его начинаниях. Я уж не говорю о наших обширных и высоких связях. Милые малютки были готовы всем этим пожертвовать, их тревожило только одно: как бы не был нанесен ущерб душам, вверенным их попечению, однако они были полны решимости исполнить волю божью, буде она явит им себя. Я разделяла все их чувства, мой дорогой сын, одушевляемая, как и они, заботой о

твоем земном будущем и о твоем спасении. Мне известен эгоизм молодых людей, и я ничуть не удивилась тому, что в подобных обстоятельствах ты его обнаружил.

Но вот прошел этот вечер, такой грустный и в то же время возвышающий душу, когда мы все трое приобщились радости самопожертвования, и я осталась одна. И тут, долгой бессонной ночью, мне представилась другая сторона этого дела: я подумала о своем долге по отношению к семье, нерушимом долге, о котором твой отец лишний раз напомнил мне накануне своей смерти: «Что бы ни случилось, моя дорогая жена, как бы трудно вам ни пришлось, помните о вашем положении, не роняйте его; не забывайте, чем вы обязаны имени Дюпруи». Семья! Престиж! Мы остались на высоте, несмотря на долги, несмотря на бедность, за которую я не краснею.

На другой день после нашей женитьбы твой бедный отец повел меня с визитом к Джону Каст-энгу и Гарри Мокудина. Лишь невозможность ответить тем же на их учтивые предложения вынудила нас не принять ни одного из них. Это нам отнюдь не повредило, напротив, то, что мы держались с таким достоинством, заслужило нам благорасположение этих господ, и только

от тебя самого зависит теперь пожать его плоды. Ты знаешь, что Гарри Мокудина держит для тебя место, скромное, конечно, но это — первый шаг и возможность обеспечить всем нам жизнь, достойную нашего имени и положения. Моему пониманию, признаюсь, недоступно, что ты можешь домогаться места чиновника или педагога в то время, как тебе уготована карьера в самом прославленном доме города, где ты тотчас станешь получать достаточно для того, чтобы хоть в слабой степени возместить лишения и затраты, на которые не скупилась для тебя семья. Не знай я тебя, мой Огюст, это могло бы заставить меня усомниться в деликатности твоего сердца и разумности твоих суждений.

Что сказать тебе, дитя мое? После тревожной ночи, в течение которой я ни на минуту не сомкнула глаз, все мне стало ясно; я поняла, что для тебя не может быть большего несчастья, чем стать братом преподавательницы пения и учительницы музыки. Это значило бы свести на нет труд всей моей жизни, ибо тот, кому якобы предстояло выиграть от этого унижения, на самом деле пал бы его жертвой.

Я предпочла бы умолчать о совете, данном мне в связи с этим господином кюре. Но, поскольку

наш добрейший пастырь не утаил от меня своего намерения написать тебе, лучше уж я сама тебе скажу, в какое нелепое положение поставила нас Эдокси, находящаяся, как тебе известно, под сильным влиянием этого почтенного священнослужителя, своего духовного отца. Почему она, единственная в семье, отказывается обратиться к отцу де ля Вассельри? Еще одно проявление этого характера, который мне так и не удалось сломить.

Я не питала никаких иллюзий относительно того, какие наставления будет расточать нам господин кюре. Вовсе не потому, что он недостаточно ревностен. Однако благочестие — это еще не все. Ты знаешь, что он вышел из самых низов, и многие соображения ему просто недоступны. Я не переставала думать о нем всю зиму, читая роман под названием «Этап», публиковавшийся из номера в номер в журнале, которым любезно ссужает меня отец де ля Вассельри, — ты сможешь с пользой прочитать этот роман через несколько лет, когда тебе уже нечего будет бояться откровенных описаний нравов и циничных сцен, нарисованных в нем, возможно, и без снисхождения, но не без опасности для добродетели.

Господин кюре повторит тебе то, что пропо-

ведовал нам и что не поколебало ни моей, ни Эмминой убежденности. Но Эдокси упорствовала в своем решении. Бедный священник не понимает, что труд деклассирует женщину, что женщина, которая работает, ставит себя вне общества. Как может это понять он, чья мать была поденщицей и чья сестра — портниха? Я не могу поставить ему это в укор. Таким вещам не учатся, они даются от рождения: этим все сказано!

Сразу же, как ты вернешься домой, — а я хочу, чтобы это было во вторник, — мы обо всем договоримся. Нет надобности объяснять тебе, что для Гарри Мокудина твое поступление к нему — дело решенное. Он полагает, и вполне справедливо, что оказывает нам большую честь. Ему даже не приходит в голову, что ты можешь домогаться не места у него, а чего-либо иного (особенно должности преподавателя в лицее). Я хорошо знаю этого в высшей степени порядочного человека, неумолимого в своих суждениях: ты пал бы в его глазах, тебе был бы вынесен приговор…»

III

— Каково? Не правда ли, великолепно? Благородно, ты не находишь? — повторял Огюст, пряча

драгоценное письмо в ящик.

В тоне его было что-то, до такой степени нарочитое, что Эктор, впервые заподозрив кузена в иронии, подумал: «Его гложет смертельная обида…» Но нет, Огюст снова прослезился:

— Я понял, Эктор… Я согласился с доводами матушки. И тотчас получил утешение, начав немного зарабатывать… Ровно столько, чтобы не умереть с голоду: мне и трем моим женщинам! Им приходилось штопать свои нитяные перчатки, бедняжкам! Но у них были перчатки, и они надевали их, даже выходя в сад. Пианино продали, наверно, чтобы избежать соблазна; и голос Эдокси в большой арии царицы Савской уже не сотрясал стекла. Дамы-благотворительницы, они носили беднякам талоны на хлеб и уголь, в которых мы сами отчаянно нуждались. Матушка надеялась, что Эдокси пойдет в монастырь Святого семейства, куда ее приняли бы без вклада, и я думаю, что в конце концов она настояла бы на своем, такой силой убежденья обладала эта замечательная женщина, умевшая заставлять людей действовать в соответствии с тем, что, по ее мнению, служило вящей славе господней и ее собственным интересам. Но она и тут натолкнулась на господина кюре, который, возможно,

и не читал «Этапа», но полагал себя достаточно просвещенным, чтобы отличить истинное призвание от ложного.

Если он взял верх в этом вопросе, то в другом победу одержала моя мать. Незадолго до своего тридцатилетия Эдокси пережила приступ ужасающей меланхолии. Не кажется ли тебе, что мы, мужчины, не отдаем себе отчета в том, какая пытка терзает незамужних женщин? Сами того не ведая, мы окружены мученицами. В этом домишке, где мы жили на голове друг у друга, ни одна слеза, ни один вздох не обходились без свидетеля. Чего я только не наслушался в молодости! Помню, я стал нечаянным свидетелем сцены, происходившей за перегородкой. «И тебе не стыдно! — кричала моя мать на Эдокси. — И это ты, девушка, которую все считают набожной. Да ты хуже любого животного! Такие инстинкты скрывают. Порядочная девушка не признается в них даже самой себе. Такое еще простительно в народе. Но ты, которая носит имя Дюпруи! Впрочем, — добавила она уже другим, почти вкрадчивым, тоном, — могу тебе сказать, — и поверь, я знаю, о чем говорю, — возблагодари небо за то, что ты избавлена от этой чудовищной обязанности, от этого унижения, от этой тяжкой

кары. Не мне, жалкой твари, судить замысел провидения, но первородный грех, должно быть, действительно ужасен, если обрекает людей из лучшего общества на подобную мерзость!»

Через несколько недель после этого мать с возмущением сообщила мне, что господин кюре нашел Эдокси мужа. Твои родители так никогда об этом и не узнали, так как моя мать постаралась скрыть позор от семьи: подумай только, речь шла о племяннике кюре, сыне почтового служащего, который сам был простым счетоводом у какого-то торговца зерном. Можешь себе представить возмущение матушки! Эдокси упорствовала. Сколько душераздирающих сцен видела эта гостиная!

Только после смерти кюре Эдокси, вынужденная бороться в одиночку, мало-помалу покорилась. Она медленно сохла, мы это видели; помнишь ее глаза, которые только и остались на лице? Все свои дни она проводила с маленькими девочками в доме призрения; она испытывала к детям какой-то голод, почти физический. Наконец, на нее обрушилась болезнь: пришлось отнять сначала одну грудь, потом вторую. У нашей приходящей служанки был ребенок нескольких месяцев от роду, по утрам она прино-

сила его Эдокси. Как сейчас, вижу ее в последние дни, — с малюткой у искалеченной груди. Она жила в комнате над гостиной. Во вторник, вернувшись из конторы, я, чтобы избежать встречи с матушкиными гостьями, укрывался там. И мы с Эдокси слушали через потолок их кудахтанье.

Огюст Дюпруи прервал свой рассказ. Теперь он смотрел не на кузена, а в огонь, протягивая к пламени кисти рук, наполовину прикрытые потертыми манжетами, — не столько, вероятно, чтобы защитить лицо от жара раскаленных углей, сколько чтобы отгородиться от какого-то видения: маленькими трясущимися руками он прикрывал свой плохонький ад, эту жизнь, принесенную в жертву небытию.

Внезапно руки его упали, и он осел в черном шелковом кресле, в котором на протяжении полувека г-жа Дюпруи по вторникам стойко принимала визиты. Растерянный Эктор обхватил его, уложил на ковер, но никак не мог привести в чувство эту старую сломанную куклу. Он обыскал соседнюю комнату, где стоял чудовищный запах: постель была не застлана, на посеревших простынях спал чердачный кот. Эктор тщетно пытался найти что-нибудь спиртное или флакон одеколона. На кухне тоже было пусто: ни корки

хлеба, ни куска сахара. Остатки темной бурды на дне кофейника — вот все, что он обнаружил.

Когда он вернулся в гостиную, больной немного пришел в себя и приподнялся на локтях. Эктор заставил его выпить несколько глотков кофе и спросил, не подвержен ли он обморокам, не пошаливает ли у него сердце. Старичок мотал головой с каким-то упрямым, замкнутым выражением на лице, пока взгляд его не встретился со взглядом Эктора, стоявшего рядом с ним на коленях. Тогда черты его смягчились.

— Тебе я могу сказать… тебе одному…

И он выдохнул:

— Я хочу есть.

Да, выдохнул. Но, казалось, даже вещи услышали это непристойное признание. Кресла в стиле Второй империи со спинками, прикрытыми салфеточками, — г-жа Дюпруи именовала их «антибрильянтинами», — Генрих IV — ребенок на камине, Кабье и Смиты в своих золоченых рамах, засиженных мухами, лампы под огромными абажурами, фотографии давно умерших людей на пианино, — все они уставились с шокированным видом на последнего из Дюпруи, который лежал на истертом до основы ковре и до такой степени забыл правила хорошего тона, что от голода даже

потерял сознание.

Эктор пожирал глазами этого человека, истощенного голодом. Ему было известно, что на свете существуют люди, которым нечего есть, но видеть их ему не доводилось, и теперь он не мог опомниться от изумления, что в его собственной семье обнаружился пример несчастья, столь несвойственного буржуа.

— Я еще не расплатился с похоронным бюро… Но хуже всего побочные расходы, вся эта мелочь, которую приходится раздавать направо и налево, последние деньги я отдал могильщику…

Огюст встал на ноги, он держался за стенку. Эктора осенило:

— Ты в силах сделать несколько шагов? Мы доберемся до кафе на углу бульвара и улицы Сан-Фенест, я обратил на него сегодня внимание. Помнится, на витрине написано: «Холодные закуски», ты сможешь подкрепиться…

У Эктора было время, чтобы перед собственной трапезой позабавиться восхитительным зрелищем изголодавшегося человека, перед которым поставлено много мяса. Он помог Огюсту натянуть пальто. К счастью, бульвар был безлюден. В этой части города, впрочем, нечего было опасаться встречи с «приличными» людьми. К тому же

Эктор, как было всем известно, занимался благотворительностью, если бы их увидели, ему легко было бы оправдаться: «Бедный старик, которого я опекаю…»

IV

В кафе Огюст щурит глаза от яркого света. Он глядит на кусок розового ростбифа, на хлебец, пол-литра «Медока», точно недоверчивая кошка, которая не смеет подойти к требухе, выложенной на желтой бумажке сердобольной старушкой в сквере. Наконец, внезапно решившись, он набрасывается на еду. У бара трамвайные служащие яростно спорят о результатах бегов. Парни помоложе галдят, столпившись у автомата.

— Сыра?

Да, Огюст хотел сыра, чтобы запастись на будущее, сейчас-то он был сыт. Украдкой он прихватил с тарелки остатки еды. Зад какой-то пышной девицы, не умещавшийся на высоком табурете, растревожил воображение Огюста. Щеки его слегка порозовели.

— Я ведь тоже был обручен, — неожиданно сказал он. — Тебя это удивляет? Да, да, в тот год, когда я получил восемь тысяч куртажных и когда мы

снова купили пианино… Ты не помнишь Мишель дю Мирай? С лица она, конечно, была не очень… Но фигура богини. Мокудина хотели выдать ее замуж… Она сразу дала согласие… Жить приходилось вместе с матушкой и Эммой. Матушка нам не отказывала, поверишь ли? Сначала я понадеялся даже на ее поддержку, но она просто до поры до времени не выкладывала своих карт. Нам бы нужно было поспешить со свадьбой… Матушка сказала мне: «Ты зарабатываешь недостаточно, чтобы прокормить еще один рот, не говоря уж о том, что пойдут дети… Но бог поможет». Уж не знаю, помог ли бы бог… Во всяком случае, она его опередила…

На этот раз Эктор уже не сомневался: наевшись до отвала и слегка опьянев, Огюст не скрывал более, что затаил зло на свою покойную мать. Девица слезла с табурета и присоединилась к парням, толпившимся вокруг автомата; они ее тискали, она делала вид, что сердится, и похихикивала. Огюст не отрывал от нее глаз; внезапно он спросил вполголоса:

— А что, это действительно так приятно, как говорят?

— Ты о чем?

По-прежнему уставясь на девицу, Огюст едва

заметно показал на нее подбородком:

— Ну, это… — прошептал он.

И с тоской:

— Скажи, Эктор, ведь наверняка тут сильно преувеличивают?

Ошеломленный кузен пожал плечами; его толстые губы скривились. Но Огюст настаивал уже с какой-то яростью:

— Правда? Ну, признай же, признай, что в этом нет ничего особенного.

Эктор сделал неопределенный жест, провел рукой по лысине и сказал:

— Я уже не помню.

Огюст торжествовал:

— Будь это и взаправду так чудесно, как говорят, ты не позабыл бы. Накрутили вокруг этого! А я был уже совсем близко… Вот-вот… (Его расширенные зрачки созерцали утраченный рай.) Мы с Мишель должны были занять комнату бедной Эдокси, потому, что Эмма после смерти нашей сестры спала у матушки. Эта история с комнатой и стала причиной моих невзгод. Обе они — в особенности матушка — очень гордились тем, что могут говорить знакомым о нашей свободной комнате. «Когда ты женишься, у нас уже не будет свободной комнаты…» — твердили мне они. А

мать добавляла: «Наш дом не годится для двух семей, мы уроним себя в глазах общества».

Семья дю Мирай жила на окраине. После работы я мог видеться со своей невестой только у нас. Я попросил матушку предоставить нам для этих встреч гостиную. Но по правилам благопристойности, принятым у Дюпруи, в гостиную не положено стучаться. То Эмма, то матушка поминутно поворачивали ручку, приоткрывали дверь и тут же стремительно захлопывали ее с испуганным «простите!». С другой стороны, у Дюпруи считается непристойным, чтобы обрученные виделись в спальне…

Как-то раз мне пришлось подняться из гостиной к себе за носовым платком, на ногах у меня были домашние туфли, — я увидел в своей комнате матушку и Эмму. Они сидели на корточках, прильнув ухом к полу. Хотя дверь и была приотворена, они меня не заметили.

— Не по вкусу мне это молчание. Чем могут заниматься жених и невеста, если они не разговаривают?

— Они целуются? — спросила Эмма.

Я спустился вниз на цыпочках, не помня себя от гнева, и имел неосторожность рассказать об этой сцене Мишель, которая, рыдая, заявила,

что она решительно не согласна жить вместе с моими «святыми женщинами» (так, видимо, именовал их Гарри Мокудина). Она назвала меня малодушным и, поскольку я был вне себя, вырвала у меня в конце концов обещание, от которого я сам содрогнулся, едва остыл. Речь шла о настоящем государственном перевороте, ни больше ни меньше: о принудительном помещении моей матери и сестры в женский приют Доброго пастыря — приют, впрочем, довольно дорогой и вполне приличный. Мишель, чья двоюродная бабушка коротала дни в этом приюте, такое решение представлялось естественным. Она взяла на себя сообщить моей матери и сестре наше решение. Хотя она и дала мне слово, что сделает это с наивозможнейшей осторожностью, я провел весь день в тревоге и оттягивал, как мог, час возвращения домой.

Дело было в конце мая; дни стояли жаркие. Мать и Эмма сидели в саду, склонившись над рукоделием. Еще из коридора я увидел их шиньоны, которые равномерно подрагивали в такт движению вязальных спиц. Взрыва, которого я ждал, не произошло. При виде меня они, как обычно, подставили лоб для поцелуя. Дневной жар скопился меж высоких стен, покрытых

пыльным, почти черным, плющом. На меня уже набросились комары, чьих укусов эти дамы, по их словам, якобы не чувствовали в силу какой-то особой привилегии. Среди разговора о том о сем матушка вдруг сказала необыкновенно мягким голосом:

— Мишель говорила со мной, дитя мое.

Я прервал ее уверениями, что речь идет всего лишь о плане и они могут его одобрить или не одобрить, что я был движим только мыслью о комфорте и покое, которыми они смогут насладиться в приюте Доброго пастыря. Нами руководило желание обеспечить им счастливую старость…

Они не подымали глаз от спиц. Ритмичное движение двух шиньонов невыносимо раздражало меня. Время от времени слышался подавленный вздох, что действовало на меня сильней любых слез и воплей.

— Мы устранимся, дитя мое, мы сумеем исчезнуть.

— Но об этом нет и речи, матушка!

— Я оставляю вам мебель. Как я говорила только что отцу де ля Вассельри, у которого искала поддержки и который был изумителен, да-да, и-зу-ми-те-лен, — подчеркнула она, — пришел

час отринуть все…

— Но нет же, матушка, — протестовал я.

Однако она продолжала с устрашающей мягкостью:

— …Час тьмы… Я уже давно чувствовала его приближение. Сегодня из глубин сердца мы с твоей сестрой произносим наше «fiat»…[29]

— Я свою долю мебели не отдам, — прервала Эмма.

— Мужайся, дочь моя: оставь им все, так надо.

Я был раздавлен, уничтожен этим величием. Я чувствовал, что никогда уже не смогу от этого оправиться. Внезапно я насторожился: легкое, почти неразличимое шипенье в материнском голосе, которое я научился узнавать еще в детстве, предвещало недоброе.

— Я взяла со святого отца слово держать все в тайне возможно дольше. Мне не хочется, чтобы вас осудили, бедные мои дети, когда эта новость разразится в приходе. Нет, мне не хочется, чтобы пошли разговоры о том, что посторонняя женщина изгнала дам Дюпруи из их собственного дома и что те, в ком все видели образец, к чьим наставлениям прислушивались, те, кого так уважали,

---

[29] Примечания: 29
Да будет так *(лат.).*

заперты теперь в богадельню сыном и братом, который им стольким обязан… Не спорь: я знаю, тобой движут иные намерения. Но скажут, увы, именно так. Не тревожься: я сумею поставить все на свои места…

Я сказал ей, что нисколько в этом не сомневался, и вскоре все то, чего можно было ждать от ее добрых услуг, действительно обрушилось на меня. Новость широко распространилась, и от визитов не стало отбою. Всю неделю в доме было полно, как по вторникам. Обе мои жертвы, опьяненные сочувствием всего прихода, защищали меня с великодушием, благородство которого делало мое поведение еще более отвратительным. Мать сама настояла на том, чтобы я не ходил к воскресной мессе: мое присутствие было бы вызовом общественному мнению. «Горе тому, кто приносит соблазн», — твердила она. Некоторые дамы решили «выложить мне все начистоту с глазу на глаз». Необходимо было выждать, пока умы успокоятся. «Умы возбуждены», — вздыхала матушка. Мишель, однако, утверждала, что, как ей известно, духовенство Сент-Филомена с трудом скрывает свою радость и втайне благодарит бога за избавление от самой грозной законоучительницы. Тем не менее по вечерам я кружил

возле дома и подстерегал уход последней гостьи, опасаясь какой-нибудь оскорбительной выходки с ее стороны. С Мишель я встречался в скверах. Если бы не она, я бы сдался, но у Мишель была сильная воля, и она не отступалась.

Матушке, обеспокоенной моим сопротивлением, пришло тогда в голову пойти поплакаться Мокудина… Ты помнишь Гарри Мокудина? На свое несчастье, он не родился гугенотом, что держало его несколько в стороне от избранного общества… Но к старости у него выработались проповеднические замашки… Он призвал меня в свой кабинет; я хорошо помню его рассуждения относительно заповеди: «Чти отца своего и мать свою».

— Ибо, — сказал он мне, — мой дорогой Дюпруи, дело не в том, чтобы знать, будут ли ваша высокочтимая матушка и ваша уважаемая сестрица располагать достаточным комфортом в доме, куда вы имеете прискорбное мужество их заключить. Нет, вопрос в ином: совершая это, поступаете ли вы в согласии с волей вашего отца, который хотел, чтобы семья ничем не уронила своего имени? Полагаете ли вы, что ваш незабвенный отец одобряет поведение своего сына, созерцая в жилище праведных, где он вкушает

господний мир, это выдворение из дому?

Дополнительную весомость его возвышенным речам сообщал внятный намек на то, что он видит себя обязанным отказать в посюсторонней поддержке молодому человеку, который столь мало чтит божеский и человеческий закон, определяющий долг детей по отношению к родителям.

Мишель ждала меня на улице, и мы уныло поплелись на остров городского сада, где, казалось, искали вечного пристанища все железные стулья из всех скверов мира.

— Послушайте, — сказала внезапно Мишель, — мне пришла в голову мысль…

Мысль эта заключалась в том, чтобы мы оставили дом моим святым женщинам, а сами поселились где угодно в городе: она не боится бедности, она поможет мне в работе. Меня заразила уверенность Мишель. В тот же вечер, едва войдя в дом, я бросился в гостиную и поведал матушке о ее победе. Она не выразила никакой радости. Напротив, мысль, что мы поселимся в непрезентабельной квартире, возможно, в меблирашках, я что она будет вынуждена скрывать наш адрес от своих знакомых, казалось, прежде всего ее огорчила. Потом, на следующий день, она смирилась.

Она целовала свою будущую невестку, называла ее: доченька. Я должен был бы насторожиться, видя, что она так спокойна, так общительна. Я ведь с детства привык не доверять некоему особому выражению в ее глазах, вообще-то ей несвойственному: она теперь бросила вязать для бедных и, ничем не занятая, смотрела на все круглыми, отсутствующими, удовлетворенными глазами наседки, сидящей на яйцах.

Я ворчал на Мишель, которая не переставала мне твердить: «Что она нам готовит?» Я хотел верить, что спасен. Да, я вкусил тогда две недели надежды, счастья… Гарри Мокудина поговаривал, что назначит мне постоянное жалованье, разумеется, скромное, но достаточное, чтобы я мог вынести бремя жизни на два дома.

Однажды, июльским вечером, я застал мать в сильном волнении. Она сказала, что получила анонимное письмо и ни за что на свете мне его не покажет. Хотя она уверяла, что письма такого рода следует сжигать немедленно и что считаться с ними нельзя, мне ничего не стоило вырвать его у нее из рук… Нет, не думаю, чтобы она написала его собственноручно… Но, возможно, она сделала все необходимое, чтобы оно было написано и отправлено… Как знать? Не входя в подробности,

могу сказать, что это было пространное сообщение о романе, который якобы был у моей невесты с женатым человеком в прошлом году в Аркашоне, на глазах у всего города; отсюда ее желание выйти за первого встречного и любой ценой. Наш корреспондент заверял, что готов предъявить копию письма Мишель, не оставляющего никаких сомнений…

V

Из радиоприемника вырвалась мелодия джаза. Огюст Дюпруи продолжал говорить, взгляд его был неподвижен, сморщенные грязные ладони лежали на мраморе, но из-за шума Эктор уже ничего не слышал; он только видел, как шевелятся тонкие губы старичка. Подобно полузаглохшему огню, который вдруг набирает силу и среди ночи на мгновение освещает комнату, внезапная молния ненависти сообщила жизнь этому худому жалкому лицу. Он понизил голос. Какие признания были в его шепоте? Эктор так этого и не узнал — джаз продолжал безумствовать. Наконец кто-то повернул рычажок приемника; голос Огюста вновь сделался отчетливым…

— …После того как она застала меня на лестни-

це, которая вела на чердак в каморку служанки, прислуги у нас были только приходящие… Меж тем в ту пору я зарабатывал достаточно… Странно, а? Кризис совпал со смертью матушки. С того дня, как она нас покинула, мне не удалось заключить ни одной сделки; я продал вино себе в убыток и остался без гроша… Эмма говорила, что это нам только на пользу, что матушка вымолила для нас эту благодать, что я, возможно, употребил бы во зло свою свободу… Во всяком случае, мы лишились даже свободы есть досыта…

Эктор Беллад уже некоторое время не слушал кузена; он нервничал, думая об Ортанс, которая не отличалась терпением, и поглядывал на часы: приближалось время ужина, все это уже перестало его занимать. Огюст наводил тоску, они привлекали внимание… Расплатившись по счету, он взял кузена под руку и потащил к выходу. Старик молчал, он, казалось, осоловел от еды и питья. Перед дверью, все еще задрапированной в черное, Эктор сунул ему в руку бумажку.

— Держи, только не говори Ортанс, если встретишь ее. Это тебе сверх положенного.

И он быстро ушел. Он почти бежал, несмотря на свою солидную комплекцию. А старичок скрылся в ледяном доме, где на протяжении стольких лет

дамы Дюпруи держались на высоте положения. Он захлопнул за собой дверь своей могилы.

……

Однажды, февральским утром, г-ну Эктору Белладу позвонили из полицейского комиссариата и сообщили, что соседи лица, именуемого Дюпруи (Огюст), слыша в его доме мяуканье и ощущая подозрительный, как им казалось, запах, обратились в полицию. Слесарь открыл дверь. Смерть последовала три дня назад. Осмотр трупа не давал никаких оснований назначать следствие. Кончина, очевидно, наступила в естественных условиях, в результате крайнего истощения.

Эктор повторял: «Я приду, сейчас же приду…» Рука его чуть дрожала. Перед глазами стояли, как бы накладываясь одна на другую, две картины: комната Огюста, незастланная кровать, где подыхал чердачный кот, — и деревянный балкон, залитый летним солнцем, юноша, обнаженный по пояс, с гантелями в раскинутых руках; молодой Огюст Дюпруи…

Ортанс повесила трубку и сказала:

— Но мы же ему давали достаточно, чтобы не умереть с голоду… Сколько бы это ни стоило, — добавила она энергично, — надо будет перевезти тело в Лангуаран: прежде всего, чтобы заткнуть

глотку злым языкам, и потом — Дюпруи будут снова все вместе. Как бы он был рад, наш бедный Огюст, если бы мог предвидеть, что вновь и навечно соединится со своей матушкой, Эдокси и Эммой!

Эктор спросил:

— Ты так думаешь?

АЛЕН-ФУРНЬЕ
(1886–1914)

Его родословное древо корнями уходит в крестьянскую почву. Анри-Ален Фурнье (таково настоящее имя писателя), появился на свет, когда родители его учительствовали в провинции Солонь. Занимался он в парижском лицее Вольтера, а затем в лицее Лаканаль, где подружился с Жаком Ривьером, впоследствии одним из основателей журнала «Нувель ревю франсэз».

В юности Ален-Фурнье сочинял стихи. У Руссо, Диккенса и Достоевского он учился слушать исповедь человеческого сердца. На страницах «Пари журналь», в своих художественных обозрениях, Ален-Фурнье восхищается неукротимым романтизмом Делакруа и импрессионистической трепетностью Коро. Не торопясь, он сочинял лирические миниатюры и рассказы о деревенской жизни. Он не навязывал себя публике саморекламной шумихой, а в самозабвенном творческом усилии годами претворял свой опыт жизни и ее понимание в единственном романе «Большой Мольн» (1913). Это книга о воспитании

чувств молодого человека XX столетия, вступающего на порог «взрослого» возраста. Жизнь, убежден художник, — дар и чудо. Но иные сами отворачиваются от него, влачат бесцветное существование, мирясь с пошлостью и цинизмом жестокой действительности. И только люди отважного сердца, постигающие, словно в озарении, пустоту обывательщины и никчемность романтических сумасбродств, устремляются по трудной тропе навстречу истинному чуду дружбы и любви, самоотверженно служа идее высокого предназначения человека.

Двадцать второго сентября 1914 года лейтенант Анри Фурнье вместе со своим отрядом наткнулся в разведке на противника, Лейтенант устремился на врага — и Анри Фурнье больше никто никогда не видел. Но его бессмертное детище — Большой Мольн — по-прежнему странствует по трудным дорогам жизни, радостно неся бремя забот о близких и дальних людях.

Alain-Fournier: «Miracles» («Чудеса»), 1924.

Рассказ «Чудо мамаши Боланд» («Le miracle de la fer-miere») входит в указанный сборник.

В. Балашов

Чудо мамаши Боланд

Перевод И. Шафаренко

Жак, Франсуаза, Изабелла и я уже третью неделю жили за городом, в местечке Коломбьер, и каждый день Изабелла, посмеиваясь, говорила:

— Коломбьер!.. Мы-то представляли себе три полуразрушенных домика, а посредине — покосившуюся голубятню, из которой, только к ней подойдешь, выпорхнет целая стая голубей… Ничего подобного! Обыкновенный маленький городок с белыми стенами и красными крышами, аккуратно вытянутый вдоль дороги!..

— И еще мы думали, что увидим крестьян! — подхватывал кто-нибудь другой. — Правда, нет-нет и проедут одна-две повозки, но никогда тут не остановятся!

Я отвечал:

— Ну потерпите немного! Скоро мы все вместе поедем на хутор Шеври. Вот увидите, там только

и есть что старенькая ферма, огороженная белой глинобитной стеной, да школа, в которой я провел детство, — я жил там на полном пансионе у учителя. Познакомлю вас с Боландом и его женой. Шеври — это их ферма.

— Что-то не верится! — вздыхала Франсуаза.

И, приподняв оконную занавеску, слегка наклонившись вперед, она вглядывалась в даль…

— Я смотрю, куда это едут здешние жители на своих повозках, — говорила она.

Так она все «смотрела» до тех пор, пока однажды не пришло наконец письмо от Жана Мольна, сына школьного учителя из Шеври. Он писал:

«Завтра мы с Боландом приедем за вами на повозке. Боланд сильно изменился за то время, что ты его не видел. Он пьет. У него завелись кое-какие деньжата, и это совсем сбило старика с толку: он решил непременно отправить своего младшего сына Клода учиться в пансион в Париж. Жена в отчаянии, да и паренек не больно-то хочет ехать; вот Боланд и подумал, что ты поможешь ему уговорить их. Здесь о тебе часто вспоминают, всё рассказывают, как ты, словно маленький вельможа, расхаживал по двору в черной курточке с широким белым воротником.

Мамаша Боланд не раз говаривала мне: «С тех

пор уже пятнадцать лет прошло, а я, как сейчас, его вижу. Ему тогда было годков девять, не больше, он стоял вот так, опершись на решетку, глядел-глядел, как я верчусь по дому, да вдруг и говорит: «Госпожа Боланд!»

«Что тебе, сынок?» — «А вы ведь похожи на настоящую королеву!»

И она смеялась, закинув голову, совсем как в прежние времена, спокойным и добродушным смехом. Она тоже с тех пор очень изменилась и постарела. Говорят, — не знаю, правда ли это, — будто поведение старика Боланда так подействовало на нее, что она слегка рехнулась.

Объясни Изабелле и Франсуазе, — пусть потом не чувствуют себя разочарованными, — что крестьяне совсем не такие, как девочки себе их представляют. Да и вообще никто на свете не может похвалиться, что понимает их до конца».

Это была дивная прогулка: мы ехали в повозке по проселочным дорогам. То и дело мы попадали под густые своды ветвей, а под колесами в колеях поскрипывал и хрустел мелкий песок. Франсуаза говорила, что ей кажется, будто она путешествует по аллеям огромного сада.

Потом дорога стала подниматься в гору. В просветах между росшими по обочинам деревьями

мы всё чаще видели полосы сухой и серой земли, а за ними открывалась широкая прозрачная даль.

— Отсюда, — говорил нам Боланд, — в ясную погоду видно на двадцать миль кругом.

И он называл одну за другой деревни, чьи неясные очертания таяли на краю горизонта.

— А Париж — во-он там! — сказал он, смеясь, и широким движением кнутовища показал на долину, которая, извиваясь, терялась вдали, окутанная дымкой и усыпанная тонущими в темной зелени фермами, подобно медленной широкой реке с синеватыми островами.

Он помолчал и добавил:

— Скоро малыш туда поедет, каникулы кончаются…

Мимо грустной и спокойной картины уходящего лета, как сожаление, промелькнул поезд. Белый дым поднялся над придорожными деревьями, совсем близко от нас. Потом мы услышали, как поезд с шумом прокатил дальше через мостик, представили себе текущую под ним речушку и подумали, что этой зимой на ее берег, заросший ломким, обледенелым камышом, маленький Боланд уже не прибежит, как обычно, тайком забрасывать свои удочки.

— Вот этот поезд его и увезет, — сказала мне

Франсуаза. — Но почему они хотят, чтобы он уехал? А вдруг он будет скучать в пансионе? Вдруг будет тосковать по своей деревне, как тосковали вы?

Конечно, маленький Боланд пожалеет о долгих зимних вечерах в Шеври и тогда, когда, запертый в затхлом парижском пансионе, будет смотреть, как декабрьский ветер швыряет в окна крупные капли дождя; и тогда, когда, погруженный в воспоминания, прислушиваясь к полузабытым голосам детства, вдруг услышит с улицы унылый и хриплый крик лудильщика или продавца птиц.

Он не будет больше в семь часов утра вместе с другими детьми ходить по белой от изморози земле к церкви и дожидаться, пока кюре, потирая руки, выйдет из своего домика и трижды ударит в маленький колокол, возвещая начало урока катехизиса.

С какой грустью станет он вспоминать эти далекие утра на ферме! После школы, в полдень, он молча проскальзывал в кухню и ждал завтрака. Была оттепель, и с соломенных кровель во двор натекали лужицы холодной воды. Он быстро проглатывал еду и выбегал из дома, набив карманы вареными каштанами. А незадолго до вечернего

благовеста, в тот час, когда в сельской лавчонке зажигался свет и часто звенел дверной колокольчик, к ним приходили барышни-учительницы за молоком. Они задерживались на минутку в полутьме у порога, ожидая, пока им принесут наполненные кувшины, а когда они уходили, движения их были так плавны, а слова прощания так любезны, что деревенский мальчик от смущения и робости убегал и прятался в сарае.

А иногда, проснувшись в четверг утром, когда не надо было идти в школу, он вдруг обнаруживал, что весь двор фермы и луга за ней — до самой реки — покрыты снегом. Вдалеке видны были разбросанные мызы, похожие на домики, какие часто изображают на открытках или в календарях. Каждый такой домик, прислонившийся к большому голому дереву и словно зажатый между снежной пеленой и низким небом, казался одиноким и заброшенным в пустынной равнине. И тут маленький Клод пускался бежать напрямик, то и дело оборачиваясь и поглядывая на следы своих сабо; потом, выбрав на пути самое белое и самое искристое местечко, он плашмя, лицом вниз, валился в снег, чтобы оставить в нем отпечаток своего тела.

После полудня, спрятав подбородок в шарф,

надетый на него матерью, он, весь исхлестанный ветром, возвращался на то же самое место и видел, что сделанная им вмятина в снегу так и осталась нетронутой. В такие минуты ему казалось, что сюда никогда больше не ступит ничья нога, что он — хозяин всей этой белоснежной страны, и, как конькобежец, выскочивший на ледяную гладь огромного озера, он снова мчался стремглав через поле, рассекая ледяной предвечерний воздух и крича от восторга.

С каким сожалением он, пленник скучного пансиона, когда сторож придет зажигать лампы, будет вспоминать прозрачные холодные вечера, медленно опускавшиеся на яркие зимние дни. Дома в это время он по заснеженным полям, светящимся в сумерках неподвижным белым светом, возвращался к себе на теплую, уютную ферму, где люди кончали трудовой день, а мать со служанками готовила ужин. Она сажала мальчика к себе на колени, снимала с него мокрые чулки и вешала их перед огнем на высокую железную решетку. Потом, усевшись в углу у большого закопченного очага, она принималась отогревать голые ноги своего младшего сынишки.

Цепляясь за кусты, повозка быстро катила по узкой извилистой дороге, с обеих сторон обсажен-

ной густой живой изгородью, и вдруг въехала прямо во двор фермы Шеври. Рядом, на лугу, у самого забора, около широких ворот стояла молотилка. Уже с утра было слышно, как она гудит, словно посаженный в коробку большой шмель.

Люди, стоявшие на молотилке в облаке соломенной пыли, даже не взглянув на приехавших, продолжали свое дело, и их размеренные движения были похожи на трудную, утомительную игру. Только двое из них на минуту выпрямились и, прислонив ладони козырьком ко лбу, оглядели нас. Остальные, стараясь перекричать шум молотилки, обменивались словами, которых мы не понимали, но в которых нам слышались враждебность и укор.

Мольн и Боланд отправились искать маленького Клода. Мы же — Франсуаза, Изабелла, Жак и я — вылезли из повозки и стояли неподвижно посреди двора, прижавшись друг к другу, смешные и неловкие, словно англичане, только что сошедшие с корабля, И тут я увидел, насколько смущенной и несчастной чувствует себя Франсуаза под взглядами крестьян: она даже сделала такое движение, словно хотела спрятаться за наши спины.

Дверь и ставни большой закопченной кухни

были открыты, но никто не появился на крыльце, чтобы радушно встретить и принять гостей. Мольн пригласил нас в дом и усадил за стол, на котором уже стояла миска с молоком.

Не поздоровавшись, а может быть, поздоровавшись, но так тихо, что никто этого не слышал, вошла фермерша и стала накрывать на стол. Я узнал ее доброе загрубевшее лицо и хотел было подойти к ней, но она, низко опустив голову и не удостоив никого из нас взглядом, медленно расставила тарелки и сразу же вернулась в соседнюю комнату.

— Потом вы пойдете поговорите с ней, — сказал мне Боланд, — но смотрите, уломать ее не так-то просто.

Когда я вошел, она сидела у низенького окна с красными занавесками, наполовину закрытого китайскими астрами, которые росли в большом ящике, и с ожесточением шила; я сразу понял, что уломать ее мне не удастся.

Наконец она подняла голову и взглянула на меня: это уже была не та тихая женщина с доверчивым выражением лица, которая улыбалась мне в прежние времена. Теперь лицо у нее было изможденное, безумное, на лоб то и дело спадала выбившаяся из-под чепца прядь седых волос,

а говорила она со мной по-деревенски громко, словно обращалась к целой толпе ополчившихся против нее людей. Она сидела неподвижно, но, бросая мне горькие упреки, на каждом слове встряхивала головой.

— Кто будет заботиться о нем? — говорила она. — И кто будет чинить ему белье?.. Уж не вы ли станете ходить за ним, если он захворает?.. В такой дали от нас, за сотни лье! Никогда в жизни он там не привыкнет! И никто не приедет навестить его... Что? Писать письма? Я не умею читать и не умею писать! — Не переводя дыхания, она продолжала: — Никогда мы не посылали наших мальчиков к чужим людям! Ни разу ни одного не отдали!..

А когда я смущенно возразил, что так хочет его отец, она сказала:

— Да он же пьет, он теперь человек пропащий! Нашли кого слушать!

Она бросила свое шитье и стояла, выпрямившись во весь рост, на свету у окошка. Тут я на мгновение увидел ее такой, какою она была, когда сам я был еще маленьким деревенским мальчиком, вроде Клода; я увидел, как она командует четырьмя служанками и управляется с целой тучей домашней птицы, как собирает

на середину двора морс белых кур, медленно разбрасывает большие горсти зерна и, издавая протяжные призывные клики, которые разносятся далеко над освещенной полуденным солнцем деревней, заставляет сбегаться к ней по тропинке — сколько их? — две, три, четыре… семь запоздавших птиц!

Пока я с ней разговаривал, Боланд тщетно обшаривал окрестности фермы в поисках Клода.

— Спрятался, — сказал он с сердитым смехом. — Как в воду канул!

И в самом деле, до нашего отъезда маленького Боланда так и не смогли отыскать — то ли работники фермы были с ним в сговоре, то ли он — что более вероятно — забрался в одно из тех потайных местечек, какие знают только дети у себя дома, — забился под скирду соломы или в какую-нибудь яму на берегу реки. Может быть, полный молчаливого и упрямого протеста, он просидел там двое суток не евши, как в тот раз, когда учитель ни за что ни про что ударил его. А может, спрятавшись совсем близко, он злобно и насмешливо глядел, как наша маленькая компания уезжает ни с чем, и едва мы скрылись за поворотом, его уже видели среди работников фермы молча занимающимся каким-нибудь делом.

С началом затяжных октябрьских дождей мы покинули Коломбьер. Рано утром, когда с папоротников на склонах холмов еще капала роса, мы, идя пешком к железнодорожной станции, проходили Шеври.

Издали мы услышали пение: чей-то голос раздавался на широком поле, неподалеку от дороги, и все мы на минуту остановились и замолкли, вслушиваясь. Я хорошо знал эти крестьянские песни, песни труда: не поймешь, чего в них больше — радости или отчаяния; каждая из них — словно нескончаемый разговор охваченного зимним одиночеством человека со своим четвероногим другом. Но мне показалось, что еще никто и никогда не был столь безнадежно, столь мучительно одинок, как этот человек, чья заунывная песня плыла в воздухе так же медленно, как тащатся по борозде быки.

Это был Боланд. Мы слышали, как он на дальнем конце пашни окликнул животных и остановил плуг; за кустами звякнули цепи. Он подошел к нам.

— Малыш уехал в начале недели, — сказал он. — Мы все-таки решились. Только вот сегодня я получил оттуда дурные вести.

Он пошарил под курткой, вытащил из-за пояса

сложенное вчетверо письмо и протянул его мне. Мальчик писал, что он никогда там не сможет привыкнуть, что ребята его бьют и что он хочет домой, «потому что папа сейчас пашет, и я знаю, что ему нужен помощник».

— Я ведь желал ему добра, — сказал Боланд, опустив голову, — ошибка вышла, что и говорить… О письме я никому не сказал ни слова, но, боюсь, моя хозяйка что-то подозревает.

В это время объявили о прибытии поезда. Мы услышали, как в долине на маленькой станции ударил колокол. Пора было расставаться с Боландом и двигаться дальше; мы постарались, как могли, утешить его. Еще долго мы так и не знали, что было на ферме Шеври после нашего отъезда. Но однажды Жан Мольн рассказал мне, что произошло потом.

В тот же вечер между фермером и его женой, когда оба они были в хлеву, разгорелся один из тех редких, но яростных споров, при которых окружающие стараются отойти в сторонку. Такие схватки ломают установленный порядок жизни и рушат царящее обычно в семье молчаливое согласие. Все перестают понимать, кто в доме главный, и служанка, привыкшая слушаться хозяйку, норовит не попадаться на глаза хозяину.

Такое смятение жители фермы испытывали всего дважды: первый раз, когда брат Боланда сошел с ума и бродил по участку, пытаясь поджечь скирды соломы, и второй — совсем недавно, — когда одна из служанок рассказала, что сам Боланд так и вьется вокруг нее.

В этот вечер, как и тогда, на ферме царил безмолвный, но глубокий разлад. Пастух, видя, что хозяйку трясет, хотел ей чем-нибудь помочь и забыл впустить в загон овец, которые долго толкались и блеяли во дворе. Потом самая старая из служанок, собираясь доить коров, в задумчивости забрела с подойником в руках вместо коровника на конюшню, и Боланд грубо спросил, чего ей тут надо. От этого старая женщина вконец расстроилась. По заведенному порядку, именно она каждое утро, вернее, каждую ночь, около трех часов, первая в доме поднималась и ставила на огонь воду для супа. На этот раз старушка проснулась как всегда, оделась, наколола щепок, развела огонь, налила воды в котел. Сгорбившись и низко опустив голову, она стояла, рассеянно глядя на воду, которая уже начинала закипать, и вдруг услышала, как бьют часы: пробило двенадцать раз. Была полночь. Она встала на три часа раньше.

Тушить огонь и ложиться снова уже не было смысла. Чтобы чем-то занять время, служанка решила взять фонарь и обойти ферму. Лил холодный дождь, и фонарь дважды задувало, но она, сама не зная зачем, упрямо зажигала его и шла дальше. Войдя в конюшню, где стоя дремали лошади, старушка встревожилась и стала водить фонарем вокруг, оглядывая стойло. Белой кобылы на месте не было. Под навесом не оказалось и старой низкой коляски.

Она сразу поняла, что фермерша уехала, и принялась ворчать что-то себе под нос. Потом она разбудила фермера, тот побежал за соседом, Жаном Мольном, и они вдвоем долго шлепали с фонарем по грязи, ища следы колес, но все смыло дождем.

Двое суток продолжались упорные, но тщетные поиски по всей округе. Боланд, совершенно удрученный, молчал. Только иногда он повторял:

— Моя жена погибла… Ее не найти… Она не знает дорог… Она заблудилась в карьерах…

На третий день Жан Мольн, который собирался вместе с фермером снова отправиться на поиски, проснулся чуть свет в своей комнате с косыми балками. Он перевернулся на другой бок. В темном окне, как на витраже, зажигались красные,

желтые, ярко-синие отсветы восходящего солнца. Стекло было мокро от дождя.

Он молча оделся и сошел вниз. Уже рассвело. Но то был первый свет раннего утра, бледный и ясный, как свет луны, — в таком свете все вещи кажутся декорациями, расставленными перед началом реальной жизни.

Мольн вышел. Калитка в школьном заборе скрипнула и со стуком захлопнулась. С фермы донесся крик петуха. И снова все стало безмолвным. Учитель свернул на короткую тропку, которая вела к дому Боланда. Он прислушивался к мерному шуму своих шагов — единственному звуку в этот тихий час — и вдруг, подняв голову и увидев в десяти шагах от себя стоящую перед глинобитной стеной коляску, услышал, как где-то в глубине гулко забилось его сердце.

— Уж не Клод ли Боланд с матерью?... — пробормотал он вполголоса.

В самом деле, на козлах, пригнувшись и словно дожидаясь, пока кто-нибудь выйдет во двор и откроет ворота, сидела женщина в белом чепце. К ней жался дрожащий Клод в старой, потемневшей от времени соломенной шляпе, низко надвинутой на глаза.

Кобыла стояла, опустив голову между ног, и

вид у нее был такой усталый, словно она шла без отдыха всю ночь. Не потушенный еще фонарь отбрасывал на ее круп странный свет. А мелкий дождик все лил и лил, и мокрая солома поблескивала под ногами приехавших.

Только Мольн хотел кинуться к женщине и поговорить с ней, как кто-то открыл ворота изнутри, и коляска, переваливаясь с боку на бок, въехала во двор.

Пока работник распрягал кобылу, мать и сын по-крестьянски, задом, медленно слезли с козел, и мамаша Боланд, взойдя на крыльцо, стала стучать в дверь.

Было слышно, как, шаркая сабо, к двери подошла служанка. Сперва она открыла глазок, а потом и самую дверь.

— Здравствуйте, хозяйка, — сказала она тихим, прерывающимся голосом. — Привезли все-таки!

— А то как же! — ответила фермерша и ушла в глубину комнаты, где царил полумрак, переодеться в будничное платье.

Дождь кончился. Деревня просыпалась. Из церкви послышались громкие, как в праздник, удары колокола. Звонили к заутрене.

ФРАНСИС КАРКО
(1886–1958)

Отец писателя, корсиканец, служил чиновником в столице Новой Каледонии — Нумеа, где и родился Карко (настоящее имя — Франсуа Каркопино). С детских лет он воспитывался во Франции. В юности покинул провинцию, ринулся в Париж и закружился в вихре столичных наслаждений. Карко боготворит Вийона, которому стремится подражать и в буйном бражничестве, и в дерзости метафор («Кисло-сладкие песенки», 1913). Вместе со своим другом Тристаном Деремом он сплотил группу молодых поэтов-«фантэзистов» (от франц. fantaisie — фантазия), которые мистическим туманностям а велеречивости символистов противопоставили искреннее чувство и ясность поэтического языка, обращение к заветам Верлена и Рембо. Начиная с «Иисуса Ветрогона» (1914), Карко варьировал в своих рассказах и романах одну узкую, но досконально освоенную им тему — жизнь людей из ночного парижского подполья. Его персонажи — бродяги, бандиты, сутенеры., девушки с панели. Им чуждо лицемерие

обитателей «богатых кварталов». Они живут без маски — бесхитростно страдают, влюбляются, ревнуют, запугивают других или сами трепещут от страха, всегда начеку, в ожидании облавы, пули, ножа. Их кружит дьявольская карусель страстей и инстинктов. Но кто же заводит это «чертово колесо»? Подумать об этом Карко не осмелился. Он признался лишь, что им самим словно «вертит» какая-то сила. «Казалось, кто-то посторонний хозяйничал во мне, диктовал мне мои слабости и заблуждения» (воспоминания «От Монмартра до Латинского квартала», 1927). Художник очень точно определил симптом «болезни века» — отчуждение личности, подчинение ее диктату бесчеловечных сил. Но исцелиться, изгнать «постороннего» и вернуться к живым связям с людьми — и к самому себе — он уже не мог. Его развратил декадентский отказ от различения добра и зла в жизни и в искусстве, и он обрек себя на натуралистическое нагнетание жестокостей и извращений. В итоговой мемуарной книге «Свидание с самим собой» (1957) Карко сокрушенно сетовал, что его романы обладают «наркотическим воздействием» на читателя; в своих персонажах он чаще всего видел только повод для выражения собственной

тоски, одиночества, отчаяния. И лишь в колоритных мемуарах Карко и его жизнеописаниях художников и поэтов — Вийона, Утрилло, Верлена — талант писателя держит в узде его болезненные наваждения. Очарование прозы Кар-о — в передаче тревожной атмосферы, большого города, в берущих за душу, словно омытых дождем, парижских офортах.

Francis Carco: «Au coin des rues» («На перекрестке»), 1919; «La belle amour» («Счастливая любовь»), 1932; «Contes du milieu» («Блатные рассказы»), 1933.

«Раз ты меня любишь...» («Puisque lu m'aimes...») входит в сборник «Блатные рассказы».

В. Балашов

Раз ты меня любишь...

Перевод С. Брахман

В маленьком кафе на улице Фобур-Сен-Дени, где Робер расположился в ожидании Сюзанны, были одни лишь завсегдатаи, люди с виду вполне безобидные; но по косым взглядам, которые

они то и дело бросали на юношу, нетрудно было определить, что это за птицы. Одни невинно перекидывались в картишки, другие просматривали отчеты о скачках, а в задней комнате, под благосклонным взором хозяина, шла игра: встряхивали кости, бросали их на стол и подсчитывали очки. Все были слишком ярко одеты: клетчатые, узорчатые, полосатые рубашки, цветная обувь кричащих тонов, на головах элегантные фетровые шляпы самых разнообразных оттенков, от светло-бежевого до бледно-лилового, — и все выглядели на одно лицо: сорочки шелковые, в галстуках фальшивые жемчужины, одинаково небрежные повадки, под которыми пряталась внутренняя настороженность. Друг от друга они отличались только затейливыми и выразительными прозвищами. Жожоль Богач, Слабак, Верзила, Шарль, Алексис-Беги-Не-Догонишь — это звучало, конечно, совсем иначе, чем Жан Кривой, Вот-Так-Пасть, Исидор, Господин Рауль или Толстопузый; но насчет их нутра, кругозора, их жизненных правил и способов добывать себе средства к существованию можно было не сомневаться: все это — одного поля ягоды.

— Гарсон! Кофе со сливками, пожалуйста, — вежливо попросил Робер.

— Один раз со сливочками! — поправил гарсон, дабы новичок сразу почувствовал, где он находится.

Но Робер не обратил на это внимания. Он уселся на диванчик, вытащил из кармана книгу и, мельком взглянув на стенные часы, чтобы убедиться, что ждать еще долго, принялся читать.

Это был юный провинциал, робкий и близорукий. Родители не разрешили ему жениться на любимой девушке, и он ее похитил. Они жили с Сюзанной в гостинице, в двух шагах от бара, и выходили только поздно вечером — ведь всегда рискуешь встретить земляка, который может наболтать лишнего и навести домашних на след беглецов. Семья Робера принадлежала в его родном городе к столпам общества. Люди солидные, богатые, что называется, «на виду», они испробовали, как им казалось, все средства, чтобы погасить страсть их слабого, неискушенного и сентиментального отпрыска к Сюзанне. Союз Робера с «этой девицей» казался им совершенно неприемлемым. Сюзанна была не их круга. В ее родне числился садовник, служивший у Дюпон-Вражилей, отец был торговым агентом на заводе Валь-пассе, а старшего из трех братьев уж никак нельзя было назвать добропорядочным.

— Бог с тобой, Робер, — с утра до ночи причитала мать. — Неужели ты собираешься жениться на этой девчонке?

— Да, мама.

— Он на ней не женится, — едва сдерживая ярость, рычал отец. — Пока я жив, этому не бывать!

Вот уже три года, как молодые люди любили друг друга и торжественно поклялись соединиться наперекор всем препятствиям. Однажды дождливым вечером они обменялись этой клятвой под навесом, позади товарного склада. Блестели рельсы, убегавшие в сумрак полей, пахло акацией, травой, скошенным сеном. Стоял июнь. Воспоминание об этом дождливом вечере, об огоньках вдоль железнодорожного полотна, о рельсах, об аромате полей оставалось для влюбленных все таким же ярким и теперь, в убогой гостинице, где они занимали номер окнами во двор, и служило им поддержкой и утешением.

— Милый, — вздыхала Сюзанна, нежно прильнув к возлюбленному. — Ненаглядный!

— Радость моя! — немедленно отзывался Робер.

— Нет, это ты моя радость…

— Я тебя обожаю!

— И я тебя, — шептала девушка.

Почти все время они проводили в постели, и в Париже им были знакомы только скромные ресторанчики на близлежащих улицах, маленькие бары, темный зал соседнего кино и та часть бульваров, что тянется от ворот Сен-Мартен до ворот Сен-Дени. Большего им и не нужно было. К тысяче с чем-то франков, которые Робер похитил из отцовского сейфа, Сюзанна присоединила и свои сбережения, так что какое-то время они бы перебились; но Робер потребовал, чтобы его подруга купила себе платье, новую шляпку, шелковые чулки, сумочку и лакированные туфли. Он мечтал подарить ей обручальное кольцо, однако скудость их средств не позволяла подобной роскоши. Он уже утаил от Сюзанны, каких трудов ему стоило наскрести нужную сумму и оплатить последний счет в гостинице. В следующий раз это не выйдет. Робер как-то сник. Он стал искать работу и в конце концов вынужден был поделиться с девушкой своими тревогами и попросить у нее совета.

— Да, — решила Сюзанна, — так дальше нельзя.

Она тоже взялась за поиски какого-нибудь заработка, но, как и Робер, везде наталкивалась

на отказ либо получала самые неопределенные обещания. Теперь они уже не прятались, а, напротив, стали выходить чаще в надежде встретить земляка, попавшего сюда проездом, и призанять денег. Робер, ни минуты не колеблясь, подписал бы вексель. Он даже подумывал, не обратиться ли к ростовщику. Но в Париже он никого не знал, а прибегнуть к услугам кого-нибудь из их мест не осмеливался, опасаясь длинных языков. От всего этого Робер совсем пал духом. Он питался одними бутербродами у себя в номере и запивал их водой из умывального кувшина. Сюзанна не жаловалась. Она подбадривала его, как умела, уводила гулять на бульвары, и, если какой-нибудь мужчина слишком выразительно ее оглядывал, Робер опускал глаза и тут же закатывал ей сцену, не обращая внимания на прохожих.

Однажды днем на террасе кафе их окликнул какой-то человек, которого они сперва не узнали. Довольно вульгарный субъект, впрочем, живой и общительный.

— Да ведь это господин Эктор! — воскликнула Сюзанна.

— Он самый. Привет!

Девушка представила Робера, и тот машинально прикоснулся к шляпе.

— Очень рад, дорогуша! — с дружеской фамильярностью заговорил Эктор, указывая на стулья. — Присаживайтесь. Выпьем по стаканчику?

Эктор был лесоторговец и вел веселую жизнь, то и дело попадая в пикантные истории. Роберу было известно, что он не пропускает ни одной юбки, а подобные вещи вызывали в юноше чувство брезгливости, но все же ему удалось пересилить себя, несмотря на улыбки и любезности, которые этот тип расточал Сюзанне.

— Вот что, детка, на днях я встретил вашего папашу, — начал Эктор. — Он не знает, где вы, и, понятное дело, волнуется... Надо бы вам черкнуть ему словечко... Что вам стоит? Марку купить, и только...

Робер слушал молча и усталым, измученным взглядом смотрел на Сюзанну.

— Что ты так смотришь? Господин Эктор дает разумный совет, — сказала девушка. — Он прав. Я должна была послать открытку.

— Прав, не прав, не в том суть! — изрек лесоторговец. — Вы счастливы?

— Очень, — отвечала Сюзанна.

— Ну и дай вам бог! В конце концов — это главное... — Тут он хитро подмигнул. — Любовь, она

всегда любовь.

— Я готов сухую корку грызть, только бы нам не расставаться, — медленно произнес Робер.

Эктор расхохотался.

— Сухую корку! Э-э, куда хватили! Об этом и речи быть не может. Да что там: если вы вечером свободны, я угощаю вас ужином. Идет?

— Сегодня я не могу, — глухо ответил Робер.

— Тогда завтра.

— И завтра не могу.

— Жаль, жаль…

— Но Сюзанна свободна, — глядя в сторону, продолжал Робер. — Пусть идет одна. Я не хочу лишать ее развлечения.

— Робер!

— Что «Робер»? Раз господин Эктор любезно приглашает тебя в ресторан — ступай! Я подожду тебя в баре возле гостиницы.

— Как хочешь…

Неслышно приблизился официант, и лесоторговец заказал:

— Еще три бокала!

Зажглись фонари. На другой стороне бульвара фасады расцветились ожерельями голубоватых и розовых огней. Было тепло. В толпе гуляющих скользили женщины, украдкой бросая вокруг

быстрые призывные взгляды. Пряча досаду, Робер притворился, будто они его волнуют, но скоро почувствовал, как отвратительна ему роль, которую он разыгрывает за этим столом, и поднялся; он протянул руку коммерсанту, затем сухо обратился к Сюзанне:

— Значит, договорились… К двенадцати я буду в бистро. Не опаздывай. Ты ведь знаешь, где это?.. В двенадцать, в половине первого…

Но девушка молчала, и он быстро зашагал прочь.

— Ну и чудак! — произнес Эктор после паузы. — Что это с ним? Рассердился?

— Вовсе нет, — заступилась Сюзанна. — Просто у него такой характер.

— Ну, тогда мне вас жаль!

Она вздохнула.

— Да нет же, мне не на что жаловаться.

А Робер тем временем, кипя яростью, какой он и сам от себя не ожидал, пытался понять, что же происходит у него в душе, но стыд и гнев мешали ему. В полном смятении дошел он до ворот Сен-Дени, потом вдруг опомнился и повернул назад. Мысль, что сейчас он опять увидит свою подругу в обществе господина Эктора, наполнила его жгучей ревностью. Но ведь он сам виноват, что

девушка приняла приглашение лесоторговца. Иначе бы она ни за что не согласилась. Ей это было ни к чему. И она прекрасно обошлась бы без этого ужина, если бы он, Робер, не свалял дурака и не брякнул, что она свободна. Но в ту минуту он подумал, что Сюзанна будет рада хоть разок полакомиться, ему показалось таким естественным не лишать ее этого удовольствия! Пойти вместе с ней он не мог — не позволяло самолюбие: ведь у него не было денег, чтобы, в свою очередь, заказать бутылку вина или купить потом три билета в театр или кино. Теперь же, когда он принес такую жертву, невыносимо было даже представить себе, что после ужина Эктор может сделаться еще развязнее, и кто знает, до какой степени! Чего ждать от провинциального донжуана? Он ее напоит, заморочит ей голову всяким вздором, а потом, разумеется, усадит в такси и, распалив поцелуями, повезет к себе в номер.

Юноша застонал от горя. «Ох, не так надо было договориться, я должен был отпустить ее только до десяти!»

Увы, было поздно. Когда в полном расстройстве чувств он примчался на террасу, разыскивая взглядом парочку, за столиком уже никого не было. Страшная тоска сдавила его сердце. Он

обошел кафе, оглядел все столы и понуро побрел к себе в гостиницу; не успев войти в номер, он бросился на кровать.

«Она, наверное, подумала, — размышлял он, — что я дал молчаливое согласие на все, что бы ни предложил этот нахал. Какой ужас! Ведь у нас осталось всего полсотни франков, и она тоже захочет принести жертву. Я скотина. Подлая скотина. Ничтожество… Не хочу! Нет, нет… не хочу…»

И вот теперь, в этом маленьком кафе, где он назначил свидание подруге, его исподтишка рассматривали игроки в очко и в белот. Они сразу его раскусили. Напрасно Робер старался держаться независимо, напрасно делал вид, будто увлечен своей книгой, — ничто не помогало: шаря по нему оценивающими взглядами, они зубоскалили и громко обменивались замечаниями на его счет.

Верзила Шарль провозгласил:

— Фу-ты ну-ты, есть же охотники забивать себе башку всякой ерундой!

— Ученые липовые! — подхватил Исидор.

— Ну, насчет ученых, это ты загнул, — с холодной издевкой проговорил Алексис. — На что хочешь спорю, этот щенок сбежал с урока!

— А ты спроси у него.

— Могу.

Алексис поднялся, шагнул к столику, за которым сидел Робер, и вырвал у него из рук книгу.

— Что, приятель, книжечки почитываем?..

— Как видите, — отвечал ошеломленный Робер.

— И что же это у тебя за книга?

— «Манон Леско».

— Как, как ты сказал?

Жан Кривой отложил карты, подтянул штаны и подошел к Алексису, который толстыми, в перстнях, пальцами перелистывал роман.

— А ведь это про любовь! — картаво произнес он. — Ну-ка, покажи.

— Вы не знаете «Манон Леско»? — простодушно удивился Робер. — Никогда не читали?

— Эй, ты! — грубо оборвал его Алексис. — Вопросы задаем мы. Твое дело отвечать. И вообще, какого черта ты здесь околачиваешься?

— Я жду.

— Кого бы это? Такого же сопляка, как ты сам?

— Нет. Свою жену.

В ответ раздалось гоготание. Робер огляделся, но, так и не поняв причины общего веселья, умолк.

— Кроме шуток? У тебя есть жена? — опять

завел Кривой.

— Да. Она сейчас ужинает с одним приятелем.

— Ну, ты орел! — закричали кругом.

Алексис шикнул и, глядя Роберу прямо в глаза, с важностью произнес:

— И сколько она тебе приносит?

Юноша побелел, побагровел и ничего не ответил.

— Так сколько же? — с насмешливым видом допытывался Алексис. — Валяй, не стесняйся, тут все свои. Она у тебя добытчица? Умеет подзаработать?

— Оставьте меня в покое, — пробормотал Робер, — пожалуйста! Ну что вы ко мне пристали?

— Уймись! Слышишь, ты, Алексис, отстань от него! — вмешался хозяин заведения. — Господин волен ждать, кого ему угодно! Понял?

— Ладно, — пробурчал Алексис. — Ладно. Чего тут не понимать! Я и не собирался отваживать твоего клиента… Это я так, шучу…

— Пошутил — и хватит, — продолжал хозяин. — И ты тоже, Кривой, нечего шум подымать! Верни господину книгу.

— Благодарю вас, — робко сказал Робер.

— Не за что…

Алексис с недоброй улыбкой повернулся к

юноше.

— Мы с тобой в другом месте потолкуем… — процедил он сквозь зубы. — Научим тебя…

Но не окончил фразы: хозяин грубо схватил его за рукав и без дальнейших уговоров оттолкнул к столу, где играли в карты.

Жан Кривой, храня достоинство, отошел сам и снова принялся за игру. Никто вокруг и бровью не повел, будто ничего не случилось. Только Робер таращил глаза и все больше удивлялся. Он даже и не подозревал, какая угроза таилась в этих непонятных приставаниях; поглядывая на часы, он соображал, что ждать остается недолго: было уже за полночь. «Минут через десять она должна прийти», — думал он.

И верно, не прошло и десяти минут, как приоткрылась входная дверь и девушка проскользнула в зал. Заметив Робера, она направилась к нему.

— Ну как? — спросил он тревожно.

Сюзанна не смела посмотреть ему в глаза. Она сидела на своем стуле неподвижно, вся во власти смущения, возраставшего с каждой секундой.

— Что с тобой? — спросил Робер одними губами.

— Со мной ничего… — ответила она. — А что со мной может быть? Я вернулась…

— Много выпила?

— Господин Эктор угостил меня шампанским, — нехотя выговорила девушка. И так печально, с таким подавленным видом уставилась на Робера, что теперь уже ему стало не по себе. Не слыша своих слов, он машинально произнес:

— Заказать тебе что-нибудь?

Сюзанна молчала, но не спускала с Робера глаз, и мало-помалу в ней зрело убеждение, что лучше уж сразу во всем признаться, чем хранить свою тайну про себя. Тайна эта ее душила, захлестывала отвращением. И в то же время, вспоминая, как лесоторговец опоил ее шампанским, она находила для себя некоторое оправдание; она думала, что ведь, в сущности, Робер сам этого хотел. Его испытующий взгляд больно задевал ее. Почему он смотрит на нее так укоризненно? Почему так мучается?

Наконец девушке удалось взять себя в руки.

— Вкусное шампанское! — сказала она. — Самое дорогое, какое было.

— Оно и видно.

— Да нет, я вовсе не пьяная. Наоборот, мне хорошо…

— Послушай, — резко сказал Робер. — Я задам

тебе только один вопрос. Но поклянись, что ответишь правду, даже если сделаешь мне еще больнее… Эктор твой любовник?

— Ты с ума сошел!

— Да или нет? Ты ему уступила?

Сюзанна замотала головой.

— Нет, конечно, нет! Что ты! Какой ты глупый! Неужели ты думаешь, что я могу тебе изменить?

— Ничего я не думаю, — пробормотал юноша. — Я просто боялся, что ты не так меня поймешь… Ведь я это сделал не ради себя, а ради тебя. Только ради тебя. Потому что я тебя люблю…

— Милый!

— Ну и хватит об этом, — сказал он с ясной улыбкой. — Раз ты вернулась ко мне такой же, как была, я счастлив… Счастлив! Вставай! Пойдем домой…

— Робер! — вскричала девочка.

— Что?

— Нет, Робер… Нет, ничего!

— Ты плачешь?

Открывая свою сумочку, Сюзанна тихо ответила:

— Вовсе нет…

Однако она искала носовой платок и от волнения не заметила, как две купюры по сто франков,

которые она не догадалась запрятать подальше, выскользнули из сумки и упали на стол. Робер их увидел. Кровь бросилась ему в лицо. Он вздрогнул и какую-то долю секунды, казалось, готов был подобрать бумажки и протянуть их подруге, но та расхохоталась и, пряча деньги, спокойно сказала:

— Зачем мне плакать, милый?.. Раз ты меня любишь…

РОЛАН ДОРЖЕЛЕС
(1886–1973)

Доржелес (настоящее имя — Ролан Лекавеле) уроженец Амьена. В юности он изучал архитектуру, но призвание свое обрел в журналистике и литературном творчестве. В первую мировую войну Доржелес получил ранение на передовой. «Машина для прекращения войны» (1917) — так называлась его первая книга. В знаменитом «окопном» романе «Деревянные кресты» (1919) воссозданы столь неприглядные эпизоды бесчеловечной бойни, что наиболее обличительные главы книги оказалось возможным опубликовать лишь в недавнее время.

В репортажах «По дорогам мандаринов» (1925) и «Караваны. без *верблюдов» (1928) Доржелес точными штрихами обрисовал удручающую картину колониального гнета на окраинах Французской империи. Доржелес посещал СССР, но об увиденном судил в духе буржуазного либерализма. Военный корреспондент Доржелес — очевидец поражения и фашистской оккупации Франции (очерковая книга «Удостоверение личности»,*

1945). Это ему принадлежит емкое определение первоначального этапа второй мировой войны, названного им в одном из репортажей 1939 года «странной войной».

В реалистических романах «Продажно все» (1956) и «Долой деньги» (1965) Доржелес следует традициям Золя и Мопассана. Однако критика пороков собственнического мира венчается в них проповедью смирения и «честной бедности».

Доржелес был членом Гонкуровской академии, а с 1955 года и до последних дней жизни — ее председателем.

Roland Dorgeles: «Le cabaret de la belle femme» («Кабаре красотки»), 1919.

Рассказ «Карасики» («Les poissons rouges») входит в сборник «Кабаре красотки».

В. Балашов

Карасики

Перевод И. Татариновой

Солдат, дежуривший у входа в подкоп, предупредил нас.

— Смывайтесь! — крикнул он. — Выходят!

Все разом очутились на своих местах. Одни исчезли в окопчиках, другие окаменели и, сурово сдвинув брови, уставились в бойницы, всем своим видом являя воплощенное сознание воинского долга, а заспанный расхристанный капрал Рубьон, который, по обыкновению, искал вшей, поспешил застегнуться на все пуговицы.

— У себя и то покоя нет, — вздохнул Лусто, чеканивший кольцо.

Мимо нас прошествовали офицеры штаба дивизии, с удовлетворенным видом возвращавшиеся после осмотра подкопа. Статный офицер в серо-голубом мундире с золотой нарукавной повязкой мимоходом поинтересовался нами.

— Ну что ж, молодцы ребята, выглядите неплохо, — сказал оп нам с той же участливостью, с какой разговаривают с цыганятами, бегущими за отцовским фургоном. — Сыты? Не жалуетесь?

— Сыты… тем, что из дому присылают, — буркнул кто-то.

Вылощенная компания удалялась, громко разговаривая:

— Подкоп, надо сказать, отличный.

— На когда назначена атака?

— Надеюсь, снимки получатся удачные…

— Понимаете, немцы будут обороняться.

— Что поделаешь? Лес рубят — щепки летят…

Щепками были мы… Подкоп, который только что осматривали офицеры, был достопримечательностью участка. Генерал им очень гордился, а по мнению рывшей его саперной части, он был сделан на славу, мог служить образцом: глубокий, просторный, прочный, с вентиляцией для полной очистки воздуха и насосом для откачки воды.

Немцы стояли в пятидесяти метрах от ведшего в подкоп хода сообщения, и над. головой слышны были тяжелые шаги фрицев, что всякий раз вызывало некоторое волнение у посетителей.

— Это немцы, правда? — говорили они, приглушая голос. И с благоговением взирали на перекрытие: ведь они никогда не бывали так близко от бошей.

К нам в подкоп совершались настоящие паломничества; каждое утро штаб-квартира направляла сюда всяких чиновных особ, в том числе и штатских, которые среди нас казались ряженными; все офицеры штаба и интендантства перебывали у нас, чтобы сфотографировать наш подкоп. Мы жили спокойно только во время дождя и артиллерийских обстрелов — эти господа берегут и мундиры, и свою шкуру.

Хотя мы постоянно были начеку, все время опасаясь появления начальства, сопровождающего того или иного особо важного «паломника», все же наша стратегическая позиция у входа в подкоп имела свои преимущества: нам давали сигареты, чтобы поощрить на рассказы — с неопубликованными подробностями — об атаке 16 февраля, иной раз перепадали и мелкие монеты, это когда посетитель был очень доволен. Время от времени нас фотографировали в традиционных позах неустрашимых героев, хотя обычно предпочитали снимать Лусто, потому что он был похож на траппера, и капрала Рубьона, потому что он был самый замызганный.

Все окрест знали наш подкоп, его точное расположение, его длину: о нем рассуждали во всех лавочках на пять лье в окружности; когда нас отводили на отдых, крестьяне вежливо осведомлялись, как поживает наш подкоп; по-моему, даже немцы, когда их переводили на другой участок, сообщали о подкопе в инструкции тем, кто их сменял.

За те полтора месяца, что прошли после окончания работ, подкоп уже раз десять должны были взорвать — роты были готовы, солдатам выдали гранаты, но в последнюю минуту крещение боем

неизменно откладывалось, и каждый полк, приходивший на смену в наши траншеи, с истинным альтруизмом желал, чтобы эта торжественная церемония выпала на долю тех, кто его сменит. Надо думать, генерал берег наш подкоп в качестве аттракциона.

Последние три дня посетителей было особенно много; в подкоп приходили просто толпами, и, как справедливо заметил Лусто, «недоставало только немцев».

И они тоже пришли.

Это случилось утром, около десяти. Жан де Креси-Гонзальв, раздетый догола, дрожа всем телом, мылся в тазу с ключевой водой, а возмущенные таким падением нравов дежурные по кухне, проходя мимо, зубоскалили на его счет.

— Спрячь, чего выставил, сейчас есть сядем!

— Он это для храбрости.

А наш капрал, вытирая свой котелок старой газетой, посмеивался втихомолку:

— Раз добрался до воши, ему не до нас…

Стол мы уже успели соорудить: дверь от зеркального шкафа на четырех подпорках. Порывшись в кучах мусора, оставшегося в разбитой бомбежкой деревне, мы притащили также разрозненные тарелки, мельхиоровые ложки и

вилки, безвкусную, ярко разрисованную фарфоровую жардиньерку, в которую поставили большой букет ландышей.

Сидя на ящике и запрокинув голову, я смотрел на солнечные пятна, которые падали сквозь растопыренные пальцы дуба. Эх, и хороший же у нас участок, такой тихий — ходишь патрулем без риска для жизни, полеживаешь под деревьями… В широкой сапе, что вела к нашему укрытию, мы устроили столовую, и другие отделения грызла низкая зависть — они говорили о тайных происках и нечестным путем приобретенном покровительстве.

Я слышал, как шипит сало в укрытии, из которого подымался голубоватый дымок, и губы невольно растягивались в блаженной улыбке. Лусто жарил картошку в крышке от котла, и у меня уже текли слюнки…

— Все в сборе? — крикнул он нам из кухни.

Вместо ответа неподалеку, в лесу, раздался глухой взрыв, и вслед за тем послышались выстрелы и вой гранат… Мы не успели опомниться, как нас оглушил грохот боя — неистовый заградительный огонь, свист пуль; все разразилось в одно мгновение, словно взорвался пороховой завод.

Жан де Креси-Гонзальв как был нагишом,

так и выскочил из своего таза весь мокрый, с башмаками в руке. Лусто выбежал из укрытия, перепачканный сажей, в одной рубахе.

— Где винтовка… где моя винтовка? — орал он.

Все бежали, не зная куда. Капрал, тут же очутившись у бойницы, кричал:

— Никого не видать!..

И в самом деле, перед нами, между лесом, занятым французами, и лесом, где стояли боши, равнина была пуста, но над головой у нас рвалась шрапнель, пули градом сыпались на листву деревьев, «чемоданы» перелетали над лесом и рвались над второй линией траншей. Все недоумевали.

— Что случилось?

— Боши пошли в атаку.

— Где?

— Не знаю…

Мы увидели капитана, бежавшего на шум. От взвода к взводу уже передавалась команда:

— Носилки… Дайте дорогу… В ход сообщения попал снаряд…

Мы столпились в своем окопе, втянули голову в плечи. Рубьон, все еще у бойницы, повторял одно и то же:

— Никого не видать… Никого не видать…

Я запомнил солдата на корточках у ведра с вином, он налил себе кружку. Лусто пнул его ногой:

— Ворюга!

— Это почему? Я взял сколько мне положено…

Начали отвечать наши семидесятипятимиллиметровки, все батареи открыли огонь, поднялся адский грохот, траектории французских и немецких снарядов, казалось, скрещиваются в небе.

И тут из траншеи выскочили посетители с кодаками через плечо и без оглядки пустились наутек.

— Быстрей! — кричал тот, кто их сопровождал. — По своим постам… Не отставайте…

Апоплексического сложения офицер, запыхавшись, весь в поту, придерживая рукой прыгавшие на груди ордена, догонял остальных со всей доступной ему при его коротких ножках прытью. Капрал остановил его.

— Что случилось, господин капитан?

— Боши в подкопе… они взорвали сапу… вышли через нашу вторую линию… Вам надлежит контратаковать и выбить их из леса!..

Лусто громко выругался:

— Вот сволочи! Говорил ведь, что боши придут…

Все было, как всегда при атаке, потоки крови и полная неразбериха…

Сначала, в двенадцать дня, одна рота предприняла было вылазку, — генерал рассчитывал выбить немцев внезапным ударом: пошло более двухсот человек, вернулось пятьдесят.

Тогда мы дождались темноты и после короткой артиллерийской подготовки стопятимиллиметровками двинулись двумя батальонами в массированную атаку. Страшные четверть часа!

Но к чему воскрешать в своем сердце ненавистные воспоминания, к чему принуждать себя, вызывать их из забвения?.. Я не хочу мысленно вновь переживать эти часы… Однако я помню, что бежал вперед, стиснув зубы, оглушенный взрывами, и видел своих товарищей, лежавших на траве среди ландышей, а в голову лезли идиотские мысли: пикник… пикник… завтрак на траве…

Мы дрались до глубокой ночи. От связного-самокатчика я узнал, что генерал пытался наблюдать за нашим продвижением в бинокль с другой стороны реки. Но траншеи были скрыты деревьями, и наши осветительные ракеты большей частью освещали только ветви, связные не появлялись, и тыл узнавал о ходе боя только по ожесточенной

стрельбе, вдруг вспыхивавшей, как затухающий костер, в который подбросили охапку хвороста. Генерал вздыхал при каждом доходившем до него телефонном звонке:

— Бедный мой полк, бедный мой полк! Они уже очистили половину леса?.. А совсем выбить немцев оттуда им не удается?

Немцы быстро развернули высокие проволочные сети, прибитые к деревьям, и каждый такой «курятник» вызывал задержку, которая многим стоила жизни. Приходилось под огнем резать проволоку, подрывать каждое заграждение. В ходах сообщения, ощетинившихся рогатками, шла та же бойня. Вход в подкоп был взят, но тут пришлось остановиться… Боши окопались и прочно удерживали первую линию.

— Да, жаль, очень жаль, — сетовал генерал, садясь в свою машину. — Если бы постарались, я уверен, можно было бы сделать больше.

Перед траншеей, в которой мы закрепились, лежали наши товарищи, и, пока нас не сменили, мы слышали, как капрал Рубьон, уронив голову на немецкий бруствер, жалобно звал нас. Он расстегнул шинель, чтобы нащупать рану, и казалось, будто и умирая несчастный все еще чешется.

Мы были вознаграждены: нас отвели на отдых в оживленный городок, где на церковной площади каждый день играла музыка. Здесь находился штаб дивизии, интендантство и взвод орудий на механической тяге.

В то утро, когда мы туда прибыли, один тамошний, прозябавший в бездействии солдат сказал нам:

— Ну и скучища же здесь, подохнуть можно… И никакого дела. У вас хоть время чем-то заполнено.

Правильно, время у нас было заполнено: строевые учения, двадцатипятикилометровые переходы с полной боевой выкладкой. Как только нас оставляли в покое, мы пробирались в парк при замке, в старый запущенный парк, где трава жадно завладевала дорожками. Там я провел много блаженных часов, наслаждаясь отдыхом. Один денек выдался особенно хороший.

Мы лежали в тени липы, на которой распускалась листва, такая легкая и нежная, что казалось, будто это зеленая воздушная пыль. Совсем близко от нас был фруктовый сад, мы видели вишневые деревья в белом пуху.

Всем своим существом мы ощущали счастье: под руками мягкая молодая трава, глаза радует

яркое солнце, слух баюкает тишина, и мы вдыхали и жадными глотками пили аромат левкоев, напоминавших бабочек на траве, фиалок, притаившихся в тени зеленого, заросшего ряской пруда. Это был один из тех чудесных дней, когда сердце кажется слишком тесным и не может вместить то мирное счастье, которое впиваешь всем телом. Ни разговоров, ни мыслей, рассеянно слушаешь лай собаки во дворе отдаленной фермы, скрип колес на дороге, незатейливую песенку кукушки…

— Ишь ты, кукушка-потаскушка, опять за свое принялась… — сказал Лусто.

Мы дремали на траве, а Лусто бродил по парку, искал под деревьями сморчки. Затем он придумал новую забаву и, растянувшись с двумя товарищами на берегу пруда, удил карасиков, нацепив на нитку согнутую в крючок булавку с червяком.

Они уже поймали трех рыбок, и те трепетали на дне солдатской сумки; теперь Лусто нацеливался на карпа, который, казалось, дремал в воде. Лусто осторожно приближал к нему удочку, соблазняя приманкой.

— Вы тут зачем? — неожиданно раздался за их спиной чей-то голос.

Генерал!.. Мы все разом вскочили и стали навытяжку, руки по швам.

Мы молчали.

— Вы прекрасно знаете, что вход сюда запрещен, это мой парк, — сказал генерал усталым старческим голосом. — Кто вам разрешил…

Внезапно он умолк: он увидел сверкнувший на дне сумки трепещущий рыбий хвостик.

— О-ох! — вздохнул он. — Рыбки, бедные мои рыбки…

Он подошел ближе, с трудом нагнулся и вытащил из сумки трех рыбешек, две уже не шевелились. Лусто скорчил гримасу.

— Бедные рыбки, — жалобно причитал генерал. — Зачем вы их мучаете?.. Я не хочу, чтобы их мучили, не хочу, чтобы мучили моих карасиков… Сейчас же бросьте обратно в воду…

Сопровождавший его лейтенант услужливо поспешил подобрать рыбок.

— Не стоит, — некстати заметил Лусто, — две уже не трепыхаются.

— Все равно, — рассердился генерал, стуча тростью, — в воде они оправятся бедные мои карасики…

Третья, еще бившаяся рыбка выскользнула из рук лейтенанта. Упав в траву, она чуть шевели-

лась, и, не знаю почему, я подумал о Рубьоне, оставшемся в весеннем лесу и слабо шевелившем уже немеющей рукой…

— Видите, спасается, спасается, бедная рыбка, — сказал генерал, нагнувшись над зеленоватой водой и следя за карасиком, мелькавшим среди водорослей. — Разве можно мучить таких маленьких рыбок?..

Обернувшись, он увидел наши нашивки.

— Ах да, — сказал он, покачав головой, — это вы выбили немцев из подкопа… Жаль, что не выбили их совсем… Но и то хорошо. Так вот, на этот раз я ни с кого не взыщу… Ступайте и не смейте больше сюда ходить…

Открывая скрипнувшую калитку, Лусто сказал:

— А старикан-то наш, выходит, добряк…

БЛЕЗ САНДРАР
(1887–1961)

Жизнь и творчество Сандрара так неразрывно связаны между собой, что каждую из его книг можно считать одной из вех его биографии. А биография эта была поистине удивительной. Сандрар родился в семье швейцарского коммерсанта, беспрестанно разъезжавшего по всей Европе. Еще ребенком он побывал в Англии, Франции, Италии, Северной Африке, а в пятнадцать лет бежал из дому, прихватив в дорогу лишь томик Вийона. Исколесил Россию, Кавказ, Среднюю Азию, Индию, Китай. Во время короткой остановки в Париже успел перезнакомиться с Аполлинером, Пикассо, Леже, Стравинским и издать первый сборник стихов — «Новгородская легенда» (1909), навеянный пребыванием в России. К русской теме Сандрар возвращался неоднократно: событиям революции 1905 года посвящена его поэма «Проза транссибирского экспресса и маленькой Жанны Французской» (1913) и роман «Мораважин» (1926).

Покинув Париж, Сандрар пустился в новые странствования: выступал в роли жонглера в

лондонском мюзик-холле, батрачил в США и Канаде, служил в Прибалтике. Во время первой мировой войны потерял руку, но не утратил ни крупицы своей неуемной энергии. Обучился вождению автомобиля. Охотился на слонов в Судане. Прошел пешком тысячи километров по бразильской сельве. А в 1939 году записался в английскую армию в качестве военного корреспондента.

Наряду с Аполлинером Сандрар был крупнейшим реформатором французской поэзии XX века. Убежденный в том, что она должна избавиться от тяготевших над ней традиционных форм, он смело пользуется жаргоном городского дна, языком афиш и газет, приемами «кадрировки», заимствованными у кинематографа, ритмами, подсказанными джазом, стремясь слить весь этот разнородный материал в некое подобие современного лирического эпоса.

С середины 20-х годов Сандрар перестает писать стихи, но и проза его пронизана чувственной и колоритной поэзией. Она присутствует и в тех книгах, которые описывают его собственные приключения («Жизнь, полная риска», 1938; «Человек, пораженный молнией», 1945; «Наперекор всем ветрам», 1948), и в тех, где он дает волю своей фантазии («Негритянские сказочки для

белых детей», 1928; «Исповедь Дэна Йэка», 1929) и в тех, где речь идет о необычайных людях, с которыми столкнула его судьба («Золото», 1925; «Ром», 1930).

Сандрар также и автор теоретических работ о кино («Азбука киноискусства», 1926), и составитель антологии негритянской поэзии (1921).

Blaise Cendrars: «Les petits contes negres pour les enfants blancs» («Негритянские сказочки для белых детей»), 1928.

Новелла «Дурной судья» («Le mauvais juge») входит в указанный сборник.

Ю. Стефанов

Дурной судья

Перевод Е. Гунста

Однажды, рассказывают, произошло вот что. Мышь прогрызла платья, лежавшие у портного. Портной отправился к судье, каковым в ту пору был вечно сонный павиан. Портной разбудил его и стал так ему жаловаться:

— Открой глаза, павиан! Смотри, я не зря разбудил тебя: тут всюду дыры. Мышь изгрызла

одежду, но говорит, будто это неправда, и винит кота. А кот лукаво уверяет, что невиновен, и валит вину на пса. Пес от всего отнекивается, утверждая, что платье продырявила палка. Палка перекладывает вину на огонь и стоит на своем: «Это огонь, огонь набедокурил, огонь!» А огонь и слышать ничего не хочет, все только твердит: «Нет, нет, нет, я тут ни при чем; это вода виновата». Вода прикидывается, будто знать ничего не знает, однако намекает, что виновник происшествия — слон. Слон приходит в ярость и сваливает все на муравья. Муравей багровеет, носится повсюду, болтает всякий вздор, всех будоражит, и тут все начинают спорить и так орут, что я не в силах разобраться, кто, кто же в конце концов попортил одежду. У меня только зря отнимают время, заставляют меня ходить туда-сюда, бегать, хлопотать, дожидаться, выяснять, а потом гонят меня, так ничего и не заплатив. Открой же глаза, павиан, и посмотри! Вся одежда в дырах. Что теперь со мною станется? Я вконец разорен, — сокрушался портной.

Но терять-то портному, по совести говоря, было нечего, ибо он был очень беден и дома его ждала высокая тощая жена да куча детишек — мальчиков и девочек, а у дверей постоянно торчала не

бабушка его, нет, и не теща, и не чужая старуха, а та, что и в самом деле принадлежала к его семье; то была дряхлая колдунья, завладевшая и им самим, и его близкими, и она очень мучила их; изо рта у нее торчали длинные зубы, а спинным хребтом служил ей острый нож, и имя ей было — Нужда. Нужда жила у самого его порога, и чем больше портной работал, тем больше Нужда обирала его; она бессовестно залезала в его лачугу, опоражнивала там горшки и кастрюли, била ребятишек, грызлась с его женой, препиралась с ним самим, так что бедняга совсем терял голову. И вот, вдобавок ко всем бедам, мышь изгрызла платья его заказчиков, и остались от них одни только дыры!

Право же, портной был бедный человек и теперь дошел до полного отчаяния. Потому-то он и отправился к судье, каковым в то время был вечно сонный павиан, потому-то и разбудил его.

— Открой же глаза, павиан, и взгляни: повсюду дыры!

Павиан держался прямо. Он был толстый и жирный и весь лоснился от довольства. Слушая портного, он поглаживал себя по шерсти. Ему неодолимо хотелось спать. Пересилив себя, он созвал всех замешанных в деле. Ему не терпелось

покончить с ним, чтобы опять уснуть.

Мышь стала винить кота, кот — валить вину на пса, пес — лаять на палку, палка — наседать на огонь, огонь — обвинять воду, вода — уличать слона, взбешенный слон — сваливать вину на муравья (тот тоже явился), а муравей-злоязычник, побагровев от злости, еще подливал масла в огонь. Он суетился, размахивал лапками, разносил сплетни, пересуды, клевету, науськивал одних на других, всех оговаривал, не забывая при этом, разумеется, всячески выгораживать себя.

Поднялась невообразимая кутерьма. Все вопили зараз, муравей бушевал, и получилась такая неразбериха, что у павиана голова пошла кругом. Он уж собрался было выставить всех за дверь, чтобы снова улечься и спокойно соснуть, но портной, закричав громче всех, призвал его к исполнению судейских обязанностей:

— Открой глаза, павиан, и смотри: повсюду одни только дыры!

Павиан был крайне раздосадован. Как ему поступить? И до чего же запутанное оказалось дело! Вдобавок его так клонило ко сну! Так неодолимо хотелось опять уснуть! Эти господа вполне могли бы оставить его в покое и сами разобраться в распре. Он держался прямо. Он был толстый и

жирный и весь лоснился от довольства. Окидывая собравшихся взглядом, он поглаживал себя по шерсти. Он помышлял лишь о том, как бы опять соснуть.

Поэтому он объявил:

— Я, павиан, верховный судья всех животных и людей, повелеваю: расправляйтесь друг с другом сами!

Кот, хватай мышь!

Пес, хватай кота!

Палка, лупи пса!

Огонь, сжигай палку!

Вода, гаси огонь!

Слон, пей воду!

Муравей, кусай слона!

Ступайте вон! Вот и все.

Животные удалились, и павиан вернулся на свое ложе. И с тех пор животные не выносят друг друга.

Муравей кусает слона.

Слон пьет воду.

Вода гасит огонь.

Огонь сжигает палку.

Палка лупит пса.

Пес хватает кота.

Кот съедает мышь.

И т. д.

Ну, а портной-то, скажете вы, портной? Кто же заплатил портному за изгрызенное платье?

В самом деле, что же с портным-то?

Так вот: павиан просто-напросто забыл о нем. Поэтому человек по-прежнему голодает.

Сколько бы он ни работал, павиан все спит.

Человек по-прежнему ждет справедливости.

Он по-прежнему голодает.

Однако стоит только павиану выйти из дому, и он сразу же принимается бегать на четвереньках, чтобы человек не узнал его. Вот почему с тех пор павиан всегда бегает, и не иначе как на четвереньках.

Не сумев вынести разумный приговор, он лишился способности ходить на двух ногах, на двух ногах прямо.

ПЬЕР ЖАН ЖУВ
(Род. в 1887 г.)

Творческий путь Жува сложен и противоречив. В его первом поэтическом сборнике (1910 г.) звучат отголоски позднего символизма, а следующие книги стихов отмечены влиянием унанимизма. Творчество Жува в годы первой мировой войны — поначалу он работал в госпитале, но, заболев, уехал в Швейцарию, где сблизился с Ролланом, — полно пацифистских мотивов («Поэмы против великого преступления», 1916; «Пляска смерти», 1917). Позднее, решив, что эти книги были всего лишь неуверенными подступами к мучившим его темам, он отрекся от них.

Переломным для Жува был 1924 год, когда он, в поисках выхода из духовного кризиса, обращается к психоанализу Фрейда и католицизму. Отныне в его произведениях парадоксальным образом сочетаются методы поэта, мистика и клинициста. Его романы («Паолина 1880», 1925; «Пустынный мир», 1927; «Геката», 1928) и стихи («Таинственные бракосочетания», 1924; «Потерянный рай», 1929; «Небесная материя»,

1937), созданные между двумя войнами, отражают попытку «сошествия во ад» человеческого подсознания. Предисловие к сборнику «Кровавый пот» (1933), озаглавленное «Подсознательное, духовное и катастрофа», подводит итоги этого этапа творчества Жува и намечает координаты, определяющие его последующую эволюцию. Мистические мотивы, наслоившиеся на предчувствие чудовищной катастрофы, грозящей человечеству, пронизывают последний предвоенный сборник Жува «Господи, помилуй» (1938).

В годы войны Жув, эмигрировавший в Женеву, становится одним из духовных вождей французского Сопротивления. Подобно таким католическим писателям, как Мориак, Клодель, Бернанос, он встает на защиту культурных ценностей, накопленных тысячелетиями, от фашистского варварства. Библейская страстность, напряженный гражданский пафос звучат в его книге стихов «Парижская богоматерь» (1944) и сборнике эссе «Защита и прославление» (1943).

Поэтическое творчество Жува послевоенных лет («Гимн», 1947; «Диадема», 1949; «Язык», 1952; «Лирическое», 1956) остается свидетельством его концепции трагического разлада между высоким предназначением человека и глубиной

падения, на которое он обречен самим фактом своего существования.

Pierre Jean Jouve: «Hotel-Dieu. Recits de l'hopital» («Отель-Дье. Больничные рассказы»), 1919.

Рассказ «Смерть Бейера» («La mort de Beyer») входит в указанный сборник.

Ю. Стефанов

Смерть Бейера

Перевод М. Вахтеровой

Бейера привезли в полдень. В тифозном бараке, где еще пустовало четыре койки, было тихо, больные дремали.

В дверях появился высокий сутулый немец в солдатских сапогах, в сером мундире, широко распахнутом, с оторванными пуговицами. Комкая в руке красную фуражку, он осторожно затворил за собою двери и остановился на пороге.

У него была большая, лысеющая голова в венчике кудрявых волос, длинный нос с горбинкой, угрюмый печальный взгляд. Он нес за спиной одеяло, и даже одеяло, как видно, было для него

непосильной тяжестью. Он еще стоял прямо, но, казалось, не в силах был двинуться с места.

— Экий здоровенный бош! — сердито пробурчал Моро, дежурный санитар, встретив вошедшего угрюмым взглядом.

Утомленные после утреннего осмотра больные дремали на своих железных кроватях. Лишь двое-трое из всей палаты лениво приоткрыли глаза. Санитару Моро, который сидел на тюфяке в ногах Вильнева, не с кем было позубоскалить над новичком.

— Не стой на сквозняке, простудишься.

И Моро указал немцу на одну из пустых коек слева, у крайнего окна, где было потемнее из-за навеса крыши.

Бейер повернул туда, с трудом волоча ноги. Казалось, будто его сапоги вязнут в топкой глине на пашне или в окопе. Моро следил за ним краешком глаза, тайком затягиваясь запретной папироской — нечего стесняться немца.

Бейер подошел к кровати и расстелил одеяло. Затем тяжело рухнул на матрас, так что пружины зазвенели. Обливаясь потом, обессилев, он начал стягивать сапоги.

— Тяжело бедняге, что и говорить! — со злорадством сказал Моро.

Вильнев, вспыльчивый южанин с черной лохматой шевелюрой, скосив на немца свирепые узенькие глазки, взорвался:

— Подумаешь, бедняга! Разлегся тут рядом с нами, нахал! Уж я-то на них нагляделся, на этих сволочей!

Он пришел в ярость и даже стал заикаться от волнения. В который раз он принялся рассказывать о битве на Марне — шесть дней в укрытии за деревом или за насыпью, под градом шрапнели, — веришь ли, старина? Мы стреляли их, как зайцев! Но Моро давно осточертела эта история о битве на Марне. И, зевая, руки в карманах, он отошел на середину палаты.

Бейер выбивался из сил. Он никак не мог стащить сапоги. При каждой новой попытке голенище выскальзывало у него из рук, и он, весь в поту, поникал головой на грудь. Моро наблюдал за ним с благодушным видом; его симпатии явно были на стороне сапог, которые не слушались хозяина.

Наконец сапоги упали на пол. Бейер трясущимися руками снял мундир, стянул тяжелые серые брюки, подштанники и с трудом, в два приема, улегся на койку, до того он ослаб.

Кровать была слишком коротка для его роста.

Он кое-как устроился полусидя, скрестив руки на груди, с тоскою вглядываясь куда-то в даль и стуча зубами от озноба.

Моро стал объяснять, чем воняет от немцев.

— У них не такой запах, как у нас с тобой, старина. От них разит, как от хищников в зверинце.

Взрывы смеха прокатились по рядам коек, палата проснулась. Все повернули головы в сторону немца. Только Вильневу было не до смеха. Вильнев жадно, не отрываясь, следил за бошем своими черными глазками, точно дикий зверь, подстерегающий добычу.

После обеда, лежа пластом, бледный от негодования, Вильнев разбушевался. Ярость его все возрастала, и даже соседи по койке заразились его гневом.

— Что это за госпиталь, где тебя кладут рядом с бошем! Это же просто позор!..

— Не для того мы стреляли в них там, на фронте, чтобы их привозили сюда на поправку…

— Я не побоюсь, я скажу это главному врачу прямо в лицо! — кричал Вильнев.

С самого полудня Бейер не шелохнулся. Он не стонал, не разжимал толстых пересохших губ, он не выпил ни капли молока. На стене над его койкой еще не повесили листка с температурой,

а его солдатская одежда грудой лежала на полу. Серая с красным немецкая форма невольно притягивала все взоры.

Моро смотрел на постель немца и на него самого так же брезгливо, как смотрят на кучу дерьма, на помойное ведро или на дохлую крысу в коридоре казармы.

В пять часов в барак вошли врачи для повторного обхода. Главный врач осмотрел немца, когда подошла его очередь. Бейер спал. Главный задал два-три вопроса и велел немедленно измерить больному температуру. Моро услужливо бросился к Бейеру и растормошил его.

Бейер обвел всех печальными, полными слез глазами; нижняя губа у него дрожала. Щуплый эльзасец-переводчик с хитрой мордочкой нагнулся над ним, и немец услышал свой родной язык. Он закивал головой. Переводчик что-то быстро лопотал, Бейер отвечал с трудом, заканчивая каждую фразу односложным: «Ja, ja»[30].

— Он говорит, что хворает уже давно, — вздохнул переводчик, потупив глаза и усмехаясь тонкими губами.

Главный врач распорядился:

---

[30] Примечания: 30
Да, да *(нем.)*.

— Повесьте листок с температурой, одежду отправьте на дезинфекцию. Все ли у него есть, что нужно?

Стоя между койками Бейера и его соседа, главный вопросительно смотрел на санитара. Моро угодливо кланялся.

— …Слушаюсь, господин главный врач.

— Какая температура? — спросил доктор немного погодя, с другого конца палаты.

— Тридцать девять и восемь.

Главный вернулся к койке Бейера, чтобы самому записать температуру. Потом он выслушал немца и отметил что-то карандашом на листке. Моро смотрел теперь на Бейера с участием, а Вильнев, лежа напротив, удивленно переводил глаза с одного на другого.

Главный врач, проходя мимо его койки, задал ему обычный вопрос:

— Ну как, Вильнев, все в порядке?

Вильнев блеснул глазами, широко улыбнулся и ответил со всей доступной ему горячностью:

— В порядке!

Бейеру не становилось ни лучше, ни хуже. Бейер был безнадежен. Тиф осложнился воспалением легких; кроме того, сердце все слабело.

Бейер сидел на кровати, слишком короткой для

его роста. После приступов кашля он вытирал осунувшееся лицо, на котором с каждым днем все резче выступали скулы.

— Дохлятина, а туда же, кашляет! — злился Вильнев. Но бормотал это, уткнувшись в подушку.

Бейер совсем извелся от кашля. Иногда, особенно по ночам, он натягивал на голову простыню и затыкал себе рот, чтобы не мешать соседям. Днем он часами смотрел куда-то перед собой, но, должно быть, ничего не видел.

— Сколько я их перестрелял, этих гадов! — в сотый раз бубнил Вильнев, указывая на немца. Но так же как Бейер никого уже не видел, так никто уже не слушал Вильнева.

Моро все чаще подходил к кровати Бейера. Он заглядывал в его чашку, проверяя, пуста ли она.

— Надо попить молока, — внушал он больному.

Глаза Бейера говорили: ja, и он отпивал глоток.

Прошла неделя; всем было ясно, что Бейер при смерти. На утреннем обходе главный врач задерживался у его койки по четверти часа. Он выстукивал, щупал пульс, опять выслушивал больного при напряженном молчании всей палаты. Моро застывал на месте, прерывисто дыша.

После обеда все начиналось сызнова. В промежутке между осмотрами вокруг Бейера хлопотали санитары, сиделка и практикант. Ему ставили банки на исхудалую грудь, впрыскивали кофеин и камфару. Ему накладывали влажные компрессы и перевязывали пролежни на ягодицах. Бейер никогда не жаловался. Бейер вставал, ложился, поворачивался по первому знаку, покорно обнажая свое жалкое тело. Он провожал каждого благодарным взглядом.

Стало известно, что он родом из Познани, в Восточной Германии, у самой границы. А умирал он здесь, во французской провинции, где с океана дуют западные ветры.

Бейер уже казался отрешенным, погруженным в созерцание, как бы на пороге вечности.

На десятый день его болезни в бараке началась генеральная уборка. Железные кровати были сдвинуты на середину, по дощатому полу струились потоки воды. Койку Бейера передвинули с величайшей осторожностью.

Бейеру было совсем худо. Он лежал среди других больных, почти бок о бок с Вильневом.

Вильнев продолжал возмущаться, но он уже не сердился на Бейера. Он изрыгал проклятия против войны, против порядков в госпитале, осо-

бенно же против болезни. И часто оглядывался на немца сквозь зеленые прутья кровати.

Вдруг кто-то заметил, что Бейер плачет. Крупные слезы стекали у него по щекам. Он казался еще более несчастным, еще более растерянным, чем всегда. Из-за боли в легком он часто, прерывисто дышал.

Вильневу захотелось узнать, что с ним такое. Все вокруг смотрели, как плачет немец. Переводчик объяснил:

— Он только вчера получил известие, что летом в Познани умерла его мать.

Больные не отрывали глаз от Бейера, хотя он больше не плакал. Моро, который драил полы, насвистывая сквозь зубы похабную песенку, сразу притих. Он уставился на немца с особенным выражением, как добрый преданный пес, губы у него дрожали; потом встряхнулся, пожал плечами и сердито выплеснул на пол полное ведро воды.

С этого часа состояние Бейера стало неуклонно и резко ухудшаться, будто он вступил на свой последний путь. Бейер ни на минуту не мог забыться сном. Лежа на боку, чтобы легче было дышать, он тихонько стонал, жалобно, как ребенок. Никто из тридцати больных в палате не

сердился на немца, хотя он скулил все громче. Все понимали, что Бейер просто не может удержаться. Ведь каждый видел, как мужественно он прежде переносил свои страдания.

— Экое несчастье все-таки! Подыхать в плену, в чужой стране, совсем одному, за тысячу верст от дома, да еще узнать напоследок, что мать уж полгода как померла.

Это говорил Вильнев. А его сосед добавил:

— Его, верно, мучает мысль, что станется с его женой. Погляди-ка на него: теперь уж ничего не поделаешь, так и помрет с этим камнем на душе.

Моро сбивался с ног. Моро бегал за лекарством, за санитаром, за подкладным судном. Он приподнимал Бейера обеими руками, пока сиделка оправляла постель. Он то и дело подзывал переводчика: «Спроси-ка его то-то и то-то, на всякий случай». Бейер отвечал, когда был в силах перевести дух, но это бывало редко. Тогда Моро присаживался на край тюфяка и подолгу глядел на Бейера.

Теперь уже все больные в тифозном бараке побратски относились к немцу. Он-то чем виноват, горемыка, ведь он не хотел войны. А они сами, разве они ее хотели? Моро сваливал всю вину на «проклятого Вильгельма», но все понимали,

что дело не в нем. Причины страшного бедствия были гораздо глубже. И больные, в лихорадочном поту, беспокойно ворочались на своих койках.

Главный врач приказал перевести Бейера в темный угол и загородить ширмой на время агонии. Больные больше не видели Бейера. Но они не переставали думать о нем, и ширма не служила им преградой.

Ничто так не волновало палату, как состояние несчастного немца. О нем справлялись чуть ли не каждую минуту.

Бейер, умиравший за ширмой, будто тихо и плавно скользил вниз по склону. Но путь этот, вероятно, был мучительно труден для души Бейера, если судить по его набухшим от слез, полным тоски глазам, которые изредка открывались. Моро смотрел на него со страхом, заложив руки за пояс.

В семь часов вечера наступил конец; изо рта и из обеих ноздрей умирающего потоком хлынула кровь, заливая лицо липкой массой. Как раз в эту минуту молоденькая сиделка на цыпочках подошла взглянуть, как чувствует себя немец.

— О, господи! — вскрикнула она.

Все поняли сразу. Вильнев громко спросил, вскочив с кровати:

— Умер?
И снова улегся. Лицо его помрачнело.

ЖОРЖ БЕРНАНОС
(1888–1948)

Мощь, непримиримость до страсти, убежденность до исступления — вот черты, более всего присущие личности Жоржа Бернаноса, одного из крупнейших французских литераторов XX столетия.

Он поздно сформировался как художник. Свой первый роман («Под солнцем Сатаны») Бернанос опубликовал, когда ему уже было тридцать восемь лет. Принеся автору известность, книга эта не избавила его от материальной необеспеченности. Последние пятнадцать лет жизни он провел в скитаниях: Майорка (Балеарские острова), Бразилия, Тунис — вот места, где пришлось побывать Бернаносу и где он создавал свои романы: «Преступление» (1935), «Дурной сон» (опубликован в 1950 г.), «Дневник деревенского священника» (1936), «Новая история Мушетты» (1937), «Господин Уин» (1943).

Идейные позиции Бернаноса сложны, и на первый взгляд непоследовательны: выступая против Республики с позиций монархизма, он в то же

время способен обрушиться на монархическую организацию «Аксьон франсэз»; истовый католик, он не раз подвергается осуждению со стороны официальной церкви; поклонник националиста Шарля Морраса, он, однако, осуждает национализм франкистов. Он поддерживает французское Сопротивление в тот момент, когда «Аксьон франсэз» выступает за политику коллаборационизма.

Но неустойчивость мировоззрения Бернаноса — мнимая: он был непоколебимо верен не монархизму и не католической религии, а своему идеалу справедливости, любви и самопожертвования. Этот идеал воплощался для него в определенной политической и религиозной концепции, ибо лишь она, как он полагал, способна противостоять деградации буржуазного мира. Именно благодаря значительности своего идеала и вопреки объективной консервативности той идейной системы, с которой он этот идеал пытался связать, Бернанос сумел стать страстным обличителем лицемерия, конформизма и своекорыстия буржуазии.

Бернанос-художник знает персонажей двух типов — тех, что живут в атмосфере бездуховности и «скуки», и тех, что движимы идеалом

любви и сострадания — «святых». Это соответствует мысли Бернаноса о существовании в мире двух противоборствующих начал — Добра и Зла. По Бернаносу, человек становится на путь зла не в результате нравственной слабости или заблуждения: для него Зло — самостоятельная сущность, обладающая неотвратимой притягательностью. Зло способно принимать самые разнообразные формы. Оно — и в нелепом тщеславии современных аристократов, и в пустопорожней болтовне либералов, и в тупой ограниченности обывателя, и в забитости крестьянина. Однако осознание «скуки» жизни приносит персонажам Бернаноса не освобождение, а лишь острейшее чувство страха и одиночества. Стремление же преодолеть «скуку», вступая на путь «греха» или индивидуалистического самоутверждения, способно только усугубить отчаяние, доводя его до критической точки — самоубийства.

Но в мире Бернаноса есть и Добро. Оно для него не некое рационально сконструированное понятие, а то естественное чувство бескорыстного доверия к людям, которое более всего присуще детям. «Святыми» положительные герои Бернаноса оказываются вовсе не потому, что, не зная сомнений и страданий, они ведут праведный

образ жизни, а потому, что сумели сохранить в своей душе одно драгоценное человеческое качество — «детскость». В практической жизни они беспомощны и неумелы. Они не отличаются ни талантами, ни умом, ни познаниями. Их сила — в неистребимой любви к людям, ради которых они готовы собственным страданием искупить чужой грех и чужое преступление.

Бернанос, однако, ясно видел, что искупительные жертвы, его героев не способны освободить мир от власти Зла. И потому его книги насквозь пронизаны ощущением трагизма. Оно порождено болью писателя за страдающего человека.

Georges Bernanos: «Dialogue d'ombres» («Диалог теней»), 1955.

Публикуемый рассказ входит в одноименный сборник.

Г. Косиков

Диалог теней

Перевод Л. Зониной

— Не бойтесь, — сказала она. — Ранса вышла из берегов от самого Вернея, дорога, пожалуй,

на целый фут под водой… Взгляните: волна уже устремилась к истоку. Минут через пять ее уже не будет слышно.

Она смотрела ему в глаза с каким-то спокойным любопытством.

— В любом другом месте нас могли бы застать врасплох, Жак, Здесь — нет. Я все продумала.

Неуловимая, чуть лукавая улыбка скользнула, как тень, по ее лицу.

— Вас это удивляет?

— Чему мне удивляться, дорогая?

— Не лгите, Жак, — сказала она. — Лучше бы я была не так осмотрительна, не так осторожна. Я и сама чувствую: когда женщина любима, есть какая-то прелесть в том, что она превращается в ребенка — по-детски капризна, по-детски безрассудна и наивна тоже по-детски, наивна во всем! Но не каждый способен терять голову.

— Я вас люблю именно такой, — сказал он. — Люблю вашу морщинку, эту почти незаметную складку между бровями, в двадцать три года рассекшую ваш прекрасный лоб. В моем возрасте уже не веришь ни капризам, ни безрассудству, а когда женщина теряет голову, это, знаете ли, очень часто самообман, всего лишь комедия, разыгрываемая для себя, если нет уверенности в

силе собственного чувства. Какое это все может иметь значение, раз вы не сомневаетесь ни в себе, ни во мне.

— И правда, какое? — промолвила она, отводя взор к горизонту, намокшему от дождя.

— Франсуаза, — продолжал он, помолчав, — простите меня, не о том мы говорим. Я верю в вас, как никогда и ни в кого не верил. Я вам верю. Верю даже больше, чем люблю, мне это необходимо, это потребность самого моего существа, такая же сильная, такая же естественная, как инстинкт самосохранения. Я завишу от вас, я в зависимом положении. Либо моя жизнь вовсе ничего не значит, либо смысл ее — в вас. Если предположить, что душа существует и что мне она была дана, то, потеряв вас, я обречен понапрасну влачить ее сквозь пустые годы.

— Кто знает? — только и сказала она рассудительным тоном. — Кто может заранее знать?

— Я это узнаю.

— Я тоже, я тоже завишу от вас! — внезапно воскликнула она с таким исступленным трепетом радости, что это больше походило на вспышку гнева. — Я завишу от вас полностью. Да, Жак, вы надеетесь на что-то, чего никогда не получите, — ни от меня, ни от другой, — и все же вы

надеетесь. А я ни на что не надеюсь. О, не глядите на меня так, не спешите меня жалеть. Можно прожить и без надежды, если у сердца достанет сил и проворства поймать свое счастье как бы на лету и напитаться им разом. Дорогой, все мое счастье вот в этом мгновении, когда вы так нуждаетесь во мне. Я бедная девушка, неопытная, упрямая, одинокая, я не умею выразить то, что чувствую, из меня вам не вытянуть ни единой жалобы, ни единого вздоха, ничего, что вы могли бы услышать и повторить в ваших книгах, ни единой жалобы, ни единого вздоха, если бы вам даже пришлось покончить со мной.

— Покончить с вами, Франсуаза? И это говорите вы, такая осторожная, такая благоразумная?

— Я вовсе не такая, как вы думаете. (Порыв ветра сквозь лесную поросль, еще по-апрельски прозрачную, плеснул ей дождем в лицо, и она нервно провела по щекам маленькой бледной рукой.) Не щадите меня. Никогда не щадите. Да, я была осторожна и благоразумна, но только ради того, чтобы подготовить, сделать неизбежным, неотвратимым грядущий день, когда я отдамся безоглядно, всем своим существом, с такой полнотой, какая и не снилась ни одной из тех, кто вас любил. Я знаю, что гублю себя, дорогой. Но

тем самым я погублю и их всех. Да, я гублю себя, потому что сегодня вечером, в эту минуту, даю обещание, которое нельзя сдержать. Да, когда-нибудь вы еще упрекнете меня за мою жертву, потому что она заведомо бессмысленна. Могу ли я поверить, что я именно та единственная женщина, которая способна вам нравиться, способна привязать вас к себе? Какое безумье! Но будь это даже и так, разве у меня есть надежда вернуть вам то, что принадлежало мне, на что имела право я и что вы отдали другим, растратили, расшвыряли, разбазарили — вашу молодость, вашу бесценную молодость, к которой я ревную! Господи, Жак, смотрите на меня. Я хочу хотя бы видеть ваши глаза! Вы меня любите, все хорошо, все прекрасно, все свято, во всем есть смысл, — да, во всем! Я наговорила глупостей, в этом вздоре правда только одно: губя себя, я — последняя — гублю вместе с собой всех соперниц, сегодня я их устраняю навсегда.

— Любовь моя, — сказал он тихо, — что за странное удовольствие находите вы в том, чтобы унижать себя?

Она остановила на нем долгий, пристальный взгляд, ее восхитительные серые глаза постепенно темнели, словно глубокая вода.

— Не знаю, — ответила она. — Во мне была гордыня. С той поры как я полюбила вас, я чувствую, что только ею не могу поступиться перед вами до конца. А я хотела бы исторгнуть ее из себя. Я хотела, чтобы вы исторгли ее из моего сердца.

Как ни резко она отвернула лицо, он заметил брызнувшие слезы и услышал сквозь ветер и ненастье, трагичней всяких рыданий, ее вздох, подобный стону раненого животного.

— Моя дорогая!.. — только и сказал он. И на мгновение безмолвно коснулся пальцами маленького сжатого кулака.

Дождь по-прежнему струился вокруг них, почти не проникая сквозь черные лапы сосен. В воздухе на разные голоса завывала непогода, важно перекликались вороны.

— Я молчу, — вновь заговорил он, — благоволите разрешить мне молчать. Ничто не может быть исторгнуто из такого сердца, как ваше. Но я умиротворю его, клянусь, я дам ему покой. Доверьтесь мне.

— Покой, — прошептала она сквозь зубы. — О Жак, не говорите мне о покое. Он мне слишком знаком. Видите там, за нами, этот уродливый дом, лужайки, глину аллей, безлюдные холмы, этот горизонт, необозримый и пустой, этот унылый,

отвратительный пейзаж... Завтра я со всем этим расстанусь.

— Даже сегодня, если хотите... Будь я на двадцать лет моложе (бог не пожелал этого!), у меня достало бы безумья доказывать вам, что это не было покоем, что вы называли покоем безмолвный бунт несчастной подавленной души. Но к чему доказывать? Доказать ничего нельзя. Любовь не утешает, друг мой, она бессильна дать утешение; не требуйте от нее ничего, кроме беспредельного блага, ибо она не знает ни правил, ни меры, она как вы. И не надо метаться. Не надо терзать себя. Если она даст вам хоть что-нибудь — она даст вам то, чего вы ждете, — все. Это зависит от нас. Успокойтесь, дорогая. На свете нет ничего сильнее и строже последней любви мужчины.

— Да! — сказала она, тряхнув головой и улыбнувшись совсем еще по-детски. — Сильнее и строже, это так! Мне не будет пощады.

Она взяла его за руку нежным неуверенным жестом, все так же робко.

— Право, Жак, не надо на меня сердиться. Надо понять. Подумайте только, я прожила на чужбине, в заброшенной деревушке пятнадцать лет! Пятнадцать лет одна или почти одна (вы видели во вторник у мадам д'Удло этих нелепых

дворянчиков, этих титулованных мужланов), мне противно жаловаться. Мне противна всякая жалость, за исключением вашей. Не скажу, что я была несчастна. Я ждала. Чего? Кто знает?

— Вы, Франсуаза, религиозная душа.

— Нет! Нет! — воскликнула она в каком-то диком исступлении. — Мне чужда идея бога, и я в ней не нуждаюсь. Если я когда-нибудь и обрету ее, то только среди таких ужасных лишений, в глубинах такого безысходного отчаяния, что страшно даже подумать, и, мне кажется, я приму ее с ненавистью. Единственное, чем осчастливил меня отец, это безмятежное неверие, не знающее уловок и сомнений, такое же, как и у него самого.

— Безмятежное! Это слово в ваших устах, дорогая!..

— Почему же? Именно так! Вы меня выдумали, а я отнюдь не романтическая девица, не героиня ваших романов. Ваши романы! Я теперь не могу их читать. Любовь моя, мне слишком больно на каждой странице сталкиваться с вами — таким тонким, таким ласковым к кому-то, кого я не знаю. Господи! Хватит с меня и той вашей лжи, которая ждет меня в будущем! Но знаете, чем я горжусь? Своей уверенностью — и ничто ее не

поколеблет, — уверенностью в том, что, как бы ни сложилась наша любовь, будем ли мы счастливы или несчастливы, что бы там ни случилось, вам не перенести нашу любовь в книгу, никогда!

— Потому что?..

Она рассмеялась и легонько подтолкнула его к стволу сосны.

— Прежде всего, спрячьтесь, вы испортите свою роскошную шляпу. Вы боитесь небесной влаги, как кошка. Гадкий! Вся ваша жизнь прошла, как под этим деревом, — в тени летом, в тепле зимой, — на вас не попало бы ни единой капли чужой грязи — ни единого грязного пятнышка, если бы…

— Я вам запрещаю! — сказал он. — Я вам запрещаю продолжать, ни слова более!

— К чему, раз вы меня отлично поняли? Жак, я вовсе не считаю себя обесчещенной. Если бы я утратила честь, что могла бы я сейчас принести в жертву вам? Ее возьмете вы, любовь моя. Вы вправе будете презирать меня, когда разлюбите, но не за ошибку, совершенную в прошлом, а за то, что, признавшись вам в ней, я приняла прощение из ваших дорогих уст и все-таки отдалась вам, отдалась, несмотря ни на что. Подобного, думаю, не сделала бы ни одна женщина из нашего рода.

Мы, итальянки…

— Итальянки! Какая вы итальянка! Вы едва говорите на языке вашей родины. И что, спрашивается, вам известно о женщинах из вашего рода? Франсуаза, Франсуаза, я не забываю, что вас нужно беречь, что ваша израненная душа ищет ласкового участия, тихой нежности, но как вы осмеливаетесь произнести слово «презрение»? Презирать вас? Да кто я такой, чтобы вас презирать? О, я отношусь к своим книгам так же, как и вы, я не могу их перечитывать без чувства стыда. Добро бы еще они были неискренни! Но между ними и мной есть чудовищное сродство, о котором я и не подозревал, на которое открыли мне глаза вы. Они таят в себе секрет своекорыстного самообмана — самого лукавого, самого низкого. Они позволили мне не страдать от собственной посредственности, не страшиться своих пороков. Хитроумный скептицизм, приятность, своего рода трепет, который разлит в них повсюду и так чарует читателя, — увы, мой друг, мне-то известны скрытые источники всего этого. Так что мы с вами отныне связаны узами куда более прочными, чем чувственность: вы первая женщина, заставившая меня устыдиться себя. Поэтому, дорогая, не говорите мне более о прошлом, о мни-

мой ошибке, о нелепом сопернике, — я к нему даже не ревную. Будь, напротив, благословен этот дурачок, которому вы отдались без любви! Благословенна та ошибка, что провела эту драгоценную морщинку на вашем прекрасном чистом челе, — да и было ли это ошибкой? — заблуждение одного вечера, которое вы обратили в печаль с помощью какой-то божественной алхимии. Господи! Вам не понять… Что бы ни попало в ваше ненасытное, бесстрашное сердечко, все тотчас начинает сиять в нем ровным и мягким светом, какой-то святой печалью. Я свободен, Франсуаза. Завтра мы будем свободны оба. Я женюсь на вас. Я этого хочу.

— Нет, — сказала она. — Если вы требуете от меня этого обета, я не последую за вами. Не в моей власти принять от вас больше, чем я могу дать сама. Конечно, мне следовало молчать, но я рассказала. Я призналась. Это непоправимо. Я в вашей воле, навсегда.

— Вы рассказали из гордыни, Франсуаза.

— Да, вероятно, из гордыни. И потому еще, что невольно бравирую этим, что безрассудна, что люблю вас… И вот теперь я принимаю ваше прощение; смиренно радуюсь ему, счастливая и малодушная. Вы увидите меня, обесчещенную,

в ваших объятиях, на вашей груди, я вся ваша, сдалась вам на милость, душой и телом.

— Ив этом тоже есть гордыня, Франсуаза.

— Не мучьте меня, — взмолилась она. — Не препятствуйте… Ваше прощение тоже ведь не так уж невинно, Жак… Да и откуда вы взяли, что я отдалась без любви? Никто не посмел бы сравнить такого человека, как вы, с жалким деревенским виконтом, к тому же довольно глупым. Но то, что я совершила, хуже, чем если бы я полюбила его, мой дорогой. Хуже, чем если бы я просто упала в его объятия из каприза, из легкомыслия или из прихоти.

— Вы бессильны против меня, дорогая. Зачем только вы понапрасну терзаете себя! Бедная ваша душа, как мне жаль ее!

— Не препятствуйте мне, не препятствуйте! Я верю, что так одолею несчастье и воскресну. К тому же это случилось в весенний вечер, точно такой, как сегодня, с дождем и грязью, с пронзительным западным ветром и этими криками воронья. Зачем только меня, бедную четырехлетнюю девчушку, привезли сюда! Так далеко от родины, or близких, от прошлого моей семьи, точно найденыша, точно рабыню? Там, в Венецианской области, у меня, кажется, еще есть дядя,

двоюродные братья, старые друзья, как знать? Нет такой книги по истории Венецианской республики, где бы не упоминалось чуть ли не на каждой странице наше имя. И, однако, отец ни разу, ни единым словом не дал мне повода нарушить молчание, куда более ужасное, чем сама жизнь на чужбине! Потому что он отрекся от близких. Он считает, что он квит с ними, со мной, со всеми на свете. Он никому ничего не должен.

— Несчастье не одолевают, любовь моя, о нем забывают. Вы не хотите о нем забыть.

— Сегодня меньше, чем когда-либо.

— Раньше я рассуждал бы так же, как вы. Теперь я знаю, что прошлое, счастливое или несчастное, способно все испортить. Оно портит все.

— А я воскресаю, поймите. Жак, любовь моя, вы не понимаете. Все эти истории о гонимых девушках, свирепых отцах и домашней тирании отдают дурным романом, все это глупо. Да, глупо. И вдобавок — не улыбайтесь! — я смешна еще и тем, что я иностранка, знатна, сирота, живу в замке, затерянном в сельской глуши, отдана во власть вельможе, старому ипохондрику, наподобие отца Шатобриана. Но что поделаешь? Разве я выбрала эту обстановку? Я ее ненавижу.

— Не давайте себе труда ненавидеть то, с чем

вы завтра расстанетесь.

— Я ее ненавижу. Ненавижу молча. Никто об этом даже не подозревает. Я страдала здесь без слез, просто, так просто, как могла, и один бог знает, чего мне стоила эта простота! Жак, если бы не появились вы, мне кажется, она постепенно поглотила бы все силы моего сердца.

— Кому бы вы принесли эту жертву? Да, Франсуаза, я прав, когда говорю, что вы религиозная душа. Ничто вас не манит. Ничто не искушает. Вам важно обладать чем-либо прежде, чем вы успели этого пожелать. Да, в желаниях, с которыми, тоскуя, живут и умирают люди, вы никогда не обретете ни покоя, ни отдыха. Но даже для сердца, склонного к любым безумствам, нет ничего более безумного, чем лелеять и упрямо вынашивать чудовищную, вздорную мечту о жертве без любви. Ни один даже самый сумасбродный святой не возложил бы на себя такое бремя. Если есть хотя бы тысячная доля надежды, что бог все-таки существует, этого довольно: не нужно искушать бога.

— И тысячной доли нет. Я искушаю себя, Жак, а не бога.

— Святой ответил бы, разумеется, что это одно и то же. Не стану лгать, Франсуаза: я прекрасно

вижу, сколько ребяческого в вашем вызове, но детская мечта, если она жестока, не бывает жестокой наполовину. Это себя, себя вы ненавидите, дорогая! И вымещаете свою ненависть, безжалостно вымещаете ее на самом драгоценном, самом изболевшемся и самом уязвимом, что есть в вас, на вашей гордости. Вы маленькая святая, Франсуаза, вот в чем суть. Вы маленькая святая, но только святость ваша бесцельна. Ей не дано ни знания, ни цели, и это роднит ее с моей печалью, хотя источник моей печали до такой степени нечист, что мне стыдно его вам назвать, и безмерно банален — это развращенность литератора, торговца вымышленными историями.

— Развращенность! — сказала она, сжав бледные губы.

— Не ищите мне извинений. Ничто не извиняет меня, кроме скуки. Вряд ли кто-нибудь скучал так, как я; я познал, что у меня есть душа, только благодаря скуке. Но я, по крайней мере, делал все, чтобы усыпить свою душу, едва скука ее пробуждала. Тогда как вы, дорогая маленькая безумица, вы свою душу не перестаете растравлять, вы не даете ей ни секунды роздыха, словно дрессировщик с его вилами и хлыстом, и она в конце концов пожрет вас.

— Что за странная мысль! — воскликнула она, громко смеясь, но смертельно бледная.

— Послушайте меня! Послушайте! Еще минуту. Мы безумны. Мы оба безумны. Вас накрыла тень гигантского крыла, оно сметет нас обоих. Можно пойти на сделку со скукой, с пороком, даже с отчаянием, но не с гордыней.

Она обратила к нему свое серьезное, спокойное лицо, и он с удивлением, почти с ужасом увидел, что оно залито слезами.

— Гордыня? Гадкий, — сказала она тихим голосом, — гадкий, разве мало того, что я призналась в… Да! В том, что любая другая утаила бы от вас.

— Я этого не требовал, бедная любовь моя. Не спешите презирать меня, Франсуаза! Я шел к вам, как человек, который загубил свою жизнь, не испытав при этом ничего, кроме скуки, свободной от всяких угрызений, как человек, который потерял свою жизнь, сам не ведая где. И я был действительно тяжко болен, если мне взбрело на ум купить что-то, — хижину, уединенный приют (уединенный приют литератора, увы!) в этих дождливых краях, где даже в апреле пахнет осенней гнилью. Но тут я встретил вас. Впервые я встретил вас у госпожи Эддингтон. Неужели вы думаете, что я, хоть на мгновение, мог принять

вас за обыкновенную девушку, такую, как все? Был ли я вправе претендовать на то, чего требует двадцатилетний влюбленный? Был ли я вправе вообще на что-то претендовать? Я видел только свою печаль, свою собственную печаль, — она вставала в ваших спокойных глазах. Я ждал от вас только проницательной, ясновидческой жалости, заменяющей нам опыт, той обостренной чувствительности к боли другою, в которой есть что-то до такой степени роковое, до такой степени мучительное, что перед этим отступает любая поэзия. Стоило ли меня испытывать, Франсуаза, испытывать мои силы, рискуя лишить меня последнего ничтожного шанса быть счастливым? Должен ли был я подвергаться такому риску с вами?

— Простите меня, прошу вас, — произнесла она после паузы, столь долгой, что порыв пронзительного ветра успел донести до них позвякивание наковальни из далекой деревни. — Простите меня, любовь моя.

— Согласитесь быть моей женой. Обещайте мне, по крайней мере, что согласитесь на это впоследствии. Зачем нам скрываться, точно мы воры, убегать куда-то в Сирию, когда так просто попросить вашей руки у отца, а если он откажет,

обойтись без его согласия?

— Не требуйте невозможного, — сказала она, все еще плача беззвучно, обратив к нему просветленное лицо. — Поверьте, это вовсе не каприз, я не хочу сделать вам больно. Я буду вашей любовницей, Жак, дорогой, только любовницей, я отдамся вам по первому вашему слову, по первому знаку, я принадлежу вам одному. Чего же больше? Но я не буду вашей женой. Я не стану носить ваше имя. От меня зависело промолчать; я все рассказала, и вы все же не отвергаете меня, этого довольно. Любовь моя, я получила ваше прощение; не умерев от стыда; не требуйте, чтобы оно стало прощением узаконенным, юридической сделкой. У святых, о которых вы сейчас говорили, есть только сегодняшний день, но они надеются на вечное блаженство, их счета в кассовых книгах Рая в полном ажуре. Пусть моя бедность будет беднее бедности святых! От одного тебя, от твоей доброй воли, от твоей бесценной жалости будет зависеть каждый год, каждый месяц, каждая неделя, каждое утро моей смиренной жизни. Каждая ночь, проведенная в твоем доме, станет моей победой над временем, забвением, пресыщенностью, мнением света, над всеми силами, которые меня гнетут и которые я

ненавижу. Увы! Ты сказал правду, ты был прав, я согласна, но откуда во мне эта гордыня, почему я не могу от нее избавиться? И все же я избавлюсь! Откуда эта отвратительная тяга к недосягаемому, нечеловеческому совершенству, к самоотречению, к мученичеству? Я с ней покончу. Если этого требует моя душа, — ангел ли она или животное, — я больше не в силах ее терпеть.

— Ангел или животное, — поверьте мне, Франсуаза, душа всегда одерживает верх над нами.

— Не так уж это неизбежно, как вы говорите. Конечно, мне чужда идея бога, она меня не занимает, Вероятно, люди просто обожествили свой страх смерти или что-то еще. Какое нам дело до этого? Мы смерти не боимся.

— Я боюсь ее, только ее я и боюсь.

— Значит, вы ничего не боитесь. Что вы успеете узнать о ней, милый? Мгновение страха, полное жизни… Нет, я не поверю ни в бога, ни в души, но я верю в некое внутреннее начало, которое причиняет мне боль, узурпирует мою волю и пытается меня перехитрить. Вы обвиняете меня в том, что я себе противоречу, что понапрасну себя терзаю, но ведь это я борюсь с ним, и если порой я кажусь вам своевольной или безумной, то потому только, что борюсь я вслепую, обнару-

живаю врага лишь мало-помалу, по тем ударам, которые он мне наносит. Да, лишь мало-помалу я обнаруживаю его силу и коварство этой силы. И все же я могла бы назвать его по имени: это гордыня, Жак, та самая гордыня, которая, как вы только что сказали, затмевает мой разум, из-за нее я то рассудительна, то безумна, то осторожна, то сумасбродна, не похожа сама на себя. Это — гордыня, но гордыня не моя.

— Только ли в гордыне, Франсуаза, причина вашей трезвой запальчивости?

— Разве вы знаете, что такое быть угнетенной своим родом, порабощенной, раздавленной им! За эти два месяца вам случалось несколько раз видеть моего отца. Его достаточно увидеть и услышать однажды — этот взгляд, в силу неизъяснимого противоречия одновременно мечтательный и жесткий, это длинное узкое лицо, отмеченное продольными морщинами, бесстрастное даже в смехе, этот надменный подбородок, эта его манера слегка отворачивать плечи, вздергивая голову, точно он заведомо отрицает свою причастность к чему бы то ни было, снимает с себя всякую ответственность и с наглым сочувствием, более оскорбительным, чем презрение, считает, что заведомо расквитался

навсегда с себе подобными, с их несчастьями или ошибками. Ни разу я не получила от него предупреждения, совета, приказанья, которое он не процедил бы сквозь зубы, небрежно. Существует ледяная учтивость: в его учтивости нет даже этого причиняющего боль холода. Клянусь, что у него все размечено, все в ажуре, хотя живет он одиноко, замкнуто: самой изощренной вражде не за что уцепиться. Моя мать умерла через шесть месяцев после моего рождения, в расцвете молодости, в расцвете красоты, и он однажды сказал мне, что она была проста и совершенна (каким тоном!)… И что же, вы не увидите ни одного ее портрета у него в квартире, ни даже — я убеждена — в его ящиках. Прелестная гравюра Мондоли повешена в маленьком салоне туалетной, куда он больше не заходит. Что еще добавить? Если он порвал со своими, если обрек себя на одинокую старость в четырехстах милях от родины, то его побудило к этому что-то, чего я не знаю, но могу себе представить, что-то, похожее на него самого, какой-нибудь долг чести, — его чести, чести, как он ее понимает, потому что у него есть честь для собственного употребления, непостижимая для других, примитивная и суеверная, как религия дикарей. Да, что бы там ни было, гордыня, одна

гордыня привела его сюда и вынудит здесь умереть… И весь его род таков, Жак. Не смейтесь! Вы, во Франции, забыли, что такое род, у вас слишком острый ум, вы от всего отделываетесь смехом — и смех в самом деле освобождает, ваш смех, смех по-французски. Я никогда не умела смеяться, как вы. И не сумею. Такой род, как наш, — тяжкое бремя!

— Призрак, дорогая. Достаточно было взглянуть ему в лицо. Призрак, скитающийся в здешних туманах, по здешним лужайкам… Но вы уедете со мной так далеко, что больше его не встретите никогда.

— Дай бог, чтобы ваши слова оказались правдой, Жак.

— Так ли уж вы хотите слышать от меня правду, мой бедный друг!

— Я знаю, что вы думаете! В вашей жалости всегда есть доля лукавства. И мне действительно ничего не известно о родне, даже самой близкой. Все мои сведения о нашей семье почерпнуты из старой книги по истории моей страны, а что мне сейчас до всех этих дожей и догаресс? Они мне смешны. Они не могут причинить мне никакого зла. Неужели вы всерьез считаете меня способной кичиться знатностью происхождения, на

манер госпожи де ля Фраметт или маленького Клержана, над которыми мы потешались вчера? На свете немало таких же несчастных девушек, как я, и они ощущают на своих плечах бремя не менее тяжкое, хотя они и не титулованы, не знатны: щепетильность, порядочность, несгибаемая и патриархальная добродетель пращуров и прапращуров, многих поколений безупречных, незаметных, упорствующих в добре женщин, благоразумных и простодушных, всегда готовых забыть о себе, поступиться, пожертвовать собой, страстно мечтающих о самопожертвовании. А ради чего жертвовать мне, спрашивала я себя. Они ведь были богобоязненны, страшились бога, ада, греха, верили в ангелов, не поддавались соблазнам, их преодолели. Они унесли с собой свою набожность, оставив мне одно благоразумие. Но на что мне оно? Для них благоразумие было венцом жизни, а для меня? Соблазны мне неведомы. То, что они называли безумьем, по сей день отвращает мои чувства и рассудок. Их зависимость была добровольной, моя — абсурдна, деспотична и невыносима. Однажды я уступила, я отдалась, не по любви, не из любопытства, тем более не из порочности, — только для того, чтобы выйти из этого заколдованного круга, порвать с ними,

найти наконец самое себя на дне унижения, омерзительного стыда, чтобы перед кем-нибудь покраснеть. Но могла ли я надеяться, что изничтожу гордыню, корни которой не во мне? Даже под взглядом отца я не опускала глаз. Я слишком хорошо чувствовала, что если бы он смог прочесть в моем сердце все мое отчаяние, всю мою ярость, он признал бы во мне, по манере бросать подобный вызов, существо своей породы.

Она обратила к нему дрожащие уста и сказала каким-то отчужденным голосом:

— Но ваше прощение, Жак, ваше прощение меня унизило.

Он принял ее в свои объятия; на короткое мгновение он ощутил на своих губах ее холодные губы и осмелился слегка прижать рукой маленькое, теплое, сотрясаемое дрожью тело. Но она быстро отпрянула.

— Не я, а ты одержал верх над моей душой, — сказала она. — Душа — это всего лишь громкое слово, поверь, не так уж она страшна, как принято считать. Не делай таких суровых глаз! Уж не суеверен ли ты, любовь моя?

Она, смеясь, вырвалась из его объятий.

— Я буду ждать вас завтра в Лусьенне, завтра утром… и, знаете, я ничего отсюда не возьму…

Ничего, ни единой нитки… с обритой головой кающейся грешницы, с пустыми руками…

На западе, в длинной прогалине, показалось небо бледной синевы, и края раздвинутых туч разом вспыхнули. Прощальный трепет блуждающего светила внезапно блеснул в тысячах граней дождя,

РАЙМОН ЛЕФЕВР
(1891–1920)

Романтический пафос революционности, классовая ненависть к буржуазии, устремленность в будущее — вот черты, характеризующие облик Раймона Лефевра — политика, публициста, художника, одного из первых интеллигентов-коммунистов во Франции. Соратник Анри Барбюса и Поля Вайяна-Кутюрье, убежденный интернационалист и страстный патриот, участник антиимпериалистической группы «Кларте», представитель Комитета борьбы за присоединение к III Интернационалу, делегат 11 конгресса Коминтерна, Лефевр целиком посвятил свою жизнь делу освобождения пролетариата.

Однако в революцию он пришел не сразу. Будущему социалисту и последовательному борцу за создание подлинно марксистской партии французского рабочего класса пришлось побывать в окопах первой мировой войны, чтобы отказаться от либерально-пацифистских иллюзий. В брошюрах «Бывший солдат» (1918) и «Бывший солдат в 1920 году» (1920) Лефевр с убийственной

иронией вскрывает антинародную сущность буржуазии, разоблачает ее своекорыстие, ведущее к предательству интересов нации. В работах «Интернационал Советов» (1919) и «Революция или смерть» (1920) он восторженно приветствует Октябрь, призывает своих соотечественников последовать примеру России, гневно бичует оппортунистов из II Интернационала, выступая за сплочение всех революционных сил.

Литературно-художественную деятельность Лефевр начинает сборником рассказов «Солдатская война» (1919), написанным совместно с П. Вайяном-Кутюрье, — беспощадной сатирой на казенные представления о воинском героизме, не имеющие ничего общего с реальной жизнью армии, где царят классовое неравенство, бюрократизм и произвол.

Страшные в своей наглядности описания мучений и смерти, подробности сурового, а иногда и грубого солдатского быта призваны оттенить внутреннюю чистоту и душевную чуткость простого человека. Но главное завоевание авторов сборника — это показ пробуждения революционного самосознания народа. Книга Вайяна-Кутюрье и Лефевра проникнута пафосом революционного отрицания войны.

Проблемы, наметившиеся в первых рассказах Лефевра, развиваются и в дальнейшем его творчестве. Основная тема романа «Жертвоприношение Авраама» (1919) — судьба буржуазного интеллигента, порывающего под влиянием открывшейся ему страшной правды войны с идеологией своего класса, стремящегося найти новые социальные ценности. Драма героя, неспособного занять твердые позиции, вытекает из его тяготения к принципам абстрактного гуманизма. Вместе с тем, задумываясь над причинами катастрофы, постигшей Европу, Лефевр ставит вопрос о том, что ответственность за нее несет не только правящая верхушка, но и все те, кто пассивно молчал, слепо подчиняясь чужой воле.

В автобиографической книге «Губка с уксусом» (1921) Лефевр еще раз обращается к теме интеллигенции, показывая, как революционизируется ее сознание, и вместе с тем демонстрирует новые грани своего дарования.

Жизнь Раймона Лефевра оборвалась трагически: он погиб, нелегально возвращаясь на родину из Советской России. Несмотря на краткость своего творческого пути, Лефевр оставил значительный след в прогрессивной культуре Франции. Разоблачая буржуазию с позиций исторического

будущего, пытаясь создать образ героя-революционера, Лефевр оказался одним из первых французских писателей, в чьем творчестве наметились черты литературы социалистического реализма.

Raymond Lefebvre: «La guerre des soldats» («Солдатская война»), 1919 (совместно с Полем Вайяном-Кутюрье).

Рассказы «Награда Дюдюля» («La croix de Dudule») и «Оскорбление армии» («L'outrage a I'armee») входят в указанный сборник.

Г. Косиков

Награда Дюдюля

Перевод И. Шрайбера

— Похоже, нашей роте выделили пять военных крестов для награждения отличившихся, — объявил Дюдюль, спускаясь в окоп с кувшином вина. — Мне сказал Жермен, денщик капитана…

— Да ну!..

— Но вино-то зачем расплескивать, олух ты этакий…

Обозвать Дюдюля олухом небезопасно. Все мы знали — он может ответить шквалом отборнейшей брани, уснащенной цветистыми словечками солдатского жаргона, которым Дюдюль владеет почти неподражаемо. (Надо надеяться, что речь его будет застенографирована пытливыми, проницательными филологами, жаждущими вернуть французскому языку богатейшую гамму юмора, утраченного им со времен Рабле.)

Однако на сей раз Дюдюль промолчал.

Мы терпеливо ждали, думали — собирается парень с мыслями. Но Дюдюль принялся за свою похлебку. Взвод был изумлен его молчанием. Взвод осмелел.

— Послушай, Дюдюль, неужто из-за каких-то пяти военных крестов у тебя отнялся язык? — неосторожно спросил кто-то.

Дюдюль пристально на него посмотрел и тут же выпалил десяток-другой ругательств, большая часть которых непосредственно задевала честь матери, сестры и жены того, кто отважился задать вопрос… А между тем неосмотрительный солдат попал в самую точку. Дюдюль, презиравший бесконечные взыскания за свое чрезмерное пристрастие к спиртному точно так же, как он презирал опасности передовой, добровольно

лезший в самое пекло, прямо-таки бредил наградой, которую считал вполне им заслуженной и которая вследствие упорного невезения уже раз двадцать миновала его. А все дело в том, что через месяц ему предстояло отправиться домой на побывку.

Капитан распорядился распределить военные кресты по жребию. Человек снисходительный и справедливый, он полагал, что все его солдаты в более или менее равной мере достойны награды, и, прибегая к такому нехитрому способу раздачи крестов, выходил из затруднительного положения, никого при эхом не обидев. Тем самым ротный как бы негласно воздавал должное коллективной доблести своего подразделения, и все солдаты умели это ценить. Все, кроме Дюдюля.

Судьба явно оставалась равнодушной к его заветной мечте.

В мрачном настроении от этой, как он считал, вопиющей несправедливости, в стельку пьяный и, видимо, решивший на все наплевать, Дюдюль, прижав к груди двухлитровый кувшин с вином, бранясь и спотыкаясь, плелся вдоль траншеи.

Наш славный сержант, который прекрасно знал причуды своего Дюдюля и уже не однажды имел случай убедиться, что как бы ни был пьян

этот детина, он трезвеет при первом же выстреле семидесятимиллиметровой пушки, смотрел на него прищурившись и едва заметно улыбался.

Однако, несмотря на благородную способность безнаказанно вливать в себя непомерные дозы спиртного, на сей раз Дюдюль свалился у самого входа в блиндаж и уснул, да с таким еще храпом, что мог бы заглушить разрывы тяжелых снарядов. В этом состоянии мы и увидели его на пороге землянки, грузного, багрово-красного, распластанного в заледеневшей окопной грязи.

— Что-то с ним нынче стряслось, — сказал сержант. — Набросьте на него одеяло, пусть проспится…

Но, как на грех, в эту ночь наш взвод назначили в наряд — доставлять воду. Задание это довольно опасное. Сержант взглянул на Дюдюля. Что с ним делать? Ни на что человек не годен… Наказать?.. Предать военному трибуналу?.. Еще обвинят в дезертирстве, приговорят, чего доброго, к расстрелу… Оставить без внимания?.. Самому может нагореть… Но, как уже сказано, наш сержант был славный парень, и мы пошли в наряд без Дюдюля.

Только мы двинулись по ходу сообщения, как вдруг, из-за поворота, навстречу нам показа-

лась цепочка людей, направлявшихся к нашему укрытию.

— Генерал!.. — испуганно сказал кто-то.

Сержант взглянул на Дюдюля, потом на генерала и сразу понял: дело дрянь.

— Что за человек? — спросил генерал, указывая стеком на Дюдюля. — Убитый? А вам разве не известно, что я запретил оставлять трупы в окопах? Постойте, да он вроде храпит…

— Мой генерал… — послышался голос сержанта.

Генерал кивнул.

— Мой генерал, это один из моих людей, он только сейчас вернулся, ходил в разведку уточнять расположение немецкого поста подслушивания. Устал очень, вот и заснул… Это я накрыл его одеялом.

— Запишите имя, личный номер, из какого подразделения, — сказал генерал своему адъютанту. И не спеша удалился.

Спустя неделю Дюдюль был ошеломлен радостной вестью — приказом по бригаде он был удостоен награды как «отличившийся при выполнении опасного задания…».

— А какого — и не сказано… — бормотал он, читая и перечитывая текст приказа.

Оскорбление армии

Перевод И. Шрайбера

Человек в рваном синевато-зеленом мундире вышел из сарая, где содержались арестованные, и, отдав мне честь с несколько смутившим меня подобострастием, проговорил:

— Это вы, господин адвокат, назначены моим защитником?..

— А как, скажите, вас зовут?

— Жак Озуэн…

— Ага, помню! Оскорбление старшего при исполнении им служебных обязанностей?

— Да, вроде бы так… Жандарм где-то вычитал, что я могу загреметь лет на пять, если не на все десять…

— Я ознакомился с вашим делом.

— И все-таки это чересчур… Из-за такой-то ерунды…

— Расскажите-ка мне все по порядку. И ничего не упускайте.

— Ладно, вам, моему адвокату, могу рассказать, но только все это было совсем иначе. Я их еще и не так обложил, а куда похлеще. Но Корнель — парень что надо. Он вовсе не хотел меня подво-

дить. Он и сам не ожидал, что дело пахнет судом. Тем более я был слегка навеселе… А раз человек выпил, значит, можно ему малость спустить… И потом, мы с Корнелем друзья, мы были с ним неразлучны все равно как портки с задницей…

— Корнель — это ваш сержант?

— Так точно, мой сержант… И потом, если б это не случилось во время строевых занятий, разве он стал бы шум поднимать? Ну, в общем, он подал рапорт, но в рапорте написал — вы же это читали, — что я, мол, отказывался подчиняться приказаниям, и в ответ на… уж и не помню точно на что… короче, в ответ на замечания унтер-офицера оскорбил его, обозвав «жалким недоноском» и «слизняком»… На самом-то деле я сказал кое-что похуже, и опиши он все в точности, трибунал пришил бы мне оскорбление армии, и тогда мне бы несдобровать — закатали бы лет на пять, не меньше. А Корнель описал все так, как вы прочли. Ну, я, конечно, держусь тише воды, ниже травы, и если так вести себя дальше… Послужной список у меня хороший… Сами читали… И Корнель этого не отрицает…

— Да, я читал. Это крайне важно. Это ваш единственный шанс. Но все-таки расскажите мне, как было дело…

— Пожалуйста, могу рассказать! Значит, он стал ко мне привязываться — почему, мол, я не равняюсь как положено, почему плохо поворачиваюсь по команде «кру-гом» и прочее… Но посудите сами… Всего три дня, как с передовой… Это ж вам не с курорта все-таки… Тут он мне и говорит: «Капитан смотрит. Придется влепить тебе четыре наряда вне очереди…» А я ему в ответ: «Дерьмо! Все офицеры дерьмо! Все недоноски! Выблядки поганые!» Вот как я ему сказал… К счастью, он…

— Ну и ну! А были свидетели?

— Как же! Все ребята! Но их-то мне бояться нечего! Никто не пойдет доносить…

— Не в этом дело, дорогой. Очень хорошо, что вы мне рассказали… Главное теперь — исправить оплошность, допущенную сержантом. Приятель ваш и не подозревает, что, желая сделать как лучше, он подложил вам порядочную свинью…

— То есть как это так?!

— А вот так. Смешно, конечно, получается, но закон есть закон. Скажите начальнику: «Выблядок!», и тогда, согласно военному кодексу, вы заработаете от одного года до пяти лет тюрьмы, это если оскорбление нанесено вне службы. А если вы оскорбили его при исполнении им служебных обязанностей, то вам полагается от пяти

до десяти лет принудительных работ, и сейчас, кстати, вы на волосок от этого. Дело в том, что военный кодекс был составлен еще во времена Второй империи доблестным маршалом Вайяном и предназначался для армии Наполеона Третьего. Подобных вещей в ту пору и не знали. Да и откуда бы — при той драконовской дисциплине малейшая вольность в разговоре со старшим жестоко каралась… Но если вы говорите: «Все офицеры — выблядки!», то это уже не есть оскорбление, нанесенное тому или иному чину. Это — оскорбление, задевающее честь всей армии, то есть, иными словами, поношение настолько чудовищное, что маршал Вайян не пожелал упомянуть о нем в своем кодексе даже намеком. Военный кодекс просто не предусматривает чего-либо подобного! А посему в данном случае провинившийся подпадает под действие гражданского закона Республики, принятого в тысяча восемьсот девяносто первом году и карающего за оскорбление армии тюремным заключением сроком не более трех месяцев. Понимаете теперь, почему вы крайне заинтересованы в полном восстановлении истины? И запомните: если вы хотите, чтобы шалости такого рода впредь обходились вам подешевле, употребляйте только

обобщающие формулировки: эффект тот же, зато стоит он в десять раз дешевле.

ПОЛЬ ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ
(1892–1937)

Вайян-Кутюрье — истинный парижанин. Его дед — художник, дружил с Курбе; мать, Полина Вайян, — актриса оперного театра; отец, Кутюрье, — певец и живописец. Система воспитания столичного лицея, где учился Поль, стремилась выхолостить в нем живое чувство, убить фантазию, приспособить к трафарету, но он уже обрел защиту в мире идей и образов Рабле, Маро, Ронсара, Монтеня. Поль не отличался примерным поведением: вместе с товарищами он выпускал журнальчик «Бомба», в котором сокрушал Буало с помощью Шекспира, превозносил Бодлера, Верлена и Рембо, о которых не принято было говорить на уроках. Окончив лицей, Вайян-Кутюрье поступил на юридический факультет Сорбонны. В первой же книге стихов — «Приход пастуха» (1913) — он определил свою приверженность к людям тяжелого труда, суровой жизни: «Я листок с их куста, я гроздь с их лозы». К народу Вайян-Кутюрье шел издалека, преодолевая инерцию буржуазного воспитания, долго еще страдая от

элитарной гордыни, чувства интеллектуального превосходства над «простыми смертными».

В тигле войны «сгорели» его прекраснодушные иллюзии и предрассудки. На передовой он осмелился размышлять о законах реального мира и высказывать правду о пережитом и увиденном. За мужество в боях офицер Кутюрье не раз был отмечен наградой, но он позволял себе говорить «лишнее» и весть о мире 1918 года встретил в военной тюрьме. На свободу Вайян-Кутюрье вышел убежденным рыцарем веры в новую жизнь и творческую мощь человека. «Коммунизм — это молодость мира» — афористично выразил он суть своего идеала. Один из организаторов Республиканской ассоциации бывших участников войны, соратник Барбюса в пору создания группы «Кларте», депутат парламента, один из основателей ФКП и член ее ЦК, мэр парижского пригорода Вильжуиф, главный редактор «Юманите» — неиссякаема активность этого народного трибуна, которому верил пролетарский Париж.

В 1921 году Поль Вайян-Кутюрье был в Москве, на III конгрессе Коминтерна, встречался и беседовал с В. И. Лениным. С той поры. писатель не раз приезжал в Советский Союз и в серии очерковых репортажей рассказал о социалистическом

строительстве в нашей стране.

Вайян-Кутюрье — продолжатель реалистических традиций французской классики. В повести «В отпуску» (1919), в цикле рассказов «Солдатская война» (1919), созданном совместно с Лефевром, в «Письмах моим друзьям» (1920) художник говорит от лица «пролетария войны», представляя свидетельства солдат-фронтовиков на суд читателя. Мысль вернее пули поражает цель, но ничто не может убить мысль, говорил Вайян-Кутюрье. В 20-е годы возмущенная мысль художника разила старый мир и его воинствующее безумие (поэтический цикл «XIII плясок смерти», 1920), его бутафорские «идеалы» (трагифарс «Папаша Июль», 1927, совместно с Л. Муссинаком), кощунственное лицемерие, циничное поругание человека и всех его святынь («Бал слепых», 1927). Повесть «Детство» (1938) — итоговое создание художника, его искреннейшая исповедь о своем пути к созидателям нового мира.

Paul Vaillant-Couturier: «La guerre des soldats» («Солдатская война»), 1919 (совместно с Раймоном Лефевром); «Le bal des aveugles» («Бал слепых»), 1927; «Jean-sans-pain» («Жан-без-хлеба»), 1933; «Histoire

d'Ane pauvre et de Cochon gras» («Бедный Ослик и жирная Свинья»), 1936.

Рассказ «Бал слепых» входит в одноименный сборник.

В. Балашов

Бал слепых

Перевод Н. Немчиновой

I

Настройщик торопливо идет по улице и, нащупывая стены домов своей палкой, равномерно и быстро шаркает ею перед собой.

Прохожие удивляются его уверенной поступи и думают — уж не просачиваются ли сквозь выпуклые стекла его черных очков отблески света и не проникают ли они ему в глаза.

Фигура у него прямая, напряженная, как у всех слепых, — они всегда держатся настороженно, ожидая всяких ловушек на своем пути. Капканы и западни подстерегают их на каждому шагу.

Он идет, напрягая слух и чувство осязания, улавливая сигналы об опасности, которые ему

дает даже разница в давлении воздуха на поверхность кожи. Его ступни угадывают, по какой почве они шагают. Его палка говорит. Идет он у самых стен. Палка говорит: кирпич, — значит, это кирпичный особнячок, за которым будет витрина булочной. Палка говорит: чугун. Значит, — водосточная труба. Это граница. За нею палка четыре раза скажет: дерево. Затем — три удара по цементному цоколю фасада, один — по железной решетке отдушины подвала, и палка скажет: толстое стекло.

Подъезд доходного дома с застекленными дверьми и коваными воротами с затейливыми завитками, а потом — маленькое бистро. Здесь выступ — дерево и земля. Гнилые ящики, в которых прозябают кусты бересклета с жесткой листвой, посаженные для освежения воздуха. Как обогнешь выступ террасы, слышен визг передвигаемых железных стульев и разговоры посетителей. Опять кусты бересклета, а дальше — стена, и палка говорит: камень, камень, — вплоть до глухого забора в панцире из наклеенных афиш.

Запах замороженного поля боя — это мясная лавка. Палка стукнула о мрамор, потом ткнулась во что-то мягкое, живое — в собаку мясника. Она

не зарычала.

А теперь пустота. Угол улицы. Тут все залито солнцем, оно греет слепому лоб, греет руки.

На минуту шаг замедляется — надо обогнуть угол. Потом — переход через улицу.

И уж тут неизменно возникает какая-нибудь милосердная душа. Он ненавидит милосердие.

Во втором от угла доме маленького переулка его взяли за плечи и втолкнули в кабину лифта. Это сделала консьержка. От нее пахло помоями.

Консьержка сочла необходимым проводить его «к той даме, которая пригласила настройщика». Внезапная остановка. Лестничная площадка, залитая солнцем. Консьержка, чувствуя себя ангелом-хранителем, гордо выпятила грудь. «Вот как я хорошо поступила, — думает она, — проводила бедненького слепого». Она высадила его на четвертом этаже, очень осторожно, как фарфоровую вазу.

Двери открыла женщина, говорившая низким, певучим, немного капризным голосом, — контральто.

Контральто и консьержка любезно поздоровались, говорили с многозначительными интонациями. Обе были преисполнены деликатной жалости к слепому и давали это понять

друг другу.

Настройщик вошел. В квартире пахло пачулями от мягкой мебели в чехлах и воняло также кошкой.

Контральто взяла слепого за руку. У ней самой рука была маленькая и холодная, с мягкими подушечками, острыми ноготками и плоским большим пальцем. Она оставляла за собой запах, имевший съедобный привкус, — запах цикория и мускатного винограда.

— Осторожнее. Здесь темно. Подождите, я сейчас зажгу свет. — И тут же, усугубляя свой промах, добавила: — Зажгу свет для себя, чтобы лучше провести вас. Сюда, пожалуйста, идите все прямо и коснетесь рояля.

Теперь чувствовалось ее нарочитое внимание к выбору слов. Но голос несомненно был хорош. Один из тех волнующих голосов металлического тембра, которые пронизывают тебя и забирают за сердце.

Под ногами ковер — значит, гостиная. Рояль, и перед ним табурет, который больно ударил настройщика в голень.

— У меня рояль «коротышка», кабинетный рояль, — сообщила контральто. — Знаете, я уже давно встречаю вас в нашем квартале. Я много

сил отдаю благотворительности, часто пою на концертах для инвалидов войны. Узнав, что вы настройщик, я тотчас решила отдать предпочтение вам.

Она забыла сказать, какое большое любопытство он вызывал у нее, как ей понравилось его удлиненное лицо с тонкими чертами безбородого Христа, его матовая бледность, свойственная слепым, которых как будто предохраняет от загара их внутренний мрак.

Забыла она также сказать, что ее прежний настройщик повысил цену за свою работу, что ей не хотелось оставлять чужого человека без присмотра в гостиной, где было множество дорогих безделушек, что слепого можно принимать в очень небрежном туалете… А кроме того, всем известно, что никто не может сравниться со слепыми в тонкости слуха и музыкальности.

Недаром же некоторым птицам выкалывают глаза, чтобы они лучше пели.

У нее, несомненно, артистическая натура.

II

Ре… Ре… Ре…

Настройка тянется уже полчаса, а то и больше.

Ре звучит верно. Октавой выше ре фальшивит. Настройщик подтягивает колку ключом.

Дама оставила дверь в ванную открытой и взволнованно смотрит и слушает через анфиладу комнат.

Пальцы слепого перебегают с клавишей на струны, проворно, как членистые лапки насекомого. Он склоняет голову набок и вопрошает: «Ре? Ре?» Потом в другой октаве: «Ре? Ре?» Назойливая, раздражающая, все еще фальшивая нота. Звучит слишком низко. Новый поворот ключа. Стонет дека и металлическая струна. Ре-реререререре… Аккорд. Хореографические перебросы пальцев в арпеджио. Ре — в центре. Ре — опорная нота. Дальше проверяется ми. Слава богу! Ми — высокое, ми — низкое. Ми стучит, ми подпрыгивает, как на ступеньке каучуковой лестницы. Ми — неотвязное, ми — огромное, величиной с голову, величиной с комнату, с дом, с целый город, ми — распятое, наконец, в мощном аккорде. Потом помчались расходящиеся гаммы в полную мощь усиляющей педали. Пауза.

Фа. Нота фальшивит. Ужасно фальшивит. От нее просто оскомина на зубах. Вата на языке. И, как иголкой, колет в ухе. Фа — под сильным ударом молоточка, обитого войлоком. Фа — как на

арфе, когда щиплют ее за струну. Руки настройщика усердствуют. Фа уже меньше фальшивит, и еще, еще меньше. Фа? Фа? Фа? Ах, жестокие и чудесные руки настройщика!

Вдруг — соль. Соль — гудит. На карте клавиатуры соль географически находится на своем месте, а в действительности — дзуум. Нота «соль» гудит так сильно, что звук отдается даже в ванной, в стакане для полоскания зубов, и так действует на нервы, что даме приходится прервать свой туалет в ту самую минуту, когда она, широко открыв рот, уже поднесла к зубам щетку… До этой минуты ноты скользили лишь по поверхности тела, как шипенье пилы по точильному камню… Какой ужасный, раздражающий звук! Он проникает даже в воду, налитую в ванну… Но от этого «дзуум» как будто осиный рой забрался под диафрагму, потом звук завибрировал в пятках, а в голове застучал молоточек дантиста со скоростью тысяча ударов в минуту. Несчастная дама больше не может этого терпеть. Она думает лишь о руках слепого настройщика, о том, чтобы остановить его руки…

Запахнувшись в кимоно, она бежит в гостиную.

Настройщик кончает жонглировать нотой

«соль», прикладывает ладонь трубочкой к уху.

Дама подходит, плотно опутанная сетью вибраций. Вся она покрылась гусиной кожей. Шелк кимоно, облегающий бедра, и тот становится тяжелым и шершавым.

Слепой настройщик, занятый своим делом, заметил ее присутствие лишь в ту минуту, когда она заговорила, чтобы остановить его руки.

Она пристально смотрит на эти руки, как смотрят в глаза своему собеседнику. Ей кажется, что руки слепого светятся, что они зрячие. Она говорит этими руками какие-то незначительные слова, но в голосе ее звучит лихорадочное возбуждение:

— Бывают хорошие, а бывают неудачные, плохие рояли…

Слепой замечает, что голос у нее срывается, и с удивленной улыбкой слушает ее сумбурные истории о капризах кабинетных роялей.

Дама придвинула стул и села рядом с настройщиком. Она думает о могуществе гипнотизеров: «Сделайте то, сделайте это, я требую». Как она им завидует! Но ведь гипнотизеры смотрят медиуму в глаза, говорят его глазам. Напрягая весь свой скудный умишко, она думает: «Я хочу, я хочу…» Она не очень хорошо знает, чего именно хочет, но

смотрит пристально, пристально, пристально… Смотрит на руки слепого, потому что проникнуть в мысли, возникающие за его высоким лбом, невозможно.

Слепой вежливо отвечает, высказывает свое мнение о хороших и плохих роялях. Дама взволнованно поддакивает. Ощущать прикосновение кимоно становится для нее просто невыносимо, особенно к кончикам грудей.

Мало-помалу она распустила полы своего пеньюара, и они легли справа и слева от стула. Словом, она совсем обнажилась, так как кимоно было наброшено на голое тело.

Она сама себе удивлялась. Что с ней такое?! Но волнующая мысль завладела ею. Боже, а вдруг кто-нибудь увидел бы ее! Боже, как ей сейчас приятно! Боже, какое бесстыдство!

А что ж тут плохого? Настройщик не может ее видеть. Разве что угадает ее настроение. У слепых сильно развита интуиция. Ах, если бы он угадал! Что дальше? У него так мало радостей, у бедняжки. И это поистине было бы милосердием с ее стороны!

— На рояли пагубно действуют колебания температуры, — сказал слепой.

А те люди, что живут напротив? Наверно, они

уже подсматривают, глядят в окошко поверх занавесочек. Они ведь всегда так делают. Ну и пусть смотрят, они ведь ни о чем не догадаются. Она сидит спиной к окну, что же они могут заметить? Красновато-лиловое кимоно. Все совершенно прилично. Никто ничего не знает, и подсматривать тут нечего. Она оглядывает себя, вдыхает свой запах, она себе нравится. «Как приятно быть двойственной и даже тройственной», — думает она.

Настройщик поясняет равнодушными жестами, как следует ухаживать за роялем. И вдруг он вскрикивает:

— Ах, простите, мадам!

Она так близко пододвинулась к нему, что коснулась его плечом.

Настройщик немного отодвинул табурет и покраснел. Она наклонилась к нему. Он почувствовал ее дыхание. Дыхание, отдававшее зубным эликсиром. К привкусу цикория и мускатного винограда прибавился хозяйственный запах туалетного мыла и одеколона. Ему стало противно.

И, повернувшись к открытой утробе рояля, он бросает какие-то деревянные слова:

— Что ж это я? Болтаю, болтаю вместо того,

чтобы настраивать ваш рояль. Ну, за работу! Извините, пожалуйста.

Ля, ля… Дребезжащее, фальшивое… фальшивое… Все еще фальшивое. Аккорды, арпеджио, ля, ля, ля, ля, ля… Потом побежали по клавиатуре гаммы под отчаянный нажим педали.

Дама резко поднялась.

Ах, сколько у нее чувства милосердия, хоть кричи! Она ушла к себе в спальню, бросилась на постель.

Она думает о руках, о руках, бегающих по клавишам, подтягивающих струны, о светящихся, зрячих руках, которые не захотели понять, и в безумном порыве она призывает их…

Ля, ля, си — фальшивое, си — фальшивое…

Наконец арпеджио, еще фальшивее, чем прежние, как хлыстом ударяет ее от мозжечка до поясницы. Постель под электрическим током. В десять тысяч вольт. Внезапный разряд. Чтобы заглушить свой крик, она уткнулась лицом в подушку.

III

Ну вот, еще одна клиентка. Ничего не скажешь, у него появляется клиентура.

А почему он не отказался пойти в воскресенье на утренник с танцами, который устраивает Благотворительное общество по устройству балов для ослепших воинов (БОУБОВ)? Этого он сам не знает. А ведь тут опять замешана благотворительность…

Но его новая клиентка очень уж упрашивала. Даже странно было ее слушать, эту новую клиентку, — столько горячности чувствовалось в ее уговорах. Он не выносил светских дам и их благотворительных начинаний. Но она так настаивала! Нельзя сердить новую клиентку. Она заедет за ним в машине. И ведь у него в конце концов не так-то много развлечений!

Как раз в это воскресенье жена поедет с детьми к своим родителям в Женвилье, окруженный «полями орошения», и пробудет там весь день. Он же терпеть не мог родителей жены. Во-первых, у них готовят невкусно, а кроме того, теща признает своей обязанностью читать ему вслух, да еще читает таким голосом, словно приносит себя в жертву. Значит, приглашение на утренник весьма кстати: день проведешь не в одиночестве!

На этом балу он, конечно, встретит старых товарищей, с которыми подружился в госпитале или встречался в Центре переобучения инвалидов.

Будет вместе с ними перебирать воспоминания. А потом он потанцует. Может быть, это и слабость с его стороны, но он не прочь потанцевать. Танцы? Почему бы и нет? Выжил — значит, прилаживайся. Он уже давно приладился. Он должен жить так же, как все. Люди танцуют. Все танцуют. И он будет танцевать. Настал и его черед. Он довольно часто за скудное вознаграждение бывал тапером, и люди танцевали под его музыку.

Сидя в единственном мягком кресле, имевшемся в его маленькой квартире, в домашних туфлях, как любой почтенный человек, он подбрасывал на коленях своего младшего, трехлетнего сынишку.

— Подумай только, твой папа пойдет на танцы! Нука, малыш, потанцуй у меня на коленях. Давай садись верхом, вытяни левую ножку. Вот так. И раз, и два, и так-так-так! А теперь другую лапку, правую. Молодец! А я буду петь, слушай!

Он поет, подкидывает ребенка, смеется. Мальчуган хохочет, заливается смехом, весь трепещет и подпрыгивает.

— Еще! Еще!

Отец устал и, высоко подбросив мальчугана, опрокидывает его себе на грудь, так что у плясуна болтаются в воздухе и руки и ноги.

Вот удачная мысль. Он встает и, обойдя вокруг стола, подходит к жене, которая стоит у газовой плиты и следит за кастрюлей с молоком.

— Ну что ты скажешь? Я приглашен на бал. Представь себе! Я снова начинаю «выезжать в свет» — как говорят молоденькие дурочки. «Мадемуазель, разрешите пригласить вас на вальс. Окажите честь!»

Он отвесил глубокий поклон. Жена разражается смехом. Он кланяется еще раз, шаркает ногой и прикладывает руку к сердцу.

— Мадемуазель!..

— Будет тебе дурить.

— Помилуйте, мадемуазель. Танцы — большое удовольствие и полезное упражнение! Мы так мало делаем полезных упражнений.

— Ты лучше смотри не простудись, когда будешь уходить с твоего бала. Ты что наденешь? Твое зимнее драповое пальто я подштопаю. Но, послушай, у тебя же перчаток нет…

— Правда, нет. А ты думаешь, перчатки необходимы? Ну посмотрим. А вот не разучился ли я танцевать? По части новых танцев — чарльстона, блэк-боттома и прочих свистоплясов я, разумеется, ни в зуб ногой. Ну, а другие танцы… Ты же знаешь, я в свое время неплохо танцевал.

Но надо все-таки вспомнить, поупражняться. Давай попробуем.

— Если ты так хочешь.

Он прячет свою трубку, велит старшему сыну отодвинуть стол в угол. И, открыв объятия, берет жену за талию.

— Отхватим вальс-бостон. Хочешь?

Он напевает, и вот они пускаются в пляс под старинный, то скачущий, то плавно скользящий мотив. Жена довольна. Славная мысль ему пришла. Дети прыгают вокруг них: старший кружит за ручонки младшего, и тот визжит от радости.

Вдруг жена вырывается.

— Ой, молоко уйдет!

И бежит спасать молоко…

Он стоит неподвижно возле своих ребятишек, луч солнца греет его лоб и веки, прикрывающие пустые глазницы; он запыхался, грудь его ширится от полноты счастья и молодой веселости…

IV

Один из бальных залов большого отеля близ площади Звезды. Вращающаяся дверь, мраморные лестницы, ковры, гардеробная. Смутный гул голосов, мягкое ровное тепло, — словом, комфорт

по международному стандарту.

Новичка принимает сама председательница Общества:

— Добро пожаловать, дорогое дитя мое. Будьте у нас как дома. Ваша поручительница, которая своим прекрасным голосом очень часто восхищает и ваших товарищей, и нас самих…

Контральто смущенно протестует.

— Ну, конечно же, и нас самих! Так вот, ее поручительство — достаточная гарантия ваших добрых чувств… Общество по устройству балов для ослепших воинов развертывает свою деятельность под покровительством особ, занимающих во французской армии высокие посты. Каждую неделю мы проводим утренники для инвалидов войны, потерявших зрение, иногда утренники с танцами, как, например, сегодня. Дамы и барышни, которые так самоотверженно оказывают содействие нашим балам, с готовностью отрывая для этого по нескольку часов от своих многочисленных обязанностей светской жизни, знают, что они могут рассчитывать на полную корректность каждого из вас. И многие, многие из них, — не правда ли, мадемуазель, — открыли здесь, какие сокровища деликатности заключают в себе люди из простого народа. Ах, такое сближение

гораздо ценнее, чем все эти мечтания, которые приводят лишь к зловредным доктринам, сеющим ненависть!.. Меня зовут, я должна покинуть вас. Извините, пожалуйста. Вас всюду проводят наши дамы. Я занята выше головы. Сегодня мы принимаем генерала. Подумайте только! Ну вот, веселитесь, отдыхайте… Если вы, конечно, любите сладости, буфет у нас внизу, налево… Если вы любите музыку, послушайте концерт. Один из ваших товарищей замечательно подражает певцу Майолю. Великолепный номер.

И вот концерт начался.

Лучи! Мелькнувшие мечты,

О нет, глаза мои вас не увидят боле!

Один из слепых пел знаменитую арию из оперы «Бенвенуто Челлини», которую на пирушках орут за десертом любители-баритоны.

Настройщик сосредоточенно слушает. Он недоволен роялем: совсем расстроен инструмент. Дамы наклоняются друг к другу, перешептываются с жалостливым видом:

— Ну зачем выбрали эту арию?

— Он сам выбрал. Сказал, что обязательно хочет ее спеть.

— Это ужасно!

— Да, так грустно…

О нет, мои глаза вас не увидят боле!

— А голос у него хороший.

— Да, да. Но какие слова.

Две-три дамы уже всплакнули и сморкаются.

О, сжальтесь надо мной!

Баритон кончил. Раздаются бурные аплодисменты, их перекрывают растроганные возгласы, плачущие голоса. Певца окружают. Сжимают тесным кольцом. Рук его касаются мокрые носовые платочки. Он стоит неподвижно, выслушивая слезливые комплименты, и как будто удручен своим успехом.

Наконец он улыбается, от улыбки морщатся его веки, запавшие в орбиты, окаймленные черной ниточкой ресниц и багрово-красной полоской нижних век.

Певца отводят к группе его товарищей, те встречают его шумно и весело. Один наклоняется и шепчет ему на ухо:

— Ну, можно сказать, ты их прямо в лоск растрогал, старик! Вот уж сморкались дамочки в зале!

— Да, этой арией я всегда их до слез довожу. Хнычут, голубушки. Эту арию я и «до этого» пел, ну, а «после этого» больше имею успеха: ведь тут,

понимаешь, говорится про глаза, про свет…

Затем другой слепой, во фраке, с белокурым коком, взбитым над лбом, и со стебельком ландыша в петличке, подражал Майолю. Пустой рукав, короткая культя, жеманно откидывавшая этот рукав к фалдам фрака, и голос кастрата.

Четыре руки, четыре ноги, два глаза. Пары кружатся, глаза на мгновение гаснут, как маяки.

Танцуют танго. Кого-то толкнули.

— Осторожнее!

— Ах, простите!..

— Это новичок толкнул.

— Будьте осторожнее, друг мой!

— Ведите его сами, мадемуазель!

Слепые скользят, поворачивают, останавливаются, движутся дальше с непринужденностью зрячих людей.

Только новичок, слепой настройщик, мешает всем.

— Ах, опять!

Несмотря на усилия своей дамы, он еще раз налетел на танцующую пару. А ведь до войны он хорошо танцевал танго с очень сложными фигурами — «полумесяц», «ножницы» (большие и маленькие). Он пытается вернуть былое умение. Напрягает память. Пестрым калейдоскопом

воскресают картины прошлого: венецианские фонарики, гирлянды электрических огней, зеркальные полы, модные женские платья, суженные книзу, яркие, как у кубистов, краски, отраженные в зеркалах…

Вдруг он растерянно останавливается: снова кого-то толкнул. Ему хочется послать все к черту.

— Вы же видите, вы же видите, я совсем разучился.

И он что-то бормочет, смущенно извиняясь перед своей дамой.

— Нет-нет… пустяки. Прижмитесь ко мне покрепче. Я буду вести вас. Дайте сюда руки, вот так… Подчиняйтесь мне.

Он подчиняется.

Неожиданное превращение. Это уже не танец. Он открывает в своей партнерше женщину. Он едва решается. Но ведь это неотвратимо.

Она увлекает его в соседнюю маленькую гостиную, где танцуют только две пары.

— Здесь мы уж никого не толкнем.

Он чувствует себя преступником, как зрячий человек, подглядывающий в замочную скважину. Удовольствие постыдное, которое надо скрывать.

А она? С той минуты, как она подчинила себе

его руки, к ней вернулось полное душевное равновесие. Она старательно помогает ему ощутить ее телосложение. Она уделяет этому глубокое внимание, как будто проверяет счет из магазина, или учится новой вязке крючком, или разбирает партитуру. Она во всем любит точность.

Танго подобно зеркалу-трельяжу: оно не оставит незаметным ни единого прикосновения. В зависимости от фигуры танца дама прижимается к нему то своим маленьким, упругим животом, то довольно низкой грудью, то плечом, то бедром.

Он уже ничего не говорит, больше не извиняется, дыхание его становится коротким.

Сквозь шелковую ткань платья она чувствует на своей талии жар каждого пальца мужской руки и упоительную тяжесть ладони.

Она знает, что теперь в мозгу слепого ее живот, грудь, бедра, плечи, ноги стали звеньями единого целого и что он «видит» ее тело, которым она гордится. Однако он еще не может представить себе ее лица — он не знает ее губ. И, трепеща от своей дерзости, он думает о них.

Джаз. Ганза! Ганза! Чарльстон. Слепые танцоры вихляются под негритянскую музыку, ритм которой отбивает рояль.

А дамы-патронессы, разбившись по две группы

и сложив руки на коленях, переливают из пустого в порожнее, как лили воду Данаиды в свои бездонные бочки.

— Знаете, как-то неловко смотреть!.. Вам не кажется, что эта барышня в маленькой гостиной слишком уж прижимается к кавалеру? А вон та парочка! Боже мой!

— Что поделаешь, дорогая. Это ведь современные танцы. Нельзя же тут отмерять расстояние…

— Я хочу сказать о пирожных. За птифуры ломят ужасную цену, — пятнадцать франков за фунт. Как казначей нашего Общества, я больше не могу допускать подобных трат!..

— А все-таки очень уж много чувственности в современных танцах, в этих вихляньях.

— Надо также сказать, что кое-кто из наших подопечных чересчур усердствует. Зато наши молодые танцорки заслуживают всяческих похвал. Ведь у некоторых из этих бедных юношей просто отталкивающий вид…

— Да, да, у многих, к сожалению. Они совсем не интересны…

— Ну, если обращать благотворительность только на интересных мужчин…

— А для меня, мадам, они все интересны. Просто потому, что они несчастные…

— Разумеется, какое у вас доброе сердце, душечка! Меня это радует.

— Дамы-распорядительницы, полагаю, не будут возражать, если впредь мы заменим пирожные сухим печеньем. Наши бедные мальчики вряд ли это заметят.

— Ну, конечно… Теперь, знаете ли, начался период экономии. Все должны ей способствовать, даже и мы, в делах благотворительности.

— Кстати, поговорим о башмаках, — ведь о них всегда поднимается вопрос. Придется нынешней зимой немножко притормозить. Давать новые башмаки только в том случае, если старые уже никуда не годятся и когда на них уже два раза сменяли подметки. Новые башмаки выдавать только при предъявлении старых. Представьте себе, иной раз жены слепых продают старые мужнины башмаки.

— Нельзя же допускать, чтобы нас обдирали.

— К слову сказать, когда мой слепой приходит к нам, в Пасси, раз в месяц позавтракать с моими детьми, у меня в тот день нигде ничего не валяется. А то я как будто раза два замечала пропажу кое-каких мелочей.

— Неужели вызывать полицию? Это было бы ужасно!

— А все-таки…

После танцев они сели рядом, грустя о прервавшихся объятиях.

— Вы довольны, что потанцевали? — спросила контральто.

— Я не танцевал с начала войны. Не танцевал так, как сегодня. Я не знал, что это может быть так… Должен признаться, меня всего перевернуло… Послушайте, я, должно быть, вел себя некорректно… Простите, пожалуйста…

Он сжал ее руку своими видящими руками.

Она поспешно отдернула руку.

— Держите себя прилично, на нас смотрят. Председательница сидит как раз напротив! Мы можем беседовать, но с таким видом, как будто говорим о чем-нибудь безразличном.

— Да, да, вы правы…

Он сразу же проникается лицемерием зрячих и проницательных людей. Она склоняется к его ночному мраку.

— Не скрывайте от меня своей радости, — шепчет она. — Все откройте, не бойтесь никаких слов… Вы должны говорить со мной, как со своим другом, с близкой подругой, я хочу дать вам много, много радостей, я предлагаю вам их без всякой задней мысли. Вам так необходимо сочувствие и

понимание. Вы ведь столько настрадались!..

Он молча опускает голову. Это правда. Она права. В сущности, он не знает счастья. Больше не знает. Рутина семейной жизни — какое же это счастье? Да и может ли быть счастлив человек, если он лишился зрения? И ему становится очень жаль себя. С какой острой болью он чувствует свою слепоту, — как в первый день. Из глубины смирившейся души поднимается прежнее подавленное было возмущение. И уже вспыхивают огни пожара. Имеет он право вознаградить себя? Имеет, и должен это сделать. Ведь он самый несчастный в мире человек… А в этой молодой женщине столько доброты… и она не сердится… прощает ему его дерзость…

— Я сразу же разгадала вас, в первую же минуту. Если бы вы знали, если бы знали… В тот день, когда вы настраивали рояль… Нет, никогда вам не скажу!..

И он так благодарен ей, так признателен за ее деликатность, ее сдержанность. Он не хочет нарушать колдовского очарования. Подумайте, он встретил человеческую доброту!..

Покорный, внутренне напряженный, проливая в душе слезы над самим собой, настройщик сидит неподвижно, из приличия повернувшись лицом

к председательнице, и молчит. От чувственных, жгучих интонаций низкого голоса соседки каждая клеточка его тела тает, как воск.

— Идемте.

Она уводит его. Он послушно идет, хотя и не знает, куда его ведут. Проходя через большой зал, где пол был скользкий и неустойчивый, словно палуба парохода во время килевой качки, он почувствовал, что она провела его мимо группы женщин и, повернувшись в их сторону, сказала вполголоса:

— Предосторожности ради!

Ей ответили:

— Правильно. В конце коридора, налево.

Он не решается спросить. Но, кажется, понял. Его ведут в уборную. Ему неловко. Он не знает, что и подумать. Да это же немыслимо! Но покорно идет.

Вот под ногами у него кафельный пол вместо ковра, и задвижка автоматически отворившейся двери хлопнула его по спине.

В ту самую минуту, как в лицо ему ударил запах дезинфекции, она впилась губами в его губы. Она схватила руки слепого и прижала их к своим щекам.

V

— Мы перед ними в неоплатном долгу. Никогда нам не уплатить его. Верно, мадам?

— Что ж поделаешь, дорогое дитя мое. Не забывайте, я всегда в вашем распоряжении, всегда буду готова дать вам совет.

Председательница наставляет совсем еще юную девушку в светлом платье, недавно завербованную в Общество.

— Ведь это должно быть так ужасно! Человек мог видеть, мог все-все схватить взглядом, и вдруг кругом него все черно.

— Да, бедные мальчики! Но они к этому уже привыкли, — больше, чем вы думаете. А наша с вами задача — приучить их жить слепыми…

— Я робею перед ними… Я же знаю, что эту жертву они принесли ради нас, ради отечества…

— Но увы! Очень часто среди них попадаются люди озлобленные…

— А как может быть иначе? Мы должны смягчить эту озлобленность, исцелить их, выказать им нечто большее, чем жалость благотворительниц…

Двое слепых, два обрывка мрака, проходят ми-

мо них, слух у обоих хороший.

— Слыхал, что девчонка-то сказала?..

— Слыхал. Сегодня, значит, новенькую нам подпустили. Бедная крошка!

Контральто привела настройщика обратно в зал и посадила среди товарищей.

Она опротивела ему. Его просто тошнит от нее. Потаскуха баба, вот и все. А он-то расчувствовался, поверил было!.. В мозгу у него вихрем кружится пестрая стеклянная карусель… Если бы он не сидел, то, наверное, рухнул бы на пол. Он облизывал нижнюю, больно прикушенную губу. Во рту был железный вкус крови.

Новые товарищи собрались вокруг него в глубине тесной ротонды, — вход в нее охраняют двое слепых часовых.

Обрывки мрака узнали друг друга по воспоминаниям. Кошмарным воспоминаниям, которые назывались Ипр, Массиж, Верден и черная ночь. Среди собравшихся — однорукий и оскопленный войною певец, подражающий Майолю, тут же массажист, у которого нет больше носа, и косноязычный, который лишился половины языка и теперь невнятно бормочет, прижимая к нёбу оставшуюся половину. Разговор идет о БОУБОВ. Семеро-восьмеро слепых, собравшихся в ротонде

около молчаливого новичка, сравнивают пережитые ужасы.

— А теперь все мы — дрянь, — говорит один из слепых. — Между своими можно правду сказать. Сущая дрянь!

— Ты здесь прежде не бывал и хорошо бы сделал, если бы не приходил вовсе. Ну, а раз уж ты пришел, так надо тебе все знать. Здесь, понимаешь, как в госпиталях — полным-полно милосердных бабенок.

— Мы-то у них ничего не просим. Взять хотя бы меня, — тебе же известно, что мне много не надо. Уцелел, как-то наладил жизнь. Живу, чего там! Ну, а эти милосердные-то, как война кончилась, что им делать оставалось? Ничего.

— Вот они и придумали тогда эту штуку, — будем, мол, танцы устраивать для «бедненьких слепых». Мигом додумались. Это им раз плюнуть! В первую голову старухи стараются. Пыль в глаза пускают своим важным знакомым да господу богу — он им тоже приятель.

— А на нашего брата им, в сущности, наплевать.

— Деньги они на эту затею тратят не зря, — это они вроде как помещают капитал в небесный банк. У каждой, стало быть, теперь на небесах те-

кущий счет. И когда-нибудь в бакалейной лавке у входа в рай положат на весы с одной стороны все их пакостные грехи, а с другой — бедненьких слепых. И мы, понятно, перетянем. Мы с вами их заступники перед богом. Вот оно как!

— Ну так что ж ты хочешь? Тут поневоле дрянью станешь. Каждый за себя, как говорится, а боженька за них, за благодетельниц…

— Ладно. Может, мы и мерзавцы, скажу с сожалением, но чего они лезут к нам?

— Мы ведь у них ничего не требовали. Понятно?

— Если умеючи за дело взяться, так от этих кумушек всего добьешься. Тут главное — ни в чем им не перечить. Никогда не говори плохо про генералов, про попов, про монашек…

— Надо вот что себе сказать: неужели мы понапрасну зрения лишились и стали слепыми инвалидами? И что же в конце концов плохого, если нам удастся так словчить, чтобы нас содержали, а мы бы не работали? Разве мы за все наши страдания не имеем на это право? Как по-твоему? Кто посмеет сказать, что нет у нас такого права?

— Значит, никакая мы не дрянь, раз есть у нас право ловчить, верно?

— Только держись, брат, начеку. В нашей ди-

визии водятся шпики и доносчики. Есть такие остолопы, что продадут тебя за сладкий сухарик.

— Да что ж, они, по сути дела, такие же, как и мы… Только очень уж подлизываются. Подлизывались, подлизывались и до того дошли, что стали настоящими холуями здешних дам. Такая у них, значит, натура. Чего там! Гнилые ребята…

Часовые закашляли. Все умолкли. Как только тревога миновала, разговор возобновился.

— А вот поговорим про молодых, про наших крестных мамочек, которые танцуют с нами на балах.

— Ты и представить себе не можешь, что за суки среди них попадаются!

— Ну, надо правду сказать: есть ведь и такие, что идут сюда действительно ради доброго дела. Молодо-зелено. Ничего еще не знают. Но другие, ох уж эти другие!

— У нас тут всякие найдутся. Первосортные есть шлюхи. Жены офицеров, громкие во Франции имена, дочери сенаторов, озорницы из судейских семейств, доченьки архиепископов! Чего там! Одни еще незрелые, а другие перезрелые… Прямо винегрет!

— Пляшут со слепыми инвалидами войны и уж такие испытывают от этого острые ощущения!..

Да еще и милосердие свое доказывают. Вот так и катятся, дуры, по наклонной дорожке, понимаешь? Бедненький слепой, он такой несчастный и такой скромный, никому не расскажет, и такой страстный… Бедненький слепой, его надо провожать всюду… Соображаешь?..

— Да, девчонок нетрудно бывает опрокинуть. А старуха-то ни о чем не догадывается, дальше своего носа ничего не видит…

— А я вот что тебе скажу: у старухи любимчик есть среди наших… Главный доносчик, иуда, этого стукача никак не вытряхнешь, хоть он здесь совсем не на месте, — ведь ослеп-то он не от ранения, а от самой поганой штатской болезни. Во время войны окопался в Салониках и подцепил там гнойное воспаление глаз, оттого что больно много якшался с арабами.

— Кстати сказать, можно представить нашего новенького шикарным бабочкам, у них есть чем приманить!..

— Слушай, мне вот досконально известно, что я собой нехорош, очень даже нехорош… Нос мне осколком отхватило. А хочешь верь, хочешь нет, но это мне даже выгодно. Если дамочка никак не поддается, я приподнимаю повязку и говорю: «Вы меня отталкиваете из-за моего ужасного ране-

ния?!» И как она увидит две дыры вместо носа, да как польются у меня слезы, сердце у нее так и переворачивается… Глядишь — и сладится дело…

— И вот что еще для нас выгодно — воспоминания. Мы ведь были прежде такие же, как все. И некоторых дамочек это волнует. Возьмет фифочка и спросит: «А вы, наверно, помните, какие шляпки дамы носили в четырнадцатом году?..» С этого начинается, а кончается, как водится, всем прочим.

— Ох, до чего же испорченные среди них бывают! Ты и не представляешь! Вот я, знаете ли, из-за своего ранения уже не мужчина. Так что бы вы думали, есть тут две оголтелые распутницы, они иногда меня приглашают к себе… Ну скажи на милость!.. Смехота!

— Поди, эти благотворительницы тоже о спасении своей души заботятся…

— Сначала мне тошно было, а потом я подумал: да ну их, должна же нас жизнь хоть как-то вознаградить после этой проклятой войны…

— Да, война…

— А ты, приятель, теперь часто будешь сюда приходить. Не сможешь без этого обойтись и станешь такой же дрянью, как и мы…

— Да ты не расстраивайся. Такова жизнь. Лишь

бы жилось хорошо…

— А доброты не жди.

Часовые еще раз покашляли. Подошли дамы. Слепые умолкли. Он угадал ее, узнал этот голос и запах. Она воровато пощекотала ему ладонь большим пальцем руки, плоским, гибким пальцем подлого убийцы. Слепой отпрянул. Поток грязных ругательств подкатил у него к горлу. Но он сдержался.

Его втолкнули в толпу других. Вперед, назад… Наконец поставили между двух слепых.

Председательница вела себя, как адъютант генерала; из кожи лезла вон, усердствовала, подавала команду хриплым, утробным голосом.

— Постройтесь! — приказывала она. — Вот так, хорошо. Сейчас прибудет генерал. Генерал оказывает вам великую честь, он пожелал присутствовать на заключительной части вашего утренника… Ну как там? Всех собрали? Хорошо. А крестные мамаши? Каждой крестной встать позади своего крестника. Так, так… Шеренги ровней! Вы, вот вы, голубчик, встаньте на правом фланге. У вас самое тяжелое ранение. Вы и зажжете огонь… Вы довольны? А новичок? Где новичок? Приведите его, мадемуазель, и поставьте вон туда, тут он не на месте. Он пришел без

знаков отличия, и в шеренге образовалась дыра… У вас есть награды, друг мой? Есть? Боже мой, как бы послать за ними? Да нет, уже поздно. У вас, конечно, есть военная медаль? Почему же вы ее не надели?.. И ведь никто вам ее не одолжит… Ну, ничего не поделаешь. Стойте в конце шеренги. Меньше будет заметно. Это главное. Генерал сказал, что прибудет в четыре часа. Сейчас ровно четыре. Генерал, конечно, не опоздает, военная точность. Нам надо спешить. В шесть часов мы все пойдем сопровождать вас, чтобы увидеть, как вы зажжете огонь. Итак, все ясно? Да! Как только генерал войдет, пианист заиграет «Марсельезу», и вы, моя дорогая, запоете своим чудесным контральто первый куплет… Знамя для вас приготовлено — вот оно, прислонено к роялю. Я нарочно взяла с длинным полотнищем, чтобы вы могли в него задрапироваться. Ну-ка, попробуйте… Итак, мои дорогие дети, вы все поняли? Когда заиграет музыка, значит, генерал прибыл… Может быть, сделаем репетицию? Нет, не стоит, генерал может как раз в это время войти… Боже мой, боже мой, уже десять минут пятого!

Настройщик претерпевает «Марсельезу». Фиглярскую «Марсельезу». Слышит голос контральто. В первый раз он слышит, как поет эта

женщина, эта потаскуха. Возмутительно, что этот голос вызывает в нем безотчетное волнение. Он ее ненавидит. Он себя ненавидит. Значит, он спасен.

А что же ему напоминает эта «Марсельеза»?

Как это далеко теперь! Как далеко! Это поднимается из самого глубокого пласта воспоминаний. Колодец, освещенный изнутри, очертания его становятся все отчетливее, он приближается, разрастается и вдруг, словно черная тень ястреба, падает вниз и распластывается по земле.

Перт, дорога на Таюр, домик лесника, воронки от снарядов… Брустверы окопов подперты мертвыми телами пехотинцев… Теплый майский день, воздух усеян созвездиями летающих бусинок — синих трупных мух. Горизонт закрыт непомерно раздувшимся трупом лошади с задранными вверх ногами, в копыта ей впились шипы колючей проволоки.

В этот майский день 1915 года вступила в войну Италия…

Худенького парикмахера из Тулузы, социалиста, послали на передовые позиции специально для того, чтобы петь в окопах «Марсельезу» — «она доводит немцев до бешенства».

Как он дрожал от страха, этот бедный парикма-

хер из Тулузы, как он дрожал! И все же, оставшись в одиночестве, маленький, хлипкий, он бросал в пространство звуки «Марсельезы», исполненной ужаса… Больше всего его пугала царившая вокруг тишина… Но вдруг рявкнули семидесятисемимиллиметровки и минометы. И тонкий осколок раскаленной стали, выскочивший из облака дыма, оборвал «Марсельезу», разорвав горло маленького парикмахера…

Та же самая песня.

Но теперь голос этой женщины течет пурпурными переливами нот, течет и затопляет его горячей кровью.

Он хочет убежать. Он решил это сделать. Сошлется на нездоровье и уйдет из этого зала. Так нет же, не может! Не может. Нелепый страх солдата как будто пригвоздил его к полу в конце шеренги. Ноги не слушаются его. И он покорно стоит навытяжку.

Приходится претерпеть и генерала.

Генерал взволнован. Заявляет, что говорить он не будет, потому что он старый солдат, а не оратор. И тотчас же очертя голову бросается в море напыщенного, штампованного красноречия:

— Огонь, который вы зажжете сегодня вечером, является символом неугасимой готовности

солдата принести себя в жертву… Готовности священной, как наше трехцветное знамя, как пламенная песнь — «Марсельеза»…

«Марсельеза»! Опять треплют «Марсельезу»!..

И при звуках «Марсельезы» настройщику вспоминается искаженное лицо маленького парикмахера, его голова, склоненная набок, потому что половина шеи у него оторвана, вспоминается черная дыра рта, раскрывшегося в предсмертном крике.

Его и самого сотрясают судороги зарезанного животного.

— Поблагодарим же этих замечательных женщин, — говорит генерал, — женщин, которые, сплотившись вокруг вас, внушают вам признательность к человеческому обществу, ибо в нем никогда не иссякает чувство сострадания. Война взрастила благородство в сердцах француженок. Подобно весталкам античного мира, они поддерживают огонь вашей нравственной чистоты и воинского духа… Вы хранители заветов погибших воинов…

Ах, вот как? Хороша она, эта нравственная чистота! Ах, если бы он посмел! Ему чудится, будто он слышит хриплый шепот маленького парикмахера:

— Чего же ты ждешь, товарищ? Чего же ты ждешь?

Он прекрасно знает, что он сделал бы, если бы посмел. Он знает, что бы он сказал. Но он все так же стоит неподвижно, стоит навытяжку. Весь он — абсолютная покорность слепых людей.

А генерал разошелся и все говорит, говорит…

— Вы принесли на алтарь служения родине свое зрение, вы ее спасли. Но вы еще не уплатили свой долг перед ней. Вы еще должны подать пример. Когда для защиты отечества мы потребуем от вас призвать к битвам новые поколения, вы будете всегда готовы ответить: «Мы здесь!»

VI

— Сволочи! Ах вы, сволочи!

Слова эти загремели в минуту приветственных возгласов: слепой вышел из строя и принялся кричать. Понеслись обличения, к которым примешивались упоминания о жене и ребятишках. Лавина обличений, которая вдруг срывается и несется скачками. Слепой отводил душу. Изо всех сил и во все стороны он выкрикивал то, что думал о гнусном мраке, окружавшем его, о мраке, носители которого имеют имена.

Секунда изумления.

Напрасно пианист с паническим энтузиазмом забарабанил марш «Самбра и Мозель», стараясь заглушить громкие оскорбления. Слепой орал во всю глотку. С быстротой гладиатора-ретиария кто-то бросился на него. Это певица. Она пыталась закутать его в складки знамени, как в смирительную рубашку. Он разорвал полотнище и оттолкнул эту женщину.

— Ах, нет! Нет! Только не ты! Падаль!

Он ощупью ищет дверь.

Вокруг свистят в воздухе палки слепых инвалидов, ищут его, стукают об пол. Он стал средоточием сумбурного кружения, угроз, перекрестных бранных слов, которые проносятся, как разъяренные летучие мыши, прошивая тьму ночи…

Взвивается голос скопца, визгливый фальцет, заглушающий все, даже клохтанье инвалида, у которого осталась только половина языка.

— Свинья!

— Мерзавец!

— Боже мой! Боже мой!

— Экий хам!..

— Уверяю вас, господин генерал…

— Так отплатил за доброту!..

— Пустое! Голова у него не в порядке. Шалый!

— Скажите лучше, буйно помешанный!

— Это не француз, не патриот!

— Вышвырнуть его за дверь!

— Грубиян!

— Паршивец!

Однако слышится и молодой голос:

— Бедный человек!

— Отойдите от него, мадемуазель.

— Ради бога, не приближайтесь к нему!

Настройщик был уже у лестницы.

Девушка бросилась ему наперерез. Заговорила вполголоса, умоляла:

— Мсье, мсье, осторожнее!

Он отстранил ее тыльной стороной руки:

— Убирайся! Ты тоже шлюха!

У ног его зиял пролет лестницы.

Он скатился по четырем-пяти ступеням, застланным ковровой дорожкой. Поднялся на ноги. Лакей подхватил его под мышку.

— А ты кто такой? Тебе что надо?

Человек в ливрее отступил, увидев поднятый кулак.

Внизу настройщик ударился о вращающуюся дверь, которая, как лопата, сгребла его и выбросила на улицу. Сердце у него колотилось с бешеной силой.

— Ах, сволочи! У меня жена! У меня дети!

Он шел без палки куда-то наугад. Наткнулся на дерево, на второе дерево, на третье. Вот край тротуара, мостовая.

— У меня жена! У меня ребятишки!

Он шел так уверенно, что никому и в голову не приходило помочь ему.

Он уже не мог сообразить, куда попал. Слышал только, что вокруг — автомобили. Слышал рычанье, как в зверинце. Разобраться в какофонии звуков ему не удавалось. Это было просто невозможно. В ушах шумело от прилива крови. Невозможно было определить, откуда идут звуки. Впрочем, он и не думал об этом. Он бежал.

Скорее, скорее прочь из этого автомобильного зверинца, смердящего бензином, тавотом, оглушающего рявканьем клаксонов, гудков и завыванием моторов.

И все это трепетало где-то в груди, в ритме «Марсельезы».

— У меня жена! Дети у меня!

Ветер от пролетевшего болида хлестнул его по лицу… Что-то огромное, отдававшее запахом горячего железа, остановилось почти у самой его щеки, пронзительно завизжав тормозами. Близко, так близко, что касался его плеча, застыл

автобус. Слепой двинулся дальше, натолкнулся на туристскую машину, из которой кто-то трубным голосом кричал по-немецки:

— А это могила Неизвестного солдата!

.....

Страшный удар тарана в спину.

Внутри он отдался грохотом землетрясения.

Пламя пожара.

Собралась толпа.

Мертвый притянул к себе весь муравейник, черневший на проспектах, которые ведут к площади Звезды. К нему сбегались пешеходы. Около него останавливались автомобили. Толпа была в судорожном волнении. В передних рядах теснились — каждому хотелось видеть кровь.

Пожилая дама протискивалась вперед.

— Ах, боже мой! Это ужасно!.. Просто ужасно!

— Может, его мать! — говорили зрители.

— Представьте себе, господин полицейский. Это бедняжка инвалид, которому помогало наше Общество. Ему вздумалось пойти одному к Триумфальной арке на церемонию возжигания огня…

— Боже мой! Боже мой! — рыдала сопровождавшая ее девушка в светлом платье.

— И вот он попал под колеса… Его раздавили…

ТРИСТАН РЕМИ
(Род. в 1897 г.)

Реми родился в Бургундии, в крестьянской семье. Много пет служил на железной дороге. На исходе 20-х годов сблизился с группой псевдопролетарских писателей, в начале 30-х — размежевался с ними и в 1932 году вступил в Ассоциацию революционных писателей и художников Франции. Член ФКП, печатался в «Юманите» и в еженедельнике Народного фронта — «Вандреди».

Под воздействием идей и опыта Октябрьской революции Реми смог увидеть жизнь бедноты в иной социальной перспективе, нежели его учитель Ш.-Л. Филипп. В первой повести Реми — «Клиньянкурские ворота» (1928) — отчетливо прозвучала альтернатива — безвольно влачить существование «на дне» жизни или же противостоять враждебным обстоятельствам. В рассказе «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (1929) Реми иронизирует над буржуазной кичливостью, высокомерием и эгоизмом. Герои сюжетно связанных между собой романтических повестей «У старого бочара» (1931) и «Святая Мария-за-

ступница» (1932), возрождающих традиции Жорж Санд, наперекор косной среде хранят верность своему призванию, несут людям радость. Герой романа «Великая борьба» (1937), воодушевляемый пролетарской солидарностью в эпоху Народного фронта, обретает веру в правое дело угнетенных и способность сражаться.

В послевоенные годы Реми увлекся мастерством клоунады, историей цирка и жизнью его артистов (эссе «Клоуны», 1945; роман «Цирк счастливой судьбы», 1949), а также виртуозами пантомимы («Жорж Ваг», 1964). Искусство, по убеждению Реми, ободряет людей в их борьбе за равноправие и человеческое достоинство. Образ поэта-коммунара Ж.-Б, Клемана воскрешается им в книге «Время вишен» (1968).

Tristan Remy: рассказ «Proletaires de tous les pays, unissezvous!» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 1929.

Рассказ «38-й из 9-го барака» («Le 38 du 9») опубликован в еженедельнике «Monde» 14 ноября 1931 года, № 180.

В. Балашов

38-й из 9-го барака

Перевод А. Лавровой

Больница стояла за городом, на склоне голого холма, где раньше росли только крапива да чертополох и куда ходили гулять парочки: колючки их не смущали.

Изрытый, заваленный мусором, летом этот пустырь принимал все же приветливый вид: солнце сияло в черепках битой посуды, и все живое трепетало, опьяненное простором и покоем.

Но вот однажды пустырь сровняли, убрали мусор. Вдоль длинной аллеи, посыпанной шлаком, выстроились в форме гигантского креста наспех сколоченные бараки, со всех сторон окруженные дощатым, выбеленным известью забором.

Все здесь было белым: бараки, кровати, тумбочки, халаты сестер и врачей. И всякий, кто попадал в больницу, знал, что он обречен жить здесь годами, если только сразу не умрет. Немногие ходячие больные неподвижными пятнами застыли на своих койках или на стульях перед раскрытыми окнами. Другие, лежачие, приговоренные к медленной смерти, сливались с белизной простынь и подушек. Каждый старался съежиться, спря-

таться, чтобы хоть как-то уйти от этой гнетущей действительности.

Редкие больные уныло слонялись по двору, где росли одуванчики, качавшие на ветру своими золотистыми головками. И люди, словно подражая им, тоже грустно качали головой. С каждым днем они все пристальней всматривались в небо. Здесь, в больнице, оторванные от мира, они чувствовали себя как бы погребенными заживо. И они трогали руками землю, чтобы узнать, мягка ли она. Они срывали одуванчики, жевали их стебельки, и в горестной жизни этих несчастных горечь цветка казалась, сладостной, словно прикосновение к любимым губам.

За забором, утыканным поверху гвоздями, виднелось кладбище, где хоронили тех, у кого не было близких. Дальше, на самой окраине, за рядами деревьев, за беспорядочным нагромождением лачуг, простиралась глубокая долина Бьевры, застроенная новыми домами, кожевенными заводами, устремившими в небо огромные трубы. Когда смеркалось, вдали, в вечерней мгле вспыхивали бесчисленные глаза окон. Там было будущее. Здесь не было даже настоящего.

Больной, выполнявший обязанности санитара, переходил от одной группы к другой.

— Это ты из девятого барака? С тридцать восьмой койки?

— Да, я.

— Тебя ждет старик.

Стариком называли здесь человека из города, который оказывал мелкие услуги больным, приносил им то, что они просили, и постоянно вертелся у всех на виду. Начальство смотрело на это сквозь пальцы.

Тридцать восьмой заторопился.

Старик передал ему письмо. Тот пробежал его и нервно скомкал.

— Конца этому нет! Сегодня — один, завтра — другой! Ну, о чем же я, в моем-то положении, могу просить, о чем могу хлопотать, чего добиваться?..

Он вернулся к себе в барак. В бараке стояло сорок коек — по двадцать с каждой стороны, — так тесно приставленных одна к другой, что для того, чтобы открыть окно, приходилось их отодвигать. Всякий раз, как открывалась дверь, сквозняк раскачивал никому не нужный плакатик со словами: «Свежий воздух нам не враг».

— Холодно! — крикнул долговязый и тощий как жердь больной. Он сидел полураздетый на кровати перед крошечным зеркальцем и брился

при свете оплывшей свечи.

Вошла санитарка.

— Хватит, гасите свечу! Добреетесь завтра. Никому ничего не нужно?

— Мне нужно, — раздался чей-то голос, оборвавшийся кашлем. — Дайте грелку, ноги окоченели.

То тут, то там слышатся слабые стоны. Мелькает белый халат. На столе посреди палаты санитарка зажигает газовую плитку. Плитка свистит, как простуженные бронхи. Больные ворчат: «И так-то не уснешь, да еще этот шум…» Слышится стук передвигаемых чашек… И наступает долгая, бесконечно долгая ночь с ее кошмарами, стонами, криками: «Сиделку, сиделку…»

Пробуждение зябко, как зимнее утро. В мутном, белесом свете палаты лица больных искажены, глаза кажутся огромными. Кто-то заходится в хриплом кашле. Кто-то мечется в жару и, ища облегчения, выпрастывает руки из-под простыни. Юноша смотрит на себя в оконное стекло. Ему восемнадцать лет, он сирота. Иногда его навещает маленькая черноволосая женщина. Он сжимает ее в объятиях так, словно силится удержать самое жизнь.

Вдруг обнаруживается, что больной с 40-й койки, крайней в ряду, умер.

— А я и не слыхал ничего, — говорит, не поднимаясь, его сосед. — Думаешь, он и вправду умер?

— Вправду?! — отзывается долговязый, тощий как жердь больной. — Ну и насмешил! Умер — и дело с концом. Вправду или не вправду, какая разница!..

Кто-то уже предупредил санитаров, и те притащили носилки.

— Такая смерть — это счастье, — замечает больной с 38-й койки.

Остальные закивали в знак согласия. Все они, казалось, уже смирились со своей участью, но в глубине души каждого охватывает ужас при мысли, что не сегодня-завтра придет и его очередь.

— Никак, он в постель наложил, этот малый!

— Да ты брось! — усомнился 15-й. — Двадцать третий, вот кто с… в кровать. У него кишки не в порядке, а должно же оно выходить с какого-нибудь конца!.. Позавчера, помнишь, давали свинину с картошкой. Ну, он все и выблевал. Жаль, псины нет, а то было бы ей, чем полакомиться…

И он нервно рассмеялся, но никто его не поддержал.

— Скотина ты после этого! — крикнул долговязый. Он так и не успел выбриться накануне и сейчас сидел с намыленной щекой. — Тебе бы

только мерзости говорить. Поди, не на помойке нас нашли!

— А мне плевать, где тебя нашли! — с раздражением буркнул 15-й. — Может, тебя и на пуховой перине заделали, да только видик-то все равно не лучше моего будет, когда тапочки белые примеришь…

Тридцать восьмому принесли кипу газет. День был серый. Листья каштанов, занесенные со двора ветром, перекатывались вдоль стен.

— Схожу-ка я сегодня в приемное отделение за своей козой… — произнес, открывая окно, изнуренный тяжким трудом, да к тому еще слабоумный старик с 7-й койки, поступивший в палату последним.

— За козой? Это еще что за новость? — удивился бывший циркач. У него были маленькие, тщательно закрученные кверху усики и черные баки, прилизанные брильянтином. Подтрунивая над стариком, циркач каждый раз задавал ему один и тот же вопрос про «козу», — так старик называл козью шкуру, которую носил раньше вместо пальто. Шкуру эту, последнее напоминание о его прошлой жизни, у него отобрали вместе с остальными пожитками, а взамен выдали больничную одежду. Теперь у старика только и было

разговоров что об этой шкуре.

— Козу твою пустят на корм червям, да и нас тоже!

Старик посмотрел на циркача исподлобья.

— Правда?..

— Говорю тебе точно: и козу твою, и тебя, и всех нас!

— Схожу хоть погляжу на нее… — пробурчал 7-й, счищая в миску яичную скорлупу. Продолжая жевать, он подошел к 38-й койке.

Тридцать восьмой знал, что конец его близок. Из города ему приносили книги, которые на другой же день уносили обратно. Целыми днями он что-то читал или писал. Когда к нему приходили посетители, он выходил с ними во двор — там можно было спокойно беседовать.

«Подумаешь, аристократ! — говорил обычно 15-й. — А задницу небось подтирает, как все. Тоже мне политик!»

Тридцать восьмой читал утреннюю коммунистическую газету.

— Послушай, — обратился к нему 7-й, — как бы мне заполучить обратно мою козу?

— Потерпи, папаша, до завтра, вместе с тобой сходим. Завтра приемный день.

На пороге появился главный врач. На нем тоже

было все белое. Чтобы не заразиться, он носил резиновые перчатки и марлевую маску. У некоторых коек врач задерживался, разглядывал больных и молча проходил мимо.

— Неплохо бы сделать здесь дезинфекцию…

— Мне нужна грелка, — потребовал больной, у которого мерзли ноги.

— Дайте им все, что они просят, — сказал врач медсестре.

Он остановился около 38-й койки.

— Ну, а у вас как дела? Все политикой занимаемся, а?

Врач сказал это без тени упрека, но скорее тоном безразличным, чем добродушным. Не успел 38-й рта раскрыть, как врач уже вышел из палаты. Тут же вернулся 7-й.

— Слушай, почему он никогда нас не осматривает? Почему не говорит, лучше нам или хуже?

— Твоя болезнь, прямо тебе скажу, не скоро, очень не скоро излечивается…

— А за козой пойдем?

Тридцать восьмой решил все ему объяснить:

— Мы здесь будем до тех пор, пока нас не доконает болезнь. Для всех мы обуза. Может, иной раз нам и станет получше, но здоровыми мы никогда больше себя не почувствуем.

— А!. — вздохнул старик и отошел.

«У одного в голове всякое непотребство, у другого — его грелка, у третьего — козья шкура… Каждый думает о своем, — размышлял 38-й. — А на свете столько несчастных, которым суждено страдать дольше, чем нам, которые до конца своих дней так и останутся без работы и ничего не получат в награду, когда седина покроет их голову… Сколько вокруг горя и нищеты, с которыми необходимо покончить! Сколько людей ютятся в трущобах! И спасать их надо прежде, чем им придется сделать коротенькую остановку в такой вот больнице… по пути на кладбище».

Тридцать восьмой снова углубился в газету. В ней сообщалось о забастовке арматурщиков на предприятиях «Канэ». Там он раньше работал, там организовал первый профсоюз и гордился этим. Воспоминания взволновали его. Он несколько раз перечитал статью. Часы текли медленно, тягучие, как смола.

Пришли санитарки и в больших корзинах принесли еду и посуду.

— Подходите по очереди, берите сперва яйца.

Все стали разбирать свои порции. Ходячие передавали тарелки лежачим. Осталось два яйца.

— Эй, газетчик, кушать подано!

Это относилось к 38-му. Он тоже подошел, взял свою порцию и тут же вновь углубился в чтение, больше занятый газетой, чем содержимым тарелки.

Картофельное пюре совсем остыло.

— Ты можешь мне объяснить, почему сначала раздают яйца? — спросил 8-й своего соседа.

— Чтобы с их помощью ты подогрел свою картошку, голова! — ответил бывший циркач.

Тридцать восьмой едва притронулся к еде и вышел во двор. Из-за высокой температуры у него бешено колотилось сердце… Выглянуло солнышко. Он посмотрел в сторону города, с наслаждением вдохнул запах дыма. Отсюда, с больничного двора, казалось, будто прохожие шагают, пританцовывая, прямо по гвоздям, торчащим поверх забора. Звуки внешнего мира будоражили его воображение, словно доносящаяся откуда-то незнакомая музыка. Вдруг он крепко сжал кулаки, и в глазах его с новой силой вспыхнула решимость. Эта решимость возвращала ему надежду на жизнь, надежду, такую осязаемо близкую, что, казалось, ее можно схватить рукой. И родилась эта решимость среди гнетущей безысходности больничного существования.

Затем он направился к входным дверям и стал

внимательно рассматривать посетителей и прохожих. Наконец он увидел Ростаньо — его-то он и ждал.

— Ну, как ты?

— Ничего. Как наши?

— Бастуют. Ты видел Эда?

— Да, — ответил 38-й. — Скажи, они уверены в успехе?

Ростаньо утвердительно покачал головой. Они поговорили немного. Потом 38-й повел Ростаньо по аллее к тому месту у забора, откуда был хорошо виден город.

— Гляди, тут уже перелезали, гвоздей нет… — заметил Ростаньо.

— Мне бы хоть какую одежонку… Не можешь прислать с кем-нибудь? Пусть подождет меня на углу, покажет дорогу. Где назначено собрание? Я должен быть там. Разумеется, ты возражаешь… Но подумай, мой первый профсоюз… Да-да, сам знаю… Это будет мой последний выход в город. Пока у меня еще хватит сил…

Ростаньо пообещал — просто так, чтобы не огорчать товарища. «Невероятно, — подумал он, — такой молодой — и неизлечимо болен…».

Был прохладный, сухой день. Вокруг все словно застыло. 38-й просмотрел газеты, ища в них того,

чего, увы, там не было. Ни одна газета не сообщала подробностей о забастовке арматурщиков фирмы «Канэ». Чтобы как-то занять себя, он стал делать заметки. Ему вспомнилось то суровое время, когда создать в районе профсоюзную ячейку казалось просто немыслимым. Пришлось бороться с неверием, апатией, с равнодушием тех, кто уверял: «Все, что ни делается, — к лучшему».

Сегодня вечером он расскажет товарищам, как им, трем-четырем активистам, удалось преодолеть безразличие одних и противодействие других, выстоять и вовлечь в профсоюз людей, труднее всего поддающихся организации, и из ничего создать что-то. Он постарается убедить их, что провести забастовку — значит одержать пусть маленькую, но победу. Впрочем, они и сами должны быть уверены, что победят: ведь среди них нет ни пораженцев, ни штрейкбрехеров, ни нытиков. Однако, несмотря на отдельные успехи, достигнутые уже сегодня, впереди предстоит выиграть куда более длительное и серьезное сражение, которое приведет к победе всех и каждого в отдельности. Но для этого надо, чтобы любая, хотя бы и частичная забастовка завершалась победой.

Он так разгорячился, что даже забыл о своей

болезни, о том, что в прошлом месяце он чудом выкарабкался из лап смерти. Ему вспомнилось то, о чем он подумал вчера, на этом самом месте, глядя на сверкающий огнями город: «Будущее — там, здесь — прошлое».

К нему подошел чудаковатый старик.

— О моей козе не забыл, а?..

— Не беспокойся, я ведь обещал завтра.

Он не заметил, как стемнело.

Дневная сиделка последний раз обошла больных. Все тот же голос попросил грелку.

— Где тридцать восьмой? — спросила сиделка.

— Во дворе, мечтает!..

Вскоре он вернулся за курткой.

— Схожу в двадцать второй барак… к приятелю…

Ему разрешили. Он перелез через забор, пересек пустырь и очутился на улице. Там кипела жизнь.

Товарища, который должен был принести одежду и проводить его, он прождал напрасно: ему и в голову не пришло, что Ростаньо не мог рисковать его и без того слабым здоровьем, тем более что победа арматурщиков была обеспечена.

Поздно вечером, когда ждать было уже бес-

смысленно, 38-й вернулся в барак. Лихорадочное возбуждение, еще совсем недавно придававшее ему силы, измотало его вконец, а мучительное сознание невыполненного долга, который он, в своей оторванности от товарищей, считал священным, было удручающим. Пульс его бешено бился, легкие горели, дыхание прерывалось.

Это и в самом деле был его последний выход в город. Больше он не делал вид, что сопротивляется недугу: он знал, что конец уже близок.

Он никого не потревожил. Сиделка, как обычно, дремала у ночника и на стоны больных уже не обращала внимания. На этот раз она тоже не услышала ничего особенного. Наутро 38-го нашли мертвым. Он лежал под одеялом одетый.

— А я и не слыхал ничего, — признался его сосед, — думаешь, он вправду…

Но он вспомнил долговязого, его острый язык и осекся.

— Выходит, теперь мою козу сожрут черви? А я-то ему верил, он мне обещал… — заскулил старик.

Пришли санитары убрать постель и вещи 38-го.

— Стоящий был парень, таких бы побольше, — сказал один из них, намекая на чересчур

капризных больных.

Пятнадцатый, которому это замечание пришлось не по вкусу, повторил то, что теперь уже знали все:

— Аристократ-то наш, выходит, сыграл в ящик!

В углу тихонько плакал владелец козьей шкуры.

— Ну, чего хнычешь? — стал успокаивать его цирк а ч. — Что поделаешь, все там будем! И твоя коза, и ты. И мы все. И он.

Явился человек, бегавший по поручениям, и положил на 38-ю койку кипу газет. Долговязому понадобилась бумага вытереть бритву; он оторвал от одной газеты клочок, сел и прочитал на обрывке:

«После сорокавосьмичасовой забастовки арматурщики предприятий «Канэ», добившись удовлетворения всех своих требований, вновь приступили к работе. Следует отметить, что только благодаря самоотверженной организаторской работе ряда товарищей, в том числе товарища Рамюне, который из-за болезни находится сейчас в больнице, профсоюзу сравнительно легко удалось одержать победу над предпринимателями, пользовавшимися разносторонней поддержкой.

Однако...»

Клочком бумаги с этими ничего не значащими для него словами долговязый стал вытирать мыльную пену. Он знал лишь больного с 38-й койки из 9-го барака.

ЭЖЕН ДАБИ
(1898–1936)

Эжен Даби родился в семье рабочего: его мать долгие годы служила консьержкой. Дядя Эжена, ремесленник, был активистом социалистической партии; от него подросток впервые услышал имя Жореса.

В 1917 году слесаря Эжена Даби призвали в армию. После демобилизации Даби работает декоратором, сочиняет стихи. Первые его книги (повесть «Северный отель», 1929; роман «Малыш Луи», 1930) — раздумья над участью неприметных людей, над судьбами своего поколения — буржуазная критика объявила образцами популизма. Апеллируя к милосердию господ, популистская литература создавала приземленный образ бедняка, забитого и покорного, лишенного воли к борьбе. Рассказывая о серых буднях, Даби преследовал иную цель — разрушить легенды, о всеобщем благоденствии (роман «Вилла Оазис», 1932).

Даби особенно чтил Монтеня, Руссо, Стендаля; в творчестве Максима Горького он видел при-

мер верности «делу эксплуатируемых». В 1932 году Даби вступил в Ассоциацию революционных писателей и художников Франции. В народных характерах он открыл искренность, душевную широту и любовь к жизни, утраченные эгоистами-буржуа (сборник рассказов «Остров», роман «Новопреставленный», 1934). От книг Даби исходит убежденность в том, что капитализм чреват войной, противоречит естественным стремлениям личности (роман «Зеленая зона», 1935).

Даби-рассказчик подчеркнуто объективен. Источник нравственных сил личности он открывает в чувстве солидарности, в пролетарской гордости, которая выпрямила рабочего человека в эпоху Народного фронта и заставила его менять ход собственной жизни. Даби — один из инициаторов созыва I Международного конгресса в защиту культуры (Париж, 1935). В 1936 году, приехав в Советский Союз, он укрепился в своей приверженности к идеям коммунизма, о чем свидетельствует его «Интимный дневник»..

Eugene Dabit: «L'lle» («Остров»), 1934; «Train de vies» («Ход жизни»), 1936.

Рассказ «Человек и собака» («Un homme et un chien») входит в сборник «Ход жизни».

В. Балашов

Человек и собака

Перевод И. Татариновой

Человек свернул на дорогу, ведущую вдоль бухты. Высокий, сухощавый, широкий в плечах, но уже согнутый годами; на нем были серые вельветовые штаны, заплатанные на коленях и на заду, линялая синяя блуза с засученными рукавами, открывавшими жилистые руки; на голове — выгоревшая соломенная шляпа, на ногах — стоптанные парусиновые туфли на веревочной подошве, того же цвета, что и пыльная дорога, и можно было подумать, будто он идет босиком. Шел он медленно, но ступал твердо, по-крестьянски. В одной руке у него был кувшин, в другой — плетеная корзинка. Следом за ним трусила собачонка.

Человек шел по плохо вымощенной дороге, опустив голову, не глядя на бухту, темной воды которой уже коснулись первые лучи солнца. По

обочине, отделявшей поля от дороги, в некотором расстоянии одна от другой лежали кучи щебня. По временам человек взглядывал на эти ровные кучи.

Он подходил к старой башне в конце бухты. Собака опередила его, тявкнула, побежала быстрей, остановилась у кучи крупного щебня и снова тявкнула. Собака была маленькая, с слежавшейся шерстью цвета кофе с молоком и рыжей кисточкой на конце хвоста; уши тоже были рыжие, бока впалые, лапки тонкие, носик розовый, а глаза необычные, зеленые.

— Ну, ну, тихо, — приказал человек, отдышавшись.

Здесь им предстояло провести целый день, — человеку — сидя на щебне, собаке — растянувшись в пыли.

В саду с инжирными деревьями стояла белая вилла. Человек прислонил к каменной ограде кувшин и корзинку, из которой вынул два молотка: большой и малый.

— Сегодня, — сказал он собаке, — ты будешь в тени.

Что до него, то солнце ему не мешало, вся его жизнь прошла на поле, на солнцепеке. Из-под соломенной шляпы глядело морщинистое, кир-

пичного цвета лицо с холодным пятном давно не бритого подбородка; светлые глаза поблескивали, хоть взгляд их и был неподвижно устремлен в пространство; губы, тонкие и бледные, были не четко обрисованы.

Человек уселся на груде уже битого щебня, раздвинул длинные ноги, взял большой камень, положил его перед собой, надел на пальцы левой руки — средний и указательный — два свинцовых наперстка; затем крепче стянул ремень. Теперь он был готов. Но раньше, чем взяться за молот, он посмотрел на груды белого и красноватого щебня — все это была его работа. Уже пять месяцев, в любую погоду, трудился он на этой дороге. И уже пять месяцев собака была с ним. Откуда она приблудилась? Человек не знал. Собака была молодая, верно, гуляла, отстала от хозяев, и человек подобрал ее еще тогда, когда только начал бить щебень в порту. Вот и все. За весь день почти никто не проходил здесь. Человек колол щебень, собака спала, убегала, опять прибегала к человеку, и они молча спокойно взглядывали друг на друга.

Человек подымал и опускал молот. Час за часом повторял он одно и то же движение, равномерное и точное, как движение маятника. Он прерывал

его, чтобы навести порядок, отделить камень от щебня, иногда чтобы глотнуть воды из кувшина. Это утро было такое же, как и все другие. Стук, стук, стук! Молот резко ударял по камню, и камень раскалывался. Осколки иногда попадали человеку в лицо, но он не выпускал из костлявых рук ни молота, ни камня; с языка не срывалось ни звука. Человек был такой же ко всему безучастный, как те камни, что он колол. Солнце медленно припекало его плечи, плохо защищенные соломенной шляпой. Собака подползла ближе и вытянулась в тени от ограды, человек улыбнулся ей, не отрываясь от работы. Голова его была занята одной мыслью, постоянно одной и той же мыслью: «Столько-то кубометров на столько-то...» — и тогда на жизнь ему — и собаке тоже — хватит. Но для того чтобы получить кубометр щебенки, надо бить молотом. Надо долго работать, не отвлекаться, только тогда оправдаешь дневное пропитание человека и собаки.

Человек так и работал, но вдруг он взглянул на дорогу — он услышал урчание мотора: приближался закрытый автомобиль. Подняв облако пыли, он проехал мимо залаявшей собаки и сразу остановился у голубой калитки. Из него вышли небольшого роста упитанный господин

в сером фланелевом костюме, величественная дама в белом, девочка и молоденькая горничная со свертками в руках. Человек снова взялся за молот. Но тут опять залаяла собака, и, подняв голову, человек увидел около себя девочку.

— Осторожно, осколок бы не попал! — сказал он.

У нее было такое светлое личико, такая нежная кожа; и сама она была прехорошенькая, в розовом платьице, маленькая, лет восьми, не больше. Собака подошла поближе, обнюхала девочку, та протянула к ней Руку.

— Жуана! — раздался властный голос.

И девочка вприпрыжку убежала прочь.

Человек работал, как и каждое утро. Все же время от времени он поглядывал на виллу, голубые ставни которой были открыты; его отвлекал детский смех, крики; а потом автомобиль приехал опять, остановился, горничная и хозяин вынесли из него чемоданы. Человек смотрел, не вставая с кучи щебня, но собаке не сиделось, раз даже, набравшись нахальства, она вбежала в калитку. Когда солнце стояло высоко в небе, человек отложил молоток. Встал, взял корзину, кувшин и примостился на большом камне. Собака подбежала к нему и села.

— Тоже проголодалась, псина?

Собака не любила сырые помидоры, которыми с аппетитом закусывал человек. Она ждала, нетерпеливо постукивая хвостом, и в виде задатка получала кусочки хлеба, которые быстро проглатывала, лязгнув зубами.

Человек с помидором в одной руке, с ломтем хлеба в другой медленно жевал, и морщины на горле двигались вместе с движением его рта. Собака вставала, обнюхивала корзину, трогала ее лапой. Сегодня так же, как и всегда. Человек вынул из бумаги кусок деревенской колбасы: красной, жирной, наперченной — настоящее лакомство, что для собаки, что для человека! Собака визгнула, проглотила кусок, еще раза два-три щелкнула зубами, и с ее порцией было покончено.

— Знаю, знаю, идешь ко мне, — пробормотал человек.

Собака потерлась о его штаны. Изо дня в день повторялась та же сцена: собака настораживала уши с мягкой шерстью внутри, облизывалась, по морде стекала струйка слюны. Человек сдавался не сразу — скорее из хитрости, не от жадности.

— Лови! — крикнул он наконец.

Собака проглотила остаток колбасы, и мор-

щинистое лицо человека растянулось в улыбке. «Все по справедливости, — подумал он, — у меня есть помидоры и фрукты», — он срывал плоды инжира с низкорослых деревьев на обочинах дороги. Они покончили с сыром и хлебом. Человек взял кувшин и попил в свое удовольствие, потом налил воды в старую жестянку, и собака принялась жадно лакать. Для собаки все было закончено; она подошла к человеку, который медленно пережевывал табак, и осторожно положила свою теплую морду ему на ногу. Человек погладил собаку, она закрыла глаза. Вдруг и человек и собака вздрогнули от неожиданности: прозвонил колокольчик, послышались крики. Человек повернулся к вилле, он подумал, что их соседи собираются завтракать. Более любопытная собака подошла к калитке.

— Поди сюда, не наше это дело… — рассердился человек.

Собака не тронулась с места. Человек взял свой инструмент. Из них обоих работал только он, все по справедливости — кому и работать, как не человеку? Молоток опустился на камень. Медленнее, чем утром, потому что в знойные летние дни к двум часам руки и плечи как свинцом налиты. А горло огнем жжет. Время от времени

человек делал несколько глотков прохладной воды. Истинное наслаждение, когда прохлада ласково проникает в грудь. Тем временем солнце продвинулось к западу, опустилось ниже. Тень, отбрасываемая человеком на камни, удлинилась, стала менее плотной, окрасилась в синеву. Собака, дремавшая у ограды, встала, отряхнулась, подошла ближе.

— Хлеба хочешь? — спросил человек.

Он разжимал губы, только когда заговаривал с собакой, разжимал всего на мгновение, потому что собаке нужны не слова, а положенный ей рацион. Человек разломил горбушку, оставшуюся от обеда, взял кусок хлеба себе, другой протянул собаке. Они поели. Человек — медленнее, чем в обед, собака — с большей жадностью. Потом она высунула розовый язык. А человек поболтал кувшин и налил в жестянку тот остаток воды, что приходился на долю собаки.

На дороге стали появляться первые гуляющие. Человек видел их тени, скользившие по камням. Около него никто не останавливался. Оно и понятно, уже целую вечность видели его здесь. Какое надо иметь любопытство, чтобы дважды глядеть, как работает каменотес! Собака привлекала больше внимания. Собака тоже устала от

однообразных движений человека. Ей надоело, что он все время сидит, наклонившись над камнями, которые надо катать, и перекатывать, и ударять, чтобы хоть на мгновение их оживить. Она не выдерживала, начинала лаять, становилась на задние лапы, прыгала на человека, и тогда приходилось на минуту перестать колоть щебень и погладить собаку. Иначе она не дала бы ему покоя своими штучками.

В этот вечер человеку не пришлось выдерживать наскоки собаки. Несколько раз он прерывал работу, словно его что-то тревожило. Наконец он поднял голову: собаки не было тут. Уже давно? Человек не знал: они не следили друг за другом. Каждый занимался своим делом. Но сейчас собаке как раз и положено было заниматься приставанием к нему. На лбу человека обозначилась более глубокая складка. Он не стал звать, не стал свистеть, этого у них заведено не было. Вдруг он увидел, что по его куче щебня пробежали две тени, пробежали очень быстро — тень его собаки и какая-то другая; вот она стала определеннее, обрисовались две детские ножки, и, подняв голову, человек увидел девочку, ту, что была здесь утром.

— Пришла, собака, — сказал он, и сухой тон

голоса смягчился, перешел в ласковое ворчание.

Собака посмотрела на своего хозяина, потом на девочку, которая кусала тартинку и перемазала маслом щеки. Собака облизнулась, вздохнула, раздула бока. Но девочка смотрела на человека. Собака залаяла и, подбежав к нему, проделала все свои штучки: каталась, не давала ему снова взяться за работу.

Девочка смеялась.

— Это ваша собака? Как вы ее зовете?

Человек разговаривал только вечером, когда возвращался, с соседями по улице, такими же стариками, как и он.

— Зовете как? — повторила девочка, подойдя ближе.

— Собакой зову.

— А… а… Ваша собака не хотела уходить из нашего сада.

Человек решился взглянуть на девочку. Нет, пятьдесят с лишним лет тому назад он не был таким белокурым, таким светленьким.

— Идем, Собачка, — позвала девочка. — Идем…

Позвала нетерпеливо, а потом протянула руку. Собака подпрыгнула, девочка подняла руку выше.

— Еще раз!

После нескольких прыжков собака получила в награду большой кусок тартинки. Девочка убежала, собака бросилась вдогонку за ней. Человек поглядел им вслед. Лицо его сморщилось в гримасе — это он улыбнулся, девочку такая улыбка испугала бы. За молот он уже не взялся. Он встал. От восхода и до заката он бывал на ногах совсем недолго — такая уж работа у каменотесов, им приходится сидеть на земле. Он почувствовал, что ноги у него подгибаются. Собака пробежала мимо, подпрыгнула, затем пробежала девочка; он сделал несколько шагов за ними, не надеясь, впрочем, их догнать, и вдруг остановился: из сада вышла женщина.

— Жуана! — крикнула она. — Сейчас же домой!

Собака медленно вернулась к нему. Женщина проводила ее взглядом, затем человек почувствовал ее пристальный взгляд на себе.

— Идем домой, слышишь! — сказал он.

Будь он ворчлив, он бы прибавил: «Кончила дурачиться? Разве можно играть с людьми, которые живут в такой вилле!» Но он был доброго нрава, да и пора уже было собираться.

Когда на следующее утро он пришел на свою дорогу, он даже выругался от удивления: вчерашняя куча щебня была куда меньше, чем те, что

он наколол в предыдущие дни. Черт возьми! Да, вчера он пролодырничал!

— А все ты… — сказал он собаке.

Он взглянул на виллу, ставни были закрыты, он сел и сразу принялся за работу, а собака послушно улеглась около. Человек наверстывал упущенное и встал, только чтобы очистить от щебня место для работы. Собака такой усидчивости не проявила. Она принюхивалась, вертелась, убегала, постояла у садовой калитки, взвизгнула, вернулась к человеку. Около девяти они услышали, как хлопнули ставни; потом раздались веселые крики. Собака опять заняла свое место у калитки и робко тявкнула. Человек равномерно ударял молотом по камню. Но мысли его не были всецело поглощены работой, в голове, которую не тревожили думы, шевелилась какая-то непонятная забота… Раз он даже едва удержался, чтобы не проявить такого же любопытства, как его собака. Только ведь он человек и знает, что нехорошо заглядывать к соседям, особенно если соседи богатые. Но он прислушивался, он улавливал крики девочки, которые иногда заглушались голосом женщины или громким лаем его собаки. «Ишь как ты стараешься!» Он понимал ее. А впрочем…

Человек и собака пообедали вместе. Когда с

едой было покончено, собака положила морду ему на ногу. Утренний ветер утих, на другой стороне бухты, за маяком переливалось светлое марево. Собака спала, во сне она чуть повизгивала и вздрагивала, отчего иногда дергалась ее задняя лапка. Человек, защищенный от солнца полями своей зеленоватой шляпы, глядел в пространство отсутствующим, неосмысленным взглядом, пока съеденные хлеб, рыба, сыр превращались в добрую мускульную силу. Потом он снова взялся за молот.

И опять удлинились тени на дороге. Маяк принял синеватый оттенок, с моря потянуло ветерком. И к человеку, весело смеясь, подбежала девочка. Собака была с ней, девочка бросала ей кусочки хлеба с маслом, и та ловила их на лету, словно ученая собака. Это удивило человека, и он подумал, что до этого дня не знал как следует своей собаки. Девочка присела на корточки. Человек увидел две ручонки, перебиравшие камешки, и испугался за нее. Но нет, она играла, а собака следила за ней умильным взглядом. Вдруг девочка вскочила, взмахнула рукой, и собака побежала за брошенным камешком. Два раза, десять раз, двадцать раз начинали они эту игру. Человек не возражал, — его куча щебня от этого меньше не

станет. Все правильно: что для него работа, для собаки с девочкой — забава.

Потом девочка подошла к парапету, окаймлявшему бухту, и кинула камешек в воду. Собака побежала, залаяла, но в море не пошла; она стала вертеться в ногах у девочки, вилять хвостом, возможно желая заставить позабыть свое малодушие. Человек улыбнулся. «Знаю тебя, воды ты не любишь», — думал он. Он был и сам такой и уже не мог вспомнить, когда купался в море в последний раз.

Три дня спустя человек уселся на другой куче камней; теперь он мог, не поворачивая головы, видеть собаку, которая заняла свой пост у калитки и не сходила с места, дожидаясь, когда ее откроют. Она исчезала надолго и вчера не пришла даже разделить с человеком его трапезу. И сегодня тоже она появилась гораздо позднее, пренебрегла предложенным куском хлеба и лениво растянулась у ограды.

— Уж не заболела ли ты? — спросил человек.

Утром он видел, как она прыгала перед калиткой, как бросилась к девочке; потом слышал ее громкий лай. Нет, собака не больна. Может, там, на вилле, ее накормили чем-то не тем? Собака не пожелала разговаривать, она спала. Ладно, там

будет видно.

Под вечер человек услыхал голос девочки: «Собачка! Собачка!» — и увидел, как его собака вскочила, понеслась на зов, стала кататься в пыли, вилять хвостом, прыгать, ласткться к девочке, тявкать, терпеливо ждать, когда ей дадут кусочек тартинки, — словом, такой свою собаку он раньше не видел, и человек радовался, что она такая веселая. Успокоившись, он снова принялся за работу. Опустив голову, прикрытую шляпой, он ударял, ударял своим молотом, и вдруг увидел перед кучей щебня начищенные до блеска ботинки — такие ботинки на высоких каблуках носят городские барыни — и две толстые круглые икры. Ветер трепал вокруг этих икр белую легкую материю.

— Эй! Послушайте!

Он закрыл глаза и продолжал бить щебень. Он узнал голос.

— Вы что — глухой?

Он прервал работу, поднял голову, вежливо снял шляпу и приложил ладонь к уху.

— Это ваша собака?

Человек прищурился, взгляд его скользнул вверх по белому платью, потом остановился на пышном импозантном бюсте.

— Так вы глухой?! — крикнула женщина. — Я спрашиваю, собака ваша? Моей дочке она нравится…

Человек уставился в пространство. В некотором расстоянии от себя он увидел собаку и девочку, забавлявшихся все той же игрой с камешками. Девочка говорила: «Беги, Собачка! Лови, Собачка! Ложись, Собачка!» — или: «На сахара! Не дам тебе сахара!» Собака слушалась, как то и положено…

— Моя, — ответил он, — то есть нет, приблудилась ко мне, не знаю откуда, вот мы и зажили вместе. Скоро уже полгода.

— Да, так или иначе, она ваша. Моя девочка очень хорошо с ней играет, а потом, у нас нет собаки, чтоб сторожить дом.

— Она еще молодая, — пробормотал человек. — А вот играть, это, я думаю, да!

— Сколько вам за нее?

Теперь человек запрокинул голову и увидел лицо женщины с барственными правильными чертами и круглую полную шею с несколькими рядами бус.

— Я ее покупаю. Ведь не боитесь же вы, что у вас украдут камни? В вашем положении кормить собаку — это роскошь. Сколько вам за нее?

Человек опустил голову; его правая рука, устав-

шая за день от тяжелой работы, все еще дрожала, хотя он и положил молот. Собака вертелась около девочки, она не думала, что речь идет о ней, она не думала, что кому-то, возможно, ее жаль. Она на свободе, забот у нее нет; с ней играют, любуются ею, а вот он не сумел ее разглядеть. Она же молодая, любит смех, беготню, любит играть с детьми… и любит мясо, это ее слабость, перед прилавком в мясной она и визжит, и хвостом виляет. Вот в этом и сказывается его человеческое превосходство: он никогда ничего ни у кого не просил. И никогда не дал почувствовать собаке, что он ей помогает. Но что поделаешь, собака — это собака, а человек — человек, даже если он бьет щебень.

— Коли она нравится вашей девочке, возьмите ее. Я же сказал — она ничья.

— Но вы ее кормили полгода. Вот, держите…

Человек посмотрел на протянутую к нему руку; потом разжались пальцы, на ладони лежали деньги. Он отшатнулся.

— Нет, нет, кормить ее было мне в удовольствие, — пробормотал он. — И я рад, да, я очень рад, если ваша девочка…

Женщина перебила его:

— Хорошо! Вы возьмете ее обратно. В конце

сентября мы запираем виллу и возвращаемся в город.

Человек увидел, как ноги передвинулись, повернулись, пошли прочь. Он открыл рот — перед ним было пустое место, он не решился поднять голову. Он слышал лай собаки, крики девочки; как бы там ни было, но быть свидетелем их веселья он не хотел, и он с излишней силой начал колоть щебень. Потом он услышал: «Собачка, пора домой!», а затем неприятный ему голос толстой женщины: «Жуана, сейчас же иди домой со своей собакой». Только тогда он бросил долгий взгляд на опустевшую дорогу, на уже запертую калитку.

С трудом встал он на ноги, с трудом поднял свой инструмент, взял кувшин, где булькнула вода — та, что была оставлена для собаки. Он не взглянул, как в другие дни, на сегодняшнюю кучу щебенки, он подумал: «В сентябре… Где я буду в сентябре, на какой дороге? Да и буду ли еще в сентябре бить щебень?» А собака? Что же, она сделала свободный выбор; вероятно, она хорошо проведет лето, сумеет подластиться к новым хозяевам, и они возьмут ее в город, собака была себе на уме. Человек вспомнил день, когда он ее встретил, вспомнил все ее штучки, как она тихо тявкала, как умильно глядела… Он шел по

дороге с кувшином в одной руке, с корзинкой — в другой. Вскоре он дошел до того места, где они познакомились… Как раз здесь, у этой кучи щебня. И человек украдкой бросил на нее взгляд, не решившись даже остановиться, хотя ноги у него гудели, были тяжелее, чем в прочие дни.

МАРСЕЛЬ АРЛАН
(Род. в 1899 г.)

Арлан родился в селении Варенн (департамент Верхняя Марна). Получив степень бакалавра, уехал в Париж. Вскоре пережил кризис религиозных верований, обретя опору в идеях Паскаля и Достоевского. До призыва в армию учился в Сорбонне, После войны входил в состав дадаистской группы, но вскоре круто изменил свой путь. Духовной самоизоляции и анархистской браваде дадаистов Арлан противопоставил пантеистическое единение человека и природы (повесть «Чужие земли», 1923). Его герои ищут душевного покоя в деревенской глуши, в неспешном ритме провинциальной жизни. Повествовательной манере Арлана присуща элегически тревожная интонация, в миросозерцании художника сказывается не преодоленная им двойственность: в его прозу вторгаются охранительные, консервативные мотивы (роман «Порядок», 1929; эссе «Записки Жильбера», 1931), когда, отстраняясь от живой истории, он уповает на возвращение вспять, к наивной вере предков, якобы способ-

ной укротить бунтарский разум; в ней берет верх жизненная правда («Живые», 1934), когда он смотрит на мир глазами труженика, стоически сносящего все невзгоды. Сострадая простой душе, Арлан видит трагизм столкновения поэзии патриархальных чувств с прозой эгоистического расчета (цикл новелл «Многое нужно, чтобы сотворить мир», 1947).

Арлан — влиятельный литературный критик и эссеист, знаток классического наследия. С восхищением отзывается он о пушкинском искусстве рассказа, о психологизме Достоевского.

С 1953 года Арлан возглавляет журнал «Нувель нувель ревю франсэз». В 1965 году, как бы подводя итог своим духовным исканиям, писатель говорил: «Я любил Алешу Карамазова, Жюльена Сореля, Фабрицио дель Донго и многих других. Ныне я не слишком увлечен книжными героями... Мой герой — в живой реальности...» В 1968 году Марсель Арлан избран во Французскую Академию.

Marcel Arland: «Les vivants» («Живые»), 1934); «Les plus beaux de nos jours» («Лучшие дни нашей жизни»), 1937; «Il faut du tout pour faire un monde» («Многое нужно, что-

бы сотворить мир»), 1947; «L'eau et le feu» («Вода и пламя»), 1956; «A perdre haleine» («Не переводя дыхания»), 1960; «Attendez l'aube» («Подождите рассвета»), 1970.

«Близость» («L'intimite») входит в сборник «Лучшие дни нашей жизни».

В. Балашов

Близость

Перевод Н. Жарковой

Сначала, как и каждый вечер, проскрежетал дверной засов, потом заскрипели ступеньки — это служанка подымалась к себе наверх. А затем где-то неподалеку пес, ворча, поскреб каменные плиты пола и со вздохом улегся в прохладном уголке.

Близился тот час, когда в единственной еще освещенной комнате с закрытыми ставнями, но распахнутой на сентябрьские сумерки дверью все четыре стены и низкий потолок словно бы надвигаются, давят друг на друга. Свет стоявшей на столе лампы кругами расходился по потолку, выхватывал из полумрака фигуру мужчины, раскинувшегося в кресле с книгой в руках, и

фигуру женщины, склонившейся напротив над вязаньем. Слабые отблески робко скользили по ковру, пробирались меж стульев, легко касались вазочек на камине и там, смешавшись с тенью, сами этой тенью ставшие, умирали по углам.

Мужчина захлопнул книгу, скрестил ноги и оперся локтем о стол. И наступил час мечтаний, тех, что он любил превыше всего и стыдился, что все еще их любит. Приход их предвещала легчайшая тоска, усиленное биение сердца. Он сплетал и расплетал костлявые пальцы, сутулился и даже как-то становился меньше ростом. Достаточно было прочитанной строки, самого незначительного события, происшедшего днем, клочка земли, увиденного по дороге с фабрики, и сразу перед ним воскресала вся его жизнь. Каждая мысль, расплывчатая ли, четкая ли, была связана с каким-нибудь неповторимым ощущением, которое он вызывал к жизни. Иной раз ощущение опережало работу памяти, ион знал, какая именно картина возникнет перед ним сейчас из того смутного, что обволакивало его душу. Лица, события, слова, далекие запахи… воспоминания о них сплавлялись с самой его жизнью, и эту самую жизнь ощущал он сейчас во всей ее первозданной свежести, как когда-то ребенком,

на чердаке, в лесу, в классной комнате.

«Да, да, совсем как тогда, когда мама говорила: «Экий ты, Леон, опять размечтался! Попомни мои слова, никогда ты инженером не станешь».

Он провел кончиками пальцев по усам, жестким, уже седеющим. Бедная, бедная мама, вечно-то она кричала, зато как она гордилась им, своим сыном. Сколько же ей тогда было лет? Странное дело, почти столько же, сколько ему сейчас. Он улыбнулся, и от улыбки на его длинном, строгом, упрямом лице, в темных его глазах вдруг проступило мягкое выражение, как у благоразумного ребенка. Рука поползла вверх, прошлась по крыльям длинного носа, коснулась морщин, прочертивших лоб, потом замерла у виска, где сильно поредели волосы.

По саду пронесся порыв ветра. В комнате стало уютнее. Он узнавал эти шумы, это тепло, этот молчаливый диалог тьмы и света, он обнаруживал в себе отражение тысячи таких же вечеров, обнаруживал в потаенных глубинах своего сердца также и каплю горечи, капельку тревоги, а возможно, и пустоту, которую ни годы, ни работа — ни даже счастье — никогда не могли окончательно заполнить, но с ней он уже успел сжиться.

— Надо бы все-таки георгины посмотреть, —

проговорил он вслух.

Не получив ответа, он взглянул на жену. Она бросила работу, и руки ее праздно лежали на неоконченном вязании; он испугался, что она сейчас упадет со стула, так напряженно, почти не касаясь спинки, сидела она, хрупкая, с застывшим взглядом. И внезапно такая постаревшая, что от изумления он открыл рот. Щеки впалые, ключицы выпирают. Да полно, она ли это? А этот пустой взгляд, усталый рот, ссутулившиеся плечи? Кто она, эта женщина, которой словно бы и нет здесь, кто эта незнакомка?..

— Луиза!

Она встрепенулась, подняла на него глаза, попыталась улыбнуться. Чуть дрогнули губы, — и это улыбка? Она разучилась улыбаться! Ему сдавило горло, и он все не мог отвести взгляд от этой женщины, которую едва узнавал.

— Что? — спросила она.

— Да нет, ничего… Что с тобой?

Она покачала головой, вновь силясь улыбнуться.

— Просто немного устала.

И снова взялась за свое вязание. Чувствуя на себе его взгляд, она села прямо, движения стали быстрее, даже по лицу, казалось, прошел отблеск

жизни. А он, следя за каждым ее жестом, все старался обнаружить в этой женщине привычный образ, тот образ, что был его гордостью, едва ли не смыслом всей его жизни, и тревога не оставляла его, все так же не хватало дыхания, даже руки чуть затряслись.

Не подымая головы, она пробормотала:

— Погода хорошая, да?

— Да.

— И все-таки надо бы посмотреть георгины.

— Но, дорогая, ведь я же только что это самое сказал.

Говорил он ворчливо, она улыбнулась, не ответила. Но уже через минуту скрестила руки и спросила низким, чуть хрипловатым голосом:

— Что случилось, Леон?

А он мягко, как образумливают ребенка:

— Ничего. Да что, по-твоему, могло случиться?

Она по-прежнему не спускала с него глаз, потом нервно взялась за работу.

А он за книгу. «Ничего не случилось. Ничего, кроме самого банального. Просто человек пробудился ото сна и вдруг обнаружил, что, пока он спал, мир изменился. Прожить двадцать лет бок о бок, двадцать лет лепить себя наподобие другого, а быть может, оба мы себя лепили напо-

добие некоей воображаемой модели. Мы уже не видим больше друг друга. Достаточно, что тот, другой, рядом. Заслышав шаги, даже головы уже не поднимаешь, уже в этих шагах вся та женщина, которую я увидел как-то майским днем в Ренне, нерешительную, надменную, робкую, саму молодость мира увидел. И достаточно ей произнести хоть слово, любое, о погоде, обеде, фабрике, и сразу такое ощущение, будто где-то позади нее теснятся все слова, которые были произнесены за эти двадцать лет, и уже не хочется их слушать. И губ этих, на мгновенье касающихся моих губ перед сном, тоже достаточно, чтобы вдруг во весь рост стала та любовь, небывалая, требовательная, боже мой, да как же я тогда ее называл? Единственная…»

И снова голос деланно спокойный, даже небрежный:

— У тебя неприятности на фабрике?

— Неприятности? Да нет, все как обычно. Ни хорошо, ни плохо.

— Я…

Она не договорила, словно все ее внимание поглотила спустившаяся петля.

— Я сегодня утром проверяла счета. Думаю, мы сведем концы с концами…

— Сведем — ну, и слава богу. Главное — свести.

Каждый вечер все те же слова. Но нынче они прозвучали почти как реплика из комедии. И снова воспоминание: ее мать, после пяти лет упорных отказов, наконец согласилась на их брак: «Получай свою Луизу, только береги ее». А он так и не сумел, не смог ее сберечь.

Луиза продолжала брюзгливым тоном:

— Мне бы очень хотелось купить себе мех.

— Вот оно в чем дело, мадам!

А Луиза словно откуда-то издалека:

— Потом тебе, по-моему, нужно новое ружье.

— Ну знаешь, ради двух-трех кроликов… надеюсь, мое пока еще не разорвется у меня в руках!

— Как сказать! Разорвется и тебя изуродует.

— А я и не предполагал, что ты придаешь такое значение моей внешности.

— Кривому незачем еще и слепнуть, — возразила она.

Столько добросовестной заботы, столько старания превратить сегодняшний вечер в такой же, как вчера, как всегда — муж отдыхает после целого дня работы, и оба ждут, когда наступит час сна. Он склонился над книгой, но все еще украдкой поглядывал на жену. На скулах у нее выступили розовые пятна, вспухла знакомая складочка у

переносья, верхняя губа чуть вздернулась, как и раньше, как всегда при малейшем волнении; и, возможно, эта гримаска на ее лице и была ему всего дороже.

Конечно, она была его женой. Сама выбрала свою долю. И стала целиком только женой, не сумела бы и шагу ступить в иной роли. Она могла умереть, но быть могла только его женой. И возможно, это было прекрасно, что она стала его женой, совсем еще молоденькая, колеблющаяся на распутье, и позже, когда он просил и просил ее соединить с ним жизнь. А что просит он от нее сейчас, кроме присутствия, образа, напоминания, маски? Вся она превратилась в эту маску; и если наедине с самой собой или в минуты усталости она сбрасывала маску, под ней открывалось то, что подглядел он сейчас: открывалась еле живая, с трудом переводящая дыхание женщина, невидящим взглядом уставившаяся на угол ковра, вдруг осунувшаяся, почти уродливая, почти старуха.

— Леон!

— Да?

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем.

«Верно, ни о чем: о нас, о всех тех словах, кото-

рые мы говорили друг другу». Слова, сказанные молодыми, а если их повторить теперь, голос пятидесятилетнего мужчины дрогнет, прозвучит фальшиво. Ох, как надо бы найти другие, но они, другие, опошлены. «Видимо, — думал он, — видимо, мы разучились. Как это произошло? Когда началось? Если нам сейчас случается сказать какое-нибудь ласковое слово, мы стараемся произнести его скороговоркой или шутливо. Мы еще говорим: «Моя дорогая, мой дорогой». И еще зовем друг друга уменьшительным именем. А, пожалуй, после двадцати лет совместной жизни и это редкость. Но ведь было же так, что день нам казался пустым, если мы их не произносили… Что же мы такое говорили, если и сейчас у меня при одном воспоминании перехватывает дух? Странно все это. Мы говорили: «Люблю тебя», «Любишь?» Неужели только это?.. Да, только это. Но если б мы начали так говорить теперь, думаю, мы оба сгорели бы со стыда. И сейчас нам случается поцеловаться, а вот, например, подойти к ней — она откинет голову, я буду молча смотреть на нее и только трону ладонью раз-другой — о, самого легчайшего касания мне хватит! — ее лоб, ухо, наполовину прикрытое волосами… Нет, нет, ни за что бы я сейчас не осмелился.

— Леон!

— Да… Что?

Она положила руки на край стола и, даже не пытаясь придать голосу прежнюю уверенность, спросила:

— Что-нибудь не ладится, Леон?

— Да нет, все в порядке, детка.

Руки судорожно сжались, но голос прозвучал смиренно, униженно:

— Ты ничего не хочешь мне сказать?

— Но, клянусь тебе…

— Ты не чувствуешь себя счастливым? — шепнула она.

Порыв яростного ветра налетел, ударился с размаху о стены дома, и голос ее дрогнул:

— Леон, слышишь, ведь это наш ветер?

Тут все часы, когда ветер властно вмешивался в самое течение их жизни, первые брачные ночи в том затерянном поселке, когда они в спальне слушали до зари его жалобы в густом сосняке, и даже в детстве, еще не нашедшие, но уже искавшие друг друга, жившие только ради встречи, — все эти часы, бывшие их тайным уделом, возникли в памяти так четко, с такой настойчивостью, что глаза его увлажнились. «Вот и у нас была своя собственная легенда», — подумалось ему.

Луиза протянула к мужу руку, но тут же отдернула ее и отвернулась. На лице ее лежало то умиротворенносветлое выражение, которое некогда озаряло ее черты в самые разымчивые минуты счастья.

В открытые двери проникали из сада запахи яблок и мокрой травы. Леон поднялся, шагнул к дверям.

— Идешь?

— Да так, хочу немножко пройтись.

Ветер утих; только на лужайке возле пруда да на крыше теплицы еще замешкался последний свет. Но в конце аллеи уже сгущалась тьма. Леон шел неровным шагом, опустив руки, во власти какой-то тревоги. Его вернуло на сорок лет назад, вдруг он стал мальчиком, истомленным долгим днем каникул, таким же неловким, таким же нерешительным. Он обнаружил полузавядший георгин и долго разрыхлял вокруг стебля землю. Когда, задыхаясь, он наконец разогнул спину, в висках гудело, и он невольно поднес руку к горлу.

— Устал я, — пробормотал он.

Но впрямь ли это была усталость? Скорее уж какая-то глубинная боль, вдруг сразивший его страх. Ему чудилось, будто они с женой не ска-

зали еще чего-то, — но чего же, чего? Он не знал, знал только: самое главное не сказали, без чего вся их жизнь была бы бессмысленной. Они стареют, скоро будет слишком поздно. Словно кошмар на него навалился, когда нужно бежать, крикнуть, иначе пропал, а бежать не можешь и — что крикнуть — не знаешь.

Он сделал несколько шагов и прислонился к стволу липы. Тут только он заметил, что на дороге, за изгородью, стоит какой-то человек и пристально смотрит на их сад. Нет, не нищий, очевидно, прохожий загляделся. На что загляделся? Леон не без удивления следил за незнакомцем. Ни сад, ни дом не заслуживали внимания. Скромный садик, а сейчас даже цветов не видно, длинный, низкий, слабо освещенный дом. Все самое простое… А тот все глядел. И Леон, чувствуя смутное волнение и неизвестно откуда налетевшую гордость, сам осматривал свои владения новыми глазами: «Быть может, он видит все, что мы вложили сюда, все наши прогулки, все наши вечера, всю нашу жизнь, все, что заключено в стенах этого дома, и то, что говорит этот свет в окнах, все, что мы сами уже не умеем видеть!» Незнакомец удалился, шагал он неслышно, будто боясь спугнуть какую-то тайну.

Было свежо, даже, пожалуй, холодно. Уже приближалась, но еще не пришла настоящая осень. Леон быстро направился к дому; он смеялся, потирал руки, пожимал плечами, бегом переступил порог комнаты.

Луиза была здесь. Еще была здесь, и слава богу, еще долго здесь будет. Такое острое чувство благодарности затопило его, что он не сразу осмелился заговорить.

— Уже вернулся? — спросила она.

— Вернулся… Представь себе, там на дороге стоял какой-то человек и смотрел.

— А-а!

— Да, смотрел.

Как объяснить ей? Да и что объяснять?

— Смотрел на сад, на дом, на наш дом… Смотрел, а я… Вот видишь, не умею объяснить…

Но Луиза, не отрываясь от работы, небрежно бросила:

— Ах, так… — и даже голову не подняла.

— Нет, нет! Но ведь… но ведь это же чудесно…

Он присел, раскурил трубку, потянулся было к книге. Нет, не стоит. И без того этот вечер вдруг оказался до краев полным. «У нас была своя легенда. Какая была, такая и была, возможно, не бог весть что, возможно, у кого-нибудь она и вызовет

улыбку. Но она была нашей историей, и больше нам ничего не осталось, и с ней нам придется стареть, она поможет нам стариться».

И снова он взглянул на Луизу, склонившуюся над вязанием, но как-то скрытно тянувшуюся к нему. Когда-то малейшее волнение делало это лицо еще более прелестным. А сейчас так хочется, чтобы его осенило спокойствие, ибо только оно одно еще может удержать ее на пороге старости. Охранять ее, следовать за ней повсюду, а главное, убедить ее, что живешь в мире с самим собой. Да и почему бы не быть миру?

— Луиза!

— Да?

— Нет, ничего. А тебе не слишком скучно в обществе твоего дурня?

— Ты ведь достаточно хорошо меня воспитал.

Он смотрел, как движутся ее пальцы, занятые вязанием. Потом обратил взгляд на ее лицо — тонкое, кроткое, серьезное.

«Мне повезло», — подумал он.

Чуть позже оба поднялись: пришел час сна. Луиза убрала в ящик комода свое вязанье, за которое она возьмется завтра, потом с минуту постояла в углу комнаты, приглаживая пальцем прядку волос. И небрежно бросила:

— Ну и вид у меня, должно быть!

За окном зашуршал мелкий дождь, и в зависимости от того, куда падали капли — на крышу ли теплицы, на лужайку или на опавшие листья, — в комнату долетали три совсем разных звука.

— Ты потушишь, Леон?

— Сначала ты подымись в спальню. В коридоре лампочка не горит.

Он взял лампу и протянул ее Луизе. Но Луиза, незаметно отстранившись, отступила в темноту.

ЖЮЛЬЕН ГРИН
(Род. в 1900 г.)

Сын состоятельных американских коммерсантов, Грин родился в Париже. Ему пришлось самому выбирать себе отечество и религию: шестнадцатилетним юношей он отрекся от протестантства и перешел в католичество, что, впрочем, не помешало ему в 1924 году разразиться памфлетом против французских католиков. А когда грянула первая мировая война, Грин пошел на фронт добровольцем — защищать свою родину, Францию. В Соединенные Штаты будущий писатель отправился в 1919 году; там, в Виргинском университете, он изучал филологию и теологию, готовясь стать священником, но потом отказался от своего намерения. Вернувшись в Париж, пробовал заняться живописью, но понял, что мир красок не его стихия.

Литературная деятельность Жюльена Грина началась с пропаганды малоизвестных тогда во Франции английских писателей — Сэмюеля Джонсона, Блейка, сестер Бронте, а первые его романы — «Мон-Синер» (1926) и «Адриенна Мезюра»

(1927) — принесли автору широкую известность.

Американское захолустье и французская провинция, изображаемые Грином, мало чем отличаются друг от друга: и там и здесь внешне благопристойная буржуазная среда оборачивается кошмарным миром взаимонепонимания, отчуждения, отчаяния, в котором задыхаются и гибнут его герои — одинокие мечтатели, не находящие в себе сил противостоять напору страстей и гнету внешних обстоятельств, мятущиеся между соблазнами плоти и требованиями религии.

Обычно Грина считают католическим писателем, однако его творческий путь весьма далек от ортодоксальной прямолинейности. Религиозный кризис, пережитый Грином в 30-е годы, пробудил в нем интерес к восточным учениям. А в его творчестве той поры («Визионер», 1934; «Полночь», 1936; «Варуна», 1940) сказалось тяготение к иррациональному, повышенный интерес к таинственным состояниям психики индивидуума, попыткам объяснить его поведение влиянием потусторонних сил. Однако Грин, чье творчество впитало традиции Флобера, Готорна и Достоевского, остается «жестоким реалистом». Отвечая на обвинения в «мрачности» и

«пессимизме», он писал: «Роман не учебник морали, а зеркало, в котором отражается жизнь. И если то, что мы видим в нем, — трагично, то разве не трагична любая страница истории, любая страница обычной газеты?..»

Годы второй мировой войны Грин провел в добровольном изгнании в Америке и вернулся в Париж только в 1945 году. Его послевоенные драмы, и романы. («Юг» 1953; «Мойра», 1950; «У каждого — своя ночь», 1960) продолжают развивать темы одиночества, конфликта между человеческими страстями и религией.

Большой интерес представляют опубликованные в 1928–1966 годах «Дневники» Грина — размышления писателя над собственной судьбой и творчеством.

Julien Green: Chrisline suivi de Leviathan («Кристина. Левиафан»), 1928; «Le voyageur sur la terre» («Земной странник»), 1930.

Новелла «Левиафан» («Leviathan») входит в оба указанных сборника.

Ю. Стефанов

Левиафан

Перевод Е. Гунста

Уже минут пять он ждал на пристани, около «Доброй Надежды», огромная носовая часть которой скрывала от него весь порт. Вокруг него, среди бочек, сложенных в пирамиды, и куч угля, резвились мальчишки. До слуха его, несомненно, доносились их крики и смех, но он, казалось, ни на что не обращал внимания и стоял, понурив голову. Он был высокого роста, одет в поношенное драповое пальто с огромными карманами, в которые он засунул руки; поля шляпы он опустил до самых глаз, так что они совсем скрывали лицо. Он стоял неподвижно; у ног его лежал большой чемодан.

Когда за ним пришли, он сам взял чемодан, от тяжести которого у него задрожала рука, и последовал за проводником на узкие мостки и на палубу парохода. Его провели в предназначенную ему каюту.

Оставшись один, он затворил иллюминатор, завинтил его, задернул саржевую занавеску и снял шляпу. То был человек лет сорока, с грустным лицом, черты которого отличались правильно-

стью. Морщин у него не было, однако о возрасте его можно было судить по недоверчивому и унылому выражению глаз и тому особому оттенку кожи, который говорит, что молодость прошла. Он поставил чемодан на койку, раскрыл его и разложил свои пожитки, как человек, решивший ни на секунду не оставаться без дела и рассчитывающий отвлечься от мрачных мыслей, занявшись мелким ручным трудом. Под вечер к нему явился матрос и от имени капитана осведомился, будет ли он обедать в кают-компании. Он ответил не сразу, а сначала справился, в котором часу «Добрая Надежда» снимется с якоря. Матрос ответил, что пароход отойдет в одиннадцать вечера.

— Хорошо, — молвил неизвестный. — Обедать я не буду.

И он весь вечер не выходил из каюты.

На другой день капитан пригласил его к себе. Капитан производил впечатление человека, чистосердечие которого граничит с невоспитанностью. Он сказал без обиняков:

— Сударь, вам известно, что я почти никогда не допускаю на борт пассажиров. Правда, устав предоставляет мне такое право, но мое судно прежде всего — торговое. Так что для вас я делаю в некотором роде исключение.

Он умолк, как бы предоставляя возможность единственному пассажиру «Доброй Надежды» выразить благодарность. Но незнакомец промолчал. Капитан заложил руки в карманы и стал с чуть насмешливым видом приподниматься на цыпочки.

— Мне придется потребовать у вас документы, — сказал он наконец.

— Пожалуйста, если это необходимо, я предъявлю вам документы, — мягко ответил пассажир.

— Здесь такой порядок: раз уж я сказал — значит, необходимо.

Последовало молчание; незнакомец поправил на носу пенсне, порылся во внутреннем кармане сюртука, вынул оттуда паспорт и развернул его. Капитан взял документ и внимательнейшим образом ознакомился с ним. От любопытства его широкое лицо всегда покрывалось множеством морщинок, а глаза впивались во все с какой-то особой жадностью.

— Странная вам пришла мысль плыть на коммерческом судне, — сказал он наконец, возвращая пассажиру паспорт. — Ведь, как вам известно, мы будем в пути двадцать суток.

— Знаю, — ответил пассажир.

И он спрятал паспорт в карман.

— Конечно, тут немножко дешевле, — продолжал капитан, слегка поморщившись, — Вероятно, из-за этого вы и…

Он не договорил и поднялся на цыпочки, как бы выжидая пояснения пассажира, чтобы вновь стать на каблуки. Но пассажир молчал.

— Впрочем, — добавил капитан, — меня это не касается.

Он пожал плечами и повернулся к пассажиру спиной; тот удалился.

Значительный груз придавал «Доброй Надежде», несмотря на бурное море, почти полную устойчивость, и она тяжело, медленно, но спокойно шла под нависшим сумрачным небом. Первые дни оказались для пассажира тягостными. Море было ему непривычно; по его беспокойному виду, по тому, как неуверенно шагает он по палубе, можно было даже подумать, что никогда в жизни не доводилось ему плыть на пароходе. Большую часть дня он проводил в каюте, и это, по-видимому, было ему по душе. Встречаются люди, обладающие способностью легко устраиваться в любой обстановке, и притом так, словно они устраиваются здесь навсегда. Как это им удается? Это их секрет. Достаточно им переставить с места на место несколько предметов, повернуть в

другую сторону кресло — и непонятным образом создается впечатление, будто номер в гостинице, где они проведут всего одну ночь, принадлежит им давным-давно и является для них жилищем, с которым они никогда не расстанутся. В таких людях, несомненно, таится некое начало, которое противится всякой мысли о перемене и стремится придать всему, что их окружает, в какой-то мере окончательный вид. Быть может, именно инстинкт такого рода побуждал пассажира «Доброй Надежды» по возможности изменить внешний облик каюты. Койку он застелил собственным одеялом бежевого цвета, прикрыв таким образом синее стеганое покрывало с вензелем пароходной компании. Со спинки кресла снял чехол с тем же вензелем, вышитым яркими нитками. На полочке, предназначенной для обуви, разложил несколько книг. Наконец, стол он передвинул в угол, где тот явно никогда не стоял, о чем свидетельствовало светлое пятно, оставшееся на ковре от ножки стола в том месте, где он обычно помещался. Теперь стол стоял так, что при сильной качке неизбежно должен был свалиться; но пассажиру море было внове.

Почти с самого начала плавания на «Добрую Надежду» обрушились проливные дожди; они

бушевали с такой яростью, словно хотели во что бы то ни стало вернуть судно обратно в порт. Но слыхано ли, чтобы пароход вернулся в порт из-за дождя? Капитана это страшное ненастье только смешило.

— Это все из-за вас, — вызывающе говорил он пассажиру, если случайно встречал его в коридоре. Тогда высокий худой человек поправлял на носу пенсне, и раздавался его безрадостный смех, скорее похожий на кашель.

Однажды капитан сказал ему грубовато и весело:

— Знаете ли, ведь вы мой гость; придется вам кушать за моим столом. — Он заложил свои жирные ручки за спину и добавил смеха ради: — Вам это очень не по душе, не так ли?

Пассажир отрицательно покачал головой.

— А скажите, — вдруг спросил капитан, — вы все-таки иногда разговариваете?

Дня за три до этого он не решился бы на такой дерзкий и фамильярный вопрос. Но по мере того как они выходили в открытое море, он все больше преисполнялся сознания собственного достоинства: на расстоянии пятидесяти миль от берегов Франции такого рода шутки ему разрешались. Пассажир сделал гримасу, долженствовавшую

означать улыбку, и, поклонившись, удалился.

С того дня они обедали и ужинали за одним столом, в помещении, расположенном на носу парохода. Из больших иллюминаторов со всех сторон открывался вид на бурное море. Фигуры капитана и пассажира, сидевших друг против друга, заливал яркий, резкий свет.

— Здесь-то действительно чувствуешь, что ты в море, — говорил капитан Сюжер, откинувшись на спинку кресла, — куда ни повернись, всюду оно пред тобою.

И он признался, что из всех помещений парохода лучше всего чувствует себя именно здесь. Он, так сказать, прирожденный моряк; суша, города ему не по душе. Он любит только одиночество, которое обретает на своем пароходе.

— Вы, вероятно, думаете, что я весельчак, потому что я шучу, — заметил он. — А в сущности, моя веселость — всего лишь веселость меланхолика.

И, словно это признание обязывало к ответному признанию, он порывисто вскинул голову и воскликнул:

— А вы-то что же? Расскажите о себе. Вы все молчите.

Замечание было справедливое. Пассажир упорно молчал. Он молча ел, посматривал сквозь

пенсне на капитана, покачивал головой, но не произносил ни звука. Между тем он не казался застенчивым; взгляд у него был смелый, как обычно у близоруких, ибо они уверены в том, что этот их недостаток всем известен и все знают, что они могут разглядеть человека, только пристально всматриваясь в него. Между тем по лицу пассажира порою пробегало какое-то странное выражение, но оно бывало так мимолетно, что капитан не успевал его заметить. Появлялось ли оно от внезапного недомогания? Вдруг брови пассажира хмурились, зрачки расширялись и заволакивались слезой. Все говорило о крайнем отчаянии, но это длилось лишь миг, и выражение безнадежности исчезало, растворившись в гримасе. Можно было принять это за тик. В таких случаях пассажир неизменно снимал с носа пенсне и слегка наклонял голову.

Сейчас они сидели за десертом; капитан играл ножом, балансируя им на указательном пальце.

— Да, вы все молчите, — повторил он. — Но я не теряю надежды. Проведете еще несколько дней в море, станете разговорчивее!

Пассажир пожал плечами и снял пенсне, чтобы протереть стекла. «Посмотрим», — казалось, говорил он.

Конечно, капитан был прав. Семь дней на борту торгового судна, то есть для пассажира неделя почти полного одиночества, вполне могут переродить человека. Даже меланхолики не выдерживают этого. Появляется потребность знакомиться, беседовать, дружить — пусть даже суждено будет расстаться по прибытии в гавань. Но вот что любопытно: через пять-шесть дней плавания уже меньше думаешь о гавани, а по мере приближения к цели совсем о ней забываешь. Однообразие плавания захватывает вас, а вместе с ним возникает странное ощущение, будто тому, что длится так долго, вообще не будет конца. Если бы хоть на минуту что-либо развлекло, если бы прошли мимо какого-нибудь острова, если бы вдали показался берег; но ничто не нарушает бесконечную линию горизонта, которую видишь при пробуждении, за едой, в течение всего дня. Для человека нервного это зрелище — испытание, почти мука. Поэтому некоторые люди, оказавшись на борту парохода, обращаются к другим, как к спасителям, даже если презирают их, даже если ненавидят, ибо им надо жить, надо вырваться из-под власти скуки, омрачающей дни, из-под власти моря, — этого левиафана, который безмолвно их подстерегает и преследует.

Сказал ли я, что «Добрая Надежда» держала курс из Франции в Америку? Она шла самым длинным путем и направлялась, не заходя в другие порты, прямо на Саванну. Капитана это не смущало. Он давно уже свыкся с морем и довольствовался, в виде развлечения, общением с членами экипажа и с пассажирами, если таковые случайно оказывались на борту. Пассажир был для него находкой. Как многие люди, не особенно умные и прочитавшие некоторое количество романов, капитан воображал себя знатоком того, что он именовал «психологией», и его забавляло изучать окружающих. Он считал, что обладает даром проницательности, и был твердо уверен, что за несколько дней способен открыть, как он выражался, «формулу человека», ставшего объектом его наблюдений. Не стану утверждать, что он записывал итоги этих наблюдений, но это было бы вполне в его характере. После того как он отдаст каждому подчиненному соответствующие распоряжения и проверит работу механизмов, у него оставалось еще много времени, которое надо было чем-то заполнить. Поэтому пассажир явился для него неоценимым развлечением. Он радовался его присутствию на пароходе, как геометр радуется сложной задаче. Поразмыслив, он

оценил его замкнутость, оценил молчаливость, поначалу раздражавшую его, и ту сдержанность, которая в конечном счете способствовала продолжительности игры и придавала ей большую занимательность.

Между тем пассажир, казалось, твердо решил молчать. Испытующие взгляды капитана ему явно не нравились; часы, проводимые за общим столом, были ему, несомненно, крайне тягостны, но он старался не обнаруживать свои чувства, а те, что все же проявлялись, проявлялись вопреки его усилиям. Если бы капитан в самом деле обладал той наблюдательностью, какую он себе приписывал, он, разумеется, понял бы, что пассажир боится его; но он шел по ложному следу и считал, что имеет дело просто с надменным мизантропом. Гордясь таким открытием, он стал изощряться в ловких расспросах, которые должны были одновременно и льстить тщеславию пассажира, и побудить его к откровенности. Но тактика эта потерпела крушение, как потерпели крушение и резкий тон капитана, и расспросы напрямик. Пассажир молчал; а когда капитан становился особенно настойчив, он склонял голову, вроде того как склоняют голову, защищаясь от порывов ветра.

Теперь небо совсем очистилось, и «Добрая Надежда», казалось, шла быстрее. Было тепло. Царила полная тишина, которую лишь изредка нарушал шелест волн, расстилавшихся перед судном. Пассажир, однако, не выходил из своей каюты. Казалось, только тут он покоен. Можно было подумать, что вне этой каморки ему грозят всевозможные беды и что стоит ему перешагнуть ее порог — и жизнь его окажется в опасности. Иной раз матросам, гулявшим по палубе, удавалось разглядеть в приоткрытый иллюминатор бледное лицо с блуждающим взором, но оно в испуге тотчас же скрывалось.

Молчание пассажира сначала озадачивало капитана, потом стало его раздражать. Он пригласил этого человека к своему столу, он разговаривал с ним откровенно, как с другом, со старым другом, он даже поделился с ним кое-какими обстоятельствами своей личной жизни, а что получил он взамен? Ничего! Что и говорить, увлекательно проникать в тайны молчаливого человека только посредством наблюдений и собственного ума, но к концу третьей недели капитану это наскучило. В угрюмом лице пассажира проступало что-то отталкивающее, и его молчание уже не вызывало интереса.

Плавание подходило к концу; на борт уже села чайка, предвестница суши, но тотчас же тяжело поднялась в воздух, взмахивая длинными остроконечными крыльями. Однажды, выйдя из-за стола, капитан стал перед гостем, не сказавшим ни слова с самого начала трапезы. Он приподнялся на цыпочки и вновь опустился на каблуки.

— А знаете ли, ведь послезавтра мы прибываем, — сказал он.

Пассажир поднял голову. Строгий вид капитана явно испугал его. Он поморщился, снял пенсне и глухо произнес:

— Я знаю.

Он казался столь удрученным, что у капитана раздражение сменилось сочувствием.

— Что с вами? — спросил он немного погодя. — Вы больны?

Пассажир отрицательно покачал головой.

Когда он направился к своей каюте, судно резко качнуло, и его отбросило от стенки, на которую он опирался, к шлюпке, стоявшей на шканцах. Он судорожно ухватился за канаты и взглянул на море с таким ужасом, словно его неожиданно поставили лицом к лицу со смертью.

— Не пугайтесь! — крикнул ему капитан, шедший за ним на некотором расстоянии.

И капитан помог ему добраться до каюты.

День этот прошел как и остальные, с той лишь разницей, что капитан задал пассажиру меньше вопросов, чем обычно. Он, видимо, примирился с молчаливостью, которую не в силах был преодолеть, и по добродушию, делавшему ему честь, явно стремился быть любезнее прежнего. Быть может, ему внушал жалость действительно подавленный вид путешественника? Иной раз капитан украдкой поглядывал на него и мрачно качал головой. Пассажир ел очень мало и почти все время сидел, склонившись над тарелкой и неустанно потирая руками колени. По его бедной, но опрятной одежде, по сюртуку, застегнутому на все пуговицы, его можно было принять за учителя.

В последний день над мглистым, но спокойным морем взошло солнце, и когда капитан с пассажиром в последний раз сели за стол, небо было лучезарно; свежий ветерок доносил благоухание, в котором уже чудились упоительные запахи деревьев и земли.

— Ну что ж, — сказал капитан, наливая гостю вина, — расстанемся друзьями, выпьем друг за друга.

Выражение лица у пассажира стало стра-

дальческим и растерянным. Он поднял бокал, подержал его секунду в воздухе и вдруг выронил на скатерть.

— Мне надо кое-что сказать вам, — прошептал он.

Он смертельно побледнел и повторил фразу громче, словно боялся, что капитан не расслышал ее. Тот был крайне удивлен и обрадован.

— Вот видите, я так и знал! — воскликнул он, смеясь. — Я не сомневался, что в конце концов вы заговорите. Я знаю море!

И он звонко рассмеялся, однако в смехе его чувствовалось смущение.

— Успокойтесь, — продолжал он, заметив, что пассажир дрожит. — Знайте — со мной можно быть откровенным. Я безупречный исповедник.

Тут пассажир положил руки на стол и склонил голову, сосредоточившись. И он поведал капитану свою историю.

Когда он кончил, капитан поставил бокал на стол и молвил:

— И что же?

— Вот и все, — ответил пассажир.

— Как! — воскликнул капитан. — Из-за этого вы решили эмигрировать? Вы с ума сошли? Вы спокойно жили во Франции…

— Я не был спокоен.

— Но вполне могли бы быть спокойны. Никто вас не подозревал.

Пассажир покачал головой.

— Слушайте, — продолжал капитан, — тут, несомненно, что-то другое. А то, что вы сказали, — какое же это преступление?

При этих словах пассажир живо вскинул взор и уставился на капитана. На висках у него выступили капельки испарины. Вдруг он стукнул кулаком по столу и вскричал:

— Все, что я вам сейчас сказал, — ложь! Я обманул вас. Я не преступник.

— Так какого же черта вы мне все это рассказали? — спросил капитан.

— Рассказал потому, что вы принудили меня. Вы беспрестанно присматриваетесь ко мне, задаете всякие вопросы, вы как полицейский, преследующий убийцу. Я и рассказал, что взбрело в голову.

Он опять стукнул кулаком по столу и закричал, захлебываясь:

— Я боялся. Вы напугали меня. Я еду в Америку по делам. Никакой я не убийца.

Капитан спокойно пожал плечами и улыбнулся.

— Нет, вы убийца, — сказал он, — но меня вам опасаться нечего. Я не донесу.

Пассажир опустил голову, и пенсне его упало на стол. В этот миг раздался резкий звук сирены, и кто-то крикнул с носовой части парохода:

— Земля!

Капитан вскочил с места, бросил быстрый взгляд в иллюминатор.

— Земля! — повторил он.

И добавил:

— Покорно благодарю. Я разглядел ее еще минут десять тому назад.

И он с важным видом вышел из столовой.

Он спустился по трапу, ведущему на палубу, и отдал кое-какие распоряжения находившимся здесь матросам. Вокруг пароходных труб с дикими криками кружились птицы. На горизонте темной полосой обозначилась Америка.

Тут капитан повернулся в сторону столовой, все шесть иллюминаторов которой были ему видны, и, сложив руки рупором, весело крикнул:

— Эй, пассажир! Прибываем!

Но пассажир уже несколько минут был мертв.

АНДРЕ ШАМСОН
(Род. в 1900 г.)

Шамсон родился в предгорьях Севенн. «Наш род ведет свое происхождение из этих горных мест... — писал он, — и человек, которого вы повстречаете горной тропой с топором на плече или стрекалом в руках, наверняка будет похож немного на кого-нибудь из моих домашних». Молчаливых тружеников-крестьян Шамсон изобразил в своих первых книгах — «Ру, бандит» (1925) и «Люди на дороге» (1928).

Мальчиком Шамсон пристрастился к живописи. Интерес к ней постепенно оформился у него в профессиональные искусствоведческие штудии: перу Шамсона принадлежит ряд книг по истории французского изобразительного искусства.

В Париж Шамсон перебрался в начале 20-х годов, Свою встречу с литературными кругами столицы он описывал с легким юмором: «Я не стал ни дадаистом, ни сюрреалистом, но благодаря тем и другим навсегда разочаровался в своем призвании поэта. Лабораторные опыты со словом меня никогда не интересовали: раз уж повторить

«Божественную Комедию»... невозможно, лучше искать другие пути самовыражения». В первых романах о тяжкой доле крестьян Шамсон и попытался выразить себя. Его имя стали называть в одном ряду с именами писателей-популистов: в «Людях на дороге» и «Наследстве» (1932) и впрямь было больше пассивного сострадания к жертвам капиталистической несправедливости, чем активного противодействия.

События, приведшие к образованию Народного фронта, заставили Шамсона поверить в силу народных масс. Роман «Год побежденных» (1934) — грозное предупреждение: фашизм изувечит и Францию, если не противопоставить ему рабочую солидарность. В середине 30-х годов Шамсон — член комитета Международной ассоциации в защиту культуры, редактор демократического журнала «Вандреди», постоянный сотрудник «Эроп». В 1936 году он побывал в Советском Союзе, в 1937-м — в сражающейся Испании. Его роман «Галера» (1939) обличал интеллигентов, отступившихся от борьбы пролетарского авангарда Франции.

Дни «странной войны» Шамсон провел на бельгийской границе. После капитуляции он в качестве хранителя музейных фондов Лувра по-

могает вывезти ряд картин и надежно спрятать их в глухих севеннских замках. Там, в Севеннах, он пишет романы, о горькой поре оккупации — «Кладезь чудес» и «Последняя деревня» (опубликованы в 1946 г.). Вскоре писатель уходит в маки и участвует в освобождении Франции во главе батальона франтиреров.

Возвратившись в Париж, Шамсон решает держаться в стороне от общественных и литературных схваток. Отстраненность художника от острых социальных проблем капиталистической действительности ощутима в его камерных и порой натуралистических романах («Снег и цветок», 1951; «Аделина Венисьян», 1955). Полнокровнее автобиографические хроники Шамсона «Дни нашей жизни» (1954), «Маленькая Одиссея» (1965).

В 1956 году Шамсон избран председателем Пенклуба и членом Французской Академии.

Andre Chamson: «Histoires de Tabusse» («Забавные приключения Табюса»), 1930; «Quatre elements» («Стихии»), 1936.

Рассказ «По грибы» («Les champignons») входит в книгу «Забавные приключения Табюса».

Т. Балашова

По грибы

Перевод О. Моисеенко

Табюс? Сегодня его нет в деревне. Он вам нужен? И все-таки, если вы незнакомы с ним, лучше не связывайтесь. Он не такой, как все люди…

Если знакомы, дело другое. Но повидать его все равно не удастся — он уехал куда-то на своей телеге. Впрочем, вы, верно, знаете о нем не меньше, чем я. Да, да, не отнекивайтесь: башка у него шальная и от избытка любезности он не страдает. Понятно, со знакомыми он бывает приветливее… зато уж с чужими!..

Вы не слыхали, что он выкинул на прошлой неделе? Сейчас расскажу.

К нам сюда приехали какие-то господа, видно, городские служащие. Им вздумалось грибы собирать. Сами понимаете, время сейчас подходящее: дожди, да и ночи лунные, вот грибы и прут из земли. На постоялом дворе господа принялись

расспрашивать, где у нас здесь грибные места. Они готовы были ехать куда угодно на своем автомобиле. Табюс, который закусывал тут же, говорит им:

— Я как раз иду по грибы нынче, после обеда.

Господа сразу принялись обхаживать его:

— Вот что, любезный, присаживайтесь к нам, выпьем вместе по стаканчику. Скажите, вы проводите нас?

Табюс пил их вино, утирал рот рукой, как последний невежа, курил чужие сигареты, плевал прямо на пол, позоря всю деревню, и, откинувшись на спинку стула, говорил:

— В тех местах, куда я хожу, грибов пропасть! Не в моих привычках провожать людей, но вы можете пойти за мной следом: в лесу тропинки никому не заказаны. Вы набьете свои сумки хотя бы теми грибами, что останутся после меня.

Господам уже не сиделось на месте. Они говорили между собой:

— Какой замечательный парень, наконец-то нам попался стоящий человек.

Часа в два Табюс встает, и все следуют за ним.

Они направились прямиком на гору Микель — со своими сумками и с бутылками вина для утоления жажды. Табюс у нас лучший грибник,

и мы подумали, что он повел этих господ, чтобы отблагодарить их за угощение…

Надо вам рассказать теперь о том, что случилось на наших глазах. А об остальном помолчим… Итак, часов в восемь, когда уже начало смеркаться, приходит Та-бюс с двумя сумками, полными грибов. «Где же гости?» — «Собирают грибы!..» — «Как, в темноте?» — «А что же, — говорит Табюс. — Никак не оторвутся от своих грибов».

Табюс садится за стол и молча принимается есть и пить. Время идет; в девять часов — никого, в десять — никого. Около половины одиннадцатого Пат, который был тут же, решается спросить у Та-бюса:

— Куда же ты подевал этих господ?

— Что? — переспрашивает Табюс.

— Господа-то с тобой ушли?

— Ну да, — отвечает Табюс, — мы пошли вместе в Микельский лес, что правда, то правда. Они прихватили с собой вина. Сперва я занялся грибами. Их уродилась тьма-тьмущая, собирай — не хочу. Я наполнил две сумки. Горожане подбирали все, что я не мог забрать. Ладно. Потом мы опорожнили бутылки. После чего мне захотелось пройтись, я и ушел… Должно быть, я петлял по лесу, а они шли за мной и все собирали да собирали. С меня

было довольно грибов, и я, видать, прибавил шагу. По временам я аукался с ними, чтобы они не чувствовали себя покинутыми… Раз я крикнул им с вершины Серры, во второй раз — когда был у Слонового источника, в третий — из глубины ущелья Счастья и в последний раз — со стороны Фовеля… и преспокойно вернулся домой.

Тут Пат — надо вам сказать, оп недолюбливает Табюса — разорался:

— Подлец! Негодяи! Ты завел их в лес и бросил там! Да как же они могут найти дорогу, если ты кричал им со всех четырех сторон света?! И еще сидишь здесь сложа руки!..

— А что случилось? — спрашивает Табюс.

— А то, что господа не вернулись. Уже одиннадцать, а их нет как нет. Они, верно, петляют по лесу, что ящерицы.

Табюс разыгрывает из себя простака, удивленно таращит глаза, хватается за голову.

— Не вернулись? — кричит он. — А вы что тут прохлаждаетесь, будь вы неладны? Не могли вызволить их оттуда, олухи несчастные! И мне же придется вмешаться в дело! Я-то думал, они давно уехали в город.

Он вскакивает и начинает бесноваться, как полоумный. Созывает всю деревню.

— Тащите сюда фонари, да поживее, сонные тетери! Не оставлять же их на погибель в лесу! Из-за вас мы все прослывем дикарями! — Тут он хватает Пата за руку. — Ведь ты сразу смекнул, что господа заблудились. Так почему ничего не сделал? А туда же, воображает, будто он первый умник на деревне. Эй, вы там, пошевеливайтесь, в дорогу!

Он так громко кричал, был в такой ярости, что заставил всех отправиться в лес с фонарями. Мы шли по Микельскому лесу, растянувшись цепочкой. Табюс прихватил с собой охотничий рог и дул в него что есть мочи.

Около полуночи мы нашли этих господ, полумертвых от усталости. Оказывается, они часами кружили около одних и тех же деревьев и никак не могли выбраться на дорогу.

— Ну и ну, — негодовал Табюс, — без меня вы провели бы ночь под открытым небом! Никто не подумал бы вытащить вас отсюда. Все они, сколько их ни есть, оставили бы вас на съедение зверям. Да еще и меня впутали в эту историю. Я думал, вы давно вернулись и уехали в город. Придется мне извиниться перед вами за всех остальных.

Никто из нас и рта не посмел раскрыть; эти

господа старались подбодриться, хлопали Табюса по плечу. А мы выглядели круглыми дураками.

Так вот, хотите верьте, хотите нет, на нашу долю не пришлось ни слова благодарности, ни хотя бы кивка, зато Табюсу господа дали пятьдесят франков, а он даже вином нас не угостил. Он раззвонил повсюду, что мы дикари, и, если вы услышите эту историю от него самого, вы нас там просто не узнаете. Хуже всего, что своими проделками он бросает тень на нашу деревню, особенно когда говорит, что, не будь его здесь, никто не пошел бы в лес — такие мы все дикари.

Но тсс… молчок… вот и он сам. Не дай бог смекнет, что о нем речь, — разбушуется. Но он вроде бы в хорошем расположении духа.

Не то чтоб Табюс был злой, но он что бык — не понимает своей силы. Пожмет вам руку — и раздавит пальцы, хлопнет по плечу — и вас будто прострелит, да еще из крупнокалиберного ружья… Зато если осерчает…

А ведь от природы он красив, как барышня. Взгляните на него, так и кажется, что ему приставили чужое лицо, до того оно пригожее, словно на картинке… Но молчок, он не любит ни когда его хвалят, ни когда ругают.

— А-а, вот и ты! Прощай, Табюс!

ЖАН ПРЕВО
(1901–1944)

Когда вскоре после Освобождения стало известно, что Жан Прево, ушедший в маки, был расстрелян нацистами, литературный Париж охватило чувство невосполнимой утраты: погиб талантливый художник, литературовед и публицист, человек блестящих дарований и разносторонних интересов.

Несмотря на то что Прево был чрезвычайно трудолюбивым и плодовитым литератором — его перу принадлежат исследования о Монтене, Сент-Бёве, Стендале, Бодлере, Роллане, Мартен дю Гаре, Валери, работа о французском инженере Эйфеле, историко-социологические исследования о Франции и Америке, эссе, репортажи, переводы, романы («Братья Букенкан», 1930; «Соль на ране», 1935; «Утренняя охота», 1937), рассказы, — он менее всего походил на кабинетного затворника: это был сильный человек, энергичный и деятельный.

Рационалист до мозга костей, обладавший ярко выраженным аналитическим складом

ума, Прево более всего интересовался техникой — техникой металлоконструкций, техникой писательского ремесла, техникой ораторского искусства, «техникой» самой жизни, наконец. Он всегда стремился сорвать с мира покровы таинственности, залить действительность ровным светом человеческого знания, дать всему ясные и четкие определения.

Апология разума, трезвого расчет и внутренней дисциплины в высшей степени характерна и для Прево-художника. Он отвергает традиционный психологический анализ, который, по его убеждению, неизбежно субъективен и приблизителен. Основное внимание писатель обращает на внешнее поведение человека — единственный надежный критерий для понимания как его внутреннего мира, так и особенностей его взаимодействия со средой. Наибольших удач Прево достиг в жанре новеллы. Продуманность и строгость композиции, прозрачная ясность чуть холодноватого стиля отличают прозу Прево.

Jean Prevost: «Lucie-Paulette» («Люси-Полетт»), 1955.

Рассказ «Бомбаль и Фенансье» («Bombai et Fenancier») входит в указанный сборник.

Г. Косиков

Бомбаль и Фенансье

Перевод О. Пичугина

Крестьяне поздоровались с мясником.

— Бомбаля к вам привели, господин Гутилье.

— А, вот он, наш здоровяк! Ай-ай-ай, бедняга! Это вы его вдвоем волокли? Вас бы так, папаша Одрю.

— Говорить легко, попробовали бы сами! Хоть он и бык, а хитрющий, почище лисы. Держишь его, скажем, один, а этот черт стоит себе и ждет. Только отвернулся, а он тут же на тебя бросается, так что и веревку не успеешь натянуть…

— Вот ты, оказывается, какой притворщик! С виду ни за что не скажешь, прямо овечкой глядит.

— А вы подразните эту овечку. Он меня таки два раза чуть не убил.

— Ну, здравствуй, Бомбальчик, здравствуй, теленочек! Ого, каков загривок, голова-то совсем

маленькой кажется. Смотрите, смотрите, как он ей вертит! Что твоя швея пальцем! А холка, глянь, по плечо мне. Славный вышел бы из тебя вол. Да только правильно вы сделали, что привели его ко мне, до старости ему все равно не дожить. Видите, на лбу щетинистый вихор? Такой, говорят, бывает у бешеных быков. Вот сюда я и бью. Да, через четверть часа, дружище, станешь ты четвертым на моем счету. Ведите его задами в мой загончик, я укажу дорогу. Может, вы хотите расплатиться сразу? У меня все записано, должок есть за вами, за три месяца. Антуанетта, счет у тебя? Они его взвешивали на вокзале в среду, как раз в тот день мы сделали последнюю запись. Триста франков с меня, папаша Одрю.

— Побойтесь бога, задаром хотите взять моего Бом-баля!

— Не неволю, поищите, кто больше даст. А только мне нет расчета в убыток входить, так ведь и проторговаться недолго. Не хотите — не надо, расстанемся по-хорошему. Сами посудите, разве от вашего быка получишь такую говядину, какую привозят из Ожской долины? Не могу же я, в самом деле, продавать ее за высший сорт!

— Оно так, а все ж накиньте пятьдесят франков, господин Гутилье, в долгу не останусь.

— А работа моя что же, в счет не идет? Забейте своего быка сами, и я без слова уплачу вам эти пятьдесят франков.

— Не могу, жалко скотину…

— Как же, понимаем! Жалко скотину, ну а бояться вы, конечно, не боитесь! Чего тут бояться? Известно, мужик только тени своей боится!.. Да уж ладно, уважу, накину, так и быть, двадцать франков. Дома-то не сказывайте, а подите лучше к тетушке Титин да выпейте за упокой души бедняги Бомбаля.

— Каменный вы человек, — укорил мясника Одрю-младший, — у отца взаправду сердце о Бомбале болит.

Миновав узкую улочку между голых стен и высоких живых изгородей, они попали на утоптанный проселок, по обеим сторонам которого тянулись обнесенные каменными оградами участки и который привел их к задворью Гутилье.

— Бомбаль подумает, что вернулся в деревню, — сказал хозяин, отворяя ворота. — Привяжите его, только подальше от конюшни, как бы он мне двуколку не изломал. К кольцу у дверей дома. Погодите-ка, дай замкну. Так, ключ кладем в карман. Конюшню тоже запрем… И этот ключ в карман…

И без моего разрешения не ходите сюда.

Старый Одрю проворно вдел веревку в железное кольцо, а сын тут же выдернул другой ее конец.

— Ну, в добрый час, — усмехнувшись, промолвил Одрю-младший и пошел к воротам.

— Типун тебе на язык, хитрюга. Жди добра от твоих пожеланий!

Втроем они вышли из ограды. Гутилье затворил тяжелые, скребущие землю ворота, послушал громкое сопение Бомбаля и сказал:

— Надо его забить, покуда светло. Меньше часа остается. Все-таки не мешало бы позвать Фенансье.

Колесник Фенансье держал мастерскую в конце переулка. Когда Гутилье вошел туда, хозяин сидел на верстаке и нарезывал ломтиками кусок сыра; рядом с ним лежала коврига хлеба и стоял жбанчик.

— Может, выпьешь сидра, Кишка Тонка?

— Не откажусь, Мало Каши Ел.

Приятели были первыми силачами в городке. Сблизившись еще на военной службе, они и теперь дружили, непрестанно поддразнивая и поддевая друг друга. Однажды они чуть не затеяли драку, но друзья помирили их. В тот самый

день Фенансье рассказывал Гутилье побасенку о словесной перепалке двух едва не подравшихся колесников: «Один, значит, и говорит другому: благодари бога, что я воли себе не дал! Гляди! Тут берет он лом, которым колесные ободья гнут, наступает на него ногой и скручивает баранкой. А другой ему в ответ: это, говорит, хорошо, что ты себе воли не дал! И с этими словами хвать лом, поднял его над головой, нажал легонько, и — ррраз! — стал лом прямой, как был».

Друзья никогда не дрались и не мерились силой, но не упускали случая друг перед другом похвастать.

— Хочешь посмотреть, как я убью самого здоровенного быка в округе? — спросил Гутилье.

— Отчего же не посмотреть, только вот мальчонка мой уснул тут на стружках. Можно бы, конечно, оставить его одного, да огонь в горне не погас, а малец любит с мехами побаловаться. Не ровен час, залетит искра… Была бы мать, а то она к старикам пошла, до ужина там просидит.

— Ну, дело твое, оставайся… Смерти, что ли, испугался? А может, рогов? Так ведь рога, знаешь, не то что грипп, на расстоянии не опасно.

— Еще одно слово скажи — и по башке огрею. А два примолвишь, следи, как бы я совсем не

рассердился.

Фенансье вытер лезвие ножа о тонкий ломтик хлеба и, прервавши свою задорную речь, прежним ласковым голосом проговорил:

— Ишь, кулачки разжал парнишка, видать, сейчас проснется. Возьму-ка я его с собой… Эй, Морис, вставай!

Малыш громко зевнул и улыбнулся: в пятилетнем возрасте люди еще улыбаются. Поднявшись на ноги, он стал стряхивать с рубашонки и штанишек приставшие к ним кудрявые стружки.

— Пошли смотреть, как убивают быка, — сказал отец, — такое поглядеть стоит!

Мальчик вложил свою ладошку в отцову ладонь, и они отправились. Первым во дворик вошел Гутилье. Прежде чем последовать за ним, колесник посадил сынишку себе на плечи: так будет спокойнее.

— Дерни ворота посильнее, они туго закрываются… Заложи засовом.

— Готово.

Глухой топот копыт.

— Берегись!

Фенансье увидел, что, сорвавшийся с привязи, бык мчится к ним, и перебросил маленького Мориса через каменную ограду. Гутилье отпрыгнул,

увертываясь от рогов. Бомбаль ринулся на колесника, но тот отскочил в сторону, и огромный нормандский бык скоса трахнулся лбом о ворота, проехал по ним плечом и боком. Колесник еще раз отскочил, но не успел увернуться от огромной туши. В то мгновение, когда он собирался перемахнуть через ограду, бык своей ляжкой придавил ему правую ногу к верее. Колесник рухнул.

— Не робей, у меня молот! — крикнул ему Гутилье.

Отличный молот с рукоятью из куска железной трубы — гордость мясника.

Бык кинулся на Гутилье, тот прыгнул в сторону, занося молот, но задел рукоятью рог, и молот обрушился мимо. Почувствовав толчок, Бомбаль мгновенно повернулся и бросился так стремительно, что рога его вонзились в живот мясника, когда молот еще поднимался. Гутилье успел только хрипло хакнуть. Зверь потряс вздетого на рога человека и швырнул его наземь. Стук сабо смолк, слышно было лишь тихое посапывание быка, нюхающего обмякшее тело и роющего землю передними копытами. В наступившей тишине до слуха Фенансье донесся голос сына:

— Папа, я ушибся, не могу встать!..

Ворот не отворить, и ограды не перескочишь; на правую ногу почти нельзя ступить. Колесник отодвинулся от ворот: не ровен час, высадит их бык, и тогда… Прислонившись спиной к стене, он крикнул:

— Сынок, не двигайся и не кричи, прошу тебя!

— Папа, я боюсь, иди ко мне!

— Сейчас, малыш!

Сильно припадая на размозженную ногу, Фенансье заковылял к двуколке — единственному предмету во дворе, за которым можно было укрыться. А Бомбаль уже искал его, уже мчался сюда. Колесник спустил между оглобель искалеченную ногу, быстро перенес туда здоровую, задрал оглобли и упер их в стену.

От страшного удара повозка подлетела так, что ступица пришлась без малого вровень с бычьей грудью.

Удивленный тем, что не может подкинуть на рогах эту тяжесть, Бомбаль шумно выдохнул, опустил голову и попятился. Фенансье выпрямился, все тело его дрожало от боли и затраченных усилий.

«На тележку кидается! Видать, впрямь бешеный. А я-то думал, что эти твари больше одного зараз не убивают. Боже, опять он сюда!.. Мне

страшно!»

Теперь Бомбаль таранил повозку сбоку, удар пришелся между колесом и оглоблей. Оглобля переломилась, двуколка повернулась, накренилась в ту сторону, где торчала целая оглобля. Фенансье упал, повис на ней. От нового толчка двуколка отъехала метра на три, таща за собой Фенансье, чьи ноги волочились по земле под ступицей. Скорчившись под дощатым настилом повозки, колесник кое-как перепрыгивал на здоровой ноге, чтобы не угодить под бычьи копыта.

Животное снова ринулось на двуколку, ударило раз, и другой, и третий.

— Ну, бей!.. Еще!.. Еще!.. — выкрикивал Фенансье с каким-то ожесточенным удовлетворением. Он уже не чаял остаться живым, но страх пропал. «Если бы на меня смотрели из окон женщины, — мелькнуло у него в голове, — вот было бы крику!» Он остался один, но головы не потерял и даже мог, при желании, воспринимать происходящее как нечто забавное. При каждом следующем ударе Фенансье повисал на оглобле и волочился задом по земле, больно ударяясь копчиком. И тут он вспомнил, что у него есть нож.

«Дай мне только умом пораскинуть — и уж ты у меня попляшешь, рогатая дуроломина…»

Двуколка закатилась в самый угол и застряла там. Бычина, словно играя, подбрасывал ее, поддевая рогами задок. Вот он, шумно раздувая ноздри, повернулся вокруг себя с развязной небрежностью и снова стал головой к двуколке, как бы высматривая уязвимое место. Видя все эти хитрости и уловки Бомбаля, Фенансье перестал бояться его, как боятся молнии или обвала. Он возненавидел быка, как если бы тот был человеком. И чувствовал теперь, что с противником, пожалуй, можно потягаться.

Он достал нож, зубами раскрыл его. Бомбаль как раз бросился на двуколку, и в то мгновение, когда бык поддел ее рогами, острие ножа ткнулось ему в челюсть. Зверь получил небольшую царапину и тотчас нанес такой удар, что две доски из настила разлетелись в щепы. «Я делал эту тележку, и ты, стало быть, мою работу губишь. Кабы знал заранее, уж я бы так оковал ее…»

Упрямый колесник снова ткнул ножом и попал Бомбалю в левый глаз. Бык приостановился, как бы устав или растерявшись, но тут же, словно волна прибоя на берег, ринулся вновь. Взъярившийся зверь так долго и ожесточенно старался сокрушить повозку и вышибить из нее все доски, что отвага человека снова поколебалась. «Дурак

же я, только раздразнил его. Вот раздолбает тележку, и тогда мне конец. Эх, кабы не нога!..»

Он затаился в своем углу, стараясь не привлекать внимания быка. Уже смеркалось. Может быть, дождаться ночи? Нет, ничего не выйдет, в темноте скотина видит лучше людей.

Повинуясь странной прихоти, животное подбежало к телу Гутилье, стало обнюхивать труп и рыть землю. За воротами, сдерживая рыдания, плакал от боли и страха Морис.

Колесник сжал зубы, пощупал кончик ножа. Сломан. Верно, еще когда в челюсть угодил, а может, во второй раз, когда руку отшибло и нож ткнулся в колесо… Фенансье спрятал лезвие в прорезь на черенке и вытащил шило. Привычное движение рук и этот предмет, такой знакомый колеснику, успокоили его, и он снова стал думать, как бы ему перехитрить быка. «Уж я знаю, куда тебя пырнуть. Вот погоди, устанешь…»

Зверь опять устремился к нему. Опасаясь, что он нападет сбоку, вдоль стены, Фенансье снова скорчился под передком двуколки.

Бомбаль едва не разбил вдребезги то, что еще оставалось от повозки. Последняя оглобля, удерживавшая ее кузов на расстоянии от стены, сломалась посредине. Человека совсем придави-

ло к земле. «Хоть бы ты увязил рога в колесе или застряли они, что ли, в ступице!.. Ох, нет, видно, сам бес тебе помогает!..»

Однако Бомбаль заметно утомился, усталая шея его ниже пригибалась к земле. Вероятно, он несколько ошалел от ножевых уколов, может быть, также из-за сильных сотрясений и ушибов. Он стал неповоротлив и однообразен в своих наскоках.

Ухватившись за колесо и хромая на больную ногу, Фенансье вылез из-под двуколки, когда бык повернулся к нему выколотым глазом, и выпрямился во весь рост. Чтобы достать быка, прячась за колесом, надо было взять нож в левую руку. Фенансье вытер ладонь о грудь. Изуродованный остов двуколки вновь и вновь вздымался и падал, словно его швырял морской прибой. Колесник подул на горячую влажную ладонь, осушая ее, сказал руке: «Ну, твой черед!» — и вложил в нее нож. По его лицу скользнула улыбка. Бить только наверняка. Когда бычья голова поднимется. Повернуть запястье, чтобы не зацепило рогом. Только так. Он ждал, занеся руку. Не сейчас… И не сейчас… Бей!

Руку отшвырнуло в сторону. Ему показалось, что он ударил просто кулаком. Ножа в руке как

не бывало, и толчок отозвался в самом плече. Открыть глаза?

Послышался шум, словно медленно оседало что-то тяжелое и мягкое, и тогда он широко открыл глаза, устремляя взгляд в вечерний сумрак. Так и есть, туша быка валится наземь… Конец тебе, Бомбаль. И Фенансье крикнул:

— Вот так-то, Гутилье!

При мысли о покойнике ему стало стыдно: да, он отомстил за его смерть, но прежде всего подумал о том, что одержал наконец верх над мясником после десяти лет соперничества и дружбы.

Мальчик услышал восклицание отца и позвал:

— Иди ко мне, папа, мне больно!

— Иду, сынок, иду!

Но нога так болела, что идти он не мог. Тогда Фенансье опустился на корточки и запрыгал, опираясь на руки и здоровую ногу. Он отпер ворота, закрыл их снаружи и сел на землю рядом с сынишкой, едва различимым в густых сумерках. Прижал к своей щеке холодное, мокрое от слез личико.

— Намаялись же мы с этим быком, — сказал он, словно оправдываясь.

— А куда девался твой друг в синем фартуке?

— Вот я и говорю, досталось ему от быка, и он ушел домой…

— Значит, ты убил быка?

— Понятно, убил.

Колесник снял башмачок с ноги сына: лодыжка чуть-чуть опухла, ничего страшного. Он туго обвязал ее носовым платком Мориса. Теперь потуже обмотать собственную ногу, отвести мальчугана домой, а потом уж за матерью. Ох, и задаст она мне! Слава богу, можно будет сразу же удрать к Маргерит Гутилье… А ну-ка, попробуем встать… Терпимо. Даже можно взять на руки мальчонку.

Он поднял Мориса дрожащими от усталости руками, прислонил его к груди и пошел к своему дому, испытывая радость от того, что поврежденная нога причиняет боль при каждом шаге.

Мальчик чувствовал, как горд собой и возбужден победой отец, и сказал, чтобы сделать ему приятное:

— Почему ты не убил его сразу? Потому, что бык был сильный, почти как ты?

— Почти как я, — ответил отец и сказал, отвечая лаской на ласку: — Какой же ты стал тяжелый и крепкий, сынок!

Они засмеялись. Самое подходящее время, чтобы благословить сына, лежащего у тебя на руках.

КЛОД АВЛИН
(Род. в 1901 г.)

Родители Авлина — выходцы из России, Овцыны. Будущий писатель родился в Париже. Два обстоятельства определили его творческую судьбу: знакомство с Анатолем Франсом, ставшим для Авлина первым учителем литературного мастерства, и долголетнее пребывание в одном из высокогорных швейцарских санаториев, где он исподволь накапливал материалы для своего главного произведения — трилогии «Жизнь Филиппа Дени» (1935, 1952, 1955), в которой критически осмысливается жизнь тогдашнего буржуазного общества.

В дальнейшем Авлин работает в самых разнообразных жанрах: пишет новеллы, книги для детей, детективные романы, путевые заметки, монографии по искусству; особо следует отметить цикл его публицистических статей о гражданской войне в Испании.

В годы второй мировой войны Авлин становится одним из организаторов и активных сотрудников подпольного антифашистского

издательства «Эдисьон де минюи». Сопротивление французского народа немецким оккупантам отражено в его повести «Мертвое время» (1944), раздумьями о долге и назначении человека проникнут сборник эссе «Духовные обязанности» (1945).

В послевоенные годы Авлин посвящает себя пропаганде литературного наследия Франса, много времени уделяет редакторской работе, пишет детективные повести и рассказы.

Claude Aveline: «Trois histoires de la nuit» («Три ночных истории»), 1931; «L'homme dePhalere» («Фалерский житель»), 1935; «Pour l'amour de la nuit» («Ради любви к ночи»), 1956.

Рассказ «Могила неизвестного жезлоносца» («D'un portefer inconnu») входит в сборник «Фалерский житель».

Ю. Стефанов

Могила неизвестного жезлоносца

Перевод Н. Жарковой

Ты прав, — молвил отец его, маршал, — сие мне видимо столь же явственно, как и тебе, но надобно же себя показать: на что же сгодимся мы, ежели войн больше не будет?

Таллеман де Ро

Когда после тысячи двухсот двадцати пяти недель боев чуть ли не во всех концах света французцы перебили тувтонскую армию, вся Французия неистово возликовала. Кто не помнит дня победы, шествия толп под двухцветными стягами, бурных воплей и криков «ура», когда мимо проезжала машина, где от силы мог поместиться лишь один из тройки архивояк? Выкрикивали и то и се, но особенно громоподобно звучало: «Смерть Тувтонии!» И нет сомненья, что именно в тот день страна расточила куда больше угроз по адресу «поверженного врага», чем адресовалось ему в дни войны, когда он именовался еще «грозным противником». В рядах манифестантов насчитывались многие тысячи: не преминули явиться все пламенные патриоты, которые в течение двадцати четырех лет поддерживали наших вояк с несгибаемым упорством и из самых отдаленных уголков. В сутолоке подавили множество народа. Никогда еще свет не видывал

таких ослепительных увеселений.

А тем временем в самом сердце столицы, во Дворце Нации под охраной четырех дивизий собрались властители мира сего. Все они взяли на себя защиту интересов народа, и все бесстрашно выполняли великую свою миссию. Если верить газетам, поднявшим очередную шумиху, все было очень мило и очень благородно.

Собрались здесь все знакомые лица: граждане первого ряда и граждане второго ряда, не говоря уже о сто двадцатом ряде, вояки первой алебарды, а также второй, вплоть до пятисотой. И было тут трое архивояк, три национальных героя Франсуазии — Шагистен, Пердрак и Убеган, чьи имена не сходили с уст выступавших в течение первых десяти заседаний Совета.

А на груди у них и на рукавах сверкало больше звезд, чем мог бы обнаружить астроном на небосводе в ясную летнюю ночь.

Совет заседал шесть лет подряд. Народное ликование мало-помалу поблекло, особенно с тех пор, когда не стало хлеба. Множество лавчонок закрылось, кроме считанных, где еще пополнялись запасы. Большая часть франсуазцев лишилась работы, а те, что еще работали, не могли прокормиться на свое жалованье. Люди приуныли. А

кое-кто даже роптал.

Несмотря на заслон из четырех дивизий, весть эта дошла до членов Совета, удивление коих не поддается описанию. Решено было отложить заседание и принять соответствующие меры.

— Первым делом, — заявил гражданин первого ряд а, — я требую, чтобы недовольных бросили в темницу и предали казни. Не хватает только, чтобы нас тревожили по таким пустякам!

И верно, только этого не хватало! Достаточно было приглядеться к властителям мира сего: за эти шесть лет все они изрядно поседели, а тройка архивояк успела даже оплешиветь.

— Однако советую держаться начеку, — подал голос какой-то военный двенадцатой алебарды. — Народ глуп!

Единодушное поднятие рук подтвердило меткость этого афоризма. Теперь главной задачей было найти способ развлечь всю Франсуазию.

— Развлечем только столицу, — стоял на своем предыдущий оратор, — по нынешним временам и этого предостаточно.

— Шествие! — предложил Шагистен, привыкший к шествиям.

Но на голосовании это предложение провалилось. Были выдвинуты тысячи проектов, на

изучение коих ушло двадцать восемь заседаний. Наконец один был принят: насчет неизвестного жезлоносца.

— Возьмем, — пояснил свою мысль автор проекта, гражданин третьего ряда, — возьмем и перенесем сюда с поля боя неизвестного мертвеца, простого жезлоносца и похороним его с помпой, а сначала пройдем по городу с музыкой и со всей прочей петрушкой. Чудесно получится!

Предложение прошло. Однако посыпались вопросы. Всем хотелось знать, где же будет происходить захоронение. Собрание решило, что обыкновенное кладбище в данном случае как-то не звучит. Большинство во главе с Убеганом отвергло мысль поместить тело в Могилеоне, где покоятся великие сыны Франсуазии, потому что священники-де не могут отслужить там панихиды. Наконец общим голосованием была принята арка Победы.

Вы сами знаете, где она находится. В тот незабываемый день военачальники-победители во главе с архивояками прошествовали под ее гулкими сводами.

— Ну и положим его где-нибудь сбоку, — заявил Пер-драк.

Гражданин третьего ряда заметил, что это

невозможно по ряду причин, которые и изложил перед присутствующими.

— Положим лучше его под сводами, — сказал он.

Но тут архивояки, все трое, одновременно вскочили со своих мест. Гнев окрасил пурпуром их оплешивевшие лбы. Шагистен лишился чувств, лишился чувств и Убеган, а Пердрак, падая, успел пролаять:

— Вы все с ума посходили, что ли!

И пришедший в себя Убеган крикнул:

— С ума посходили! Вяжите их! Хотите нам дорогу загородить!

Тем не менее неизвестного жезлоносца захоронили под сводами. Я сам видел. По-моему, архивоякам бояться нечего: ежели в один прекрасный день им придет в голову снова манифестировать под сводами, ничто не помешает, — каменная плита еле-еле выступает из земли, так что по ней вполне можно шагать.

АНДРЕ МАЛЬРО
(Род. в 1901 г.)

Мальро — парижанин, выходец из семьи дюнкеркских судовладельцев. В 1919 году окончил парижскую школу восточных языков. В 1921 году издал свои поэтические опыты модернистского толка («Бумажная луна») и в 1923-м устремился на Дальний Восток, в Камбоджу и Сиам, в качестве этнографа и археолога. В середине 20-х годов Мальро — свидетель и участник революционных событий в Китае, которые своеобразно преломились в его первых романах: «Завоеватели» (1928), «Условия человеческого существования» (1933).

Герой раннего Мальро — незаурядная личность, скептик, убежденный, что можно жить, принимая абсурдность человеческих усилий, но нельзя примириться с абсурдом сущего. Герой изначально одинок, между ним и другими — полоса отчуждения. Художник натуралистически фиксирует «извечные» психические состояния человека: страх, отчаяние, ожесточение. Его герои испытывают свою волю в критической ситуации, не ощущая при этом внутренней причастности

к той цели, тому делу, которое требует от них смертельного риска и самоотверженности. И лишь порой их осеняет вера в мужественное братство совместной борьбы.

Угроза фашистского путча в Париже, победа Народного фронта побудили Мальро слить свои усилия с устремлениями прогрессивных деятелей во Франции и за ее пределами. Вместе с Ланжевеном и Ж.-Р. Блоком он участвует в антифашистской манифестации 12 февраля 1934 года; выступает в Москве на I Всесоюзном съезде советских писателей. В речи на этом съезде Максим Горький назвал Мальро в числе тех мастеров Запада, «суровых судей буржуазии своих стран», которые «умеют ненавидеть, но умеют и любить». Ненависть Мальро к нацизму воплотилась в повести «Годы презрения» (1935), с особой силой запечатлевшей стоическое упорство борца.

В 1936 году Мальро лицом к лицу сражался с фашизмом на полях Испании, командовал эскадрильей боевых самолетов. «Моим товарищам по Теруэльскому бою» — гласит посвящение, открывающее «Надежду» (1937) — высшее достижение Мальро в жанре романа.

На исходе 30-х годов Мальро отошел на консервативные позиции, но былую непримиримость

к фашизму сохранил (роман «Альтенбургские орешники», 1943). В 1940 году в танковых частях воевал с гитлеровцами, в годы Сопротивления командовал бригадой. Был арестован оккупантами и брошен в тюрьму. О своем побеге в 1944 году Мальро рассказал в одной из глав «Антимемуаров» (1967). В мирные дни издал трехтомное исследование «Психология искусства» (1947–1950).

В 1945–1946 годах Мальро занимал пост министра информации в правительстве де Голля, в 1959–1969 годах — министра культуры. В 1968 году он вновь посетил Советский Союз. Его книга диалогов с де Голлем «Дубы, поверженные наземь» (1971) вобрала итоговые суждения политика и художника об искусстве и современной истории.

Andre Malraux: «Le temps du mepris» («Годы презрения»), 1935.

В. Балашов

Годы презрения[31]

[31] Примечания: 31

Перевод печатается по изданию: Андре Мальро. Годы презрения. Авторизованный перевод с французского Ильи Эренбурга. Журн. — газ. объединение, М., 1936.

Перевод И. Эренбурга

I

Когда Касснера ввели в сборную, гитлеровец допрашивал арестованного. Слова терялись среди шелеста бумаг и топота сапог. Следователь-наци и коммунист. Их разделял стол. С лица они походили друг на друга: те же челюсти, те же квадратные лица, те же бритые наголо затылки, те же волосы — светлые, короткие и жесткие.

— …С какого года?

— С тысяча девятьсот двадцать четвертого.

— Какую работу выполняли вы в нелегальной компартии?

— Я не работал в нелегальной организации. До января тысяча девятьсот тридцать третьего состоял в КПГ. Я выполнял техническую работу.

Теперь, когда Касснер слышал их голоса, они не казались ему похожими друг на друга. Голос коммуниста был глухим и безразличным — отвечает не он, но кто-то безответственный. Голос следователя был рассеянным и еще более молодым, нежели его лицо. Касснер следил за этим подростком — теперь он зависел от него. Наци глядел на арестованного. Арестованный ни на

что не глядел.

— Вы были в России?

— Как специалист. Я работал на электрозаводе.

— Хорошо, это мы проверим. А что вы делали в Немреспублике Волги?

— Я никогда там не был. Я вообще не был на Волге.

— В какую ячейку входили в Берлине?

— Тысяча пятнадцатую.

— Проверим. Кто организатор?

Коммунист сидел теперь так, что Касснер его не видел.

— Ганс.

— Я тебя фамилию спрашиваю… Ты что, смеешься, надо мной, сволочь этакая?

— Мы знали товарищей только по кличкам.

— Адрес?

— Я с ним встречался на собраниях.

— Хорошо, ты у меня немного посидишь, я тебе проветрю голову — сразу вспомнишь! Ты сколько уже в Моабите?

— Шесть месяцев.

— Сто восемьдесят дней?

Впервые Касснер подумал о себе. Штурмовики везли его в автобусе. Рядом сидели наци, и автобус казался еще более отдаленным от мира,

нежели тюремная каретка. Небольшая фабрика пропеллеров (он якобы там работал) предоставляла в его распоряжение самолет. Аппарат — в ангаре… Касснер всю дорогу думал только о нем. На углу двух улиц маляры красили вывеску москательной лавки — пеструю, как Красная площадь в Москве. Они пели… Все это казалось ему нереальным, похожим на сон или, вернее, на странный обряд.

Следователь продолжал:

— Сто восемьдесят дней?.. Так… Ну, а кто теперь спит с твоей женой?

Следователь не сводил глаз с арестованного — сейчас он себя выдаст! Касснер с особенной остротой ощущал присутствие этого человека, засасывающую покорность, силу отчуждения. Тон следователя теперь не был вызывающим.

— Кто же спит с твоей женой? — лениво повторил он.

Касснер вдруг почувствовал себя на месте допрашиваемого: он был и зрителем и актером. Его мысли путались.

— Я не женат, — ответил арестованный, повернувшись снова в профиль.

Наступило молчание. Наконец-то гитлеровец сказал все тем же равнодушным голосом:

— Это не мешает жить с женщиной…

Два человека глядели друг на друга с иссякшим отвращением.

Следователь шевельнул подбородком, и тотчас же караульные увели арестованного. Они подтолкнули Касснера к столу. Наци поглядел на него, раскрыл папку и вытащил одну из фотографий.

Как всякий человек, вынужденный часто прятаться, Касснер хорошо знал свое длинное, лошадиное лицо с крепко стиснутыми челюстями. Какую фотографию рассматривает следователь? Касснер видел карточку вверх ногами. Не очень-то опасно: он был тогда коротко острижен — торчат уши, сухое лицо. Теперь длинные шатеновые волосы придают ему слегка романтический характер. Притом на фотографии он снят со сжатыми губами. Он знал, что стоит ему улыбнуться, как выступают вперед до десен длинные зубы. Он сделал это с трудом, — у него болел зуб. Он опустил глаза, — это резко меняло их выражение: обычно он смотрел слегка исподлобья, но если взглянуть вниз, исчезнет белок между радужной оболочкой и нижним веком.

Следователь молча разглядывал лицо человека и фотографию. Касснер знал: если узнает

— крышка, по суду или без суда.

— Касснер, — сказал гитлеровец.

Тотчас же караульные и писаря повернули головы. Впервые Касснер увидел легенду, которая окружала его имя — на лицах врагов.

— Я не хочу спорить… Меня знают в моем посольстве. Даже самый глупый конспиратор не попросит прикурить у полицейского, чтобы потом залезть в ловушку…

Он был на явке в антикварном магазине, принадлежавшем одному из товарищей. Через полчаса он должен был пойти к зубному врачу. Вошел товарищ, повесил пальто на вешалку, сел и потом сказал:

— У Вольфа засада. Сейчас там будет обыск.

Вольф встал:

— У меня в часах листок с адресами…

— Тебя сейчас же схватят. Где лежат часы?

— В шкафу, в кармане черного жилета. Но…

— О чем тут говорить! Давай ключи.

Войдя в коридор, Касснер увидел двух штурмовиков: это не было даже ловушкой. Он остановился с папиросой в зубах и сделал вид, что закуривает. В зажигалке нет бензина!.. Он попросил огня у штурмовиков. Потом он поднялся наверх. Он позвонил, прислонившись к двери,

чтобы спрятать руку с ключом, вошел, захлопнул дверь, открыл шкаф, нашел часы, проглотил листок, положил часы на место и закрыл шкаф. На лестнице тихо. Его схватят, когда он будет спускаться. Спрятать ключ некуда. Выкинуть в окно? Глупо! В шкафу висели брюки, он засунул ключ в карман: у Вольфа может быть несколько ключей.

Нужно выждать минут пять, как будто он зашел к Вольфу и не застал его дома. Вкус бумаги, которую было больно жевать (невралгия или испорченный зуб? Если бы после зубного врача!), напомнил ему запах карнавальных масок из папье-маше. Отсюда нелегко выбраться! Фальшивый паспорт — вещь ненадежная… К фашистским тюрьмам он относился без излишнего оптимизма. Кто знает пределы его выдержки?.. Он кинул папиросу, — его тошнило от табака, смешанного с привкусом жеваной бумаги. Наконец-то он вышел. Его задержали на площадке.

— Вы можете найти у меня на фабрике свыше пятнадцати писем — наша деловая переписка с господином Вольфом: все поставки были сданы.

Его пильзенский выговор звучит неплохо, хотя Касснер — баварец. За годы партийной работы Касснер привык, сам того не замечая, то и дело

вставлять: «вы понимаете». Сердечность этого выражения, обращенного к наци, ему противна: он следит за собой, он говорит очень медленно. И следователь и арестованный знают, как трудно разоблачить человека, снабженного хорошими документами. Следователь роется в папке, подымает глаза, снова перелистывает бумаги.

«Фотографии, приметы, — думает Касснер. — Что это за бумаги?» Штурмовик подтвердил, что Касснер попросил у него огня. Но как он вошел? Ключа на нем не нашли. Это хорошо. Штурмовики слыхали, что он звонил. Но кто же поверит, что дверь не была заперта?

Какой кажется его жизнь по этим клочкам бумаги? Сын шахтера, студент-стипендиат, организатор рабочего театра, военнопленный в России. Партизанский отряд, потом Красная Армия. Он работает в Китае и в Монголии. Писатель. Он возвращается в Германию в 1932 году. Подготовка стачки в Руре: против декретов Папе-на. Подполье: информационное бюро. Межрабпом… Да. есть за что прикончить! Однако человек с такой биографией должен иначе выглядеть.

— Пойти в посольство с чужими бумагами не так-то трудно, — говорит наци.

Но Касснер чувствует, что он колеблется. Да

и все кругом недоумевают: люди хотят, чтобы романтическая биография подтверждалась театральной внешностью. Его дар изобретательности окреп за годы работы для сцены. Сурово и нежно он описал гражданскую войну в Сибири. Казалось, он должен был нести на себе следы пережитых и описанных драм. В представлении людей его жизнь смешивалась с рубищами сибирской эпопеи. Все знали, что после победы Гитлера он остался в Германии. Побежденные любили его и как товарища (его роль в партии была значительной, но не первостепенной), и как грядущего бытописателя этих дней угнетения. Даже в представлении врагов он был частью того, что он видел. На его лице искали следы Сибири. Наверно, когда люди видали в газетах его портреты, они находили эти следы. Может быть, они их придумывали. Но живое лицо не поддается изменениям. Гитлеровцы готовы были рассмеяться: вот такого приняли за Касснера!..

Следователь куда-то вышел, потом он вернулся, захлопнул папку и кивнул подбородком. Два штурмовика схватили Касснера и, подталкивая кулаками, повели его к двери.

«Если бы они решили убить меня сразу, они повели бы меня на гауптвахту...»

Но нет — коридоры, коридоры. Наконец его заперли в довольно просторной темной камере.

Четверть часа спустя темнота стала мало-помалу рассасываться: проступили серые стены. Касснер кружился по камере, бессмысленно озабоченный, сам не понимая, о чем он думает. Потом он пришел в себя и остановился. У двери внизу и возле пола стена казалась грязной. Но пыли не было. Камера отличалась немецкой опрятностью. Гигиена!.. Сырость? Он чувствовал, что ставит себе вопросы машинально. Его мысли кружились наподобие его тела («наверное, я сейчас похож на лошадь!»), глаза его не двигались. Он увидел прежде, нежели понял: низ стены покрыт надписями только с одной стороны. Того, кто пишет возле двери, не видно в волчок… Но почему возле пола?..

Мысль его цеплялась за все, лишь бы убежать от покорности. О чем думать? Если его опознали, остается ждать, когда они придут. Убить? Пытать? Нет, лучше думать о надписях.

Многие наполовину стерты. Некоторые зашифрованы. *(«Если мне придется остаться здесь, я постараюсь найти ключ».)* Некоторые разборчивы. Он снова зашагал по камере. Теперь он шагал медленно, выделив самые четкие из надписей.

Приближаясь к ним, он читал: *«Я не хочу…»* Дальше стерто. Другая: *«Лучше было бы умереть на улице от пули»*. Касснер задумался. Большинство рабочих не пошло за ними. Но они могли бы увлечь это большинство, выйдя на улицу. Однако Касснер знал, сколько в нем романтики, и он относился с недоверием к своим мыслям. Сколько раз он вспоминал слова Ленина: нельзя победить с одним авангардом. Со времени своего возвращения в Германию он видел, что работа внутри реформистских профсоюзов и на заводах слишком ничтожна. Вожаки не втягивают рабочих в борьбу. В 1932 году в Германии было меньше забастовок, нежели в Англии, во Франции или в Соединенных Штатах. Революционные рабочие, которых рассчитали в первую очередь, занялись ремеслами. Среди партийных было не более десяти процентов, еще продолжавших работать на крупных предприятиях. Касснер занялся организацией красных профсоюзов. К концу года они насчитывали свыше трехсот тысяч человек. Но и этого было мало.

Теперь, после перехода власти к Гитлеру, нужно было объединить все революционные силы внутри предприятий; связать работу с повседневными событиями; как можно быстрее распространять

сведения об этой будничной борьбе; выдвинуть вперед инициативу низовых организаций. Касснер с января работал в информационном бюро. Это было одним из наиболее опасных мест, и самые четкие надписи — самые свежие — были сделаны, наверное, его работниками. Он подошел к одной: *«Я еще не поседел…»* Почему он заметил именно эту надпись? Он повиновался внутреннему голосу, более глубокому и зоркому, нежели его глаза. Шаги стали слышнее. Сколько их? Звуки смешиваются. Три, четыре… По меньшей мере пять. Может быть, шесть… Зачем шестеро штурмовиков придут сюда? Только чтобы избить… Дверь какой-то отдаленной камеры открылась, потом закрылась под гул сапог, внезапно умолкший в ватной тишине.

Он страшился не боли, не смерти, но садистической изобретательности тех, за которыми сейчас захлопнулась дверь. Обычно самые низкие люди выбирают себе это ремесло… «Пытай они меня, чтобы узнать то, чего я не знаю, — я молчал бы. Предположим, что я ничего не знаю…» Его мужество сейчас сводилось к одному: отделить себя от себя самого, отделить от того, кто через несколько минут будет во власти этого ужасного топота сапог, от Касснера, которым он потом

снова окажется.

Сила тюрьмы была такова, что даже сторожа говорили шепотом. Его камеру наполнил крик, долгий, как дыхание, заглушенный, наконец, удушием. Нужно было укрыться в безответственность сна или безумия и все же сохранить ясность мысли, чтобы не дать себе погибнуть, тут же, бесповоротно. Оторваться от самого себя, оставить им только то, что несущественно.

Крики возобновились. Более резкие. Касснер заткнул уши. Напрасно, мысль тотчас же усвоила ритм боли, она поджидала крик в ту же самую секунду, когда он раздавался. Он был на войне, но никогда он не слышал, как может кричать человек, которого истязуют. Раненые… те стонали… Этот крик был страшен своей непонятностью: как мучают этого человека? Как сейчас будут мучить Касснера?

Дверь закрылась. Шаги. К его камере!.. Он вобрал голову в плечи. Он врос в стену. Он готов ко всему. Он, но не его колени. Он отошел от стены, злясь на слабость своих ног.

Вторая дверь захлопнулась за шагами, как бы захваченными ею в плен. Тишина. Копошатся мелкие шумы. Он снова подошел к двери. *«Шталь, убитый здесь…»* На этот раз не стер-

то — не дописано. Он вспомнил письмо одной женщины: «Как они его избили, Тереза! Я его не узнала. Понимаешь — не узнала среди других!..»

Сколько наших будет здесь после него?.. У него еще не отобрали карандаша. Он написал: *«Мы — с тобой»,* Опустив руку, он заметил еще одну надпись: *«Не пройдет и месяца, как я убью Федерфиша».* Федерфиш был раньше комендантом лагеря. Кто из них уже мертв? Тот, кому грозили? Или тот, кто грозил?..

Пока его глаза схватывали на ходу мельчайшие черточки надписей, ухо ловило шаги тюремщиков, неопределенное царапание в соседних камерах, ругань во дворе, внезапный шум, то заглушаемый коридорами, то очищенный отдаленностью. Он начинал жить жизнью, полной враждебных звуков и шорохов, как затравленный слепой.

Он знал, до чего трудно не ответить на удар. Он знал степень своей силы, мужественное самозабвение, не раз помогавшее ему найти в сердце то окоченевшее место, где помнят своих мертвецов. Но зачем разговаривать с этими людьми? Надо заставить себя молчать. Не отвечать на побои историческими фразами. Убеждать, чтобы продолжать революционную работу… Убьют? Может

быть… Но на заводе в Гагене — там семьсот пятьдесят рабочих, — несмотря на террор, гитлеровцы не нашли ни одного предателя, который согласился бы назвать товарищей, раскидывающих прокламации…

«Посидишь, я тебе проветрю голову…»

Прижав локти к бокам, он стоял посредине камеры. Он ждал новых криков. Тихо. Камера, куда вошли штурмовики, находилась рядом с ним. Ему казалось, что он слышит заглушенные удары. Наконец, — он продолжал быть настороже, — раздался глухой стон между двумя металлическими звуками открываемой и запираемой двери. Теперь — шаги рядом. Касснер подошел к двери, которая в ту же секунду открылась.

Вошли четыре штурмовика. Двое остались в коридоре. Руки обручем, головы вперед, освещаемые только фонарем, который один из штурмовиков поставил на пол. Без лиц, без тел, они были гораздо трагичней, чем эта комедия силы. Расставленные руки — Геркулесы или шимпанзе? Его страх прошел. Этот страх был первобытным, рожденным неизвестностью: он ожидал бесчеловечного — садистов, пьяных, сумасшедших. Но эти не пьяны. Садисты?.. Тревога сменилась стойкостью.

Они его разглядывают. Вероятно, они его плохо видят, как и он их. Только подбородки и скулы освещены снизу. По потолку огромными пауками мечутся коренастые тени. Он снова в норе, все камни тюрьмы нагромождены вокруг. Свет снизу ударяет в скулы. Больно. Нет, это от того, что он сжал челюсти. Он с горечью замечает, что зуб больше не болит. Он решил не отступать ни на шаг.

Удар в живот пригибает его вперед. Другой удар — в подбородок. Он падает. Он ударился о цементный пол и о сапоги, которые начали его топтать. Слабость боли удивила его, хотя он — на грани обморока; после пыток, после всего, о чем он думал, эти удары кажутся ему смешными. Он упал на живот. Его тело как бы защищено панцирем ребер и костей. Топчут сапогами… После удара в челюсть он плюется кровью. «Ну что? Выплюнул свой флаг?» Большая красная волна с шумом ударила его в лицо — удар в затылок. Наконец он потерял сознание.

Ему смутно показалось, что его перебросили в другую камеру с криками: «До скорого!..»

Когда дверь закрылась, первым его ощущением был уют. Дверь давила его, но она же предохраняла его от этой гнусности и бессмысленности.

Чувство одиночества, теснота, конец обморочного состояния напомнили ему взволнованную задушевность детства, когда под столом он играл в дикарей. Он чувствовал себя освобожденным.

Скоро ли кончится ночь? Сторож на мгновение открыл волчок. При свете из коридора Касснер увидал в глубине камеры решетку, которая прикрывала отдушину, Замурованная, эта дыра не соединяла камеры с внешним миром, она жила жизнью отдельной и душной; она одна оживляла невыносимую тяжесть камня. Касснер был в погребе, отделенный от мира, как сном, сумасшествием. Эта дыра заставляла жить жизнью черепашьего панциря камень с его порами, в которых, как неутомимые многоножки, ходят арестованные — те из них, что могут еще ходить.

Он нащупал стенку и постучал несколько раз. Ответа не было.

Приподнятость прошла с борьбой. Блаженство, охватившее Касснера после того, как дверь захлопнулась, выродилось в тревогу, оно слезало клочьями с Касснера, с его чересчур чувствительной кожи, с одежды, ставшей мятой, как ночная рубашка. Оторванные подтяжки и шнурки (он не предназначается для самоубийства), срезанные пуговицы, казалось, меняли существо материи.

Чем он раздавлен? Этой дырой? Болью, которая превозмогает жар? Ночью?

Заключенные в круглых камерах, где ничто не останавливает внимания, обычно сходят с ума.

Он снова постучал.

Две узкие полоски света, обозначавшие под прямым углом дверь, исчезли. Сила, ставшая ненужной, упорно грызла его. Он создан для действия. Темнота лишает его воли.

Нужно ждать. Жить, как ночник, как паралитик, как агонизирующий, с волей упрямой и заживо погребенной, похожей на лицо в глубокой ночи.

Не то — сумасшествие.

II

Сколько дней прошло?

Кроме проверок и порой полоски света между дверью и стеной — глубокая ночь. Сколько дней наедине с безумием, с его дряблым жабьим голосом?

В соседних камерах избивают людей.

Может быть, на воле день, — настоящий день, с деревьями, с травой, с цинковыми крышами, голубоватыми в свете городского утра?..

Его жена в Праге, но сейчас он убежден в том, что она умерла, Умерла, пока он здесь, — как скотина в стойле! Он видит ее, слегка похожую на мулатку, с ли-ом просветленным, как у покойника. Полные губы сжаты, вьющиеся волосы раскиданы, на бледно-голубые глаза сиамской кошки упали тяжелые веки: маска, освобожденная от радости и горя. Даже если он выйдет отсюда, мир для него останется изуродованным. Он будет нести в себе, как рубец, эту одинокую смерть. Такова сила ночи, связавшей его, сила врага, сумевшего его отстранить от судьбы мира, подобно умалишенным или мертвым.

Глухие шаги сторожа удаляются. Они однообразны, как все звуки похорон. «Если я обойду камеру десять раз до прихода второго сторожа (они чередуются с небольшим перерывом) — она все-таки жива…»

Он стал ходить вокруг камеры. Два. Три. Он натолкнулся на стену — он думал, что стена дальше. Четыре. «Я должен идти медленней. Ровным шагом…» Он знал, что он бежит, прихрамывая. Шесть. Шаги сторожа вдалеке. Семь. Восемь. Теперь он бежал, чтобы сократить расстояние. Он почти кружился волчком. Сторож прошел. Девять.

Он лег на пол, хотя ложиться запрещалось. «Если я сосчитаю до ста прежде, нежели он вернется, — она жива. Один, два, три…» Тишина. Он закрыл глаза. Цифры следуют одна за другой, как будто его сейчас расстреляют. Шестьдесят, восемьдесят, девяносто семь, сто: «Жива!»

Он увидел, как раскрываются глаза Анны, и он раскрыл свои. Он не заметил, что, пока он считал, его ноги были сжаты, а руки скрещены на груди, как у мертвеца.

«Я схожу с ума». Шаги сторожа. Он решил не вставать: ему хотелось увидеть живого человека. Как и все люди, он был куда храбрее перед настоящей опасностью, нежели перед ожиданием. Он понял это после одной ночи в сибирской деревушке. Они ждали белых. Томление. Тогда ему пришло в голову раскрыть окно избы и дверь — он сразу уснул.

Сторож прошел, не заглянув в волчок. «Здесь трудно умереть прежде, нежели… Нужно обязательно что-нибудь придумать! Если меня будут пытать, у меня, может быть, и хватит сил, чтобы молчать. Но если я сойду с ума?.. Спасти листок с адресами, чтобы потом выдать вещи в десять раз поважнее!..» Что, если переход к безумию неощутим, и та минута, когда он очнулся, лежа,

как покойник, ища в цифрах жизнь жены, была минута просветления?

Сторож прошел по коридору, что-то напевая. Музыка! Вокруг него — пустота. Геометрическая впадина в огромном камне, а в этой дыре ком мяса для пыток. Но в этой дыре зазвучит Моцарт, Бах, Бетховен. Его память наполнена ими. Музыка медленно отталкивает безумие от его груди, от рук, от пальцев. Она касается всех его мускулов, кроме горла, особенно чувствительного (хотя он не поет, но только вспоминает), чувствительного, как его нижняя губа, рассеченная ударом. Воображаемые звуки, сжатые, потом освобожденные, вновь обретают переживания любви и детства, те переживания, которые у всякого человека в горле: крик, плач, спазма смятения. В предгрозовой тишине вокруг Касснера, над его порабощенностью и безумием, над мертвой женой, мертвым ребенком, мертвыми друзьям и, — над миром мертвых глухо подымаются горе и радость людей.

Торжественность простора, и, как бы тронутый чьей-то рукой, звучит лес звуков. Песня падает и взлетает, бередя раны Касснера; она приподымает его, как корабль, и несет до самых пределов боли: любовь. Под болью прячется сумасшествие:

пока Касснер не двигается, оно выжидает.

Он помнит кошмар: коршун заперт с ним в клетке. Клювом, как киркой, он отрывает клочья мяса. Он жадно смотрит на глаза Касснера. Теперь он здесь. Он приближается. Он раздулся, как огромный комар от черной крови этой вечной полуночи. Но музыка сильнее. Касснер больше не властен над нею. Мороз и Гельзенкирхен; собака лает на диких уток; ее лай пропадает в уюте рыхлого снега. Рупоры забастовщиков — против сирены шахт. Подсолнечники, растоптанные партизанами; их желтые лепестки смяты засохшей кровью. Зима над Монголией, которая за три дня стала зеленовато-серой, как труп. Лепестки роз, сухие, как мертвые бабочки на желтом ветру. Лягушки в дождливой заре, деревни с размытыми дождем пальмами, а в отдалении гудки грузовиков, взбунтовавшихся ночью. Трещотки китайских продавцов, удирающих от партизан и пропадающих где-то среди светляков в конце пальмовой аллеи. Наводнение; не видно берегов Янгце; как рыбы, идут трупы: их останавливают крючковатые деревья, облитые ровным светом луны. Припав к холодной и опустошенной саранчой земле, среди равнин Монголии, партизаны прислушиваются к гуду белой армии. Так его

молодость, страдания, даже воля терялись, подчиняясь неподвижному ходу созвездий. Коршун и тюремная камера были смяты тяжелым потоком похоронного марша. Обрывки войны, голоса женщин, убегающие тени, — все воспоминания распылялись в бесконечном дожде, который, падая, стремился унести их прочь. Может быть, смерть сродни этой музыке: здесь, или на гауптвахте, или в подвале — может быть, жизнь тогда сразу встанет перед ним без жестокости и без ненависти, как эта корпия воспоминаний? Вне камеры, вне времени существует мир, победивший даже муку. Мало-помалу он начинал чувствовать, что его тело смешивается с неисчислимостью звезд. Эта ночная рать, сбившаяся с пути через тишину, притягивала его к себе. Небо Монголии над татарскими погонщиками верблюдов, простертыми в пыли Гоби, среди запаха сухого жасмина, их заунывное пение:

И если эта ночь — ночь судьбы.

Да будет она благословенна до первой зари.

Он встал. Пока он двигался, его конечности и кожа растворялись в темноте. Теперь, ступая, он ощущал все части своего тела, подвергавшиеся

побоям, как наросты дерева. Он снова почувствовал свой костяк, ломоту в суставах, голову — в темноте она казалась ему больше обычной. Он слышал крики — это восстали толпы Страшного суда, крики сгущаются в один — мужественное братство: крики тех, которые сейчас выводят серп и молот на домах замученных товарищей — призыв к мести; крики тех, которые меняют дощечки с названием улиц, выписывая имена погибших друзей; тех, которые в Эссене пали под ударами — лица в крови, — штурмовики хотели заставить их петь «Интернационал», и лежа они запели его с такой отчаянной надеждой, что унтер не выдержал и стал стрелять. Но прежде, нежели из этих голосов родилось воспоминание о революционных песнях, проходящих по толпам, как светящаяся зыбь ветра — по нивам, далеко, до горизонта, — торжественность новых звуков уже неодолимо клонила его ко сну. Музыка преодолевала свой призыв к подвигу, как она преодолевала все. Над миром — ночь; люди знают друг друга — они вместе идут или молчат; сиротливая ночь, полная звезд и дружбы. Ночь над всей его молодостью, над забастовками шахтеров, над полями, где лениво лежат коровы, просыпаясь от переклички деревенских собак;

и вот песня обрывается. Звезды будут всегда кружиться по обреченному небу, как арестанты по тюремному двору, как он по этой камере. Три ноты, три удара колокола, падают на его раны, последние клочья неба блекнут, и в томлении они постепенно принимают форму коршуна.

Его слегка знобит, он закрыл глаза, руки цепляются за грудь. Он ждет. Кругом ничего, ничего, кроме огромного камня, и — ночь, другая мертвая ночь. Он прижался к стене. Он слушает музыку, которая, родившись в его голове, мало-помалу смолкает, оставляя его мертвой рыбой на песке и вместе с последним отзвуком человеческого счастья уходя в небытие: «Как сороконожка!..»

Только получеловек, хитрый, покорный, наконец-то отлученный от времени, может приспособиться к этому камню. Часы заключенных — черный паук, маячащий по камере, жестокий и притягивающий к себе, как часы их товарищей — приговоренных к смерти. Касснер страдал не от настоящего, но от этого ощущения: «навсегда». Его давили не холод, не темнота, даже не тяжесть камня, но эта порабощенность — закрытая дверь. Что-то в нем пробовало приспособиться, но это было отупением, прерываемым мотивами, застрявшими в камере, как солдаты, отбившиеся

от полка; церковное пение — звуки почти неподвижные, — они преследуют его с той минуты, когда он решил пойти к Вольфу. Русское старье в лавке антиквара: иконы, плащаницы, кресты, рясы. Касснер боролся против отупения и засасывающей силы часов, ритм замедлялся; так он будет жить всегда — с церковной утварью в глубине своего вымысла, как в трюме затонувшей галеры, повинуясь ритмам все более и более медленным, все более и более широким — круги на воде; пока все не исчезнет в тишине окаменения. Стучат. В дверь? Он все время слышит эти стуки. Снова! Он спрашивает: «Кто там?» Тихие голоса отвечают: «Мы». Теперь они не входят, расставив руки. Они стоят равнодушно, как после пытки. Снова стучат. Каждый стук возвращает Касснеру остатки сознания: это стучит заключенный. Два долгих, пауза, шесть коротких. Но когда он стучал, никто не ответил… Все, что напоминает надежду, — безумие? Но разве не безумие убегать от надежды?

Пять, два, два, шесть, девять, десять, один, четыре, один, четыре, два, шесть, девять…

В его голове все путалось. Церковное пение над сокровищницей разрушенной церкви перебивало цифры. Надо прежде всего показать, что он

слушает. Он постучал. Тот наверное ответит. Он снова стучит, на этот раз медленней…

Записать? Но как? Нельзя. Касснеру захотелось ударить в стену с размаху, как лошадь копытом, ответить на эти стуки всей тяжестью своего тела. Но цифры он все же забудет… «Надо подумать…» Но как думать, когда всем существом, до самых костей он чувствует присутствие того — он ждет стуков; бешенство, отчаяние, озноб. Он слышит, как стучат его зубы.

Тот снова начал:

5; 2; 2; 6; 9; 10; 1; 4; 1; 4; 2; 6; 9.

И снова церковное пение.

«Пытка надеждой…» Если Касснер начнет, может быть, тот запомнит, разберется. Но как придумать азбуку? Сейчас он снова застучит.

Он заставлял себя изо всех сил думать. Нельзя выгнать из головы образ руки, которая напрасно пытается поймать на лету мошку. Ему наконец-то удалось установить: тринадцать цифр. Может быть, если их сложить, я запомню? Нет, слишком длинно. Разделить на две части?..

Тишина. Он ждал, едва переводя дыхание. Его тело было связано этим напряженным ожиданием. Время от времени он стучал, теперь — на всякий случай. Ничего. Он не оглох: он слышит

звуки, шаги, все бормотание тюрьмы, а над ним неотвязную мелодию. Сторожа открыли одну из соседних дверей. Может быть, они поймали того, кто стучал? Или его увели случайно прочь? Как прежде музыка, теперь надежда покидала его в том же оцепенении. Он ждет еще, и вот последняя надежда уходит, якобы в последний раз, как последняя волна крови, выжатая из раны непреодолимым сокращением сердца.

Он прикрыл глаза, и ослепительный мир полусна охватил его. Смесь образов, сквозь которые прежде всего проступала радуга: пятно нефти на воде. Она определилась как розовая с черными запятыми. Может быть, это переход через реку, когда рыбы, оглушенные снарядами белых, обступали голодных партизан? Связки рыб с розовыми животами среди оранжевых отсветов холодной зари… Эти отсветы стали золотыми, как будто взошло солнце; они слились с церковной утварью из лавки антиквара. Их шероховатая выделка дрожит под пение псалмов, как лампадка киота. На эти лампадки — огни сибирского экспресса — он выброшен, как судно на берег, в лес под телеграфные столбы. Это — гражданская война.

Он лихорадочно накинулся на видения — теперь они были его жизнью. Призвать волю?

Бакунин в каземате каждый день сочинял газету: передовую, сообщения, фельетон, рассказ, хронику происшествий… Образы, рожденные мукой, были слишком быстрыми: надо их закрепить. Может быть, Касснеру удастся победить оцепенение, безумие, а под ними, как спасение души под грехами верующих, навязчивые мысли о победе, которые поддерживают его подземную жизнь. В нем еще столько же сил, сколько кругом него угроз.

III

Свет — от лампы в глубине коридора. На воле, должно быть, ночь.

Сторож, расставив ноги, внимательно осмотрел его. Касснер подумал: «Этот хочет развлечься…» Он слыхал, что арестованных заставляют ползать на четвереньках.

Сторож сделал шаг вперед.

Касснер знал, что перед ним жестокость, желание унизить, хотя он едва различал лицо сторожа.

Он отступил, чтобы сохранить разбег, выпятил грудь, поднял ногу: если он заговорит, я не отвечу, но если он тронет меня, я всажу ему голову в

живот; будь что будет!..

Сторож понял: когда человек пятится в страхе, его ноги впереди груди. Что-то упало с мягким шумом.

— Работать, расплетать, — сказал он.

Дверь закрылась.

В ту минуту, когда Касснеру казалось, что он ближе всего к самоубийству, достаточно было этой встречи с действительностью, чтобы он снова обрел свои силы. Когда штурмовики вошли в его камеру, несмотря на крики, доносившиеся из соседних камер, страх сразу исчез. Он знает мир бессонницы, эту муравьиную точность задолбленного несчастья: здесь, в этом мире, он должен отбиваться, и успешность борьбы не в спокойствии, явно недостижимом, но в голове наготове, в этих сжатых кулаках. Он успел позабыть, что такое — сознание: он ударил бы так, как голодный ест.

Он подошел к вещи, оставленной сторожем, и поднял ее: веревка. Нельзя ли съесть веревку — хорошо зажаренную? Лиловый кусок ростбифа, жемчужные капли на запотевшем графине, анисовые и мятные настойки с куском льда, вечером, под деревьями… Сколько раз ему давали еду, с тех пор как он здесь? Минутами голод бросал его

в лихорадочное отупение сильного гриппа.

«Работать…»

Он подумал: «Расплетать веревку — это значит обломать ногти», — так он вернулся к самоубийству, как к забытой вещи. В густой тишине металлические стуки закрываемых дверей повторялись растущей гаммой: наверно, сторожа раздают веревки. Входит ли вместе с ними в эти дыры готовность умереть — одна для всех, как прежде — отчаяние и оцепенение? Волны сумасшествия, отступившие от Касснера, не уносят ли они теперь его товарищей все дальше и дальше от того, чем они еще недавно были? Не схватывают ли эти люди веревку, не теряют ли они рассудок при виде этой гитлеровской веревки: единственный свободный жест предусмотрен, смерть отнята, как отнята и жизнь?.. Многие сидят куда дольше его в одиночке, притом — молодые, слабые… В каждой камере — веревка. Что же ему остается, как не стучать в стену?..

Стук, другой. Касснер едва решается прислушаться, Ему отвечают. Или он сошел с ума? Стуки оттуда же, что раньше… Он слушал изо всех сил, и, однако, он боялся что-либо расслышать: вдруг стуки прекратятся? Так было прежде — ему показалось, что он слышит шаги сторожа, но он

ошибся. Даже надежда становилась одним из проявлений боли.

Ведомая бесконечным терпением каторжника, невидимая рука выстукивала:

5–2–2; 6–9–10–1; 4–1; 4–2; 6–9.

Девять было отделено от десяти более продолжительной паузой, нежели два от шести.

Сначала он не думал об азбуке. Главное — установить связь: он стучал и слушал; этим он спасал от страшной пустоты и своего товарища, и себя. Группы из двух цифр: два — шесть или один — четыре вряд ли обозначают буквы — за ними следуют отдельные цифры. Скорей всего это числа: 5–2 — 26, 9—10. Но вот он уже забыл остальные…

Он снова постучал. Сосед ответил:

5–2–26; 9–10, 14–14, 26–9.

Он продолжал выстукивать, пока Касснер не повторил ему этих цифр.

Касснер изо всех сил сжал веки; его лицо до висков скошено мучительной гримасой: он старается представить себе эти цифры в порядке. Он найдет ключ, когда он их увидит. Он чувствует себя скупым насекомым, которое с поджатыми лапками копит в каменной щели свои богатства. Так и он сейчас — пальцы на груди — перед эти-

ми цифрами, перед словами дружбы, которые слабость или внезапное волнение могут навсегда зачеркнуть, как пробуждение зачеркивает сон. Подвешенные где-то позади на нитке, неуловимой и хрупкой, они заполняют темноту. Они скользят над ним; кажется, стоит ему схватиться за них, и он спасен; но его руки никак не могут их поймать. Он испробовал все ключи: цифра прибавляется к буквам алфавита, вычитается. Он множил, делил. Думать, искать, избежать пустоты — это было такой помощью, что все преграды казались ему ничтожными. Может быть, алфавит в обратном порядке? Он заметил, что помнит алфавит, только начиная с «а».

Что, если стучит сумасшедший?..

Его старого товарища, анархиста, который в военном госпитале уговаривал товарищей не подчиняться дисциплине, положили между стеной и сумасшедшим.

Может быть, стучит сторож нарочно, услыхав его стуки, стучит как придется?..

Снова! Это терпение слепого может быть только у заключенного. Он стучит четко, внимательно; нет, это не сумасшедший.

Терпение — и он найдет! Только бы не спутать цифр различными догадками. Он останется го-

лым, обокраденным рядом с этой неутомимой дружбой…

Мельчайший тюремный шум казался ему теперь далеким стуком, тюрьма — ночным сборищем в Гамбурге. Он тогда предложил, чтобы каждый из присутствовавших зажег спичку. В их беглом свете проступили толпы, по которым неслись огонечки, теряясь где-то в темноте… Он вспомнил рабочую улицу рядом с Алек-сандрплатцем, закрытые сигарные лавки под луной, ночь боев. Коммунисты очистили улицу; последние огни погасли под грохот полицейских грузовиков. Но не успели полицейские проехать, как уже окна выбросили на мостовую квадраты света, перерезанные тенями: держась несколько позади, чтобы не попасть под пулю, все население улицы показалось сразу — напряженные лица, ниже — детвора. Двери открывались перед товарищами, спрятавшимися где-нибудь в подворотнях. И сразу все эти статисты, связанные братством, исчезли, они исчезли столь же неожиданно, как и показались: второй грузовик пролетел между домами, снова захваченными лунным равнодушием.

Еще часы, пожираемые муравейником цифр. Иногда проходят сторожа. И медленно, почти

случайно, как будто он тут ни при чем, приходит мысль: 5 не означает, что это — A, нет, с пятой буквы начинается алфавит. Тогда 1 — F; G — 2… Z — 21, A — 22; B — 23… E — 26. Снова стучат. Касснер считает по пальцам:

2 — G, 26 — E, 9 — N…

Genosse — товарищ! Радость заставила его привскочить, она снова обогнала сознание. Он старался не дышать, и он все же задыхался, его пальцы впивались в колени. Он покачнулся, отброшенный в ночь: новый звук примешался к ударам — сторож!

Медленно, спокойно, безразлично, может быть, пресыщенный скукой, которая исходит из камер, где заживо разлагаются заключенные, — заключенный на время среди заключенных до окаменения или до смерти…

Раз, два, три, четыре…

Конечно, Касснер в камере слышит стуки лучше, нежели сторож. Пять, шесть… Но сторож приближается, сейчас он услышит. Семь… С его шагами время, как река, вышедшая из берегов, неслось на Касснера, срывая мельчайшие разветвления его нервов. Восемь, девять… Если сторож услышит, — того, кто стучит, убьют. Или его кинут в карцер — длинный гроб: там можно

только стоять. Перехватят к тому же азбуку… Касснер чувствовал всю свою ответственность: терпенье того, кто стучит, эта неутомимая память, — все кажется в ловушке благодаря его недогадливости и неловкости. Десять… Касснер — между стуками и шагами. Еще несколько секунд и… Если он понял азбуку, как простучать «Осторожно» — Achtung? A, C… Он стал считать по пальцам, начиная с F. Больше 20…

Обезумев, он поднял кулак, но тотчас же понял, что так его не будет слышно, и согнул указательный палец.

Стуки прекратились.

Услыхал ли он тоже шаги? Возможно: его внимание, прикованное к стукам, готово было различить малейший шорох. Некоторые обходы чередовались регулярно. В тишине, ставшей безмерной, еще висела угроза: вдруг он снова постучит?.. А шаги приближались. Втянув голову в плечи, Касснер следил за ними. С сумасшедшей волей гипнотизера, казалось, он готов был оттолкнуть от себя любой призыв.

Шаги удалились.

Снова стучат.

10 — O…

Пока заключенный продолжал выстукивать,

Кас-снер тоже начал стучать:

1, 4 — S; 1, 4 — S; 2, 6…

В темноте они теперь одновременно выстукивали это слово «товарищ»; они знали, что понимают друг друга, но они все же не могли остановиться; каждый слушал стук свой и соседа: угрюмое биение сопряженных сердец.

Касснер хотел сказать только самое важное: слова, из которых каждое готово судорожно сжаться в груди замурованного человека. Прежде всего сказать ему: «Ты не один», защитить его от веревки — он тоже не расплетает ее; он стучит. Загибая пальцы, Касснер искал слова. Он едва умел лопотать на этом новом для него языке.

Он снова слышит:

Не падай духом!

Проходит сторож.

Тот продолжает стучать (и с первыми стуками «кто» — это Касснер выстукивает, — оба замолкают).

Можно…

Хлопнула дверь; она, казалось, придавила все звуки. Барабанная перепонка Касснера натянута.

Он может теперь различить направление мельчайших звуков: дверь и выстукивание — там же.

Тюремщики вошли в камеру его товарища или в соседнюю: он перестал стучать. Но что-то глухое и смутное, похожее на звуки под водой, доносится оттуда, и этот неясный шум заставляет дрожать все чувства Касснера, натянутые в ночи. Стук. Нет, это удар. За ним другой, шире и глуше. Еще: теперь они жесткие и как бы наполненные — это не пальцы стучат, но все тело его товарища. Избивают. Стучат им: то мягко — мясом, то звонко — черепом. Звуки отдаются в огромной темноте Касснера, пьяного своим бессилием и порабощенностью.

Он ждет их.

Может быть, они не придут? Должно быть, они не слыхали, что он тоже стучал (он стучал ведь куда меньше). Иначе они выждали бы, чтобы проверить, кто отвечает…

Они не пришли. Снова одиночество. У Касснера отняли чувство братства, как прежде у него отняли мечты и надежду: говорить для людей, даже если они никогда его не услышат!

Он будет долго готовиться — часы, дни, он найдет то, что можно сказать этим сумеркам…

IV

«С тех пор… Я не знаю: в темноте часы путаются. Одним словом, за две недели до того, как меня арестовали. Я был в Париже: митинг солидарности с политическими заключенными в Германии. Десятки тысяч наших. Все стоят. В главном зале первые ряды отвели слепым. Они глухо поют; их голоса тонут среди революционных песен, которые доносятся из других залов, из самой ночи; они поют, и у них мелкие, страшные жесты слепых. Они поют для нас: потому что мы — здесь.

Я видел мертвого Ленина. Это было в зале бывшего Благородного собрания. Вы понимаете — череп кажется еще больше обычного. До края ночи по снегу все идут и идут люди…

Мы прошли мимо гроба. Потом… Или это было раньше? Мы ждали в доме рядом. Вошла жена Ленина. Голова пожилой учительницы. И мы поняли, что самое глубокое молчание может стать еще глубже. Ожидание. Тревога. Она чувствовала, что мы с ней в самом существе этой потери. И голосом — вы понимаете, как можно это сказать, — она сказала — никто не ожидал

от старой большевички таких слов: «Владимир Ильич любил народ»…

Китайские товарищи, заживо погребенные, русские друзья с выколотыми глазами, немецкие друзья — вокруг меня, ты — рядом, тебя сейчас избили, то, что меж нами, я называю любовью.

Я знаю, сколько нужно сил, чтобы сделать что-нибудь стоящее. Я знаю, только победа сможет оправдать эти страдания. Но, по крайней мере, если мы победим, каждый из нас наконец-то найдет свою жизнь.

Каждый из нас знает, что он одинок; он идет вечером домой, и там он снова один; в свою комнату он приносит презрение и равнодушие всех; бесцельность жизни плетется за ним, как собака. Он идет, он ищет женщину, с которой он будет жить: ведь надо же с кем-нибудь жить. Они будут спать вместе. Потом пойдут дети: их тоже никто не выбирал. Они сгниют вместе с множеством никогда не проросших зерен. Сейчас, если только сейчас на воле ночь, как здесь, — они молча лежат, затравленные — толпа. Потому что любовь — это выбор, и нельзя выбирать, если нечего дать.

Но начиная с тех слепых в Париже и кончая китайскими Советами, в любой стране мира

несколько человек сейчас думают о нас, как будто мы дети, мертвые дети.

Я видел…

Я должен здесь вернуться назад… Трудно говорить в темноте! Мой отец в течение двадцати лет был одним из лучших партийных работников Гельзенкирхена. Когда мать умерла, он начал пить. Вечером оп все же шел на собрание. Те, которые чуть было не умерли с голода, ночью тихонько встают, ищут хлеб и прячут его под подушку. Он прерывал ораторов; прикидывался дурачком; иногда он сидел тихо, где-нибудь позади. Его все знали. Когда он приходил, на него поглядывали с грустью и досадой. Но его все же не гнали. «Как-никак развлечение», — сказал с усмешкой один товарищ. Он не знал, что я сижу позади него. Политически меня воспитал отец. Когда я начал выступать, он попробовал бросить пить. Но вскоре он снова запил. Он часто не давал мне говорить. В одну из таких минут я понял, до чего я связан с революцией.

Он работал в шахте. Катастрофа. Он внизу. Двести шахтеров. Под несмолкающий звон колокола спасательный отряд спустился вниз. Они оказались среди огня. Несмотря на маски, им не удалось спасти даже своих; двое погибли,

один пропал без вести. Вы понимаете, мы все подавали мешки с песком. Только один звук: это — «скорая помощь», но напрасно они ждут. Огонь проник дальше. Третий из спасателей погиб. Это продолжалось сорок часов. Тогда инспектор и наши делегаты объявили, что газ проник во все штреки. Шахту замуровали у нас на глазах.

В день МЮД в Москве я был в театре. Давали пьесу: это почти то же самое, о чем я только что говорил. Триста тысяч комсомольцев проходили мимо. Чтобы войти в театр, надо было протискаться через толпу. Спектакль начался в девять, а на парад они шли с пяти. В антрактах мы спускались вниз, чтобы покурить. Мы видели все ту же неиссякаемую толпу: она шла мимо; вздыбленные флаги как раз на уровне окна. Потом все возвращались наверх: они — к театральному вымыслу, я — к моей молодости. Снова антракт, — и снова мы идем вниз, а комсомольцы все идут и идут. Мы подымаемся. Эту пьесу глядели все — от Каспийского моря до Тихого океана, она возвращала труду смысл и достоинство. Я вспомнил набат и шахтеров вокруг, одиноких среди равнодушной немецкой ночи… И когда все кончилось, глядя на толпу, которая не давала нам выйти, я подумал: им еще нет двадцати лет! Среди них

нет ни одного, вы понимаете — ни одного, — вот они идут часами с Красной площади, я говорю, среди них нет ни одного, который знал бы годы презрения.

А мы?..

Шаги в коридоре. Касснер неизвестно зачем подошел к двери.

«Мы в замурованной шахте. У наших газет не было рабкоров, теперь они нашлись, — теперь, когда тот, кто нам пишет, рискует очутиться здесь. И, несмотря на эти норы — рассадники безумья, пять миллионов при плебисците ответили «нет».

«Вы понимаете...»

Дверь раскрылась. Сжатые кулаки метнулись к глазам: свет из коридора обжег его до самого мозга. Свет обмывал все тело, полное сумерек, он расклеивал слипшиеся веки.

Ты решишься наконец-то?

Ему удалось раскрыть глаза. Два человека: красный, зеленый. Слепящие желтые пятна. Потом они стали хаки: форма штурмовиков. Черная свастика на белых повязках. Белое было потрясающим. Касснер почувствовал, что его выталкивают в коридор.

Его повели через огромные желтые волны

света. Значит, они знают, что он Касснер. Попытаться убежать? Он сейчас не владел своими движениями. Он не мог ни прыгнуть, ни бороться. Он едва видел. «Я снова стану человеком, когда меня начнут пытать…» Его речь еще билась в нем, как примятые крылья. Он двигался — детский шарик, приподымаемый проникавшими ему в грудь вкусом ароматного воздуха, крупными шагами, светом, — свет теперь был синим, как будто с глаз сняли черные очки. «Может быть, мне все же удастся прикончить одного?..»

Только сидя в сборной, где его допрашивали сразу после ареста, Касснер понял, что его не ведут к стенке. Может быть, его хотят перевести? Кроме темных камер, у них имеются вертикальные гробы. Свет застилал пылью лицо человека в форме. Касснер видел только жесткие усы и густые брови. Двое в штатском; они у стены — как будто пальто висят. Перед ними солнечный луч; мириады атомов дрожат в нем; это — канал, тронутый ветром.

Касснер подписал бумагу. Гитлеровец передал одному из пальто конверт и пакет, завернутый в рваную газету. Касснеру показалось, что оттуда выглядывают его подтяжки. Полицейский сказал:

— Недостает зажигалки и коробки с пилюлями.

— Они завернуты в носовой платок.

Двое в штатском повели Касснера к автомобилю. Он шатался, ноги его путались, он не мог оторваться глазами от неба. Полицейские сели, Касснер между ними. Автомобиль тотчас же тронулся.

— Наконец-то, — сказал первый полицейский.

Касснеру захотелось ответить любезно, хотя его спутники были шпиками. Плотный человек, заговоривший о ним, достаточно призрачен: жидкие усы спадают на полуобнаженные резцы в воздухе, омытом голубыми потоками. Крупные черты лица; каждая из них сбивается на карикатуру. Он похож одновременно на моржа, которого Касснер видел в Шанхае, и на толстого китайца, который этого моржа показывал. Касснер знает свою манию подставлять под любого человека звериную морду, но это лицо, право же, на редкость странное. Свет, как косой дождь, с двух сторон оживляет лицо моржа, оно дрожит над пальцами с выпуклыми ногтями. Лицо, готовое тотчас же раствориться в смутном колыхании умирающего дня; автомобиль отбрасывает все назад, но и лица полицейских тоже мгновенны, случайны, они

могут исчезнуть в пестроте воздуха. Это не сон: все предметы существуют, они зримы, весомы, и все же они не настоящие — другая планета, неизвестный мир, введение в край теней.

— Что же, — сказал морж, — теперь мы увидим мамочку?

«Какую мамочку?» — подумал Касснер. Он, однако, нашел в себе силы, чтобы не спросить, куда его везут. Морж усмехнулся тихо и насмешливо; его резцы теперь совсем обнажились на смутном фоне полей и осенних деревьев. Касснеру казалось, что говорит не он, но только его резцы. Морж сказал:

— Значит, дела теперь лучше?..

Касснер заметил, что он напевает: это речитатив попов, но на веселый лад. Только его сознание было под угрозой, — тело переживало свободу. Может быть, морж растворится, автомобиль исчезнет и Касснер очутится в своей камере? Может быть, то, что он слышит, никого не обязывает, слова и мысли пропадут вместе с деревьями и лиловыми астрами на краю дороги? Но было в самом Касснере нечто, сохранившее ясность ума. Он был настороже. Вокруг него — явь, сон или смерть — кружился предполагаемый мир, огромный вымысел, который зовут землей.

— Во всяком случае, вам повезло, — продолжал морж, нагнув голову набок. — Ну да, вам повезло, что тот решил сам заявиться…

— Кто?

— Касснер.

Как образ через бинокль, наведенный наконец-то по глазам, становится четким, лицо полицейского отделилось от света. Касснер вдруг вспомнил двух красногвардейцев на околице сибирской деревушки, срамные части, выжженные раскаленными кирпичами, утро, насекомые…

— Вы установили, кто он?

— Он сам признался.

Молчание.

— У вас нетрудно признаться во всем, — сказал Касснер.

— С вами, кажется, обращались хорошо. А этого мерзавца даже не избили. То есть на допросе. Одним словом, он сам все выложил.

Полицейский нахмурил свои прозрачные брови.

— Все знали, что мы его ищем. Ну, а раз мы начали искать, значит, найдем. У нас работа чистая. Вот он и заявился…

— А если он просто хотел избавить других от…

— Это коммунист-то? Смешно! Кажется, его да-

же не проучили как следует. Просто он узнал, что мы его ищем, и сдрейфил. Они от страха шалеют, вот что…

Может быть, Касснер наконец-то сошел с ума? Это небо, серое и низкое, как во сне, этот человек с мордой моржа, этот дрожащий мир, готовый в любую минуту рассеяться… Стекло перед шофером, и Касснер не узнает в нем своего огрубевшего лица, — теперь, когда он должен говорить о себе, как о чужом.

— Там были фотографии. И потом, он знал, на что он идет, — сказал морж.

— Где он?

Полицейский пожал плечами.

— Его… убили?

— Надо полагать. Я вот вас слушаю и думаю: как могли такого принять за крупного коммуниста? Одним словом, это был мерзавец, но не сумасшедший.

Автомобиль проехал мимо вокзала. Арестованные исправляли путь. На платформе какой-то человек обнимал женщину, и почти все арестованные глядели на эту парочку.

— Он не был мерзавцем.

— А если бы вас прикончили из-за него, вы тоже нашли бы, что это благородная личность?

Касснер глядел на женщину и мужчину: они целовались.

— Если бы меня? Да.

Второй полицейский положил руку на руку Касснера.

— Что же, если вы так хотите вернуться назад…

Но морж быстро показал пальцем на лоб.

«Почему этот человек предал себя? Чтобы избавить других от пыток? Или, может быть, он хотел умереть? Или он надеялся спасти товарища, более полезного, чем он, — меня?.. Действительно ли сумасшедший уверен, что он здоров?..» Человек, может быть, умер за него, — он это знает, он думает об этом и никак не может этого осознать. Он измучен, как если бы перед ним пытали его ребенка. Он все еще не в силах проснуться после одиночки.

— Нет ли у вас его фотографии?

Полицейский снова безразлично пожал плечами.

Что, если это не сумасшествие, но обман? Может быть, это выдумано моржом, чтобы заставить его говорить. Или просто они хотят позабавиться?.. С тех пор как Касснера увезли из лагеря, он ни на мгновение не почувствовал правдоподоб-

ности происходящего. Да и знает ли он теперь, что такое правдоподобность?

— Ваша вина, что вы встречались с разными людьми. Иностранец должен подчиняться закону. Вам повезло, что ваше посольство вступилось за вас. И надо сказать, зря…

Касснер поглядел на своего соседа — его глаза наконец-то привыкли к свету. Обычная физиономия полицейского, корректный, коренастый. Но если глаза Кас-снера вошли в жизнь, его сознание еще было привязано к тюремной камере тысячами ниток. Может быть, морж думает, что он сказал лишнее? Вот он отвернулся и смотрит на поля с кружащимися по ним листьями…

Так — до полицейпрезидиума, где после незначительных разговоров и формальностей простуженный писарь передал Касснеру его вещи (подтяжки, шнурки от ботинок) и деньги, отобранные при аресте.

— Я удерживаю одиннадцать марок семьдесят.

— Гербовый сбор?

— Нет, за содержание в лагере. Марка тридцать в день.

— Почти даром. Значит, я там пробыл всего девять дней?..

Касснер начал было возвращаться на землю.

Мысль, что он просидел в одиночке только девять дней, снова отрывала его от земли. Подлинная жизнь была языком, который он то вспоминал, то снова забывал. Вдруг он почувствовал с необычайной ясностью, что его жене повезло, как будто не его освободили, но жену…

— У вас два дня, чтобы покинуть пределы Германии. Конечно, если до того времени не…

— Если до того времени — что, собственно говоря?..

Простуженный не ответил. Впрочем, не все ли равно? Касснер знал, что пока он не переедет границу, он еще не спасен. Как могли гитлеровцы признать Кас-снера в том человеке?.. У них было доказательство — готовность умереть, а может быть, и другие соображения, — он их никогда не узнает. Убили ли они этого человека до того, как получили документы из лагеря, где сидел Касснер? Если это — Вольф, он мог легко раздобыть бумаги на имя Касснера. Но Вольф не похож на него…

Касснер глядел поверх крыш: тяжелое, низкое небо. Почтовые самолеты, наверно, не вылетели. Нужно воспользоваться тем, что его высылают, и как можно скорее уехать из Германии. Там он переменит паспорт. Они еще увидятся: гестапо

и он! Его взгляд скользил по этажам — вниз. Человек, может быть, умер за него. На улице шла будничная жизнь.

Сможет ли их аэроплан все же вылететь?

V

Пилоту показалось, что он узнал Касснера в этом неизвестном человеке, которого он должен был перевезти, но он ни о чем не просил его. Небольшая фабрика пропеллеров, принадлежавшая подпольной организации, располагала двумя аппаратами. Самолеты возвращались через месяц под другим номером и с другим пилотом.

Касснер перестал смотреть на необычайно розовую ветчину бутерброда, который он держал в руке, и взял метеосводку. Плохая видимость в десяти километрах от аэродрома; над Богемскими горами град; низкий потолок; во многих местах туман у земли.

— Понимаешь? — спросил пилот.

Касснер поглядел на улыбку, оживлявшую лицо беспокойного воробья. (Не правда ли, у пилотов всегда птичьи лица?)

— Видишь ли, я во время войны был наблюдателем. Почтовые самолеты улетели?

— Нет. Полеты в направлении на юг запрещены.

— Это для немцев. А чехи?..

— Тоже не вылетели. Один шанс на три проскочить.

Касснер снова поглядел на этого человека. Он знал о нем одно: коммунист. Они вместе будут рисковать жизнью. Они были связаны не частной судьбой, а общей страстью. Каждый шаг к аэродрому приближал его к дружбе суровой и большой, рассеянной по всей земле.

— Если что случится, я предпочел бы упасть по ту сторону границы, — сказал Касснер.

— Ладно…

На аэродроме аппарат — маленький, что ни на есть паршивый.

— Мы возьмем на север. При этакой погоде через десять минут нас не будет видно.

Малый запас бензина, один мотор — самолет для воскресных прогулок.

— Радио? — спросил Касснер.

— Нет.

Впрочем, это ему было безразлично.

Последние печати на паспортах и документах.

Парашюты прикреплены.

— Есть контакт?

— Есть.

Аэроплан поднялся. Касснер не успел заметить, как сдвинулись деревья, а ветер уже подымал и швырял вниз самолет — килевая качка военного судна. Внизу, под скользящими облаками, под полетом птиц (птицы — у самой земли, они почти приклеены к ней, как люди), среди огромного спокойствия предвечернего часа — дым поезда, потерянного в осени, который разворачивается над мирным стадом прилегших деревень до окутанного пылью города. Вскоре под тяжелой покрышкой неба не осталось ничего, кроме стаи птиц, прикрепленных к земле, как к морскому дну. Казалось, что поселки и деревья мало-помалу соединяют свои успокоенные судьбы, вырвавшись из мира тюрем. Однако даже на одном куске земли, наверно, имеется концлагерь. С неутомимой жестокостью люди там мучают друг друга — до агонии. Воспоминания о темноте гнали прочь все мысли, кроме мысли о жестокости и страдании, как будто могли тянуть за собой тысячелетья — леса, равнины. Но перед равнинами, перед облаками было настороженное лицо пилота. Общее дело связывало двух людей старой, испытанной дружбой. Пилот был здесь — на фоне облаков, все более и более белых, как ответ

тех, которых Касснер спас, уничтожив листок с адресами, как ответ теней, перед которыми он произнес речь в темной одиночке. Молчаливые толпы товарищей, заселявшие тюремную ночь, наполнили теперь эти владения тумана — огромный и серый мир, в котором жил своевольный мотор, более живой, нежели животное.

Самолет поднялся с тысячи на две тысячи метров. Он попал в полосу облачности. Внутренняя бдительность Касснера по-прежнему прислушивалась к мотору; она подстерегала первую прореху, сквозь которую снова покажется земля. В кабинке он нашел только карту с мелким масштабом. Густота облаков делала наблюдения невозможными. Среди тумана, ставшего теперь постоянным, время исчезло в этой странной борьбе, похожей на сон. Увидит ли он сейчас Германию, или Чехословакию, или какой-нибудь азиатский пейзаж, над которым он часто летал: императорские развалины, осы, настороженные уши ослов, ветер лепестков мака? Компас не показывал отклонения при перпендикулярном ветре. После долгого полета в тумане — на карте были едва обозначены холмы — показались вертикальные гребни гор, покрытые снегом, и небо, все более и более черное.

Самолет отнесло по меньшей мере на сто километров. Касснер снова почувствовал, до чего мал аппарат рядом с огромной черной тучей. Она больше не была спокойной и неподвижной — живая, подобранная, смертоносная. Ее края приближались к аппарату, и ее необъятность, медлительность ее хода придавали тому, что должно было произойти, характер не звериной схватки, но рока. Крылья самолета со всей быстротой вонзились в тучу; ее желтовато-серые разорванные края терялись среди беспредельности этого серого мира, как мыс в туманном море. Касснеру вдруг показалось, что они избавились от притяжения земли, что они повисли с их братской связанностью где-то среди миров, в первобытной борьбе, зацепившись за тучу; а внизу земля со своими тюрьмами продолжает кружиться, и они больше никогда не встретятся. Этот крохотный самолет, подвешенный к тучам, внезапно предоставленный своим законам, стал призрачным. Он был затоплен изначальными голосами древней вражеской силы — урагана. Несмотря на килевую качку, самолет при каждом порыве ветра сваливался вниз, — Касснер был теперь приклеен к слепому мотору, который нес их вперед. Вдруг аппарат начал звенеть, как

кипящее масло: они попали в тучу с градом.

Касснер крикнул:

— Чехословакия?

Невозможно было расслышать ответ. Металлический аппарат звенел, как тамбурин. Градины трещали на стеклах кабинки, они проникали сквозь отверстия капота, били лицо и глаза. Приподняв на секунду веки, Касснер увидел, как они слетают вниз по стеклам, подпрыгивают на стальных желобках и теряются среди ожесточенной темноты. Если стекло вылетит, невозможно будет управлять… Между тем казалось, что пилот ничего не видит и что он управляет наугад. Касснер изо всех сил уперся о раму, придерживая ее правой рукой. Надписи в камере, крики, перестукивание, воля к победе — все это было здесь, в кабине, борясь с ураганом. Линия полета — на юг. Компас начал показывать восток. «Налево!» — крикнул Касснер. Напрасно. «Налево!» Он едва мог расслышать собственный крик, потрясенный, оторванный, затопленный летящими градинами, которые ударялись об его голос и которые заставляли самолет прыгать, как удары хлыста. Свободной рукой Касснер указал налево. Он увидел, как пилот отдал ручку, словно для виража в девяносто градусов. Тотчас же

он посмотрел на буссоль: самолет летел прямо. Управление не действовало. Казалось, однако, что самолет уверенно вонзается в шквал. Несмотря на управление, переставшее работать, бесперебойность мотора заставляла еще верить в господство человека.

Аэроплан задрожал жесткой дрожью. Град и все тот же черный туман. Посредине — компас, он один привязывает их к тому, что было землей. Он медленно поворачивается направо и под ураганным ветром начинает вертеться. Раз, два, три. В центре циклона самолет кружится на одной плоскости вокруг своей оси.

Все же Касснер еще чувствовал устойчивость машины; мотор с упрямым бешенством пытался вырвать их из циклона. Но стрелка, которая кружилась, была сильнее всех ощущений тела: она выражала жизнь самолета, как глаз, оставшийся живым, еще выражает жизнь паралитика. Компас шепотом переводил им огромную, сказочную жизнь, которая трясла их так же, как она гнет деревья. Бешенство стихии с точностью преломлялось в крохотном чувствительном пространстве. Аэроплан продолжал кружиться. Пилот судорожно вцепился в ручку. Он больше не походил на озабоченного воробья: у него было

теперь новое лицо, глаза стали меньше, губы выпятились вперед; это новое лицо было столь же естественным, как прежнее. Касснер узнал в нем ребенка, — он видел не впервые (хотя сейчас впервые он отдал себе в этом отчет), как решительность в минуты опасности накладывает на лицо взрослого детскую маску.

Пилот взял на себя ручку, и самолет, кабрируя, пошел вертикально вверх. Стрелка компаса уперлась в стекло. Они были подхвачены снизу, как кашалот, повернутый глубиной. Все то же равномерное дыхание мотора, но желудок Касснера как будто опустился. «Мертвая петля» или «свеча»? Между двумя шквалами с градом Касснер перевел дыхание. Он с удивлением заметил, что он дрожит — не рука (он по-прежнему придерживал раму), но левое плечо. Он едва успел подумать, что самолет находится снова на горизонте, как пилот отдал ручку вперед и прервал газ.

Касснер знал прием: падать и, пользуясь своей тяжестью, стараться пробить тучи, чтобы у земли выровнять самолет. Альтиметр: тысяча восемьсот пятьдесят. Но можно ли рассчитывать на точность альтиметра? Уже тысяча шестьсот. Стрелка альтиметра болтается, как прежде стрелка компаса. Если туман у земли или если под

ними горы, они разобьются. Касснер подумал, что только близость смерти позволила ему увидеть детское лицо человека, который, может быть, тоже умрет за него. Но, по крайней мере, они умрут вместе. Самолет уже не был безвольным в этой борьбе, плечо Касснера больше не дрожало. Все его чувства были сейчас подобраны. Они пикировали своей тяжестью, пробиваясь сквозь шквал, как сквозь полотно, в вечном тумане этой окраины света, которая жила дикой жизнью гремящих градин.

1000.

950.

920.

900.

870.

850..

Он чувствовал, что глаза его впереди головы: они отчаянно боялись появления гор, и все же они были на грани восторга.

550.

500.

4..

Он думал, что равнина будет перед ним и внизу, — она показалась вдалеке и наклонная. Он колебался перед призрачностью этого горизонта

под сорока пятью градусами (аппарат падал с креном); но все в нем уже узнало землю; пилот пытался выровнять самолет. Земля была очень далеко, за этим морем отвратительных облаков. В ста метрах под ними показался графитный пейзаж, черные осколки холмов вокруг тусклого озера, которое щупальцами разветвлялось по долине и со странным геологическим спокойствием отражало низкое бледное небо.

— Чехословакия? — снова крикнул Касснер.

— Не знаю…

Полумертвый самолет тащился под грозой в пятидесяти метрах от верхушек гор, потом над лиловыми виноградниками, над озером, менее спокойным, чем оно показалось вначале. По крупной зыби на его поверхности можно угадать силу низкого ветра. Вторично Кас-снеру показалось, что это его жена спаслась. Аэроплан пролетел над другим берегом озера, и все то, что было в человеке большого — штурм земли, — вдруг поднялось к Касснеру с этих полей и дорог, с заводов, с деревень, приплюснутых высотой, с рек, разветвленных, как вены, с вновь обретенных равнин. Упрямый мир людей, среди низких облаков, то показывался, то снова исчезал. Борьба с этой свинцовой землей, которую кормят мерт-

выми, доходила до Касснера; он слышал ее язык, глухой и державный, как циклон, оставшийся позади, и воля его исступленных товарищей там, внизу, по ту сторону Карпат, решивших покорить землю, вздымалась последним рыжим отсветом неба, как ритм жизни и смерти.

Он перестал придерживать раму и усмехнулся, увидав на своей руке линию жизни. Она была длинна. Он увидал и линию счастья, которую он как-то шутя продолжил бритвой. Нет, линии его судьбы обозначены не бритвой, а волей, упорной и терпеливой. В чем же свобода человека, если не в сознании и не в победе над предопределенностью? На этой земле, где огни, все более и более многочисленные, бьют, как ключи в осеннем тумане, сливающемся с ночью, на этой земле тюрем и жертв, где были святые и герои, может быть, будет просто сознание? Дороги, реки, каналы, как рубцы, едва видны под туманом — сеть морщин, стертая с огромной руки. Касснер слышал, что морщины исчезают с рук мертвеца, и, как будто желая в последний раз увидеть эту примету жизни, он посмотрел на ладонь своей мертвой матери. Хотя ей не было и пятидесяти — ее лицо оставалось еще молодым, — ладонь была ладонью старой женщины, с линиями тонкими и

глубокими, бесконечно перекрещивающимися, как прихоти судьбы. Эта рука сливается с линиями земли, тоже изнуренной туманом и ночью, и они тоже принимают облик судьбы. Спокойствие земли подымается к изумленному самолету; теперь его преследуют потоки дождя. Огромное умиротворение омывает обретенную землю: поля, виноградники, дома, деревья, может быть полные спящих птиц.

Взгляд Касснера встретился со взглядом пилота, который неуклюже улыбался, как сообщник. Пилот увидал железнодорожную ветку, и он летел по ее направлению. Самолет колыхался в последних прыжках ветра, как толстый шмель.

На горизонте — огни Праги.

VI

Шагать по этому призрачному тротуару в городе, где ни одна улица не ведет к немецкой одиночке! Его обнаженные чувства придавали сверкающему нагромождению витрин, перед которыми он проходил, фантастичность детских феерий, большие улицы, полные ананасов, пирогов и китайских безделушек; какой-то черт решил собрать здесь все лавки ада. Из ада пришел

Касснер, а это попросту — жизнь…

Касснер возвращался к своему обычному состоянию, как к густым глубоким каникулам: он еще не находил ни себя, ни мира. За занавеской женщина усердно гладила, она очень старалась. В этом странном месте, которое звали землей, были и сорочки, и белье, и горячие утюги. И руки (он проходил мимо магазина перчаток), руки, которые служат для всего: что из окружающего не создано или не тронуто ими? Земля заселена руками. Они могли бы жить сами по себе — без людей. Он не узнавал этих галстуков, чемоданов, конфет, колбас, перчаток, аптек, витрины меховщика, по которой гуляла, среди мертвых шкур, белая собачка — она садилась и снова уходила; живое существо с длинной шерстью и неуклюжими движениями, не человек — животное. Он забыл о животных. Собака спокойно гуляла среди смерти, как эти тела прохожих, созданные для одиночек и кладбищ. На больших афишах мюзик-холла кривлялись существа цвета берлинской лазури. Прохожие как бы продолжали их бег. Под этим простиралось смутное море, ропот которого Касснер еще хранил в себе: с трудом он отрезвлялся от небытия. Снова магазины с живностью или одеждой. Фруктовая лавка. О, великолепные

плоды, полные дыхания земли! Но прежде всего найти Анну!

Рабочий квартал здесь переходил в квартал мелких чиновников и мещан. Кто же вокруг Касснера: свои, враги, равнодушные? Здесь были те, что довольствуются малым: вот они сидят вместе — полудружба, полунежность; здесь были и те, что терпеливо или бурно пытаются извлечь из собеседника чуточку больше уважения. Внизу — усталые ноги. Под столиками кафе иногда сплетенные пальцы рук. Жизнь.

Маленькая жизнь людей. У двери три женщины. Одна из них красива. Ее взгляд напоминает взгляд Анны. На свете существуют и женщины. Слабость сделала Касснера целомудренным. Все же ему захотелось коснуться их рукой, как прежде ему захотелось погладить собачонку. За девять дней его руки почти омертвели. Где-то позади люди кричали в камерах, и один человек умер за него. Какая издевка — называть братьями только братьев по крови!

Он залез в рой дурацких фраз, восклицаний, вздохов, в бессмысленную и замечательную теплоту жизни; он был пьян людьми. Если бы его убили сегодня утром, может быть, вечность предстала бы перед ним этим сырым осенним

часом, из которого исходит человеческая жизнь, как пар на стекле, тронутом холодом. Земной театр начинал представление огромной нежности сумерек. Женщины у витрин с их очарованием бесцельных прогулок. Мир вечеров без тюрем, когда никто не умирает рядом! Не возвратится ли он в такой же вечер, когда его на самом деле убьют?.. Там, в ночи, — спящие поля и большие стройные яблони среди упавших мертвых яблок, горы, леса, бесконечный сон животных на половине земли. Здесь — эта толпа, поглощаемая жизнью, с ее ночными улыбками, или же скатывающаяся в смерть, к гробам и венкам; толпа, безумная в своей беспечности, которая не хочет прислушаться к тому, что в ней отвечает смерти, притаившейся, как зверь, среди звездных степей. Эта толпа не замечает даже своего собственного голоса, судорог своего сердца, сдавленного кишением людей, которых Касснер снова нашел, как он сейчас найдет жену и ребенка.

Он подошел к своему дому, поднялся по лестнице. Вдруг он очутится опять в одиночке? Он постучался; никто не ответил. Он постучался еще сильней и только тогда заметил записку на двери: «Я в «Люцерне». Анна участвовала в работе немецких эмигрантов. «Люцерн» — зал, где

происходят митинги. Надо купить партийную газету. Он глядел на дверь горестно и, однако, с облегчением. Сколько раз он в страхе думал о первой минуте их встречи! Может быть, за этой дурацкой дверью спит ребенок? Нет, стук разбудил бы его. Да Анна и не оставит его одного…

Когда Касснера освободили, и потом, когда самолет спасся от бури, ему казалось, что спаслась Анна — не он. Теперь он воспринимал ее Отсутствие, как похищение. Он спустился вниз, купил газету: театры… кино… «Люцерн». «Митинг солидарности с заключенными антифашистами». Такие собрания происходили каждую неделю. Анна и там была с ним.

Пятнадцать, может быть, двадцать тысяч человек стиснуты в атмосфере мирового чемпионата, ярмарки и угроз. Они окружены кольцом полицейских; каски отсвечивают. Главный зал не может вместить всех, и в соседних залах установлены громкоговорители. Вокруг Касснера, который с трудом протиснулся вперед, люди — головы подняты вверх, они слушают рык рупора.

— …мой сын был рабочим. Он даже не был социалистом. Его посадили в лагерь, в Ораниенбурге. Там он и умер…

Голос женщины. Когда Касснер наконец-то

проник в главный зал, среди красных полотнищ с лозунгами он разглядел силуэт, неловко склонившийся над микрофоном. Дешевая шляпка, черное пальто — воскресная одежда. Внизу — затылки, все одинаковые. Нет, он никогда не найдет Анну в этой толпе!

— …потому что он пошел на манифестацию, как раз перед тем, как другие захватили власть.

— Я никогда не занималась политикой. Говорят, что это не бабье дело. Бабье дело — дети. А детей они убивают…

— Я… я… Я не стану произносить речь…

Касснер знал этот страх оратора, еще не привыкшего к толпе, парализованного, как только первое возбуждение спадает, раздавленное взволнованностью зала. К тому же часть аудитории не понимала по-немецки. Пауза тоже была убедительной, как прерванный крик затравленного зверя. Вытянув шеи, толпа задыхалась; она не хотела оставить эту женщину. Касснер подумал об улице, куда эта одышка передавалась громкоговорителями: может быть, Анна слушает ее там?.. Он прошел за трибуну. Он искал Анну до головокружения среди тысячи лиц, теперь повернутых к нему.

— Скажи, что это им не сойдет с рук, — пробор-

мотала вполголоса другая женщина.

Она подсказывала, как в школе. Женщина возле микрофона не двигалась, и Касснер глядел на застывшую спину старой измученной Эриннии, которой подсказывает мщение. По беспокойству на лицах он понял, что она не находит слов. Все сильней и сильней она горбилась, как будто она хотела вырвать из земли слова, которых ей не хватало.

— Его убили… Вот это я должна сказать всем. А остальное… Делегаты будут говорить, ученые… Они вам все объяснят…

Она подняла кулак, чтобы закричать «рот фронт», — она часто видала, как это делают. Но, растерявшись до потери дыхания, она едва смогла поднять руку. Она выговорила эти два слова, как чужую подпись. Толпа была с ней, столь же неуклюжая сейчас, как она. Пока женщина отступала в глубину трибуны, аплодисменты подымались к ней на выручку, так же как ее горе спустилось вниз, к этим людям. Потом взволнованность зала распалась на кашель и носовые платки. Председатель переводил речь на чешский. Наступили спад, освобождение, беспокойные поиски развлечений. Может быть, эта суматоха позволит Касснеру разыскать глаза Анны, напоминавшие

ему прежде глаза сиамской кошки? Вдруг в двадцати метрах от себя он увидел ее лицо, слегка похожее на лицо мулатки, глаза среди длинных черных ресниц, с их чересчур большими светлыми зрачками. Изо всех сил он протискался между спин и грудей. Это была чужая женщина. Она говорила:

— …Я ему запретила играть в войну, он вернулся с подбитым глазом и говорит мне: «Понимаешь, мы теперь стали культурными — мы играем в революцию…»

Касснер продолжал продвигаться, шаг за шагом, мучительно страшась принять снова за Анну всех женщин, отдаленно на нее похожих.

— Мы сможем, наверно, собрать фонд, если мы включим в делегацию нескольких ребят от каменщиков…

— Почему же нет?..

В зале сделалось очень жарко. Глаза Касснера были настолько насыщены различными лицами, что он сомневался: «Да узнаю ли я теперь Анну?» Он вернулся к трибуне. Секретарь диктовал одному из товарищей инструкции: «Нужно, чтобы посланникам и консулам беспрерывно звонили по телефону, требуя освобождения арестованных… Установить перманентные де-

журства… Посылайте делегации в Германию для обследования… Почтовики, клейте марки Тельмана на все письма, адресованные в Германию!.. Моряки и грузчики, продолжайте борьбу с гитлеровским флагом в портах, беседуйте с немецкими моряками! Железнодорожники, на вагонах, отправляющихся в Германию, пишите наши лозунги!..»

Наконец голос председателя, почти фамильярный:

— Маленький Вильгельм Шрадек, семи лет, потерял своего отца. Обратиться в президиум. — И более громко: — Слово принадлежит товарищу…

Касснер не разобрал имени. Разговоры сразу прекратились.

— Товарищи, вы слышите эти аплодисменты? Они идут из самой ночи. Вы слышите их, они доходят издалека. Во всех тех залах — сколько нас? Двадцать тысяч. Товарищи, свыше ста тысяч человек сидят в тюрьмах и в концлагерях Германии…

Нет, Касснер теперь не найдет Анну. Но в этой толпе он с ней. Оратор — низенький, с редкими волосами. Судя по манере говорить, типичный интеллигент. Он дергает нависшие усы. Наверно, представители партии будут говорить в самом

конце…

— Наши враги расходуют миллионы на пропаганду. У них — деньги, у нас — воля. Мы добились освобождения Димитрова. Мы добьемся освобождения всех заключенных товарищей. Редко кто убивает ради одного удовольствия. Их террор преследует определенную цель: это попытка запугать всех, кто выступает против гитлеровцев. Но вот оказывается, что они принуждены считаться с общественным мнением заграницы. Излишек непопулярности вреден для вооружения, он вреден и для займов. Нужно, чтобы наши постоянные, упорные, непрерывные выступления заставили Гитлера потерять больше, нежели он выигрывает, поддерживая то, что они зовут «репрессиями»…

Касснер подумал о своей речи теням.

— Неосторожно судить Димитрова: для этого его пришлось показать всем. И следовательно, оправдать. Кельнский прокурор сказал: «Правосудье снова обрело меч. Палач, как некогда, снова взял в руку топор». Но этот топор отражает лица неизвестных дотоле коммунистов; весь мир теперь видит их. От Тельмана, от Людвига Ренна до Осецкого, день за днем они идут к тому, что во все времена было самым высоким в человеке,

идут с уверенностью жизни — к смерти…

Так же как Касснер увидел в пилоте детское лицо человека, схваченного смертью, он видел теперь преобразившиеся лица этих людей; он находил в них страсть и правду, доступную только людям, собравшимся вместе. Это было восторгом, когда военная эскадрилья отлетает, — все три аппарата — пилоты и наблюдатели, направленные к одной цели, к одному бою. И все это братство, ошеломленное, суровое и гневное, было в нем, он теперь находил себя и был вместе со своей невидимой женой.

— Немецкие товарищи, вы, у которых братья и сыновья в концлагерях, в эту ночь, в эту самую минуту от этого зала и до Тихого океана такие же толпы собрались — и от одного конца света до другого они бодрствуют над вашим одиночеством…

Эта толпа пришла сюда, она оказала доверие народу, погребенному в тюрьмах Германии, она предпочла это бдение сну или забаве. Она здесь для того, о чем она знает, и она здесь для того, чего она не знает. Ее суровое рвение вокруг незримой Анны наконец-то отвечает на крик человека, которого избивают, кидают об стенку. Под речами оратора горе людей, не иссякая, бьется и поды-

мает свой огромный подземный голос. Все ждут приказов. Сколько раз Касснер спрашивал себя, что значит мысль перед теми двумя трупами в Сибири — выжженные органы, мухи вокруг лица?.. Нет человеческого слова, которое было бы глубже жестокости, но мужественное братство настигает ее в самых глубинах естества, в тех заповедниках сердца, где притаились пытка и смерть.

МАРСЕЛЬ ЭМЕ
(1902–1967)

Эме родился в Бургундии. Отец его был кузнецом и лудильщиком, а дед — гончаром. В деревенском доме у деда и прошли детские годы Эме. Окончив коллеж, он отбывал воинскую повинность и в 1923 году отправился в Париж, где сменил немало профессий, прежде чем опубликовал свой первый роман — «Брюльбуа» (1925). Раблезианский смех, озорно прозвучавший в «Зеленой кобылке» (1933) — романе о деревенских нравах, — привлек к Марселю Эме внимание читателей. Отныне он популярный рассказчик. Его излюбленный герой — маленький человек: безработный или цирковой клоун, незадачливый чиновник или учитель не от мира сего (роман «Уран», 1948). Жизненные обстоятельства враждебны героям Эме, они мечутся из стороны в сторону, но вырваться из замкнутого круга нужды и унижений им не удается (романы «Безымянная улица», 1930; «Приземистый домик», 1935). Лишь в собственном воображении или по воле художника, нередко вводящего фантастику в ткань реалистического

повествования, страдалец и неудачник получает возможность взять реванш, досадить своим обидчикам, но всерьез изменить свою судьбу, тем более ход самой жизни, он не властен (роман «Преображение», 1941). Эме не тешит читателя картиной грядущего благоденствия. Он весь в тревогах нашего века, от которых порой ему хотелось бы и отвернуться, приняв позу невозмутимого «возмутителя спокойствия». Но он знает цену обывательскому равнодушию, а потому все хлеще бичует тупую и злобную стихию эгоизма и собственничества, защищает права обыкновенного человека, с истинно галльским остроумием издевается над сильными мира сего, размышляет над угрозой атомного истребления и с фарсовым весельем высмеивает стандартизированное существование на американский лад (комедия «Синяя мушка», 1957).

Marcel Ayme: «Le puits aux images» («Колодезные лики»), 1932; «Le nain» («Карлик»), 1934; «Derriere chez Martin» («На задворках у Мартена»), 1938; «Le passe-muraille» («Человек, проходивший сквозь стены»), 1943; «En arriere» («Вспять»), 1950; «Soties de la ville et des champs» («Городские и сельские

comu»), 1958; «Oscar et Erick» («Оскар и Эрик»), 1961.

«Улица Святого Сульпиция» («Rue Saint-Sulpice») входит в сборник «Карлик».

В. Балашов

Улица Святого Сульпиция

Перевод М. Вахтеровой

Господин Нормат торговал картинками на религиозные темы. Широкая четырехметровая витрина его лавки выходила на улицу Святого Сульпиция, а фотографические мастерские — на задний двор. Как-то утром, проверив свои бухгалтерские книги, Нормат снял телефонную трубку и позвонил в первую мастерскую.

— Попросите мсье Обинара срочно спуститься ко мне.

В ожидании главного фотографа г-н Нормат выписывал на черновом листке какие-то цифры.

— Я вызвал вас, мсье Обинар, чтобы показать последние данные о продаже. По сериям Христа и Иоанна Крестителя дело у нас обстоит из рук вон плохо. Я бы даже сказал — плачевно. За последние полгода нам удалось сбыть всего-навсего

сорок семь тысяч штук Иисуса Христа против шестидесяти восьми тысяч штук, проданных за то же время в прошлом году, а сбыт Иоаннов Крестителей снизился на восемь тысяч пятьсот экземпляров. И заметьте, такое резкое падение началось как раз после тех усовершенствований фотографических аппаратов, какие мы ввели по вашему настоянию, а ведь на это мы ухлопали кучу денег.

Обинар досадливо отмахнулся, как бы давая понять, что у него куда более важные заботы, чем у патрона.

— Это общий кризис, — угрюмо буркнул он, — все дело в кризисе.

Господин Нормат побагровел и, вскочив с кресла, с угрожающим видом двинулся на Обинара.

— Нет, мсье. Разве может быть кризис в торговле священными предметами? Это наглая ложь. Как вы смеете так говорить о наших товарах, когда все порядочные люди ставят свечки в церквах, молятся об оживлении деловой жизни, стараются умилостивить господа нашего, вешая у себя дома его изображения?

Обинар извинился, и хозяин, снова усевшись в кресло, продолжал:

— Вы сами, мсье Обинар, признаете всю неле-

пость своих объяснений, когда я вам докажу, что фирма не потерпела ни малейшего убытка в продаже других товаров. Подойдите сюда, взгляните на цифры… Ну-ка? Богородица в три цвета раскупается как обычно — пятнадцать тысяч штук… Младенец Христос тоже идет ходко. Глядите! Вот святой Иосиф, вот «Бегство в Египет», святая Тереза… Я ничего не сочиняю, цифры говорят сами за себя. Вот вам апостол Петр, а вот апостол Павел. Можете проверить наудачу любого святого, даже из менее известных. Смотрите, я читаю: святого Антония в прошлом году продано две тысячи семьсот пятнадцать штук, в нынешнем году — две тысячи восемьсот девять. Видите?

Нагнувшись над столбцами цифр, Обинар нерешительно возразил:

— Говорят, наблюдается некоторое охлаждение к Христу…

— Это вздорные слухи! На днях я случайно видел Гомбета с улицы Бонапарта. Он уверяет, что спрос на спасителя никогда еще не был так велик.

Обинар выпрямился и начал расхаживать перед письменным столом.

— Пусть так, — сказал он со вздохом, — но ведь Гомбет поставляет репродукции с картин Лувра,

ему не приходится работать с живой натурой… Ох, я знаю наперед, что вы скажете: мы добились высокого качества фотографий, мы установили умеренные цены, и нет причины, почему наши Иисусы распродаются хуже богородицы или святой Терезы при одинаково тщательной обработке. Я знаю, но…

Господин Нормат слушал главного фотографа с тревожным любопытством.

— Так что же? Неудачная композиция?

— Я не новичок в своем ремесле, — обиделся Обинар. — Вы сами видите, как здорово у меня получились муки святого Симфориана; вряд ли кто другой способен добиться такого эффекта.

— В чем же дело?

— Так вот…

Обинар не мог скрыть своего раздражения. Наконец его прорвало:

— …Дело в том, что в Париже не сыщешь больше ни одного Христа. Говорю вам, кончено — нету их больше. Кто нынче носит бороды? Депутаты, чиновники из министерства да еще мазилы-художники с нахальными рожами. Ну-ка, найдите в толпе красивого парня! Ладно, положим, вы его нашли и он согласился на вас работать. Сперва вам придется потерять две недели, пока у него

отрастет бородка, а с бородой он становится похож не то на подгулявшего капуцина, не то на аптекаря в трауре. Вы не представляете, сколько тут бывает неудач… Только за прошлый месяц я завербовал полдюжины натурщиков, и все без толку. Право же, тем, кто работает с апостолами и святыми мученицами, не так туго приходится. Старики все на одно лицо, да и покупатель не слишком-то приглядывается к апостолам. А уж потаскушек, умеющих разыграть девственниц, в Париже сколько угодно…

Господин Нормат состроил недовольную гримасу. Он терпеть не мог, когда его подчиненные распускали язык.

Обинар заметил осуждающий взгляд хозяина и продолжал более сдержанным тоном:

— Христос должен быть молодым, благообразным и бородатым. Есть у нас такие, по-вашему? Не так-то просто их найти. А самое редкое и самое главное — это благородные черты лица и кроткие глаза. Причем не слишком жалостного вида — публика не любит, когда прибедняются, вы это знаете не хуже меня. Видите, как все это сложно? С каких уж пор я ищу такую модель, просто в отчаянье пришел. Не сыскать их больше в Париже! Вспомните мою последнюю работу

— «Гефсиман-ский сад». Все было сделано образцово, первоклассно, придраться не к чему, зато натурщик глядел тупо, как бар ан, — никакого страдания в глазах, будто аперитив потягивал. К тому же пришлось наклеить ему фальшивую бородку, — у этого юнца и борода еще не росла. В результате этот мой Христос похож на актера Французской Комедии, тут и ретушью делу не поможешь. Когда нет живой натуры…

— Это верно.

— И заметьте, все, что я говорил об Иисусах, относится и к Иоаннам Крестителям, если не считать бородки.

Господин Нормат встал из-за стола и, заложив руки за спину, с озабоченным видом начал шагать по магазину из угла в угол. Обинар окинул стекла витрин унылым, рассеянным взглядом, мечтая об идеально прекрасном лице, которое неотступно преследовало его даже во сне. И вдруг он остолбенел от неожиданности: между портретом папы римского и гравюрой святой Терезы стоял живой Христос, и от его дыхания запотело стекло. На нем была мягкая шляпа и крахмальный воротничок, но Обинар, ни на минуту не усомнившись, что это он самый, ринулся к двери и выскочил на тротуар. Перед ним стоял озяб-

ший, бедно одетый человек с кротким покорным взглядом и печальным лицом, обрамленным изящной бородкой. Обинар замер перед дверью, пожирая его глазами. Заметив это пристальное внимание, прохожий съежился, пугливо отшатнулся и свернул в сторону. Обинар коршуном налетел на него, схватил за руку и силой повернул к себе, но незнакомец устремил на него такой робкий, такой страдальческий взор, что главный фотограф был потрясен.

— Простите, — пробормотал он, — может быть, я сделал вам больно?

— Нет, что вы! — смиренно возразил прохожий.

И печально добавил:

— Мне и не то еще пришлось выстрадать!

— Это верно, — прошептал Обинар, еще не оправившись от волнения.

Они молча смотрели друг на друга. Прохожий не удивлялся и ни о чем не спрашивал, как бы заранее покорившись судьбе, от века ему предназначенной. У Обинара горло сжималось от жалости и какого-то непонятного чувства раскаянья. Он робко сказал:

— Нынче такое холодное утро. Вы, верно, озябли. Не зайдете ли к нам погреться?

— Спасибо, с удовольствием.

Когда они вошли в лавку, г-н Нормат подозрительно оглядел незнакомца из своего угла и ворчливо спросил:

— Это еще кто такой?

Обинар ничего не ответил. Хотя он прекрасно слышал вопрос, он вдруг почувствовал какую-то странную неприязнь к патрону. Он суетливо хлопотал вокруг гостя, осыпая его любезностями, что крайне раздражало г-на Нормата.

— Вы, должно быть, устали… Да, да, ужасно устали. Садитесь, пожалуйста, вот сюда.

Услужливо подведя пришельца к письменному столу, он усадил его в хозяйское кресло. Г-н Нормат даже привскочил и, поспешив к своему столу, сердито повторил вопрос:

— Так кто же это такой?

— Да вы что, не видите разве? Это же вылитый Христос! — с возмущением ответил Обинар, едва обернувшись.

Господин Нормат оторопел. Потом, скосив глаза на незнакомца, занявшего его собственное кресло, он согласился:

— Да, пожалуй, по типу лица он нам подходит. Но все же это еще не причина…

Обинар, довольный и счастливый, неподвижно

замер перед креслом. Разъяренный г-н Нормат грубо спросил:

— А он будет работать, этот малый?

Обинар совсем было упустил из виду свои служебные обязанности. Окрик хозяина вернул его к действительности. Усилием взяв себя в руки, он принялся рассматривать натурщика более придирчиво. «Лицо исхудалое, осунувшееся, — говорил он себе, — но это неплохо, даже лучше. Я уверен, что из него выйдет превосходный «Ессе Homo»[32]. На первых порах будем подвешивать его на кресте для «Распятого Христа», потом снимем «Гефсиманский сад», а позже, когда он немножко откормится, сработаем с ним «Доброго пастыря» и «Пустите детей приходить ко мне». В одну минуту Обинар подсчитал, какое множество первоклассных евангельских сценок у него получится благодаря этому нежданно обретенному Христу. Гостя как будто смущали пристальные, испытующие взгляды двух незнакомых людей. Его страдальческий вид все еще волновал Обинара, и тому было неловко задавать вопросы.

— Кем вы работали раньше, — вмешался г-н Нор-мат, — а первым делом — как вас зовут?

---

[32] Примечания: 32
Се человек *(лат.).*

— Машелье, мсье, — ответил незнакомец смиренным тоном, будто не расслышав первого вопроса.

Господин Нормат несколько раз повторил фамилию, проверяя, хорошо ли она звучит, и пробурчал, обращаясь к Обинару:

— Глядите за ним в оба. От таких проходимцев можно всего ожидать. Еще неизвестно, откуда он взялся.

Вспыхнув от гнева, Машелье вскочил с кресла.

— Я вышел из тюрьмы, — заявил он. — И ничего мне от вас не надо, отвяжитесь от меня!

Он решительно направился к двери. Фотограф догнал его и, потянув за руку, снова усадил в хозяйское кресло. Машелье покорно повиновался, сам удивляясь своей дерзкой выходке. Г-н Нормат, вспомнив о торговых книгах, пожалел, что нагрубил ему.

— Двадцать франков в день, — предложил он. — Подходит это вам?

Машелье как будто не понял.

— Хотите двадцать пять? Дадим вам двадцать пять.

Машелье молчал, забившись в кресло. Обинар, нагнувшись, ласково сказал:

— Патрон предлагает двадцать пять франков в

день. Обычно у нас платят не больше двадцати. Ну как, согласны? Двадцать пять франков… Идемте со мной в мастерскую. Работа не трудная…

Они вышли из магазина и, пройдя через двор, стали подниматься по темной лестнице.

— Меня приговорили к шести месяцам тюрьмы, — объяснял Машелье, — не так уж много за то, что я натворил. В тюрьме мне удалось накопить небольшую сумму, но теперь, сами понимаете…

— Вам заплатят сегодня же. Если желаете, за два дня вперед.

Дойдя до лестничной площадки, Машелье остановился передохнуть.

— Я голоден, — прошептал он.

Он был бледен и тяжело дышал. Обинар заколебался; он едва не уступил чувству жалости, но тут же сообразил, какие возможности сулит ему образ измученного, униженного, молящего Христа. «Когда он поест досыта, будет совсем не то, — решил главный фотограф. — Надо этим воспользоваться, пока не поздно, и сейчас же распять его на кресте».

— Потерпите немного, вас отпустят завтракать в полдень. Сейчас уже десять часов.

Первый сеанс, как показалось несчастному,

тянулся бесконечно долго. Висеть на кресте в разных позах было тяжело, а порою, при его болезненной слабости, даже мучительно. Один вид окружавших его орудий пытки вызывал в нем отвращение. Зато Обинар был вне себя от восторга. Он отпустил натурщика только во втором часу и, заплатив пятьдесят франков, предоставил отдых до завтра.

Машелье бросился искать кафе, где бы кормили подешевле. С жадностью проглотив двойную порцию телячьего рагу, он приосанился и почувствовал уверенность в себе. Закусывая сыром, он вспоминал о светлых днях прошлого. За несколько месяцев до ареста он служил тапером в кабачке на Монмартре; у него там завелись друзья, хозяева ценили его и уважали. Когда он выходил кланяться, девушки строили ему глазки. На его беду, в кабачке выступал скрипач с блестящими, кудрявыми черными волосами. Этой шевелюрой пленилась одна девица, к которой Машелье был неравнодушен. Скрипачам легко покорить женское сердце; они гарцуют по эстраде, извиваются, встряхивают головой, нежно щекочут смычком свой инструмент, а когда пускают высокую трель, томно закрыв глаза и вытянув шею, вы невольно смотрите им на ноги: уж не вознесся ли скрипач

на небо? Обольстив девицу черными кудрями, скрипач переспал с ней, и однажды, когда он похвалялся своей победой, Машелье едва не убил соперника, всадив ему ножницы в горло.

Сидя за завтраком, Машелье размышлял о том, что в конце концов скрипач остался жив, раз он снова играет в оркестре. Почему бы и ему, Машелье, не наняться на прежнюю работу? Хоть он и просидел полгода в тюрь-м е, — чего не бывает! — у него все-таки большой талант. Ему показалось недостойным артиста изменить своему призванию и сниматься нагишом в фотографическом кабинете. Разомлев после сытного обеда, он не сомневался, что без труда найдет где-нибудь место тапера, и твердо решил завтра же вернуть фотографу двадцать пять франков, выданные авансом. Прямо из кафе он отправился в гостиницу на улице Сены, снял номер и, растянувшись на мягкой постели, отложил на завтра поиски работы, достойной его дарования. Он заснул крепким сном и проснулся около полуночи; вскоре опять заснул, но всю ночь его преследовали кошмары. Ему чудилось, будто он распинает на кресте скрипача в терновом венце и будто суд присяжных приговаривает его к тюремному заключению еще на полгода. Он вскочил с постели,

весь дрожа, лязгая зубами. Лучи утреннего солнца не рассеяли его горьких дум; к угрызениям совести примешивались воспоминания о муках, перенесенных им на кресте. Однако его решение не изменилось. Поднимаясь по лестнице в мастерскую, он зажал в кулаке двадцать пять франков, чтобы сразу возвратить их Обинару.

Главный фотограф принял его ласково, даже почтительно и тут же потащил к столу, где сохли пробные отпечатки.

— Поглядите... Какова работа? Что скажете? Ну, можно вас поздравить, вы позировали замечательно... Я не преувеличиваю, просто замечательно!

Машелье долго разглядывал отпечатки. Он был растроган, и когда Обинар предложил подготовиться к сеансу, он разделся без колебаний, сам удивляясь своей покорности.

В течение трех дней его в разных позах подвешивали на кресте, а когда у фотографа накопился достаточный запас «Распятий», они начали снимать серию «Путь на Голгофу». Натурщик старался изо всех сил и приводил Обинара в восторг своим усердием и понятливостью. Вскоре и г-н Нормат оценил по достоинству новую модель, так как ему прислали крупный заказ на «Распятие».

Бывший пианист каждый вечер приносил из мастерской пачку фотографий Иисуса Христа и развешивал их по стенам своей комнаты. В гостинице он прослыл на редкость набожным христианином. По вечерам, возвращаясь к себе в номер и окидывая взором эту панораму, Машелье всякий раз испытывал потрясение. Сидя на кровати, он подолгу любовался изображением спасителя, выискивая сходство с самим собою. Его глубоко трогало его скорбное лицо, жестокие страдания, мученическая смерть. По временам, при воспоминании о суде присяжных и о тюрьме, ему казалось, что сам он претерпел гонения, что сам он жертва несправедливости, и с умилением прощал своим палачам.

На работе в мастерской он никогда не раздражался, был кротким, уступчивым, старался услужить всем и каждому. Сотрудники любили его за доброту и привыкли к его томному меланхоличному виду. Все сходились на том, что он прямо-таки создан для этой работы. Машелье настолько сжился со своей ролью, что никого уже не смущали его странные изречения. Один Обинар, питавший слабость к новому натурщику, пугался этих чудачеств и тихонько увещевал его:

— Не принимайте все на веру, ведь этого же на

самом деле не было.

Однажды утром из соседней мастерской зашел апостол Петр, посланный с каким-то поручением. На голове его красовался огромный нимб из картона. Когда он уходил, Машелье, проводив его до самой двери, воскликнул «Иди, Петр!» таким проникновенным тоном, что старик опешил.

На улицах Машелье все время огорчался, что прохожие не обращают на него внимания; его мучило не уязвленное самолюбие, а сострадание к людям. Проходя мимо церквей, он озадачивал нищих непонятными речами, суля им в будущем величайшие блага.

— Подайте милостыню, Христа ради, — пристал к нему какой-то оборванец возле церкви Сен-Жермен-де-Пре.

Машелье показал ему на богача, который садился в свой роскошный автомобиль.

— Ты богаче его… в сотни раз, в тысячи раз богаче!

Нищий обозвал его дерьмом, и Машелье, понурив голову, удалился, не питая к нему злобы, но опечаленный до глубины души. Как-то вечером, у себя в номере, он стал вспоминать своих покойных родителей и задался вопросом, попали ли они в рай. Он обернулся было к своему изоб-

ражению, чтобы помолиться о двух страждущих грешных душах, но тут же передумал и покачал головой с самодовольной улыбкой, как бы говоря: «Не надо. Я сам все улажу…»

Между тем главный фотограф, засняв своего любимца во всевозможных позах, извлек из этого персонажа все, что мог придумать, и понял, что вскоре придется его рассчитать. К тому же Машелье слегка разжирел, и даже для «Христа во славе своей» у него были слишком пухлые щеки. Однажды утром, когда тот позировал для поясного портрета с нимбом над головой и с большим картонным сердцем, привешенным на груди, в мастерскую зашел г-н Нормат.

Проверив последние негативы, он указал на них Обинару.

— Они далеко не так удачны, как первые…

— Это верно.

— Я считаю, что серию Иисусов пора прикрыть. У нас достаточно богатая коллекция, мы заткнули за пояс всех конкурентов, и я, право, не представляю, что тут еще можно придумать.

— Я уж сам об этом думал, — вздохнул фотограф. — Видите, за последние три дня у меня ничего путного не вышло.

— Теперь вам следует заняться Иоанном Кре-

стителем… На него сейчас большой спрос, а дело тут обстоит плачевно, я уже вам говорил. Надо подготовить к будущему месяцу побольше образцов для наших разъездных агентов.

— К будущему месяцу? Слишком короткий срок, мсье Нормат… Нужна редкостная удача, такая же находка, как этот мой Христос…

И Обинар бросил благодарный взгляд на своего натурщика, который нетерпеливо поглаживал картонное сердце, дожидаясь ухода г-на Нормата. Машелье одинаково благожелательно относился ко всем, за исключением патрона. Он питал к нему неприязнь, смешанную с отвращением, и мечтал прогнать из храма искусства этого красномордого, пузатого торгаша. Обинар, глядя на свою модель, мучительно соображал, где бы раздобыть Иоанна Крестителя; вдруг его осенила блестящая мысль, и он кликнул помощника.

— Живо принеси мне бритву, кисточку и мыло для бритья.

И пальцем указал удивленному хозяину на Машелье.

— Такой, как теперь, он как раз подходит… Мы причешем его под Иоанна Крестителя. Вот увидите…

Оба вместе подошли поближе, и Обинар сказал

Христу:

— Ну, вам здорово повезло… Сейчас вам сбреют бородку, и вы поработаете у нас еще недельку в роли Иоанна Крестителя.

Машелье, смерив патрона презрительным взглядом, с упреком посмотрел на Обинара.

— Я готов претерпеть любые муки, — ответил он, — но не позволю сбрить бороду.

Напрасно Обинар убеждал его, что для Христа он уже не годится, что единственный способ оставить его на работе — это причесать под Иоанна Крестителя. Машелье, смутно сознавая, что вся его святость заключена в бородке, уперся на своем:

— Я не позволю тронуть ни единого волоса в моей бороде.

— Опомнитесь, — уговаривал его Обинар, — будьте благоразумны. У вас же нет ни гроша, никаких надежд на заработок…

— Я ни за что не расстанусь с бородой.

— Вот упрямая скотина! — вмешался г-н Нормат. — Пошлите его к черту. Дайте ему расчет, и пусть сейчас же убирается вон. Экий болван!

Уплатив еще за два дня в гостинице, Машелье снова начал голодать. Сперва он несколько возгордился, но потом, все больше страдая от

голода, стал сомневаться в своей божественной сущности. Наконец он вспомнил, что работал тапером, и повернул в сторону Монмартра. Его невольно тянуло побродить возле кабачка, где он впервые стал жертвой несправедливости. Машелье надеялся, что в своем столь бедственном положении он вызовет сострадание у тех, кто знал его прежде.

Он отправился пешком и, спускаясь к набережной по улице Бонапарта, во многих витринах узнавал свои изображения. Машелье видел, как он несет ягненка на плечах, как взбирается на Голгофу, изнемогая под тяжестью креста… Это умилило его и подбодрило.

— Как я страдаю! — простонал он, задержавшись перед своей фотографией в облике распятого Христа.

Перейдя через Сену, он снова увидел свои портреты на улице Риволи и дальше, возле «Гранд-Опера». Машелье почти не ощущал голода, он шел не торопясь, всматриваясь в витрины, с волнением ожидая новых встреч с самим собою. Ему довелось еще раз полюбоваться своим ликом около церкви Троицы на улице Клиши. Добравшись до кабачка, где когда-то выступал пианистом, он поспешно прошел мимо, даже

не заглянув в окно. Все было ему чуждо в этой части Монмартра, его тянуло подняться выше. От голода и усталости его била лихорадка, и он не раз останавливался передохнуть на крутом подъеме. Когда он наконец поднялся на вершину холма Мучеников, стало смеркаться. Лавочники около базилики уже начали убирать на ночь разложенные товары. На одном из лотков Машелье успел рассмотреть несколько фотографий, для которых он позировал у Обинара. Тут были «Добрый пастырь», «Пустите детей приходить ко мне», «Иисус в Гефсиманском саду», вся серия «Крестного пути», а в рамке черного дерева — увеличенный снимок «Распятого Христа». Машелье был потрясен. Подойдя к каменной балюстраде и глядя с высоты на бурлящий внизу огромный город, он уверовал, что вездесущ. Последние лучи заходящего солнца обрамляли город узкой светлой лентой, внизу, в туманной мгле зажигались далекие огоньки. Стараясь рассмотреть издалека пройденные им извилистые улицы, отмеченные, точно вехами, его изображениями, Машелье упивался сознанием, что слава его распространяется по всему городу. Ему чудилось, будто дух его витает в вечернем сумраке, и смутный гул Парижа вздымается ввысь, словно хор славящей

его толпы.

Было уже около восьми часов вечера, когда Машелье спустился с холма. Он позабыл о голоде и усталости, в ушах у него звенело, ему слышались ликующие песнопения. Встретив на безлюдной улочке полицейского, он робко направился к нему, простирая руки.

— Это я, — промолвил он с благостной улыбкой.

Полицейский пожал плечами и повернул в сторону, сердито ворча:

— Отвяжись, болван… Ступай лучше домой, нечего приставать к людям с дурацкими выдумками…

Озадаченный такой грубостью, Машелье застыл на месте и прошептал, покачав головой:

— Он не ведает, что творит…

Его вдруг охватило беспокойство, он растерялся, хотел было вернуться на вершину Монмартра, но, не чуя под собою ног от усталости, поплелся по темной улочке, выходящей на освещенную площадь.

На бульваре Клиши Машелье смешался с толпой гуляющих. Никто его не замечал, а те, кто встречал его страдальческий взгляд, ускоряли шаг, боясь, что он станет просить милостыню. Из-

мученный толкотней и давкой, дрожа от озноба, он присел отдохнуть на скамье. Его терзало одно сомнение, одна навязчивая мысль: «Отчего люди не узнают меня?»

Две уличные девки, слоняясь по бульвару, шутки ради, пристали к нему.

— Эй, Ландрю[33], пойдем с нами! — окликнула его старшая, дернув его за бородку.

Обе девицы прыснули со смеху, а та, что помоложе, возразила:

— Да нет, это Иисус Христос, разве не видишь?

— Да, это я! — подтвердил Машелье.

Ободренный их словами, он поднялся со скамьи, чтобы благословить девиц, возложив на них руки. Но те убежали, заливаясь хохотом.

— Он еще накличет нам беду, этот Христосик, удирай скорее!

Машелье понял, как трудно убедить людей в том, что он сошел к ним с небес. Он решил сначала объявить благую весть нищим и убогим и, свернув с бульвара, пошел искать их по городу. Но он нигде не встречал бедняков, ни один нищий не попался ему на пути. Машелье громко выражал свое недоуменье, останавливал прохо-

---

[33] Примечания: 33

Ландрю — преступник, убивший десять женщин. Казнен в 1922 г.

жих, допытываясь, не видал ли кто из них нищих и убогих. Прохожие не понимали его. Они даже не знали, есть ли в городе нищие.

Было около полуночи, когда Машелье добрался до моста Святых Отцов. Он не ощущал ни голода, ни усталости — ничего, кроме тревожного терпения. Он помнил, что до встречи с Обинаром нередко ночевал под этим мостом, и надеялся найти там бедняков. Однако, сойдя на берег, убедился, что их прежнее логово опустело. Машелье почувствовал себя таким одиноким, всеми покинутым, что чуть не разрыдался. Но вот на другом берегу к воде стали спускаться какие-то люди, ища пристанища под сводом моста. Машелье взмахнул рукой и громко крикнул:

— Это я!

Бродяги остановились, не понимая, откуда доносится голос, гулко раздававшийся под каменной аркой.

— Это я! Не бойтесь! Я иду…

Он поспешно спустился по узкой лесенке прямо к воде.

— Я иду к вам!

На миг бродягам почудилось, будто Машелье идет к ним по водам, а когда на поверхности реки не осталось ничего, кроме ряби, они не могли

понять, — не то они видели это наяву, не то это предвещало им ночные сновидения, чтобы они могли позабыть о своей горькой доле.

НАТАЛИ САРРОТ
(Род. в 1902 г.)

Натали Саррот (урожденная Наталья Ильинична Черняк) родилась в России, в семье мелкого фабриканта. В 1908 году вместе с отцом поселилась во Франции. Закончив в 1925 году юридический факультет в Париже, занималась адвокатской практикой.

Писать Саррот впервые пробует в 1932 году, но лишь через семь лет появится небольшой ее сборник «Тропизмы» — своеобразная мозаика из насыщенных драматизмом психологических жанровых сценок. Первый роман Саррот, «Портрет неизвестного» (1948), остался, как и «Тропизмы», не замеченным ни читателями, ни критикой. В 1953 году Саррот выпускает роман «Мартеро», в 1956 году публикует сборник литературно-критических эссе «Эра подозрений», где пытается обосновать выработанные ею принципы изображения человека. Во многом именно этот сборник заставил критику заговорить о Саррот как о представительнице «нового романа» — течения во французской литературе,

родившегося на рубеже 40–50-х годов в полемике с традициями классического романа XIX века. В 1959 году появляется «Планетарий», принесший автору прочную литературную известность. Роман «Золотые плоды» (1963) закрепляет успех писательницы. В 1964–1972 годы Саррот публикует две радиопьесы, романы «Между жизнью и смертью» и «Вы их слышите?».

За тридцать с лишним лет ни проблематика произведений Саррот, ни манера ее письма не претерпели изменений: делая предметом своего изображения частную жизнь и «микроскопические» драмы индивидуального сознания, Саррот рассматривает их как средоточие существенных особенностей современного буржуазного конформиста.

Духовный мир героев Саррот — это мир готовых мнений и стандартных вкусов, освященных традицией, прессой, авторитетом «знаменитостей». Поразительную способность своих персонажей мгновенно трансформироваться при малейших изменениях «общественной моды», в чем бы она ни сказывалась, писательница и назвала «тропизмами». Являясь воплощением «общих мест» социальной жизни, эти персонажи крайне подозрительно относятся ко всякому

проявлению живой индивидуальности, стремясь втиснуть ее в рамки принятых норм и образцов. Отчаянная борьба с всесильным и безжалостным миром конформизма и составляет основное содержание творчества Саррот, насыщая его напряженнейшей конфликтностью и тонким психологизмом.

Nathalie Sarraute: «Tropismes» («Тропизмы»), 1939.

Г. Косиков

Из книги «Тропизмы»
Тропизм V

Перевод Л. Зониной

В знойные июльские дни от стены против окна падал на сырой дворик жесткий и слепящий свет.

Была в этом зное головокружительная пустота, безмолвие, какое-то всеобъемлющее ожидание. Тишину нарушал только навязчивый, пронзительный скрежет стула о каменные плиты, хлопанье двери. Каждый звук в этом зное, в этом безмолвии обдавал внезапным холодом, ранил

слух.

И она не шевелилась на краешке своей кровати, вся сжавшись, напряженная, словно в предчувствии какого-то взрыва, какого-то удара, который вот-вот обрушится на нее из этого гнетущего безмолвия.

Вот так порой от резкого стрекота цикад в степи, окаменевшей под солнцем, точно мертвой, охватывает тебя ощущение холода, одиночества, затерянности во враждебном мире, где назревает что-то страшное. Растянешься на траве под палящим солнцем, лежишь, не двигаясь, насторожившись, и ждешь.

В этой тишине она слышала, как по коридору, вдоль старых обоев в голубую полоску, вдоль грязных крашеных стен пробирается к ней слабый звук, производимый поворотом ключа в замочной скважине входной двери. Слышала, как захлопывается дверь кабинета.

Она не двигалась с места, все так же сжавшись в комочек, выжидая, бездействуя. Казалось, что-нибудь сделать — пойти, например, в ванную помыть руки, отвернуть кран — значило бросить вызов, ринуться очертя голову в пустоту, совершить нечто героическое. Внезапный плеск воды в нависшей тишине был бы равносилен сигналу,

призыву, чудовищному соприкосновению с ними — вот так дотронешься острием палочки до медузы и ждешь потом с отвращением, когда она вдруг дрогнет, приподымется и вновь сожмется.

Ее не покидало ощущение, что они там, за стенами, неподвижно застыли, распластались, но готовы дрогнуть, закопошиться.

Она не шевелилась. И все кругом — дом, улица, — казалось, одобряло ее, казалось, видело в этой неподвижности что-то естественное.

Становилось совершенно ясно, — стоило только отворить дверь на лестницу, погруженную в беспощадный, безликий и бесцветный покой, на лестницу, где были начисто стерты следы людей, которые по ней ходили, где не было даже воспоминания о них, стоило только встать у окна в столовой и бросить взгляд на фасады домов, на магазины, на старух и детей, шедших по улице, — становилось совершенно ясно, что нужно возможно дольше ждать, хранить неподвижность, бездействовать, не шевелиться, что подлинный ум, что высшая мудрость проявляется именно в том, чтобы ничего не предпринимать, возможно меньше двигаться, бездействовать.

В самом крайнем случае можно было, стараясь никого не разбудить и не обращая внимания на

сумрачную мертвую лестницу, спуститься вниз, смиренно пойти куда глаза глядят, без всякой цели, вдоль тротуаров, вдоль стен, просто чтобы подышать, размять ноги, а потом вернуться домой, сесть на краешек кровати и снова ждать, сжавшись в комочек, недвижно.

Тропизм XI

Перевод Л. Зониной

Она раскусила секрет. Она пронюхала, где таится то, что должно быть для каждого подлинным сокровищем. Она узнала «масштаб ценностей».

Что ей были теперь разговоры о модных шляпках или тканях от Ремона! Она глубоко презирала тупоносую обувь.

Как мокрица, она незаметно проползла к ним и исподтишка выведала «истину истин», как кошка, которая облизывается и жмурит глаза, обнаружив горшочек со сливками.

Теперь она знала. И держалась за свое. Не оторвешь. Она слушала, впитывала, прожорливая, вожделеющая и ожесточенная. Ничто из того, чем обладали они, не должно было от нее ускользнуть: картинные галереи, новые книги, все, до единой… Она была в курсе всего. Она начала с

«Анналов», теперь подбиралась к Андре Жиду, и недалек был день, когда она станет, вперив буравящий алчный взор, что-то записывать на заседаниях «Союза в защиту Истины».

Она рыскала по всему этому, везде вынюхивала, все ощупывала своими пальцами с квадратными ногтями; стоило кому-нибудь коснуться этого в разговоре, глаза ее загорались, она жадно тянула шею.

Им она внушала несказанное отвращение. Спрятать от нее все это, — скорее, пока она не пронюхала! — укрыть, оградить от ее грязных прикосновений… Но разве ее проведешь? Ей все известно. Разве от нее утаишь Шартрский собор? Она о нем знает все. Она читала, что думал о нем Пеги.

Как бы укромны ни были тайники, как бы тщательно ни были запрятаны сокровища, она рылась в них своими загребущими руками. Вся «интеллектуальность» полностью. Ей она была необходима. Для себя. Для себя, ибо она теперь познала истинную цену вещей. И ей была необходима «интеллектуальность».

И таких, как она, было много — изголодавшихся и беспощадных паразитов, пиявок, присосавшихся к выходящим статьям, слизняков, налипших

повсюду, мусоливших страницы Рембо, тянувших сок из Малларме, передававших из рук в руки «Улисса» или «Заметки Мальте Лауридис Бригге», марая их своим гнусным пониманием.

«Это изумительно!» — восклицала она и с искренним воодушевлением таращила глаза, зажигая в них «искру божью».

Тропизм XVI

Перевод Л. Зониной

Теперь они были стары и ни на что не годны, «как старая мебель, которая долго была в употреблении, послужила верой и правдой, а теперь отжила свой век». И только иногда (у них это была форма кокетства) они испускали какой-то сухой вздох, полный смирения и умиротворенности, напоминавший потрескивание.

Теплыми весенними вечерами они отправлялись вдвоем немного пройтись, — «теперь, когда молодость позади и страсти отпылали», — они отправлялись пройтись не спеша, «подышать перед сном свежим воздухом», посидеть в кафе, поболтать четверть часика.

Долго, с нескончаемыми предосторожностями, они выбирали укромный уголок («Не здесь —

здесь сквозит, нет, не там — это слишком близко к уборной»), усаживались («Ох уж эти старые кости, стареем, стареем. Ох! Ох!») и издавали свое потрескивание. Свет в зале был мутный и холодный, официанты двигались чересчур быстро, вид у них был грубоватый, равнодушный, зеркала безжалостно отражали морщинистые лица, моргающие глаза.

Но они и не ждали ничего другого, так уж положено, им это было известно, ничего тут не попишешь, надеяться не на что, это — так, и ничего другого не будет, такова «жизнь».

Ничего другого, ничего больше — тут или там, все равно, — им это теперь было известно.

Уже не надо было возмущаться, мечтать, надеяться, делать усилия, от чего-то убегать, надо было только старательно выбрать (официант ждал), что заказать, — гренадин или кофе? со сливками или черный? — соглашаясь жить без всяких притязаний — тут или там, все равно, — предоставляя времени течь.

Тропизм XXII

Перевод Г. Косикова

Они уродливы, неоригинальны, безлики, ду-

мала она, они и вправду слишком устарели, эти заурядные клише, описание которых она встречала повсюду множество раз: у Бальзака, у Мопассана, в «Госпоже Бовари» — клише, копии, копии с копий, думала она.

Ей так хотелось отбросить их, сгрести в охапку, швырнуть куда-нибудь подальше. Но, окружив ее, они держались спокойно, корректно, они улыбались ей — любезно, но с достоинством; всю неделю они работали, в жизни они привыкли рассчитывать на самих себя, они ни на что не претендовали, разве только иногда видеть ее, чуть теснее привязать ее к себе, чувствовать, что та нить, которая ее с ними связывает, продолжает существовать, что оборвать ее невозможно. Они ведь ничего другого и не хотели: только спросить ее — это же так естественно, все так делают, заходя по-дружески, по-родственному друг к другу в гости — спросить, что хорошего, много ли она читала за последнее время, где была, видела ли она то или это, эти фильмы, понравились они ей или нет… Им самим, им так понравился Мишель Симон, Жуве, они так смеялись, так приятно провели вечер…

А что касается всего этого — этих клише, этих копий, Бальзака, Флобера, «Госпожи Бовари» — о!

да ведь они всё это прекрасно знают, всё это им хорошо известно, но это их ничуть не смущает — они ласково смотрели на нее, улыбались ей; казалось, возле нее они чувствуют себя надежно и уверенно; казалось, они знают о том, что их рассматривали во всех подробностях, воспроизводили, описывали, обсасывали до тех пор, пока они не сделались гладкими, как галька, зализанными, отполированными, без единой шероховатости, без единой царапинки. В них не было ничего, за что она могла бы уцепиться: ничто им не угрожало.

Они окружали ее, протягивали к ней руки: «Мишель Симон… Жуве… О билетах — не так ли? — надо было подумать заранее… Теперь их уже не купить, а если и купишь, то за сумасшедшую цену — только в ложу, в бенуар…» Они чуть сильнее стягивали путы, очень осторожно, незаметно, не причиняя боли, натягивали тугую нить и тянули за нее снова и снова…

И вот мало-помалу какая-то слабость, податливость, потребность приблизиться к ним, получить их одобрение вовлекала ее в общий с ними круг. Она чувствовала, как послушно (о да… Мишель Симон… Жуве…), очень послушно — тихая пай-девочка — она подаст им руку и идет

вместе с ними.

Ну вот, наконец-то мы все вместе и ведем себя хорошо, так что родители наверняка бы нас похвалили, наконец-то все мы здесь, чистенькие и опрятненькие, поем хором, как и подобает благовоспитанным детям, которые под присмотром невидимой няньки мило водят хоровод, печально протянув друг другу влажные ладошки.

ЖАК ДЕКУР
(1910–1942)

Дитя фешенебельных кварталов, писатель, критик и переводчик, Жак Декур (настоящее имя — Даниель Декурдеманш) преодолел немало классовых предрассудков, прежде чем постиг смысл гражданской ответственности в эпоху, чреватую войной и фашизмом.

От Стендаля Декур воспринял картезианскую ясность и неумолимую последовательность в поисках истины, от Гейне — иронию, непримиримую к тупости и вандализму, Декур-прозаик выразил анархическое неистовство «блудных детей» XX века, которых время заставило выбирать между приспособлением к кастовой системе и дорогой протеста, между единством Народного фронта и фашистским разбоем. Вместе с героями романов «Мудрец и капрал» (1930) и «Отцы» (1936) прорывается к истине их создатель: Декур становится коммунистом. В 1938–1939 годах он главный редактор революционного журнала «Коммюн».

В период «странной войны» Декур — секретарь

редакции боевого журнала «Пансе». Когда фашисты, вторглись во Францию, он организует сеть подпольных изданий. Декур — один из инициаторов создания Национального комитета французских писателей, основатель его нелегального органа — газеты «Леттр франсэз». В подготовленном для первого номера этой газеты манифесте Декур страстно взывал: «Французские писатели!.. «Леттр франсэз» будет нашим оружием. Издавая газету, мы включаемся в смертельную схватку, начатую французской нацией за освобождение от поработителей». 19 февраля 1942 года Декур был арестован, а 30 мая после жестоких пыток казнен фашистами на Мон-Валерьен.

«...Я не жалею, что избрал этот путь... — писал он родным за несколько часов до расстрела. — ...Я сумел выполнить свой долг, долг француза... Я склонен смотреть на себя, как на лист, оторвавшийся от ветки, — он падает с дерева на землю, чтобы удобрить почву. Плодородие почвы зависит от качества листьев».

Последние слова Декура прозвучали со страниц подпольной «Леттр франсэз» и обрели бессмертие в «Письмах расстрелянных», героическом мемориале эпохи Сопротивления.

Jacques Decours: рассказ «La revolte» («Мятеж») опубликован в журнале «La nouvelle revue franqaise» 1 марта 1934 года, № 246.

В. Балашов

Мятеж

Перевод Н. Световидовой

В кармане у Будена была петарда. Он запустил ее в классе, а учитель выставил за дверь двух ни в чем не повинных учеников: вечно сонного верзилу Фийона и Леона Делабара. Они вышли, не торопясь.

— Пошли к директору? — предложил Леон, недолюбливавший дежурку.

В квартиру директора вела роскошная мраморная лестница. Они наследили на ней своими грязными башмаками и, усевшись на самом верху на коврике, начали играть в карты.

Проныре Делабару всегда все надо было знать.

— Петарду, выходит, не ты запустил? — спросил он.

— Нет. Я предпочитаю вонючие шарики.

За дверью послышался шорох: директорша смахивала с замка пыль.

— Давай позвоним, — сказал Леон, выигравший партию.

Поверх бигуди на голове у директорши была наброшена лиловая накидка из тюля.

— Простите, мадам, господин директор прислал нас за ключом от гаража…

Все сошло благополучно. В гараже покоился новенький хорошенький «пежо». Они тут же начали приводить его в негодность. В первую очередь следовало искромсать покрышки — у Фийона оказался отличный нож. Затем, вытащив из багажника инструменты, они стали разбирать мотор, но возиться им быстро надоело. Вот тогда-то Леону и пришла в голову коварная мысль: бросив зажженную спичку, они преспокойно отправились в дежурку.

Там они застали двух учеников, наказанных за новый взрыв петарды; решено было сыграть вчетвером партию в покер. Надзиратель, заносчивый коротышка, не снизошел до того, чтобы сделать им замечание.

Прозвенел звонок на обед. Господин директор покинул кабинет и направился в свои апартаменты.

— Пахнет цветной капустой, — произнес он, переступив порог собственной квартиры.

— Вытирай как следует ноги, — сказала в ответ жена. — Я не выходила из дому.

— А! Ты не выходила!..

И они молча принялись за цветную капусту.

Ученики гурьбой спускались в столовую. Небритый розовощекий надзиратель уныло наблюдал, как они рассаживаются по местам. На обед давали бульон, рыбу и печеные яблоки.

Второклассники были явно не в духе: их лишили воскресного отдыха. У самого тихого из них оказался весьма тонкий нюх.

— Мерлан у меня с душком, — кротко сказал он.

Ухватив рыбу за хвост, он тут же швырнул ее в розовощекого надзирателя.

— Ну погодите, я вам покажу! — закричал надзиратель и обратился в бегство под градом нескольких десятков мерланов, довольно метко пущенных ему вслед.

Все тотчас же устремились на кухню. Шеф-повар и его помощники лакомились телячьей головой. На огромной плите поблескивало с дюжину еще не остывших кастрюль. Низко стлался чад от мерланов.

Первым вошел Карье, добродушнейшего вида знаток риторики.

— Развести огонь! — приказал он шеф-повару и его братии.

— Проваливай отсюда! — ответил на это шеф, запихивая за щеку телячий глаз.

— А не посадить ли мне тебя на вертел, — молвил Карье, держа в одной руке настоящий двухметровый вертел, а в другой — перочинный нож. В мгновение ока запылал огонь. Тут подоспели другие ученики с засаленными учебниками под мышкой.

— Не худо бы их сжечь, — заметил один мальчуган, — А еще лучше — сварить!

Разгорелся спор, и в итоге решено было сварить книги на пару. Соль. Перец. Так, теперь крышки. Карье приготовил мехи, а кто-то заставил побагровевшего повара, стоя на коленях, раздувать огонь.

Прошло немало времени, прежде чем варево закипело. Вся кухня пропиталась зловонием, тяжкий интеллектуальный смрад вырывался из кастрюль, хватал за горло. Пахло дохлой крысой с примесью мускатного ореха, столярным клеем, теоремами, уравнениями и прочей ученостью.

Со двора доносились радостные вопли. Поб-

росав вонючие кастрюли, ребята помчались из кухни наверх поглядеть, что там происходит.

Объятый пламенем роскошный директорский лимузин выкатили на гравий, дым от него поднимался к вершинам облетевших деревьев. Стоя на крыше с развевающейся по ветру шевелюрой и слезящимися от дыма глазами, некий Вернисон произносил пламенную речь, слов которой никто не мог разобрать. Сухонький директор и трое горе-надзирателей из сил выбивались, пытаясь загасить пылающий автомобиль своими жалкими огнетушителями, в то время как ученики, собравшись в кружок на почтительном от них расстоянии, не переставая горланили, кому что в голову взбредет. Из окон с любопытством выглядывали удивленные служащие. Один из них фотографировал происходящее во дворе. В своей каморке, пропахшей вином и клеем, привратник в нетерпении крутил телефон, провода которого были предусмотрительно перерезаны.

Буден, тот самый, с петардой, славился своей изобретательностью. Он притащил из кладовой бутылку керосина и поручил одному более ловкому товарищу запустить ею со второго этажа в усовершенствованный мотор директорского лимузина.

Директор с перепугу уже решил вызвать полицию, но, обернувшись, увидел множество разинутых ртов, вопивших: «Раздевайсь!» Он был один на один с этой оравой: надзиратели ушли играть в карты, и ему оставалось уповать лишь на собственное мужество.

Что делать с директором? Ученики охрипли, да и устали кричать. Огонь понемногу стихал. Время близилось к двум часам. Некоторые порывались разуть директора, но намерение это было отвергнуто как анархическое. Воспользовавшись замешательством, маленький человечек поднял руку, выражая тем самым желание что-то сказать; его мучители тут же утихомирились, внимая ему в благоговейном молчании.

— Господа! — начал директор, коснувшись рукой ордена Почетного легиона у себя на груди. — У вас остается один-единственный шанс. Предлагаю воспользоваться им! Вы совершили преступление… нарушили общее право…

— Чересчур общее… — вставил Фийон.

— …Вы вполне созрели для трибунала, и вас будут судить как малолетних преступников! Но я обещаю вам полную амнистию… Покончим с этим и забудем о том, что было!

Раздались аплодисменты, но круг не разо-

мкнулся. Директор возвысил голос:

— Берегитесь, вот-вот нагрянет полиция. Ей будет дано указание стрелять…

В ответ на эти слова директора поволокли в гимнастический зал и там раздели, оставив в одних кальсонах. Вид у него был смешной и жалкий: ноги колесом, все тело в мурашках. Карье взял на себя роль наставника. Он начал с разминки. Через несколько минут директорская спина стала такой гибкой, что, согнувшись, он уже мог коснуться носом своих коленей. В прыжках в высоту он преуспел значительно меньше, зато ему повезло в упражнениях на канате и на турнике. В заключение его доставили в бассейн для плавания — учебное заведение было образцовым.

Плавать чернявый человечек не умел. Его принялись обучать терпеливо, но настойчиво. И даже разрешили попить.

Но для госпожи директорши — она была беременна — все это оказалось слишком волнующим. В окно она видела, с каким неистовством обрушились эти негодяи на автомобиль. Горничная едва успела подхватить ее и донести до кровати в стиле Генриха II, и там, под пропыленным, готовым вот-вот рухнуть балдахином она силилась до срока подарить директору наследника.

Тем временем учителя, один за другим, стали возвращаться с обеда через двери нижнего этажа, которые караулил рослый парень. Буден, назначенный комиссаром, отдал приказ пропустить их во внутренний двор и там окружить. Указание его было выполнено достаточно точно. Не понимая, что происходит, учителя говорили все разом. Один из них, худощавый молодой человек, вызвался вступить в переговоры с мятежниками, уверяя, что всегда умел ладить с ними. Ему не поверили. Другой, отличный боксер, бросился вперед, но понапрасну обломал кулаки. Большинство же, покорившись судьбе, лишь доказывало свое умение болтать впустую.

И вдруг в этот всеобщий гам ворвался чей-то мощный голос. Все подняли головы: встав в полный рост в окне второго этажа, Карье отдавал распоряжения:

— Внимание, нельзя терять ни минуты! Всех их отвести в класс морали!

Карье спрыгнул с подоконника, и приказ его мгновенно был приведен в исполнение ударными группами. С поразительной покорностью воспитатели позволили усадить себя за слишком маленькие для них парты. Когда они расселись, Карье торжественно вступил в класс. Белокурая

прядь волос спадала ему на лицо. Он облокотился на кафедру, помолчал, потом начал лекцию.

— Господа, следует отдать вам должное: вы люди цивилизованные. Ваша трусость — красноречивое тому свидетельство. Вы трудитесь не покладая рук, возделываете, так сказать, свой огород, следуя премудрости ваших апостолов, но произрастают-то в нем одни сорняки. Наступила пора, когда каждый обязан понять, кто его враг, и с ним покончить. Я вовсе не собираюсь поучать или убеждать вас, и мы не столь мелочны, как вы, чтобы встать на путь мести. Вы наши исконные враги, час пробил, и мы решили обуздать вас. Подвергнуть вас вашим же наказаниям? Ни за что. Наказание — оружие слабых. Вы, наши учителя, наши враги, вы виноваты уже самим фактом своего существования.

Затем Карье велел отвести учителей в кинозал. Ему хотелось показать им волшебный фонарь. Распорядившись ставить диапозитивы вверх ногами, он сопровождал их собственными комментариями.

— Несколько исторических примеров. Начнем с Третьей республики. Мюзик-холлы, банкиры-министры и прочие достопримечательности. Крупные мошенничества. Из удавшихся — война.

Неудавшиеся — дело Дрейфуса, Панама. Определение демократии: союз денежного мешка и кадила, признанный общественно полезным и имеющий целью истребить весь мир, доведя его предварительно до полного отупения.

Несколько наивная речь Карье на том и кончилась, ибо его известили о серьезной опасности: у ворот появились пожарные. Нашелся доносчик — этого добра везде хватает, — которому удалось незаметно улизнуть и вызвать их.

Карье бросился во двор и собрал все свое войско. Водворился порядок. Беспечности как не бывало. Вожак отдавал распоряжения.

— Сторожевой отряд в класс морали! Один отряд к воротам! Другой — на кухню, кипятить масло! Третий — на склад за оружием!

А между тем пожарные предусмотрительно готовились к схватке. Как только они надели защитную одежду и противогазы, капитан, державшийся поодаль, метрах в двухстах, послал унтер-офицера постучать в ворота. Тот минут через десять вернулся и, приподняв противогаз, доложил:

— Ворота заперты.

— Тогда вперед и никакой пощады! — скомандовал капитан, не двигаясь с места.

Однако о том, чтобы сломать ворота да еще с решетками, нечего было и думать. Оставалась одна надежда — пожарный шланг. Его направили на окна. Как раз в эту минуту одно окно распахнулось. Показался парламентер.

— Можете начинать, — заявил он. — Мы находимся тут. Однако предупреждаю: у нас припасено для вас сто литров кипящего масла.

Пожарные его не слушали. Тогда из другого окна высунулся дрожащий всем телом человек и, запинаясь, проговорил:

— Господа, умоляю вас ничего не предпринимать! Расходитесь спокойно по домам! Я — директор этого заведения. Жена моя только что родила, а вы, господа, хотите залить водой нашу квартиру!.. Уверяю вас, в этом нет никакой необходимости. Бунт этот сугубо местного значения, и он был тут же подавлен. Порядок полностью восстановлен, так и доложите вашему начальству. Мой непререкаемый, я бы даже сказал — диктаторский авторитет не подлежит сомнению.

Речь директора длилась минут пятнадцать. Пожарным она пришлась по вкусу: они сняли противогазы и отправились восвояси.

В старом доме воцарился порядок. И пока директор вместе с санитаром-добровольцем

выхаживал свою супругу, победители решили немного поразвлечься. Но в их забавах не было никаких излишеств. За этим следил Карье, к тому же всеобщее презрение, обрушившееся на метателей вонючих шариков, охотников до битья стекол и прочих озорников, действовало вернее любого наказания. «Стекло вещь ценная, — говорил Карье, — старайтесь и вы быть чистыми, как стеклышко». Он шествовал, изрекая подобного рода афоризмы.

Однако в распоряжении победителей оставались еще великолепные живые игрушки, игрушки одушевленные, и о них они не забывали. Вся сложность заключалась лишь в выборе метательных снарядов. Буден предлагал бильярдные шары, но его поддержали немногие. Другие не могли придумать ничего оригинальнее, чем яйца, помидоры, электрические лампочки. Верзилу Фийона, который, по обыкновению, пребывал в полусне, осенила блестящая идея:

— Нам нужен материал прочный и в то же время достаточно мягкий: месиво из их дурацких книг мы уже приготовили, остается только угостить им этих собак.

Тотчас же два десятка месильщиков отправились на кухню и принялись за дело. Из еще не

остывших котлов они вычерпывали клейкую, прилипавшую к пальцам патоку культуры, лепили из нее шары и обжигали их в плите. То, что не поддавалось обжигу, пришлось оставить в виде студенистой массы.

Итак, можно было начинать игру. Большой актовый зал по этому случаю празднично разукрасили. Живые мишени выстроили в две шеренги. Самые меткие участники состязания заняли места на трибуне. Помощники подавали им шары, а судьи, запасшись мелом, приготовились отмечать попадания.

Удары звучали мягко. Школьная премудрость, превращенная в тестообразную массу, облепляла ученых мужей.

Какой-то незаурядный артист решил, что состязанию недостает музыкального сопровождения, и тут лавина органных аккордов обрушилась на зал; все, кто был в нем, невольно содрогнулись, а несчастные жертвы, подавленные величественной музыкой, совсем сникли.

Первым рухнул учитель гимнастики. Уткнувшись носом в паркет, он разрыдался. Не более выносливыми показали себя физики, а вскоре и черепа математиков гулко ударились об пол. Самыми стойкими оказались словесники.

В конце концов не осталось ни мишеней, ни снарядов, ни мела, чтобы отмечать очки, да и орган, видно, совсем выдохся. Конец побоищу, конец играм.

Наступила ночь. На дорожках во дворе безмолвствовал гравий. В спальне со спущенными шторами при свете ночника почивал директор со своей супругой.

Но где-то под самой крышей в освещенном уголке принялись за работу вожаки. Время от времени Карье тихим, приглушенным голосом произносил что-то решительное. Ему вторили серьезные, без тени бахвальства голоса. Конец играм, конец побоищу. Впереди была целая ночь для подготовки мятежа.

ЖОРЖ ГОВИ
(Род. в 1910 г.)

Гови родился в семье художника. С 1920 года жил в Турции, где окончил французский лицей. Затем путешествовал — был в Египте, Индии, Китае. Окончательно поселился во Франции в начале 30-х годов. С 1934 года печатается в еженедельнике «Монд», основанном Барбюсом, и в журнале «Коммюн». В его рассказах той поры отразились острые политические коллизии, ожидания и надежды эпохи Народного фронта.

Гови-рассказчик стремится уловить взаимосвязь характера и обстоятельств, обнажить социальные и нравственные истоки поведения человека. Духовный крах личности неминуем, если ее эгоистические интересы противостоят революционной воле народа, — таков лейтмотив новеллистического цикла «Русская кровь» (1946). По разным дорогам устремились на поиски своего места в жизни молодые люди из богатых кварталов (роман «Дни великого поста», 1947), но иные выдохлись, а другие, достигнув желаемого, прониклись равнодушием ко всему на свете и

отвращением к самим себе. Обреченность попыток противодействовать ходу новой жизни, сложившейся после войны в странах Восточной Европы, — тема романа «Страстотерпец» (1955). Книга «Испанская кровь» (1958) — высшее достижение Гови в жанре новеллы. Трагедийную контрастность испанской жизни середины XX века он выразил в судьбах участников гражданской войны: уроки сражения за республику и сегодня помогают патриотам видеть будущее; былых победителей преследует ощущение никчемности собственного существования.

Georges Govy. «Sang russe» («Русская кровь»), 1946; «Sang d'Espagne» («Испанская кровь»), 1958.

Рассказ «Ноллак пробудился» («Nollac s'agite») опубликован в еженедельнике «Monde» 22 июня 1934 года, № 304.

В. Балашов

Ноллак пробудился

Перевод Н. Немчиновой

В маленьком городке Ноллаке, в самой его

середине, был большой парк с лужайками и статуями, старинный парк, разбитый еще при Людовике XVI. Время течет быстро, и многие поколения обитателей Ноллака, сменившие друг друга, не очень-то ухаживали за парком, предоставив ему разрастаться, сколько душе угодно. Однако, испугавшись, что при быстром своем росте он поглотит улицы, отходившие от него в разные стороны и в виде тропинок робко замиравшие у края беспредельных полей, за чертой города, люди обнесли парк прочной железной оградой. Со временем ограда погнулась, а кое-где проржавела.

Одна из улиц, отходивших от парка, вела к вокзалу. К жалкому вокзалу, освещавшемуся газовыми фонарями и по большей части безлюдному. Экспрессы тут не проносились, только проползал поезд узкоколейки, соединявшей Ноллак с большим городом Руайе. И уже долгие годы водил этот поезд один и тот же машинист; как только состав останавливался у вокзала, машинист высовывал из паровоза свою чумазую физиономию, поднимал козырек нахлобученной на лоб фуражки и уныло оглядывал пассажиров, топтавшихся на перроне. Затем поезд встряхивался, как старая кляча, прежде чем она рысцой тронется

в путь, и вновь двигался по рельсам. Из окошек вагонов пассажиры еще долго могли созерцать Коротышку, начальника станции, зимой и летом облаченного в узенькую форменную тужурочку и неизменно державшего в руке извечный красный флажок. К полудню поезд привозил только одного человека, г-жу Лемонье, занимавшуюся в Ноллаке благотворительностью; в семь тридцать вечера он доставлял всех своих основных пассажиров, сонных, притихших после утомительного рабочего дня на предприятиях Руайе. Молодежь выражала недовольство, что приходится рано возвращаться домой, но это был последний поезд, а заночевать в чужом месте никто не решался, опасаясь бесконечных семейных сцен и упреков родителей.

К тому же в Ноллаке имелся кинотеатр, где по субботам и воскресеньям показывали старые фильмы, давно сошедшие с экрана и позабытые в больших городах. В эти дни можно было и потанцевать в бистро. Иногда наезжали, в поисках «живописности», девицы из Руайе, разодетые «не хуже парижанок», хотя всегда что-то оказывалось излишним или чего-то недоставало в их нарядах — то чулки были чересчур розовые, то узор ткани на платье не гармонировал с фасоном

и отделкой.

Мужчины, не уезжавшие из Ноллака на работу, выходили из дому поздним утром. Торговцы не спеша отпирали лавки, вяло топтались возле кассы или на пороге своего заведения, перекликались с соседями или перебрасывались приветствиями с проходившими мимо постоянными покупательницами: «Хорошая погода, мадам Тесье!» — «Да, только бы продержалась подольше, ребятишкам солнышко надо». — «Ну конечно, уж им-то надо!» Потом шли на рынок хозяйки с кошелками и, останавливаясь, заигрывали с младенцем, пускавшим пузыри в колясочке, которую супруга мясника выставляла на тротуар. Потом в спокойном воздухе дребезжал колокольчик у входных дверей то одной, то другой лавки. Собаки бегали друг за другом по улицам.

Около полудня возвращался со своей тележкой подручный булочника и мимоходом перекидывался шутками с молоденьким подручным мясника, тоже развозившим на своем велосипеде товар по домам. Булочник и мясник заглядывали в свои приходо-расходные книги и с большим сожалением покидали лавку: продовольственные закупки горожан к этому часу почти уже бывали закончены, о чем нетрудно было судить, ибо

количество проданного хлеба и мяса день ото дня оставалось, можно сказать, неизменным. Один лишь аптекарь заранее не мог знать, как пойдет его коммерция, и, случалось, все» утро проводил среди своих банок, с озабоченным видом отрывая и приклеивая ярлыки с рецептами к коробочкам и пузырькам с лекарствами. В этом краю люди, в общем, обладали крепким здоровьем, не ведали ни эпидемий, ни автомобильных катастроф. А исцарапанные в кровь коленки школьников не приносят аптекарям доходов.

В таком же положении находился и доктор, но его это мало тревожило; он уже отошел от дел, врачебной практикой занимался, как он говорил, лишь из филантропии и принимал поистине удрученный вид при мысли о том, что ему придется написать кому-нибудь рецепт, — на первом месте у него были заботы о своем саде. Жил он рядом со школой, и оказалось, что местный учитель тоже вздумал обрабатывать имеющийся при школе клочок земли и делал это с удовольствием. Однако доктор вовсе не симпатизировал молчаливому и рассеянному любителю-садоводу, — у педагога, по мнению медика, были слишком левые взгляды, «опасные и вместе с тем ребяческие» убеждения, которые он стремился внушить

и своим ученикам, несмотря на многократные жалобы их родителей и недовольство инспектора, приезжавшего из учебного округа.

Какие же события нарушали хотя бы в некоторой мере спокойствие обитателей Ноллака? Разве только что избрание самой добродетельной в городе девушки и отмечавшиеся годовщины перемирия 1918 года. В дни этих годовщин мужчины, надев старый сюртук и шляпу-котелок, собирались у памятника жертвам войны, изображавшего женщину с печальным лицом и поддерживающего ее солдата-пехотинца; а над этими фигурами, на верху обелиска, высилась эмблема Галлии — великолепный бронзовый петух. Мэр зачитывал список с именами погибших — их было много для такой маленькой коммуны, мужчины мрачно ковыряли землю носком ботинка, старушки иной раз роняли слезу. Тощий молодой священник кропил святой водой собравшихся да заодно и высеченные на памятнике имена погибших, отдавших свою жизнь за родину. Затем женщины уходили домой, а мужчины отправлялись в кафе, не страшась насадить пятен на свои парадные костюмы.

Выборы и увенчание розами самой добродетельной в городе девицы — событие, само по

себе менее значительное, было, однако, более веселым. Оно происходило в актовом зале мэрии. Юную избранницу принимал сам мэр, опоясанный трехцветным шарфом, и усаживал рядом с собой. По другую ее руку садилась и управляла церемонией г-жа Лемонье, ближайшая помощница мэра в такого рода делах. После торжественной церемонии устраивался большой обед, и лишь поздно ночью молодежь шумным роем рассыпалась по темным переулкам Ноллака.

Так и шло дремотное, казалось бы, спокойное и мирное существование маленького городка. Но вдруг многие из тех, кто ездил на работу в Руайе, оказались безработными; они теперь бродили днем по улицам или играли в бистро на бильярде. И, глядя на них, некоторые думали: «Ну, теперь и нам придется плохо!» Действительно, хуже пошли дела у лавочников из-за безработицы, затронувшей их покупателей, да еще из-за конкуренции крупных торговых фирм в Руайе, которые развозили товары на дом по всей округе. Мелкие рантье боязливо просматривали свою газету и жаловались: «Скоро у нас ни гроша не будет! И вот помяните мое слово, не пройдет и двух лет, как Германия опять набросится на нас».

Однажды в Ноллак приехали в автомобиле

три молодых человека. Они остановились около мэрии, вошли туда и через полчаса вышли. В сопровождении шумной ватаги ребятишек и толпы зевак они принялись расклеивать афиши и украсили ими весь город:

«За сильное правительство!»

«За пересмотр конституции!»

«За то, чтобы во Франции воцарились честь и честность!»

«В воскресенье в два часа дня все на площадь маршала Фоша!»

В воскресенье, как и обещали афиши, в город прибыли люди из Руайе; они приехали в двух больших автобусах, и на многих из них были синие рубашки. Человек десять этих молодцов в синих рубашках поднялись на эстраду парка и расселись на стульях полукругом, в середине которого заняли места мэр, священник и два уже немолодых господина. Все остальные расположились внизу, у подножия эстрады. Собрание открыл мэр.

— Дорогие друзья и сограждане! В смутное время, которое мы переживаем, я счел своим долгом дать разрешение на происходящее сейчас собрание для того, чтобы вот эти молодые люди

(и он широким жестом указал на парней в синих рубашках) получили возможность изложить перед вами единственный способ выйти из того тяжкого положения, в которое нас поставило наше бездарное и преступное правительство… Да, уважаемые сограждане, слушающие меня, знайте, что на Францию, любимую нашу родину, надвигаются беды со всех сторон. Еще минута слабости, и Франция станет добычей внешних или же внутренних своих врагов. Я сознательно говорю — «внутренних врагов», ибо над нашей родиной, над нашими семьями уже витает призрак гражданской войны. Неужели же мы ничего не сделаем, для того чтобы предотвратить ее?

Граждане Ноллака безмолвствовали и лишь кивками головы одобряли красноречие своего мэра.

— Предоставляю слово господину Бондье, — сказал мэр.

Человек, сидевший рядом с ним, поднялся, и слушатели замерли, затаили дыхание.

— Шестого февраля в Париже перед зданием палаты пролилась кровь французов. Некоторые из наших сторонников погибли, пытаясь спасти страну, вытащить нас из грязи, избавить от позора. Их жертва не должна оказаться напрасной,

господа. Парламентский строй прогнил! Освободите место для людей честных и порядочных! Людей сильных и чистых, — для тех, кто прежде всего любит свою родину! Вот к чему я призываю вас.

Затем оратор коротко прошелся насчет капиталистов и спекулянтов, стремящихся любой ценой округлить свои капиталы, и долго громил социалистов и коммунистов, «оплачиваемых из-за границы»...

— Они хотят привлечь на свою сторону людей честных, но озлобленных и слепых. Вот в чем самая большая опасность для нас, французов! В некоторых странах уже поняли суть дела. Такие люди, как Муссолини и Гитлер, — скажем это смело, отбросив всякую предвзятость, — раз и навсегда покончили с опасностью гражданской войны, с шайками революционеров, которые стремятся посеять среди нас раздоры и ужас. Эти два человека значительно сократили безработицу в своих странах. «Каким способом?» — спросите вы меня. Да очень простым: они поставили работу предприятий под контроль государства, тогда как у нас, во Франции, заводы закрывают. Кроме того, они организовали общественные работы. Мелким торговцам и ре-

месленникам, пострадавшим из-за кризиса, они давали всякие льготы, — словом, они заботились о благосостоянии всех и каждого!..

Когда он кончил, поднялся его сосед, пожилой и, по-видимому, болезненный человек с ленточкой ордена Почетного легиона в петлице пиджака. Он начал более спокойно, но все же горько упрекал французов в недостатке у них гражданских чувств и в равнодушии перед лицом опасности.

— Германия и ее глава угрожают нам, господа! (Он почему-то избегал произносить имя Гитлера.) Я молю, я заклинаю вас, во имя трех моих сыновей, павших на поле битвы, — будьте бдительны, подумайте о своих собственных сыновьях, поспешите сплотиться для защиты родины, своей духовной матери. Да здравствует Франция, наша отчизна, прекраснейшая из всех стран!..

Голос оратора дрожал от волнения, а лицо выражало грусть и озабоченность.

Молодые люди, расположившиеся у подножия эстрады, грянули «Марсельезу», подняв руку «римским жестом», а поскольку некоторые из собравшихся не встали со скамей, синерубашечники заорали:

— Встать! Шапки долой!

После краткой паузы мэр, обменявшись

несколькими фразами с приезжими господами, опять взял слово:

— Дорогие сограждане и друзья! Я полагаю, что мне теперь остается только…

Чей-то сильный голос прервал его:

— Не давайте этим людям морочить вам головы! Все их слова — сплошная ложь, ложь грубая и преступная! Они хотят привести нас к фашизму… к фашизму…

И, махая своей длинной рукой, к эстраде бросился школьный учитель Сангье. Минута всеобщего изумления, и он уже на эстраде и отбивается там от молодцов в синих рубашках.

— Не слушайте их! Фашисты утопили в крови пролетариата все гражданские свободы. Они вовсе не уменьшили безработицу, а принесли с собой еще большую нищету! А вот эти господа заявились к нам, чтобы использовать к своей выгоде вашу беду. Не от таких людей вы можете ждать спасения. У них нет ничего общего с вами, — с мелкими лавочниками, у которых торговля захирела, с ремесленниками, которые не могут заработать себе на жизнь, с рабочими, которые лишились работы. Нет, эти господа не в состоянии понять вас и вовсе не желают вам помочь!

Внизу, у эстрады, поднялся шум, раздались крики:

— Да он сумасшедший!

— Большевик!

— Изменник!

Но этому сумбурному хору не удавалось заглушить голос Сангье:

— Ложь, будто в Германии люди живут хорошо. Неправда, что они…

Мэр и господин с орденской ленточкой схватили учителя за плечи и принялись подталкивать к ступенькам лестницы.

— Вы что, спятили? — зашипел разъяренный мэр. — Ну, Сангье, погодите, это вам даром не пройдет!

— Гоните его прочь! Это агент Москвы!

— Не мешайте! Пусть говорит! Разберемся!

— Долой его, этого большевика!

— Пусть говорит, не трогайте!

— Убрать его! Убрать! — требовал господин с орденской ленточкой.

Какой-то прыщавый верзила, следивший за смельчаком угрожающим взглядом, взмахнул своей палкой с железным наконечником и обрушил ее на голову Сангье. Взметнулись еще две палки и ударили его. Он зашатался и рухнул

поперек стола, поставленного для ораторов, опрокинув графин с водой.

— Убили его! Убили! — закричали в толпе: железный наконечник палки сорвал лоскут кожи с головы Сангье, и из раны обильно текла кровь.

— На помощь! — заплакала какая-то женщина.

— Вон тот, долговязый, первым ударил. Могу в свидетели пойти! — послышался зычный голос.

— Держите их, в синих рубашках которые! Не выпускайте! Надо их как следует вздрючить! — негодовал столяр, перекрывая своим зычным басом разноголосую сумятицу.

Но синие рубашки уже помчались к автобусам. На эстраде, возле бесчувственного тела, остались только двое: мэр и господин с орденской ленточкой.

— Это ничего! Ничего!.. — бормотали они, обрызгивая Сангье водой. — Он сейчас очнется!.. И в конце концов поделом ему, сам нарвался!

— Недурно для начала! — сказал сапожник, поднимая лежавшего в обмороке Сангье.

Через день Сангье, немного бледный, с подштопанной и забинтованной головой, составлял послание:

«Город Руайе. Областной Комитет борьбы против фашизма и войны».

— Ты им хорошенько растолкуй, что для нас очень важен вопрос о мелких торговцах и ремесленниках, — сказал человек, сидевший на постели Сангье. — Потом насчет кооперативов напиши. В России теперь лавочников нет, сплошь кооперация. Согласен. Но мы еще должны считаться с мелкими торговцами!

Столяр прервал его:

— Оставь, не мешай человеку. Он больше тебя знает, что к чему.

— Ну, понятно. А все-таки одна голова — хорошо, а много голов — лучше, особенно если одну-то голову уже щелканули… — И молодой слесарь подмигнул почтальону, протянувшему учителю промокательную бумагу.

— Нет, слушай, ты, главное, вот что им скажи: мы, мол, теперь знаем, чего нам ждать от этих, в синих рубашках, — убеждал сапожник. — Они прислужники фашизма и живо это нам показали, — мы видели их за работой.

— А может, лучше ничего не говорить насчет головы? — нерешительно сказал человек, сидевший на постели. — Пожалуй, ребята забоятся и не приедут.

Сангье кротко улыбнулся:

— Приедут, можешь не беспокоиться. Обяза-

тельно приедут!..